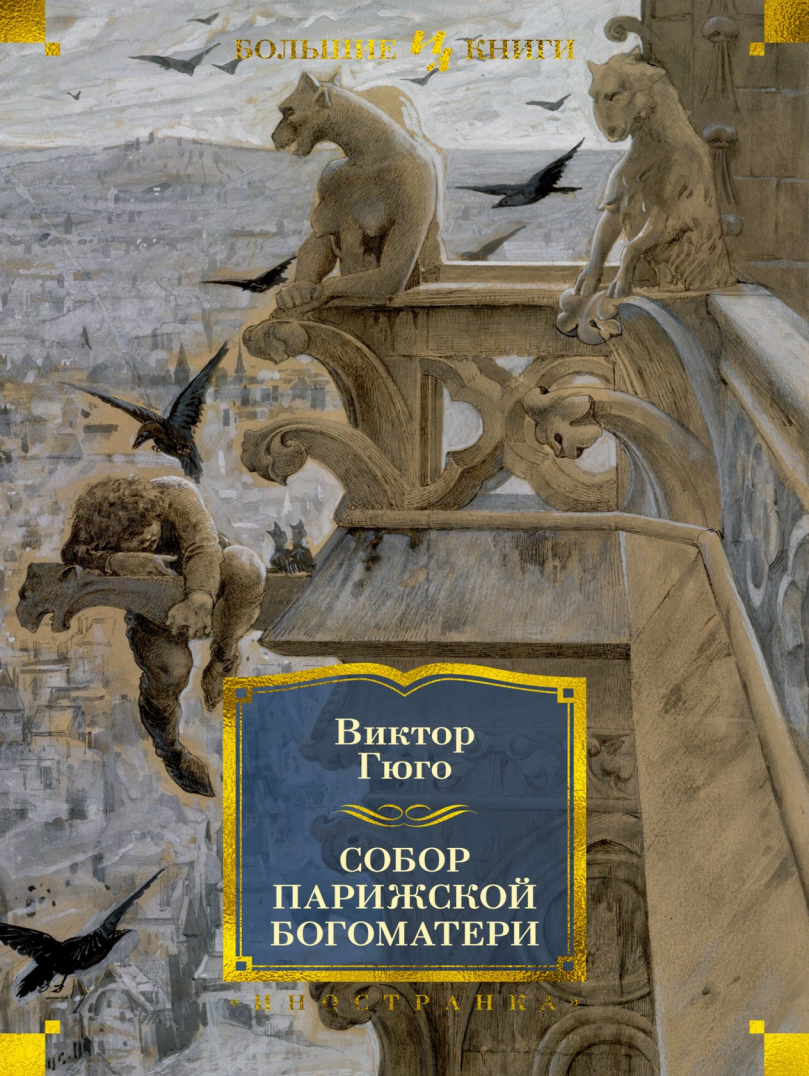

БОЛЬШИЕ КНИГИ
Виктор Гюго
СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ
«ИНОСТРАНКА»

Собор Парижской Богоматери
Виктор Мари Гюго

Аннотация
Виктор Гюго. Собор Парижской Богоматери
Книга первая
  I. Большой зал
  II. Пьер Гренгуар
  III. Кардинал
  IV. Мэтр Жак Копеноль
  V. Квазимодо
  VI. Эсмеральда
Книга вторая
  I. Между Сциллой и Харибдой
  II. Гревская площадь
  III. Besos para golpes
  IV. Неудобства, которым подвергаешься, преследуя вечером хорошенькую женщину
  V. Неудачи продолжаются
  VI. Разбитая кружка
  VII. Брачная ночь
Книга третья
  I. Собор Богоматери
  II. Париж с птичьего полета
Книга четвертая

I. Добрые души
II. Клод Фролло
III. Immanis pecoris custos, immanior ipse
IV. Собака и ее господин
V. Продолжение главы о Клоде Фролло
VI. Нелюбовь народа
Книга пятая
I. Abbas Beati Martini
II. Вот это убьет то
Книга шестая
I. Беспристрастный взгляд на старинную магистратуру
II. Крысиная нора
III. Рассказ о маисовой лепешке
IV. Слеза за каплю воды
V. Конец рассказа о маисовой лепешке
Книга седьмая
I. О том, как опасно доверять свою тайну козе
II. Священник и философ не одно и то же
III. Колокола
IV. Ἀνάγκη
V. Два человека в черном
VI. Последствия, к которым могут привести семь прозвучавших на вольном воздухе проклятий
VII. Монах-привидение
VIII. Как удобно, когда окна выходят на реку

Книга восьмая
I. Экю, превратившееся в сухой лист
II. Продолжение главы об экю, превратившемся в сухой лист
III. Окончание главы об экю, превратившемся в сухой лист
IV. Lasciate ogni speranza
V. Мать
VI. Три мужских сердца, созданные различно
Книга девятая
I. Бред
II. Горбатый, кривой, хромой
III. Глухой
IV. Глина и хрусталь
V. Ключ от Красных врат
VI. Продолжение рассказа о ключе от Красных врат
Книга десятая
I. На улице Бернардинцев у Гренгуара одна за другой рождается несколько блестящих идей
II. Становись бродягой
III. Да здравствует веселье!
IV. Медвежья услуга
V. Келья, в которой Людовик Французский читает Часослов
VI. Короткие клинки звенят

VII. Шатопер, выручай!
Книга одиннадцатая
I. Башмачок
II. La creatura bella bianco vestita (Dante)
III. Брак Феба
IV. Брак Квазимодо

Аннотация

Виктор Гюго – создатель романтической драмы, великолепный писатель, чьи произведения до сих пор увлекают читателей во всем мире. Романы Гюго отмечены богатством творческого воображения, сюжеты их обычно сложны, развязки эффектны, чувства героев сильны и трагичны. Обращаясь к национальной истории, автор создает убедительные картины прошлого и яркие, запоминающиеся характеры.

Особенно это касается самого известного романа Виктора Гюго – «Собор Парижской Богоматери». Невозможно забыть гордую цыганку Эсмеральду, уродливого звонаря собора Нотр-Дам Квазимодо, блистательного и жестокосердного красавца Феба, терзаемого ревностью священника Фролло. Как невозможно забыть и французское Средневековье, воссозданное в романе с поразительной силой воображения!

В настоящем издании текст сопровождается иллюстрациями французских художников XIX века.

Виктор Гюго
Собор Парижской Богоматери

© Н. А. Коган (наследник), перевод, 2023
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2020
Издательство Иностранка®

* * *

Несколько лет тому назад, осматривая Собор Парижской Богоматери, или, выражаясь точнее, обследуя его, автор этой книги обнаружил в темном закоулке одной из башен следующее начертанное на стене слово:

΄ΑΝΑΓΚΗ[1].

Эти греческие буквы, потемневшие от времени и довольно глубоко врезанные в камень, некие свойственные готическому письму признаки, запечатленные в форме и расположении букв, как бы указывающие на то, что начертаны они были рукой человека Средневековья, и в особенности мрачный и роковой смысл, в них заключавшийся, глубоко поразили автора.

Он спрашивал себя, он старался постигнуть, чья страждущая душа не пожелала покинуть сей мир без того, чтобы не оставить на челе древней церкви этого стигмата преступлений или несчастья.

Позже эту стену (я даже точно не припомню, какую именно) не то выскоблили, не то закрасили, и надпись исчезла. Именно так в течение вот уже двухсот лет поступают с чудесными церквями Средневековья. Их увечат как угодно — и изнут-

---

[1] Примечания: 1
Рок *(греч.)*.

ри и снаружи. Священник их перекрашивает, архитектор скоблит; потом приходит народ и разрушает их.

И вот ничего не осталось ни от таинственного слова, высеченного в стене сумрачной башни собора, ни от той неведомой судьбы, которую это слово так печально обозначило, — ничего, кроме хрупкого воспоминания, которое автор этой книги им посвящает. Несколько столетий тому назад исчез из числа живых человек, начертавший на стене это слово; в свою очередь исчезло со стены собора и само слово; быть может, исчезнет скоро с лица земли и сам собор.

Это слово и породило настоящую книгу.

Март 1831

Книга первая

I. Большой зал

Триста сорок восемь лет шесть месяцев и девятнадцать дней тому назад парижане проснулись под перезвон всех колоколов, которые неистовствовали за тремя оградами Ситэ, Университетской стороны и Города. Между тем день 6 января 1482 года отнюдь не являлся датой, о которой могла бы хранить память история. Ничего примечательного не было в событии, которое с самого утра привело в такое движение и колокола, и горожан Парижа. Это не был ни штурм пикардийцев или бургундцев, ни процессия с мощами, ни бунт школяров, ни въезд «нашего грозного властелина господина короля», ни даже достойная внимания казнь воров и воровок на виселице по приговору парижской юстиции. Это не было также столь частое в XV веке прибытие какого-либо пестро разодетого и разукрашенного плюмажами иноземного посольства. Не прошло и двух дней, как последнее из них — это были фламандские послы, уполномоченные заключить брак между дофином и Маргаритой Фландрской, — вступило в Париж, к великой досаде кардинала Бурбонского, который из угождения королю должен был

скрепя сердце принимать неотесанную толпу фламандских бургомистров и угощать их в своем Бурбонском дворце представлением «весьма прекрасного моралите, шуточной сатиры и фарса», пока проливной дождь заливал его роскошные ковры, разостланные у входа во дворец.

Событие, которое 6 января «взволновало всю парижскую чернь», как говорит Жеан де Труа, было двойное празднество, объединившее с незапамятных времен праздник Крещения с праздником шутов.

В этот день на Гревской площади зажигались потешные огни, у Бракской часовни происходила церемония посадки майского деревца, в здании Дворца правосудия давалась мистерия. Об этом еще накануне возвестили при звуках труб на всех перекрестках глашатаи господина парижского прево, разодетые в щегольские полукафтанья из лилового камлота с большими белыми крестами на груди.

Заперев двери домов и лавок, толпы горожан и горожанок с самого утра потянулись отовсюду к упомянутым местам. Одни решили отдать предпочтение потешным огням, другие — майскому дереву, третьи — мистерии. Впрочем, к чести исконного здравого смысла парижских зевак,

следует признать, что большая часть толпы направилась к потешным огням, вполне уместным в это время года, другие — смотреть мистерию в хорошо защищенном от холода зале Дворца правосудия, а бедному, жалкому, еще не расцветшему майскому деревцу все любопытные единодушно предоставили зябнуть в одиночестве под январским небом, на кладбище Бракской часовни.

Народ больше всего теснился в проходах Дворца правосудия, так как было известно, что прибывшие третьего дня фламандские послы намеревались присутствовать на представлении мистерии и на избрании папы шутов, которое также должно было состояться в большом зале дворца.

Нелегко было пробраться в этот день в большой зал, считавшийся в то время самым обширным закрытым помещением на свете. (Правда, Соваль тогда еще не обмерил громадный зал в замке Монтаржи.) Запруженная народом площадь перед Дворцом правосудия представлялась зрителям, глядевшим на нее из окон, морем, куда пять или шесть улиц, подобно устьям рек, непрерывно извергали все новые потоки людей. Непрестанно возрастая, эти людские волны разбивались об

углы домов, выступавшие то тут, то там, подобно высоким мысам в неправильном водоеме площади.



Посредине высокого готического[2] фасада Дворца правосудия находилась главная лестница, по которой безостановочно поднимался и спускался двойной поток людей; расколовшись ниже, на промежуточной площадке, надвое, он широкими волнами разливался по двум боковым спускам; эта главная лестница, как бы непрерывно струясь, сбегала на площадь, подобно водопаду, низвергавшемуся в озеро. Крик, смех, топот тысячи ног производили страшный шум и гам. Время от времени этот шум и гам усиливался: течение, несшее всю эту толпу к главному крыльцу, поворачивало вспять и, крутясь, образовывало водовороты. Причиной тому были либо стрелок, давший кому-нибудь тумака, либо лягавшаяся лошадь начальника городской стражи, водворявшего порядок; эта милая традиция, завещанная парижским прево коннетаблям, перешла от коннетаблей по наследству к конной страже, а от нее — к нынешней жандармерии Парижа.

В дверях, в окнах, в слуховых оконцах, на

---

[2] Примечания: 2

Слово «готический» в том смысле, в каком его обычно употребляют, совершенно неточно, но и совершенно неприкосновенно. Мы, как и все, принимаем и усваиваем его, чтобы охарактеризовать архитектурный стиль второй половины Средних веков, в основе которого лежит стрельчатый свод — преемник полукруглого свода, породившего архитектурный стиль первой половины тех же веков. *(Примеч. авт.)*

крышах домов кишели тысячи благодушных, безмятежных и почтенных горожан, спокойно глазевших на дворец, глазевших на толпу и ничего более не желавших, ибо многие парижане довольствуются зрелищем самих зрителей, и даже стена, за которой что-либо происходит, уже представляет для них предмет, достойный любопытства.

Если бы нам, живущим в 1830 году, дано было мысленно вмешаться в толпу парижан XV века и, получая со всех сторон пинки, толчки, еле удерживаясь на ногах, проникнуть вместе с ней в этот обширный зал дворца, казавшийся в день 6 января 1482 года таким тесным, то зрелище, представившееся нашим глазам, не лишено было бы занимательности и очарования: нас окружили бы вещи столь старинные, что они для нас были бы полны новизны.

Если читатель согласен, мы попытаемся хотя бы мысленно воссоздать то впечатление, которое он испытал бы, перешагнув вместе с нами порог этого обширного зала и очутившись среди толпы, одетой в хламиды, полукафтанья и безрукавки.

Прежде всего мы были бы оглушены и ослеплены. Над нашими головами — двойной стрельчатый свод, отделанный деревянной резьбой,

расписанной золотыми лилиями по лазурному полю; под ногами — пол, вымощенный белыми и черными мраморными плитами. В нескольких шагах от нас огромный столб, затем другой, третий — всего на протяжении зала семь таких столбов, служащих линией опоры для пяток двойного свода. Вокруг первых четырех столбов — лавочки торговцев, сверкающие стеклянными изделиями и мишурой; вокруг трех остальных — истертые дубовые скамьи, отполированные короткими широкими штанами судившихся и мантиями стряпчих. Кругом зала вдоль высоких стен между дверьми, между окнами, между столбами — нескончаемая вереница изваяний королей Франции, начиная с Фарамонда: королей нерадивых, опустивших руки и потупивших очи, королей доблестных и воинственных, смело подъявших чело и руки к небесам. Далее, в высоких стрельчатых окнах — тысячецветные стекла; в широких дверных нишах — богатые, тончайшей резьбы двери; и все это — своды, столбы, стены, наличники окон, панели, двери, изваяния — сверху донизу покрыто великолепной голубой с золотом раскраской, успевшей к тому времени уже слегка потускнеть и почти совсем исчезнувшей под слоем пыли и паутины в 1549 году, когда

дю Брель по традиции все еще восхищался ею.

Теперь вообразите себе этот громадный продолговатый зал, освещенный сумеречным светом январского дня, наводненный пестрой и шумной толпой, которая плывет по течению вдоль стен и вертится вокруг семи столбов, и вы уже получите смутное представление обо всей той картине, любопытные подробности которой мы попытаемся обрисовать точнее.

Несомненно, если бы Равальяк не убил Генриха IV, не было бы и документов о деле Равальяка, хранившихся в канцелярии Дворца правосудия; не было бы и сообщников Равальяка, заинтересованных в исчезновении этих документов; значит, не было бы и поджигателей, которым, за неимением лучшего средства, пришлось сжечь канцелярию, чтобы сжечь документы, и сжечь Дворец правосудия, чтобы сжечь канцелярию; следовательно, не было бы и пожара 1618 года. Все еще высился бы старинный дворец с его старинным залом, и я мог бы сказать читателю: «Пойдите полюбуйтесь на него»; мы, таким образом, были бы избавлены: я — от описания этого зала, а читатель — от чтения сего посредственного описания. Это подтверждает новую истину, что последствия великих событий неисчислимы.

Весьма возможно, впрочем, что у Равальяка никаких сообщников не было, а если случайно они у него и оказались, то могли быть совершенно непричастны к пожару 1618 года. Существуют еще два других весьма правдоподобных объяснения. Во-первых, огромная пылающая звезда, шириною в фут, длиною в локоть, свалившаяся, как всем известно, с неба 7 марта после полуночи на крышу Дворца правосудия; во-вторых, четверостишие Теофиля:

Да, шутка скверная была,
Когда сама богиня Права,
Съев пряных кушаний немало,
Себе все нёбо обожгла[3].

Но, как бы ни думать об этом тройном — политическом, метеорологическом и поэтическом — толковании, прискорбный факт пожара остается несомненным. По милости этой катастрофы, в особенности же по милости всевозможных последовательных реставраций, уничтоживших то, что пощадило пламя, немногое уцелело ныне от этой первой обители королей Франции, от это-

[3] Примечания: 3

Игра слов: *épice* — по-французски и пряности и взятка, *palais* — и нёбо и дворец.

го дворца, более древнего, чем Лувр, настолько древнего уже в царствование короля Филиппа Красивого, что в нем искали следов великолепных построек, воздвигнутых королем Робером и описанных Эльгальдусом.

Исчезло почти все. Что сталось с кабинетом, в котором Людовик Святой «завершил свой брак»? Где тот сад, в котором он, «одетый в камлотовую тунику, грубого сукна безрукавку и плащ, свисавший до черных сандалий», возлежа вместе с Жуанвилем на коврах, вершил правосудие? Где покои императора Сигизмунда? Карла IV? Иоанна Безземельного? Где то крыльцо, с которого Карл VI провозгласил свой милостивый эдикт? Где та плита, на которой Марсель в присутствии дофина зарезал Робера Клермонского и маршала Шампанского? Где та калитка, возле которой были изорваны буллы антипапы Бенедикта и откуда, облаченные на посмешище в ризы и митры и принужденные публично каяться на всех перекрестках Парижа, выехали обратно те, кто привез эти буллы? Где большой зал, его позолота, его лазурь, его стрельчатые арки, статуи, каменные столбы, его необъятный свод, весь в скульптурных украшениях? А вызолоченный покой, у входа в который стоял коленопреклоненный

каменный лев с опущенной головой и поджатым хвостом, подобно львам Соломонова трона, в позе смирения, как то приличествует грубой силе перед лицом правосудия? Где великолепные двери, великолепные высокие окна? Где все чеканные работы, при виде которых опускались руки у Бискорнета? Где тончайшая резьба дю Ганси?.. Что сделало время, что сделали люди со всеми этими чудесами? Что получили мы взамен всего этого, взамен этой истории галлов, взамен этого искусства готики? Тяжелые полукруглые низкие своды господина де Броса, сего неуклюжего строителя портала Сен-Жерве, — это взамен искусства; что же касается истории, то у нас сохранились лишь многословные воспоминания о центральном столбе, которые еще доныне отдаются эхом в болтовне всевозможных господ Патрю.

Но все это не так уж важно. Обратимся к подлинному залу подлинного древнего дворца.

Один конец этого гигантского параллелограмма был занят знаменитым мраморным столом такой длины, ширины и толщины, что, если верить старинным описям, стиль которых мог возбудить аппетит у Гаргантюа, «подобного ломтя мрамора никогда не было видано на свете»; противоположный конец занимала часовня, где

стояла изваянная по приказанию Людовика XI статуя, изображающая его коленопреклоненным перед Пречистой Девой, и куда он, невзирая на то что две ниши в ряду королевских изваяний остаются пустыми, приказал перенести статуи Карла Великого и Людовика Святого — двух святых, которые в качестве королей Франции, по его мнению, имели большое влияние на небесах. Эта часовня, еще новая, построенная всего только лет шесть тому назад, была создана в изысканном вкусе того очаровательного, с великолепной скульптурой и тонкими чеканными работами зодчества, которое отмечает у нас конец готической эры и удерживается вплоть до середины XVI века в волшебных архитектурных фантазиях Возрождения.

Небольшая сквозная розетка, вделанная над порталом, по филигранности и изяществу работы представляла собой настоящий образец искусства. Она казалась кружевной звездой.

Посреди зала, напротив главных дверей, было устроено прилегавшее к стене возвышение, обтянутое золотой парчой, с отдельным входом через окно, пробитое в этой стене из коридора, смежного с вызолоченным покоем. Предназначалось оно для фламандских послов и для других

знатных особ, приглашенных на представление мистерии.

По издавна установившейся традиции представление мистерии должно было состояться на знаменитом мраморном столе. С самого утра он уже был для этого приготовлен. На его великолепной мраморной плите, вдоль и поперек исцарапанной каблуками судейских писцов, стояла довольно высокая деревянная клетка, верхняя плоскость которой, доступная взорам всего зрительного зала, должна была служить сценой, а внутренняя часть, задрапированная коврами, — одевальной для лицедеев. Бесхитростно приставленная снаружи лестница должна была соединять сцену с одевальной и предоставлять свои крутые ступеньки и для выхода актеров на сцену, и для ухода их за кулисы. Таким образом, любое неожиданное появление актера, перипетии действия, сценические эффекты — ничто не могло миновать этой лестницы. О невинное и достойное уважения детство искусства и механики!

Четыре судебных пристава дворца, непременные надзиратели за всеми народными увеселениями как в дни празднеств, так и в дни казней, стояли на карауле по четырем углам мраморного

стола.

Представление мистерии должно было начаться только в полдень, с двенадцатым ударом больших стенных дворцовых часов. Несомненно, для театрального представления это было несколько позднее время, но оно было удобно для послов.

Тем не менее вся многочисленная толпа народа дожидалась представления с самого утра. Добрая половина этих простодушных зевак с рассвета дрогла перед большим крыльцом дворца; иные даже утверждали, будто они провели всю ночь, лежа поперек главного входа, чтобы первыми попасть в залу. Толпа росла непрерывно и, подобно водам, выступающим из берегов, постепенно вздымалась вдоль стен, вздувалась вокруг столбов, заливала карнизы, подоконники, все архитектурные выступы, все выпуклости скульптурных украшений. Немудрено, что давка, нетерпение, скука, дозволенные в этот день, зубоскальство и озорство, возникающие по всякому пустяку ссоры, будь то соседство слишком острого локтя или подбитого гвоздями башмака, усталость от долгого ожидания — все вместе взятое еще задолго до прибытия послов придавало ропоту этой запертой, стиснутой, сдавленной,

задыхающейся толпы едкий и горький привкус. Только и слышно было что проклятия и сетования по адресу фламандцев, купеческого старшины, кардинала Бурбонского, главного судьи дворца, Маргариты Австрийской, стражи с плетьми, стужи, жары, скверной погоды, епископа Парижского, папы шутов, каменных столбов, статуй, этой закрытой двери, того открытого окна — и все это к несказанной потехе рассеянных в толпе школяров и слуг, которые подзадоривали общее недовольство своими острыми словечками и шуточками, еще больше возбуждая этими булавочными уколами общее недовольство.

Среди них отличалась группа веселых сорванцов, которые, выдавив предварительно стекла в окне, бесстрашно расселись на карнизе и оттуда бросали свои лукавые взгляды и замечания попеременно то в толпу, находящуюся в зале, то в толпу на площади. Судя по тому, как они передразнивали окружающих, по их оглушительному хохоту, по насмешливым окликам, которыми они обменивались с товарищами через весь зал, видно было, что эти школяры далеко не разделяли скуки и усталости остальной части публики, превращая для собственного удовольствия все, что попадалось им на глаза, в зрелище, помогав-

шее им терпеливо переносить ожидание.

— Клянусь душой, это вы там, *Жоаннес Фролло де Молендино*! — кричал один из них другому, белокурому бесенку с хорошенькой лукавой рожицей, примостившемуся на акантах капители. — Недаром вам дали прозвище Жеан Мельник, ваши руки и ноги и впрямь походят на четыре крыла ветряной мельницы. Давно вы здесь?

— По милости дьявола, — ответил Жоаннес Фролло, — я торчу здесь уже больше четырех часов, надеюсь, они зачтутся мне в чистилище! Еще в семь утра я слышал, как восемь певчих короля сицилийского пропели у ранней обедни в Сент-Шапель «Достойную».

— Прекрасные певчие! — ответил собеседник. — Голоса у них тоньше, чем острие их колпаков. Однако, перед тем как служить обедню господину святому Иоанну, королю следовало бы осведомиться, приятно ли господину Иоанну слушать эту гнусавую латынь с провансальским акцентом.

— Он заказал обедню, чтобы дать заработать этим проклятым певчим сицилийского короля! — злобно крикнула какая-то старуха из теснившейся под окнами толпы. — Скажите на

милость! Тысячу парижских ливров за одну обедню! Да еще из налога за право продавать морскую рыбу в Париже!

— Помолчи, старуха! — вмешался какой-то важный толстяк, все время зажимавший себе нос из-за близкого соседства с рыбной торговкой. — Обедню надо было отслужить. Или вы хотите, чтобы король опять захворал?

— Ловко сказано, господин Жиль Лекорню[4], придворный меховщик! — крикнул ухватившийся за капитель маленький школяр.

Оглушительный взрыв хохота приветствовал злополучное имя придворного меховщика.

— Лекорню! Жиль Лекорню! — орали одни.

— Cornutus et hirsutus![5] — вторили другие.

— Чего это они гогочут? — продолжал маленький чертенок, примостившийся на капители. — Ну да, почтеннейший Жиль Лекорню, брат Жеана Лекорню, дворцового судьи, сын мэтра Майе Лекорню, главного смотрителя Венсенского леса; все они граждане Парижа, и все до единого женаты.

---

[4] Примечания: 4

Лекорню — по-французски произносится так же, как *le cornu*, что означает «рогатый».

[5] Примечания: 5

Рогатый и косматый *(лат.)*.

Толпа совсем развеселилась. Толстый меховщик молча пытался ускользнуть от устремленных на него со всех сторон взглядов, но тщетно он пыхтел и потел. Как загоняемый в дерево клин, он, силясь выбраться из толпы, достигал лишь того, что его широкое апоплексическое, побагровевшее от досады и гнева лицо только плотнее втискивалось между плеч соседей.

Наконец один из них, такой же важный, коренастый и толстый, пришел ему на выручку:

— Какая мерзость! Как смеют школяры так издеваться над почтенным горожанином? В мое время их за это отстегали бы прутьями, а потом сожгли бы на костре из этих самых прутьев.

Банда школяров расхохоталась.

— Эй! Кто это там ухает? Какой зловещий филин?

— Стой-ка, я его знаю, — сказал один, — это мэтр Андри Мюнье.

— Один из четырех присяжных библиотекарей Университета, — подхватил другой.

— В этой лавчонке всякого добра по четыре штуки, — крикнул третий, — четыре нации, четыре факультета, четыре праздника, четыре эконома, четыре попечителя и четыре библиотекаря.

— Отлично, — продолжал Жеан Фролло, —

пусть же и побеснуются вчетверо больше!

— Мюнье, мы сожжем твои книги!

— Мюнье, мы вздуем твоего слугу!

— Мюнье, мы потискаем твою жену!

— Славная толстушка госпожа Ударда!

— А как свежа и весела, точно уже овдовела!

— Черт бы вас побрал! — прорычал мэтр Андри Мюнье.

— Замолчи, мэтр Андри, — не унимался Жеан, все еще продолжавший цепляться за свою капитель, — а то я свалюсь тебе на голову!

Мэтр Андри посмотрел вверх, как бы определяя взглядом высоту столба и вес плута, помножил в уме этот вес на квадрат скорости и умолк.

Жеан, оставшись победителем, злорадно заметил:

— Я бы непременно так и сделал, хотя и прихожусь братом архидьякону.

— Хорошо тоже наше университетское начальство! Даже в такой день, как сегодня, ничем не отметило наших привилегий! В Городе потешные огни и майское дерево, здесь, в Ситэ, мистерия, избрание папы шутов и фламандские послы, а у нас в Университете — ничего.

— Между тем на площади Мобер хватило бы места! — сказал один из школяров, устроившихся

на подоконнике.

— Долой ректора, попечителей и экономов! — крикнул Жеан.

— Сегодня вечером следовало бы устроить иллюминацию в Шан-Гальяр из книг мэтра Андри, — продолжал другой.

— И сжечь пульты писарей! — крикнул его сосед.

— И трости педелей!

— И плевательницы деканов!

— И буфеты экономов!

— И хлебные лари попечителей!

— И скамеечки ректора!

— Долой! — пропел им в тон Жеан. — Долой мэтра Андри, педелей, писарей, медиков, богословов, законников, попечителей, экономов и ректора!

— Да это просто светопреставление! — возмутился мэтр Андри, затыкая себе уши.

— А наш ректор легок на помине! Вон он появился на площади! — крикнул один из сидевших на подоконнике.

Кто только мог повернулся к окну.

— Неужели это в самом деле наш достопочтенный ректор, мэтр Тибо? — спросил Жеан Фролло Мельник. Повиснув на одном из внутренних столбов, он не мог видеть того, что происходило

на площади.

— Да, да, — ответили ему остальные, — он самый, мэтр Тибо, ректор!

Действительно, это был ректор и все университетские сановники, пересекавшие в эту минуту площадь Дворца и торжественно направлявшиеся навстречу послам. Школяры, тесно облепившие подоконник, приветствовали шествие язвительными насмешками и ироническими рукоплесканиями. Ректору, который шел впереди, пришлось выдержать первый залп, и залп этот был жесток.

— Добрый день, господин ректор! Эй! Здравствуйте же!

— Каким образом очутился здесь этот старый игрок? Как он расстался со своими костяшками?

— Смотрите, как он трусит на своем муле! А уши у мула короче ректорских!

— Эй! Добрый день, господин ректор Тибо! Tybalde aleator![6] Старый дурак! Старый игрок!

— Да хранит вас Бог! Ну как, сегодня ночью вам часто выпадало двенадцать очков?

— Поглядите только, какая у него серая, испитая и помятая рожа! Это все от страсти к игре и

---

[6] Примечания: 6

Тибо — игрок в кости *(лат.)*.

костям!

— Куда это вы труси́те, Тибо, Tybalde ad dados[7], задом к Университету и передом к Городу?

— Он едет снимать квартиру на улице Тиботоде[8], — воскликнул Жеан Мельник.

Вся компания школяров громовыми голосами, бешено аплодируя, повторила этот каламбур:

— Вы едете искать квартиру на улице Тиботоде, не правда ли, господин ректор, партнер дьявола?

Затем наступила очередь прочих университетских сановников.

— Долой педелей! Долой жезлоносцев!

— Скажи, Робен Пуспен, а это кто такой?

— Это Жильбер Сюльи, Gilbertus de Soliaco, казначей Отенского коллежа.

— Стой, вот мой башмак; тебе там удобнее, запусти-ка ему в рожу!

— Saturnalitias mittimus ecce nuces[9].

— Долой шестерых богословов и белые стихари!

---

[7] Примечания: 7

Тибо с игральными костями *(лат.)*.

[8] Примечания: 8

Тиботоде — по-французски произносится так же, как *Thibaut aux dés*, что означает «Тибо с игральными костями».

[9] Примечания: 9

Вот тебе орешки на праздник *(лат.)*.

— Как, разве это богословы? А я думал, это шесть белых гусей, которых святая Женевьева отдала городу за поместье Роньи!

— Долой медиков!

— Долой диспуты на заданные и на свободные темы!

— Швырну-ка я в тебя шапкой, казначей святой Женевьевы! Ты меня объегорил! Это чистая правда! Он отдал мое место в нормандском землячестве маленькому Асканио Фальцаспаде из провинции Бурж, а ведь тот итальянец.

— Это несправедливо! — закричали школяры. — Долой казначея святой Женевьевы!

— Эй! Иоахим де Ладеор! Эй! Лук Даюиль! Эй! Ламбер Октеман!

— Чтоб черт придушил попечителя немецкой корпорации!

— И капелланов из Сент-Шапель вместе с их серыми меховыми плащами.

— Seu ded pellibus grisis fourratis!

— Эй! Магистры искусств! Вон они, черные мантии! Вон они, красные мантии!

— Получается недурной хвост позади ректора!

— Точно у венецианского дожа, отправляющегося обручаться с морем.

— Гляди, Жеан, вон каноники святой Жене-

вьевы.

— К черту чернецов!

— Аббат Клод Коар! Доктор Клод Коар! Кого вы ищете? Марию Жифард?

— Она живет на улице Глатиньи.

— Она греет постели смотрителя публичных домов.

— Она выплачивает ему свои четыре денье — quattuor denarios.

— Aut unum bombum.

— Вы хотите сказать — с каждого носа?

— Товарищи, вон мэтр Симон Санен, попечитель Пикардии, а позади него сидит жена!

— Post equitem sedet atra cura[10].

— Смелее, мэтр Симон!

— Добрый день, господин попечитель!

— Покойной ночи, госпожа попечительша!

— Экие счастливцы, им все видно, — вздыхая, промолвил все еще продолжавший цепляться за листья капители *Жоаннес де Молендино*.

Между тем присяжный библиотекарь Университета, мэтр Андри Мюнье, прошептал на ухо придворному меховщику, Жилю Лекорню:

— Уверяю вас, сударь, что это светопреставле-

---

[10] Примечания: 10

За всадником сидит мрачная забота *(лат.)*.

ние. Никогда еще среди школяров не наблюдалось такой распущенности, и все это наделали проклятые изобретения: пушки, кулеврины, бомбарды, а главное, книгопечатание, эта новая германская чума. Нет уж более рукописных сочинений и книг. Печать убивает книжную торговлю. Наступают последние времена.

— Это заметно и по тому, как стала процветать торговля бархатом, — ответил меховщик.

В эту секунду пробило двенадцать.

— А-а! — одним вздохом ответила толпа.

Школяры притихли. Затем поднялась невероятная сумятица, зашаркали ноги, задвигались головы; послышалось общее оглушительное сморканье и кашель; всякий приладился, примостился, приподнялся. И вот наступила полная тишина: все шеи были вытянуты, все рты полуоткрыты, все взгляды устремлены на мраморный стол. Но ничего нового на нем не появилось. Там по-прежнему стояли четыре судебных пристава, застывшие и неподвижные, словно раскрашенные статуи. Тогда все глаза обратились к возвышению, предназначенному для фламандских послов. Дверь была все так же закрыта, на возвышении — никого. Собравшаяся с утра толпа ждала полудня, послов Фландрии и мистерии.

Своевременно явился только полдень. Это уже было слишком!

Подождали еще одну, две, три, пять минут, четверть часа; никто не появлялся. Помост пустовал, сцена безмолвствовала.

Нетерпение толпы сменилось гневом. Слышались возгласы возмущения, правда еще негромкие. «Мистерию! Мистерию!» — раздавался приглушенный ропот. Возбуждение возрастало. Гроза, дававшая о себе знать пока лишь громовыми раскатами, уже веяла над толпой. Жеан Мельник был первым, вызвавшим вспышку молнии.

— Мистерию, и к черту фламандцев! — крикнул он во всю глотку, обвившись, словно змея, вокруг своей капители.

Толпа принялась рукоплескать.

— Мистерию, мистерию! А Фландрию ко всем чертям! — повторила толпа.

— Подать мистерию, и немедленно! — продолжал школяр. — А то, пожалуй, придется нам для развлечения и в назидание повесить главного судью.

— Дельно сказано, — закричала толпа, — а для начала повесим его стражу!

Поднялся невообразимый шум. Четыре несчаст-

ных пристава побледнели и переглянулись. Народ двинулся на них, и им уже чудилось, что под его напором прогибается и подается хрупкая деревянная балюстрада, отделявшая их от зрителей. То была опасная минута.

— Вздернуть их! Вздернуть! — кричали со всех сторон.

В это мгновение приподнялся ковер описанной нами выше одевальной и пропустил человека, одно появление которого внезапно усмирило толпу и, точно по мановению волшебного жезла, превратило ее ярость в любопытство.

— Тише! Тише! — раздались отовсюду голоса.

Человек этот, дрожа всем телом, отвешивал бесчисленные поклоны, неуверенно двинулся к краю мраморного стола, и с каждым шагом эти поклоны становились все более похожими на коленопреклонения.

Мало-помалу водворилась тишина. Слышался лишь тот еле уловимый гул, который всегда стоит над молчащей толпой.

— Господа горожане и госпожи горожанки, — сказал вошедший, — нам предстоит высокая честь декламировать и представлять в присутствии его высокопреосвященства господина кардинала превосходное моралите под названи-

ем «Праведный суд Пречистой Девы Марии». Я буду изображать Юпитера. Его преосвященство сопровождает в настоящую минуту почетное посольство герцога Австрийского, которое несколько замешкалось, выслушивая у ворот Боде приветственную речь господина ректора Университета. Как только его святейшество господин кардинал прибудет, мы тотчас же начнем.

Нет сомнения, что только вмешательство самого Юпитера помогло спасти от смерти четырех несчастных приставов. Если бы нам выпало счастье самим выдумать эту вполне достоверную историю, а значит, и быть ответственными за ее содержание перед судом преподобной нашей матери-критики, то во всяком случае против нас нельзя было бы выдвинуть классического правила: Nec Deus intersit[11]. Надо сказать, что одеяние господина Юпитера было очень красиво и также немало способствовало успокоению толпы, привлекая к себе ее внимание. Он был одет в кольчугу, обтянутую черным бархатом с золотой вышивкой; голову его прикрывала двухконечная шляпа с пуговицами позолоченного серебра; и не будь его лицо частью нарумянено,

[11] Примечания: 11
И Бог пусть не вмешивается *(лат.)*.

частью покрыто густой бородой, не держи он в руках усыпанной мишурой и обмотанной канителью трубки позолоченного картона, в которой искушенный глаз легко мог признать молнию, не будь его ноги обтянуты в трико телесного цвета и на греческий манер обвиты лентами, — этот Юпитер по своей суровой осанке мог бы легко выдержать сравнение с любым бретонским стрелком из отряда герцога Беррийского.

II. Пьер Гренгуар

Однако, пока он держал свою торжественную речь, всеобщее удовольствие и восхищение, возбужденные его костюмом, постепенно рассеивались, а когда он пришел к злополучному заключению: «Как только его святейшество господин кардинал прибудет, мы тотчас же начнем», его голос затерялся в буре гиканья и свиста.

— Немедленно начинайте мистерию! Мистерию немедленно! — кричала толпа. И среди всех голосов отчетливо выделялся голос Жоаннеса де Молендино, прорезавший общий гул, подобно дудке на карнавале в Ниме.

— Начинайте сию же минуту! — визжал школяр.

— Долой Юпитера и кардинала Бурбонского! — вопил Робен Пуспен и прочие школяры, угнездившиеся на подоконнике.

— Давайте моралите! — вторила толпа. — Сейчас же, сию минуту, а не то мешок и веревка для комедиантов и кардинала!

Несчастный Юпитер, ошеломленный, испуганный, побледневший под слоем румян, уронил свою молнию, сняв шляпу, поклонился и, дрожа

от страха, пролепетал:

— Его высокопреосвященство, послы… госпожа Маргарита Фландрская…

Он не знал, что сказать. В глубине души он опасался, что его повесят.

Его повесит толпа, если он ее заставит ждать, его повесит кардинал, если он его не дождется; куда ни повернись, перед ним разверзалась пропасть, то есть виселица.

К счастью, какой-то человек пришел ему на выручку и принял всю ответственность на себя.

Этот незнакомец стоял по ту сторону балюстрады, в пространстве, остававшемся свободным вокруг мраморного стола, и до сей поры не был никем примечен благодаря тому, что его долговязая и тощая особа не могла попасть ни в чье поле зрения, будучи заслонена массивным каменным столбом, к которому он прислонялся. Это был высокий, худой, бледный, белокурый и еще молодой человек, хотя щеки и лоб его уже бороздили морщины; его черный саржевый камзол потерся и залоснился от времени. Сверкая глазами и улыбаясь, он приблизился к мраморному столу и сделал рукой знак несчастному страдальцу. Но тот, растерявшись, ничего не видел.

Новоприбывший сделал шаг вперед.

— Юпитер! — сказал он. — Милейший Юпитер!

Но тот не слышал его.

Тогда, потеряв терпение, высокий блондин крикнул ему чуть ли не в самое ухо:

— Мишель Жиборн!

— Кто меня зовет? — как бы внезапно пробудившись от сна, спросил Юпитер.

— Я, — ответил незнакомец в черном.

— А! — произнес Юпитер.

— Начинайте сейчас же! — продолжал тот. — Удовлетворите желание народа. Я берусь умилостивить господина судью, а тот в свою очередь умилостивит господина кардинала.

Юпитер облегченно вздохнул.

— Всемилостивейшие господа горожане, — крикнул он во весь голос толпе, все еще продолжавшей его освистывать, — мы сейчас начнем!

— Evoe, Jupiter! Plaudite, cives![12] — закричали школяры.

— Слава! Слава! — закричала толпа. Раздался оглушительный взрыв рукоплесканий, и даже после того, как Юпитер ушел за занавес, зал все еще дрожал от приветственных криков.

Тем временем незнакомец, столь магически

---

[12] Примечания: 12

Ликуй, Юпитер! Рукоплещите, граждане! *(лат.)*

превративший «бурю в штиль», как говорит наш милый старик Корнель, скромно отступил в полумрак своего каменного столба и, несомненно, по-прежнему остался бы там невидим, недвижим и безмолвен, не окликни его две молодые женщины, сидевшие в первом ряду зрителей и приметившие его беседу с Мишелем Жиборном — Юпитером.

— Мэтр! — позвала его одна из них, делая ему знак приблизиться.

— Потише, милая Лиенарда, — сказала ее соседка, хорошенькая, цветущая, по-праздничному расфранченная девушка, — он не духовное лицо, а светское; к нему следует обращаться не «мэтр», а «мессир».

— Мессир! — повторила Лиенарда.

Незнакомец приблизился к балюстраде.

— Что угодно, сударыни? — учтиво спросил он.

— О, ничего! — смутившись, ответила Лиенарда. — Это моя соседка, Жискета ла Жансьен, хочет вам что-то сказать.

— Да нет же, — зардевшись, возразила Жискета. — Лиенарда окликнула вас «мэтр», а я поправила ее, объяснив, что вас следует назвать «мессир».

Молодые девушки потупили глазки. Незна-

комец, который не прочь был завязать беседу, улыбаясь, глядел на них.

— Итак, вам нечего мне сказать, сударыни?

— О нет, решительно нечего, — ответила Жискета.

— Нечего, — повторила и Лиенарда.

Высокий молодой блондин намеревался было уйти, но две любопытные девушки не желали так легко выпустить свою добычу из рук.

— Мессир, — со стремительностью воды, врывающейся в открытый шлюз, или женщины, принявшей твердое решение, быстро обратилась к нему Жискета, — вам, значит, знаком этот военный, который будет играть роль Пречистой Девы в мистерии?

— Вы желаете сказать — роль Юпитера? — спросил незнакомец.

— О да! — воскликнула Лиенарда. — Какая она дурочка! Вы, значит, знакомы с Юпитером?

— С Мишелем Жиборном? Да, знаком, сударыня.

— Какая у него замечательная борода! — сказала Лиенарда.

— А то, что они сейчас будут представлять, красиво? — застенчиво спросила Жискета.

— Великолепно, сударыня, — без малейшей

запинки ответил незнакомец.

— Что же это будет? — спросила Лиенарда.

— «Праведный суд Пречистой Девы Марии» — моралите, сударыня.

— А! Это другое дело, — сказала Лиенарда.

Последовало краткое молчание. Неизвестный прервал его:

— Это совершенно новое моралите, его еще ни разу не представляли.

— Значит, это не то, которое играли два года тому назад в день прибытия папского посла, когда три хорошенькие девушки изображали…

— Сирен, — подсказала Лиенарда.

— И совершенно обнаженных, — добавил молодой человек.

Лиенарда стыдливо опустила глазки. Жискета, взглянув на нее, последовала ее примеру. Незнакомец, улыбаясь, продолжал:

— То было очень занятное зрелище. А нынче будут представлять моралите, написанное нарочно в честь принцессы Фландрской.

— А будут петь пасторали? — спросила Жискета.

— Фи! — сказал незнакомец. — В моралите? Не нужно смешивать различные жанры. Будь это шуточная пьеса, тогда сколько угодно!

— Жаль, — проговорила Жискета. — А в тот день мужчины и женщины вокруг фонтана Понсо разыгрывали дикарей, они сражались между собой и принимали разные позы, когда пели пасторали и мотеты.

— То, что годится для папского посла, не годится для принцессы, — сухо заметил незнакомец.

— А около них, — продолжала Лиенарда, — было устроено состязание на всяких духовых инструментах, которые исполняли возвышенные мелодии.

— А чтобы гуляющие могли освежиться, — подхватила Жискета, — из трех отверстий фонтана били вино, молоко и сладкая настойка. Пил, кто только хотел.

— А не доходя фонтана Понсо, близ церкви Святой Троицы, — продолжала Лиенарда, — показывали пантомиму «Страсти Господни».

— Отлично помню! — воскликнула Жискета. — Господь Бог на кресте, а справа и слева два разбойника.

Тут молодые болтушки, разгоряченные воспоминаниями о дне прибытия папского посла, затрещали наперебой:

— А немного подальше, близ ворот Живописцев, были еще какие-то нарядно одетые особы.

— А помнишь, как охотник около фонтана Непорочных под оглушительный шум охотничьих рогов и лай собак гнался за козочкой?

— А у парижской бойни были устроены подмостки, которые изображали Дьепскую крепость!

— И помнишь, Жискета, едва папский посол проехал, как эту крепость взяли приступом и всем англичанам перерезали глотки.

— У ворот Шатле тоже были прекрасные актеры!

— И на мосту Менял, который к тому же был весь обтянут коврами!

— А как только посол проехал, то с моста выпустили в воздух более двухсот дюжин всевозможных птиц. Как это было красиво, Лиенарда!

— Сегодня будет еще лучше! — перебил их наконец нетерпеливо внимавший им собеседник.

— Вы ручаетесь, что это будет прекрасная мистерия? — спросила Жискета.

— Несомненно, — ответил он, потом добавил несколько напыщенно: — Я автор этой мистерии, сударыни!

— В самом деле? — воскликнули изумленные девушки.

— В самом деле, — слегка приосаниваясь, от-

ветил поэт, — то есть нас двое: Жеан Маршан, который напилил досок и сколотил театральные подмостки, и я, который написал пьесу. Мое имя — Пьер Гренгуар.

Едва ли сам автор «Сида» с большей гордостью произнес бы: «Пьер Корнель».

Читатели могли заметить, что с той минуты, как Юпитер скрылся за ковром, и до того мгновения, как автор нового моралите столь неожиданно разоблачил себя, к наивному восхищению Жискеты и Лиенарды, прошло немало времени. Примечательный факт: вся эта возбужденная толпа теперь благодушно ожидала начала представления, положившись на слова комедианта. Вот новое доказательство той вечной истины, которая и доныне всякий день подтверждается в наших театрах: лучший способ заставить публику терпеливо ожидать начала представления — это уверить ее, что спектакль начнется незамедлительно.

Однако школяр Жеан не дремал.

— Эй! — закричал он среди всеобщего спокойного ожидания, сменившего прежнюю сумятицу. — Юпитер! Госпожа Богородица! Чертовы фигляры! Вы что же, издеваетесь над нами, что ли? Пьесу! Пьесу! Начинайте, не то мы начнем

сами!

Этой угрозы было достаточно.

Из глубины деревянного сооружения послышались звуки высоких и низких музыкальных инструментов; ковер откинулся. Из-за ковра появились четыре нарумяненные, пестро одетые фигуры. Вскарабкавшись по крутой театральной лестнице на верхнюю площадку, они выстроились перед зрителями в ряд и отвесили по низкому поклону; оркестр умолк. Мистерия началась.

Вознагражденные щедрыми рукоплесканиями за свои поклоны, четыре персонажа пьесы среди воцарившегося благоговейного молчания начали декламировать пролог, от которого мы охотно избавляем читателя. К тому же, как нередко бывает и в наши дни, публику больше развлекали костюмы действующих лиц, чем исполняемые ими роли; и это было справедливо. Все четверо были одеты в наполовину желтые, наполовину белые костюмы, отличавшиеся один от другого лишь качеством ткани: одежда первого была сшита из золотой и серебряной парчи, одежда второго — из шелка, третьего — из шерсти, четвертого — из полотна. Первый в правой руке держал шпагу, второй — два золотых ключа, тре-

тий — весы, четвертый — заступ. А чтобы помочь тем тугодумам, которые, несмотря на всю ясность этих атрибутов, не доискались бы их смысла, на подоле парчового одеяния большими черными буквами было вышито: «Я — дворянство», на подоле шелкового — «Я — духовенство», на подоле шерстяного — «Я — купечество» и на подоле льняного — «Я — крестьянство». Каждый внимательный зритель мог без труда различить среди них две аллегорические фигуры мужского пола — по более короткому платью и по островерхим шапочкам и две женского пола — по длинным платьям и капюшонам на голове.

Лишь очень неблагожелательно настроенный человек не понял бы за поэтическим языком пролога того, что Крестьянство состояло в браке с Купечеством, а Духовенство — с Дворянством и что обе счастливые четы сообща владели великолепным золотым дельфином[13], которого решили присудить красивейшей женщине мира. Итак, они отправились странствовать по свету, разыскивая эту красавицу. Отвергнув королеву Голконды, принцессу Трапезундскую, дочь великого хана татарского и прочих, Крестьянство,

[13] Примечания: 13

Игра слов: по-французски *dauphin* — дельфин и дофин (наследник престола).

Духовенство, Дворянство и Купечество пришли отдохнуть на мраморном столе Дворца правосудия, выкладывая почтенной аудитории такое количество сенсаций, афоризмов, софизмов, определений и поэтических фигур, сколько их полагалось на экзаменах факультета словесных наук при получении звания лиценциата.

Все это было действительно великолепно! Однако ни у кого во всей толпе, на которую четыре аллегорические фигуры взапуски изливали потоки метафор, не было столь внимательного уха, столь трепетного сердца, столь напряженного взгляда, такой вытянутой шеи, как глаз, ухо, шея и сердце автора, поэта, нашего славного Пьера Гренгуара, который несколько минут тому назад не мог устоять перед тем, чтобы не назвать свое имя двум хорошеньким девушкам. Он отошел и стал на свое прежнее место за каменным столбом, в нескольких шагах от них; он внимал, он глядел, он упивался. Отзвук благосклонных рукоплесканий, которыми встретили начало его пролога, еще продолжал звучать у него в ушах, и весь он погрузился в то блаженное созерцательное состояние, в каком автор внимает актеру, с чьих уст одна за другой слетают его мысли среди тишины многочисленной аудитории. О достойный Пьер

Гренгуар!

Хотя нам и грустно в этом сознаться, но блаженство этих первых минут было вскоре нарушено. Едва Пьер Гренгуар пригубил опьяняющую чашу восторга и торжества, как в нее примешалась капля горечи.

Какой-то оборванный нищий, настолько затертый в толпе, что это мешало ему просить милостыню, и не нашедший, по-видимому, достаточного возмещения за понесенный им убыток в карманах соседей, вздумал взобраться на местечко повиднее, желая привлечь к себе и взгляды, и подаяния. Едва лишь послышались первые стихи пролога, как он, вскарабкавшись по столбам возвышения, приготовленного для послов, влез на карниз, окаймлявший нижнюю часть балюстрады, и примостился там, словно взывая своими лохмотьями и отвратительной раной на правой руке к вниманию и жалости зрителей. Впрочем, он не произносил ни слова.

Покуда он молчал, действие пролога развивалось беспрепятственно, и никакого ощутимого беспорядка не произошло бы, если б, на беду, школяр Жеан с высоты своего столба не заметил нищего и его гримас. Безумный смех разобрал молодого повесу, и он, не заботясь о том, что

прерывает представление и нарушает всеобщую сосредоточенность, задорно крикнул:

— Поглядите-ка на этого хиляка! Он просит милостыню!

Тот, кому случалось бросить камень в болото с лягушками или выстрелом из ружья вспугнуть стаю птиц, легко вообразит себе, какое впечатление вызвали эти неуместные слова среди аудитории, внимательно следившей за представлением. Гренгуар вздрогнул, словно его ударило электрическим током. Пролог оборвался на полуслове, и все головы повернулись к нищему, а тот, нисколько не смутившись и видя в этом происшествии лишь подходящий случай собрать жатву, полузакрыл глаза и со скорбным видом затянул:

— Подайте Христа ради!

— Вот тебе раз! — продолжал Жеан. — Да ведь это Клопен Труйльфу, клянусь душой! Эй, приятель! Должно быть, твоя рана на ноге здорово тебе мешала, если ты ее перенес на руку?

И тут же он с обезьяньей ловкостью швырнул мелкую серебряную монету в засаленную шапку нищего, которую тот держал в своей больной руке. Не сморгнув, нищий принял и подачку и издевку и продолжал жалобным тоном:

— Подайте Христа ради!

Это происшествие сильно развлекло зрителей; добрая половина их, во главе с Робеном Пуспеном и всеми школярами, принялась весело рукоплескать этому своеобразному дуэту, исполняемому в середине пролога крикливым голосом школяра и невозмутимо-монотонным напевом нищего.

Гренгуар был очень недоволен. Оправившись от изумления, он, даже не удостоив презрительным взглядом двух нарушителей тишины, изо всех сил закричал актерам:

— Продолжайте, черт возьми! Продолжайте!

В эту минуту он почувствовал, что кто-то потянул его за полу камзола. Досадливо обернувшись, он едва мог заставить себя улыбнуться. А нельзя было не улыбнуться. Это Жискета ла Жансьен, просунув свою хорошенькую ручку сквозь решетку балюстрады, старалась таким способом привлечь его внимание.

— Сударь, — спросила молодая девушка, — а разве они будут продолжать?

— Конечно, — весьма обиженный подобным вопросом, ответил Гренгуар.

— В таком случае, мессир, — попросила она, — будьте столь любезны, объясните мне…

— То, что они будут говорить? — прервал ее

Гренгуар. — Извольте. Итак…

— Да нет же, — сказала Жискета, — объясните мне, что они говорили до сих пор.

Гренгуар подскочил, подобно человеку, у которого задели открытую рану.

— Черт побери эту тупоголовую дуру! — пробормотал он сквозь зубы.

С этой минуты Жискета сильно потеряла в его мнении.

Между тем актеры вняли его настояниям, и публика, увидев, что они стали декламировать, принялась их слушать, хотя вследствие происшествия, столь неожиданно разделившего пролог на две части, она упустила множество красот пьесы. Гренгуар с горечью думал об этом. Все же мало-помалу воцарилась тишина, школяр умолк, нищий пересчитывал монеты в своей шапке, и пьеса пошла своим чередом.

В сущности, это было великолепное произведение, и мы находим, что с некоторыми поправками им можно при желании воспользоваться и в наши дни. Фабула его, несколько растянутая и бессодержательная, что было в порядке вещей в те времена, отличалась простотой, и Гренгуар в глубине души чистосердечно восхищался ее ясностью. Само собой разумеется, что четыре

аллегорических персонажа, не найдя возможности приличным образом отделаться от своего золотого дельфина, слегка утомились, объехав три части света. Затем следовало похвальное слово чудо-рыбе, заключавшее в себе тысячу деликатных намеков на юного жениха Маргариты Фландрской, который тогда скучал один в своем Амбуазском замке, нимало не подозревая, что Крестьянство и Духовенство, Дворянство и Купечество ради него объездили весь свет. Итак, упомянутый дельфин был молод, был прекрасен, был могуч, а главное (вот чудесный источник всех королевских добродетелей!), он был сыном льва Франции. Я утверждаю, что эта смелая метафора очаровательна и что в день, посвященный аллегориям и эпиталамам в честь королевского бракосочетания, естественная история, процветающая на театральных подмостках, нисколько не бывает смущена тем, что лев породил дельфина. Столь редкостное и высокопарное сравнение свидетельствует лишь о поэтическом восторге. При всем том, с точки зрения критики, следует отметить, что поэту для развития этой великолепной мысли двухсот стихов было многовато. Правда, по распоряжению господина прево мистерии надлежало длиться с полудня до четырех часов, и

надо же было актерам что-то говорить. Впрочем, толпа слушала терпеливо.

Внезапно в самый разгар ссоры между барышней Купечеством и госпожой Дворянством, в то время когда дядюшка Крестьянство произносил следующие изумительные стихи:

Нет, царственней его не видывали зверя, —

дверь почетного возвышения, до сих пор оставшаяся так некстати закрытой, еще более некстати распахнулась и звучный голос привратника провозгласил:

— Его высокопреосвященство монсеньор кардинал Бурбонский.

III. Кардинал

Бедный Гренгуар! Треск огромных двойных петард в Иванов день, залп двадцати крепостных аркебуз, выстрел знаменитой кулеврины на башне Бильи, из которой в воскресенье 29 сентября 1465 года, во время осады Парижа, было убито одним ударом семь бургундцев, взрыв порохового склада у ворот Тампль — все это не столь сильно оглушило бы его в такую торжественную и драматическую минуту, как эта короткая фраза привратника: «Его высокопреосвященство монсеньор кардинал Бурбонский!»

И отнюдь не потому, что Пьер Гренгуар боялся или презирал монсеньора кардинала. Он не был подвержен ни подобному малодушию, ни подобному высокомерию. Истый эклектик, как выражаются ныне, Гренгуар принадлежал к числу тех возвышенных и твердых, уравновешенных и спокойных духом людей, которые умеют во всем придерживаться золотой середины, stare in dimidio rerum, всегда здраво рассуждают и склонны к либеральной философии, отдавая в то же время должное кардиналам. Эта ценная, никогда не вымирающая порода философов, казалось,

получила от мудрости, сей новой Ариадны, клубок нитей, который, разматываясь, ведет их от Сотворения мира сквозь лабиринт всех дел человеческих. Они существуют во все времена и эпохи и всегда одинаковы, то есть всегда соответствуют своему времени. Оставив в стороне нашего Пьера Гренгуара, который, если бы нам удалось дать его истинный образ, был бы их представителем в XV веке, мы должны сказать, что именно их дух вдохновлял отца дю Бреля, когда он в XVI столетии писал следующие божественно-наивные, достойные перейти из века в век строки: «Я парижанин по рождению и „парижанин“ по манере говорить, ибо „parrhisia“ по-гречески означает „свобода слова“, коей я и докучал даже монсеньорам кардиналам, дяде и брату монсеньора принца Конти, но всегда с полным уважением к их высокому сану и не оскорбляя никого из их свиты, а это уже немалая заслуга».

Итак, в том неприятном впечатлении, которое произвело на Пьера Гренгуара появление кардинала, не было ни личной ненависти к кардиналу, ни пренебрежения к его присутствию. Напротив, наш поэт, обладая слишком большой дозой здравого смысла и слишком изношенным камзолом, придавал особое значение тому, что-

бы его намеки в прологе, особенно же похвалы, расточаемые в нем по адресу дофина, сына льва Франции, дошли до святейшего слуха. Но отнюдь не корысть преобладает в благородной натуре поэтов. Я полагаю, что если сущность поэта может быть обозначена числом десять, то какой-нибудь химик, анализируя и фармакополизируя ее, как выражается Рабле, вероятно, нашел бы в ней одну десятую корыстолюбия на девять десятых самолюбия. В ту минуту, когда двери распахнулись, пропуская кардинала, эти девять десятых самолюбия Гренгуара, распухнув и вздувшись под действием народного восхищения, достигли таких удивительных размеров, что совершенно придушили собой ту неприметную молекулу корыстолюбия, которую мы только что обнаружили в натуре поэтов. Впрочем, молекула эта весьма драгоценна, так как она представляет собой тот балласт реальности и человеческой природы, без которого поэты не могли бы коснуться земли. Гренгуар наслаждался, ощущая, наблюдая и, так сказать, осязая все это сборище, состоящее, правда, из бездельников, но зато оцепеневших от изумления, словно захлебнувшихся в потоках нескончаемых тирад, которые всякую минуту изливались из каждой части его эпиталамы. Я

утверждаю, что Гренгуар разделял всеобщий восторг и, в противоположность Лафонтену, который на представлении своей комедии «Флорентинец» спросил: «Что за невежда сочинил эти бредни?» — наш поэт охотно осведомился бы у соседа: «Кем написан этот шедевр?» И потому легко представить себе то действие, какое на него должно было произвести внезапное и несвоевременное появление кардинала.

Опасения Гренгуара оправдались полностью. Прибытие его высокопреосвященства взбудоражило аудиторию. Все головы повернулись к возвышению. Поднялся оглушительный шум. «Кардинал! Кардинал!» — повторяли тысячи уст. Злополучный пролог был прерван вторично.

Кардинал помедлил минуту у ступенек, ведущих на возвышение. Пока он окидывал довольно равнодушным взором толпу, всеобщее возбуждение усилилось. Каждому хотелось разглядеть кардинала. Каждый старался поднять голову выше плеча соседа.

Воистину это было высокопоставленное лицо, созерцание которого стоило любых прочих зрелищ. Карл, кардинал Бурбонский, архиепископ и граф Лионский, примас Галльский, был одновременно связан родственными узами с

Людовиком XI через своего брата Пьера, сеньора Божё, женатого на старшей дочери короля, и с Карлом Смелым через свою мать Агнессу Бургундскую. Отличительными, коренными чертами характера примаса Галльского были гибкость царедворца и раболепие перед власть имущими. Легко вообразить себе те многочисленные затруднения, которые ему доставляло это двойное родство, и все те подводные камни светской жизни, между которыми его умственный челн вынужден был лавировать, дабы не разбиться, налетев на Людовика или на Карла — этих Сциллу и Харибду, уже поглотивших герцога Немурского и коннетабля Сен-Поля. Милостью Неба кардинал сумел благополучно разделаться с этим путешествием и беспрепятственно достигнуть Рима, то есть кардинальской мантии. Но хотя он и находился в гавани, или, точнее говоря, именно потому, что он находился в гавани, он не мог спокойно вспоминать о превратностях своей долгой политической карьеры, исполненной тревог и трудов. И он часто повторял, что 1476 год был для него «черным и белым», подразумевая под этим, что в один и тот же год он лишился матери, герцогини Бурбонской, и своего двоюродного брата, герцога Бургундского, и что одна утрата смягчила

для него горечь другой.

Впрочем, он был человек добродушный, вел веселую жизнь, охотно попивал вино из королевских виноградников Шальо, благосклонно относился к Ришарде де Гармуаз и к Томасе ла Сальярд, охотнее подавал милостыню хорошеньким девушкам, нежели старухам, и за все это был любим простонародьем Парижа. Обычно он появлялся в сопровождении целого штата знатных епископов и аббатов, любезных, веселых, всегда согласных покутить; и не раз почтенные прихожанки Сен-Жермен д'Озэр, проходя вечером мимо ярко освещенных окон Бурбонского дворца, возмущались, слыша, как те же самые голоса, которые только что служили вечерню, теперь под звон бокалов тянули «Bibamus papaliter»[14], вакхическую песню папы Бенедикта XII, прибавившего третью корону к тиаре.

Вероятно, благодаря именно этой популярности, вполне им заслуженной, кардинал при своем появлении избежал враждебного приема со стороны шумной толпы, выражавшей такое недовольство всего лишь несколько минут назад и весьма мало расположенной отдавать дань

---

[14] Примечания: 14
Будем пить, как папа *(лат.)*.

уважения кардиналу в тот самый день, когда ей предстояло избрать папу. Но парижане — народ незлопамятный; к тому же, самовольно заставив начать представление, добрые горожане сочли, что они как бы восторжествовали над кардиналом, и были вполне удовлетворены. Вдобавок ко всему кардинал Бурбонский был красавец-мужчина в великолепной пурпурной мантии, которую он умел носить с большим изяществом, а это значило, что все женщины, иначе говоря, добрая половина зала, были на его стороне. Ведь несправедливо и бестактно ошикать кардинала только за то, что он опоздал и этим задержал начало спектакля, когда он красавец-мужчина и с таким изяществом носит свою пурпурную мантию!

Итак, кардинал вошел, улыбнулся присутствующим той унаследованной от своих предшественников улыбкой, которою сильные мира сего приветствуют толпу, и медленно направился к своему креслу, обитому алым бархатом, размышляя, по-видимому, о чем-то совершенно постороннем. Сопровождавший его кортеж епископов и аббатов, или, как сказали бы теперь, его генеральный штаб, вторгся за ним на возвышение, усилив еще больше шум и любо-

пытство толпы. Всякий хотел указать, назвать, дать понять, что знает хоть одного из них: кто — Алоде, епископа Марсельского, если ему не изменяет память; кто — настоятеля аббатства Сен-Дени; кто — Робера де Леспинаса, аббата Сен-Жермен-де-Пре, этого распутного брата фаворитки Людовика XI; при этом возникало много путаницы и шумных споров. Что же касается школяров, то они сквернословили. Это был их день, их шутовской праздник, их сатурналии, ежегодная оргия корпораций писцов и школяров. Любая непристойность считалась сегодня законной и священной. А к тому же в толпе находились такие шальные бабенки, как Симона Четыре Фунта, Агнесса Треска, Розина Козлоногая. Как же не посквернословить в свое удовольствие и не побогохульствовать в такой день, как сегодня, и в такой честной компании, как духовные особы и веселые девицы? И они не зевали; среди всеобщего гама звучал ужасающий концерт ругательств, непристойностей, исполняемый школярами и писцами, распустившими языки, которые в течение всего года сдерживались страхом перед раскаленным железом святого Людовика. Бедный святой Людовик! Как они глумились над ним в его собственном Дворце правосудия! Среди вновь

появлявшихся на возвышении духовных особ каждый школяр намечал себе жертву — черную, серую, белую или лиловую рясу. Что до Жеана Фролло де Молендино, то он, как брат архидьякона, избрал себе мишенью красную мантию и дерзко напал на нее. Устремив на кардинала бесстыжие глаза, он орал что есть мочи:

— Cappa repleta mero![15]

Все эти выкрики, которые мы приводим здесь без прикрас в назидание читателю, настолько заглушались всеобщим шумом, что тонули в нем, не достигнув парадного помоста. Впрочем, всякого рода вольности в этот день настолько вошли в обычай, что мало трогали кардинала. К тому же у него была иная забота, и это ясно отражалось на его лице, — эта забота преследовала его по пятам и почти одновременно с ним взошла на помост: то было фламандское посольство.

Кардинал не был дальновидным политиком; его мало беспокоили последствия брака его кузины Маргариты Бургундской и его кузена Карла, дофина Вьенского; его весьма мало тревожило и то, как долго продлится столь непрочное «доброе согласие» между герцогом Австрийским и

---

[15] Примечания: 15
Ряса, напитанная вином! *(лат.)*

королем Франции и как отнесется король Англии к пренебрежению, которое выказали его дочери. Он каждый вечер спокойно попивал королевское вино из виноградников Шальо, нимало не подозревая, что несколько бутылок этого вина (правда, чуть-чуть разбавленного и подправленного доктором Куактье), радушно предложенные Эдуарду IV Людовиком XI, в одно прекрасное утро избавят Людовика XI от Эдуарда IV. «Достопочтенное посольство господина герцога Австрийского» не причиняло кардиналу ни одной из вышеупомянутых забот, но тяготило его в ином отношении. И в самом деле, было все же тяжко, как мы упомянули об этом уже выше, ему, Карлу Бурбонскому, быть принужденным чествовать каких-то мещан; ему, кардиналу, — любезничать с какими-то старшинами; ему, французу, веселому сотрапезнику на пирах, — угощать каких-то фламандцев, пивохлёбов; и все это проделывать на людях! Несомненно, это была одна из самых отвратительных личин, какую ему когда-либо приходилось надевать на себя в угоду королю.

Но едва лишь привратник звучным голосом провозгласил: «Господа послы герцога Австрийского», он с самым любезным видом (настолько

он изучил это искусство) повернулся к входной двери. Нечего и говорить, что его примеру последовали все остальные.

Тогда попарно, со степенной важностью, представлявшей разительный контраст с оживлением церковной свиты Карла Бурбонского, появились сорок восемь посланников Максимилиана Австрийского, возглавляемые преподобным отцом Иоанном, аббатом Сен-Бертенским, канцлером ордена Золотого Руна, и Иаковом де Гуа, сьёром Доби, верховным судьей города Гента.

В зале воцарилась глубокая тишина, лишь изредка прерываемая заглушенным смехом, когда привратник, коверкая и путая, выкрикивал странные имена и гражданские звания, невозмутимо сообщаемые ему каждым из новоприбывших фламандцев. Тут были: мэтр Лоис Рёлоф, городской старшина Лувена, мессир Клане Этюэльд, старшина Брюсселя, мессир Пауль Баёст, сьёр Вуармизель, представитель Фландрии, мэтр Жеан Колегенс, бургомистр Антверпена, мэтр Георг де ла Мер, первый старшина города Гента, мэтр Гельдольф ван дер Хаге, старшина землевладельцев того же города, и сьёр Бирбек, и Жеан Пиннок, и Жеан Димерзель и т. д. — судьи, старшины, бургомистры; бургомистры, старшины,

судьи — все, как один, важные, неповоротливые, чопорные, разряженные в бархат и штоф, в черных бархатных шапочках, украшенных кистями из золотых кипрских нитей. Однако у всех у них были славные фламандские лица, исполненные строгости и достоинства, родственные тем, чьи сильные тяжелые черты выступают на темном фоне «Ночного дозора» Рембрандта. Это были люди, всем своим видом как бы подтверждавшие правоту Максимилиана Австрийского, положившегося «всецело», как сказано было в его манифесте, на их «здравый смысл, мужество, опытность, честность и предусмотрительность».

За исключением, впрочем, одного. У этого было тонкое, умное, лукавое лицо — мордочка обезьяны и дипломата одновременно. Кардинал сделал три шага к нему навстречу и, несмотря на то что тот носил негромкое имя «Гильом Рим, советник и первый сановник города Гента», низко ему поклонился.

Лишь немногим было известно тогда, что представлял собою Гильом Рим. Человек редкого ума, способный в революционную эпоху оказаться на гребне событий и блестяще проявить себя, он в XV веке обречен был на подпольные интриги и, как выразился герцог Сен-Симон, «на существо-

вание в подкопах». Тем не менее он был оценен самым выдающимся «подкопных дел мастером» Европы: он интриговал заодно с Людовиком XI и нередко прилагал руку к секретным делам короля. Но ничего не подозревала толпа, изумленная необычайным вниманием кардинала к этому невзрачному фламандскому советнику.

IV. Мэтр Жак Копеноль

Когда первый сановник города Гента и его высокопреосвященство, отвешивая друг другу глубокие поклоны, обменивались произносимыми вполголоса любезностями, какой-то человек высокого роста, широколицый и широкоплечий, выступил вперед, намереваясь войти вместе с Гильомом Римом; он напоминал бульдога в паре с лисой. Его войлочная шляпа и кожаная куртка казались грязным пятном среди окружающих его шелка и бархата. Полагая, что это какой-нибудь случайно затесавшийся сюда конюх, привратник преградил ему дорогу.

— Эй, приятель! Сюда нельзя!

Человек в кожаной куртке оттолкнул его плечом.

— Чего этому болвану от меня нужно? — спросил он таким громким голосом, что весь зал обратил внимание на этот странный разговор. — Ты что, не видишь, кто я такой?

— Ваше имя? — спросил привратник.

— Жак Копеноль.

— Ваше звание?

— Чулочник в Генте, владелец лавки под вы-

веской «Три цепочки».

Привратник попятился. Докладывать о старшинах, о бургомистрах еще куда ни шло, но о чулочнике — это уж чересчур! Кардинал был словно на иголках. Толпа прислушивалась и глазела. Целых два дня его преосвященство старался, как только мог, обтесать этих фламандских бирюков, чтобы они имели более представительный вид, и вдруг эта грубая, резкая выходка. Между тем Гильом Рим приблизился к привратнику и с тонкой улыбкой еле слышно шепнул ему:

— Доложите: мэтр Жак Копеноль, секретарь совета старшин города Гента.

— Привратник, — повторил кардинал громким голосом, — доложите: мэтр Жак Копеноль, секретарь совета старшин славного города Гента.

Это была оплошность. Гильом Рим, действуя самостоятельно, сумел бы уладить дело, но Копеноль услышал слова кардинала.

— Нет, крест честной! — громовым голосом воскликнул он. — Жак Копеноль, чулочник! Слышишь, привратник? Ни больше ни меньше! Чулочник! Чем это плохо? Сам господин эрцгерцог не раз прикладывал перчатку к моим чулкам.

Раздался взрыв хохота и рукоплесканий. Пари-

жане умеют сразу понять шутку и оценить ее по достоинству.

Добавьте к тому же, что Копеноль был простолюдин, как и те, что его окружали. Поэтому сближение между ними установилось быстро, молниеносно и совершенно естественно. Высокомерная выходка фламандского чулочника, унизившего придворных вельмож, пробудила в этих простых душах чувство собственного достоинства, столь смутное и неопределенное в XV веке. Он был им ровня, этот чулочник, дающий отпор кардиналу, — сладостное утешение для бедняг, приученных с уважением подчиняться даже слуге судебного пристава, подчиненного судье, в свою очередь подчиненного настоятелю аббатства Святой Женевьевы — шлейфоносцу кардинала.

Копеноль гордо поклонился его высокопреосвященству, и тот вежливо отдал поклон всемогущему горожанину, внушавшему страх даже Людовику XI. Гильом Рим, «человек проницательный и лукавый», как отзывался о нем Филипп де Комин, насмешливо и с чувством превосходства следил, как они отправлялись на свои места — кардинал смущенный и озабоченный, Копеноль спокойный и надменный. Последний,

конечно, размышлял о том, что, в конце концов, звание чулочника ничем не хуже любого иного и что Мария Бургундская, мать той самой Маргариты, которую он, Копеноль, сейчас выдавал замуж, гораздо менее опасалась бы его, будь он кардиналом, а не чулочником. Ведь не кардинал взбунтовал жителей Гента против фаворитов дочери Карла Смелого; не кардинал несколькими словами вооружил толпу против слез и молений принцессы Фландрской, явившейся к самому подножию эшафота с просьбой к своему народу пощадить ее любимцев. А торговец чулками только поднял свою руку в кожаном нарукавнике, и ваши головы, сиятельные сеньоры Гюи д'Эмберкур и канцлер Гильом Гугоне, слетели с плеч!

Однако неприятности многострадального кардинала еще не кончились, и ему пришлось до дна испить чашу горечи, попав в столь дурное общество.

Читатель, быть может, не забыл еще нахального нищего, который, едва только начался пролог, вскарабкался на карниз кардинальского помоста. Прибытие именитых гостей отнюдь не заставило его покинуть свой пост, и в то время как прелаты и послы набились в места, отведенные им на возвышении, точно настоящие фламандские сельди

в бочонок, он устроился поудобнее и спокойно скрестил ноги на архитраве. То была неслыханная дерзость, но в первую минуту никто не приметил этого, так как все были заняты другим. Казалось, нищий тоже не замечал происходящего в зале и беспечно, как истый неаполитанец, покачивая головой среди всеобщего шума, тянул по привычке: «Сотворите милостыню!»

Нет сомнения, что только он один из всего собрания не соблаговолил повернуть голову к препиравшимся привратнику и Копенолю. Но случаю было угодно, чтобы достойный чулочник города Гента, к которому толпа почувствовала такое расположение и на которого устремлены были все взоры, сел в первом ряду на помосте, как раз над тем местом, где приютился нищий. Каково же было всеобщее изумление, когда фламандский посол, пристально взглянув на этого пройдоху, расположившегося возле него, дружески хлопнул его по прикрытому рубищем плечу. Нищий обернулся; оба удивились, узнали друг друга, и их физиономии просияли; затем, нимало не заботясь о зрителях, чулочник и нищий принялись перешептываться, держась за руки, причем лохмотья Клопена Труйльфу, раскинутые на золотистой парче возвышения, напоминали

гусеницу на апельсине.

Необычность этой странной сцены вызвала такой взрыв безудержного веселья и оживления среди публики, что кардинал не замедлил обратить на это внимание. Слегка наклонившись и лишь смутно различая со своего места омерзительное одеяние Труйльфу, он решил, что нищий просит милостыню, и, возмущенный такой наглостью, воскликнул:

— Господин старший судья, бросьте-ка этого негодяя в реку!

— Крест честной! Высокочтимый господин кардинал, — не выпуская руки Клопена, сказал Копеноль, — да ведь это мой приятель.

— Слава! Слава! — заревела толпа. И с этой минуты мэтр Копеноль в Париже, как и в Генте, «снискал великое доверие народа, ибо люди такого склада, — говорит Филипп де Комин, — обычно им пользуются, когда ведут себя столь бесчинно».

Кардинал закусил губу. Наклонившись к своему соседу, настоятелю аббатства Святой Женевьевы, он проговорил вполголоса:

— Странных, однако, послов отправил к нам эрцгерцог, чтобы возвестить о прибытии принцессы Маргариты.

— Вы слишком любезны с этими фламандскими свиньями, ваше высокопреосвященство. Margaritas ante porcos[16].

— Но это скорее porcos ante Margaritam[17], — ответил, улыбаясь, кардинал.

Свита в сутанах пришла в восторг от этого каламбура. Кардинал почувствовал себя несколько утешенным: он сквитался с Копенолем — его каламбур имел неменьший успех.

Теперь позволим себе задать вопрос тем из наших читателей, которые, как ныне принято говорить, одарены способностью обобщать образы и идеи: вполне ли отчетливо они представляют себе зрелище, которое являет собой в эту минуту обширный параллелограмм большого зала Дворца правосудия? Посреди зала, у западной стены, широкий и роскошный помост, обтянутый золотой парчой, куда через маленькую стрельчатую дверку одна за другой выходят важные особы, имена которых пронзительным голосом торжественно выкликает привратник. На передних скамьях уже разместилось множе-

---

[16] Примечания: 16

Не мечите жемчуга (бисера) перед свиньями *(лат.)*.

[17] Примечания: 17

Свиней перед жемчугом *(лат.)*. Игра слов: *Margarita* — по-латыни жемчужина; *Marguerite* — по-французски и Маргарита, и жемчужина.

ство почтенных фигур, закутанных в горностай, бархат и пурпур. Вокруг этого возвышения, где царят тишина и благоприличие, под ним, перед ним, всюду — невероятная давка и невероятный шум. Тысячи взглядов устремлены на каждого сидящего на возвышении, тысячи уст шепчут каждое имя. Поистине это зрелище отменно любопытное и вполне заслуживающее внимания зрителей. Но там, в конце зала, что означает это подобие подмостков, на которых извиваются восемь раскрашенных марионеток — четыре наверху и четыре внизу? И кто же этот бледный человек в черном потертом камзоле, что стоит возле подмостков? Увы, дорогой читатель, это Пьер Гренгуар и его пролог!

Мы о нем совершенно позабыли!

А именно этого-то он и опасался.

С той минуты, как появился кардинал, Гренгуар не переставал хлопотать о спасении своего пролога. Прежде всего он приказал замолкшим было исполнителям продолжать и говорить погромче; затем, видя, что их никто не слушает, он остановил их и в течение перерыва, длившегося около четверти часа, не переставал топать ногами, бесноваться, взывать к Жискете и Лиенарде, подстрекать своих соседей, чтобы те

требовали продолжения пролога; но все было тщетно. Никто не сводил глаз с кардинала, послов и возвышения, где, как в фокусе, скрещивались взгляды всего огромного кольца зрителей. Кроме того, надо думать — и мы упоминаем об этом с прискорбием, — что пролог стал уже несколько надоедать слушателям, когда его высокопреосвященство кардинал своим появлением столь безжалостно прервал его. Наконец, на помосте, обтянутом золотой парчой, разыгрывался тот же спектакль, что и на мраморном столе, — борьба между Крестьянством и Духовенством, Дворянством и Купечеством. И большинство зрителей предпочитало видеть их запросто, в действии, подлинных, дышащих, толкающихся, облеченных в плоть и кровь, среди фламандского посольства и епископского двора, в мантии кардинала или куртке Копеноля, нежели под видом раскрашенных, выфранченных, изъясняющихся стихами и похожих на соломенные чучела актеров в белых и желтых туниках, которые напялил на них Гренгуар.



Впрочем, когда наш поэт заметил, что шум несколько утих, он придумал хитрость, которая могла бы спасти положение.

— Сударь, — обратился он к своему соседу, добродушному толстяку, лицо которого выражало терпение, — а не начать ли сначала?

— Что начать? — спросил сосед.

— Да мистерию, — ответил Гренгуар.

— Как вам будет угодно, — согласился сосед.

Этого полуодобрения оказалось достаточно для Гренгуара, и он, взяв на себя дальнейшие заботы, замешавшись поглубже в толпу, изо всех сил принялся кричать: «Начинайте сначала мистерию, начинайте сначала!»

— Черт возьми, — сказал Жоаннес де Молендино, — что это они там распевают в конце зала? (Гренгуар шумел и орал за четверых.) Послушайте, друзья, разве мистерия не окончилась? Они хотят начать ее сначала! Это несправедливо!

— Несправедливо! Несправедливо! — завопили школяры. — Долой мистерию! Долой!

Но Гренгуар, надрываясь, кричал еще сильнее: «Начинайте! Начинайте!»

Наконец эти крики привлекли внимание кардинала.

— Господин старший судья, — обратился он к стоявшему в нескольких шагах от него высокому человеку в черном, — чего эти бездельники подняли такой вой, словно бесы перед заутреней?

Дворцовый судья был чем-то вроде чиновника-амфибии, какой-то разновидностью летучей мыши в судейском сословии; он одновременно был похож на крысу и на птицу, на судью и на солдата.

Он приблизился к его преосвященству и, хотя сильно боялся вызвать его неудовольствие, все же, заикаясь, объяснил причину непристойного поведения толпы: полдень пожаловал до прибытия его высокопреосвященства, и актеры были вынуждены начать представление, не дождавшись его высокопреосвященства.

Кардинал расхохотался.

— Клянусь честью, — воскликнул он, — ректору Университета следовало поступить точно так же! Как вы полагаете, мэтр Гильом Рим?

— Монсеньор, — ответил Гильом Рим, — удовольствуемся тем, что нас избавили от половины представления. Мы, во всяком случае, в выигрыше.

— Дозволит ли ваше высокопреосвященство этим бездельникам продолжать свою комедию? — спросил судья.

— Продолжайте, продолжайте, — ответил кардинал, — мне все равно. Я тем временем почитаю требник.

Судья подошел к краю помоста и, водворив движением руки тишину, провозгласил:

— Горожане, селяне и парижане, желая удовлетворить как тех, кто требует, чтобы представление начали с самого начала, так и тех, кто требует, чтобы его прекратили, его высокопреосвященство приказывает продолжать.

Обе стороны принуждены были покориться. Но и автор, и зрители еще долго хранили в душе обиду на кардинала.

Итак, персонажи на сцене вновь принялись за свои разглагольствования, и Гренгуар стал уповать, что хоть конец его произведения будет выслушан. Но и эта надежда не замедлила обмануть его, как и другие его мечты. В аудитории действительно установилась более или менее сносная тишина, но Гренгуар не заметил, что в ту минуту, когда кардинал дозволил продолжать представление, места на возвышении были далеко еще не все заняты и что вслед за фламандскими гостями появились другие участники торжественной процессии, чьи имена и звания, возвещаемые монотонным голосом привратника, врезались в его диалог, внося изрядную путаницу. И в самом деле, вообразите себе, что во время представления визгливый голос привратника

ника вставляет между двумя стихами, а нередко и между двумя полустишиями такие отступления:

— Мэтр Жак Шармолю, королевский прокурор в духовном суде!

— Жеан де Гарле, дворянин, исполняющий должность начальника ночной стражи города Парижа!

— Мессир Галио де Женуалак, рыцарь сеньор де Брюсак, начальник королевской артиллерии!

— Мэтр Дре-Рагье, инспектор королевских лесов, вод и французских земель Шампани и Бри!

— Мессир Луи де Гравиль, рыцарь, советник и камергер короля, адмирал Франции, хранитель Венсенского леса!

— Мэтр Дени де Мерсье, смотритель убежища для слепых в Париже! — И т. д. и т. д.

Это становилось нестерпимым.

Столь странный аккомпанемент, мешавший следить за ходом действия, тем сильнее возмущал Гренгуара, что интерес зрителей к пьесе должен был, как ему казалось, все возрастать; его произведению недоставало лишь одного — внимания слушателей. И действительно, трудно вообразить себе более замысловатое и драматическое сплетение. В то время когда четыре героя пролога скорбели о своем столь затруднительном

положении, вдруг перед ними предстала сама Венера, vera incessu patuit dea[18], одетая в прелестную тунику, на которой был вышит корабль — герб города Парижа. Она явилась требовать дофина, обещанного прекраснейшей женщине в мире. Юпитер, громы которого грохочут в одевальной, поддерживает требование богини, и она уже готова увести дофина за собой, то есть попросту выйти за него замуж, как вдруг юная девушка в белом шелковом платье с маргариткой в руке (прозрачный намек на Маргариту Фландрскую) явилась оспаривать победу Венеры. Внезапная перемена и осложнение. После долгих пререканий Венера, Маргарита и прочие решают обратиться к суду Пречистой Девы. В пьесе была еще одна прекрасная роль — Дона Педро, короля Месопотамии, но из-за бесчисленных перерывов весьма трудно было уразуметь, на что он там был нужен. Все эти действующие лица взбирались на сцену по приставной лестнице.

Но все было напрасно, ни одна из красот пьесы никем не была понята и оценена. Казалось, с той минуты, как прибыл кардинал, какая-то невидимая волшебная нить внезапно притянула все

---

[18] Примечания: 18
В поступи явно сказалась богиня *(лат.)*.

взоры от мраморного стола к возвышению, от южного конца зала к западному. Ничто не могло разрушить чары, овладевшие аудиторией. Все глаза были устремлены туда; вновь прибывающие гости, их проклятые имена, их физиономии, одежда непрестанно отвлекали зрителей. Это было нестерпимо! За исключением Жискеты и Лиенарды, которые время от времени, когда Гренгуар дергал их за рукав, оборачивались к сцене, да терпеливого толстяка-соседа никто не слушал, никто не смотрел злополучное, всеми покинутое моралите. Гренгуар со своего места видел лишь профили зрителей.

С какой горечью наблюдал он, как постепенно разваливалось сооруженное им здание славы и поэзии! И подумать только, что еще недавно вся эта толпа, горя нетерпением поскорее услышать его мистерию, готова была взбунтоваться против самого судьи! Теперь, когда ее желание исполнено, она не обращает на пьесу никакого внимания. На ту самую пьесу, начало которой столь единодушно приветствовала! Вот он, вечный закон прилива и отлива народного благоволения! А за минуту до этого толпа чуть не повесила стражу суда! Чего бы не дал Гренгуар, чтобы воротить это сладостное мгновение!

Нудный монолог привратника, однако, окончился; все уже собрались, и Гренгуар вздохнул свободно. Комедианты снова мужественно принялись декламировать. Но тут встает чулочник, мэтр Копеноль, и среди всеобщего напряженного молчания произносит ужасную речь:

— Господа горожане и дворяне Парижа, клянусь Богом, я не понимаю, что все мы тут делаем. Я вижу вон на тех подмостках, в углу, каких-то людей, которые, видимо, собираются драться. Не знаю, может быть, это и есть то самое, что у вас называется «мистерией», но я не вижу здесь ничего занятного. Эти люди только треплют языком, и ничего больше! Вот уж четверть часа, как я жду драки, а они ни с места! Это трусы, которые умеют только браниться. Вам следовало бы выписать сюда бойцов из Лондона или Роттердама, тогда бы дело пошло как надо. Посыпались бы такие кулачные удары, что их слышно было бы даже на площади! А эти — никудышный народ. Пусть уж лучше пропляшут какой-нибудь мавританский танец или выкинут что-нибудь забавное. Это совсем непохоже на то, что мне говорили. Мне обещали показать празднество шутов и избрание шутовского папы. У нас в Генте есть тоже свой папа шутов, в этом мы не отстаем от других, крест

честной! Но мы делаем так. Собирается такая же толпа, как и здесь. Потом каждый по очереди просовывает голову в какое-нибудь отверстие и корчит при этом гримасу. Тот, у кого, по признанию всех, она получится самой безобразной, выбирается папой. Вот и все. Это очень забавно. Не желаете ли избрать папу шутов по обычаю моей родины? Во всяком случае это будет повеселее, чем слушать этих болтунов. Если же они захотят погримасничать, то можно и их принять в игру. Ваше мнение, граждане! Среди нас достаточно причудливых образчиков обоего пола, чтобы посмеяться над ними по-фламандски, и изрядное количество уродов, от которых можно ожидать отменных гримас!

Гренгуар собрался было ответить, но изумление, гнев, негодование сковали ему язык. К тому же предложение ставшего уже популярным чулочника было так восторженно встречено толпой, польщенной титулом «дворяне», что всякое сопротивление было бесполезно. Ему ничего не оставалось делать, как отдаться течению. Гренгуар закрыл лицо руками — у него не было плаща, которым он мог бы прикрыть голову наподобие Агамемнона Тиманта.

V. Квазимодо

В одно мгновение все было готово в зале для осуществления мысли Копеноля. Горожане, школяры и судебные писцы принялись за дело. Маленькая часовня, расположенная против мраморного стола, была избрана сценой для показа гримас. Соискатели должны были просовывать головы в каменное кольцо в середине прекрасного окна-розетки над входом, откуда выбили стекло. Чтобы добраться до него, достаточно было влезть на две бочки, неизвестно откуда взявшиеся и кое-как установленные одна на другую. Условились, что каждый участник, будь то мужчина или женщина (могли избрать и папессу), дабы не нарушать цельности и силы впечатления от своей гримасы, будет находиться в часовне с закрытым лицом, пока не придет время показаться в отверстии. Вмиг часовня наполнилась кандидатами в папы, и дверь за ними захлопнулась.

Копеноль со своего места отдавал приказания, всем руководил, все устраивал. В разгар этой суматохи кардинал, не менее ошеломленный, чем Гренгуар, под предлогом неотложных дел и пред-

стоящей вечерни, удалился в сопровождении своей свиты, и толпа, которую так взволновало его прибытие, не обратила теперь ни малейшего внимания на его уход. Единственным человеком, заметившим бегство его преосвященства, был Гильом Рим. Внимание толпы, подобно солнцу, совершало свой кругооборот: возникнув на одном конце зала и продержавшись одно мгновение в центре, оно перешло теперь к противоположному концу. И мраморный стол, и обтянутое золотой парчой возвышение уже успели погреться в его лучах, очередь была за часовней Людовика XI. Наступило раздолье для всех безумств. В зале остались только фламандцы и всякий сброд.

Начался показ гримас. Первая появившаяся в отверстии рожа, с вывороченными веками, разинутым наподобие пасти ртом и собранным в складки лбом, напоминающим голенище гусарского сапога времени Империи, вызвала у присутствующих такой безудержный хохот, что Гомер принял бы всю эту деревенщину за богов. А между тем большой зал менее всего напоминал Олимп, и бедный Гренгуаров Юпитер понимал это лучше всех. На смену первой гримасе явилась вторая, третья, еще и еще; одобрительный хохот и топот все возрастали. В этом зрелище было

что-то головокружительное, какая-то опьяняющая колдовская сила, действие которой трудно описать читателю наших дней.

Представьте себе вереницу лиц, последовательно изображающих все геометрические фигуры — от треугольника до трапеции, от конуса до многогранника; выражения всех человеческих чувств, начиная от гнева и кончая похотливостью; все возрасты — от морщин новорожденного до морщин умирающей старухи; все фантастические образы, придуманные религией, — от Фавна до Вельзевула; все профили животных — от пасти до клюва, от рыла до мордочки. Вообразите, что все каменные личины Нового моста, эти застывшие под рукой Жермена Пилона кошмары, ожили и пришли одни за другими взглянуть на вас горящими глазами или что все маски венецианского карнавала мелькают перед вами, — словом, вообразите непрерывный калейдоскоп человеческих лиц.

Оргия принимала все более и более фламандский характер. Кисть самого Тенирса могла бы дать о ней лишь смутное понятие. Представьте себе битву Сальватора Розы, обратившуюся в вакханалию! Не было больше ни школяров, ни послов, ни горожан, ни мужчин, ни женщин;

исчезли Клопен Труйльфу, Жиль Лекорню, Мари Четыре Фунта, Робен Пуспен. Все смешалось в общем безумии. Большой зал превратился в чудовищное горнило бесстыдства и веселья, где каждый рот вопил, каждое лицо корчило гримасу, каждое тело извивалось. Все вместе выло и орало. Странные рожи, которые одна за другой, скрежеща зубами, возникали в отверстии розетки, напоминали соломенные факелы, бросаемые в раскаленные угли. От всей этой бурлящей толпы отделялся, как пар от горнила, острый, пронзительный, резкий звук, свистящий, словно крылья чудовищного комара.

— Ого! Черт возьми!

— Погляди только на эту рожу!

— Ну, она ничего не стоит!

— А эта!

— Гильомета Можерпюи, ну-ка взгляни на эту бычью морду, ей только рогов не хватает. Значит, это не твой муж.

— А вот еще одна!

— Клянусь папским брюхом! Это еще что за рожа?

— Эй! Плутовать нельзя. Показывай только лицо!

— Это, наверно, проклятая Перета Кальбот? Она

на все способна.

— Слава! Слава!

— Я задыхаюсь!

— А вот у этого уши никак не пролезают в отверстие!

И так далее, и так далее…

Однако нужно отдать справедливость нашему другу Жеану. Он один среди этого шабаша не покидал своего места и, как юнга за мачту, держался за верхушку своего столба. Он бесновался, он впал в совершенное неистовство. Рот его был широко разинут и издавал такой вопль, который не был слышен не потому, что его заглушал общий шум, а потому, что звук этого вопля выходил за пределы, воспринимаемые человеческим слухом, как это бывает, по Соверу, при двенадцати тысячах, а по Био — при восьми тысячах колебаний в секунду.

Что касается Гренгуара, то он сперва растерялся, но затем быстро овладел собой. Он приготовился дать отпор этому бедствию.

— Продолжайте! — в третий раз крикнул он своим говорящим машинам-актерам. Шагая перед мраморным столом, он ощущал желание показаться в оконце часовни хотя бы для того только, чтобы скорчить рожу этой неблагодарной толпе.

«Но нет, это недостойно меня. Не надо мстить! Будем бороться до конца, — твердил он. — Власть поэзии над толпой велика, я образумлю этих людей. Увидим, кто восторжествует — гримасы или изящная словесность».

Увы! Он остался единственным зрителем своей пьесы. Его положение стало еще более плачевным, чем минуту назад. Он видел только спины. Впрочем, я ошибаюсь. Терпеливый толстяк, с которым Гренгуар однажды в критическую минуту уже советовался, продолжал сидеть лицом к сцене. Что же касается Жискеты и Лиенарды, то они давно сбежали.

Гренгуар был тронут до глубины души верностью своего единственного слушателя. Приблизившись к нему, он заговорил с ним, осторожно тронув его за руку, так как толстяк, облокотившись о балюстраду, видимо, слегка подремывал.

— Благодарю вас, сударь, — сказал Гренгуар.

— За что, сударь? — спросил, зевая, толстяк.

— Я понимаю, что вам надоел весь этот шум. Он мешает вам слушать пьесу. Но будьте покойны, ваше имя перейдет в потомство. Будьте так добры, скажите, как вас зовут.

— Рено Шато, хранитель печати парижского Шатле, к вашим услугам.

— Сударь, вы здесь единственный ценитель муз! — повторил Гренгуар.

— Вы очень любезны, сударь, — ответил хранитель печати Шатле.

— Вы один, — продолжал Гренгуар, — внимательно слушали пьесу. Как она вам понравилась?

— Гм! Гм! — ответил наполовину проснувшийся толстяк. — Пьеса довольно забавна!

Гренгуару пришлось удовольствоваться этой похвалой, потому что гром рукоплесканий, смешавшись с оглушительными криками, внезапно прервал их разговор. Папа шутов был избран.

— Слава! Слава! — ревела толпа.

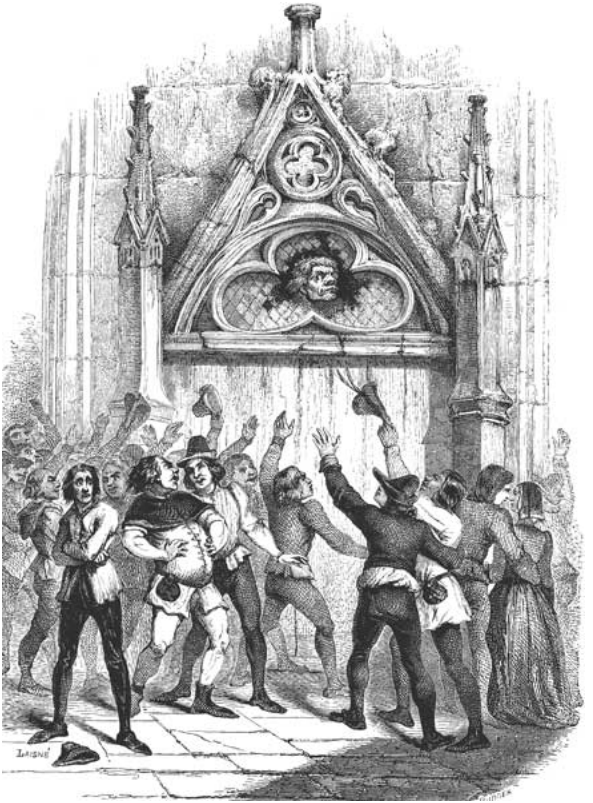
Рожа, красовавшаяся в отверстии розетки, была воистину изумительна! После всех этих пятиугольных, шестиугольных причудливых лиц, одно за другим появлявшихся в отверстии, но не воплощавших того образца смешанного уродства, который в своем распаленном воображении создала толпа, только такая потрясающая гримаса могла поразить это сборище и вызвать столь бурное одобрение. Сам мэтр Копеноль рукоплескал ей, и даже Клопен Труйльфу, участвовавший в состязании, — а одному богу известно, какой высокой степени безобразия могло достигнуть

его лицо! — даже он признал себя побежденным. Последуем и мы его примеру. Трудно описать этот четырехгранный нос, подковообразный рот, крохотный левый глаз, почти закрытый щетинистой рыжей бровью, в то время как правый совершенно исчезал под громадной бородавкой, обломанные кривые зубы, напоминавшие зубцы крепостной стены, эту растрескавшуюся губу, над которой нависал, точно бивень слона, один из зубов, этот раздвоенный подбородок... Но еще труднее описать ту смесь злобы, изумления, грусти, которые отражались на лице этого человека. А теперь попробуйте все это себе представить в совокупности!

Одобрение было единодушным. Толпа устремилась к часовне. Оттуда с торжеством вывели почтенного папу шутов. Но только теперь изумление и восторг толпы достигли наивысшего предела. Гримаса была его настоящим лицом.

Вернее, он весь представлял собой гримасу. Громадная голова, поросшая рыжей щетиной; огромный горб между лопаток и другой, уравновешивающий его, — на груди; бедра настолько вывихнутые, что ноги его могли сходиться только в коленях, странным образом напоминая собой спереди два серпа с соединенными рукоятками;

широкие ступни, чудовищные руки. И, несмотря на это уродство, во всей его фигуре было какое-то грозное выражение силы, проворства и отваги — необычайное исключение из того общего правила, которое требует, чтобы сила, подобно красоте, проистекала из гармонии. Таков был избранный шутами папа.



Казалось, это был разбитый и неудачно спаянный великан.

Когда это подобие циклопа появилось на пороге

часовни, неподвижное, коренастое, почти одинаковых размеров в ширину и высоту, «квадратное в самом основании», как говорил один великий человек, то по надетому на нем наполовину красному, наполовину фиолетовому камзолу, усеянному серебряными колокольчиками, а главным образом по его несравненному уродству простонародье тотчас же признало его.

— Это Квазимодо, горбун! — закричали все в один голос. — Это Квазимодо, звонарь Собора Парижской Богоматери! Квазимодо кривоногий, Квазимодо одноглазый! Слава! Слава!

Видимо, у бедного малого не было недостатка в прозвищах.

— Берегитесь, беременные женщины! — орали школяры.

— И те, которые желают забеременеть! — прибавил Жоаннес.

Женщины и в самом деле закрывали лица руками.

— О! Противная обезьяна! — говорила одна.

— Такая же злая, как и уродливая! — прибавляла другая.

— Дьявол во плоти, — вставляла третья.

— К несчастью, я живу возле собора и слышу, как всю ночь он бродит по крыше.

— Вместе с кошками.

— И посылает на нас порчу через дымоходы.

— Как-то вечером он просунул свою рожу ко мне в окно. Я приняла его за мужчину и ужасно перепугалась.

— Я уверена, что он летает на шабаш. Однажды он забыл свою метлу в водосточном желобе на моей крыше.

— О мерзкая харя!

— О гнусная душа!

— Фу!

А мужчины — те восхищались и рукоплескали горбуну.

Квазимодо, виновник всей этой шумихи, мрачный, серьезный, стоял на пороге часовни, позволяя любоваться собой.

Один школяр, кажется Робен Пуспен, подошел поближе и расхохотался ему прямо в лицо. Квазимодо ограничился только тем, что взял его за пояс и отбросил шагов на десять в толпу. И все это без единого звука.

Восхищенный мэтр Копеноль подошел к нему и сказал:

— Крест честной! Я никогда в жизни не встречал такого великолепного уродства, святой отец! Ты достоин быть папой не только в Париже, но

и в Риме.

И он весело хлопнул его по плечу. Квазимодо не шелохнулся.

— Ты именно такой парень, с которым я охотно кутнул бы, пусть даже это обойдется мне в дюжину новеньких турских ливров! Что ты на это скажешь? — продолжал Копеноль.

Квазимодо молчал.

— Крест честной! — воскликнул чулочник. — Ты глухой, что ли?

Да, Квазимодо был глухой.

Однако приставание Копеноля начало раздражать Квазимодо: он вдруг повернулся к нему и так страшно заскрипел зубами, что богатырь-фламандец попятился, как бульдог от кошки.

И тогда ужас и почтение образовали вокруг этой странной личности кольцо, радиус которого был не менее пятнадцати шагов. Какая-то старуха объяснила Копенолю, что Квазимодо глух.

— Глух! — разразился чулочник грубым фламандским смехом. — Крест честной! Да это не папа, а совершенство!

— Эй! Я знаю его! — крикнул Жеан, спустившись наконец со своей капители, чтобы поближе взглянуть на Квазимодо. — Это звонарь моего брата-архидьякона. Здравствуй, Квазимодо!

— Вот дьявол! — сказал Робен Пуспен, все еще не оправившийся от своего падения. — Поглядишь на него — горбун. Пойдет — видишь, что он хромой. Взглянет на вас — кривой. Заговоришь с ним — он глухой. Да есть ли язык у этого Полифема?

— Он говорит, если захочет, — пояснила старуха. — Он оглох оттого, что звонит в колокола. Он не немой.

— Только этого еще ему недостает, — заметил Жеан.

— Один глаз у него лишний, — заметил Робен Пуспен.

— Ну нет, — справедливо возразил Жеан, — кривому хуже, чем слепому. Он знает, чего он лишен.

Тем временем нищие, слуги и карманники вместе со школярами отправились процессией к шкафу судейских писцов, чтобы достать картонную тиару и нелепую мантию папы шутов. Квазимодо беспрекословно и даже с оттенком какой-то надменной покорности разрешил облечь себя в них. Потом его усадили на пестро раскрашенные носилки. Двенадцать членов братства шутов подняли его на плечи; какой-то горькой и презрительной радостью расцвело мрачное

лицо циклопа, когда он увидел у своих кривых ног головы всех этих красивых, стройных, хорошо сложенных мужчин. Затем галдящая толпа оборванцев, прежде чем пойти по улицам и перекресткам, двинулась, согласно обычаю, по внутренним галереям дворца.

VI. Эсмеральда

Мы счастливы сообщить нашим читателям, что во время всей этой сцены и Гренгуар, и его пьеса держались стойко. Понукаемые автором, актеры без устали декламировали его стихи, а он без устали их слушал. Примирившись с окружающим гамом, он решил довести дело до конца и не терял надежды, что публика вновь обратит внимание на его пьесу. Этот луч надежды разгорелся еще ярче, когда он заметил, что Копеноль, Квазимодо и вся буйная ватага шутовского папы с оглушительным шумом покинула зал. Толпа жадно устремилась за ними.

— Отлично! — пробормотал он. — Все крикуны уходят. — К несчастью, «крикунами» была вся толпа. В одно мгновение зал опустел.

Собственно говоря, в зале кое-кто еще оставался. Это были женщины, старики и дети, пресытившиеся шумом и гамом. Иные бродили в одиночку, другие толпились около столбов. Несколько школяров все еще сидели верхом на подоконниках и оттуда глазели на площадь.

«Ну что же, — подумал Гренгуар, — и этих достаточно, чтобы дослушать мою мистерию. Их,

правда, мало, но зато публика избранная, образованная».

Однако через несколько минут выяснилось, что симфония, которая должна была произвести особенно сильное впечатление при появлении Пречистой Девы, не может быть исполнена. Гренгуар вспомнил, что всех музыкантов увлекла за собой процессия папы шутов.

— Обойдемся и без симфонии, — стоически произнес поэт. Он приблизился к группе горожан, которые, как ему показалось, рассуждали о его пьесе. Вот услышанный им отрывок разговора:

— Мэтр Шенето, знаете ли вы Наваррский особняк, который принадлежал господину де Немуру?

— Да, против Бракской часовни.

— Так вот, казна недавно сдала его внаем Гильому Аликсандру, живописцу, за шесть парижских ливров и восемь су в год.

— Однако как растет арендная плата!

«Пустяки, — вздыхая, утешил себя Гренгуар, — зато остальные слушают».

— Друзья, — внезапно крикнул один из молодых озорников, примостившихся на подоконниках, — Эсмеральда! Эсмеральда на площади!

Это имя произвело магическое действие. Все,

кто еще оставался в зале, повторяя «Эсмеральда! Эсмеральда!», бросились к окнам, подтягиваясь до подоконника, чтобы увидеть.

В это же время с площади донеслись громкие рукоплескания.

— Какая еще там Эсмеральда? — воскликнул Гренгуар, в отчаянии сжимая руки. — О боже мой! Теперь, как видно, пришла очередь глазеть в окна!

Обернувшись к мраморному столу, он увидел, что представление приостановилось. Как раз в это время надлежало появиться Юпитеру со своей молнией. А между тем Юпитер неподвижно стоял внизу у сцены.

— Мишель Жиборн, — раздраженно крикнул поэт, — что ты там застрял? Твой выход! Влезай на сцену!

— Увы! — ответил Юпитер. — Какой-то школяр унес лестницу.

Гренгуар поглядел на сцену. Лестница действительно пропала. Нить между завязкой и развязкой пьесы была оборвана.

— Экий чудак, — пробормотал он. — Зачем же ему понадобилась лестница?

— Чтобы взглянуть на Эсмеральду, — жалобно ответил Юпитер. — Он сказал: «Стой, а вот и лест-

ница, которая никому не нужна» — и унес ее.

Это был последний удар судьбы. Гренгуар принял его безропотно.

— Убирайтесь все к черту! — крикнул он комедиантам. — Если заплатят мне, я рассчитаюсь и с вами.

И он отступил, понурив голову, но отступил последним, как доблестно сражавшийся полководец.

Спускаясь по извилистым лестницам дворца, Гренгуар ворчал себе под нос: «Какое скопище ослов и невежд эти парижане! Собрались, чтобы слушать мистерию, и не слушают! Им все интересно: Клопен Труйльфу, кардинал, Копеноль, Квазимодо и сам черт, но только не Пречистая Дева! Знай я это, показал бы я вам пречистых дев, ротозеи! А я-то? Пришел наблюдать, какие лица у зрителей, и увидел только их спины! Быть поэтом, а иметь успех, достойный какого-нибудь шарлатана, торговца зельями! Положим, что Гомер просил милостыню в греческих селениях, а Назон скончался в изгнании у московитов. Но черт меня подери, если я понимаю, что они хотят сказать этим „Эсмеральда“. И что это за слово? Цыганское, верно!»

Книга вторая

I. Между Сциллой и Харибдой

В январе смеркается рано. Улицы были уже погружены во мрак, когда Гренгуар вышел из дворца. Наступившая темнота была ему по душе; он спешил добраться до какой-нибудь сумрачной и пустынной улочки, чтобы поразмыслить там без помехи и дать философу наложить первую повязку на рану поэта. Впрочем, философия была сейчас его единственным прибежищем, ибо ему негде было переночевать. После блистательного провала его пьесы он не решался возвратиться в жилище, которое занимал на Складской улице, против Сенной пристани. Он уже не рассчитывал на вознаграждение за свою эпиталаму уплатить мэтру Гильому Ду-Сиру, откупщику городских сборов с торговцев скотом, квартирную плату за шесть месяцев, что составляло двенадцать парижских су, то есть ровно в двенадцать раз больше того, чем он обладал на этом свете, включая штаны, рубашку и шапку.

Остановившись подле маленькой калитки тюрьмы при Сент-Шапель и раздумывая о том, где бы ему выбрать место для ночлега, — а в его распоряжении были все мостовые Парижа, —

он вдруг припомнил, что, проходя на прошлой неделе по Башмачной улице мимо дома одного парламентского советника, он заметил около входной двери каменную ступеньку, служившую подножкой для всадников, и тогда же сказал себе, что она при случае может быть прекрасным изголовьем для нищего или для поэта. Он возблагодарил провидение, ниспославшее ему столь счастливую мысль, но, намереваясь пересечь Дворцовую площадь, чтобы углубиться в извилистый лабиринт Ситэ, где вьются эти древние улицы-сестры, сохранившиеся и доныне, но уже застроенные девятиэтажными домами, — Бочарная, Старая Суконная, Башмачная, Еврейская и прочие, — он увидел процессию папы шутов, которая тоже выходила из Дворца правосудия и с оглушительными криками, с пылающими факелами, под музыку неслась ему наперерез. Это зрелище разбередило его уязвленное самолюбие. Он поспешил удалиться. Его авторская неудача преисполнила душу такой горечью, что все, напоминавшее дневное празднество, раздражало его и заставляло кровоточить его рану.

Он направился было к мосту Сен-Мишель, но по мосту бегали ребятишки с факелами и шутихами.

— К черту все потешные огни! — пробормотал поэт и повернул к мосту Менял. На домах, стоявших у начала моста, были вывешены три флага с изображениями короля, дофина и Маргариты Фландрской и шесть маленьких флажков, на которых были намалеваны герцог Австрийский, кардинал Бурбонский, господин де Божё, Жанна Французская, побочный сын герцога Бурбонского и уж не знаю кто; все это было освещено факелами. Толпа была в восторге.

«Экий счастливец этот художник Жеан Фурбо!» — подумал, тяжело вздохнув, Гренгуар и повернулся спиной к флагам и к флажкам. Перед ним расстилалась улица, достаточно темная и пустынная для того, чтобы там укрыться от праздничного гула и блеска. Он углубился в нее. Через несколько мгновений он обо что-то споткнулся и упал. Оказалось, что это был пучок ветвей майского деревца, который, по случаю торжественного дня, накануне утром судейские писцы положили у дверей председателя судебной палаты. Гренгуар стоически перенес эту новую неприятность. Он встал и дошел до набережной. Миновав уголовную и гражданскую тюрьму и пройдя вдоль высоких стен королевских садов по песчаному, невымощенному берегу, где грязь

доходила ему до щиколотки, он добрался до западной части Ситэ и некоторое время созерцал островок Коровий перевоз, который исчез ныне под бронзовым конем Нового моста. Островок этот, отделенный от Гренгуара узким, смутно белевшим в темноте ручьем, казался ему какой-то черной массой. На нем при свете тусклого огонька можно было различить нечто вроде шалаша, похожего на улей, где по ночам укрывался перевозчик скота.

«Счастливый паромщик, — подумал Гренгуар, — ты не грезишь о славе и ты не пишешь эпиталам! Что тебе до королей, вступающих в брак, и до герцогинь бургундских! Тебе неведомы иные маргаритки, кроме тех, что щиплют твои коровы на зеленых апрельских лужайках! А я, поэт, освистан, я дрожу от холода, я задолжал двенадцать су, и подметки мои так просвечивают, что могли бы заменить стекла в твоем фонаре. Спасибо тебе, паромщик, мой взор отдыхает, покоясь на твоей хижине! Она заставляет меня забыть о Париже!»

Треск большой двойной петарды, внезапно послышавшийся из благословенной хижины, пробудил его от лирического экстаза. Это паромщик, получая свою долю праздничных

развлечений, забавлялся потешными огнями.

От взрыва петарды мороз пробежал по коже Гренгуара.

— Проклятый праздник! — воскликнул он. — Неужели ты будешь преследовать меня всюду? Даже до хижины паромщика!

Взглянув на катившуюся у его ног Сену, он почувствовал страшное искушение.

— О, с каким удовольствием я утопился бы, не будь вода такой холодной!

И он принял отчаянное решение. Раз не в его власти избежать папы шутов, флажков Жеана Фурбо, майского деревца, факелов и петард, так не лучше ли пробраться к самому средоточию праздника и пойти на Гревскую площадь.

«По крайней мере, — подумал он, — мне достанется хотя бы одна головешка от праздничного костра, чтобы обогреться, и я смогу поужинать несколькими крохами от трех огромных сахарных кренделей в виде королевского герба, которые выставлены для народа в городском буфете».

II. Гревская площадь

Ныне от Гревской площади того времени остался лишь едва заметный след: это прелестная башенка, занимающая ее северный угол. Но и она почти погребена под слоем грубой штукатурки, облепившей острые грани ее скульптурных украшений, и вскоре, быть может, исчезнет совсем, затопленная половодьем новых домов, столь стремительно поглощающим все старинные здания Парижа.

Люди, которые, подобно нам, никогда не могут пройти по Гревской площади, не скользнув взглядом сочувствия и сожаления по этой бедной башенке, защемленной между двумя развалившимися постройками времени Людовика XV, легко воссоздадут в своем воображении ту группу зданий, в число которых она входила, и ясно представят себе старинную готическую площадь XV века.

Она, как и теперь, имела форму неправильной трапеции, окаймленной с одной стороны набережной, а с трех других — рядом высоких, узких и мрачных домов. Днем можно было любоваться разнообразием этих зданий, покрытых резными

украшениями из дерева или из камня и уже тогда являвших собой совершенные образцы всевозможных архитектурных стилей Средневековья от XI до XV века; здесь были и прямоугольные окна, начинавшие вытеснять стрельчатые, и полукруглые романские, которые в свое время были заменены стрельчатыми и которые наряду с последними еще продолжали украшать собой второй этаж старинного здания Роландовой башни на углу набережной и Кожевенной улицы. Ночью во всей этой массе домов можно было различить лишь черную зубчатую линию крыш, окружавших площадь цепью острых углов. Одно из основных различий между современными городами и городами прежними заключается в том, что современные постройки обращены к улицам и площадям фасадами, тогда как прежде они стояли к ним боком. Прошло уже два века с тех пор, как дома повернулись к улице.

Посередине восточной стороны площади возвышалось громоздкое, смешанного стиля строение, состоящее из трех вплотную примыкавших друг к другу домов. У него было три различных названия, объяснявших его историю, назначение и архитектуру: Дом дофина, потому что в нем обитал дофин Карл V, Торговая палата,

потому что здесь помещалась городская ратуша, и Дом с колоннами (domus ad piloria), потому что ряд толстых колонн поддерживал три его этажа.

Здесь было все, что только могло понадобиться славному городу Парижу: часовня, чтобы молиться; зал судебных заседаний, чтобы чинить суд и расправу над королевскими подданными, и, наконец, арсенал, полный огнестрельного оружия. Горожане Парижа знали, что молитва и судебная тяжба далеко не всегда являются надежной защитой городских привилегий, и потому имели про запас на чердаке городской ратуши некоторое количество ржавых аркебуз.

Уже и в те времена Гревская площадь производила мрачное впечатление, возникающее и сейчас вследствие ужасных воспоминаний, которые с ней связаны, а также при виде угрюмого здания городской ратуши Доминика Бокадора, заменившей Дом с колоннами. Надо сказать, что виселица и позорный столб, «правосудие и лестница», как говорили тогда, воздвигнутые бок о бок посреди мостовой, отвращали взор прохожего от этой роковой площади, где столько цветущих, полных жизни людей испытали смертные муки и где полвека спустя родилась лихорадка Сен-Валье, вызываемая ужасом перед

эшафотом, — самая чудовищная из всех болезней, ибо ее насылает не Бог, а человек.

Утешительно думать, заметим это мимоходом, что смертная казнь, которая еще триста лет тому назад своими железными колесами, каменными виселицами, всевозможными орудиями пыток загромождала Гревскую площадь, Рыночную площадь, площадь Дофина, перекресток Трагуар, Свиной рынок, этот гнусный Монфокон, заставу Сержантов, Кошачий рынок, ворота Сен-Дени, Шампо, ворота Боде, ворота Сен-Жак, не считая бесчисленных виселиц, поставленных прево, епископами, капитулами, аббатами и приорами — всеми, кому было предоставлено право судить; не считая потопления преступников в Сене по приговору суда, — утешительно думать, что эта древняя владычица феодальных времен, утратив постепенно свои доспехи, свою пышность, замысловатые, фантастические карательные меры, свою пытку, для которой каждые пять лет переделывалась кожаная скамья в Гран-Шатле, ныне, травимая из уложения в уложение, гонимая с места на место, почти исчезла из наших законов и городов и владеет в нашем необъятном Париже лишь одним опозоренным уголком Гревской площади, лишь одной жалкой гильотиной,

прячущейся, беспокойной, стыдящейся, которая, нанеся свой удар, так быстро исчезает, словно боится, что ее застигнут на месте преступления.

III. Besos para golpes[19]

Пока Пьер Гренгуар добрался до Гревской площади, он весь продрог. Чтобы избежать давки на мосту Менял и не видеть флажков Жеана Фурбо, он шел сюда через Мельничный мост; но по пути колеса епископских мельниц забрызгали его грязью, и камзол его промок насквозь. Притом ему казалось, что после провала его пьесы он стал более зябким. А потому он поспешил к праздничному костру, великолепно пылавшему посреди площади. Но его окружало плотное кольцо людей.

— Проклятые парижане! — пробормотал Гренгуар. Как истый драматург, он чувствовал пристрастие к монологам. — Теперь они загораживают огонь, а ведь мне так необходимо хотя бы немножко погреться. Мои башмаки протекают, да еще эти проклятые мельницы пролили на меня слезы сочувствия! Черт бы побрал парижского епископа с его мельницами! Хотел бы я знать, на что епископу мельницы? Уж не надумал ли он сменить епископскую митру на колпак мель-

---

[19] Примечания: 19
Поцелуи за удары *(исп.).*

ника? Ежели ему для этого не хватает только моего проклятия, то я охотно прокляну и его самого, и его собор вместе с его мельницами! Нука поглядим, сдвинутся ли с места эти ротозеи! Спрашивается, что они там делают? Они греются — наилучшее из удовольствий! Они глазеют, как горит сотня вязанок хвороста, — наилучшее из зрелищ!

Но, вглядевшись поближе, он заметил, что круг был значительно шире, чем нужно для того, чтобы греться возле королевского костра, и что этот наплыв зрителей объяснялся не только видом ста ослепительно пылавших вязанок хвороста.

На просторном, свободном пространстве между костром и толпой плясала молодая девушка.

Была ли эта юная девушка человеческим существом, феей или ангелом, этого Гренгуар, сей философ-скептик, сей иронический поэт, сразу определить не мог, настолько был он очарован ослепительным видением.

Она была невысока ростом, но казалась высокой — так строен был ее тонкий стан. Она была смугла, но нетрудно было догадаться, что днем ее кожа отливала тем чудесным золотистым оттенком, который присущ андалузкам и римлянкам. Маленькая ножка тоже была ножкой андалузки

— так легко ступала она в своем узком изящном башмачке. Девушка плясала, порхала, кружилась на небрежно брошенном ей под ноги старом персидском ковре, и всякий раз, когда ее сияющее лицо возникало перед вами, взгляд ее больших черных глаз ослеплял вас как молния.

Взоры всей толпы были прикованы к ней, все рты разинуты. Она танцевала под рокотание бубна, который ее округлые девственные руки высоко взносили над головой. Тоненькая, хрупкая, с обнаженными плечами и изредка мелькавшими из-под юбочки стройными ножками, черноволосая, быстрая, как оса, в золотистом, плотно облегавшем ее талию корсаже, в пестром раздувавшемся платье, сияя очами, она воистину казалась существом неземным.

«Право, — думал Гренгуар, — это саламандра, это нимфа, это богиня, это вакханка с горы Менад!»

В это мгновение одна из кос «саламандры» расплелась, привязанная к ней медная монетка упала и покатилась по земле.

— Э, нет, — сказал он, — это цыганка.

Мираж рассеялся.

Девушка снова принялась плясать. Подняв с земли две шпаги и приставив их остриями ко лбу,

она начала вращать их в одном направлении, а сама кружилась в обратном. Действительно, это была просто-напросто цыганка. Но как ни велико было разочарование Гренгуара, он не мог не поддаться обаянию и волшебству этого зрелища. Яркий алый свет праздничного костра весело играл на лицах зрителей, на смуглом лице молодой девушки, отбрасывая слабый отблеск вместе с их колышущимися тенями в глубину площади, на черный, покрытый трещинами старинный фасад Дома с колоннами с одной стороны и на каменные столбы виселицы — с другой.

Среди тысячи лиц, озаренных багровым пламенем костра, выделялось лицо человека, казалось более других поглощенного созерцанием плясуньи. Это было суровое, замкнутое и мрачное лицо мужчины. Человеку этому, одежду которого заслоняла теснившаяся вокруг него толпа, на вид можно было дать не более тридцати пяти лет; между тем он был уже лыс, и лишь кое-где на висках еще уцелело несколько прядей редких седеющих волос; его широкий и высокий лоб бороздили морщины, но в глубоко запавших глазах сверкал необычайный юношеский пыл, жажда жизни и затаенная страсть. Он не отрываясь глядел на цыганку, и пока шестнадцатилетняя

беззаботная девушка, возбуждая восторг толпы, плясала и порхала, его лицо становилось все мрачнее. Временами улыбка у него сменяла вздох, но в улыбке было еще больше скорби, чем в самом вздохе.

Наконец молодая девушка остановилась, прерывисто дыша, и восхищенная толпа разразилась рукоплесканиями.

— Джали! — позвала цыганка.

И Гренгуар увидел подбежавшую к ней прелестную маленькую белую козочку, резвую, веселую, с глянцевитой шерстью, позолоченными рожками и копытцами, в золоченом ошейнике, которую он прежде не заметил; до этой минуты, лежа на уголке ковра, она не отрываясь глядела на пляску своей госпожи.

— Джали, теперь твой черед, — сказала плясунья.

Она села и грациозно протянула козочке бубен.

— Джали, какой теперь месяц? — спросила она.

Козочка подняла переднюю ножку и стукнула копытцем по бубну один раз. Был действительно январь. В толпе послышались рукоплескания.

— Джали, — снова спросила молодая девушка,

перевернув бубен, — какое нынче число?

Джали опять подняла свое маленькое позолоченное копытце и ударила им по бубну шесть раз.

— Джали, — продолжала цыганка, снова перевернув бубен, — который теперь час?

Джали стукнула семь раз. В ту же минуту на часах Дома с колоннами пробило семь. Толпа застыла в изумлении.

— Это колдовство! — проговорил мрачный голос в толпе. Голос принадлежал лысому человеку, не спускавшему с цыганки глаз.

Она вздрогнула и обернулась. Но гром рукоплесканий заглушил зловещие слова и настолько сгладил впечатление от этого возгласа, что девушка как ни в чем не бывало снова обратилась к своей козочке:

— Джали, а как ходит мэтр Гишар Гран-Реми, начальник городских стрелков, во время крестного хода на Сретенье?

Джали поднялась на задние ножки и заблеяла, переступая с такой забавной важностью, что все зрители покатились со смеху при виде этой пародии на ханжеское благочестие начальника стрелков.

— Джали, — продолжала молодая девушка,

ободренная все растущим успехом, — а как говорит речь мэтр Жак Шармолю, королевский прокурор, в духовном суде?

Козочка села и заблеяла, так странно подбрасывая передние ножки, что все в ней — поза, движения, повадка — сразу напомнило Жака Шармолю, не хватало только скверного французского и латинского произношения.

Толпа восторженно рукоплескала.

— Святотатство! Кощунство! — снова послышался голос лысого человека.

Цыганка обернулась:

— Ах, опять этот гадкий человек!

И, выпятив нижнюю губку, она сделала гримаску, которая, по-видимому, была ей привычна, затем, повернувшись на каблучках, пошла собирать в бубен даяния зрителей.

Крупные и мелкие серебряные монеты, лиарды сыпались градом. Когда она проходила мимо Гренгуара, он необдуманно сунул руку в карман, и цыганка остановилась.

— Черт возьми! — воскликнул поэт, найдя в глубине своего кармана то, что там было, то есть пустоту. А между тем молодая девушка стояла и глядела ему в лицо черными большими глазами, протягивая свой бубен, и ждала. Крупные капли

пота выступили на лбу Гренгуара.

Владей он всем золотом Перу, он тотчас же, не задумываясь, отдал бы его плясунье; но золотом Перу он не владел, да и Америка в то время еще не была открыта. Неожиданный случай выручил его.

— Да уберешься ли ты отсюда, египетская саранча! — крикнул пронзительный голос из самого темного угла площади.

Молодая девушка испуганно обернулась. Теперь крикнул уже не лысый человек — голос был женский, злобный и исступленный.

Этот окрик, так напугавший цыганку, привел в восторг слонявшихся по площади детей.

— Это затворница Роландовой башни! — неистово хохоча, закричали они. — Это брюзжит вретишница! Она, должно быть, не ужинала. Принесем-ка ей оставшихся в городском буфете объедков!

И вся ватага стремительно бросилась к Дому с колоннами.

Гренгуар, воспользовавшись замешательством плясуньи, ускользнул незамеченным. Возгласы ребятишек напомнили ему, что и он тоже не ужинал. Он побежал за ними. Но у маленьких озорников ноги были проворнее, чем у него, и

когда он достиг цели, все уже было ими дочиста подметено. Не оставалось даже жалкого хлебца по пяти су за фунт. Лишь на стенах, расписанных в 1434 году Матье Битерном, красовались стройные королевские лилии, разбросанные среди роз. Но это не могло заменить ему ужин!

Тягостно ложиться спать, не поужинав; еще печальнее, оставшись голодным, не знать, где переночевать. В таком положении оказался Гренгуар. Ни хлеба, ни крова; со всех сторон его теснила нужда, и он находил ее чересчур суровой. Уже давно открыл он ту истину, что Юпитер создал людей в припадке мизантропии и что мудрецу всю жизнь приходится бороться с судьбой, которая держит его философию в осадном положении. Никогда еще эта осада не была столь жестокой; желудок Гренгуара бил тревогу, и поэт находил, что со стороны злой судьбы крайне несправедливо брать его философию измором.

Эти грустные размышления, овладевавшие им все с большей силой, внезапно были прерваны странным, хотя и не лишенным сладости пением. То пела юная цыганка.

И веяло от ее песни тем же, чем и от ее пляски, и от ее красоты: чем-то неизъяснимым и прелестным, чем-то чистым и звучным, воздушным

и окрыленным, если можно так выразиться. То было непрестанное нарастание звуков, мелодий, неожиданных рулад; простые музыкальные фразы перемешивались с резкими свистящими звуками; водопады трелей, способные обескуражить даже соловья, хранили вместе с тем верность гармонии; мягкие переливы октав то поднимались, то опускались, как грудь молодой певицы. Ее прелестное лицо с необычайной выразительностью отражало всю прихотливость ее песни, от самого страстного восторга до величавого целомудрия. Она казалась то безумной, то королевой.

Язык этой песни был неизвестен Гренгуару. По-видимому, он не был понятен и самой певице, так мало соответствовали те чувства, которые она влагала в пение, словам песни. Эти четыре стиха:

Un cofre de gran riqueza
Hallaron dentro un pilar,
Dentro del, nuevas banderas
Con figuras de espantar...[20] —

---

[20] Примечания: 20

Внутри колонны нашли богатый ларь, в котором лежали новые знамена с ужасными изображениями *(исп.).*

в ее устах звучали безумным весельем, а мгновение спустя выражение, которое она придавала словам:

Alarabes de caballo
Sin poderse menear,
Con espadas, y los cuellos,
Ballestas de buen echar...[21] —

исторгало у Гренгуара слезы. Но чаще ее пение дышало радостью, она пела как птица, ликующе и беспечно.

Песнь цыганки встревожила задумчивость Гренгуара — так тревожит лебедь гладь воды. Он внимал ей упоенный, забыв все на свете. Впервые за долгие часы он забыл свои страдания. Но это длилось недолго.

Тот же голос, который прервал пляску цыганки, прервал теперь ее пение.

— Замолчишь ли ты, чертова стрекоза! — послышалось из того же темного угла площади.

Бедняжка-«стрекоза» умолкла. Гренгуар заткнул себе уши.

— О проклятая старая пила, разбившая лиру! —

---

[21] Примечания: 21

Арабы верхом на конях, неподвижные, с мечами, и самострелы перекинуты у них через плечо *(исп.)*.

воскликнул он.

Зрители тоже ворчали.

— К черту вретишницу! — возмущались многие.

И старое незримое пугало могло бы дорого поплатиться за свои нападки на цыганку, если бы в эту минуту внимание толпы не было отвлечено процессией шутовского папы, успевшей обежать улицы и перекрестки и хлынувшей теперь с факелами и шумом на площадь.

Эта процессия, которую читатель наблюдал, когда она выходила из дворца, в пути установила порядок и вобрала в себя всех мошенников, бездельников, воров и бродяг Парижа. Таким образом, прибыв на Гревскую площадь, она являла собою зрелище поистине внушительное.

Впереди всех двигались цыгане. Во главе их, направляя и вдохновляя шествие, ехал верхом на коне цыганский герцог в сопровождении своих пеших графов; за ними беспорядочной толпой следовали цыгане и цыганки, таща на спине ревущих детей; и все — герцог, графы и чернь — в отрепьях и мишуре. За цыганами двигались подданные королевства Арго, то есть все воры Франции, разделенные по рангам на несколько отрядов; первыми шли самые низшие

по званию. Так, по четыре человека в ряд, со всевозможными знаками отличия соответственно их ученой степени в области этой странной науки, проследовало множество калек — то хромых, то одноруких: карманников, богомольцев, эпилептиков, скуфейников, христарадников, котов, шатунов, деловых ребят, хиляков, погорельцев, банкротов, забавников, форточников, мазуриков и домушников, — перечисление всех утомило бы самого Гомера. В центре конклава мазуриков и домушников можно было с трудом различить короля Арго, великого кесаря, сидевшего на корточках в маленькой тележке, которую тащили две большие собаки. Вслед за подданными короля Арго шли люди царства галилейского. Впереди бежали дерущиеся и выплясывающие пиррический танец скоморохи, за ними величаво выступал Гильом Руссо, царь галилейский, облаченный в пурпурную, залитую вином хламиду, окруженный своими жезлоносцами, клевретами и писцами счетной палаты. Под звуки достойной шабаша музыки шествие замыкала корпорация судебных писцов в черных мантиях, несших украшенные цветами «майские ветви» и большие желтые восковые свечи. В самом центре этой толпы высшие члены братства

шутов несли на плечах носилки, на которых было наставлено больше свечей, чем на реке Св. Женевьевы во время эпидемии чумы. А на этих носилках, облаченный в мантию, в митре, с посохом в руке, блистал вновь избранный папа шутов — звонарь Собора Парижской Богоматери Квазимодо-горбун.

У каждого отряда этой причудливой процессии была своя, особая музыка. Цыгане били в свои балафосы и африканские тамбурины. Народ «арго», весьма мало музыкальный, все еще придерживался виолы, пастушьего рожка и старинной рюбебы XII столетия. Царство галилейское не намного опередило их в этом отношении: в его оркестре с трудом можно было различить звук жалкой ребеки — скрипки младенческой поры искусства, имевшей всего три тона. Зато все музыкальное богатство эпохи разворачивалось в великолепной какофонии, звучащей вокруг папы шутов. И все же оно заключалось лишь в ребеках верхнего, среднего и нижнего регистров, если не считать множества флейт и медных инструментов. Увы! Нашим читателям уже известно, что это был оркестр Гренгуара.

Трудно изобразить выражение той гордой и набожной радости, которая все время, пока

процессия двигалась от дворца к Гревской площади, освещала безобразное и печальное лицо Квазимодо. Впервые испытывал он восторг удовлетворенного самолюбия. До сей поры он знавал лишь унижение, презрение к своему званию и отвращение к своей особе. Невзирая на глухоту, он, словно истый папа, смаковал приветствия толпы, которую ненавидел за ее ненависть к себе. Нужды нет, что его народ был лишь сбродом шутов, калек, воров и нищих! Все же это был народ, а он его властелин. И он принимал за чистую монету эти иронические рукоплескания, эти озорные знаки почтения, к которым примешивалась, однако следует в этом сознаться, немалая толика подлинного страха. Ибо горбун был силен, ибо кривоногий был ловок, ибо глухой был свиреп — три качества, укрощавшие насмешников.

Но едва ли вновь избранный папа шутов отдавал себе ясный отчет в тех чувствах, которые испытывал он сам, и в тех, какие внушал другим. Дух, обитавший в его убогом теле, был столь же убог и несовершенен. Поэтому все, что переживал горбун в эти мгновения, оставалось для него неопределенным, сбивчивым и смутным. Только радость пронизывала его все сильнее, и все больше овладевало им чувство гордости. Его жалкое

и угрюмое лицо, казалось, излучало сияние.

И вдруг, к изумлению и ужасу толпы, в ту минуту, как опьяненного величием Квазимодо торжественно проносили мимо Дома с колоннами, к нему из толпы бросился какой-то человек и гневным движением вырвал у него из рук деревянный позолоченный посох — знак его шутовского папского достоинства.

Этот смельчак был тот самый незнакомец с облысевшим лбом, который за минуту перед тем, вмешавшись в толпу, окружавшую цыганку, испугал бедную девушку своими угрожающими и полными ненависти словами. На нем была одежда духовного лица. Как только он отделился от толпы, Гренгуар, который ранее не приметил его, тотчас же его узнал.

— Ба! — удивленно воскликнул он. — Да это мой учитель герметики, отец Клод Фролло, архидьякон! Какого черта ему нужно от этого отвратительного кривого? Ведь тот его сейчас сожрет!

И действительно, в толпе послышался крик ужаса. Страшилище Квазимодо ринулся с носилок, и женщины отвернулись, чтобы не видеть, как он растерзает архидьякона.

Одним скачком Квазимодо бросился к свя-

щеннику, взглянул на него и упал перед ним на колени.

Архидьякон сорвал с него тиару, сломал его посох, разорвал мишурную мантию.

Квазимодо, по-прежнему коленопреклоненный, потупил голову, сложил руки. Затем между ними завязался странный разговор на языке знаков и жестов, так как ни тот ни другой не произносили ни слова. Архидьякон стоял выпрямившись, гневный, грозный, властный; Квазимодо распростерся перед ним, смиренный, молящий. А между тем, несомненно, Квазимодо мог бы одним пальцем раздавить священника.

Наконец, грубо встряхнув Квазимодо за мощное плечо, архидьякон жестом приказал ему встать и следовать за собой.

Квазимодо встал.

И тогда братство шутов, очнувшись от своего первоначального изумления, решило вступиться за своего столь внезапно развенчанного папу. Цыгане, арготинцы и вся корпорация судейских писцов, визжа, окружили священника.

Квазимодо заслонил его собою, сжал свои атлетические кулаки и, скрежеща зубами, как разъяренный тигр, оглядел нападающих.

Священник, со своей прежней суровой важно-

стью, сделал знак Квазимодо и молча удалился.

Квазимодо шел впереди, расталкивая толпу, заграждавшую им путь.

Когда они пробрались сквозь толпу и пересекли площадь, туча любопытных и зевак повалила вслед за ними. Тогда Квазимодо, заняв место в арьергарде, пятясь, двинулся за архидьяконом. Приземистый, взлохмаченный, чудовищный, настороженный, свирепый, облизывая свои кабаньи клыки, рыча, точно дикий зверь, он одним лишь движением или взглядом отбрасывал толпу назад.

Им дали свернуть в узкую темную улочку, куда никто не посмел следовать за ними, ибо одна мысль о скрежещущем зубами Квазимодо уже преграждала туда доступ.

— Вот так чудеса! — пробормотал Гренгуар. — Но где же, черт возьми, мне поужинать?

IV. Неудобства, которым подвергаешься, преследуя вечером хорошенькую женщину

Гренгуар пошел наугад вслед за цыганкой. Он видел, как она со своей козочкой направилась по улице Ножовщиков, и тоже повернул туда.

«Почему бы и нет?» — подумал он.

Гренгуар, искушенный философ парижских улиц, заметил, что мечтательное настроение легче всего приходит, когда преследуешь хорошенькую женщину, не зная, куда она держит путь. В этом добровольном отречении от своей свободной воли, в этом подчинении своей прихоти прихоти другого, который об этом даже не подозревает, таится смесь какой-то фантастической независимости и слепого подчинения — нечто промежуточное между рабством и свободою, и это пленяло Гренгуара, одаренного крайне неустойчивым, нерешительным и сложным умом, который совмещал все крайности, беспрестанно колебался между всеми человеческими склонностями и подавлял их одну при помощи другой. Он охотно сравнивал себя с гробом Маго-

мета, который притягивается двумя магнитами в противоположные стороны и вечно колеблется между высью и бездной, между небесами и мостовой, между падением и взлетом, между зенитом и надиром.

Если бы Гренгуар жил в наше время, какое славное место занял бы он между классиками и романтиками!

Но он не был настолько ветхозаветным пророком, чтобы жить триста лет, а жаль! Его отсутствие создает пустоту, которая особенно сильно ощущается именно в наши дни.

Одним словом, настроение человека, не знающего, где ему переночевать, как нельзя лучше подходит для того, чтобы следовать за прохожими (особенно за женщинами), а Гренгуар был до этого большой охотник.

Итак, он задумчиво брел за молодой девушкой, которая, видя, что горожане расходятся по домам и что таверны, единственные торговые заведения, открытые в этот день, запираются, ускоряла шаг и торопила свою козочку.

«Есть же у нее какой-нибудь кров, — думал Гренгуар, — а у цыганок доброе сердце. Кто знает?..»

И многоточие, которое он мысленно поставил

после этого вопроса, таило в себе какую-то пленительную мысль.

Время от времени, минуя горожан, запиравших за собой двери, он улавливал долетавшие до него обрывки разговоров, которые разбивали цепь его веселых предположений.

Вот встретились на улице два старика.

— Знаете ли, мэтр Тибо Ферникль, а ведь холодненько! (Гренгуар знал об этом уже с самого начала зимы.)

— Да еще как, мэтр Бонифаций Дизом! Видно, нам опять предстоит такая же лютая зима, как три года тому назад, в восьмидесятом году, когда вязанка дров стоила восемь солей!

— Ба, мэтр Тибо, это пустяки по сравнению с зимой тысяча четыреста седьмого года, когда морозы продолжались с самого Мартынова дня и до Сретения, да такие крепкие, что у секретаря судебной палаты через каждые три слова замерзали на пере чернила! Из-за этого нельзя было вести протокол.

А вот поодаль, стоя у открытых окон с зажженными свечами, потрескивавшими от тумана, переговаривались две соседки.

— Рассказывал ли вам супруг ваш о несчастном случае, госпожа Ла-Будрак?

— Нет. А что такое случилось, госпожа Тюркан?

— Лошадь господина Жиля Годена, нотариуса Шатле, испугалась фламандцев с их свитой и сбила с ног мэтра Филиппо Аврилло, что живет при монастыре целестинцев.

— Да что вы?

— Истинная правда.

— Лошадь горожанина! Слыханное ли это дело? Еще добро бы кавалерийская лошадь — а то лошадь горожанина!

И оба окна захлопнулись. Но нить мыслей Гренгуара была уже оборвана.

К счастью, он вскоре нашел и без труда связал ее концы благодаря цыганке и Джали, которые по-прежнему шли впереди него. Его восхищали крошечные ножки, изящные формы, грациозные движения этих двух хрупких, нежных и прелестных созданий, почти сливавшихся в его воображении. Своим взаимным пониманием и дружбой они напоминали ему юных девушек, а легкостью, подвижностью и проворством — козочек.

Между тем улицы с каждой минутой становились темнее и безлюднее. Давно прозвучал сигнал гасить огни, и лишь изредка попадался на улице

прохожий или мелькал в окне огонек. Гренгуар, следуя за цыганкой, попал в запутанный лабиринт переулков, перекрестков и глухих тупиков, расположенных вокруг старинного кладбища Невинных и похожих на перепутанный кошкой моток ниток. «Вот улицы, которым не хватает логики», — подумал Гренгуар, сбитый с толку этими бесконечными поворотами, то и дело приводившими его опять на то же место. Молодая девушка, которой, очевидно, хорошо была знакома эта дорога, двигалась уверенно, все больше ускоряя шаг. Гренгуар, вероятно, заблудился бы окончательно, если бы мимоходом, на повороте одной из улиц, он не различил восьмигранного позорного столба на Рыночной площади, сквозная верхушка которого резко выделялась своей темной резьбой на фоне еще светившегося окна одного из домов улицы Верделе.

Молодая девушка давно уже заметила, что ее кто-то преследует; она то и дело с беспокойством оглядывалась, один раз она даже внезапно приостановилась, чтобы, воспользовавшись лучом света, падавшим из полуотворенной двери булочной, зорко оглядеть Гренгуара с головы до ног. Он заметил, что после этого осмотра она сделала знакомую ему гримаску и продолжала свой путь.

Эта милая гримаска заставила Гренгуара призадуматься. Несомненно, она таила в себе насмешку и презрение. Понурив голову, пересчитывая булыжники мостовой, он снова пошел за ней, но уже на некотором расстоянии. На одной извилистой улочке он потерял ее из виду, и в ту же минуту до него донесся ее пронзительный крик.

Он пошел быстрее.

Улица тонула во мраке, однако горевший на углу за чугунной решеткой, у подножия статуи Пречистой Девы, фитиль из пакли, пропитанной маслом, дал возможность Гренгуару разглядеть цыганку, которая отбивалась от двух мужчин, пытавшихся зажать ей рот. Бедная перепуганная козочка, наставив на них рожки, жалобно блеяла.

— Стража, сюда! — крикнул Гренгуар и бросился вперед. Один из державших девушку мужчин обернулся, и он увидел страшное лицо Квазимодо.

Гренгуар не обратился в бегство, но не сделал ни шагу вперед.

Квазимодо приблизился к нему и, ударом наотмашь заставив его отлететь на четыре шага и упасть на мостовую, стремительно скрылся во мраке, унося молодую девушку, повисшую на

его плече, словно шелковый шарф. Его спутник последовал за ним, а бедная козочка побежала сзади с жалобным блеянием.

— Помогите! Помогите! — кричала несчастная цыганка.

— Стойте, бездельники, отпустите эту девку! — раздался громовой голос, и из-за угла соседней улицы внезапно появился всадник.

Это был вооруженный до зубов начальник королевских стрелков, державший саблю наголо.

Вырвав цыганку из рук ошеломленного Квазимодо, он перебросил ее поперек седла, и в ту самую минуту, когда опомнившийся от изумления ужасный горбун ринулся на него, чтобы отбить добычу, показалось человек пятнадцать-шестнадцать вооруженных палашами стрелков, ехавших следом за своим капитаном. То был небольшой отряд королевских стрелков, проверявший ночные дозоры по распоряжению парижского прево мессира Робера д'Эстутвиля.



Квазимодо обступили, схватили, скрутили веревками. Он рычал, бесновался, кусался; будь это днем, один вид его искаженного гневом лица,

ставшего от этого еще отвратительней, несомненно, обратил бы в бегство весь отряд. Но ночь лишила Квазимодо самого страшного его оружия — уродства. Спутник Квазимодо исчез во время свалки. Цыганка, грациозно выпрямившись на седле и положив руки на плечи молодого человека, несколько секунд пристально глядела на него, словно восхищенная его приятной внешностью и любезной помощью, которую он оказал ей. Она первая нарушила молчание и, придав своему нежному голосу еще больше нежности, спросила:

— Как ваше имя, господин офицер?

— Капитан Феб де Шатопер к вашим услугам, моя красавица, — приосанившись, ответил офицер.

— Благодарю вас, — промолвила она.

И пока капитан Феб самодовольно покручивал свои усы, подстриженные по-бургундски, она, словно падающая стрела, соскользнула с лошади и исчезла быстрее молнии.

— Пуп дьявола! — воскликнул капитан и приказал стянуть потуже ремни, которыми был связан Квазимодо. — Я предпочел бы оставить у себя девчонку!

— Ничего не поделаешь, капитан, — заметил

один из стрелков, — пташка упорхнула, нетопырь остался.

V. Неудачи продолжаются

Оглушенный падением, Гренгуар продолжал лежать на углу улицы, у подножия статуи Пречистой Девы. Мало-помалу он стал приходить в себя; несколько минут он еще пребывал в каком-то не лишенном приятности полузабытьи, причем воздушные образы цыганки и козочки сливались в его сознании с полновесным кулаком Квазимодо. Но это состояние длилось недолго. Острое ощущение холода в той части его тела, которая соприкасалась с мостовой, заставило его очнуться и привело в порядок его мысли.

— Отчего мне так холодно? — спохватился он и только тут заметил, что лежит почти в самой середине сточной канавы.

— Черт возьми этого горбатого циклопа! — проворчал он сквозь зубы и хотел приподняться, но был настолько оглушен падением и настолько разбит, что ему поневоле пришлось остаться на месте. Впрочем, руками он владел свободно; зажав нос, он покорился своей участи.

«Парижская грязь, — размышлял он (ибо был твердо уверен, что этой канаве суждено послужить ему ложем, —

А коль на ложе сна не спится, нам остается размышлять!), —

парижская грязь как-то особенно зловонна. Она, по-видимому, содержит в себе очень много летучей и азотистой соли, так, по крайней мере, полагает мэтр Никола Фламель и герметики...»

Слово «герметики» вдруг навело его на мысль об архидьяконе Клоде Фролло. Он вспомнил произошедшую на его глазах сцену насилия; вспомнил, что цыганка отбивалась от двух мужчин, что у Квазимодо был сообщник, и суровый и надменный образ архидьякона смутно промелькнул в его памяти.

«Вот было бы странно!» — подумал он и, взяв все это за основание, принялся возводить причудливое здание гипотез — сей карточный домик философов.

— Так и есть! Я окончательно замерзаю! — воскликнул он, снова возвращаясь к действительности.

И правда, положение поэта становилось все более невыносимым. Каждая частица воды отнимала частицу тепла у его тела, и температура его мало-помалу самым неприятным образом стала уравниваться с температурой ручья.

А тут еще на Гренгуара обрушилась новая беда.

Ватага ребятишек, этих маленьких босоногих дикарей, которые, под бессмертным прозвищем «гаменов», испокон веку гранят мостовые Парижа и которые еще во времена нашего детства швыряли камнями в каждого из нас, когда мы по вечерам выходили из школы, за то только, что на наших панталонах не было дыр, — стая этих маленьких озорников, нисколько не заботясь о том, что все кругом спали, с громким хохотом и криком бежала к тому перекрестку, где лежал Гренгуар. Они волокли за собой какой-то бесформенный мешок, и один стук их сабо о мостовую разбудил бы мертвого. Гренгуар, душа которого еще не совсем покинула тело, немного приподнялся.

— Эй! Генекен Дандеш! Эй! Жеан Пенсбурд! — во все горло перекликались они. — Старикашка Эсташ Мубон, что торговал железом на углу улицы, умер! Мы раздобыли его соломенный тюфяк и сейчас разведем праздничный костер! Сегодня праздник в честь фламандцев!

Подбежав к канаве и не заметив там Гренгуара, они швырнули тюфяк прямо на него. Тут же один из них взял пучок соломы и запалил его от

светильни, горевшей перед статуей Пречистой Девы.

— Господи помилуй, — пробормотал Гренгуар, — кажется, теперь мне будет слишком жарко!

Минута была критическая. Гренгуар мог попасть из одной беды в другую. Он сделал нечеловеческое усилие, на какое способен только фальшивомонетчик, которого намереваются бросить в кипящую воду. Вскочив на ноги, он швырнул соломенный тюфяк на ребятишек и пустился бежать.

— Пресвятая Дева! — воскликнули дети. — Торговец железом воскрес! — И бросились врассыпную.

Поле битвы осталось за тюфяком. Бельфоре, отец Ле Жюж и Корозе свидетельствуют, что на следующее утро тюфяк этот был подобран духовенством ближайшего прихода и торжественно отнесен в ризницу церкви Сент-Опортюне, ризничий которой вплоть до 1789 года извлекал преизрядный доход из великого чуда, совершенного статуей Богоматери, стоявшей на углу улицы Моконсей. Одним своим присутствием в знаменательную ночь с 6 на 7 января 1482 года эта статуя изгнала беса из покойного Эсташа Мубона, который, желая надуть дьявола, хитро

запрятал свою душу в соломенный тюфяк.

VI. Разбитая кружка

Некоторое время Гренгуар бежал со всех ног сам не зная куда, натыкаясь на углы домов при поворотах, перескакивая через множество канавок, пересекая множество переулков, тупиков и перекрестков в поисках спасения и выхода, сквозь все излучины старой Рыночной площади и разведывая в паническом страхе то, что великолепная латынь хартий называет «tota via, cheminum et viaria»[22]. Вдруг наш поэт остановился — во-первых, чтобы перевести дух, а во-вторых — его точно за шиворот схватила неожиданно возникшая в его уме дилемма.

«Мне кажется, мэтр Пьер Гренгуар, — сказал он себе, прикладывая палец ко лбу, — что вы просто сошли с ума. Куда вы бежите? Ведь маленькие озорники испугались вас ничуть не меньше, чем вы испугались их. По-моему, вам прекрасно слышен был стук их сабо, когда они удирали по направлению к югу, в то время как вы бросились к северу. Значит, одно из двух: или они обратились в бегство, и тогда этот соломенный тюфяк, бро-

---

[22] Примечания: 22
Вся дорога, путь и относящееся к дороге *(лат.).*

шенный ими с перепугу, и есть то гостеприимное ложе, за которым вы гоняетесь чуть ли не с самого утра и которое вам чудесным образом посылает Пресвятая Дева в награду за сочиненное вами в ее честь моралите, сопровождаемое торжественными шествиями и переодеваниями; или же дети не убежали и, следовательно, подожгли тюфяк — в таком случае у вас будет великолепный костер, около которого вам приятно будет обсушиться, согреться, и вы немного воспрянете духом. Так или иначе — в виде ли хорошего костра, в виде ли хорошего ложа — соломенный тюфяк является для вас даром небес. Может быть, Пресвятая Дева Мария, стоящая на углу улицы Моконсей, только ради этого и послала смерть Эсташу Мубону, и с вашей стороны очень глупо удирать без оглядки, точно пикардиец от француза, оставляя позади себя то, что вы сами же ищете. Пьер Гренгуар, вы просто болван!»

Он повернул обратно и, осматриваясь, обследуя, держа нос по ветру, а ушки на макушке, пустился на поиски благословенного тюфяка. Но все его старания были напрасны. Перед ним был хаос домов, тупиков, перекрестков, темных переулков, среди которых, терзаемый сомнениями и нерешительностью, он окончательно завяз, чув-

ствуя себя беспомощней, чем в лабиринте замка Турнель. Потеряв терпение, он воскликнул:

— Будь прокляты все перекрестки! Это дьявол сотворил их по образу и подобию своих вил!

Это восклицание несколько облегчило его, а красноватый отблеск, который мелькнул перед ним в конце длинной и узкой улочки, вернул ему мужество.

— Слава богу! — воскликнул он. — Это пылает мой тюфяк. — И, уподобив себя кормчему судна, которое терпит крушение в ночи, он благоговейно добавил: — Salve, maris stella[23].

Относились ли эти слова хвалебного гимна к Пречистой Деве или к соломенному тюфяку — это для нас осталось невыясненным.

Едва успел он сделать несколько шагов по этой длинной, отлогой, немощеной и чем дальше, тем все более грязной и крутой улочке, как заметил нечто весьма странное. Улица отнюдь не была пустынна: то тут, то там вдоль нее тащились какие-то неясные, бесформенные фигуры, направляясь к мерцавшему в конце ее огоньку, подобно неповоротливым насекомым, которые ночью ползут к костру пастуха, перебираясь со

---

[23] Примечания: 23

Радуйся, звезда моря! *(лат.)* — католический церковный гимн.

стебелька на стебелек.

Ничто не делает человека столь склонным к рискованным предприятиям, как ощущение невесомости своего кошелька. Гренгуар продолжал подвигаться вперед и вскоре нагнал ту из этих гусениц, которая ползла медленнее других. Приблизившись к ней, он увидел, что это был жалкий калека, который передвигался, подпрыгивая на руках, словно раненый паук-сенокосец, у которого только и осталось что две ноги. Когда Гренгуар проходил мимо паукообразного существа с человечьим лицом, оно жалобно затянуло:

— La buona mancia, signor! La buona mancia![24]

— Чтоб черт тебя побрал, да и меня вместе с тобой, если я хоть что-нибудь понимаю из того, что ты там бормочешь! — сказал Гренгуар и пошел дальше.

Нагнав еще одну из этих бесформенных движущихся фигур, он внимательно оглядел ее. Это был калека, колченогий и однорукий одновременно и настолько изувеченный, что сложная система костылей и деревяшек, поддерживавших его, придавала ему сходство с движущимися подмостками каменщика. Гренгуар, имевший склонность

---

[24] Примечания: 24
Подайте, синьор! Подайте! *(ит.)*

к благородным и классическим сравнениям, мысленно уподобил его живому треножнику Вулкана.

Этот живой треножник, поравнявшись с ним, поклонился ему, но, сняв шапку, он тут же подставил ее, словно чашку для бритья, к самому подбородку Гренгуара и оглушительно крикнул:

— Señor caballero, para comprar un pedazo de pan![25]

«И этот тоже как будто разговаривает, но на очень странном наречии. Он счастливее меня, если понимает его», — подумал Гренгуар.

Тут его мысли приняли иное направление, и, хлопнув себя по лбу, он пробормотал:

— Кстати, что они хотели сказать сегодня утром словом «Эсмеральда»?

Он ускорил шаг, но нечто в третий раз преградило ему путь. Это нечто или, вернее, некто был бородатый низенький слепец еврейского типа, который греб своей палкой, как веслом; его тащила на буксире большая собака. Слепец прогнусавил с венгерским акцентом:

— Facitote caritatem![26]

---

[25] Примечания: 25
Сеньор, подайте на кусок хлеба! *(исп.)*

[26] Примечания: 26
Подайте милостыню! *(лат.)*

— Слава богу! — заметил Гренгуар. — Наконец-то хоть один говорит человеческим языком. Видно, я кажусь очень добрым, если, несмотря на мой тощий кошелек, у меня все же просят милостыню. Друг мой, — и он повернулся к слепцу, — на прошлой неделе я продал мою последнюю рубашку, или, говоря на языке Цицерона, так как никакого иного ты, по-видимому, не понимаешь: vendidi hebdomade nuper transita meam ultimam chemisam[27].

Сказав это, Гренгуар повернулся спиной к нищему и продолжал свой путь. Но вслед за ним прибавил шагу и слепой; тогда и паралитик, и безногий поспешили за Гренгуаром, громко стуча по мостовой костылями и деревяшками. Потом все трое, преследуя его по пятам и натыкаясь друг на друга, завели свою песню:

— Caritatem!.. — начинал слепой.

— La buona mancia!.. — подхватывал безногий.

— Un pedazo de pan![28] — заканчивал музыкальную фразу паралитик.

Гренгуар заткнул уши.

---

[27] Примечания: 27

На прошлой неделе я продал свою последнюю рубашку *(лат.).* Следовало бы сказать: *«camisiam»*, а не *«chemisam»*.

[28] Примечания: 28

Милостыню! *(лат.)* Подайте! *(ит.)* Кусок хлеба! *(исп.)*

— Да это столпотворение вавилонское! — воскликнул он и бросился бежать. Побежал слепец. Побежал паралитик. Побежал и безногий.

И по мере того как он углублялся в переулок, вокруг него все возрастало число безногих, слепцов, паралитиков, хромых, безруких, кривых и покрытых язвами прокаженных: одни выползали из домов, другие из смежных переулков, а кто из подвальных дыр, и все, рыча, воя, визжа, спотыкаясь, по брюхо в грязи, словно улитки после дождя, устремлялись к свету.

Гренгуар, по-прежнему сопровождаемый своими тремя преследователями, растерявшись и не слишком ясно отдавая себе отчет в том, чем все это может окончиться, шел вместе с другими, обходя хромых, перескакивая через безногих, увязая в этом муравейнике калек, как судно некоего английского капитана, которое завязло в косяке крабов.

Он попробовал повернуть обратно, но было уже поздно. Весь этот легион с тремя нищими во главе сомкнулся позади него. И он продолжал идти вперед, понуждаемый непреодолимым напором этой волны, объявшим его страхом, а также своим помраченным рассудком, которому все происходившее представлялось каким-то

ужасным сном.

Он достиг конца улицы. Она выходила на обширную площадь, где в смутном ночном тумане были рассеяны тысячи мерцающих огоньков. Гренгуар бросился туда, надеясь, что проворные ноги помогут ему ускользнуть от трех вцепившихся в него жалких привидений.

— Onde vas, hombre?[29] — окликнул его паралитик и, отшвырнув костыли, помчался за ним, обнаружив пару самых здоровенных ног, которые когда-либо мерили мостовую Парижа.

Неожиданно встав на ноги, безногий нахлобучил на Гренгуара свою круглую железную чашку, а слепец глянул ему в лицо сверкающими глазами.

— Где я? — спросил поэт, ужаснувшись.

— Во Дворе чудес, — ответил нагнавший его четвертый призрак.

— Клянусь душой, это правда! — воскликнул Гренгуар. — Ибо я вижу, что слепые прозревают, а безногие бегают, но где же Спаситель?

В ответ послышался зловещий хохот.

Злополучный поэт оглянулся кругом. Он и в самом деле очутился в том страшном Дворе чудес,

---

[29] Примечания: 29
Эй, куда бежишь? *(исп.)*

куда в такой поздний час никогда не заглядывал ни один порядочный человек; в том магическом круге, где бесследно исчезали городские стражники и служители Шатле, осмелившиеся туда проникнуть; в квартале воров — омерзительной бородавке на лице Парижа; в клоаке, откуда каждое утро вырывался и куда каждую ночь вливался обратно выступавший из берегов столичных улиц гниющий поток пороков, нищенства и бродяжничества; в том чудовищном улье, куда каждый вечер слетались со своей добычей трутни общественного строя; в том своеобразном госпитале, где цыган, расстрига-монах, развратившийся школяр, негодяи всех национальностей — испанской, итальянской, германской, всех вероисповеданий — иудейского, христианского, магометанского и языческого, покрытые язвами, сделанными кистью и красками, и просившие милостыню днем, превращались ночью в разбойников. Словом, он очутился в громадной гардеробной, где в ту пору одевались и раздевались все лицедеи бессмертной комедии, которую грабеж, проституция и убийство играют на мостовых Парижа.

Это была обширная площадь неправильной формы и дурно вымощенная, как и все площади

того времени. Там и сям на ней горели костры, вокруг которых кишели странные кучки людей. Люди эти уходили, приходили, шумели. Слышался пронзительный смех, хныканье ребят, голоса женщин. Руки и головы этой толпы тысячью черных причудливых силуэтов вычерчивались на светлом фоне костров. Изредка там, где, сливаясь со стелющимися по земле темными гигантскими тенями, дрожал отблеск огня, можно было различить пробегавшую собаку, похожую на человека, и человека, похожего на собаку. В этом городе, как в пандемониуме, казалось, стерлись все видовые и расовые границы. Мужчины, женщины и животные, возраст, пол, здоровье и недуги — все в этой толпе казалось общим, все делалось согласно; все слилось, перемешалось, наслоилось одно на другое, и на каждом лежал какой-то общий для всех отпечаток.

Несмотря на свою растерянность, Гренгуар при колеблющемся и слабом отсвете костров мог разглядеть вокруг всей огромной площади мерзкое обрамление, образуемое ветхими домами, фасады которых, источенные червями, покоробленные и жалкие, пронзенные каждый одним или двумя освещенными слуховыми оконцами, в темноте казались ему собравшимися в кружок огромны-

ми старушечьими головами, чудовищными и хмурыми, которые, мигая глазами, смотрели на шабаш.

То был какой-то новый мир, невиданный, неслыханный, уродливый, пресмыкающийся, копошащийся, неправдоподобный.

Все сильнее цепенея от страха, схваченный, как в тиски, тремя нищими, оглушенный блеющей и лающей вокруг него толпой, злополучный Гренгуар пытался собраться с мыслями и припомнить, не суббота ли нынче. Но усилия его были тщетны: нить его сознания и памяти была порвана, и, сомневаясь во всем, колеблясь между тем, что видел, и тем, что чувствовал, он задавал себе неразрешимый вопрос: «Если я существую, существует ли все окружающее? Если существует все окружающее, существую ли я?»

В это время среди шума и гама окружавшей его толпы раздался отчетливый крик:

— Отведем его к королю! Отведем его к королю!

— Пресвятая Дева, — пробормотал Гренгуар, — я уверен, что здешний король — козел.

— К королю, к королю! — повторила толпа.

Его поволокли. Каждый старался вцепиться в него. Но трое нищих не упускали добычу. «Он

наш!» — рычали они, вырывая его из рук остальных. Камзол поэта, и без того дышавший на ладан, в этой борьбе испустил последнее дыхание.

Пересекая ужасную площадь, он почувствовал, что его мысли прояснились. Вскоре ощущение реальности вновь вернулось к нему, и он стал привыкать к окружающей обстановке. Вначале фантазия поэта, а может быть, самая простая и прозаическая причина — его голодный желудок — породили словно дымку, словно отделивший его от окружающего туман, сквозь который он различал все лишь в несвязных сумерках кошмара, во мраке сновидений, придающих зыбкость контурам, искажающих формы, скучивающих предметы в груды непомерной величины, превращая вещи в химеры, а людей в призраки. Постепенно эта галлюцинация уступила место впечатлениям менее сбивчивым и менее преувеличенным. Вокруг него как бы начало светать; действительность била ему в глаза, она лежала у ног и мало-помалу разрушала всю ту ужасающую поэзию, которая, казалось ему, окружала его. Ему пришлось убедиться, что перед ним не Стикс, а грязь, что его обступили не демоны, а воры, что дело идет не о его душе, а попросту о его жизни (ибо у него не было денег — этого драгоценного

посредника мира, который столь успешно становится между честным человеком и бандитом). Наконец, вглядевшись поближе и с большим хладнокровием в эту оргию, он понял, что попал не на шабаш, а в кабак.

Двор чудес и был кабак, но кабак разбойников, весь залитый не только вином, но и кровью.

Когда одетый в лохмотья конвой доставил его наконец к цели их путешествия, то представившееся его глазам зрелище отнюдь не было способно вновь вернуть его к поэтическому настроению: оно было лишено даже поэзии ада. То была самая настоящая прозаическая и грубая действительность питейного дома. Если бы дело происходило не в XV столетии, то мы сказали бы, что Гренгуар от Микеланджело спустился до Калло.

Вокруг большого костра, пылавшего на широкой круглой каменной плите и лизавшего своими огненными языками раскаленные ножки порожнего в эту минуту тагана, было кое-как расставлено несколько трухлявых столов, и, очевидно, без участия какого-либо опытного лакея, иначе он позаботился бы о том, чтобы они стояли параллельно или, по крайней мере, не соприкасались под таким острым углом. На

столах поблескивали кружки, мокрые от вина и браги, а вокруг этих кружек собралось множество пьяных физиономий, раскрасневшихся от вина и огня. Тут толстопузый весельчак звонко целовал обрюзгшую дебелую девку. Там «забавник» — на воровском жаргоне нечто вроде самозваного солдата, — посвистывая, снимал тряпицы со своей фальшивой раны и разминал здоровое и крепкое колено, запеленатое с утра в тысячу бинтов, а какой-то хиляк, наоборот, подготавливал для себя на завтра из чистотела и бычачьей крови «христовы язвы» на ноге. Через два стола от них «святоша», одетый в полное облачение паломника, монотонно гнусил «тропарь Царицы Небесной». Неподалеку неопытный припадочный брал уроки падучей у опытного эпилептика, который учил его, как, жуя кусок мыла, можно вызвать пену на губах. Здесь же страдающий водянкой освобождался от своих мнимых отеков, и сидевшие за тем же столом четыре или пять воровок, пререкавшихся из-за украденного вечером ребенка, вынуждены были зажать себе носы.

Все эти чудеса два века спустя, по словам Соваля, казались столь занятными при дворе, что были для потехи короля изображены во вступлении к балету «Ночь» в четырех актах,

поставленному в театре Пти-Бурбон. «Никогда еще, — добавляет очевидец, присутствовавший при этом в 1653 году, — внезапные метаморфозы Двора чудес не были воспроизведены столь удачно. Изящные стихи Бенсерада подготовили нас к представлению».

Повсюду слышались раскаты грубого хохота и непристойные песни. Люди судачили, ругались, твердили свое, не слушая соседей, чокались кружками, а под их стук вспыхивали ссоры, и тогда драчуны разбитыми кружками рвали друг на друге рубища.

Большая собака, сидя у костра поджав хвост, пристально глядела на огонь. При этой оргии присутствовало несколько детей. Украденный ребенок плакал и кричал. Другой, четырехлетний карапуз, молча сидел на высокой скамье, свесив ножки под стол, доходивший ему до подбородка. Еще один степенно размазывал пальцем по столу оплывающее со свечи сало. Наконец, четвертый, совсем крошка, сидел в грязи, еле видный из-за котла, который он скреб черепицей, извлекая из него звуки, от коих Страдивариус упал бы в обморок.

Возле костра возвышалась бочка, а на бочке восседал нищий. Это был король на своем троне.

Трое бродяг, державших Гренгуара, подтащили его к бочке, и на одну минуту дикий разгул затих, только ребенок продолжал скрести в котле.

Гренгуар не осмеливался ни вздохнуть, ни взглянуть.

— Hombre, quita tu sombrero![30] — сказал один из трех плутов, завладевших им, и, прежде чем Гренгуар успел сообразить, что это могло означать, с него стащили шляпу. Это была плохонькая шляпенка, но еще пригодная и в солнце, и в дождь. Гренгуар вздохнул.

Тем временем король с высоты своей бочки спросил:

— Это что за прощелыга?

Гренгуар вздрогнул. Этот голос, пускай измененный звучащей в нем угрозой, все же напомнил ему другой голос — тот, который нынче утром нанес первый удар его мистерии, прогнусавив во время представления: «Подайте Христа ради!» Гренгуар взглянул вверх. Перед ним действительно был Клопен Труйльфу.

Несмотря на знаки королевского достоинства, на Клопене Труйльфу было все то же рубище. Но язва на его руке уже исчезла. Он держал плетку

---

[30] Примечания: 30
А ну, шляпу долой! *(исп.)*

из сыромятных ремней, употреблявшуюся в те времена пешими стражниками, чтобы оттеснять толпу, и носившую название «метелка». Голову Клопена венчал убор с подобием валика вместо полей, закрытый сверху, и трудно было разобрать, детская ли это шапочка или царская корона, до такой степени одно было похоже на другое.

Гренгуар, узнав в короле Двора чудес нищего из большого зала дворца, сам не зная почему, приободрился.



— Мэтр… — пробормотал он. — Монсеньор… Сир… Как вас прикажете величать? — вымолвил он наконец, достигнув постепенно высших степеней титулования и не зная ни как величать его дальше, ни как спустить с этих высот.

— Величай меня как угодно — монсеньор, ваше величество или приятель. Только не мямли. Что ты можешь сказать в свое оправдание?

«В свое оправдание? — подумал Гренгуар. — Плохо дело».

И, запинаясь, ответил:

— Я тот самый, который нынче утром…

— Клянусь когтями дьявола, — перебил его Клопен, — говори свое имя, прощелыга, и больше ничего! Слушай. Ты находишься в присутствии трех могущественных властелинов: меня, Клопена Труйльфу — короля Алтынного, преемника великого кесаря, верховного властителя королевства Арго; Матиаса Гуниади Спикали, герцога египетского и цыганского, — вон того желтолицего старика, у которого голова обвязана тряпкой, и Гиольома Руссо, императора Галилеи, — того толстяка, который нас не слушает, а обнимает потаскуху. Мы твои судьи. Ты проник в царство Арго, не будучи его подданным, ты преступил законы нашего города. Если ты не деловой парень, не христарадник или погорелец, что на наречии порядочных людей значит вор, нищий или бродяга, то должен понести за это наказание. Кто ты такой? Оправдывайся! Скажи свое звание.

— Увы! — ответил Гренгуар. — Я не имею чести состоять в их рядах… Я автор…

— Довольно, — не давая ему договорить, отрезал Труйльфу. — Ты будешь повешен. Это совсем

не сложно, господа добропорядочные граждане! Как вы обращаетесь с нами, когда мы попадаем в ваши руки, так и мы обращаемся с вами здесь, у себя. Закон, применяемый вами к бродягам, бродяги применяют к вам. Ваша вина, если он жесток. Надо же иногда полюбоваться на гримасу порядочного человека в пеньковом ожерелье; это придает виселице нечто почтенное. Ну пошевеливайся, приятель! Раздай-ка поживей свое тряпье вот этим барышням. Я прикажу тебя повесить на потеху бродягам, а ты пожертвуй им на выпивку свой кошелек. Если тебе необходимо поханжить, то у нас среди другого хлама есть отличный каменный Бог Отец, которого мы украли в церкви Сен-Пьер-о-Беф. В твоем распоряжении четыре минуты, чтобы навязать ему свою душу.

Эта речь звучала устрашающе.

— Здорово сказано, клянусь душой! — воскликнул царь галилейский, разбивая свою кружку, чтобы подпереть черепком ножку стола. — Право, Клопен Труйльфу проповедует не хуже самого святейшего папы!

— Всемилостивейшие императоры и короли, — хладнокровно сказал Гренгуар (каким-то чудом он снова обрел уверенность в себе и говорил решительно), — опомнитесь! Я Пьер Гренгуар, поэт,

автор той самой мистерии, которую нынче утром представляли в большом зале дворца.

— А! Так это ты, мэтр! — воскликнул Клопен. — Я тоже там был, ей-богу! Ну, дружище, если ты докучал нам утром, это еще не резон миловать тебя вечером!

«Нелегко мне будет вывернуться из беды», — подумал Гренгуар, но тем не менее сделал еще одну попытку.

— Не понимаю, почему, — сказал он, — поэты не зачислены в нищенствующую братию. Бродягой был Эзоп, нищим был Гомер, вором был Меркурий…

— Ты что нам зубы-то заговариваешь своей тарабарщиной! — заорал Клопен. — Тьфу, пропасть! Дай себя повесить и не кобенься!

— Простите, всемилостивейший владыка королевства, — ответил Гренгуар, упорно отстаивая свои позиции. — Об этом стоит подумать… одну минуту. Выслушайте меня… Ведь не осудите же вы меня, не выслушав…

Но его жалкий голос был заглушен раздавшимся вокруг него шумом. Маленький мальчик с еще большим остервенением скреб котел, а в довершение всего какая-то старуха поставила на раскаленный таган полную сковороду сала,

трещавшего на огне, словно орава ребятишек, преследующая карнавальную маску.

Тем временем Клопен Труйльфу, посовещавшись с герцогом египетским и вдребезги пьяным галилейским царем, пронзительно крикнул толпе:

— Молчать!

Но так как ни котел, ни сковорода не внимали ему и продолжали свой дуэт, то, соскочив с бочки, он одной ногой дал пинка котлу, который откатился шагов на десять от ребенка, другой — спихнул сковородку, причем все сало опрокинулось в огонь, и снова величественно взгромоздился на свой трон, не обращая внимания ни на заглушенные всхлипывания ребенка, ни на воркотню старухи, чей ужин сгорал великолепным белым пламенем.

Труйльфу подал знак, и герцог, император, мазурики и домушники выстроились полумесяцем, в центре которого стоял Гренгуар, все еще находившийся под крепкой стражей. Это было полукружие, составленное из лохмотьев, рубищ, мишуры, вил, топоров, оголенных здоровенных рук, дрожащих от пьянства ног, мерзких и осоловелых, отупевших рож. За этим «круглым столом» нищеты, во главе, словно дож этого се-

ната, словно король этого пэрства, словно папа этого конклава, возвышался Клопен Труйльфу — прежде всего благодаря высоте своей бочки, а затем благодаря грозному и свирепому высокомерию, которое, зажигая его взор, смягчало в его диком облике животные черты разбойничьей породы. Это была голова вепря среди свиных рыл.

— Послушай, — обратился он к Гренгуару, поглаживая жесткой рукой свой уродливый подбородок, — я не вижу причины, почему бы нам тебя не повесить. Правда, тебе это, по-видимому, противно, но это вполне понятно: вы, горожане, к этому не привыкли и воображаете, что это невесть что! Впрочем, мы тебе зла не делаем. Вот тебе средство выпутаться из затруднения. Хочешь примкнуть к нашей братии?

Легко представить себе, какое действие произвело это предложение на Гренгуара, уже потерявшего надежду сохранить свою жизнь и готового сложить оружие. Он живо ухватился за него.

— Конечно хочу, еще бы! — воскликнул он.

— Ты согласен вступить в братство коротких клинков? — продолжал Клопен.

— Да, именно в братство коротких клинков, — ответил Гренгуар.

— Признаешь ли ты себя членом общины вольных горожан? — спросил король Алтынный.

— Да, признаю себя членом общины вольных горожан.

— Подданным королевства Арго?

— Да.

— Бродягой?

— Бродягой.

— От всей души?

— От всей души.

— Имей в виду, — заметил король, — что все равно ты будешь повешен.

— Черт возьми! — воскликнул поэт.

— Разница заключается в том, — невозмутимо продолжал Клопен, — что ты будешь повешен несколько позднее, более торжественно, за счет славного города Парижа, на отличной каменной виселице и порядочными людьми. Это все-таки утешение.

— Да, конечно, — согласился Гренгуар.

— У тебя будут и другие преимущества. В качестве вольного горожанина ты не должен будешь платить ни за чистку и освещение улиц, ни в пользу бедных; а каждый парижанин вынужден это делать.

— Аминь, — ответил поэт, — я согласен. Я бро-

дяга, арготинец, вольный горожанин, короткий клинок и все, что вам угодно. Всем этим я был уже давно, ваше величество король Алтынный, ибо я философ. А как вам известно, et omnia in philosophia, omnes in philosopho continentur[31].

Король Алтынный насупился:

— За кого ты меня принимаешь, приятель? Что ты там болтаешь на арго венгерских евреев? Я не говорю по-еврейски. Я больше не граблю, я выше этого — я убиваю. Перерезать горло — это да, а срезать кошелек — ну нет!

Гренгуар силился вставить какие-то оправдания в этот поток слов, которым гнев придавал все большую отрывистость.

— Ваше величество, прошу вас простить меня, — бормотал он, — я говорил по-латыни, а не по-еврейски.

— А я тебе говорю, — с запальчивостью возразил Клопен, — что я не еврей и прикажу тебя повесить, отродье синагоги, вместе вот с этим ничтожным иудейским торгашом, который торчит рядом с тобой и которого я надеюсь вскоре увидеть пригвожденным к прилавку, как фальшивая монета.

---

[31] Примечания: 31
Философия и философы всеобъемлющи *(лат.)*.

С этими словами он указал пальцем на низенького бородатого венгерского еврея, который докучал Гренгуару своим «facitote caritatem», а теперь, не разумея никакого иного языка, изумленно взирал на короля Алтынного, не понимая, чем вызвал его гнев.

Наконец его величество Клопен успокоился.

— Итак, прощелыга, — обратился он к нашему поэту, — значит, ты хочешь стать бродягой?

— Конечно, — ответил поэт.

— Хотеть — этого еще мало, — грубо ответил Клопен. — Хорошими намерениями похлебки не сдобришь, с ними разве только в рай попадешь. Но рай и Арго — вещи разные. Чтобы стать арготинцем, надо доказать, что ты на что-нибудь годен. Вот попробуй обшарь чучело.

— Я обшарю кого вам будет угодно, — ответил Гренгуар.

Клопен подал знак. Несколько арготинцев вышли из полукруга и вскоре вернулись. Они притащили два столба с лопатообразными подпорками у основания, которые придавали им устойчивость, и с поперечным брусом сверху. Все в целом представляло прекрасную передвижную виселицу, и Гренгуар имел удовольствие видеть, как ее воздвигли перед ним в мгновение ока. Все

в этой виселице было в исправности, даже веревка, грациозно качавшаяся под перекладиной.

«К чему они все это мастерят?» — с некоторым беспокойством подумал Гренгуар.

Звон колокольчиков, раздавшийся в эту минуту, положил конец его тревоге. Звенело чучело, подвешенное бродягами за шею к виселице; это было нечто вроде вороньего пугала, наряженного в красную одежду и увешанного таким множеством колокольчиков и бубенчиков, что их хватило бы на украшение упряжи тридцати кастильских мулов. Некоторое время, пока веревка раскачивалась, колокольчики звенели, затем стали постепенно затихать и, когда чучело, подчиняясь закону маятника, вытеснившего водяные и песочные часы, повисло неподвижно, совсем замолкли.

Клопен указал Гренгуару на старую, расшатанную скамью, стоявшую под чучелом:

— Ну-ка влезай!

— Черт побери, — запротестовал Гренгуар, — ведь я могу сломать себе шею. Ваша скамейка хромает, как двустишие Марциала: размер одной ноги у нее — гекзаметр, другой — дентаметр.

— Влезай! — повторил Клопен.

Гренгуар взобрался на скамью и, побалансиро-

вав, нашел наконец равновесие.

— А теперь, — продолжал владыка королевства Арго, — зацепи правой ногой левое колено и встань на носок левой ноги.

— Ваше величество, — взмолился Гренгуар, — вы непременно хотите, чтобы я повредил себе что-нибудь?

Клопен покачал головой:

— Послушай, приятель, ты слишком много болтаешь! Вот в двух словах, что от тебя требуется: ты должен, как я уже говорил, встать на носок левой ноги; в этом положении ты дотянешься до кармана чучела, обшаришь его и вытащишь оттуда кошелек. Если ты изловчишься сделать это так, что ни один колокольчик не звякнет, — твое счастье: ты станешь бродягой. Тогда нам останется только отлупить тебя хорошенько, на что уйдет восемь дней.

— Черт возьми, — воскликнул Гренгуар, — придется быть осторожным! А ежели колокольчики зазвенят?

— Тогда тебя повесят. Понимаешь?

— Ничего не понимаю, — ответил Гренгуар.

— Ну так слушай еще раз. Ты обшаришь чучело и вытащить у него из кармана кошелек; если в это время звякнет хоть один колокольчик, ты

будешь повешен. Понял?

— Да, ваше величество, понял. Ну а ежели нет?

— Если тебе удастся выкрасть кошелек так, что никто не услышит ни звука, тогда ты — бродяга, и в продолжение восьми дней кряду мы будем тебя лупить. Теперь, я надеюсь, ты понял?

— Нет, ваше величество, я опять ничего не понимаю. В чем же мой выигрыш, коли в одном случае я буду повешен, в другом — избит?

— А то, что ты станешь бродягой, — возразил Клопен, — этого, по-твоему, мало? Бить мы тебя будем для твоей же пользы, это приучит тебя к побоям.

— Покорно благодарю, — ответил поэт.

— Ну, живей! — закричал король, топнув ногой по бочке, загудевшей, словно огромный барабан. — Обшарь чучело, и баста! Предупреждаю тебя в последний раз: если звякнет хоть один бубенец, будешь висеть на его месте.

Банда арготинцев, покрыв слова Клопена рукоплесканиями, безжалостно смеясь, выстроилась вокруг виселицы. Тут Гренгуар понял, что служил им только потехой и, следовательно, мог ожидать от них чего угодно. Итак, не считая слабой надежды на успех в навязанном ему страшном испытании, уповать ему было больше не на что.

Он решил попытать счастья, но предварительно обратился с пламенной мольбой к чучелу, которое намеревался обобрать, ибо, казалось, легче умилостивить его, чем бродяг. Мириады колокольчиков с крошечными медными язычками представлялись ему мириадами разверстых змеиных пастей, готовых зашипеть и ужалить его.

— О! — пробормотал он. — Неужели возможно, чтобы моя жизнь зависела от малейшего колебания самого крошечного колокольчика? О! — молитвенно сложив руки, произнес он. — Звоночки, не трезвоньте, колокольчики, не звените, бубенчики, не бренчите!

Он сделал еще одну попытку переубедить Труйльфу.

— А ежели налетит порыв ветра? — спросил он.

— Ты будешь повешен, — без запинки ответил тот.

Видя, что ему нечего ждать ни отсрочки, ни промедления, ни возможности как-либо отвертеться, Гренгуар мужественно покорился своей участи. Он обхватил правой ногой левую, встал на левый носок и протянул руку; но в ту самую минуту, когда он прикоснулся к чучелу, тело его, опиравшееся лишь на одну ногу, пошатнулось

на скамье, которой тоже не хватало одной ноги; чтобы удержаться, он невольно ухватился за чучело и, потеряв равновесие, оглушенный роковым трезвоном тысячи колокольчиков, тяжело грохнулся на землю; чучело от толчка сначала описало круг, затем величественно закачалось между двумя столбами.

— Проклятие! — воскликнул, падая, Гренгуар и остался лежать, уткнувшись носом в землю, неподвижный, как труп.

Он слышал зловещий трезвон над своей головой, дьявольский хохот бродяг и голос Труйльфу:

— Ну-ка подымите этого чудака и повесьте его без канители.

Он встал. Чучело уже успели отцепить и освободили место для Гренгуара.

Арготинцы заставили его влезть на скамью. К нему подошел сам Клопен и, накинув ему петлю на шею, потрепал его по плечу:

— Прощай, приятель. Теперь, будь в твоем брюхе кишки самого папы, тебе не выкрутиться!

Слово «пощадите» замерло на устах Гренгуара. Он растерянно огляделся. Никакой надежды: все хохотали.

— Бельвинь де Летуаль, — обратился властелин королевства Арго к какому-то отделившемуся от

толпы верзиле, — ну-ка полезай на перекладину.

Бельвинь де Летуаль проворно вскарабкался на поперечный брус виселицы, и мгновение спустя Гренгуар, посмотрев вверх, с ужасом увидал его примостившимся на перекладине над его головой.

— Теперь, — сказал Клопен Труйльфу, — ты, Андри Рыжий, как только я хлопну в ладоши, вышибешь коленом у него из-под ног скамейку, ты, Франсуа Шант-Прюн, повиснешь на ногах этого прощелыги, а ты, Бельвинь, прыгнешь ему на плечи, да все трое разом — слышали?

Гренгуар содрогнулся.

— Ну, поняли? — спросил Клопен трех арготинцев, готовых ринуться на Гренгуара, словно пауки на муху. Несчастная жертва переживала ужасные мгновения, пока Клопен спокойно подталкивал ногою в огонь несколько еще не успевших загореться прутьев виноградной лозы. — Поняли? — повторил он и уже хотел хлопнуть в ладоши. Еще секунда — и все было бы кончено.

Но вдруг он остановился, точно осененный какой-то неожиданной мыслью.

— Постойте! — воскликнул он. — Чуть не забыл!.. По нашему обычаю, прежде чем повесить человека, мы спрашиваем, не найдется ли жен-

щины, которая захочет его взять. Ну, дружище, это твоя последняя надежда. Тебе придется выбрать между потаскушкой и веревкой.

Этот цыганский обычай, сколько ни покажется он необычайным читателю, еще и доныне в весьма пространном изложении существует в старинном английском законодательстве. О нем можно справиться в «Заметках» Берингтона.

Гренгуар перевел дух; но в течение получаса он уже второй раз возвращался к жизни, стало быть, слишком доверять этому счастью нельзя.

— Эй! — крикнул Клопен, снова взобравшись на свою бочку. — Эй! Бабье, девки, найдется ли среди вас — будь то ведьма или ее кошка — какая-нибудь потаскушка, которая пожелала бы взять его себе? Эй! Колета Шарон, Элизабета Трувен, Симона Жодуин, Мари Колченогая, Тони Долговязая, Берарда Фануэль, Мишель Женайль, Клодина Грызи Ухо, Матюрина Жирору! Эй, Изабо ла Тьери! Глядите сюда! Мужчина задаром! Кто хочет?

Несомненно, Гренгуар представлял собой малопривлекательное зрелище в том плачевном состоянии, в котором находился. Женщины отнеслись равнодушно к этому предложению. Бедняга слышал, как они ответили: «Нет, лучше повесьте. Тогда все получим удовольствие».

Трое из них, однако, отделились от толпы и подошли посмотреть на него. Первая была толстуха с квадратным лицом. Она внимательно оглядела жалкую куртку философа. Его камзол был до такой степени изношен, что на нем было больше дыр, чем в сковородке для жаренья каштанов. Девушка скорчила гримасу.

— Чистая рвань! — пробурчала она. — А где твой плащ? — спросила она Гренгуара.

— Я потерял его.

— А шляпа?

— У меня ее отняли.

— А башмаки?

— У них отваливаются подошвы.

— А твой кошелек?

— Увы, — запинаясь, ответил Гренгуар, — у меня нет ни полушки.

— Ну так попроси, чтобы тебя повесили, да еще скажи спасибо! — отрезала она и повернулась к нему спиной.

Вторая — старая, смуглая, морщинистая, омерзительная нищенка, до того безобразная, что даже во Дворе чудес казалась исключением, — покружила некоторое время вокруг Гренгуара. Ему даже стало страшно, что вдруг она пожелает его взять.

— Он слишком тощий! — пробормотала она сквозь зубы и отошла прочь.

Третья была молоденькая девушка, довольно свеженькая и не слишком безобразная. «Спасите меня», — шепнул ей бедняга. Она взглянула на него с состраданием, затем потупилась, поправила складку на юбке и остановилась в нерешительности. Он следил за всеми ее движениями; это была его последняя надежда. «Нет, — проговорила она наконец, — нет, Гильом Вислощекий меня поколотит». И она замешалась в толпу.

— Ну, приятель, тебе не везет, — заметил Клопен.

И, поднявшись во весь рост на своей бочке, он, к величайшей потехе всех, закричал, подражая тону оценщика на аукционе:

— Никто не желает его приобрести? Раз, два, три! — И, повернувшись лицом к виселице, он сказал, кивнув головой: — Остался за вами!

Бельвинь де Летуаль, Андри Рыжий и Франсуа Шант-Прюн снова приблизились к Гренгуару. В эту минуту среди арготинцев поднялся крик:

— Эсмеральда! Эсмеральда!

Гренгуар вздрогнул и обернулся в ту сторону, откуда доносились возгласы. Толпа расступилась и пропустила непорочное и ослепительное

создание.

То была цыганка.

— Эсмеральда, — повторил Гренгуар, пораженный, несмотря на свое волнение, той быстротой, с какою это магическое слово связало все его воспоминания за этот день.

Казалось, что это удивительное существо простирало до самого Двора чудес власть своего очарования и красоты. Арготинцы и арготинки тихо сторонились, уступая ей дорогу, их зверские лица как бы светлели от одного ее взгляда.

Она приблизилась к осужденному своей легкой поступью.

Хорошенькая Джали следовала за ней. Гренгуар был ни жив ни мертв. Она с минуту молча глядела на него.

— Вы хотите повесить этого человека? — с важностью обратилась она к Клопену.

— Да, сестра, — ответил король Алтынный, — разве только ты захочешь взять его в мужья.

Она сделала свою очаровательную гримаску.

— Я беру его, — сказала она.

Тут Гренгуар непоколебимо уверовал в то, что все происходящее с ним с утра лишь сон, а это — продолжение сна. Развязка хотя и была приятна, но слишком потрясла его. С шеи поэта сняли

петлю и велели спуститься со скамьи. Он вынужден был сесть — так он был потрясен. Цыганский герцог, не произнеся ни единого слова, принес глиняную кружку. Цыганка подала ее Гренгуару.

— Бросьте ее на землю, — сказала она.

Кружка разлетелась на четыре части.

— Брат, — произнес тогда цыганский король, возложив на их головы свои руки, — она твоя жена. Сестра, он твой муж. На четыре года. Ступайте.

VII. Брачная ночь

По прошествии нескольких минут наш поэт очутился в небольшой каморке со сводчатым потолком, уютной и жарко натопленной, перед столиком, который, казалось, только того и ждал, чтобы позаимствовать какой-нибудь снеди из висящего на стене шкафчика. В перспективе у Гренгуара была удобная постель и общество хорошенькой девушки. Приключение было похоже на волшебство. Он начал не шутя почитать себя за сказочного принца; от времени до времени он внимательно осматривался, как бы желая убедиться, не здесь ли еще та огненная колесница, запряженная двумя крылатыми химерами, которая одна могла столь стремительно перенести его из преисподней в рай. Иногда же, чтобы совсем не оторваться от земли, он, хватаясь за действительность, устремлял упорный взгляд на прорехи своего камзола. Его рассудок, колеблясь в фантастических просторах, держался только на этой нити.

Молодая девушка не обращала на него никакого внимания; она уходила, возвращалась, передвигала табурет, болтала с козочкой, стро-

ила по временам свою гримаску; наконец она села возле стола, и Гренгуар мог вволю ее разглядывать.

Вы были когда-то ребенком, читатель, а может быть, вам посчастливилось остаться им по сей день. Несомненно, вы не раз в сияющий солнечный день, сидя на берегу быстрой речки, ловили взором какую-нибудь очаровательную стрекозу, зеленую или голубую, которая быстрым, резким, косым лётом переносилась с кустика на кустик и словно лобзала кончик каждой ветки. (Что до меня, то я проводил за этим занятием долгие дни — плодотворнейшие дни моей жизни.) Вспомните, с каким любовным вниманием ваша мысль и взор были прикованы к этому маленькому вихрю пурпуровых и лазоревых крыл, свистящему и жужжащему, в центре которого трепетал какой-то неуловимый образ, затененный самой стремительностью своего движения. Это воздушное создание, чуть видное сквозь трепетанье крылышек, казалось вам нереальным, призрачным, неосязаемым, неразличимым. А когда наконец стрекоза опускалась на верхушку тростника и вы, затаив дыхание, могли разглядеть продолговатые прозрачные крылья, длинное эмалевое одеяние и два хрустальных глаза, — как

бывали вы изумлены и как боялись, что этот образ снова превратится в тень, а живое существо — в химеру! Припомните эти впечатления, и вам будет понятно, что испытывал Гренгуар, созерцая под видимой и осязаемой оболочкой ту Эсмеральду, которую до сей поры он видел лишь мельком за вихрем пляски, песни и суеты.

«Так вот что такое Эсмеральда! — думал он, следя за ней задумчивым взором и все более и более погружаясь в мечтания. — Небесное создание и уличная плясунья! Столь много и столь мало! Она нанесла нынче утром последний удар моей мистерии, и она же вечером спасла мне жизнь. Мой злой гений! Мой ангел-хранитель! Прелестная женщина, клянусь честью! Она должна любить меня до безумия, если решилась завладеть мной таким странным способом. Да, кстати, — встав внезапно из-за стола сказал он себе, охваченный тем чувством реальности, которое составляло основу его характера и философии, — как-никак, но ведь я ее муж!»

Эта мысль отразилась в его глазах, и он с таким предприимчивым и галантным видом подошел к молодой девушке, что она отшатнулась.

— Что вам угодно? — спросила она.

— Неужели вы сами не догадываетесь об этом,

обожаемая Эсмеральда? — ответил Гренгуар с такой страстью, что сам себе удивился.

Цыганка изумленно посмотрела на него.

— Я не понимаю, что вы хотите сказать.

— Как же! — продолжал Гренгуар, все более и более воспламеняясь и воображая, что, в конце концов, он имеет дело всего лишь с добродетелью Двора чудес. — Разве я не твой, нежная моя подруга? Разве ты не моя?

И он простодушно обнял ее за талию. Она выскользнула у него из рук, как угорь. Отскочив на другой конец каморки, она наклонилась, затем вновь выпрямилась, и, раньше чем Гренгуар успел сообразить, откуда он взялся, в ее руке сверкнул маленький кинжал. Гордая, негодующая, сжав губы, красная, как наливное яблочко, стояла она перед ним; ноздри ее раздувались, глаза сверкали. Тут же выступила вперед и белая козочка, наставив на Гренгуара свой лоб, вооруженный двумя хорошенькими, позолоченными, весьма острыми рожками. Все это произошло в мгновение ока.

Стрекоза превратилась в осу и намеревалась ужалить.

Наш бедный философ опешил и с глупым видом смотрел то на козочку, то на Эсмеральду.

— Пресвятая Дева, — воскликнул он, опомнившись от изумления и обретя дар речи, — вот так храбрецы!

Цыганка нарушила молчание:

— А ты, как я погляжу, очень дерзкий плут!

— Простите, мадемуазель, — улыбаясь, ответил Гренгуар, — но зачем же вы взяли меня в мужья?

— А было бы лучше, если бы тебя повесили?

— Значит, вы вышли за меня замуж только ради того, чтобы спасти меня от виселицы? — спросил Гренгуар, несколько разочаровавшись в своих любовных упованиях.

— А о чем же другом я могла думать?

Гренгуар закусил губы.

— Ну-ну, — пробормотал он, — видимо, Купидон далеко не столь благосклонен ко мне, как я предполагал. Но для чего же тогда было разбивать эту злосчастную кружку?

Кинжал молодой цыганки и рожки козочки все еще находились в оборонительном положении.

— Мадемуазель Эсмеральда, — сказал поэт, — заключим перемирие. Я не актуариус Шатле и не буду доносить, что вы вопреки запрещениям и приказам господина парижского прево носите при себе кинжал. Но все же вы должны знать, что восемь дней тому назад Ноэль Лекривен был

присужден к уплате штрафа в десять су за то, что носил шпагу. Ну да меня это не касается; я перехожу к делу. Клянусь вам вечным спасением, что я не подойду к вам без вашего согласия и разрешения, только дайте мне поужинать.

В сущности, Гренгуар, как и господин Депрео, был «преотменно мало сластолюбив». Он не принадлежал к породе тех грубоватых и развязных мужчин, которые берут девушек приступом. В любви, как и во всем остальном, он был противником крайних мер и предпочитал выжидательную политику. Приятная беседа с глазу на глаз и добрый ужин, в особенности когда человек голоден, казались ему великолепной интермедией между прологом и развязкой любовного приключения.

Цыганка оставила его речь без ответа. Сделав презрительную гримаску, она, точно птичка, подняла головку и вдруг расхохоталась; маленький кинжал исчез так же быстро, как появился, и Гренгуар не успел разглядеть, куда пчелка спрятала свое жало.

Через минуту на столе очутились ржаной хлеб, кусок сала, несколько сморщенных яблок и жбан браги. Гренгуар с увлечением принялся за еду. Слыша бешеный стук его железной вилки о фаянсовую тарелку, можно было предположить, что

вся его любовь обратилась в аппетит.

Сидя напротив него, молодая девушка молча наблюдала за ним, явно поглощенная какими-то другими мыслями, которым она порой улыбалась, и милая ее ручка гладила головку козочки, нежно прижавшуюся к ее коленям.

Свеча желтого воска освещала эту сцену обжорства и мечтательности.

Заморив червячка, Гренгуар устыдился, заметив, что на столе осталось несъеденным лишь одно яблоко.

— А вы не голодны, мадемуазель Эсмеральда? — спросил он.

Она отрицательно покачала головой и устремила задумчивый взор на сводчатый потолок комнатки.

«Что ее там занимает? — спросил себя Гренгуар, посмотрев туда же, куда глядела цыганка. — Не может быть, чтобы рожа каменного карлика, высеченного в центре свода. Черт возьми! С ним-то я вполне могу соперничать».

И он окликнул ее:

— Мадемуазель!

Она, казалось, не слыхала.

Он повторил еще громче:

— Мадемуазель Эсмеральда!

Напрасно. Ее мысли витали где-то далеко, и голос Гренгуара был бессилен отвлечь ее от них. К счастью, в дело вмешалась козочка: она принялась тихонько дергать свою госпожу за рукав.

— Что тебе, Джали? — словно пробудившись от сна, быстро спросила цыганка.

— Она голодна, — ответил Гренгуар, обрадовавшись случаю завязать разговор.

Эсмеральда накрошила хлеба, и козочка грациозно начала его есть с ее ладони.

Гренгуар, не дав молодой девушке времени опять впасть в задумчивость, отважился задать ей щекотливый вопрос:

— Итак, вы не желаете, чтобы я стал вашим мужем?

Она пристально поглядела на него и ответила:

— Нет.

— А любовником? — спросил Гренгуар. Она сделала гримаску и сказала:

— Нет.

— А другом? — настаивал Гренгуар. Она опять пристально поглядела на него и, помедлив, ответила:

— Может быть.

Это «может быть», столь любезное сердцу философа, ободрило Гренгуара.

— А знаете ли вы, что такое дружба? — спросил он.

— Да, — ответила цыганка. — Это значит быть братом и сестрой; это две души, которые соприкасаются, не сливаясь; это два перста одной руки.

— А любовь? — спросил Гренгуар.

— О, любовь! — промолвила она, и голос ее дрогнул, а глаза заблистали. — Любовь — это когда двое едины. Когда мужчина и женщина превращаются в ангела. Это — небо!

При этих словах лицо уличной плясуньи просияло чудесной красотой, которая необычайно потрясла Гренгуара и, казалось ему, была в совершенном соответствии с почти восточной экзальтированностью ее слов. Ее розовые невинные уста слегка улыбались, непорочное и ясное чело, как зеркало от дыхания, иногда затуманивалось какой-то мыслью, а из-под опущенных длинных черных ресниц струился неизъяснимый свет, придававший ее чертам ту идеальную нежность, которую впоследствии уловил Рафаэль в мистическом слиянии девственности, материнства и божественности.

— Каким же надо быть, чтобы вам понравиться? — продолжал Гренгуар.

— Надо быть мужчиной.

— А я, — спросил он, — разве я не мужчина?

— Мужчиной, у которого на голове шлем, в руках шпага, а на сапогах золотые шпоры.

— Так! — заметил Гренгуар. — Значит, без золотых шпор нет и мужчины. Вы любите кого-нибудь?

— Любовью?

— Да, любовью.

На минуту она задумалась, затем сказала с каким-то особым выражением:

— Я скоро это узнаю.

— Отчего же не сегодня вечером? — нежно спросил поэт. — Почему не меня?

Она серьезно взглянула на него:

— Я полюблю только того мужчину, который сумеет защитить меня.

Гренгуар покраснел и принял эти слова к сведению. Молодая девушка, очевидно, намекала на ту слабую помощь, которую он оказал ей два часа тому назад, когда она попала в такое опасное положение. Ему вспомнился теперь этот случай, полузабытый им среди других его ночных передряг. Он хлопнул себя по лбу.

— Мне следовало бы с этого и начать! Простите мою ужасную рассеянность, мадемуазель. Скажите, каким образом вам удалось вырваться из

когтей Квазимодо?

Этот вопрос заставил цыганку вздрогнуть.

— О! Ужасный горбун! — закрывая лицо руками, воскликнула она и задрожала, словно ее пронизал холод.

— Действительно ужасный! Но как же вам удалось ускользнуть от него? — настойчиво повторил свой вопрос Гренгуар.

Эсмеральда улыбнулась, вздохнула и промолчала.

— А вы знаете, почему он вас преследовал? — спросил Гренгуар, пытаясь обходным путем вернуться к интересовавшей его теме.

— Не знаю, — ответила молодая девушка, а потом быстро прибавила: — Вы ведь тоже меня преследовали, а зачем?

— Клянусь честью, я и сам не знаю.

Оба замолчали. Гренгуар ковырял своим ножом стол, молодая девушка улыбалась и пристально глядела на стену, словно что-то видела за ней. Вдруг она едва слышно запела:

Quando las pintadas aves
Mudas estan, y la tierra...[32]

---

[32] Примечания: 32
Когда цесарки меняют перья, и земля... *(исп.)*

Оборвав песню, она принялась ласкать Джали.

— Какое хорошенькое животное, — сказал Гренгуар.

— Это моя сестричка, — ответила цыганка.

— Почему вас зовут Эсмеральдой?[33] — спросил поэт.

— Не знаю.

— А все же?

Она вынула из-за пазухи маленькую овальную ладанку, висевшую у нее на шее на цепочке из зерен лаврового дерева и источавшую сильный запах камфары. Ладанка была обтянута зеленым шелком, а посредине была нашита зеленая бусинка, похожая на изумруд.

— Может быть, из-за этого, — сказала она.

Гренгуар хотел взять ладанку в руки. Эсмеральда отшатнулась.

— Не прикасайтесь ко мне! Это амулет. Либо вы повредите ему, либо он вам.

Любопытство поэта разгоралось все сильнее.

— Кто же вам его дал?

Она приложила пальчик к губам и спрятала амулет на груди. Гренгуар попытался задать ей еще несколько вопросов, но она отвечала

---

[33] Примечания: 33

Esmeralda — по-испански изумруд.

неохотно.

— Что означает слово «Эсмеральда»?

— Не знаю, — сказала она.

— На каком это языке?

— Должно быть, на цыганском.

— Я так и думал, — сказал Гренгуар. — Вы родились не во Франции?

— Я ничего об этом не знаю.

— А кто ваши родители?

В ответ она запела на мотив старинной песни:

Отец мой орел,
Мать моя орлица,
Плыву я без ладьи,
Плыву я без челна,
Отец мой орел,
Мать моя орлица.

— Так, — сказал Гренгуар. — Сколько же вам было лет, когда вы приехали во Францию?

— Я была совсем малюткой.

— А в Париж?

— В прошлом году. Когда мы входили в Папские ворота, то над нашими головами пролетела камышовая славка; это было в конце августа; я сказала себе: «Зима нынче будет суровая».

— Да, так оно и было, — сказал Гренгуар, восхищаясь тем, что разговор наконец завязался, — мне все время приходилось дыханием отогревать пальцы. Вы, значит, обладаете даром пророчества?

— Нет.

— А тот человек, которого вы называете цыганским герцогом, — глава вашего племени?

— Да.

— А ведь это он сочетал нас браком, — робко заметил поэт. Она сделала свою обычную гримаску.

— Я даже не знаю, как тебя зовут.

— Извольте! Пьер Гренгуар.

— Я знаю более красивое имя.

— Злая! — сказал поэт. — Но пусть так, я не буду сердиться. Послушайте, может быть, вы полюбите меня, узнав поближе. Вы с таким доверием рассказали мне свою историю, что я должен отплатить вам тем же. Итак, вам уже известно, что мое имя Пьер Гренгуар. Я сын сельского нотариуса из Гонеса. Двадцать лет тому назад, во время осады Парижа, отца моего повесили бургундцы, а мать мою зарезали пикардийцы. Таким образом, шести лет я остался сиротой, и подошвой моим ботинкам служили лишь мостовые Парижа. Не

знаю сам, как мне удалось прожить с шести до шестнадцати лет. То торговка фруктами давала мне сливу, то булочник бросал корочку хлеба; по вечерам я старался, чтобы меня подобрал на улице ночной дозор: меня отводили в тюрьму, и там я находил для себя охапку соломы. Однако все это не мешало мне расти и худеть, как видите. Зимою я грелся на солнышке у подъезда особняка де Сане, недоумевая, почему костры Иванова дня зажигают летом. В шестнадцать лет я решил выбрать себе профессию. Одно за другим я испробовал все. Я пошел в солдаты, но оказался недостаточно храбрым. Затем я сделался монахом, но оказался недостаточно набожным, и, кроме того, я не умел пить. Тогда с отчаяния я поступил в обучение к плотникам, но оказался слишком слабосильным. Больше всего мне хотелось стать школьным учителем; правда, грамоты я не знал, но это меня не смущало. Убедившись через некоторое время, что для всех этих занятий мне чего-то не хватает и что я ни к чему не пригоден, я, следуя своему влечению, стал сочинять стихи и песни. Это ремесло как раз годится для бродяг, и это все же лучше, чем промышлять грабежом, на что меня подбивали некоторые вороватые парнишки из числа мо-

их приятелей. К счастью, я однажды встретил преподобного отца Клода Фролло, архидьякона Собора Парижской Богоматери. Он принял во мне участие, и ему я обязан тем, что стал по-настоящему образованным человеком, знающим латынь, начиная с книги Цицерона — «Об обязанностях» и кончая «Житиями святых», творением отцов-целестинцев. Я кое-что смыслю в схоластике, пиитике, стихосложении и даже в алхимии, этой премудрости из всех премудростей. Я автор той мистерии, которая сегодня с таким успехом и при таком громадном стечении народа была представлена в переполненном большом зале дворца. Я написал также труд в шестьсот страниц о страшной комете 1465 года, из-за которой один несчастный сошел с ума. На мою долю выпадали и другие успехи. Будучи несколько сведущ в артиллерийском деле, я работал над сооружением той огромной бомбарды Жеана Мога, которая, как вам известно, взорвалась на мосту Шарантон, когда ее хотели испробовать, и убила двадцать четыре человека зевак. Итак, вы видите, что я для вас неплохая партия. Я знаю множество весьма забавных штучек, которым могу научить вашу козочку, — например, передразнивать парижского епископа, этого проклятого святошу,

мельницы которого обдают грязью прохожих на всем протяжении Мельничного моста. А потом я получу за свою мистерию большие деньги звонкой монетой, если мне за нее заплатят. Словом, я весь к вашим услугам: и я, и мой ум, и мои знания, и моя ученость; я готов жить с вами так, как вам будет угодно, мадемуазель, — в целомудрии или в веселии: как муж с женою, буде вам то понравится, или как брат с сестрой, если вы это предпочтете.

Гренгуар умолк, выжидая, какое впечатление его речь произведет на молодую девушку. Глаза ее были опущены.

— Феб, — промолвила она вполголоса и, обернувшись к поэту, спросила: — Что означает слово «Феб»?

Гренгуар, хоть и не очень хорошо понимавший, какое отношение этот вопрос имел к тому, что он только что говорил, был все же не прочь блеснуть своей ученостью и, приосанившись, ответил:

— Это латинское слово, оно означает «солнце».

— Солнце! — повторила цыганка.

— Так звали прекрасного стрелка, который был богом, — присовокупил Гренгуар.

— Богом! — повторила она с каким-то мечтательным и страстным выражением.

В эту минуту один из ее браслетов расстегнулся и упал, Гренгуар быстро наклонился, чтобы поднять его. Когда он выпрямился, молодая девушка и козочка уже исчезли. Он услышал, как щелкнула задвижка. Маленькая дверь, ведущая, по-видимому, в соседнюю каморку, заперлась изнутри.

«Оставила ли она мне хоть постель?» — подумал наш философ.

Он обошел каморку. Единственной мебелью, пригодной для спанья, был довольно длинный деревянный ларь; но его крышка была резной работы, и это заставило Гренгуара, когда он на нем растянулся, испытать ощущение, подобное тому, какое испытал Микромегас, улегшись во всю длину на Альпах.

— Делать нечего, — сказал он, устраиваясь поудобней на этом ложе, — приходится смириться. Однако какая странная брачная ночь! А жаль! В этой свадьбе с разбитой кружкой было нечто наивное и допотопное, что мне понравилось.

Книга третья

I. Собор Богоматери

Несомненно, Собор Парижской Богоматери еще и доныне является благородным и величественным зданием. Но каким бы прекрасным собор, дряхлея, ни оставался, нельзя не скорбеть и не возмущаться при виде тех бесчисленных разрушений и повреждений, которым и годы и люди одновременно подвергли этот почтенный памятник старины, без малейшего уважения к имени Карла Великого, заложившего первый его камень, и к имени Филиппа Августа, положившего последний.

На челе этого старейшего патриарха наших соборов рядом с морщиной неизменно видишь шрам. Tempus edax, homo edacior[34], что я охотно перевел бы таким образом: «Время слепо, а человек невежествен».

Если бы у нас с читателем хватило досуга проследить один за другим все те следы разрушения, которые отпечатались на этом древнем храме, мы бы заметили, что доля времени здесь ничтожна, что наибольший вред нанесли люди, и главным

---

[34] Примечания: 34
Время прожорливо, человек еще прожорливей *(лат.)*.

образом люди искусства. Я вынужден упомянуть о «людях искусства», ибо в течение двух последних столетий к их числу принадлежали личности, присвоившие себе звание архитекторов.

Прежде всего, — чтобы ограничиться лишь немногими наиболее значительными примерами, — следует указать, что вряд ли в истории архитектуры найдется страница прекраснее той, какою является фасад этого собора, где последовательно и в совокупности предстают перед нами три стрельчатых портала; над ними — зубчатый карниз, словно расшитый двадцатью восемью королевскими нишами, громадное центральное окно-розетка с двумя другими окнами, расположенными по бокам, подобно священнику, стоящему между дьяконом и иподьяконом; высокая изящная аркада галереи с лепными украшениями в форме трилистника, несущая на своих тонких колоннах тяжелую площадку, и, наконец, две мрачные массивные башни с шиферными навесами. Все эти гармонические части великолепного целого, воздвигнутые один над другими в пять гигантских ярусов, безмятежно в бесконечном разнообразии разворачивают перед глазами свои бесчисленные скульптурные, резные и чеканные детали, могуче и неотрывно сливаю-

щиеся со спокойным величием целого. Это как бы огромная каменная симфония; колоссальное творение и человека и народа; единое и сложное, подобно «Илиаде» и «Романсеро», которым оно родственно; чудесный результат соединения всех сил целой эпохи, где из каждого камня брызжет принимающая сотни форм фантазия рабочего, направляемая гением художника, — одним словом, это творение рук человеческих могуче и изобильно, подобно творению Бога, у которого оно как будто заимствовало двойственный его характер: разнообразие и вечность.

То, что мы говорим здесь о фасаде, следует отнести и ко всему собору в целом; а то, что мы говорим о кафедральном соборе Парижа, следует сказать и обо всех христианских церквах Средневековья. Все в этом искусстве, возникшем само собою, последовательно и соразмерно. Измерить один палец ноги гиганта — значит определить размеры всего его тела.

Но возвратимся к этому фасаду в том его виде, в каком он нам представляется, когда мы благоговейно созерцаем суровый и мощный собор, который, по словам его летописцев, наводит страх

— quae mole sua terrorem incutit spectantibus[35].

Ныне в его фасаде недостает трех важных частей: прежде всего крыльца с одиннадцатью ступенями, приподнимавшего его над землей; затем нижнего ряда статуй, занимавших ниши трех порталов; и наконец, верхнего ряда изваяний, некогда украшавших галерею первого яруса и изображавших двадцать восемь древних королей Франции, начиная с Хильдеберта и кончая Филиппом Августом, с королевскою державою в руке.

Время, поднимая медленно и неудержимо уровень почвы Ситэ, заставило исчезнуть лестницу. Но, дав поглотить все растущему приливу парижской мостовой одну за другой эти одиннадцать ступеней, усиливавших впечатление величавой высоты этого здания, время же вернуло собору, быть может, больше, нежели отняло: оно придало его фасаду тот темный колорит веков, который претворяет преклонный возраст памятника в эпоху наивысшего расцвета его красоты.

Но кто низвергнул оба ряда статуй? Кто опустошил ниши? Кто вырубил посреди центрального портала эту новую незаконную стрельчатую

---

[35] Примечания: 35

Который своею громадой повергает в ужас зрителей *(лат.)*.

арку? Кто отважился поместить туда эту безвкусную, тяжелую резную дверь в стиле Людовика XV рядом с арабесками Бискорнета? Люди, архитекторы, художники наших дней.

А внутри храма — кто поверг ниц исполинскую статую святого Христофора, столь же прославленную среди статуй, как большой зал Дворца правосудия среди других залов, как шпиц Страсбургского собора среди колоколен? Кто столь грубо изгнал из храма мириады статуй, которые населяли все промежутки между колоннами нефа и хоров, — статуи коленопреклоненные, стоящие во весь рост, конные, статуи мужчин, женщин, детей, королей, епископов, воинов, каменные, мраморные, золотые, серебряные, медные, даже восковые? Уж никак не время.

А кто подменил древний готический алтарь, пышно уставленный раками и ковчежцами, этим тяжелым каменным саркофагом, разукрашенным головами херувимов и облаками, похожим на попавший сюда архитектурный образчик церкви Валь-де-Грас или Дома инвалидов? Кто столь нелепо вделал в плиты карловингского пола работы Эркандуса этот тяжелый каменный анахронизм? Не Людовик ли XIV, исполнивший пожелание Людовика XIII?

Кто заменил холодным белым стеклом цветные витражи, поочередно притягивавшие восхищенный взор наших предков то к розетке главного портала, то к стрельчатым окнам алтаря? И что сказал бы какой-нибудь причетник XIV века, увидев эту потрясающую желтую замазку, которой наши вандалы-архиепископы запачкали собор? Он вспомнил бы, что именно этой краской палач отмечал дома осужденных законом; он вспомнил бы дворец Пти-Бурбон, в ознаменование измены коннетабля также вымазанный той самой желтой краской, которая, по словам Соваля, была «столь крепкой и доброкачественной, что еще более ста лет сохраняла свою свежесть». Причетник решил бы, что святой храм осквернен, и в ужасе бежал бы.

А если мы, минуя тысячу мелких проявлений варварства, поднимемся на самый верх собора, то спросим себя: что сталось с той очаровательной колоколенкой, опиравшейся на точку пересечения свода, столь же хрупкой и столь же смелой, как и ее сосед, шпиц Сент-Шапель (тоже снесенный)? Стройная, остроконечная, звонкая, ажурная, она, далеко опережая башни, так легко вонзилась в ясное небо! Один архитектор (1787), обладавший непогрешимым вкусом, ам-

путировал ее, а чтобы скрыть рану, счел вполне достаточным наложить на нее этот свинцовый пластырь, напоминающий крышку котла.

Таково было отношение к дивным произведениям искусства Средневековья почти повсюду, особенно во Франции. На его руинах можно различить три вида более или менее глубоких повреждений: прежде всего бросаются в глаза те из них, что нанесла рука времени, там и сям неприметно выщербив и покрыв ржавчиной поверхность зданий; затем на них беспорядочно ринулись полчища политических и религиозных смут, слепых и яростных по своей природе, которые растерзали роскошный скульптурный и резной наряд соборов, выбили розетки, разорвали ожерелья из арабесок и статуэток, уничтожили изваяния — одни за то, что те были в митрах, другие за то, что их головы венчали короны; довершили разрушения моды, все более вычурные и нелепые, сменявшиеся одна за другой при неизбежном упадке зодчества, после анархических, но великолепных отклонений эпохи Возрождения.

Моды нанесли больше вреда, чем революции. Они врезались в самую плоть средневекового искусства, они посягнули на самый его остов,

они обкорнали, искромсали, разрушили, убили в здании его форму и символ, его смысл и красоту. Не довольствуясь этим, моды осмелились переделать его заново, на что все же не притязали ни время, ни революции. Считая себя непогрешимыми в понимании «хорошего вкуса», они бесстыдно разукрасили язвы памятника готической архитектуры своими жалкими недолговечными побрякушками, мраморными лентами, металлическими помпонами, медальонами, завитками, ободками, драпировками, гирляндами, бахромой, каменными языками пламени, бронзовыми облаками, дородными амурами и пухлыми херувимами, которые, подобно настоящей проказе, начинают пожирать прекрасный лик искусства еще в молельне Екатерины Медичи, а два века спустя заставляют это измученное и манерное искусство окончательно угаснуть в будуаре Дюбарри.

Итак, повторяем вкратце то, на что мы указывали выше: троякого рода повреждения искажают облик готического зодчества. Морщины и наросты на поверхности — дело времени. Следы грубого насилия, выбоины, проломы — дело революций, начиная с Лютера и кончая Мирабо. Увечья, ампутации, изменения в самом костяке

здания, так называемые «реставрации» — дело варварской работы подражавших грекам и римлянам ученых мастеров, жалких последователей Витрувия и Виньоля. Так великолепное искусство, созданное вандалами, было убито академиками. К векам, к революциям, разрушавшим по крайней мере беспристрастно и величаво, присоединилась туча присяжных зодчих, ученых, признанных, дипломированных, разрушавших сознательно и с разборчивостью дурного вкуса, подменяя, к вящей славе Парфенона, кружева готики листьями цикория времен Людовика XV. Так осел лягает умирающего льва. Так засыхающий дуб точат, сверлят, гложут гусеницы.

Как далеко то время, когда Робер Сеналис, сравнивая Собор Парижской Богоматери с знаменитым храмом Дианы в Эфесе, «столь прославленным язычниками» и обессмертившим Герострата, находил галльский собор «великолепней по длине, ширине, высоте и устройству!»[36]

Собор Парижской Богоматери не может быть, впрочем, назван законченным, цельным, имеющим определенный характер памятником. Это уже не храм романского стиля, но это еще и

---

[36] Примечания: 36

«История галликанской церкви». Кн. 2. С. 130. *(Примеч. авт.)*

не вполне готический храм. Это здание промежуточного типа. Собор Парижской Богоматери не имеет, подобно Турнюсскому аббатству, той суровой, мощной ширины фасада, круглого и широкого свода, леденящей наготы, величавой простоты зданий, основоположением которых является круглая арка. Он не похож и на собор в Бурже, великолепное, легкое, многообразное по форме, пышное, все ощетинившееся остриями стрелок произведение готики. Невозможно причислить собор и к древней семье мрачных, таинственных, приземистых и как бы придавленных полукруглыми сводами церквей, напоминающих египетские храмы, за исключением их кровли, целиком эмблематических, жреческих, символических, орнаменты которых больше обременены ромбами и зигзагами, нежели цветами, больше цветами, нежели животными, больше животными, нежели людьми; являющихся творениями скорее епископов, чем зодчих; служивших примером первого превращения того искусства, насквозь проникнутого теократическим и военным духом, которое брало свое начало в Восточной Римской империи и дожило до времен Вильгельма Завоевателя. Невозможно также отнести наш собор и к другой

семье церквей, высоких, воздушных, с изобилием витражей, смелых по рисунку; общинных и гражданских как символы политики, свободных, прихотливых и необузданных как творения искусства; служивших примером второго превращения зодчества, уже не эмблематического и жреческого, но художественного, прогрессивного и народного, начинающегося после крестовых походов и заканчивающегося в царствование Людовика XI. Таким образом, Собор Парижской Богоматери — не чисто романского происхождения, как первые, и не чисто арабского, как вторые.

Это здание переходного периода. Не успел саксонский зодчий воздвигнуть первые столбы нефа, как стрельчатый свод, вынесенный из Крестовых походов, победоносно лег на широкие романские капители, предназначенные поддерживать лишь полукруглый свод. Нераздельно властвуя с той поры, стрельчатый свод определяет формы всего собора в целом. Неискушенный и скромный вначале, этот свод разворачивается, увеличивается, но еще сдерживает себя, не дерзая устремиться остриями своих стрел и высоких арок в небеса, как он сделал это впоследствии в стольких чудесных соборах. Его словно стесняет соседство

тяжелых романских столбов.

Однако изучение этих зданий переходного периода от романского стиля к готическому столь же важно, как и изучение образцов чистого стиля. Они выражают собою тот оттенок в искусстве, который был бы для нас утрачен без них. Это — прививка стрельчатого свода к полукруглому.

Собор Парижской Богоматери и является примечательным образцом подобной разновидности. Каждая сторона, каждый камень почтенного памятника — это не только страница истории Франции, но и истории науки и искусства. Укажем здесь лишь на главные его особенности. В то время как малые Красные врата по своему изяществу почти достигают предела утонченности готического зодчества XV столетия, столбы нефа по объему и тяжести напоминают еще здание аббатства Сен-Жермен-де-Пре времен Каролингов, словно между временем сооружения врат и столбов лег промежуток в шестьсот лет. Все, даже герметики, находили в символических украшениях главного портала достаточно полный обзор своей науки, совершенным выражением которой являлась церковь Сен-Жак-де-ла-Бушри. Таким образом, романское аббатство, философическая церковь, готическое искусство, искусство

саксонское, тяжелые круглые столбы времен Григория VII, символика герметиков, где Никола́ Фламель предшествовал Лютеру, единовластие папы, раскол Церкви, аббатство Сен-Жермен-де-Пре и Сен-Жак-де-ла-Бушри — все расплавилось, смешалось, слилось в Соборе Парижской Богоматери. Эта главная церковь, церковь-прародительница, является среди древних церквей Парижа чем-то вроде химеры: у нее голова одной церкви, конечности другой, торс третьей и что-то общее со всеми.

Повторяем, эти постройки смешанного стиля представляют немалый интерес и для художника, и для любителя древностей, и для историка. Подобно следам циклопических построек, пирамидам Египта и гигантским индусским пагодам, они дают почувствовать, насколько первобытно искусство зодчества, служа наглядным доказательством того, что крупнейшие памятники прошлого — это не столько творения отдельной личности, сколько целого общества; это скорее следствие творческих усилий народа, чем блистательная вспышка гения; это осадочный пласт, оставляемый после себя нацией; наслоения, отложенные веками; гуща, оставшаяся в результате последовательного испарения человеческого

общества, — одним словом, это своего рода органическая формация. Каждая волна времени оставляет на памятнике свой намыв, каждое поколение — свой слой, и каждая личность добавляет свой камень. Так поступают бобры, так поступают пчелы, так поступают и люди. Величайший символ зодчества Вавилон представлял собою улей.

Великие здания, как и высокие горы, — создания веков. Часто форма искусства успела уже измениться, а они все еще не закончены, pendent opera interrupta[37], тогда они спокойно принимают то направление, которое избрало искусство. Новое искусство берется за памятник в том виде, в каком его находит, отображается в нем, уподобляет его себе, продолжает согласно своей фантазии и, если может, заканчивает его. Это совершается спокойно, без усилий, без противодействия, следуя естественному, бесстрастному закону. Это черенок, который привился, это сок, который бродит, это растение, которое принялось. Поистине в этих последовательных спайках различных искусств на различной высоте одного и того же здания заключается материал

[37] Примечания: 37
Стоят, прервавшись, работы *(лат.)*.

для многих объемистых томов, а нередко и сама всемирная история человечества. Художник, личность, человек исчезают в этих огромных массах, не оставляя после себя имени творца; человеческий ум находит в них свое выражение и свой общий итог. Здесь время — зодчий, а народ — каменщик.

Рассматривая лишь европейское, христианское зодчество, этого младшего брата огромных каменных кладов Востока, мы видим пред собой исполинское образование, разделенное на три резко отличные друг от друга пояса: пояс романский[38], пояс готический и пояс Возрождения, который мы охотно назовем греко-римским. Романский пласт, наиболее древний и глубокий, представлен полукруглым сводом, который вновь появляется перед нами в верхнем новом пласте эпохи Возрождения, поддерживаемый греческой колонной. Между ними лежит пласт стрельчатого свода. Здания, относящиеся только

[38] Примечания: 38

Это то искусство, которое в зависимости от местности, климата и населения называется также ломбардским, саксонским и византийским. Эти четыре разновидности архитектуры родственны и существуют параллельно; хотя каждая из них отличается особым характером, но в основе всех лежит полукруглый свод.

Facies non omnibus una,

Non diversa tamen; qualem ets.

Все не на одно лицо, однако очень схожи и т. д. *(лат.). (Примеч. авт.)*

к одному из этих трех наслоений, совершенно отличны от других, законченны и едины. Таковы, например, аббатство Жюмьеж, Реймский собор, церковь Креста Господня в Орлеане. Но эти три пояса, как цвета в солнечном спектре, соединяются и сливаются по краям. Отсюда возникли памятники смешанного стиля, здания различных оттенков переходного периода. Среди них можно встретить памятник, романский по своему основанию, готический по средней части, грекоримский по куполу. Это объясняется тем, что он строился шестьсот лет. Впрочем, подобная разновидность встречается редко. Образчиком такого здания служит главная башня замка Этамп. Чаще других встречаются памятники двух формаций. Таков Собор Парижской Богоматери — здание со стрельчатым сводом, которое первыми своими столбами внедряется в тот же романский слой, куда погружены и портал Сен-Дени, и неф церкви Сен-Жермен-де-Пре. Таков прелестный полуготический зал капитула Бошервиля, до половины охваченный романским пластом. Таков кафедральный собор в Руане, который был бы целиком готическим, если бы острие его центрального

шпиля не уходило в эпоху Возрождения[39].

Впрочем, все эти оттенки и различия касаются лишь внешнего вида здания. Искусство меняет здесь только оболочку. Самое же устройство христианского храма остается незыблемым. Внутренний остов его все тот же, все то же последовательное расположение частей. Какой бы скульптурой и резьбой ни была разукрашена оболочка храма, под нею всегда находишь, хотя бы в зачаточном, начальном состоянии, римскую базилику. Она располагается на земле по непреложному закону. Это все те же два нефа, пересекающихся в виде креста, верхний конец которого, закругленный куполом, образует хоры; это все те же постоянные приделы для крестовых ходов внутри храма или для часовен — нечто вроде боковых проходов, с которыми центральный неф сообщается через промежутки между колоннами. На этой постоянной основе бесконечно варьируется число часовен, порталов, колоколен, шпилей, следуя за фантазией века, народа и искусства. Предусмотрев и обеспечив все правила церковного богослужения, зодчество в остальном поступает, как ему вздумается. Изваяния,

---

[39] Примечания: 39

Эта деревянная часть шпиля была уничтожена молнией в 1823 году. *(Примеч. авт.)*

витражи, розетки, арабески, разные украшения, капители, барельефы — все это сочетает оно по своему вкусу и своим правилам. Отсюда проистекает изумительное внешнее разнообразие подобного рода зданий, в основе которых заключено столько порядка и единства. Ствол дерева — неизменен, листва — прихотлива.

II. Париж с птичьего полета

Мы попытались восстановить перед читателями чудесный Собор Парижской Богоматери. Мы в общих чертах указали на те красоты, которыми он обладал в XV веке и которых ныне ему недостает, но мы опустили главное, а именно — картину Парижа, открывавшуюся с высоты его башен.

Когда после долгого восхождения ощупью по темной спирали лестницы, вертикально пронзающей массивные стены колоколен, вы внезапно вырывались на одну из высоких, полных воздуха и света террас, перед вами развертывалась со всех сторон великолепная панорама. То было зрелище sui generis[40], о котором могут составить себе понятие лишь те из читателей, кому посчастливилось видеть какой-нибудь из еще сохранившихся кое-где готических городов во всей его целостности, завершенности и сохранности, как, например, Нюрнберг в Баварии, Виториа в Испании или хотя бы самые малые образцы таких городов, лишь бы они хорошо сохранились, вроде Витре в Бретани или Нордгаузена в Пруссии.

---

[40] Примечания: 40
Своеобразное *(лат.)*.

Париж триста пятьдесят лет тому назад, Париж XV столетия был уже городом-гигантом. Мы, парижане, заблуждаемся относительно позднейшего увеличения площади, занимаемой Парижем. Со времен Людовика XI Париж вырос немногим более чем на одну треть и, несомненно, гораздо больше проиграл в красоте, чем выиграл в размере.

Как известно, Париж возник на древнем острове Ситэ, имеющем форму колыбели. Плоский песчаный берег этого острова был его первой границей, а Сена — первым рвом. В течение нескольких веков Париж существовал как остров с двумя мостами — одним на севере, другим на юге, и с двумя мостовыми башнями, служившими одновременно воротами и крепостями: Гран-Шатле на правом берегу и Пти-Шатле на левом.

Позже, начиная со времен первой королевской династии, Париж, слишком стесненный на своем острове, не находя возможности развернуться на нем, перекинулся через реку. Первая ограда крепостных стен и башен врезалась в поля по обе стороны Сены за Гран-Шатле и Пти-Шатле. От этой древней ограды еще в прошлом столетии оставались кое-какие следы, но ныне от нее сохранилось лишь воспоминание, лишь несколько

легенд о ней да ворота Боде, или Бодуайе, Porta Bagauda. Мало-помалу поток домов, непрестанно выталкиваемый из сердца города, перехлестнул через ограду, разрушил и стер ее. Филипп Август воздвигает ему новую плотину. Он со всех сторон заковывает Париж в цепь толстых башен, высоких и прочных. В течение целого столетия дома жмутся друг к другу, скопляются и, словно вода в водоеме, все выше поднимают свой уровень в этом бассейне. Они растут в глубь дворов, они нагромождают этажи на этажи, карабкаются друг на друга, они, подобно сжатой жидкости, устремляются вверх, и только тот из них дышал свободно, кому удавалось поднять голову выше соседа. Улицы все более и более углубляются и суживаются; площади застраиваются и исчезают. Наконец дома перескакивают через ограду Филиппа Августа и весело, вольно, вкривь и вкось, как вырвавшиеся на свободу узники, рассыпаются по равнине. Они выкраивают в полях сады, устраиваются с удобствами.

Начиная с 1367 года город до того разлился по предместьям, что для него потребовалась новая ограда, особенно на правом берегу. Ее возвел Карл V. Но город, подобный Парижу, растет непрерывно. Только такие города и превращаются в

столицы. Это воронки, куда ведут все географические, политические, моральные и умственные стоки страны, куда направлены все естественные склонности целого народа; это, так сказать, кладези цивилизации и в то же время каналы, куда капля за каплей, век за веком без конца просачиваются и где скапливаются торговля, промышленность, образование, население — все, что плодоносно, все, что живительно, все, что составляет душу нации. Ограда Карла V разделила судьбу ограды Филиппа Августа. С конца XV столетия дома перемахнули и через это препятствие, предместья устремились дальше. В XVI столетии эта ограда как бы все больше и больше подается назад в старый город — до того разросся за нею новый. Таким образом, уже в XV веке, на котором мы и остановимся, Париж успел стереть три концентрических круга стен, зародышем которых во времена Юлиана Отступника были Гран-Шатле и Пти-Шатле.

Могучий город разорвал один за другим четыре пояса стен — так дитя прорывает одежды, из которых выросло. При Людовике XI среди этого моря домов торчали кое-где группы полуразвалившихся башен, оставшиеся от древних оград, подобно остроконечным вершинам холмов во

время наводнения, подобно островам старого Парижа, затопленным приливом нового города.

С тех пор, как это ни грустно, Париж вновь преобразился; но он преодолел всего только одну ограду, ограду Людовика XV, эту жалкую стену из грязи и мусора, достойную короля, построившего ее, и поэта, ее воспевшего.

В застенке стен Париж стенает.

В XV столетии Париж был разделен на три города, резко отличных друг от друга, независимых, обладавших каждый своей физиономией, своим специальным назначением, своими нравами, обычаями, привилегиями, своей историей: Ситэ, Университет и Город. Ситэ, расположенный на острове, самый древний из них и самый незначительный по размерам, был матерью двух других городов, напоминая собою — да простится нам это сравнение — маленькую старушку между двумя стройными красавицами-дочерьми. Университет занимал левый берег Сены, от башни Турнель до Нельской башни; в современном Париже эти места соответствуют: одно — Винному рынку, другое — Монетному двору. Ограда его довольно широким полукругом вдалась в поле, на котором некогда Юлиан Отступник воздвиг

свои термы. В ней находился и холм Святой Женевьевы. Высшей точкой этой каменной дуги были Папские ворота, почти на том самом месте, где ныне расположен Пантеон. Город, самая обширная из трех частей Парижа, занимал правый берег Сены. Его набережная, обрывавшаяся, вернее, прерывавшаяся в нескольких местах, тянулась вдоль Сены, от башни Бильи до башни Буа, то есть от того места, где расположены теперь Провиантские склады, и до Тюильри. Эти четыре точки, в которых Сена перерезала ограду столицы, оставляя налево Турнель и Нельскую башню, а направо — башню Бильи и башню Буа, известны главным образом под именем «Четырех парижских башен». Город вдавался в поля еще дальше, чем Университет. Высшей точкой его ограды (возведенной Карлом V) были ворота Сен-Дени и Сен-Мартен, местоположение которых не изменилось и до сих пор.

Как мы уже сказали, каждая из этих трех больших частей Парижа сама по себе являлась городом, но городом слишком узкого назначения, чтобы быть вполне законченным и обходиться без двух других. Поэтому и облик каждого из этих трех городов был совершенно своеобразен. В Ситэ преобладали церкви, в Городе — дворцы,

в Университете — учебные заведения. Не касаясь в данном случае второстепенных особенностей древнего Парижа и прихотливых законов дорожного ведомства, отметим в общих чертах, основываясь лишь на примерах согласованности и однородности в этом хаосе городских судебных ведомств, что юридическая власть на острове принадлежала епископу, на правом берегу — торговому старшине, на левом — ректору. Верховная же власть над всеми принадлежала парижскому прево, то есть чиновнику королевскому, а не муниципальному. В Ситэ находился Собор Парижской Богоматери, в Городе — Лувр и Ратуша, в Университете — Сорбонна. В Городе помещался Центральный рынок, в Ситэ — госпиталь Отель-Дье, в Университете — Пре-о-Клер. Проступки, совершаемые школярами на левом берегу, разбирались на острове во Дворце правосудия и карались на правом берегу в Монфоконе, если только в дело не вмешивался ректор, знавший, что Университет — сила, а король слаб: школяры обладали привилегией быть повешенными у себя. (Заметим мимоходом, что большая часть этих привилегий — среди них встречались и более важные — была исторгнута у королевской власти путем бунтов и мятежей. Таков, впрочем, ста-

родавний обычай: тогда лишь король уступает, когда народ вырывает. Есть старинная грамота, где очень наивно сказано по поводу верности подданных: Civibus fidelitas in reges quae tamen aliquoties seditionibus interrupta, multa peperit privilegia[41].)

В XV столетии Сена омывала пять островов, расположенных внутри парижской ограды: Волчий остров, где в те времена росли деревья, а ныне продают дрова; острова Коровий и Богоматери — оба пустынные, если не считать двух-трех лачуг, и оба представлявшие собой ленное владение парижского епископа (в XVII столетии оба эти острова соединили, застроили и назвали островом Святого Людовика); затем следовали Ситэ и примыкавший к нему островок Коровий перевоз, с тех пор исчезнувший под насыпью Нового моста. В Ситэ в то время было пять мостов: три с правой стороны — каменные мосты Богоматери и Менял и деревянный Мельничный мост; два с левой стороны — каменный Малый мост и деревянный Сен-Мишель; все они были застроены домами. Университет имел шесть ворот, построенных Филиппом Августом; это были, начиная с башни

[41] Примечания: 41

Верность граждан правителям, прерываемая, однако, изредка восстаниями, породила многие привилегии *(лат.)*.

Турнель, ворота Сен-Виктор, ворота Борделль, Папские, ворота Сен-Жак, Сен-Мишель и Сен-Жермен. Город имел также шесть ворот, построенных Карлом V, это были, начиная от башни Бильи, ворота Сент-Антуан, ворота Тампль, Сен-Мартен, Сен-Дени, ворота Монмартр, ворота Сент-Оноре. Все эти ворота были крепки и, что нисколько не мешало их прочности, красивы. Воды, поступавшие из Сены в широкий и глубокий ров, где во время зимнего половодья образовывалось сильное течение, омывали подножие городских стен вокруг всего Парижа. На ночь ворота запирались, реку на обоих концах города заграждали толстыми железными цепями, и Париж почивал спокойно.

С высоты птичьего полета эти три части — Ситэ, Университет и Город — представляли собою, каждая в отдельности, густую сеть причудливо перепутанных улиц. Тем не менее с первого взгляда становилось очевидным, что эти три отдельные части города составляют одно целое. Можно было сразу разглядеть две длинные параллельные улицы, тянувшиеся беспрерывно, без поворотов, почти по прямой линии; спускаясь перпендикулярно к Сене и пересекая все три города из конца в конец, с юга на север, они

соединяли, связывали, смешивали их и, неустанно переливая людские волны из ограды одного города в ограду другого, превращали три города в один. Первая из этих улиц вела от ворот Сен-Жак к воротам Сен-Мартен; в Университете она называлась улицею Сен-Жак, в Ситэ — Еврейским кварталом, а в Городе — улицею Сен-Мартен; она дважды перебрасывалась через реку мостами Богоматери и Малым. Вторая называлась улицею Подъемного моста — на левом берегу, Бочарной улицею — на острове, улицею Сен-Дени — на правом берегу, мостом Сен-Мишель — на одном рукаве Сены, мостом Менял — на другом, и тянулась от ворот Сен-Мишель в Университете до ворот Сен-Дени в Городе. Словом, под всеми этими различными названиями скрывались все те же улицы, улицы-матери, улицы-прародительницы, две артерии Парижа. Все остальные вены этого тройного города либо питались от них, либо в них вливались.

Независимо от этих двух главных поперечных улиц, прорезавших Париж из края в край, во всю его ширину, и общих для всей столицы, Город и Университет, каждый в отдельности, имели свою собственную главную улицу, которая тянулась параллельно Сене и пересекала под прямым уг-

лом обе «артериальные» улицы. Таким образом, в Городе от ворот Сент-Антуан можно было по прямой линии опуститься к воротам Сент-Оноре, а в Университете — от ворот Сен-Виктор к воротам Сен-Жермен. Эти две большие дороги, скрещиваясь с двумя упомянутыми выше, представляли собою ту основу, на которой покоилась повсюду одинаково узловатая и густая, подобная лабиринту, сеть парижских улиц. Пристально вглядываясь в сливающийся рисунок этой сети, можно было различить, кроме того, как бы два пучка, расширяющихся один в сторону Университета, другой — в сторону Города: две связки больших улиц, которые шли, разветвляясь, от мостов к воротам.

Кое-что от этого геометрального плана сохранилось и доныне.

Какой же вид представлял город в целом с высоты башен Собора Парижской Богоматери в 1482 году? Вот об этом-то мы и попытаемся рассказать.

Запыхавшийся зритель, взобравшись на самый верх собора, прежде всего был бы ослеплен зрелищем расстилавшихся внизу крыш, труб, улиц, мостов, площадей, шпилей, колоколен. Его взору одновременно представились бы: резной щипец,

остроконечная кровля, башенка, повисшая на углу стены, каменная пирамида XI века, шиферный обелиск XV века, круглая гладкая башня замка, четырехугольная узорчатая колокольня церкви — и большое и малое, и массивное и воздушное. Его взор долго блуждал бы, проникая в различные глубины этого лабиринта, где все было отмечено своеобразием, гениальностью, целесообразностью и красотой; все было порождением искусства, начиная с самого маленького домика с расписным и лепным фасадом, наружными деревянными креплениями, с низкой аркой двери, с нависшими над ним верхними этажами, и кончая величественным Лувром, окруженным в те времена колоннадой башен. Назовем те главные массивы зданий, которые вы прежде всего различите, освоившись в этом хаосе строений.

Прежде всего Ситэ. «Остров Ситэ, — говорит Соваль, у которого среди пустословия временами встречаются удачные выражения, — напоминает громадное судно, завязшее в тине и отнесенное ближе к середине Сены». Мы уже объясняли, что в XV столетии это «судно» было пришвартовано к обоим берегам реки пятью мостами. Эта форма острова, напоминающая корабль, поразила также и составителей геральдических книг. По

словам Фавена и Паскье, только благодаря этому сходству, а вовсе не вследствие осады норманд-цев, на древнем гербе Парижа изображено судно. Для человека, умеющего в нем разбираться, герб — алгебра, герб — язык. Вся история второй полови-ны Средних веков запечатлена в геральдике, подобно тому как история первой их половины выражена в символике романских церквей. Это иероглифы феодализма, заменившие иероглифы теократии.

Итак, первое, что бросалось в глаза, был остров Ситэ, обращенный кормою на восток, а носом на запад. Став лицом к носу корабля, вы раз-личали перед собой бесчисленный рой старых кровель, над которыми широко круглилась свин-цовая крыша Сент-Шапель, похожая на спину слона, отягощенного своей башенкой. Но здесь этой башенкой был самый дерзновенный, са-мый отточенный, самый филигранный, самый прозрачный шпиль, сквозь кружевной конус которого когда-либо просвечивало небо. Перед Собором Парижской Богоматери со стороны паперти расстилалась великолепная площадь, застроенная старинными домами, с вливающи-мися в нее тремя улицами. Южную сторону этой площади осенял весь изборожденный морщи-

нами, угрюмый фасад госпиталя Отель-Дье с его словно покрытой волдырями и бородавками кровлей. Далее направо, налево, к востоку, к западу в этом сравнительно тесном пространстве Ситэ вздымались колокольни двадцати одной церкви различных эпох, разнообразных стилей, всевозможных размеров, начиная от приземистой и источенной червями романской колоколенки Сен-Дени-дю-Па, career Glaucini, и кончая тонкими иглами церквей Сен-Пьер-о-Беф и Сен-Ландри. Позади Собора Парижской Богоматери на севере раскинулся монастырь с его готическими галереями; на юге — полуроманский епископский дворец; на востоке — пустынный мыс Терэн. В этом нагромождении домов можно было различить, по его высоким каменным ажурным навесам, украшавшим в ту эпоху все, даже слуховые окна дворцов, особняк, поднесенный городом в дар Ювеналу Дезюрсену при Карле VI; чуть подальше — просмоленные балаганы рынка Палюс; еще дальше — новые хоры старой церкви Сен-Жермен, удлиненные в 1458 году за счет улицы Фев; а еще дальше — то кишащий народом перекресток, то воздвигнутый на углу улицы вращающийся позорный столб, то остаток прекрасной мостовой Филиппа

Августа — великолепно вымощенную посреди улицы дорожку для всадников, так неудачно замененную в XVI веке жалкой булыжной мостовой, именовавшейся «Мостовою Лиги», то пустынный внутренний дворик с одной из тех сквозных башенок, которые пристраивались к дому для внутренней винтовой лестницы, как это было принято в XV веке и образец которых еще и теперь можно встретить на улице Бурдоне. Наконец, вправо от Сент-Шапель, к западу, на самом берегу реки, разместилась группа башен Дворца правосудия. Высокие деревья королевских садов, разбитых на западной оконечности Ситэ, застилали от взора островок Коровьего перевоза. Что касается воды, то с башен Собора Парижской Богоматери ее почти вовсе не было видно ни с той, ни с другой стороны: Сена скрывалась под мостами, а мосты под домами.

И если вы, минуя эти мосты, застроенные домами с зелеными кровлями, преждевременно заплесневелыми от водяных испарений, обращали взор влево, к Университету, то прежде всего вас поражал большой приземистый сноп башен Пти-Шатле, разверстые ворота которого, казалось, поглощали конец Малого моста; если же ваш взгляд устремлялся вдоль берега с востока на

запад, от башни Турнель до Нельской, то перед вами длинной вереницей бежали здания с резными балками, с цветными оконными стеклами, с нависшими друг над другом этажами — нескончаемая ломаная линия островерхих кровель, то и дело перегрызаемая пастью какой-нибудь улицы, обрываемая фасадом или углом какого-нибудь большого особняка, непринужденно развернувшегося своими дворами и садами, крылами и корпусами среди этого сборища теснящихся, жмущихся друг к другу домов, подобно знатному барину среди деревенщины.

Таких особняков на набережной было пять или шесть, начиная от особняка де Лорен, разделившего с бернардинцами большое огороженное пространство по соседству с Турнель, и до особняка Нель, главная башня которого была рубежом Парижа, а остроконечные кровли три месяца в году прорезали своими черными треугольниками багряный диск заходящего солнца.

На этом берегу Сены было меньше торговых заведений, чем на противоположном; здесь толпились и шумели скорее школяры, нежели ремесленники, и, в сущности, набережной в настоящем смысле этого слова служило лишь пространство, идущее от моста Сен-Мишель до

Нельской башни. Остальная часть берега Сены была либо оголенной песчаной полосой, как по ту сторону владения бернардинцев, либо скопищем домов, подступавших к самой воде, между обоими мостами. Здесь постоянно слышался оглушительный гвалт прачек; с утра до вечера они кричали, болтали и пели вдоль всего побережья и звучно колотили вальками, как и в наши дни. Это был веселый уголок Парижа.

Университетская сторона казалась сплошной глыбой. Из конца в конец это была однородная и плотная масса. Тысячи частых остроугольных, сросшихся, почти одинаковых по форме кровель казались с высоты кристаллами одного и того же вещества. Прихотливо извивавшийся ров улиц разрезал на почти пропорциональные ломти этот пирог домов. Сорок два коллежа Университетской стороны были расположены довольно равномерно и заметны были повсюду. Разнообразные и забавные коньки крыш всех этих прекрасных зданий были произведением того же самого искусства, что и скромные кровли, над которыми они возвышались; в сущности, они были не чем иным, как возведением в квадрат или в куб той же геометрической фигуры. Итак, они лишь усложняли целое, не нарушая его един-

ства; дополняли, не обременяя его. Геометрия — это та же гармония. Над живописными чердаками левого берега там и сям величественно выступало несколько прекрасных особняков: ныне исчезнувшие Неверское подворье, Римское подворье, Реймское подворье и особняк Клюни, существующий еще и до сих пор на радость художникам, хотя и без башни, которой его так безрассудно лишили несколько лет назад. Здание романского стиля, с прекрасными сводчатыми арками, возле Клюни — это термы Юлиана. Здесь было также множество аббатств более смиренной красоты, более суровой величавости, но не менее прекрасных и не менее обширных. Из них прежде всего останавливали внимание: Бернардинское аббатство с тремя колокольнями; монастырь Святой Женевьевы, уцелевшая четырехугольная башня которого заставляет так сильно сожалеть об остальном; Сорбонна, полушкола, полумонастырь, от которого сохранился еще столь изумительный неф; красивый, квадратной формы монастырь матюринцев; его сосед, монастырь бенедиктинцев, в ограду которого за время, протекшее между седьмым и восьмым изданием этой книги, на скорую руку успели втиснуть театр; Кордельерское аббатство с тремя

громадными, высящимися рядом пиньонами; Августинское аббатство, изящная стрелка которого поднималась на западной стороне этой части Парижа, вслед за Нельской башней. В ряду этих монументальных зданий коллежи, являющиеся, собственно говоря, соединительным звеном между монастырем и миром, по суровости, исполненной изящества, по скульптуре, менее воздушной, чем у дворцов, и архитектуре, менее строгой, чем у монастырей, занимали среднее место между особняками и аббатствами. К сожалению, теперь почти ничего не сохранилось от этих памятников старины, в которых готическое искусство с такой точностью перемежало пышность и умеренность. Над всем господствовали церкви (они были многочисленны и великолепны в Университете и также являли собою все эпохи зодчества, начиная с полукруглых сводов Сен-Жюльена и кончая стрельчатыми арками Сен-Северина); как еще один гармонический аккорд, добавленный ко всему хору созвучий, они то и дело прорывали сложный узор пиньонов резными шпилями, сквозными колокольнями, тонкими иглами, линии которых были лишь великолепным и преувеличенным повторением остроугольной формы кровель.

Университетская сторона была холмистою. Холм Святой Женевьевы на юго-восточной стороне вздувался, как огромный пузырь, и любопытное зрелище с высоты Собора Парижской Богоматери являло собой это множество узких и извилистых улиц (ныне Латинский квартал), эти грозди домов, разбросанных по всем направлениям на его вершине и в беспорядке, почти отвесно устремляющихся по его склонам к самой реке: одни, казалось, падают, другие карабкаются наверх, а все вместе — цепляются друг за друга. От беспрерывного потока тысяч черных точек, движущихся на мостовой, так и рябило в глазах — это кишела толпа, еле различимая с такой высоты и на таком расстоянии.

Наконец, в промежутках между этими кровлями, шпилями и выступами несчетного множества зданий, столь причудливо изгибавших, закручивавших и зазубривавших линию границы Университетской стороны, местами проглядывали часть толстой замшелой стены, массивная круглая башня, зубчатые городские ворота, изображавшие крепость, — то была ограда Филиппа Августа. За ней зеленели луга, убегали дороги, вдоль которых тянулись последние дома предместий, все более и более редевшие, по мере того

как они удалялись от города.

Некоторые из этих предместий имели довольно важное значение. Таково, например, начиная от Турнель, предместье Сен-Виктор с его одноарочным мостом через Бьевр, с его аббатством, в котором сохранилась эпитафия Людовика Толстого — epitaphium Ludovici Grossi, с церковью, увенчанной восьмигранным шпилем, окруженным четырьмя колоколенками XI века (такой же точно можно видеть и до сих пор в Этампе, его еще не разрушили); далее — предместье Сен-Марсо, уже имевшее в то время три церкви и один монастырь; еще дальше, оставляя влево четыре белые стены мельницы Гобеленов, можно увидеть предместье Сен-Жак с чудесным резным распятием на перекрестке; потом — церковь Сен-Жак-дю-Го-Па, которая в то время была еще готической, остроконечной, прелестной; церковь Сен-Маглуар XIV века, прекрасный неф которой Наполеон превратил в сеновал; церковь Нотр-Дам-де-Шан с византийской мозаикой. Наконец, минуя стоящий в открытом поле картезианский монастырь — роскошное здание, современное Дворцу правосудия, с множеством палисадничков, — и пользующиеся дурной славой руины Вовера, глаз встречал на западе три романские

стрелы церкви Сен-Жермен-де-Пре. Позади этой церкви начиналось Сен-Жерменское предместье, бывшее в то время уже большой общиной и состоявшее из пятнадцати-двадцати улиц. Один из углов предместья был отмечен островерхой колокольней Сен-Сюльпис. Тут же рядом можно было разглядеть четырехстенную ограду Сен-Жерменской ярмарочной площади, где ныне расположен рынок; затем — вертящийся позорный столб, принадлежавший аббатству, эту красивую круглую башенку под свинцовым конусообразным куполом; еще дальше — черепичный завод и Пекарную улицу, ведущую к общественной хлебопекарне, мельницу на пригорке и больницу для прокаженных — изолированный домик, которого сторонились. Но что особенно привлекало взор и надолго приковывало к себе — это самое аббатство Сен-Жермен. Этот монастырь, производивший внушительное впечатление и как церковь, и как господское поместье, этот дворец духовенства, в котором парижские епископы считали за честь провести хотя бы одну ночь, его трапезная, которая благодаря стараниям архитектора по облику, красоте и великолепному окну-розетке напоминала собор, изящная часовня Богородицы, огромный спальный покой,

обширные сады, опускная решетка, подъемный мост, зубчатая ограда на зеленом фоне окрестных лугов, дворы, где среди отливающих золотом кардинальских мантий сверкали доспехи воинов, — все это сомкнутое и сплоченное вокруг трех высоких романских шпилей, прочно покоившихся на готическом своде, вставало на горизонте великолепной картиной.

Когда наконец, вдосталь насмотревшись на Университетскую сторону, вы обращались к правому берегу, к Городу, панорама резко изменялась. Город, хотя и более обширный, чем Университет, не представлял такого единства. С первого же взгляда нетрудно было заметить, что он распадается на несколько совершенно обособленных частей. Та часть Города на востоке, которая и теперь еще называется «болотом» (в память о том болоте, куда Камулоген завлек Цезаря), представляла собою скопление дворцов. Весь этот квартал тянулся до самой реки. Четыре почти смежных особняка — Жуи, Сане, Барбо и особняк королевы — отражали в водах Сены свои шиферные крыши, прорезанные стройными башенками. Эти четыре здания заполняли все пространство от улицы Нонендьер до аббатства целестинцев, игла которого изящно оттеняла

линию их зубцов и коньков. Несколько позеленевших от плесени лачуг, нависших над водой перед этими роскошными особняками, не мешали разглядеть прекрасные линии их фасадов, их широкие квадратные окна с каменными переплетами, их стрельчатые портики, уставленные статуями, четкие грани стен из тесаного камня и все те очаровательные архитектурные неожиданности, благодаря которым кажется, будто готическое зодчество в каждом памятнике прибегает к новым сочетаниям. Позади этих дворцов, разветвляясь по всем направлениям, то в продольных пазах, то в виде частокола и вся в зубцах, как крепость, то прячась, как загородный домик, за раскидистыми деревьями, тянулась бесконечная причудливая ограда того удивительного дворца Сен-Поль, в котором могли свободно и роскошно разместиться двадцать два принца королевской крови, таких как дофин и герцог Бургундский, с их слугами и с их свитой, не считая знатных вельмож и императора, когда тот посещал Париж, а также львов, которым были отведены особые палаты в этом королевском дворце. Заметим, что в то время помещение царственной особы состояло не менее чем из одиннадцати покоев, от парадного зала и до

молельной, не считая галерей, бань, ванных и иных относящихся к нему «подсобных» комнат; не говоря об отдельных садах, отводимых для каждого королевского гостя; не говоря о кухнях, кладовых, людских, общих трапезных, задних дворах, где находились двадцать два главных служебных помещения, от хлебопекарни и до винных погребов; не говоря о залах для разнообразных игр — в шары, в мяч, в обруч, о птичниках, рыбных садках, зверинцах, конюшнях, стойлах, библиотеках, оружейных палатах и кузницах. Вот что представлял собою тогда королевский дворец, будь то Лувр или Сен-Поль. Это был город в городе.

С той башни, на которой мы стоим, дворец Сен-Поль, полузакрытый от нас четырьмя только что упомянутыми большими зданиями, был еще очень внушителен и представлял собой чудесное зрелище. В нем легко можно было различить три особняка, которые Карл пристроил к своему дворцу, хотя они и были искусно связаны с главным зданием при помощи ряда длинных галерей с расписными окнами и колонками. Это были: особняк Пти-Мюс с резной балюстрадой, изящно окаймлявшей его крышу; особняк аббатства Сен-Мор, имевший вид крепости, с массивной

башней, бойницами, амбразурами, небольшими железными бастионами и гербом аббатства на широких саксонских воротах, между двух выемок для подъемного моста; особняк графа д'Этампа, с разрушенной вышкой круглой замковой башни, зазубренной, как петушиный гребень; местами три-четыре вековых дуба образовывали там купы, наподобие огромных кочанов цветной капусты; в прозрачных водах сажалок, переливающихся светом и тенью, глаз подмечал вольные игры лебедей; а дальше — множество дворов, живописную глубину которых можно было разглядеть; Львиный дворец с низкими сводами на приземистых саксонских столбах, с железными решетками, из-за которых постоянно слышалось рычание; над всем этим вздымалась чешуйчатая стрела церкви Благовещения. Слева находилось жилище парижского прево, окруженное четырьмя тончайшей резьбы башенками. В середине, в глубине, находился сам дворец Сен-Поль со всеми его размножившимися фасадами, с постепенными приращениями со времен Карла V, этими смешанного стиля наростами, которыми в продолжение двух веков обременяла его фантазия архитекторов, со сводчатыми алтарями его часовен, коньками его галерей, с тысячью флюгеров

на все четыре стороны и двумя высокими смежными башнями, конические крыши которых, окруженные у основания зубцами, напоминали островерхие, с приподнятыми полями шляпы.

Продолжая подниматься ступень за ступенью по этому простирающемуся в отдалении амфитеатру дворцов и преодолев глубокую лощину, словно вырытую среди кровель Города и обозначавшую улицу Сент-Антуан, ваш взор достигал наконец Ангулемского подворья — обширного строения, созданного усилиями нескольких эпох, в котором новые незапятнанной белизны части столь же мало шли к целому, как красная заплата к голубой мантии. Тем не менее до странности остроконечная и высокая крыша нового дворца, щетинившаяся резными желобами, покрытая свинцовыми полосами, на которых тысячей фантастических арабесок вились искрящиеся инкрустации из позолоченной меди, — эта крыша, столь своеобразно изукрашенная, грациозно возносилась над бурыми развалинами старинного дворца, толстые башни которого, раздувшиеся от времени, словно бочки, осевшие от ветхости и треснувшие сверху донизу, напоминали толстяков с расстегнувшимися на брюхе жилетами. Позади этого здания высился лес стрел дворца

Ла-Турнель. Ничто в мире, ни Альгамбра, ни Шамборский замок, не могло представить более волшебного, более воздушного, более чарующего зрелища, чем этот высокоствольный лес стрел, колоколенок, дымовых труб, флюгеров, спиральных и винтовых лестниц, сквозных, словно изрешеченных пробойником бельведеров, павильонов, веретенообразных башенок, или, как их тогда называли, «вышек» всевозможной формы, высоты и расположения. Все это походило на гигантскую каменную шахматную доску.

Направо от Ла-Турнель ершился пук огромных иссиня-черных башен, вставленных одна в другую и как бы перевязанных окружающим их рвом. Эта башня, в которой было прорезано больше бойниц, чем окон, этот вечно вздыбленный подъемный мост, эта вечно опущенная решетка, все это — Бастилия. Эти торчащие между зубцами подобия черных клювов, что напоминают издали дождевые желоба, — пушки.

Под жерлами, у подножия чудовищного здания — ворота Сент-Антуан, заслоненные двумя башнями.

За Ла-Турнель, вплоть до самой ограды, воздвигнутой Карлом V, расстилался, весь в богатых узорах зелени и цветов, бархатистый ковер ко-

ролевских полей и парков, в центре которого, по лабиринту деревьев и аллей, можно было различить знаменитый сад Дедала, который Людовик подарил Куактье. Обсерватория этого медика возвышалась над лабиринтом, словно одинокая мощная колонна с маленьким домиком на месте капители. В этой лаборатории составлялись страшные гороскопы.

Ныне на том месте Королевская площадь.

Как мы уже упоминали, дворцовый квартал, о котором мы старались дать некоторое понятие читателю, отметив, впрочем, лишь наиболее примечательные строения, заполнял угол, образуемый на востоке оградою Карла V и Сеною. Центр Города был загроможден жилыми домами. Как раз к этому месту выходили все три моста правобережного Города, а возле мостов жилые дома появляются прежде, чем дворцы. Это скопление жилищ, тесно лепящихся друг к другу, словно ячейки в улье, не лишено было своеобразной красоты. Кровли большого города подобны морским волнам: в них какое-то величие. В сплошной их массе пути пересекающихся, перепутанных улиц складывались в сотни затейливых фигур. Вокруг рынков они напоминали звезду с тысячью лучей. Улицы Сен-Дени и Сен-Мартен, со всеми их

бесчисленными разветвлениями, поднимались рядом, как два мощных дерева, переплетающих свои сучья. И через весь этот узор змеились извилистыми линиями Штукатурная, Стекольная, Ткацкая и другие улицы. Окаменевшую зыбь этого моря кровель местами прорывали прекрасные здания. Одним из них была башня Шатле, высившаяся в начале моста Менял, за которым, под колесами Мельничного моста, пенились воды Сены; это была уже не римская башня времен Юлиана Отступника, а феодальная башня XIII века, сооруженная из столь крепкого камня, что за три часа работы молоток каменщика мог продолбить его не больше чем на пять пальцев в глубину. К ним относилась и нарядная квадратная колокольня церкви Сен-Жак-де-ла-Бушри, углы которой скрадывались скульптурными украшениями, восхитительная уже в XV веке, хотя она еще не была закончена. В частности, ей тогда недоставало тех четырех чудовищ, которые, взгромоздившись впоследствии на углы ее крыши, кажутся еще и ныне четырьмя сфинксами, загадавшими новому Парижу загадку старого Парижа; ваятель Ро установил их лишь в 1526 году, получив за свой труд двадцать франков. Таков был и Дом с колоннами, выходивший фа-

садом на Гревскую площадь, о которой мы уже дали некоторое представление нашему читателю. Далее — церковь Сен-Жерве, испорченная с тех пор порталом «хорошего вкуса»; Сен-Мери, чьи древние стрельчатые своды еще почти не отличались от полукруглых; церковь Сен-Жан, великолепный шпиль которой вошел в поговорку, и еще десятки других памятников, которые не погнушались укрыть свои чудеса в этом хаосе темных, узких и глубоких улиц. Прибавьте к этому каменные резные распятия, которыми еще больше, чем виселицами, изобиловали перекрестки улиц; кладбище Невинных, художественная ограда которого видна была издали за кровлями; вертящийся позорный столб над кровлями Центрального рынка, с его верхушкой, выступавшей между двух дымовых труб Виноградарской улицы; лестницу, поднимавшуюся к распятию Круа-дю-Трагуар, на перекрестке того же названия, где вечно кишел народ; кольцо лачуг Хлебного рынка; то тут, то там остатки древней ограды Филиппа Августа, затерявшиеся среди массы домов; башни, словно изглоданные плющом, развалившиеся ворота, осыпающиеся, бесформенные куски стен; набережную с тысячами лавчонок и залитыми кровью живодернями;

Сену, покрытую судами от Сенной гавани и до самой Епископской тюрьмы, — вообразите себе все это, и вы будете иметь смутное понятие о том, что такое представляла собою в 1482 году имеющая форму трапеции центральная часть Города.

Кроме этих двух кварталов, застроенных — один дворцами, другой домами, третьей частью панорамы правого берега был длинный пояс аббатств, охватывавший почти весь Город с востока на запад и образовавший позади крепостных стен, замыкавших Париж, вторую внутреннюю ограду из монастырей и часовен. Таким образом, вплотную к парку Турнель, между улицей Сент-Антуан и старой улицей Тампль, расположен был монастырь Святой Екатерины с его необозримым хозяйством, кончавшимся лишь у городской стены Парижа. Между старой и новой улицами Тампль находилось аббатство Тампль — зловещая, высокая и уединенная громада башен за огромной зубчатой оградой. Между новой улицей Тампль и Сен-Мартен было аббатство Сен-Мартен — великолепно укрепленный монастырь, расположенный среди садов; опоясывающие его башни и венцы его колоколен по мощи и великолепию уступали разве лишь церкви Сен-Жермен-де-Пре. Между улицами Сен-Дени и Сен-Мартен шла

ограда аббатства Святой Троицы. А далее, между улицами Сен-Дени и Монторгейль, было аббатство Христовых невест. Рядом с ним виднелись прогнившие кровли и полуразрушенная ограда Двора чудес — единственное мирское звено среди этой благочестивой цепи монастырей.

Наконец, четвертой частью Города, четко выделявшейся среди скопления кровель правого берега и занимавшей западный угол городской стены и весь берег вниз по течению реки, был новый узел дворцов и особняков, теснившихся у подножия Лувра. Древний Лувр Филиппа Августа — колоссальное здание, главная башня которого объединяла двадцать три других мощных башни, окружавших ее, не считая башенок, — издали казался как бы втиснутым между готическими фронтонами особняка Алансон и Малого Бурбонского дворца. Эта многобашенная гидра, исполинская хранительница Парижа с ее неизменно настороженными двадцатью четырьмя головами, с ее чудовищными свинцовыми или чешуйчатыми шиферными крупами, отливающими металлическим блеском, великолепно завершала очертания Города с западной стороны.

Итак, он представлял собою огромный квартал

жилых домов — то именно, что римлянами называлось insula[42], — имевший по обе стороны две группы дворцов, увенчанных — одна Лувром, другая — Турнель, и ограниченный на севере длинным поясом аббатств и огородов; взгляду все это представлялось слитным и однородным целым. Над множеством зданий, чьи черепичные и шиферные кровли вычерчивались одни на фоне других причудливыми звеньями, вставали резные, складчатые, узорные колокольни сорока четырех церквей правого берега. Мириады улиц пробивались сквозь толщу этого квартала. И пределами его с одной стороны служила ограда из высоких стен с четырехугольными башнями (башни ограды Университета были круглые), а с другой — перерезаемая мостами Сена со множеством идущих по ней судов. Таков был город в XV веке.

За городскими стенами к самым воротам жались предместья, но отнюдь не столь многочисленные и более разбросанные, нежели на Университетской стороне. Здесь было десятка два лачуг, скучившихся за Бастилией вокруг странных изваяний Круа-Фобен и упорных

[42] Примечания: 42
Дословно «остров» *(лат.)*.

арок аббатства Сент-Антуан-де-Шан; далее шел затерявшийся среди нив Попенкур; за ним веселенькая деревенька Ла-Куртиль со множеством кабачков; городок Сен-Лоран с церковью, колокольня которой сливалась издали с остроконечными башнями ворот Сен-Мартен; предместье Сен-Дени с обширной оградой монастыря Сен-Ладр; за Монмартрскими воротами белели стены, окружавшие Гранж-Бательер; за ними тянулись меловые откосы Монмартра, в котором в то время было почти столько же церквей, сколько мельниц, и где теперь уцелели лишь мельницы, ибо современное общество требует одной лишь пищи телесной. Наконец, за Лувром виднелось углублявшееся в луга предместье Сент-Оноре, уже и в то время весьма обширное; дальше зеленело селение Малая Бретань и раскидывался Свиной рынок с круглившейся посредине его ужасной печью, в которой когда-то варили заживо фальшивомонетчиков. Между предместьями Куртиль и Сен-Лоран вы уже, наверное, приметили на вершине холма, среди пустынной равнины, какое-то здание, издали походившее на развалины колоннады с рассыпавшимся основанием. То был не Парфенон, не храм Юпитера Олимпийского — то был Монфокон.

Теперь, если перечисление такого множества зданий, каким бы кратким мы ни старались его сделать, не раздробило окончательно в сознании читателя общего представления о старом Париже, по мере того как мы его старались воспроизвести, повторим в нескольких словах наиболее существенное.

В центре — остров Ситэ, напоминающий по форме исполинскую черепаху, высунувшую наподобие лап свои мосты в чешуе кровельных черепиц из-под серого щита крыш. Налево — как бы высеченная из цельного куска трапеция Университета, плотная, сбитая, вздыбленная; направо — обширный полукруг Города с многочисленными садами и памятниками. Ситэ, Университет и Город — все эти три части Парижа испещрены множеством улиц. Поперек протекает Сена, «кормилица Сена», как называет ее отец дю Брель, загроможденная островами, мостами и судами. Вокруг простирается бескрайняя равнина, пестреющая, словно заплатами, тысячью нив, усеянная прелестными деревушками: налево — Исси, Ванвр, Вожирар, Монруж, Жантильи с его круглой и четырехугольной башнями и т. д.; направо — двадцать других селений, начиная с Конфлана и кончая Виль-л'Эвек. На дальнем

горизонте тянется круглая кайма холмов, словно стенки бассейна. Наконец, вдали, на востоке — Венсен с семью четырехгранными башнями; на юге — островерхие башенки Бисетра; на севере — игла Сен-Дени, а на западе — Сен-Клу и его крепостная башня. Вот Париж, которым с высоты башен Собора Парижской Богоматери любовались вороны в 1482 году.

Однако именно об этом городе Вольтер сказал, что «до Людовика XIV в нем было лишь четыре прекрасных памятника»: купол Сорбонны, Валь-де-Грас, новый Лувр и не помню уже, какой четвертый, возможно — Люксембург. Но, к счастью, Вольтер написал «Кандида» и остался среди длинной вереницы людей, сменявших друг друга в бесконечном ряду поколений, непревзойденным мастером дьявольского смеха. Это доказывает, впрочем, лишь то, что можно быть гением, но ничего не понимать в чуждом ему искусстве. Ведь вообразил же Мольер, что оказал большую честь Рафаэлю и Микеланджело, назвав их «Миньярами своего времени».

Однако вернемся к Парижу и к XV столетию.

Он был в те времена не только прекрасным городом, но и городом-монолитом, произведением искусства и истории Средних веков, каменной

летописью. Это был город, архитектура которого сложилась лишь из двух слоев — слоя романского и слоя готического, ибо римский слой давно исчез, исключая лишь термы Юлиана, где он еще пробивался сквозь толстую кору Средневековья. Что касается кельтского слоя, то его образцов уже не находили даже при рытье колодцев.

Пятьдесят лет спустя, когда эпоха Возрождения примешала к этому столь строгому и вместе с тем столь разнообразному единству блистательную роскошь своей фантазии и архитектурных систем, оргию римских полукруглых сводов, греческих колонн и готических арок, свою столь изящную и совершенную скульптуру, свое пристрастие к арабескам и акантам, свое архитектурное язычество, современное Лютеру, — Париж предстал перед нами, быть может, еще более прекрасным, хоть и менее гармоничным для глаза и мысли. Но это великолепие не было продолжительным. Эпоха Возрождения оказалась недостаточно беспристрастной: ее не удовлетворяло созидание — она хотела ниспровергать. Правда, она нуждалась в свободном пространстве. Вот почему вполне готическим Париж был лишь одно мгновение. Еще не закончив церкви Сен-Жак-де-ла-Бушри, уже приступили к

снесению старого Лувра.

С тех пор великий город изо дня в день утрачивал свой облик. Париж готический, под которым изглаживался Париж романский, исчез в свою очередь. Но можно ли сказать, какой Париж заменил его?

Существует Париж Екатерины Медичи — в Тюильри[43], Париж Генриха II — в Ратуше: оба эти здания еще выдержаны в строгом вкусе; Париж Генриха IV — это Королевская площадь: кирпичные фасады с каменными углами и шиферными кровлями, трехцветные дома; Париж Людовика XIII — в Валь-де-Грас: здесь характеру зодчества свойственны приплюснутость, приземистость, линия сводов напоминает ручку корзины, колонны кажутся пузатыми, купола горбатыми; Париж

---

[43] Примечания: 43

Мы с грустью, смешанной с негодованием, видели, как пытались увеличить, переделать и перекроить, то есть разрушить, этот восхитительный дворец. Руки современных нам зодчих слишком грубы, чтобы касаться этих хрупких созданий Возрождения. Будем надеяться, что они этого и не осмелятся сделать. Кроме того, разрушить сейчас Тюильри было бы не только грубым варварством, которое заставило бы покраснеть даже пьяного вандала, но было бы предательством. Тюильри не просто шедевр искусства шестнадцатого века, но и страница истории девятнадцатого. Этот дворец принадлежит уже не королю, а народу. Не будем посягать на него. Его чело дважды отмечено нашей революцией. Один из его фасадов пробит ядрами 10 августа, другой — 29 июля. Это святыня.

(Примеч. авт. к пятому изданию.)

Париж, 7 апреля 1831 г.

Людовика XIV — в Доме инвалидов, громоздком, пышном, позолоченном и холодном; Париж Людовика XV — в церкви Сен-Сюльпис: завитки, банты, облака, червячки, листья цикория — все высеченное из камня; Париж Людовика XVI — в Пантеоне, плохой копии с собора Св. Петра в Риме (к тому же здание как-то нескладно осело, что отнюдь его не украсило); Париж времен Республики — в Медицинской школе: это убогое подражание римлянам и грекам, столь же напоминающее Колизей или Парфенон, как Конституция III года напоминает законы Миноса, — в истории зодчества этот стиль называют «стилем мессидора»; Париж Наполеона — на Вандомской площади: эта бронзовая колонна, отлитая из пушек, действительно великолепна; Париж времен Реставрации — в Бирже: это очень белая колоннада, поддерживающая очень гладкий фриз, а все вместе взятое представляет собой четырехугольник, стоивший двадцать миллионов.

С каждым из этих характерных для эпохи памятников связано, по сходству стиля, формы и расположения, некоторое количество зданий, рассеянных по разным кварталам города; глаз знатока сразу отметит их и безошибочно определит время их возникновения. Кто умеет видеть,

тот даже по ручке дверного молотка сумеет восстановить дух века и облик короля.

Таким образом, у Парижа наших дней нет определенного лица. Это собрание образцов зодчества нескольких столетий, причем лучшие из них исчезли. Столица растет лишь за счет зданий, но каких зданий! Если так пойдет и дальше, Париж будет обновляться каждые пятьдесят лет. Поэтому историческое значение его зодчества с каждым днем падает. Все реже и реже встречаются памятники; жилые дома словно затопляют и поглощают их. Наши предки обитали в каменном Париже, наши потомки будут обитать в Париже гипсовом. Что же касается новых памятников современного Парижа, то мы охотно воздержимся говорить о них. Это не значит, что мы не отдаем им должного. Церковь Св. Женевьевы, создание господина Суфло, несомненно является одним из самых удачных савойских пирогов, которые когда-либо выпекались из камня. Дворец Почетного легиона тоже очень изысканное пирожное. Купол Хлебного рынка поразительно похож на фуражку английского жокея, насаженную на длинную лестницу. Башни церкви Сен-Сюльпис напоминают два больших кларнета — это ведь ничем не хуже чего-нибудь иного, — а кривая

и жестикулирующая вышка телеграфа на их крыше вносит приятное разнообразие. Портал церкви Св. Роха по своему великолепию равен лишь порталу церкви Св. Фомы Аквинского. Он также обладает рельефным изображением Голгофы, помещенным в углублении, и солнцем из позолоченного дерева. И то и другое совершенно изумительно! Фонарь лабиринта Ботанического сада также весьма замысловат. Что касается дворца Биржи, греческого по колоннаде, римского по дугообразной форме окон и дверей и эпохи Возрождения по большому, низкому своду, то в целом это несомненно вполне законченный и безупречный памятник зодчества: доказательством тому служит невиданная и в Афинах аттическая надстройка, прекрасную и строгую линию коей местами грациозно пересекают печные трубы. Заметим кстати, что если облик здания обычно должен соответствовать его назначению и если это назначение должно само о себе возвещать одним лишь характером постройки, то безусловно следует восхищаться памятником, который одинаково легко может служить и королевским дворцом и палатой общин, городской ратушей и учебным заведением, манежем и академией, складом товаров и зданием суда, музеем и

казармами, гробницей, храмом и театром. Но пока это лишь Биржа. Кроме того, каждое здание должно быть приноровлено к известному климату. Очевидно, здание Биржи, словно по заказу, создано специально для нашего хмурого и дождливого неба. Его крыша почти плоская, как на Востоке, поэтому зимой, во время снегопада, ее подметают. И нет сомнения, что крыши для того и строятся, чтобы их подметать. А что касается назначения, о котором мы только что говорили, оно отвечает ему превосходно: оно с таким же успехом служит во Франции биржей, как в Греции могло бы быть храмом. Правда, зодчему немалого труда стоило скрыть циферблат часов, который нарушил бы чистоту прекрасных линий фасада, но в возмещение осталась опоясывающая здание колоннада, под сенью которой в торжественные дни религиозных празднеств может величественно продефилировать депутация от биржевых маклеров и менял.

Все это несомненно великолепные памятники. К ним можно еще добавить множество красивых, веселых и разнообразных улиц вроде улицы Риволи, и я не теряю надежды, что когда-нибудь вид Парижа с воздушного шара явит то богатство линий, то изобилие деталей, то многообразие, то

не поддающееся определению грандиозное в простом и неожиданное в прекрасном, что отличает шахматную доску.

Но каким бы прекрасным вам ни показался современный Париж, восстановите Париж XV столетия, воспроизведите его в памяти; посмотрите на белый свет сквозь этот удивительный лес шпилей, башен и колоколен; разлейте по необъятному городу Сену, всю в зеленых и желтых переливах, более переменчивую, чем змеиная кожа, разорвите ее клиньями островов, сожмите арками мостов; четко вырежьте на голубом горизонте готический профиль старого Парижа; заставьте в зимнем тумане, цепляющемся за бесчисленные трубы, колыхаться его контуры; погрузите город в глубокий ночной мрак и полюбуйтесь прихотливой игрой теней и света в этом мрачном лабиринте зданий; бросьте на него лунный луч, который смутно обрисует его и выведет из тумана большие головы башен, или, не тронув светом этот черный силуэт, углубите тени на бесчисленных острых углах шпилей и коньков и заставьте его внезапно выступить более зубчатым, чем пасть акулы, на медном небе заката. Теперь сравнивайте.

Если же вы захотите получить от старого горо-

да впечатление, которого современный Париж вам уже дать не может, то при восходе солнца, утром, в день большого праздника, на Пасху или Троицу, взойдите на какое-нибудь возвышенное место, где бы столица была у вас перед глазами, и дождитесь пробуждения колоколов. Глядите, как по сигналу, данному с неба, — ибо подает его солнце, — сразу дрогнут тысячи церквей. Сначала это редкий, перекидывающийся с одной церкви на другую перезвон, словно оркестранты предупреждают друг друга о начале. Затем внезапно, глядите, — ибо кажется, что иногда и ухо обретает зрение, — глядите, как от каждой звонницы одновременно вздымается как бы колонна звуков, облако гармонии. Сначала голос каждого колокола, поднимающийся в яркое утреннее небо, чист и поет как бы отдельно от других. Потом, мало-помалу усиливаясь, голоса растворяются один в другом: они смешиваются, они сливаются, они звучат согласно в великолепном оркестре. Теперь это лишь густой поток звучащих колебаний, непрерывно изливающийся из бесчисленных колоколен; он плывет, колышется, подпрыгивает, кружится над городом и далеко за пределы горизонта разносит оглушительные волны своих раскатов.

А между тем это море созвучий отнюдь не хаотично. Несмотря на всю свою ширину и глубину, оно не утрачивает прозрачности; вы различаете, как из каждой отдельной звонницы змеится согласный подбор колоколов; вы можете расслышать диалог степенного большого колокола и крикливого тенорового; вы различаете, как с одной колокольни на другую перебрасываются октавы; вы видите, как они возносятся, легкие, окрыленные, пронзительные, источаемые серебряным колоколом, и как грузно падают разбитые, фальшивые октавы деревянного; вы наслаждаетесь богатой, скользящей то вверх, то вниз гаммой семи колоколов церкви Св. Евстафия; вы видите, как в эту гармонию вдруг невпопад врывается несколько ясных стремительных ноток и как, промелькнув тремя-четырьмя ослепительными зигзагами, они гаснут, словно молнии. Там запевает аббатство Сен-Мартен — голос этого певца и резок и надтреснут; а ближе, в ответ ему, слышен угрюмый, зловещий голос Бастилии; с другого конца к вам доносится низкий бас мощной башни Лувра. Величественный хор колоколов Дворца правосудия шлет непрерывно во все концы лучезарные трели, на которые через равномерные промежутки падают тяжкие

удары набатного колокола Собора Парижской Богоматери, и трели сверкают, точно искры на наковальне под ударами молота. Порою до вас доносится в разнообразных сочетаниях звон тройного набора колоколов церкви Сен-Жермен-де-Пре. Время от времени это море божественных звуков расступается и пропускает быструю, резкую фразу с колокольни церкви Благовещения, которая, разлетаясь, искрится, словно бриллиантовый звездный пучок. И смутно, приглушенно, из самых недр оркестра еле слышно доносится церковное пение, которое словно испаряется сквозь поры сотрясаемых звуками сводов.

Поистине, вот опера, которую стоит послушать. Смешанный гул, обычно стоящий над Парижем днем, — это говор города; ночью — это его дыхание; а сейчас — город поет. Прислушайтесь же к этому хору колоколов; присоедините к нему говор полумиллионного населения, извечный ропот реки, непрерывные вздохи ветра, торжественный отдаленный квартет четырех окружных лесов, раскинувшихся по гряде холмов на далеком горизонте, подобно исполинским трубам органов; смягчите этой полутенью то, что в главной партии оркестра звучит слишком хрипло и слишком резко, и скажите — есть ли в целом

мире что-нибудь более пышное, более радостное, более прекрасное и более ослепительное, чем это смятение колоколов и звонниц; чем это горнило музыки; чем эти десять тысяч медных голосов, льющихся одновременно из этих каменных флейт высотою в триста футов; чем этот город, превратившийся в оркестр; чем эта симфония, гудящая, словно буря?

Книга четвертая

I. Добрые души

За шестнадцать лет до описываемого нами события, в одно погожее воскресное утро на Фоминой неделе, после обедни, в деревянные ясли, вделанные в паперть Собора Парижской Богоматери, с левой стороны, против исполинского изображения святого, Христофора, на которое с 1413 года взирала коленопреклоненная каменная статуя рыцаря мессира Антуана Дезесара до того времени, пока не додумались сбросить и святого, и верующего, — было положено живое существо. На это деревянное ложе, по издавна установившемуся обычаю, клали подкидышей, взывая к общественному милосердию. Отсюда каждый, кто хотел, мог взять его на призрение. Перед яслями стояла медная чаша для пожертвований.

То подобие живого существа, которое покоилось в утро Фомина воскресенья 1467 года от Рождества Христова на этой доске, возбуждало сильнейшее любопытство довольно внушительной группы зрителей, столпившихся около яслей. В группе преобладали особы прекрасного пола, и преимущественно старухи.

Впереди, склонившись ниже всех над яслями,

стояли четыре женщины. Судя по их серым платьям монашеского покроя, они принадлежали к одной из благочестивых общин. Я не вижу причин, почему бы истории не увековечить для потомства имена этих четырех скромных и почтенных особ. Это были Агнесса ла Герм, Жеанна де ла Тарм, Генриетта ла Готьер и Гошера ла Виолет. Все четыре были вдовы, все четыре — добрые души из братства Этьен-Одри, вышедшие из дому с дозволения своей настоятельницы, чтобы послушать проповедь согласно уставу Пьера д'Эльи.

Впрочем, если в эту минуту славные сестры этого странноприимного братства и соблюдали устав Пьера д'Эльи, то они, несомненно, с легким сердцем нарушали устав Мишеля де Браш и кардинала Пизанского, столь бесчеловечно предписывающий им молчание.

— Что это такое, сестрица? — спросила Агнесса у Гошеры, рассматривая крошечное существо, которое пищало и ежилось в яслях, перепугавшись множества устремленных на него глаз.

— Что только с нами станется, если начали производить на свет подобных детей? — сказала Жеанна.

— Я мало что смыслю в младенцах, — ответила

Агнесса, — но уверена, что на этого и глядеть-то грешно.

— Это вовсе не младенец, Агнесса.

— Это полуобезьяна, — заметила Гошера.

— Это знамение, — вставила свое слово Генриетта ла Готьер.

— В таком случае, — сказала Агнесса, — это уже третье, начиная с воскресенья Крестопоклонной недели. Ведь не прошло еще и недели, как случилось чудо с тем нечестивцем, которого так божественно покарала Богоматерь Обервилье за его насмешки над пилигримами, а то было вторым чудом за последний месяц.

— Этот так называемый подкидыш просто омерзительное чудовище, — сказала Жеанна.

— И так вопит, что способен оглушить даже певчего, — продолжала Гошера. — Да замолчишь ли ты наконец, ревун этакий!

— И подумать только, что монсеньор архиепископ Реймский посылает такого урода монсеньору архиепископу Парижа! — воскликнула ла Готьер, набожно сложив руки.

— По-моему, — сказала Агнесса ла Герм, — это животное, звереныш — словом, что-то нечестивое; его следует бросить либо в воду, либо в огонь.

— Надеюсь, что никто не станет его домогаться, — сказала ла Готьер.

— Боже мой, — сокрушалась Агнесса, — как мне жаль этих бедных кормилиц приюта для подкидышей там, на берегу, в конце улочки, рядом с жилищем монсеньора епископа! Каково-то им будет, когда придется кормить это маленькое чудовище! Я бы предпочла дать грудь вампиру.

— Как она наивна, эта бедняжка ла Герм! — возразила Жеанна. — Да неужели вы не видите, сестра, что этому маленькому чудовищу по крайней мере четыре года и что ваша грудь кажется ему менее лакомой, чем кусок жаркого.

Действительно, это «маленькое чудовище» (иначе именовать его мы и сами затрудняемся) не было новорожденным младенцем. Это был какой-то очень угловатый и очень подвижный комочек, втиснутый в холщовый мешок, помеченный инициалами мессира Гильома Шартье, бывшего в то время парижским епископом. Из мешка торчала голова. Голова эта была чрезвычайно безобразна. Заметней всего выделялись копна рыжих волос, один глаз, рот и зубы. Из глаза текли слезы, рот орал, зубы, казалось, жаждали в кого-нибудь вонзиться, а все тело извивалось в мешке, к великому удивлению все возраставшей

кругом толпы.

Госпожа Алоиза Гонделорье, богатая и знатная женщина, державшая за руку хорошенькую девочку лет шести и волочившая за собой длинную вуаль, прикрепленную к золотому рогу ее высокого головного убора, проходя мимо яслей, остановилась и с минуту наблюдала за несчастным созданием, а ее очаровательное дитя, Флёр-де-Лис де Гонделорье, разодетая в шелк и бархат, водя хорошеньким пальчиком по прибитой к яслям доске, с трудом разбирала на ней надпись: «Подкидыши».

— Я думала, что сюда кладут только детей! — проговорила дама, с отвращением отвернувшись.

И она направилась к двери, бросив в чашу для пожертвований звякнувший среди медных монет серебряный флорин, что вызвало изумление среди бедных сестер общины Этьен-Одри.

Минуту спустя показался важный и ученый Робер Мистриколь, королевский протонотариус, державший в одной руке громадный требник, а другою поддерживавший свою супругу (урожденную Гильомету ла Мерес), имея таким образом по обе стороны своих руководителей: духовного и светского.

— Подкидыш! — сказал он, взглянув на ясли. — И найденный, вероятно, на берегу Флегетона!

— У него только один глаз, а другой закрыт бородавкой, — заметила Гильомета.

— Это не бородавка, — возразил мэтр Робер Мистриколь, — а яйцо, которое заключает в себе подобного же демона, в котором, в свою очередь, заложено другое маленькое яйцо, содержащее в себе еще одного дьявола, и так далее.

— А откуда вам это известно? — спросила Гильомета ла Мерес.

— Я знаю сие достоверно, — ответил протонотариус.

— Господин протонотариус, — спросила Гошера, — как вы думаете, что предвещает этот мнимый подкидыш?

— Величайшие бедствия, — ответил Мистриколь.

— О боже мой! Уж и без того в прошлом году была сильная чума, а теперь люди говорят, будто в Арфле собирается высадиться английское войско! — воскликнула какая-то старуха в толпе.

— Это может помешать королеве в сентябре приехать в Париж, — подхватила другая, — а торговля и так идет из рук вон плохо!

— По моему мнению, — воскликнула Жеанна

де ла Тарм, — для парижского простонародья было бы гораздо лучше, если бы этого маленького колдуна бросили не в ясли, а на связку хвороста.

— На великолепную пылающую связку хвороста! — добавила старуха.

— Это было бы благоразумней, — сказал Мистриколь.

К рассуждениям монахинь и сентенциям протонотариуса уже несколько минут прислушивался какой-то молодой священник. У него было суровое лицо, высокий лоб и глубокий взгляд. Он молча отстранил толпу, взглянул на «маленького колдуна» и простер над ним руку. Это было как раз вовремя, ибо все ханжи уже облизывались, предвкушая «великолепную пылающую связку хвороста».

— Я усыновляю этого ребенка, — сказал священник.

И, завернув его в свою сутану, он удалился. Присутствующие проводили его недоумевающими взглядами. Минуту спустя он исчез за Красными вратами, соединявшими в то время собор с монастырем.

Когда первое изумление миновало, Жеанна де ла Тарм прошептала на ухо Генриетте ла Готьер:

— Ведь я вам давно говорила, сестра, что этот

молодой иерей, Клод Фролло, — чернокнижник.

II. Клод Фролло

Действительно, Клод Фролло был личностью незаурядной.

По своему происхождению он принадлежал к одной из тех семей среднего круга, которые на непочтительном языке прошлого века именовались либо именитыми горожанами, либо мелкими дворянами. Это семейство унаследовало от братьев Пакле ленное владение Тиршап, сюзереном которого был парижский епископ; двадцать один дом этого поместья был в XIII столетии предметом нескончаемых тяжб в консисторском суде. Как владелец этого поместья Клод Фролло был одним из ста сорока феодалов, имевших право на взимание арендной платы в Париже и его предместьях. Благодаря этому много времени спустя его имя значилось в списках, хранящихся в Сен-Мартен-де-Шане между владением Танкарвиль, принадлежавшим мэтру Франсуа ле Рецу, и владением Турского коллежа.

Клод Фролло с младенческих лет был предназначен родителями для духовного звания. Его научили читать по-латыни и воспитали в нем привычку опускать глаза долу и говорить тихим

голосом. Еще ребенком он был заключен отцом в коллеж Торши в квартале Университета, где он и рос, склонившись над требником и лексиконом.

Впрочем, он по природе был грустным, степенным, серьезным ребенком, который прилежно учился и быстро усваивал знания. Он не шумел во время рекреаций, мало интересовался вакханалиями улицы Фуар, не имел понятия о науке dare alapas et capillos laniare[44] и не принимал никакого участия в мятеже 1463 года, который летописцы внесли в хронику под громким названием «шестая университетская смута». Он редко дразнил бедных школяров коллежа Монтегю за их «ермолки», по которым они получили свое прозвище, или стипендиатов коллежа Дормана за их тонзуры и трехцветные одеяния из голубого и фиолетового сукна, azurini coloris et bruni[45], как сказано в хартии кардинала Четырех корон.

Но зато он усердно посещал все большие и малые учебные заведения улицы Сен-Жан-де-Бове. Первым школяром, которого, начиная свою лекцию о каноническом праве, аббат Сен-Пьер де Валь замечал приросшим к одной из колонн

---

[44] Примечания: 44
Давать оплеухи и драть за волосы *(лат.).*

[45] Примечания: 45
Голубого и бурого цвета *(лат.).*

против своей кафедры в школе Сен-Вандрезиль, был Клод Фролло, вооруженный роговой чернильницей: покусывая перо, он что-то писал в лежавшей на его потертых коленях тетради, для чего зимой ему приходилось предварительно согревать дыханием пальцы. Первым слушателем, которого мессир Миль д'Илье, доктор истории церковных положений, видел прибегающим, запыхавшись, каждый понедельник утром к открытию дверей школы Шеф-Сен-Дени, был все тот же Клод Фролло. И уже в шестнадцать лет юный ученый мог помериться в теологии мистической с любым Отцом Церкви, в теологии канонической — с любым из членов Собора, а в теологии схоластической — с доктором Сорбонны.

Покончив с богословием, он принялся изучать церковные положения. Начав со «Свода сентенций», он перешел к «Капитуляриям Карла Великого». Терзаемый жаждой научных познаний, он поглотил одну за другой декреталии Теодора, епископа Гиспальского Бушара, епископа Вормского, декреталии Ива, епископа Шартрского, свод Грациана, пополнившего капитулярии Карла Великого, затем сборник Григория IX и «Super

specula»[46], послание Гонория III. Он разобрался в этом обширном и смутном периоде возникновения и борьбы гражданского и канонического права, происходившей среди хаоса Средних веков, — в периоде, который открывается епископом Теодором в 618 году и заканчивается папой Григорием IX в 1227 году.

Переварив декреталии, он набросился на медицину и на свободные искусства. Он изучал науку лечебных трав, науку целебных мазей, приобрел основательные сведения по лечению лихорадок, ушибов, ранений и нарывов. Жак д'Эпар охотно выдал бы ему диплом врача, Ришар Гелен — диплом хирурга. С тем же успехом он прошел все ученые степени свободных искусств — лиценциата, магистра и доктора. Он изучил латынь, греческий и древнееврейский — тройную премудрость, мало кому знакомую в те времена. Он был одержим настоящей горячкой приобретать и копить научные богатства. В восемнадцать лет он окончил все четыре факультета. Молодой человек полагал, что в жизни есть одна лишь цель — наука.

Как раз в это время, а именно в знойное лето

---

[46] Примечания: 46
Начальные слова одной из папских булл.

1466 года, разразилась страшная чума, которая в одном лишь Парижском округе унесла около сорока тысяч человек, и в том числе, как говорит Жеан де Труа, «мэтра Арну, королевского астролога, который был весьма добродетелен, мудр и любезен». В Университете распространился слух, что особенно сильное опустошение эпидемия произвела среди жителей улицы Тиршап. На этой улице в своем ленном владении жили родители Клода Фролло. Сильно встревоженный, юный школяр поспешил в родительский дом. Переступив порог, он застал и мать и отца уже мертвыми. Они скончались накануне. Его брат, грудной ребенок, был еще жив и, брошенный на произвол судьбы, плакал в своей колыбели. Это было все, что осталось от его семьи. Юноша взял младенца на руки и задумчиво вышел из дома. До сих пор он витал в мире науки, теперь он столкнулся с реальной жизнью.

Эта катастрофа была переворотом в существовании Клода. Оказавшись в девятнадцать лет сиротою и одновременно главой семьи, он почувствовал, как жесток был переход от ученических мечтаний к будничной действительности. И тогда, проникнутый состраданием, он ощутил страстную и преданную любовь к ребенку, к

своему брату. Это человеческое чувство было необычайным и сладостным для того, кто до сих пор любил одни только книги.

Новая привязанность развилась в нем с большой силой; для столь нетронутой души это было нечто вроде первой любви. Разлученный в раннем детстве с родителями, которых он едва знал, зарывшись в свои книги и как бы замуровавшись в них, томимый сильнее всего жаждой учения и познания, целиком поглощенный доселе лишь запросами своего ума, обогащаемого наукой, и своим воображением, питаемый чтением книг, бедный школяр не имел времени прислушаться к голосу сердца. Младший брат, лишенный отца и матери, это крошечное дитя, так внезапно, словно с неба, свалившееся ему на руки, совершенно преобразило его. Он понял, что в мире существует еще что-то, кроме научных теорий Сорбонны и стихов Гомера; он понял, что человек нуждается в привязанности, что жизнь, лишенная нежности и любви, не что иное, как неодушевленный визжащий и скрипучий механизм. Но будучи еще в том возрасте, когда одни иллюзии сменяются другими, он вообразил, что в мире существуют лишь кровные, семейные привязанности и что любви к маленькому брату совершенно достаточно,

чтобы заполнить человеческое существование.

Он полюбил маленького Жеана со всей страстью уже сложившейся глубокой натуры, пламенной и сосредоточенной. Это милое слабое существо, прелестное, белокурое, румяное, кудрявое, это осиротевшее дитя, не имеющее иной опоры, кроме другого сироты, волновало его до глубины души, и, привыкнув к серьезному мышлению, он с бесконечной нежностью стал размышлять о судьбе Жеана. Он заботился и беспокоился о нем словно о чем-то очень хрупком и очень драгоценном. Он был для ребенка больше, чем братом: он сделался для него матерью.

Малютка Жеан лишился матери, будучи еще грудным младенцем. Клод нашел ему кормилицу. Кроме владения Тиршап он унаследовал после смерти отца другое владение — Мулен, сюзереном которого был владелец квадратной башни Жантильи. Это была мельница, стоявшая на холме возле замка Винчестр (Бисетра) неподалеку от Университета. Жена мельника в то время кормила своего здоровенького младенца, и Клод отнес к мельничихе маленького Жеана.

С той поры, сознавая, что на нем лежит тяжелое бремя, он стал относиться к жизни гораздо серьезнее. Мысль о маленьком брате стала не

только его отдохновением, но целью всех его научных занятий. Он решился посвятить себя воспитанию брата, за которого он отвечал перед Богом, и навсегда отказался от мысли о жене и ребенке, видя свое личное счастье в благоденствии брата. Итак, еще сильней прежнего он укрепился мыслью в своем духовном призвании. Его нравственные достоинства, его знания, его положение вассала парижского епископа широко раскрывали перед ним двери церкви. Двадцати лет он, с особого разрешения папской курии, был назначен священнослужителем Собора Парижской Богоматери, где, как самый молодой из всех священников, отправлял богослужение в том приделе храма, который называли altare pigrorum[47], вследствие позднего часа служившейся там обедни.

Еще глубже погруженный в свои любимые книги, от которых отрывался лишь для того, чтобы на часок пойти на мельницу, он благодаря своей учености и строгости жизни, столь редким в его возрасте, не замедлил снискать уважение и восхищение всего клира. Через клириков слава его как ученого распространилась среди народа;

---

[47] Примечания: 47
Алтарь лентяев *(лат.).*

впрочем, что нередко случалось в те времена, здесь эта слава обернулась в репутацию чернокнижника.

Так вот, в это утро на Фоминой неделе, только что отслужив обедню в упомянутом «приделе лентяев», находящемся возле входа на хоры, с правой стороны нефа, близ статуи Богоматери, и направляясь к себе домой, Клод обратил внимание на группу старух, визжавших вокруг яслей для подкидышей.

Тогда-то он и подошел к жалкому созданию, вызывавшему столько ненависти и угроз. Вид этого несчастного, уродливого, заброшенного существа, потрясшая его мысль о том, что если б он умер, то маленького братца, его любимого малютку Жеана, тоже могли бы бросить в ясли для подкидышей, — все это взяло его за сердце; чувство огромной жалости захлестнуло его. Он унес подкидыша к себе.

Вынув ребенка из мешка, он обнаружил, что тот действительно уродец. У бедного малыша на левом глазу оказалась бородавка, голова глубоко ушла в плечи, позвоночник был изогнут дугой, грудная клетка выпячена, ноги искривлены; но он казался живучим, и хотя трудно было понять, на каком языке он лепетал, его крик свидетель-

ствовал о здоровье и силе. Чувство сострадания усилилось в Клоде при виде этого уродства, и в душе он дал себе обет, из любви к брату, воспитать ребенка, с тем чтобы, каковы бы ни были впоследствии прегрешения маленького Жеана, их заранее искупал тот акт милосердия, который был совершен ради него. Это был как бы надежно помещенный капитал благодеяний, которым он заранее обеспечивал маленького баловня; сумма добрых дел, приготовленная заблаговременно, на случай когда его брат будет испытывать нужду в этой монете, единственной, которою взималась плата за вход в райские врата.

Он окрестил своего приемыша и назвал его «Квазимодо»[48] — то ли в память того дня, когда нашел его, то ли желая этим именем выразить, насколько несчастное маленькое создание несовершенно, насколько начерно сделано. Действительно, Квазимодо, одноглазый, горбатый, кривоногий, был лишь «почти» человеком.

---

[48] Примечания: 48

«Quasimodo» — у католиков первое воскресенье после Пасхи, Фомино воскресенье; *quasimodo* означает по-латыни «как будто бы», «почти».

III. Immanis pecoris custos, immanior ipse[49]

Ныне, в 1482 году, Квазимодо был уже взрослым. Несколько лет тому назад он стал звонарем Собора Парижской Богоматери по милости своего приемного отца Клода Фролло, который стал жозасским архидьяконом по милости своего сюзерена мессира Луи де Бомона, ставшего в 1472 году, после смерти Гильома Шартье, епископом Парижа по милости своего покровителя Оливье де Дена, бывшего по милости Божьей брадобреем Людовика XI.

Итак, Квазимодо был звонарем в Соборе Богоматери.

С течением времени крепкие узы связали звонаря с собором. Отрешенный навек от мира тяготевшим над ним двойным несчастьем — темным происхождением и физическим уродством, замкнутый с детства в этот двойной непреодолимый круг, бедняга привык не замечать ничего, что лежало по ту сторону священных стен, приютивших его под своей сенью. По мере того как

---

[49] Примечания: 49

Пастырь лютого стада лютее пасомых *(лат.)*.

он рос и развивался, Собор Богоматери последовательно служил для него то яйцом, то гнездом, то домом, то родиной, то, наконец, Вселенной.

Между этим существом и зданием несомненно была какая-то таинственная предопределенная гармония. Когда, еще совсем крошкой, Квазимодо с мучительными усилиями, вприскочку, пробирался под мрачными сводами, он, с его человечьей головой и звериным туловищем, казался пресмыкающимся, естественно возникшим среди сырых и сумрачных плит, на которые тень романских капителей отбрасывала причудливые узоры.

Позднее, когда он случайно уцепился за веревку колокола и, повиснув на ней, раскачал его, Клоду, приемному отцу Квазимодо, показалось, будто у ребенка развязался язык и он заговорил.

Таким образом, мало-помалу развиваясь под сенью собора, живя и ночуя в нем, почти никогда его не покидая и непрерывно испытывая на себе его таинственное воздействие, он в конце концов стал на него похож; он словно врос в здание, превратившись в одну из его составных частей. Выступающие углы его тела как будто созданы были для того, чтобы вкладываться (да простится нам это сравнение!) в вогнутые углы здания, и

он казался не только обитателем собора, но и естественным его содержанием. Можно, почти не преувеличивая, сказать, что он принял форму собора, подобно тому как улитки принимают форму своей раковины. Это было его жилище, его логово, его оболочка. Между ним и старинной церковью существовала такая глубокая инстинктивная привязанность, такое физическое сродство, что Квазимодо был так же неотделим от собора, как черепаха от своего щитка. Шершавые стены собора были его панцирем.

Излишне предупреждать читателя, чтобы он не принимал буквально тех сравнений, к которым мы вынуждены прибегать здесь, описывая это своеобразное, совершенное, непосредственное, почти органическое слияние человека с жилищем. Излишне также говорить о том, до какой степени благодаря этому интимному и длительному сожительству Квазимодо освоился со всем собором. Эта обитель была как бы создана для него. Здесь не было глубин, куда бы не проник Квазимодо, не было высот, которых бы он не одолел. Не раз случалось ему взбираться по фасаду собора, цепляясь лишь за выступы скульптурных украшений. Башни, эти близнецы-великаны, столь высокие, столь грозные, столь

страшные, по наружным сторонам которых так часто видели его карабкающимся, словно ящерица, скользящая по отвесной стене, не вызывали в нем ни головокружения, ни страха, ни приступа дурноты. Видя, как они покорны ему, как легко он их преодолевает, можно было подумать, что он приручил их. Постоянно прыгая, лазая, резвясь среди пропастей исполинского собора, он превратился не то в обезьяну, не то в серну, напоминая детей Калабрии, которые начинают плавать раньше, чем ходить, и совсем малютками играют с морем.

Впрочем, не только его тело, но и дух его формировался по образцу собора. Что представляла собой душа Квазимодо? Каковы были ее особенности? Какую форму приняла она под этой угловатой, уродливой оболочкой, при этом дикарском образе жизни? Это трудно определить. Квазимодо родился кривым, горбатым, хромым. Много усилий и много терпения потратил Клод Фролло, пока научил его говорить. Но нечто роковое тяготело над несчастным подкидышем. Когда он в четырнадцать лет стал звонарем Собора Парижской Богоматери, новая беда довершила его несчастья: от колокольного звона лопнули его барабанные перепонки; он оглох. Единственная

дверь, широко распахнутая перед ним природой, внезапно захлопнулась навек. Захлопнувшись, она закрыла доступ единственному лучу радости и света, еще проникавшему в душу Квазимодо. Эта душа погрузилась во мрак. Глубокая печаль несчастного стала теперь столь же неизлечимой и непоправимой, как и его уродство. К тому же глухота сделала его как бы немым. Чтобы не служить причиной постоянных насмешек, он, убедившись в своей глухоте, обрек себя на молчание, которое нарушал лишь наедине с самим собой. Он добровольно вновь сковал свой язык, развязать который стоило усилий Клоду Фролло. Вот почему, когда необходимость принуждала его говорить, язык его поворачивался неуклюже и тяжело, как дверь на ржавых петлях.

И если бы нам удалось сквозь эту плотную и грубую кору добраться до души Квазимодо; если бы мы могли исследовать все глубины духа этого уродливого создания; если бы нам дано было увидеть с помощью факела то, что лежит за непрозрачной его оболочкой, постичь внутренний мир этого непроницаемого существа, разобраться во всех темных закоулках и нелепых тупиках его сознания и ярким лучом внезапно осветить на дне этой пещеры скованную его

душу, — то, несомненно, мы застали бы ее в какой-нибудь жалкой позе, скрюченную и захиревшую, подобно тем узникам венецианских тюрем, которые доживали до старости, согнувшись в три погибели в слишком узких и слишком коротких каменных ящиках.

Не вызывает сомнения, что в увечном теле оскудевает и разум. Квазимодо лишь смутно ощущал в себе слепые порывы души, сотворенной по образу и подобию его тела. Прежде чем достичь его сознания, внешние впечатления странным образом преломлялись. Его мозг представлял собою какую-то особую среду: все, что в него попадало, выходило оттуда искаженным. Его понятия, являвшиеся отражением этих преломленных впечатлений, естественно оказывались сбивчивыми и извращенными.

Это порождало тысячу оптических обманов, неверных суждений и заблуждений, среди которых бродила его мысль, делая его похожим то на сумасшедшего, то на идиота.

Первым последствием такого умственного склада было то, что Квазимодо не мог здраво смотреть на вещи. Он был почти лишен способности непосредственного их восприятия. Внешний мир казался ему гораздо более отдаленным, чем

нам.

Вторым последствием этого несчастья была его злобность.

Действительно, он был злобен, потому что был дик; он был дик, потому что был безобразен. В его природе, как и в любой иной, была своя логика.

Его столь непомерно развившаяся физическая сила являлась еще одной из причин его злобы. «Malus puer robustus»[50], — говорит Гоббс.

Впрочем, следует отдать ему справедливость: его злобность, надо думать, не была врожденной. С первых же своих шагов среди людей он почувствовал, а затем и ясно осознал себя существом отверженным, оплеванным, заклейменным. Человеческая речь была для него либо издевкой, либо проклятием. Подрастая, он встречал вокруг себя лишь ненависть и заразился ею. Преследуемый всеобщим озлоблением, он сам поднял оружие, которым был ранен.

Лишь с крайней неохотой он обращал свой взор на людей. Ему вполне достаточно было собора, населенного мраморными статуями королей, святых, епископов, которые, по крайней мере, не смеялись ему в лицо и смотрели на него

---

[50] Примечания: 50
Здоровый малый злобен *(лат.)*.

спокойным и благожелательным взором. Статуи чудовищ и демонов тоже не питали к нему ненависти — он слишком был похож на них. Насмешка их относилась скорее к прочим людям. Святые были его друзьями и благословляли его; чудовища также были его друзьями и охраняли его. Он подолгу изливал перед ними свою душу. Сидя на корточках перед какой-нибудь статуей, он часами беседовал с ней. Если в это время кто-нибудь входил в храм, Квазимодо убегал, как любовник, застигнутый за серенадой.

Собор заменял ему не только людей, но и всю Вселенную, всю природу. Он не представлял себе иных цветущих изгородей, кроме никогда не блекнущих витражей; иной прохлады, кроме тени каменной, отягощенной птицами листвы, распускающейся в кущах саксонских капителей; иных гор, кроме исполинских башен собора; иного океана, кроме Парижа, который бурлил у их подножия.

Но что он любил всего пламенней в своем родном соборе, что пробуждало его душу и заставляло ее расправлять свои жалкие крылья, столь беспомощно сложенные в тесной ее пещере, что порой делало его счастливым, — это колокола. Он любил их, ласкал их, говорил с ними, понимал

их. Он был нежен со всеми, начиная от самых маленьких колоколов средней стрельчатой башенки до самого большого колокола портала. Средняя колоколенка и две боковых башни были для него словно три громадные клетки, в которых вскормленные им птицы заливались лишь для него. А ведь это были те самые колокола, которые сделали его глухим; однако и мать часто всего сильнее любит именно то дитя, которое заставило ее больше страдать.

Правда, звон колоколов был единственным голосом, доступным его слуху. Поэтому сильнее всего он любил большой колокол. Среди шумливой этой семьи, носившейся вокруг него в дни больших празднеств, он отличал его особо. Этот колокол носил имя «Мария». Он висел особняком в клетке южной башни, рядом со своей сестрой «Жакелиной», колоколом меньших размеров, заключенным в более тесную клетку. «Жакелина» получила свое имя в честь супруги Жеана Монтегю, который принес этот колокол в дар собору, что, однако, не помешало жертвователю позже красоваться обезглавленным на Монфоконе. Во второй башне висели шесть других колоколов и, наконец, шесть самых маленьких ютились в звоннице средней башенки, вместе с деревян-

ным колоколом, которым пользовались лишь на Страстной неделе, с полудня Чистого четверга и до заутрени Христова Воскресенья. Итак, Квазимодо имел в своем гареме пятнадцать колоколов, но фавориткой его была толстая «Мария».

Трудно вообразить себе восторг, испытываемый им в дни большого благовеста. Лишь только архидьякон отпускал его, сказав «иди», он взлетал по винтовой лестнице быстрее, чем иной спустился бы с нее. Запыхавшись, вступал он в воздушное жилище большого колокола. С минуту он благоговейно и любовно созерцал колокол, затем начинал что-то ему шептать; он оглаживал его, словно доброго коня, которому предстояла трудная дорога; он уже заранее жалел его за предстоящие ему испытания. После этих первых ласк он кричал своим помощникам, находившимся в нижнем ярусе, чтобы они начинали. Те повисали на канатах, ворот скрипел, и исполинская медная капсула начинала медленно раскачиваться. Квазимодо, трепеща, следил за ней.

Первый удар медного языка о внутренние стенки колокола сотрясал балки, на которых он висел. Квазимодо, казалось, вибрировал вместе с колоколом. «Давай!» — вскрикивал он, разражаясь бессмысленным смехом. Колокол раскачивался

все быстрее, и по мере того как угол его размаха увеличивался, глаз Квазимодо, воспламеняясь и сверкая фосфорическим блеском, раскрывался все шире и шире.

Наконец начинался большой благовест, вся башня дрожала; балка, водосточные желоба, каменные плиты — все, начиная от свай фундамента и до увенчивающих башню трилистников, гудело одновременно. Квазимодо кипел, как в котле; он метался взад и вперед; вместе с башней он дрожал с головы до пят. Разнузданный, яростный колокол поочередно разверзал то над одним просветом башни, то над другим свою бронзовую пасть, откуда вырывалось дыхание бури, разносившейся на четыре лье окрест. Квазимодо становился перед этой отверстой пастью; следуя движениям колокола, он то приседал на корточки, то вставал во весь рост; он вдыхал этот сокрушающий смерч, глядя поочередно то на площадь с кишащей под ним на глубине двухсот футов толпой, то на исполинский медный язык, ревевший ему в уши. Это была единственная речь, доступная его слуху, единственный звук, нарушавший безмолвие Вселенной. И он нежился, словно птица на солнце. Вдруг неистовство колокола передавалось и ему; его глаз приобре-

тал странное выражение; Квазимодо подстерегал колокол, как паук подстерегает муху, и при его приближении стремглав бросался на него. Повиснув над бездной, следуя за колоколом в страшном его размахе, он хватал медное чудовище за ушки, плотно сжимал его коленями, пришпоривал ударами пяток и всем усилием, всей тяжестью своего тела увеличивал бешенство трезвона. Вся башня сотрясалась, а он кричал и скрежетал зубами, рыжие его волосы вставали дыбом, грудь пыхтела, как кузнечные мехи, глаз метал пламя, чудовищный колокол ржал, задыхаясь под ним. И вот это уже не колокол Собора Богоматери, не Квазимодо — это бред, вихрь, буря; безумие, оседлавшее звук; дух, вцепившийся в летающий круп; невиданный кентавр, получеловек, полуколокол; какой-то ужасный Астольф, уносимый чудовищным крылатым конем из ожившей бронзы.

Присутствие этого необычайного существа наполняло весь собор каким-то дыханием жизни. По словам суеверной толпы, он как бы излучал некую таинственную силу, оживлявшую все камни Собора Богоматери и заставлявшую трепетать глубокие недра древнего храма. Людям достаточно было узнать о его присутствии в соборе, как им уже чудилось, что все бесчисленные

статуи галерей и порталов начинают оживать и двигаться. И действительно, собор казался покорным, послушным его власти существом; он ждал приказаний Квазимодо, чтобы возвысить свой мощный голос; он был одержим, полон им, словно духом-покровителем. Казалось, что Квазимодо вливал жизнь в это необъятное здание. Он был вездесущ; как бы размножившись, он одновременно присутствовал в каждой точке храма. Люди, ужасаясь, видели, как странный карлик карабкается по самому верху башни, извивается, ползет на четвереньках, повисает над пропастью, перепрыгивает с выступа на выступ и обшаривает недра какой-нибудь каменной горгоны, — это Квазимодо, разоряющий вороньи гнезда. То в укромном углу собора наталкивались на какое-то подобие ожившей химеры, насупившейся и скорчившейся, — это Квазимодо, погруженный в размышления. То обнаруживали под колоколом чудовищную голову и мешок с уродливыми щупальцами, остервенело раскачивающийся на конце веревки, — это Квазимодо, который звонит к вечерне или к «Angelus»[51]. Нередко замечали по ночам отвратительное существо,

[51] Примечания: 51

Начальное слово молитвы, читаемой при звоне колокола утром, в полдень и вечером.

бродившее по хрупкой кружевной балюстраде, венчавшей башни и окаймлявшей окружность свода над хорами, — это опять был горбун Собора Богоматери.

И тогда, как уверяли кумушки из соседних домов, собор принимал какой-то фантастический, сверхъестественный, ужасный вид: там и здесь раскрывались глаза и пасти; слышен был лай каменных псов, шипение сказочных змей и каменных драконов, которые денно и нощно с вытянутыми шеями и разверстыми зевами сторожили громадный собор. А в ночь под Рождество, когда большой колокол хрипел от усталости, призывая верующих на полуночное бдение, сумрачный фасад здания принимал такой вид, что главные врата можно было принять за пасть, пожирающую толпу, а розетку — за окно, взирающее на нее. И причиной всему был Квазимодо. В Египте его почитали бы за божество этого храма; в Средние века его считали демоном; на самом же деле он был душой собора.

Для всех, кто знал о существовании Квазимодо, Собор Богоматери кажется теперь пустынным, бездыханным, мертвым. Что-то отлетело от него. Исполинское тело храма опустело; это только остов; дух покинул его, осталась лишь оболочка.

Так в черепе глазные впадины еще зияют, но взор угас навеки.

IV. Собака и ее господин

И все же было на свете человеческое существо, на которое Квазимодо не простирал свою злобу и ненависть, которое он любил так же, а быть может, даже сильней, чем собор. Это был Клод Фролло.

Причина проста. Клод Фролло подобрал его, усыновил, вскормил, воспитал: Квазимодо, будучи еще ребенком, привык находить у ног Клода Фролло убежище, когда его преследовали собаки и дети. Клод Фролло научил его говорить, читать и писать. Наконец, Клод Фролло сделал его звонарем. Обручить Квазимодо с большим колоколом — это значило отдать Ромео Джульетту.

Признательность Квазимодо была глубока, пламенна и безгранична; и хотя лицо его приемного отца часто бывало сумрачно и сурово, хотя обычно речь его была отрывиста, суха и повелительна, но никогда сила признательности не ослабевала в Квазимодо. Архидьякон имел в его лице самого покорного раба, самого исполнительного слугу, самого бдительного пса. Когда несчастный звонарь оглох, между ним и Клодом Фролло установился таинственный язык знаков,

понятный лишь им одним. Архидьякон был единственным человеческим существом, с которым Квазимодо мог еще общаться. В этом мире он был связан лишь с Собором Парижской Богоматери да с Клодом Фролло.

Ничто на свете не могло сравниться с властью архидьякона над звонарем и привязанностью звонаря к архидьякону. По одному знаку Клода, из одного желания доставить ему удовольствие, Квазимодо готов был ринуться вниз головой с высоких башен собора. Казалось необыкновенным, что вся физическая сила Квазимодо, достигшая такого необычайного развития, была слепо подчинена другому человеку. В этом сказывались не только сыновняя привязанность и преданность слуги господину, но также и непреодолимое влияние более сильного ума. Убогий, неуклюжий, неповоротливый разум взирал с мольбой и смирением на ум возвышенный и проницательный, могучий и властный.

Но над всем этим господствовало чувство признательности, доведенной до такого предела, что ее трудно с чем-либо сравнить. Среди людей примеры этой добродетели чрезвычайно редки. Поэтому скажем лишь, что Квазимодо любил архидьякона так сильно, как ни собака, ни конь,

ни слон никогда не любили своего господина.

V. Продолжение главы о Клоде Фролло

В 1482 году Квазимодо было около двадцати лет, Клоду Фролло — около тридцати шести. Первый возмужал, второй начал стареть.

Клод Фролло уже не был наивным школяром Торши, нежным покровителем беспомощного ребенка, юным и мечтательным философом, который много знал, но о многом еще не подозревал. Теперь это строгий, суровый, угрюмый священник, блюститель душ, господин архидьякон Жозасский, второй викарий епископа, управляющий двумя благочиниями, Монлерийским и Шатофорским, и ста семьюдесятью четырьмя сельскими приходами. Это важная и мрачная особа, перед которой трепетали и маленькие певчие в стихарях и курточках, и взрослые церковные певчие, и братия святого Августина, и причетники ранней обедни Собора Богоматери, когда он, величавый, задумчивый, скрестив руки на груди и так низко склонив голову, что виден был лишь его большой облысевший лоб, медленно проходил под высоким стрельчатым сводом хоров.

Однако отец Клод Фролло не забросил ни науки, ни воспитания своего юного брата — двух

главных занятий своей жизни. Но с течением времени какая-то горечь примешалась к этим столь сладостным обязанностям. В конце концов, как утверждает Поль Диакон, и наилучшее сало горкнет. Маленький Жеан Фролло, прозванный Мельником в честь мельницы, на которой он был вскормлен, развился вовсе не в том направлении, какое наметил для него Клод. Старший брат рассчитывал, что Жеан будет набожным, покорным, любящим науку и достойным уважения учеником. А между тем, подобно деревцам, которые наперекор стараниям садовника упорно тянутся в ту сторону, где воздух и солнце, — младший брат рос и развивался, давая чудесные пышные и мощные побеги лишь в сторону лени, невежества и распутства. Это был настоящий чертенок, крайне непокорный, что заставляло грозно хмурить брови отца Клода, но зато очень забавный и очень умный, что заставляло старшего брата улыбаться.

Клод доверил воспитание младшего брата тому же коллежу Торши, в котором сам в занятиях и размышлениях провел свои юные годы; и для него было большим огорчением, что имя Фролло, когда-то делавшее честь сему святилищу науки, теперь стало предметом соблазна. Иногда по по-

воду этого он читал Жеану очень строгие и очень пространные нравоучения, которые тот мужественно выслушивал. Впрочем, юный повеса обладал добрым сердцем, как это обычно наблюдается во всех комедиях. Выслушав отповедь, он как ни в чем не бывало вновь принимался за свои похождения и дебоши. То он вступал в потасовку, в честь его прибытия, с «желторотым» (так называли в Университете новичков), соблюдая эту драгоценную традицию, тщательно хранимую до наших дней. То он подстрекал банду школяров, и те, quasi classico excitati[52], атаковали по всем правилам какой-нибудь кабачок, избивали кабатчика деревянными рапирами и с хохотом громили таверну, вышибая напоследок днища винных бочек. Вслед за этим к отцу Клоду являлся младший наставник коллежа Торши и с постной физиономией вручал ему составленный на великолепной латыни отчет со следующей горестной пометкой на полях: Rixa: prima causa vinum optimum potatum[53]. Поговаривали даже о том, что распущенность Жеана частенько доводила его и до улицы Глатиньи, что для шестнадцати-

[52] Примечания: 52
Словно поднятые трубным звуком *(лат.)*.

[53] Примечания: 53
Побоище: основная причина — отличное, выпитое им вино *(лат.)*.

летнего юноши было совсем не по возрасту.

Вот почему огорченный Клод, отчаявшись в своих человеческих привязанностях, еще с большим увлечением отдался науке, этой сестре, которая, по крайней мере, не издевается над вами и за внимание к ней всегда вознаграждает вас, правда иногда и довольно стертой монетой. Он становился все более серьезным ученым и вместе с тем, что вполне последовательно, — все более суровым священником и все более печальным человеком. В каждом из нас существует известное соотношение между нашим непрерывно развивающимся умом, склонностями и характером, которое нарушается лишь при крупных жизненных потрясениях.

Так как Клод Фролло уже в юности прошел почти весь круг гуманитарных положенных и внеположенных законом наук, то он вынужден был либо поставить себе предел там, ubi defuit orbis[54], либо идти дальше в поисках иных средств для утоления своей ненасытной жажды познания. Древний символ змеи, жалящей собственный хвост, более всего применим к науке. По-видимому, Клод Фролло убедился в этом на

[54] Примечания: 54

Где замыкается круг *(лат.)*. Имеется в виду «круг знаний», которым обучали в древности и в Средние века.

личном опыте. Многие серьезные люди утверждали, что, исчерпав все fas[55] человеческого познания, он осмелился проникнуть в nefas[56]. Говорили, что, вкусив последовательно от всех плодов древа познания, он, то ли не насытившись, то ли пресытившись, кончил тем, что дерзнул вкусить от плода запретного. Читатели помнят, что он принимал участие в совещаниях теологов Сорбонны, в философских собраниях при Сент-Илер, в диспутах докторов канонического права при Сен-Мартен, в конгрегациях медиков при «Кропильнице Богоматери», ad cupam Nostrae Dominae. Он проглотил все разрешенные и одобренные кушанья, которые эти четыре громадные кухни, именуемые четырьмя факультетами, могли изготовить и предложить разуму, и пресытился ими, прежде чем успел утолить свой голод. Тогда он проник дальше, глубже, в самое подземелье этой законченной материальной ограниченной науки. Быть может, он даже поставил свою душу на карту ради того, чтобы принять участие в мистической трапезе алхимиков, астрологов и герметиков за столом,

---

[55] Примечания: 55
Дозволенное *(лат.)*.

[56] Примечания: 56
Недозволенное *(лат.)*.

верхний конец которого в Средние века занимали Аверроэс, Гильом Парижский и Никола Фламель, а другой, затерявшийся на Востоке и освещенный семисвечником, достигал Соломона, Пифагора и Зороастра.

Справедливо или нет, но так, по крайней мере, предполагали люди.

Достоверно, что архидьякон нередко посещал кладбище Невинных, где покоились его родители вместе с другими жертвами чумы 1466 года; но там он, казалось, не столько преклонял колени перед крестом на их могиле, сколько перед странными изваяниями, покрывавшими возведенные рядом гробницы Никола́ Фламеля и Клод Пернель.

Достоверно и то, что его часто видели на Ломбардской улице, где он украдкой проскальзывал в маленький домик, стоявший на углу улицы Писателей и Мариво. Этот дом выстроил Никола́ Фламель; там он и скончался около 1417 года. С тех пор он пустовал и начал уже разрушаться, до такой степени герметики и искатели философского камня всех стран исскоблили его стены, вырезая на них свои имена. Некоторые соседи утверждали, что видели через отдушину, как однажды архидьякон Клод рыл, копал и пересыпал

землю в двух подвалах, каменные подпоры которых были исчерчены бесчисленными стихами и иероглифами самого Никола́ Фламеля. Полагали, что Фламель зарыл здесь философский камень. И вот в течение двух столетий алхимики, начиная с Мажистри и кончая отцом Миротворцем, до тех пор ворошили там землю, пока дом, столь безжалостно перерытый и чуть не вывернутый наизнанку, не рассыпался наконец прахом под их ногами.

Достоверно также и то, что архидьякон воспылал особенной страстью к символическому порталу Собора Богоматери, к этой странице чернокнижной премудрости, изложенной в каменных письменах и начертанной рукой епископа Гильома Парижского, который несомненно погубил свою душу, дерзнув приделать к этому вечному зданию, к этой божественной поэме столь кощунственный заголовок. Говорили, что архидьякон досконально исследовал исполинскую статую святого Христофора и высокое загадочное изваяние, высившееся в те времена у главного портала, которое народ в насмешку называл «господином Легри»[57]. Во всяком случае,

[57] Примечания: 57

Легри — по-французски произносится так же, как *le gris*, что означает «хмельной», «под хмельком».

каждый мог видеть, как Клод Фролло, сидя на ограде паперти, без конца рассматривал скульптурные украшения главного портала, словно изучая то фигуры неразумных дев с опрокинутыми светильниками, то фигуры дев мудрых с поднятыми светильниками или рассчитывая угол, под которым ворон, изваянный над левым порталом, смотрит на какую-то таинственную точку в глубине собора, где несомненно был запрятан философский камень, если его нет в подвале дома Никола́ Фламеля.

Странная судьба, заметим мимоходом, выпала в те времена на долю Собора Богоматери — судьба быть любимым столь благоговейно, но совсем поразному двумя такими несхожими существами, как Клод и Квазимодо. Один из них — подобие получеловека, дикий, покорный лишь инстинкту, любил собор за красоту, за стройность, за ту гармонию, которую источало это великолепное целое. Другой же, одаренный пылким, обогащенным знаниями воображением, любил в нем его внутреннее значение, скрытый в нем смысл, любил связанную с ним легенду, его символику, таящуюся за скульптурными украшениями фасада, подобно первичным письменам древнего пергамента, скрывающимся под более поздним

текстом, — словом, любил ту загадку, какой извечно остается для человеческого разума Собор Парижской Богоматери.

Наконец, достоверно также и то, что архидьякон облюбовал в той башне собора, которая обращена к Гревской площади, крошечную потайную келью, непосредственно примыкавшую к колокольной клетке, куда никто, даже сам епископ, как гласила молва, не смел проникнуть без его дозволения. Эта келья, находившаяся почти на самом верху башни, среди вороньих гнезд, была когда-то устроена епископом Гюго Безансонским[58], который в свое время занимался там колдовством. Никто не знал, что таила в себе эта келья; но нередко, по ночам, с противоположного берега Сены видели, как в небольшом слуховом окошечке с задней стороны башни то вспыхивал, то потухал через короткие и равномерные промежутки, словно от прерывистого дыхания кузнечного меха, какой-то неровный, багровый, странный свет, скорее походивший на отсвет очага, нежели светильника. Во мраке и на такой высоте этот огонь производил странное впечатление, и кумушки говорили: «Опять

---

[58] Примечания: 58
Гюго II из Бизунсио, 1326–1332. *(Примеч. авт.)*

архидьякон орудует мехами! Там полыхает сама преисподняя».

Впрочем, во всем этом еще не было неопровержимых доказательств колдовства, но нет дыма без огня, тем более что архидьякон вообще пользовался далеко не доброй славой. А между тем мы должны признать, что все науки Египта — некромантия, магия, не исключая даже самой невинной из них, белой магии, не имели более заклятого врага, более беспощадного обличителя перед судьями консистории Собора Богоматери, чем архидьякон Клод Фролло. Быть может, это было искренним отвращением, быть может, лишь уловкой вора, кричащего «держи вора!», однако это не помешало ученым мужам капитула смотреть на архидьякона как на душу, дерзнувшую вступить в преддверие ада, затерянную в дебрях каббалистики и блуждающую во мраке оккультных наук. Народ тоже не заблуждался на этот счет: каждый мало-мальски проницательный человек считал Квазимодо дьяволом, а Клода Фролло — колдуном. Было совершенно ясно, что звонарь обязался служить архидьякону до известного срока, а затем, в виде платы за свою службу, он унесет его душу в ад. Вот почему архидьякон, невзирая на чрезмерную строгость

своего образа жизни, пользовался дурной славой среди христиан, и не было святоши, настолько неискушенного, чтобы нос его не чуял здесь чернокнижника.

И если с течением времени в его познаниях разверзались бездны, то такие же бездны вырыли годы в его сердце. Так по меньшей мере следовало предполагать, всматриваясь в это лицо, на котором душа мерцала, словно сквозь темное облако. Отчего полысел его широкий лоб, отчего голова его всегда была опущена, а грудь вздымалась от непрерывных вздохов? Какая тайная мысль кривила горькой усмешкой его рот, в то время как нахмуренные брови сходились, словно два быка, готовые ринуться в бой? Почему поседели его поредевшие волосы? Что за тайное пламя вспыхивало порой в его взгляде, уподобляя глаза его отверстиям, проделанным в стенке горна?

Все эти признаки внутреннего смятения достигли особой силы к тому времени, когда стали развертываться описываемые нами события. Не раз какой-нибудь маленький певчий, натолкнувшись на архидьякона в пустынном соборе, в ужасе бежал прочь, так странен и ярок был его взор. Не раз на хорах, в часы богослужения, его сосед по скамье слышал, как он к пенью церков-

ных гимнов ad omnem tonum[59] примешивал какие-то непонятные слова. Не раз прачка с мыса Терен, стиравшая на капитул, с ужасом замечала на стихаре господина архидьякона Жозасского следы вонзавшихся в материю ногтей.

Вместе с тем он держал себя еще строже и безупречнее, чем всегда. Как по своему положению, так и по складу своего характера он и прежде чуждался женщин; теперь же, казалось, он ненавидел их сильнее, чем когда-либо. Стоило зашуршать возле него шелковому женскому платью, как он тотчас же надвигал на глаза капюшон. В этом отношении он был настолько ревностным блюстителем установленных правил, что когда в декабре 1481 года дочь короля, госпожа Анна де Божё, пожелала посетить монастырь Собора Богоматери, он серьезно воспротивился этому посещению, напомнив епископу устав Черной книги, помеченный кануном дня св. Варфоломея 1334 года и воспрещавший доступ в монастырь всякой женщине, «будь она стара или молода, госпожа или служанка». В ответ на это епископ вынужден был сослаться на легата Одо, допускавшего исключение для некоторых высо-

---

[59] Примечания: 59
К общему напеву *(лат.).*

копоставленных дам, aliquae magnates mulieres, quae sine scandalo evitari non possunt[60]. На это архидьякон возразил, что постановление легата, изданное в 1207 году, на сто двадцать семь лет предшествует Черной книге; следовательно, должно считаться упраздненным. И он отказался предстать перед принцессою.

Между прочим, с некоторых пор стали замечать, что отвращение архидьякона к египтянкам и цыганкам усилилось. Он добился от епископа особого указа, по которому цыганкам воспрещалось приходить плясать и бить в бубен на соборной площади; в то же время он рылся в истлевших архивах консистории, подбирая в них те процессы, где, по постановлению церковного суда, колдуны и колдуньи приговаривались к сожжению на костре или к виселице за наведение порчи на людей при помощи козлов, свиней или коз.

---

[60] Примечания: 60

Для некоторых именитых жен, посещения коих нельзя избежать, не вызывая огласки *(лат.)*.

VI. Нелюбовь народа

Как мы уже указывали, архидьякон и звонарь не пользовались любовью ни у людей почтенных, ни у мелкого люда, жившего вблизи собора. Всякий раз, когда Клод и Квазимодо, выйдя вместе, шли, слуга за господином, по прохладным, узким и сумрачным улицам, прорезавшим квартал Собора Богоматери, вслед им летели то злое словечко, то насмешливая песенка, то оскорбительное замечание. Но случалось, хотя и редко, что Клод Фролло ступал с высоко поднятой головой; тогда его открытое чело и строгий, почти величественный вид приводили в смущение зубоскалов.

Оба они в своем околотке напоминали тех двух поэтов, о которых говорит Ренье:

И всякий сброд преследует поэтов, —
Так, щебеча, малиновки преследуют сову.

То это был сорванец-мальчишка, рисковавший своими костями и шкурой ради неописуемого наслаждения вонзить булавку в горб Квазимодо. То какая-нибудь не в меру бойкая и дерзкая

хорошенькая девица мимоходом умышленно задевала черную сутану священника, напевая ему прямо в лицо язвительную песенку: «Ага, попался, пойман бес!» Иногда группа неопрятных старух, примостившихся на ступеньках паперти, принималась громко брюзжать при виде проходивших мимо архидьякона и звонаря и с бранью посылала им вслед подбадривающее приветствие: «Гм! У этого душа точь-в-точь как у другого тело». Или же это была ватага школьников и сорванцов, игравших в котел, которая вскакивала и встречала их улюлюканьем и каким-нибудь латинским восклицанием вроде «Eia! Eia! Claudus cum claudo»[61].

Но чаще всего оскорбления скользили мимо священника и звонаря. Квазимодо был глух, а Клод слишком погружен в свои размышления, чтобы слышать все эти любезности.

---

[61] Примечания: 61

«Эге, эге! Клод с хромым» *(лат.)*. Игра слов: *Claudus* по-латыни — хромой.

Книга пятая

I. Abbas Beati Martini[62]

Известность отца Клода простиралась далеко за пределы собора. Ей он был обязан навсегда оставшимся в его памяти посещением, незадолго до того, как он отказался принять г-жу де Божё.

Дело было вечером. Отслужив вечерню, он только что вернулся в свою священническую келью в монастыре Собора Богоматери. В этой келье, не считая нескольких стеклянных пузырьков, убранных в угол и наполненных каким-то подозрительным порошком, сильно напоминавшим порошок алхимиков, не было ничего необычного или таинственного. Правда, кое-где на стенах виднелось несколько надписей, но то были либо чисто научные суждения, либо благочестивые поучения почтенных авторов. Архидьякон уселся при свете медного трехсвечника перед широким ларем, заваленным рукописями. Облокотившись на раскрытую книгу Гонория Отенского «De praedestinatione et libero arbitrio»[63], он в

---

[62] Примечания: 62
Аббат монастыря Блаженного Мартина *(лат.)*.

[63] Примечания: 63
«О предопределении и свободе воли» *(лат.)*.

глубокой задумчивости перелистывал печатный том in folio[64], только что принесенный им и представлявший собою единственную в келье книгу, вышедшую из-под печатного станка. Его задумчивость была прервана стуком в дверь.

— Кто там? — крикнул ученый с приветливостью потревоженного голодного пса, которому мешают глодать кость.

За дверью ответили:

— Ваш друг, Жак Куактье.

Архидьякон встал и отпер дверь.

То был действительно медик короля, человек лет пятидесяти, жесткое выражение лица которого несколько смягчалось вкрадчивым взглядом. Его сопровождал какой-то незнакомец. Оба они были в длиннополых, темно-серых, подбитых беличьим мехом одеяниях, наглухо застегнутых и перетянутых поясами, и в капюшонах из той же материи, того же цвета. Руки у них были скрыты под рукавами, ноги — под длинной одеждой, глаза — под капюшонами.

— Господи помилуй! — сказал архидьякон, вводя их в свою келью. — Вот уж никак не ожидал столь лестного посещения в такой поздний час. —

---

[64] Примечания: 64
В лист *(лат.)*.

Но, произнося эти учтивые слова, он окидывал медика и его спутника беспокойным, испытующим взглядом.

— Нет того часа, который был бы слишком поздним, чтобы посетить столь знаменитого ученого мужа, как отец Клод Фролло из Тиршапа, — ответил медик Куактье, растягивая слова, что изобличало в нем уроженца Франш-Конте: фразы его тянулись с торжественной медлительностью, как шлейф парадного платья.

И тут между медиком и архидьяконом начался предварительный обмен приветствиями, который в ту эпоху обычно служил прологом ко всем беседам между учеными, что отнюдь не препятствовало им от всей души ненавидеть друг друга. Впрочем, то же самое мы наблюдаем и в наши дни: уста каждого ученого, осыпающего похвалами своего собрата, — это чаша подслащенной желчи.

Любезности, расточаемые Жаку Куактье Клодом Фролло, намекали на те многочисленные мирские блага, которые почтенный медик, возбуждавший своей карьерой столько зависти, умел извлекать для себя из каждого недомогания короля с помощью более совершенной и более достоверной алхимии, нежели та, которая зани-

мается поисками философского камня.

— Поистине, господин Куактье, я был очень обрадован, узнав о назначении вашего племянника, достопочтенного сеньора Пьера Версе, епископом. Ведь он теперь епископ Амьенский?

— Да, отец архидьякон, по благодати и милосердию Божьему.

— А знаете, у вас был весьма величественный вид в день Рождества, когда вы выступали во главе всех членов счетной палаты, господин президент!

— Вице-президент, отец Клод, увы, всего лишь вице-президент!

— А как далеко подвинулась постройка вашего великолепного особняка на улице Сент-Андре-Дезарк? Это настоящий Лувр. Мне чрезвычайно нравится абрикосовое дерево, высеченное над входом, с этой забавной шутливой надписью: «Приют на берегу»[65].

— Увы, мэтр Клод! Эта стройка стоит мне бешеных денег. По мере того как дом растет, я разоряюсь.

— И полноте! Разве у вас нет доходов от тюрьмы, присутственных мест Дворца правосудия и

---

[65] Примечания: 65

Игра слов: *l'abri côtier* — по-французски «приют на берегу», *l'abricotier* — «абрикосовое дерево».

арендной платы со всех домов, лавок, балаганов, мастерских, расположенных в его ограде? Это для вас хорошая дойная корова.

— Мое кастелянство в Пуасси в этом году не дало ничего.

— Зато дорожные пошлины на заставах Триэль, Сен-Джемс, Сен-Жермен-ан-Ле всегда прибыльны.

— Они дают всего сто двадцать ливров, да и то не парижских.

— Но вы получаете жалованье в качестве королевского советника. Уж это верный доход.

— Да, брат Клод; но зато это проклятое поместье Полиньи, о котором так много толкуют, не приносит мне даже в лучшем случае шестидесяти экю в год.

В любезностях, которые отец Клод расточал Куактье, слышалась язвительная затаенная издевка, печальная и жестокая усмешка одаренного неудачника, который, чтобы отвлечься на миг, подшучивает над грубым благополучием человека заурядного. Последний ничего этого не замечал.

— Клянусь душой, — сказал наконец Клод, пожимая ему руку, — я счастлив видеть вас в столь вожделенном здравии.

— Благодарю вас, мэтр Клод.

— А кстати, — воскликнул отец Клод, — как здоровье вашего царственного больного?

— Он скупо оплачивает своего врача, — ответил медик, искоса поглядывая на своего спутника.

— Вы находите, кум Куактье? — спросил его тот.

Эти слова, в которых слышались удивление и упрек, обратили внимание архидьякона на незнакомца, хотя, по правде говоря, с тех пор как этот человек переступил порог его кельи, архидьякон и так ни на минуту не забывал о его присутствии. Не будь у него веских причин сохранять добрые отношения с медиком Жаком Куактье, этим всемогущим лекарем короля Людовика XI, он ни за что не принял бы его в сопровождении этого неизвестного. И он не выразил ни малейшего удовольствия, когда Куактье сказал ему:

— Кстати, отец Клод, я привел к вам одного из ваших собратьев, который, прослышав о вашей славе, пожелал с вами познакомиться.

— Ваш спутник тоже причастен к науке? — спросил архидьякон, вперив в незнакомца проницательный взгляд. Из-под нависших бровей на него сверкнул такой же зоркий и недоверчивый взор.

Насколько можно было разглядеть при мерцании светильника, это был старик лет шестидесяти, среднего роста, казавшийся больным и дряхлым. Его профиль, хотя и не отличался благородством линий, таил в себе что-то властное и суровое; из-под надбровных дуг сверкали зрачки, словно пламя в недрах пещеры, а под низко надвинутым капюшоном угадывались очертания широкого лба — признак одаренности.

Незнакомец сам ответил на вопрос архидьякона.

— Достопочтенный учитель, — степенно проговорил он, — ваша слава дошла до меня, и я хочу просить у вас совета. Сам я — лишь скромный провинциальный дворянин, смиренно снимающий свои сандалии у порога жилища ученого. Но вы еще не знаете моего имени: меня зовут кум Туранжо.

«Странное имя для дворянина!» — подумал архидьякон. Однако он чувствовал, что перед ним сильная и значительная личность. Он чутьем угадал, что под меховым капюшоном кума Туранжо скрывается высокий ум, и по мере того как он вглядывался в эту исполненную достоинства фигуру, ироническая усмешка, вызванная на его угрюмом лице присутствием Жака Куак-

тье, постепенно таяла, подобно сумеркам перед наступлением ночи. Мрачный и молчаливый, он снова уселся в свое глубокое кресло и привычно облокотился о стол, подперев лоб рукой. После нескольких минут раздумья он знаком пригласил обоих посетителей сесть и сказал, обратившись к куму Туранжо:

— Касательно какой науки желаете вы посоветоваться со мной, мэтр?

— Достопочтенный учитель, — отвечал кум Туранжо, — я болен, я очень серьезно болен. За вами утвердилась слава великого эскулапа, и я пришел просить у вас медицинского совета.

— Медицинского! — покачав головой, проговорил архидьякон. Он, казалось, с минуту размышлял и затем ответил: — Кум Туранжо, коли вас так зовут, оглянитесь! Мой ответ вы увидите начертанным на стене.

Кум Туранжо повиновался и прочел как раз над своей головой следующую вырезанную на стене надпись:

«Медицина — дочь сновидений. Ямвлих».

Медик Жак Куактье выслушал вопрос своего спутника с досадой, которую ответ Клода еще больше усилил. Он наклонился к куму Туранжо и шепнул ему тихонько, чтобы не быть услышан-

ным архидьяконом:

— Я предупреждал вас о том, что это сумасшедший. Но вы непременно пожелали его видеть!

— Вполне возможно, что этот сумасшедший и прав, доктор Жак! — ответил тоже шепотом и с горькой усмешкой кум Туранжо.

— Как вам угодно, — сухо сказал Куактье и, обратившись к архидьякону, проговорил: — Вы человек скорый в своих суждениях, отец Клод: вам, по-видимому, разделаться с Гиппократом так же легко, как обезьяне с орехом. «Медицина — дочь сновидений»! Сомневаюсь, чтобы аптекари и лекари, будь они здесь, удержались от того, чтобы не побить вас камнями. Итак, вы отрицаете действие любовных напитков на кровь и лекарственных мазей — на кожу? Вы отрицаете эту вековечную аптеку трав и металлов, которая именуется природой и которая нарочно создана для вечного больного, именуемого человеком?

— Я не отрицаю ни аптеки, ни больного, — холодно ответил отец Клод. — Я отрицаю лекаря.

— Стало быть, — с жаром продолжал Куактье, — по-вашему, неверно, что подагра — это лишай, вошедший внутрь тела, что огнестрельную рану можно вылечить, приложив к ней жареную полевую мышь, что умелое переливание молодой

крови возвращает старым венам молодость? Вы отрицаете, что дважды два — четыре и что при судорогах тело выгибается сначала вперед, а потом назад?

— О некоторых вещах я имею свое особое мнение, — спокойно ответил архидьякон.

Куактье побагровел от гнева.

— Вот что, милый мой Куактье, — вмешался кум Туранжо, — не будем горячиться. Не забывайте, что господин архидьякон наш друг.

Куактье успокоился, проворчав, однако, вполголоса:

— И то правда. Чего можно ожидать от сумасшедшего!

— Ей-богу, мэтр Клод, — помолчав некоторое время, вновь заговорил кум Туранжо, — вы меня сильно озадачили. Я имел в виду получить у вас два совета: касательно своего здоровья и своей звезды.

— Сударь, — ответил архидьякон, — если вы пришли только с этим, то напрасно утруждали себя, взбираясь ко мне на такую высоту. Я не верю ни в медицину, ни в астрологию.

— В самом деле? — с изумлением произнес кум Туранжо. Куактье принужденно рассмеялся.

— Вы теперь убедились, что он не в своем

уме? — шепнул он куму Туранжо. — Он не верит даже в астрологию!

— Возможно ли вообразить, будто каждый звездный луч есть нить, протянутая к голове человека? — продолжал отец Клод.

— Но во что же вы тогда верите? — воскликнул кум Туранжо.

С минуту архидьякон колебался, затем с мрачной улыбкой, плохо вязавшейся с его словами, ответил:

— Credo in Deum[66].

— Dominum nostrum[67], — добавил кум Туранжо, осенив себя крестным знамением.

— Amen[68], — заключил Куактье.

— Уважаемый учитель, — продолжал кум Туранжо, — меня от души радует, что вы столь непоколебимы в вере. Но неужели, будучи таким великим ученым, вы дошли до того, что перестали верить в науку?

— Нет, — ответил архидьякон, схватив за руку кума Туранжо, и в потускневших зрачках его

---

[66] Примечания: 66
Верую в Бога *(лат.)*.

[67] Примечания: 67
Господа нашего *(лат.)*.

[68] Примечания: 68
Аминь *(лат.)*.

вспыхнуло пламя воодушевления, — нет, науку я не отрицаю. Недаром же я так долго, ползком, вонзая ногти в землю, пробирался сквозь бесчисленные разветвления этой пещеры, пока далеко впереди, в конце темного прохода, мне не блеснул какой-то луч, какое-то пламя; несомненно, то был отсвет ослепительной центральной лаборатории, в которой все терпеливые и мудрые обретают Бога.

— Но все же, — перебил его кум Туранжо, — какую науку вы почитаете истинной и непреложной?

— Алхимию.

— Помилуйте, отец Клод! — воскликнул Куактье. — Положим, алхимия по-своему права, но зачем же поносить медицину и астрологию?

— Ваша наука о человеке — ничто! Ваша наука о небе — ничто! — твердо сказал архидьякон.

— Это значит попросту разделаться с Эпидавром и Халдеей, — посмеиваясь, заметил медик.

— Послушайте, мессир Жак. Я сказал то, что думаю. Я не лекарь короля, и его величество не подарил мне сада Дедала, чтобы я мог наблюдать там созвездия… Не сердитесь и выслушайте меня. Я не говорю о медицине, которая вовсе лишена смысла; но скажите, какие истины вы

извлекли из астрологии? Укажите мне свойства вертикального бустрофедона, укажите открытия, сделанные при помощи чисел зируф и зефирот!

— Неужели вы станете отрицать, — возразил Куактье, — симпатическую силу клавикулы и то, что от нее ведет свое начало вся каббалистика?

— Заблуждение, мессир Жак! Ни одна из ваших формул не приводит ни к чему положительному, тогда как алхимия имеет за собой множество открытий. Будете ли вы оспаривать следующие утверждения этой науки: что лед, пролежавший тысячу лет в недрах земли, превращается в горный хрусталь; что свинец — родоначальник всех металлов, ибо золото не металл, золото — свет; что свинцу нужно лишь четыре периода, по двести лет каждый, чтобы последовательно превратиться в красный мышьяк, из красного мышьяка в олово, из олова в серебро? Разве это не истины? Но верить в силу клавикулы, в линию судьбы, во влияние звезд так же смешно, как верить заодно с жителями Китая, что иволга превращается в крота, а хлебные зерна — в золотых рыбок.

— Я изучил герметику, — вскричал Куактье, — и утверждаю, что…

Но вспыливший архидьякон не дал ему дого-

ворить.

— А я изучал и медицину, и астрологию, и герметику. Но истина только вот в чем! — С этими словами он взял с ларя стоявший на нем пузырек, полный того порошка, о котором мы упоминали выше. — Только в этом свет! Гиппократ — мечта; Урания — мечта; Гермес — мысль. Золото — это солнце; уметь делать золото — значит быть равным Богу. Вот единственная наука! Повторяю вам, я исследовал глубины астрологии и медицины — все это ничто! Ничто! Человеческое тело — потемки! Светила — тоже потемки!

Властным и вдохновенным движением он откинулся в своем кресле. Кум Туранжо молча наблюдал за ним. Куактье, принужденно посмеиваясь, пожимал незаметно плечами и повторял про себя: «Вот сумасшедший!»

— Ну а удалось вам достигнуть своей чудесной цели? Удалось добыть золото?

— Если бы я ее достиг, то короля Франции звали бы Клодом, а не Людовиком, — медленно выговаривая слова, словно в раздумье, ответил архидьякон.

Кум Туранжо нахмурил брови.

— Впрочем, что я говорю! — презрительно усмехнувшись, проговорил Клод. — На что мне

французский престол, когда я властен был бы восстановить Восточную империю!

— В добрый час! — сказал кум.

— О несчастный безумец! — пробормотал Куактье.

Казалось, архидьякона занимали только собственные мысли, и он продолжал:

— Нет, я все еще передвигаюсь ползком; я раздираю себе лицо и колени о камни подземного пути. Я пока лишь предполагаю, но еще не вижу! Я не читаю, я только разбираю по складам!

— А когда вы научитесь читать, вы сумеете добыть золото? — спросил кум.

— Кто может в этом сомневаться! — воскликнул архидьякон.

— В таком случае — Пресвятой Деве известно, как я нуждаюсь в деньгах, — я очень хотел бы научиться читать по вашим книгам. Скажите, уважаемый учитель, ваша наука не враждебна и не противна Божьей Матери?

В ответ на этот вопрос Клод с высокомерным спокойствием промолвил:

— А кому же я служу как архидьякон?

— Ваша правда, мэтр. А вы удостоите посвятить меня в тайны вашей науки? Позвольте мне вместе с вами учиться читать.

Клод принял величественную позу, словно какой-нибудь первосвященник Самуил:

— Старик, чтобы предпринять путешествие сквозь эти таинственные дебри, нужны долгие годы, которых у вас уже нет впереди. Ваши волосы серебрит седина. Но с седой головой выходят из этой пещеры, а вступают в нее тогда, когда волос еще темен. Наука и сама умеет избороздить, обесцветить и иссушить человеческий лик. Зачем ей старость с ее морщинами? Но если вас, в ваши годы, все еще обуревает желание засесть за науку и разбирать опасную азбуку мудрых, придите, пусть будет так, я попытаюсь. Я не пошлю вас, слабого старика, изучать усыпальницы пирамид, о которых свидетельствует древний Геродот, или кирпичную Вавилонскую башню, или исполинское, белого мрамора святилище индийского храма в Эклинге. Я и сам не видел ни халдейских каменных сооружений, воспроизводящих священную форму Сикры, ни разрушенного храма Соломона, ни сломанных каменных врат гробницы израильских царей. Мы с вами удовольствуемся отрывками из имеющейся у нас книги Гермеса. Я объясню вам смысл статуи святого Христофора, символ сеятеля и символ двух ангелов, изображенных у портала

Сент-Шапель, из которых один погрузил свою длань в сосуд, а другой — скрыл свою в облаке…

Но тут Жак Куактье, смущенный пылкой речью архидьякона, оправился и прервал его торжествующим тоном ученого, исправляющего ошибку собрата:

— Erras, amice Claudi[69]. Символ — не есть число. Вы принимаете Орфея за Гермеса.

— Это вы заблуждаетесь, — внушительным тоном ответил архидьякон. — Дедал — это цоколь; Орфей — это стены; Гермес — это здание в целом. Вы придете, когда вам будет угодно, — продолжал он, обращаясь к Туранжо, — я покажу вам крупинки золота, осевшего на дне тигля Никола Фламеля, и вы сравните их с золотом Гильома Парижского. Я объясню вам тайные свойства греческого слова peristera[70], но прежде всего я научу вас разбирать одну за другой мраморные буквы алфавита, гранитные страницы великой книги. От портала епископа Гильома и Сен-Жан ле Рон мы отправимся к Сент-Шапель, затем к домику Никола́ Фламеля на улице Мариво, к его могиле на кладбище Невинных, к двум его больницам на

---

[69] Примечания: 69
Ошибаешься, друг Клод *(лат.)*.

[70] Примечания: 70
Голубь.

улице Монморанси. Я научу вас разбирать иероглифы, которыми покрыты четыре массивные железные решетки портала больницы Сен-Жерве и на Скобяной улице. Мы вместе постараемся разобраться в том, о чем говорят фасады церквей Сен-Ком, Сент-Женевьев-дез-Ардан, Сен-Мартен, Сен-Жак-де-ла-Бушри…

Уже давно, несмотря на весь ум, светившийся в его глазах, кум Туранжо перестал понимать отца Клода. Наконец он перебил его:

— С нами крестная сила! Что же это за книга?

— А вот одна из них, — ответил архидьякон.

И, распахнув окно своей кельи, он указал на громаду Собора Богоматери. Выступавший на звездном небе черный силуэт его башен, каменных боков, всего чудовищного корпуса казался исполинским двуглавым сфинксом, который уселся посреди города.

Некоторое время архидьякон молча созерцал огромное здание, затем со вздохом простер правую руку к лежавшей на столе раскрытой печатной книге, а левую — к Собору Богоматери, и, переведя свой печальный взгляд с книги на собор, он произнес:

— Увы! Вот это убьет то.

Куактье, который поспешно приблизился к

книге, не утерпел и воскликнул:

— Помилуйте! Да что же тут такого страшного? «Glossa in epistolas S. Pauli», Norimbergae, Antonius Koburger, 1474[71]. Это вещь не новая. Это сочинение Пьера Ломбара, прозванного «Мастером сентенций». Может быть, эта книга страшит вас тем, что она печатная?

— Вот именно, — ответил Клод. Словно погруженный в глубокую думу, он стоял возле стола, опершись согнутым указательным пальцем о фолиант, оттиснутый на знаменитых нюрнбергских печатных станках. Затем он добавил следующие загадочные слова: — Увы! Увы! Малое берет верх над великим; один-единственный зуб осиливает целую толщу. Нильская крыса убивает крокодила, меч-рыба убивает кита, книга убьет здание!

Монастырский колокол дал сигнал о тушении огня в ту минуту, когда мэтр Жак повторял на ухо своему спутнику свой неизменный припев: «Это сумасшедший». На этот раз и спутник ответил: «Похоже на то!»

Пробил час, когда посторонние не могли оставаться в монастыре. Оба посетителя удалились.

— Учитель, — сказал Туранжо, прощаясь с ар-

---

[71] Примечания: 71

«Толкование на послания св. Павла», Нюрнберг, Антоний Кобургер, 1474 *(лат.)*.

хидьяконом, — я люблю ученых и великие умы, а к вам я испытываю особое уважение. Приходите завтра во дворец Турнель и спросите там «аббата Сен-Мартен-де-Тур».

Архидьякон вернулся к себе в келью совершенно ошеломленный; только теперь он уразумел наконец, кто такой был «кум Туранжо», и вспомнил то место из сборника грамот монастыря Сен-Мартен-де-Тур, где сказано:

«Abbas beati Martini, scilicet rex Franciae, est canonicus de consuetudine et habet parvam praebendam, quam habet sanctus Venantius et debet sedere in sede thesaurarii»[72].

Утверждают, что с этого времени архидьякон часто беседовал с Людовиком XI, когда его величество посещал Париж, и что влияние отца Клода тревожило Оливье ле Дена и Жака Куактье, причем последний, по своему обыкновению, грубо пенял на это королю.

---

[72] Примечания: 72

«Аббат монастыря блаженного Мартина, то есть король Франции, по установлению, считается каноником и имеет малый приход, принадлежащий церкви Святого Венанция, а в капитуле он должен заседать на месте казначея» *(лат.)*.

II. Вот это убьет то

Наши читательницы простят нам, если мы на минуту отвлечемся, чтобы попытаться разгадать смысл загадочных слов архидьякона: «Вот это убьет то. Книга убьет здание».

На наш взгляд, эта мысль была двойственной. Раньше всего это была мысль священника. Это был страх духовного лица перед новой силой — книгопечатанием. Это был ужас и изумление служителя алтаря перед излучающим свет печатным станком Гутенберга. Церковная кафедра и манускрипт, изустное слово и слово рукописное били тревогу в смятении перед словом печатным — так переполошился бы воробей при виде ангела Легиона, разворачивающего перед ним свои шесть миллионов крыльев. То был вопль пророка, который уже слышит, как шумит и бурлит освобождающееся человечество, который уже проводит то время, когда разум пошатнет веру, свободная мысль свергнет с пьедестала религию, когда мир стряхнет с себя иго Рима. То было предвидение философа, который зрит, как человеческая мысль, ставшая летучей при помощи печати, уносится, подобно пару, из-под

стеклянного колпака теократии. То был страх воина, следящего за медным тараном и возвещающего: «Башня рухнет». Это означало, что новая сила сменит старую силу; иными словами — печатный станок убьет церковь.

Но за этой первой, несомненно более простой, мыслью скрывалась, как необходимое ее следствие, другая мысль, более новая, менее очевидная, легче опровержимая и тоже философская. Мысль не только священнослужителя, но ученого и художника. В ней выражалось предчувствие того, что человеческое мышление, изменив форму, изменит со временем и средства ее выражения; что господствующая идея каждого поколения будет начертана уже иным способом, на ином материале; что столь прочная и долговечная каменная книга уступит место еще более прочной и долговечной книге — бумажной. В этом заключался второй смысл неопределенного выражения архидьякона. Это означало, что одно искусство будет вытеснено другим; иными словами — книгопечатание убьет зодчество.

С самого Сотворения мира и вплоть до XV столетия христианской эры зодчество было великой книгой человечества, основной формулой, выражавшей человека во всех стадиях его развития

— как существа физического, так и существа духовного.

Когда память первобытных поколений ощутила себя чересчур обремененной, когда груз воспоминаний рода человеческого стал так тяжел и сбивчив, что простое летучее слово рисковало утерять его в пути, тогда эти воспоминания были записаны на почве самым явственным, самым прочным и вместе с тем самым естественным способом. Каждое предание было запечатлено в памятнике.

Первобытные памятники были простыми каменными глыбами, которых «не касалось железо», как говорит Моисей. Зодчество возникло так же, как и всякая письменность. Сначала это была азбука. Ставили стоймя камень, и он был буквой, каждая такая буква была иероглифом, и на каждом иероглифе покоилась группа идей, подобно капители на колонне. Так поступали первые поколения повсюду, одновременно, на поверхности всего земного шара. «Стоячий камень» кельтов находят и в азиатской Сибири, и в американских пампасах.

Позднее стали складывать целые слова. Водружали камень на камень, соединяли эти гранитные слоги и пытались из нескольких слогов

создать слова. Кельтские дольмены и кромлехи, этрусские курганы, иудейские могильные холмы — все это каменные слова. Некоторые из этих сооружений, преимущественно курганы, — имена собственные. Иногда, если располагали большим количеством камней и обширным пространством, выводили даже фразу. Исполинское каменное нагромождение Карнака — уже целая формула.

Наконец стали составлять и книги. Предания порождали символы, под которыми сами они исчезли, как под листвой исчезает древесный ствол; все эти символы, в которые веровало человечество, постепенно возрастали в числе, умножаясь, перекрещиваясь и все более и более усложняясь; первобытные памятники не могли уже более их вместить; символы их переросли; памятники почти перестали выражать первобытное предание, такое же простое, несложное и сливающееся с почвой, как и они сами. Чтобы развернуться символу, потребовалось здание. Тогда, вместе с развитием человеческой мысли, стало развиваться и зодчество; оно превратилось в тысячеглавого, тысячерукого великана и заключило зыбкую символику в видимую, осязаемую бессмертную форму. Пока Дедал — символ

силы — измерял, пока Орфей — символ разума — пел, в это время столп — символ буквы, свод — символ слога, пирамида — символ слова, движимые разумом по законам геометрии и поэзии, стали группироваться, сочетаться, сливаться, снижаться, возвышаться, сдвигаться вплотную на земле, устремляться в небеса до тех пор, пока под диктовку господствующих идей эпохи им не удалось наконец написать те чудесные книги, которые являются одновременно и чудесными зданиями: пагоду в Эклинге, мавзолей Рамзеса в Египте и храм Соломона.

Основная идея — слово — заключалась не только в сокровенной их сущности, но также и в их формах. Так, например, храм Соломона отнюдь не был только переплетом священной книги, он был самой книгой. На каждой из его концентрических оград священнослужители могли прочесть явленное и истолкованное слово, и, наблюдая из святилища в святилище за его превращениями, они настигли слово в его последнем убежище, в его самой вещественной форме, которая была опять-таки зодческой, — в ковчеге Завета. Таким образом, слово хранилось в недрах здания, но образ этого слова, подобно изображению человеческого тела на крышке саркофага, был

запечатлен на внешней оболочке здания.

И не только форма зданий, но и самое место, которое для них выбиралось, раскрывало идею, отображаемую ими. Сообразно тому, светел или мрачен был ждущий воплощения символ, Греция увенчивала свои холмы храмами, пленявшими глаз, а Индия вспарывала свои горы, чтобы высекать в них неуклюжие подземные пагоды, поддерживаемые вереницами исполинских гранитных слонов.

Таким образом, в течение первых шести тысячелетий, начиная с самой древней пагоды Индостана и до Кельнского собора, зодчество было величайшей книгой рода человеческого. Неоспоримость этого доказывается тем, что не только все религиозные символы, но и вообще всякая мысль человеческая имеет в этой необъятной книге свою страницу и свой памятник.

Каждая цивилизация начинается с теократии и заканчивается демократией. Этот закон последовательного перехода от единовластия к свободе запечатлен и в зодчестве. Ибо, и мы на этом настаиваем, строительное искусство отнюдь не ограничивается лишь возведением храмов, отображением мифов и священных символов, оно не только записывает иероглифами на

каменных своих страницах таинственные скрижали закона. Если бы это было так, то, поскольку для каждого человеческого общества наступает пора, когда священный символ под давлением свободной мысли изнашивается и стирается, когда человек ускользает от влияния священнослужителя, когда опухоль философских теорий и государственных систем разъедает лик религии, зодчество не могло бы воспроизвести это новое состояние человеческой души; его страницы, исписанные с одной стороны, были бы пусты на обороте, его творение было бы искалечено, его летопись была бы неполна. Между тем это не так.

Обратимся для примера к Средним векам, в которых мы можем легче разобраться, потому что они ближе к нам. Когда теократия в течение первого периода своего существования устанавливает свой порядок в Европе, когда Ватикан объединяет и заново группирует вокруг себя элементы того Рима, который возник из Рима старого, лежащего в развалинах вокруг Капитолия, когда христианство начинает отыскивать среди обломков древней цивилизации все ее общественные слои и воздвигает при помощи этих руин новый иерархический мир, краеугольным камнем которого является священство, тогда в

этом хаосе сперва возникает, а затем мало-помалу из-под мусора мертвого греческого и римского зодчества под дуновением христианства, под натиском варваров пробивается таинственное романское зодчество, родственное теократическим сооружениям Египта и Индии — эта неблекнущая эмблема чистого католицизма, этот неизменный иероглиф папского единства.

И действительно, мысль того времени целиком вписана в мрачный романский стиль. От него веет властностью, единством, непроницаемостью, абсолютизмом, иначе говоря — папой Григорием VII; во всем чувствуется влияние священника и ни в чем — человека; влияние касты, но не народа.

Но вот начинаются Крестовые походы. Это было мощное народное движение, а всякое великое народное движение, независимо от его причины и цели, всегда дает как бы отстой, из которого возникает дух свободолюбия. Начинают пробиваться ростки чего-то нового. И открывается бурный период «жакерии», «прагерий», «лиг». Власть расшатывается, единовластие раскалывается. Феодализм требует разделения власти с теократией в ожидании неизбежного появления народа, который, как это всегда бывает, возьмет

себе львиную долю. Quia nominor leo[73]. Из-под духовенства начинает пробиваться дворянство, из-под дворянства — городская община. Лик Европы изменился. И что же? Изменяется и облик зодчества. Оно, как и цивилизация, перевернуло страницу, и новый дух эпохи находит его готовым к тому, чтобы писать под свою диктовку. Из Крестовых походов оно вынесло стрельчатый свод, как народы — свободолюбие. И тогда вместе с постепенным распадом Рима умирает и романское зодчество. Иероглиф покидает собор и переходит в гербы на замковых башнях, чтобы придать престиж феодализму. Самый храм, это некогда столь верное догме сооружение, захваченное отныне средним сословием, городской общиной, свободой, ускользает из рук священника и поступает в распоряжение художника. Художник строит его по собственному вкусу. Прощайте, тайна, предание, закон! Да здравствует фантазия и каприз! Лишь бы священнослужитель имел свой храм и свой алтарь — ничего другого он и не требует. А стенами распоряжается художник.

Отныне книга зодчества не принадлежит больше духовенству, религии и Риму; она во

---

[73] Примечания: 73
Ибо именуюсь львом *(лат.)*.

власти фантазии, поэзии и народа. Отсюда стремительные и бесчисленные превращения этого имеющего всего триста лет от роду зодчества, — превращения, так поражающие нас после устойчивой неподвижности романской архитектуры, насчитывающей шесть или семь веков.

Между тем искусство движется вперед гигантскими шагами. Народный гений во всем своеобразии своего творчества выполняет ту задачу, которую до него выполняли епископы. Каждое поколение мимоходом заносит свою строку на страницу этой книги; оно соскребает древние романские иероглифы с церковных фасадов, и лишь с большим трудом удается различить под наново нанесенными символами кое-где пробивающуюся догму. Религиозный остов еле различим сквозь завесу народного творчества. Трудно вообразить, какие вольности разрешали себе зодчие даже тогда, когда дело касалось церквей. Вот витые капители в виде непристойно обнявшихся монахов и монахинь, как, например, в Каминном зале Дворца правосудия в Париже; вот история посрамления Ноя, высеченная резцом со всеми подробностями на главном портале собора в Бурже; вот пьяный монах с ослиными ушами, держащий чашу с вином и хохочущий

прямо в лицо всей братии, как на умывальнике в Бошервильском аббатстве. В ту эпоху мысль, высеченная на камне, пользовалась привилегией, сходной с нашей современной свободой печати. Это было время свободы зодчества.

Свобода эта заходила очень далеко. Порой символическое значение какого-нибудь фасада, портала и даже целого собора было не только чуждо, но даже враждебно религии и Церкви. Гильом Парижский в тринадцатом веке и Никола Фламель в пятнадцатом оставили несколько таких исполненных соблазна страниц. Церковь Сен-Жак-де-ла-Бушри в целом являлась воплощением духа оппозиции.

Будучи свободной лишь в области зодчества, мысль целиком высказывалась только в тех книгах, которые назывались зданиями. В этой форме она могла бы лицезреть собственное сожжение на костре от руки палача, если бы по неосторожности отважилась принять вид рукописи; мысль, воплощенная в церковном портале, присутствовала бы при казни мысли, воплощенной в книге. Вот почему, не имея иного пути, кроме зодчества, чтобы пробить себе дорогу, она и стремилась к нему отовсюду. Только этим и можно объяснить невероятное обилие храмов, покрывших всю

Европу, — количество их настолько необычайно, что, даже проверив его, с трудом можно себе его вообразить. Все материальные силы, все интеллектуальные силы общества сошлись в одной точке — в зодчестве. Таким образом, искусство, под предлогом возведения Божьих храмов, достигло великолепного развития.

В те времена каждый родившийся поэтом становился зодчим. Рассеянные в массах дарования, придавленные со всех сторон феодализмом, словно testudo[74] из бронзовых щитов, не видя иного исхода, кроме зодчества, открывали себе дорогу с помощью этого искусства, и их илиады выливались в форму соборов. Все прочие искусства повиновались зодчеству и подчинялись его требованиям. Они были рабочими, созидавшими великое творение. Архитектор — поэт — мастер в себе одном объединял скульптуру, покрывающую резьбой созданные им фасады, и живопись, расцвечивающую его витражи, и музыку, приводящую в движение колокола и гудящую в органных трубах. Даже бедная поэзия, подлинная поэзия, столь упорно прозябавшая в рукописях, вынуждена была под формой гимна или хорала

[74] Примечания: 74

Черепаха *(лат.)*; в военном искусстве римлян так называлась кровля из щитов, сомкнутых над головами.

заключить себя в оправу здания, чтоб приобрести хоть какое-нибудь значение, — другими словами, играть ту же роль, которую играли трагедии Эсхила в священных празднествах Греции или Книга Бытия в Соломоновом храме.

Итак, вплоть до Гутенберга зодчество было преобладающей формой письменности, общей для всех народов. Эта гранитная книга, начатая на Востоке, продолженная греческой и римской древностью, была дописана Средними веками. Впрочем, это явление смены кастового зодчества зодчеством народным, наблюдаемое нами в Средние века, повторялось при подобных же сдвигах человеческого сознания и в другие великие исторические эпохи.

Укажем здесь лишь в общих чертах этот закон, для подробного изложения которого потребовались бы целые томы. В Древнем Востоке, в этой колыбели первобытного человечества, на смену индусскому зодчеству приходит финикийское — плодовитая родоначальница арабского зодчества; в античные времена за египетским зодчеством, разновидностью которого были этрусский стиль и циклопические постройки, следует греческое зодчество, продолжением которого является римский стиль, но уже отяго-

щенный карфагенским куполообразным сводом, а в описываемое время на смену романскому зодчеству пришло зодчество готическое. И, расчленив на две группы эти три вида зодчества, мы найдем, что первая группа, три старшие сестры — зодчество индусское, зодчество египетское и зодчество романское — воплощают в себе один и тот же символ: теократии, касты, единовластия, догмата, мифа, божества. Что же касается второй группы, младших сестер — зодчества финикийского, зодчества греческого и зодчества готического, — то, при всем многообразии присущих им форм, все они также обозначают одно и то же: свободу, народ, человека.

В постройках индусских, египетских, романских ощущается влияние служителя религиозного культа и только его, будь это брамин, жрец или папа. Совсем другое в народном зодчестве. В нем больше роскоши и меньше святости. Так, в финикийском зодчестве чувствуешь купца; в греческом — республиканца; в готическом — горожанина.

Основные черты всякого теократического зодчества — это косность, ужас перед прогрессом, сохранение традиционных линий, канонизирование первоначальных образцов, неизменное

подчинение всех форм человеческого тела и всего, что создано природой, непостижимой прихоти символа. Это темные книги, разобрать которые в силах только посвященный. Впрочем, каждая форма, даже уродливая, таит в себе смысл, делающий ее неприкосновенной. Не требуйте от индусского, египетского или романского зодчества, чтобы они изменили свой рисунок или улучшили свои изваяния. Всякое усовершенствование для них — святотатство. Суровость догматов, застыв на камне созданных ею памятников, казалось, подвергла их вторичному окаменению. Напротив, характерные особенности построек народного зодчества — это разнообразие, прогресс, самобытность, пышность, непрестанное движение. Здания уже настолько отрешились от религии, что могут заботиться о своей красоте, лелеять ее и непрестанно облагораживать свой убор из арабесок или изваяний. Они от мира. Они таят в себе элемент человеческого, непрестанно примешиваемый ими к божественному символу, во имя которого они продолжают еще воздвигаться. Вот почему эти здания доступны каждой душе, каждому уму, каждому воображению. Они еще символичны, но уже доступны пониманию, как сама природа. Между зодчеством теократи-

ческим и народным то же различие, что между языком жрецов и разговорной речью, между иероглифом и искусством, между Соломоном и Фидием.

Если мы вкратце повторим то, что лишь в общих чертах, опуская тысячу доказательств и тысячу малозначащих возражений, мы говорили выше, то придем к следующему заключению. До XV столетия зодчество было главной летописью человечества; за этот промежуток времени во всем мире не возникало ни одной хоть сколько-нибудь сложной мысли, которая не выразила бы себя в здании; каждая общедоступная идея, как и каждый религиозный закон, имела свой памятник; все значительное, о чем размышлял род человеческий, он запечатлел в камне. А почему? Потому что всякая идея, будь то идея религиозная или философская, стремится увековечить себя; иначе говоря, всколыхнув одно поколение, она хочет всколыхнуть и другие и оставить по себе след. И как ненадежно это бессмертие, доверенное рукописи! А вот здание — это уже иная книга, прочная, долговечная и выносливая! Для уничтожения слова, написанного на бумаге, достаточно факела или варвара. Для разрушения слова, высеченного из камня, необходим общественный

переворот или возмущение стихий. Орды варваров пронеслись над Колизеем, волны потопа, быть может, бушевали над пирамидами.

В XV столетии все изменяется.

Человеческая мысль находит способ увековечить себя, обещающий не только более длительное и устойчивое существование, нежели зодчество, но также и более простой и легкий. Зодчество развенчано. Каменные буквы Орфея заменяются свинцовыми буквами Гутенберга.

КНИГА УБЬЕТ ЗДАНИЕ

Изобретение книгопечатания — это величайшее историческое событие. В нем зародыш всех революций. Оно является совершенно новым средством выражения человеческой мысли; мышление облекается в новую форму, отбросив старую. Это означает, что тот символический змий, который со времен Адама олицетворял разум, окончательно и бесповоротно сменил кожу.

В виде печатного слова мысль стала долговечной, как никогда: она крылата, неуловима, неистребима. Она сливается с воздухом. Во времена зодчества мысль превращалась в каменную громаду и властно завладевала определенным веком и определенным пространством. Ныне же

она превращается в стаю птиц, разлетающихся на все четыре стороны, и занимает все точки во времени и в пространстве.

Повторяем — нельзя не видеть, что мысль, таким образом, становится почти неизгладимой. Утратив прочность, она приобрела живучесть. Долговечность она сменяет на бессмертие. Разрушить можно любую массу, но как искоренить то, что вездесуще? Наступит потоп, исчезнут под водой горы, а птицы все еще будут летать, и пусть уцелеет хоть один ковчег, плывущий по бушующей стихии, птицы опустятся на него, уцелеют с ним, вместе с ним будут присутствовать при убыли воды, и новый мир, который возникнет из хаоса, пробуждаясь, увидит, как над ним парит крылатая и живая мысль мира затонувшего.

И когда убеждаешься в том, что этот способ выражения мысли является не только самым надежным, но и более простым, наиболее удобным, наиболее доступным для всех; когда думаешь о том, что он не связан с громоздкими приспособлениями и не требует тяжеловесных орудий; когда сравниваешь ту мысль, которая для воплощения в здание вынуждена была приводить в движение четыре или пять других искусств, целые тонны золота, целую гору камней, целые леса стропил,

целую армию рабочих, — когда сравниваешь ее с мыслью, принимающей форму книги, для чего достаточно иметь небольшое количество бумаги, чернила и перо, то можно ли удивляться тому, что человеческий разум предпочел книгопечатание зодчеству? Пересеките внезапно первоначальное русло реки каналом, прорытым ниже ее уровня, и река покинет старое русло.

Заметьте, как с момента изобретения печатного станка постепенно нищает, чахнет и увядает зодчество. Вы чувствуете, что вода в этом русле идет на убыль, что жизненных сил в нем не стало, что мысль веков и народов уклоняется от него! Это охлаждение к зодчеству в XV веке еще еле заметно, так как печатное слово не окрепло, и самое большее, на что оно способно, — это оттянуть у могучего зодчества лишь избыток его жизненных сил. Но уже с XVI столетия болезнь зодчества вполне очевидна; оно перестает быть главным выразителем основных идей общества; оно жалким образом ищет опоры в искусстве классическом. Галльское, европейское, самобытное — оно делается греческим и римским; правдивое и современное — оно становится ложноклассическим. Именно эту эпоху упадка именуют эпохой Возрождения. Упадок, впро-

чем, блистательный, ибо древний готический гений, это солнце, закатившееся за гигантский печатный станок Майнца, еще некоторое время пронизывает своими последними лучами смешанное нагромождение латинских аркад и коринфских колоннад.

И вот это заходящее солнце мы принимаем за утреннюю зарю.

Однако с той минуты, как зодчество сравнялось с другими искусствами, с той минуты, как оно перестало быть искусством всеобъемлющим, искусством господствующим, искусством тираническим, оно уже не в силах сдерживать развитие прочих искусств. И они освобождаются, разбивают ярмо зодчего и устремляются каждое в свою сторону. Каждое из них от этого расторжения связи выигрывает. Самостоятельность содействует росту. Резьба становится ваянием, роспись — живописью, литургия — музыкой. Это как бы расчленившаяся после смерти своего Александра империя, каждая провинция которой превратилась в отдельное государство.

Вот что породило Рафаэля, Микеланджело, Жана Гужона, Палестрину — этих светочей лучезарного XVI века.

Одновременно с искусством освобождается и

человеческая мысль. Ересиархи Средневековья пробили уже широкие бреши в католицизме. XVI век окончательно сокрушает единство Церкви. До книгопечатания реформация была бы лишь расколом; книгопечатание превратило ее в революцию. Уничтожьте печатный станок — и ересь обессилена. По предопределению ли свыше или по воле рока, но Гутенберг является предтечей Лютера.

Когда солнце Средневековья окончательно закатилось и гений готики навсегда померк на горизонте искусства, зодчество все более и более тускнеет, обесцвечивается и отступает в тень. Печатная книга, этот древоточец зданий, сосет его и гложет. Подобно дереву, оно оголяется, теряет листву и чахнет на глазах. Оно скудно, оно убого, оно — ничто. Оно уже больше ничего не выражает, даже воспоминаний об искусстве былых времен. Предоставленное собственным силам, покинутое остальными искусствами, ибо и мысль человеческая покинула его, оно призывает себе на помощь ремесленников, за недостатком мастеров. Витраж заменяется простым окном. За скульптором приходит каменотес. Прощайте, сила, своеобразие, жизненность, осмысленность! Словно жалкая попрошайка, влачит оно свое

существование при мастерских, пробавляясь копиями. Микеланджело, уже в XVI веке несомненно почуявший, что оно гибнет, был озарен последней идеей, идеей отчаяния. Этот титан искусства нагромождает Пантеон на Парфенон и создает собор Св. Петра в Риме. Это величайшее творение искусства, заслуживающее того, чтобы остаться неповторимым, последний самостоятельный образчик зодчества, последний росчерк колосса-художника на исполинском каменном списке, у которого нет продолжения. Микеланджело умирает, и что же делает это жалкое зодчество, пережившее само себя в виде какого-то призрака, тени? Оно принимается за собор Св. Петра в Риме, рабски воспроизводит его, подражает ему. Это превращается в манию и вызывает жалость. У каждого столетия есть свой собор Св. Петра: в XVII веке — это церковь Валь-де-Грас, в XVIII веке — церковь Св. Женевьевы. У каждой страны есть свой собор Св. Петра: у Лондона — свой, у Петербурга — свой. У Парижа их имеется даже два или три. Но все это — лишенное всякого значения завещание, последнее надоедливое бормотание одряхлевшего великого искусства, впадающего перед смертью в детство.

Если мы вместо тех отдельных характерных па-

мятников, о которых мы только что упоминали, исследуем общий облик этого искусства за время от XVI до XVIII века, то заметим те же признаки упадка и худосочия. Начиная с Франциска II архитектурная форма зданий все более сглаживается и из нее начинает выступать, подобно костям скелета на теле исхудавшего больного, форма геометрическая. Изящные линии художника уступают место холодным и неумолимым линиям геометра. Здание перестает быть зданием: оно не более как многогранник. И зодчество мучительно силится скрыть эту наготу. Вот греческий фронтон, который внедряется в римский, и наоборот. Это все тот же Пантеон в Парфеноне, все тот же собор Св. Петра в Риме. А вот кирпичные дома с каменными углами эпохи Генриха IV; вот Королевская площадь и площадь Дофина. Вот церкви эпохи Людовика XIII, тяжелые, приземистые, с плоскими сводами, неуклюжие, отягощенные куполами, словно горбами. Вот зодчество времен Мазарини, коллеж Четырех наций, скверная подделка под итальянцев. Вот дворцы Людовика XIV — длинные, суровые, холодные, скучные казармы, построенные для придворных. Вот, наконец, и эпоха Людовика XV с ее пучками цикория, червячками, бородавками и наростами,

обезображивающими древнее зодчество, ветхое, беззубое, но все еще кокетливое. От Франциска II и до Людовика XV недуг возрастает в геометрической прогрессии. От прежнего искусства остались лишь кожа да кости. Оно умирает жалкой смертью.

А что же тем временем сталось с книгопечатанием? В него вливаются все жизненные соки, иссякающие в зодчестве. По мере того как зодчество падает, книгопечатание разбухает и растет. Весь запас сил, который человеческая мысль расточала на возведение зданий, ныне затрачивается ею на создание книг. Так, начиная с XVI столетия печать, сравнявшись в уровне со слабеющим зодчеством, вступает с ним в единоборство и убивает его. В семнадцатом она уже настолько могущественна, настолько победоносна, настолько упрочила свою победу, что в силах задать миру празднество великого литературного века. В восемнадцатом, после долгого отдыха при дворе Людовика XIV, она вновь хватается за старый меч Лютера, вооружая им Вольтера, и шумно устремляется на приступ той самой Европы, архитектурную форму выражения которой она уже уничтожила. К концу XVIII века печать ниспровергла все старое. В XIX столетии она на-

чинает строить заново.

Итак, спросим себя теперь, которое же из двух искусств является за последние три столетия подлинным представителем человеческой мысли? Которое из них передает ее? Которое выражает не только ее литературные и схоластические увлечения, но и все ее движение во всей его широте, глубине и охвате? Которое из них неизменно, непрерывно, постоянно идет в ногу с движущимся вперед родом человеческим, этим тысяченогим чудовищем? Зодчество или книгопечатание? Конечно, книгопечатание.

Не следует заблуждаться: зодчество умерло, умерло безвозвратно. Оно убито печатной книгой; убито, ибо оно менее прочно; убито, ибо обходится дороже. Каждый собор — это миллиард. Представьте же себе теперь, какие понадобились бы громадные затраты, чтобы снова написать эту книгу зодчества; чтобы на земле вновь возникли тысячи зданий, чтобы вернуться к тому времени, когда количество архитектурных памятников было таково, что, по словам очевидца, «казалось, мир, отряхнувшись, сбросил с себя свои старые одежды и облекся в белые церковные ризы». Erat enim ut si mundus, ipse excutiendo semet, rejecta vetustate, candidam ecclesiarum vestem indueret.

(Glaber Radulphus.)

А книга создается так быстро, она так дешево стоит и ее так легко распространить! Неудивительно, что всякая человеческая мысль устремляется по этому склону! Это не значит, что зодчество не может создать то здесь, то там великолепные памятники, отдельные образцы искусства. Время от времени, даже при господстве книгопечатания, конечно, будут появляться колонны, воздвигнутые из сплава пушек при помощи целой армии, подобно тому как при господстве зодчества целый народ, собирая и сливая воедино отдельные отрывки, создавал илиады, романсеро, махабхараты и нибелунгов. Великая случайность может породить и в XX столетии гениального зодчего, подобно тому как она породила в XIII веке Данте. Но отныне зодчество более не будет искусством общественным, искусством коллективным, искусством преобладающим. Великая поэма, великое здание, великое творение человечества уже не будет строиться: оно будет печататься.

И впредь если зодчество случайно и воспрянет, то никогда уж оно не будет властелином. Оно подчинится правилам литературы, для которой некогда само их устанавливало. Взаимоотноше-

ния обоих искусств резко изменятся. Несомненно, в эпоху зодчества поэмы, правда малочисленные, походили на его же собственные творения. В Индии — поэмы Виаза сложны, своеобразны и непроницаемы, как пагода; на египетском Востоке — поэзии, как и зданиям, свойственны благородные и бесстрастные линии; в античной Греции — красота, ясность и спокойствие; в христианской Европе — величие католицизма, простодушие народа, богатый и пышный расцвет эпохи обновления. В Библии есть сходство с пирамидами, в Илиаде — с Парфеноном, в Гомере — с Фидием; Данте в XIII столетии — это последняя романская церковь; Шекспир в шестнадцатом — последний готический собор.

Итак, чтобы в немногих словах повторить самое существенное из всего того, о чем мы доселе по необходимости говорили неполно и бегло, мы скажем, что роду человеческому принадлежат две книги, две летописи, два завещания — зодчество и книгопечатание, библия каменная и библия бумажная. Бесспорно, когда сравниваешь эти две библии, так широко раскрытые в веках, то невольно сожалеешь о неоспоримом величии гранитного письма, об этом исполинском алфавите, принявшем форму колоннад, пилонов

и обелисков, об этом подобии гор, сложенных руками человека, покрывающих все лицо земли и охраняющих прошлое, — от пирамиды до колокольни, от времен Хеопса до даты создания Страсбургского собора. Следует перечитывать прошлое, записанное на этих каменных страницах. Надо неустанно перелистывать эту книгу, созданную зодчеством, и восхищаться ею, но не должно умалять величие здания, воздвигаемого, в свою очередь, книгопечатанием.

Это строение необозримо. Какой-то статистик вычислил, что если наложить одна на другую все книги, которые печатались со времен Гутенберга, то ими можно заполнить расстояние от Земли до Луны; но мы не намереваемся говорить о величии такого рода. И все же когда мы пытаемся мысленно представить себе общую картину того, что дало нам книгопечатание вплоть до наших дней, то разве не возникает перед нами вся совокупность его творений как исполинское здание, над которым неустанно трудится человечество и которое основанием своим опирается на весь земной шар, а чудовищной вершиной уходит в непроницаемый туман грядущего? Это какой-то муравейник умов. Это улей, куда золотистые пчелы воображения приносят свой мед.

В этом здании тысячи этажей. То тут, то там на их площадки выходят сумрачные пещеры науки, пересекающиеся в его недрах. Повсюду на наружной стороне здания искусство щедро разворачивает перед нашими глазами свои арабески, свои розетки, свою резьбу. Здесь каждое отдельное произведение, каким бы причудливым и обособленным оно ни казалось, занимает свое место, свой выступ. Здесь все источает гармонию. Начиная с собора Шекспира и кончая мечетью Байрона тысячи колоколенок громоздятся как попало в этой метрополии всемирной мысли. У самого подножия здания воспроизведены некоторые не запечатленные зодчеством древние грамоты человечества. Налево от входа вделан античный барельеф из белого мрамора — это Гомер; направо — многоязычная Библия возвышает свои семь голов. Дальше щетинится гидра Романсеро и некоторые другие смешанные формы, Веды и Нибелунги.

Впрочем, чудесное здание все еще остается незаконченным. Печать, этот гигантский механизм, безостановочно выкачивающий все умственные соки общества, неустанно извергает из своих недр новые строительные материалы для своего творения. Род человеческий — весь на

строительных лесах. Каждый ум — это каменщик. Самый смиренный из них заделывает поручаемую ему щель или кладет свой камень — даже Ретиф де ла Бретон тащит сюда свою корзину, полную строительного мусора. Ежедневно вырастает новый ряд каменной кладки. Независимо от отдельного, самостоятельного вклада каждого писателя, имеются и доли, вносимые сообща. Восемнадцатый век дал «Энциклопедию», эпоха революции создала «Монитёр».

Поистине печать — это тоже сооружение, растущее и взбирающееся ввысь бесконечными спиралями; в ней такое же смешение языков, беспрерывная деятельность, неутомимый труд, яростное соревнование всего человечества; в ней — обетованное убежище для мысли на случай нового всемирного потопа, нового нашествия варваров. Это вторая Вавилонская башня рода человеческого.

Книга шестая

I. Беспристрастный взгляд на старинную магистратуру

В 1482 году от Рождества Христова благородный Робер д'Эстутвиль, рыцарь сьёр де Бейн, барон д'Иври и Сент-Андри в Ла-Манш, советник и камергер короля, он же парижский прево, был вполне счастливым человеком. Прошло уже почти семнадцать лет с тех пор, как он 7 ноября 1465-го, то есть в самый год появления кометы[75], получил от короля эту славную должность, которая слыла скорее вотчиной, чем службой: dignitas, quae cum non exigua potestate politiam concernente, atque praerogativis multis et juribus conjuncta est[76], — говорит Иоанн Лемней. В 1482 году странно было видеть на королевской службе дворянина, назначение на должность которого относится ко времени бракосочетания побочной дочери короля Людовика XI с незаконнорожден-

[75] Примечания: 75

Это та самая комета, при появлении которой папа Каликст, дядя Борджиа, приказал служить молебствия и которая появилась вновь в 1835 году. *(Примеч. авт.)*

[76] Примечания: 76

Должность, которая соединена не только с государственной властью, но и с многими преимуществами и правами *(лат.)*.

ным сыном герцога Бурбонского. Когда Робер д'Эстутвиль заместил мессира Жака де Вилье в звании парижского прево, в тот же день мэтр Жеан Дове занял место Эли де Торета, первого председателя судебной палаты; Жеан Жувенель вытеснил из должности верховного судьи Франции Пьера де Морвилье, а Реньо де Дорман обманул все упования Пьера Пюи, мечтавшего о месте постоянного докладчика при королевском суде, заняв его сам. Вот сколько людей сменилось в званиях председателя, верховного судьи и докладчика, с тех пор как Робер д'Эстутвиль стал парижским прево!

Его должность была ему вручена «на хранение», так гласила королевская грамота. И точно, он зорко охранял ее. Он вцепился в нее, он врос в нее, он настолько отождествил себя с нею, что сумел устоять против той мании смен, которая владела Людовиком XI, этим недоверчивым, сварливым и деятельным королем, стремившимся при помощи частых назначений и смещений сохранить свободу своей власти. Мало того, славный рыцарь добился для сына наследования после него этой должности, и вот уже два года, как имя дворянина Жака д'Эстутвиля, кавалера, красуется рядом с именем отца во главе списка

постоянных членов парижского городского суда. Редкостная и безусловно необычная милость! Правда, Робер д'Эстутвиль был храбрым воином, он мужественно поднял рыцарское знамя против Лиги общественного блага и преподнес королеве в день ее вступления в Париж, в 14.. году, отменно великолепного сахарного оленя. К тому же он был в наилучших отношениях с мессиром Тристаном Отшельником, председателем королевского суда.

Сладостно и привольно протекала жизнь мессира Робера. Во-первых, он получал очень большое жалованье, к которому прибавлялись, точно лишние тяжелые гроздья в его винограднике, доходы с канцелярий при гражданских и уголовных судах всего судебного округа, затем доходы с гражданских и уголовных дел, разбирающихся в нижних судебных залах Шатле, не считая некоторых незначительных дорожных сборов с мостов Мант и Корбей, налогов со сборщиков винограда, меряльщиков дров и весовщиков соли.

Добавьте к этому удовольствие разъезжать по городу в сопровождении целой свиты общинных старост и квартальных надзирателей, одетых в платье наполовину красного, наполовину коричневого цвета, и красоваться среди них своим мундиром и шлемом, помятым в битве

при Монлери, изображения которых вы еще и доныне можете видеть на его гробнице в Вальмонтанском аббатстве в Нормандии. А кроме того, разве малое удовольствие иметь в полном подчинении городскую стражу, привратника и караул Шатле, двух членов суда Шатле, auditores Castelleti, шестнадцать комиссаров шестнадцати кварталов, тюремщика Шатле, четырех ленных сержантов, сто двадцать конных сержантов, сто двадцать сержантов-жезлоносцев, начальника ночного дозора со всеми его подчиненными? А разве пустяки — вершить правосудие, разрешать все гражданские и уголовные дела, иметь право привода, право выставлять к позорному столбу и вешать, не считая права разбирательства мелких дел в первой инстанции (in prima instantia, как сказано в хартиях) в этом парижском виконтстве, которому столь почетно пожаловали семь дворянских судебных округов? Можно ли вообразить себе что-нибудь более приятное, чем чинить суд и расправу, как это ежедневно делал мессир д'Эстутвиль, заседая в Гран-Шатле под сенью широких и приземистых сводов эпохи Филиппа Августа? А какое удовольствие возвращаться ежевечерне в свой очаровательный домик на Галилейской улице, за оградой королевского

дворца, полученный им в приданое за женой, г-жой Амбруазой де Лоре, и отдыхать там от трудов, состоявших в том, что он обрекал какого-нибудь горемыку на ночевку в «маленькой хижинке на Живодерной улице, которой судьи и общинные старосты Парижа обычно пользовались как тюрьмой, а таковая имела одиннадцать футов в длину, семь футов четыре дюйма в ширину и одиннадцать футов в вышину»![77]

Мессир Робер д'Эстутвиль властвовал не только в судебном ведомстве по праву прево и виконта парижского, но запускал глаза и зубы в дела верховного королевского суда. Не было ни одного сколько-нибудь высокопоставленного лица, которое, прежде чем достаться палачу, не прошло бы через его руки. Это он отправился за герцогом Немурским в Бастилию к Сент-Антуанскому предместью, чтобы доставить его оттуда на площадь Главного рынка, и за г-ном де Сен-Полем, чтобы доставить его на Гревскую площадь, причем последний кричал и отбивался, к великому удовольствию господина прево, который недолюбливал господина коннетабля.

Всего этого, конечно, было более чем достаточ-

---

[77] Примечания: 77

Отчеты по управлению государственным имуществом, 1383 год. *(Примеч. авт.)*

но, чтобы сделать жизнь человека счастливой и блистательной и чтобы впоследствии обеспечить ему знаменательную страничку в той любопытной истории парижских прево, из которой можно узнать, что Ударда де Вильнев имел собственный дом на Мясницкой улице, что Гильом де Ангаст купил Большую и Малую Савойю, что Гильом Тибу завещал монахиням общины Святой Женевьевы свои дома на улице Клопен, что Гюг Обрио проживал в гостинице Дикобраза, и много других бытовых подробностей.

Однако, несмотря на то что мессир Робер д'Эстутвиль имел все основания относиться к жизни спокойно и радостно, он проснулся в утро 7 января 1482 года в очень угрюмом расположении духа. Откуда взялось это настроение, он и сам не сумел бы сказать. Потому ли, что пасмурно было небо? Потому ли, что пряжка его старой портупеи времен Монлери плохо была застегнута, слишком туго, по-военному, стягивая его дородную, как у всех прево, фигуру? Потому ли, что мимо его окон прошли выказавшие ему неуважение гуляки, шествовавшие по четыре в ряд, в одних куртках без рубашек, с продырявленными шляпами, с котомками и фляжками у пояса? А может статься, его томило смутное предчувствие того,

что будущий король Карл VIII должен будет в следующем году урезать доходы парижского прево на триста семьдесят ливров шестнадцать солей и восемь денье? Пускай читатель решит это сам; мы же склонны думать, что он был не в духе просто потому, что был не в духе.

Впрочем, сегодня, после вчерашнего праздника, был скучный день для всех, а в особенности для чиновника, обязанного убирать все нечистоты как в переносном, так и в буквальном смысле, оставляемые всяким празднеством в Париже. Кроме того, ему предстояло заседать в Гран-Шатле, а мы заметили, что обычно судьи всегда подгоняют свое дурное расположение духа к дням судебных заседаний, чтобы всегда иметь кого-нибудь под рукой, на ком можно было бы безнаказанно сорвать сердце именем короля, закона и правосудия.

Между тем заседание началось без него. Его заменяли помощники по уголовным, гражданским и частным делам. Уже с восьми часов утра несколько десятков горожан и горожанок, скученных и стиснутых в темном углу между крепкой дубовой перегородкой и стеною нижнего зала заседаний Шатле, разинув рты от изумления, присутствовали при разнообразном и развле-

кательном зрелище гражданского и уголовного правосудия, чинимого вперемежку, как придется, мэтром Флорианом Барбедьеном — младшим судьей Шатле и помощником господина прево.

Зал был небольшой, низкий и сводчатый. В глубине его стоял украшенный изображениями королевских гербов стол с громадным креслом резного дуба, предназначенным для прево и в данное время не занятым, а влево от него — скамья для младшего судьи, мэтра Флориана. Несколько ниже сидел что-то строчащий протоколист; напротив — толпа; а перед дверью и перед столом — множество судейских в лиловых камлотовых полукафтаньях с белыми крестами на груди. Два сержанта городского совета общинных старост, одетые в наполовину красные, наполовину голубые стеганые камзолы, стояли на часах у низкой затворенной двери, видневшейся в глубине зала, позади стола. Единственное узкое стрельчатое окно, прорезанное в толстой стене, тусклым светом январского дня освещало две забавные фигуры: причудливого каменного демона, который свисал из самого центра свода, и судью, который восседал в глубине зала среди королевских лилий, украшавших его стол.

Вообразите себе фигуру, склонившуюся, тяжело

опираясь на локти, над судейским столом, между двух связок судебных дел, с шлейфом гладкого коричневого одеяния под ногами, с багровым бугристым лицом, утонувшим в белом барашковом воротнике, два клочка которого, казалось, заменяли на нем брови; вообразите моргающие глаза, величественно свисающие толстые щеки, которые как бы встречались под подбородком, — и перед вами мэтр Флориан Барбедьен, младший судья Шатле.

Прибавьте к этому, что он был глух. Порок для судьи, впрочем, малосущественный. Это не мешало мэтру Флориану выносить весьма определенные и безапелляционные решения. Ведь судье достаточно только делать вид, будто он слушает, а почтенный законник вполне удовлетворял этому условию каждого нелицеприятного суда, так как внимание его не нарушалось никаким посторонним шумом.

Однако в зале суда присутствовал один наблюдатель, который безжалостно высмеивал все его поступки и жесты. Это был наш друг Жеан Мельник, вчера еще школяр, «шныряла», которого во всякое время можно было встретить в любом уголке Парижа, но только не перед профессорской кафедрой.

— Смотри, — шепотом обратился он к своему спутнику Робену Пуспену, ухмылявшемуся на его комментарии по поводу всего, что происходило у них перед глазами, — вот Жанета де Бюисон, хорошенькая дочка лежебоки с Нового рынка! Клянусь душой, он ее осудил, этот старикашка! Да он, кажется, не только оглох, но и ослеп. Пятнадцать солей четыре парижских денье штрафа за то, что она нацепила на себя пару четок! Дороговато! Lex duri carminis[78]. А это кто такой? А! Робен Шьеф де Виль, кольчужный мастер. «По случаю получения им звания мастера и принятия его в вышеозначенный цех». Это он платит свой вступительный взнос! Что это?! Два дворянина среди этих бездельников! Эгле де Суан и Ютен де Мальи! Два кавалера, клянусь телом Христовым! А, вот оно что! Они попались за игрой в кости! Когда же я увижу здесь нашего ректора? Сто парижских ливров штрафа в пользу короля! Этот Барбедьен лупит здорово! Впрочем, так и подобает глухому. Пусть я превращусь в моего братца-архидьякона, если это может мне помешать играть; играть днем, играть ночью, жить за игрой, умереть за игрой и, проиграв последнюю рубашку, поставить

---

[78] Примечания: 78
Закон сурового содержания *(лат.)*.

на карту душу! Пречистая Дева, а девок-то, девок! Так и идут, овечки мои, одна за другой! Амбруаза Лекюйер, Изабо ла Пейнет, Берарда Жиронен! Ей-богу, всех знаю! Штраф! Штраф! То-то, сейчас вам покажут, как красоваться в золоченых кушаках! Десять парижских солей, щеголихи! Ах ты, старая судейская морда, глухарь полоумный! Ах ты, Флориан, пентюх! Ах ты, Барбедьен, невежа! Ишь как расселся у стола! Он жрет истцов, жрет дела, он жрет, он жует, он давится, он до отказу набивает себе брюхо. Штрафы, доход от бесхозяйственного имущества, налоги, пени, судебные издержки, вознаграждение, протори и убытки, пытка, тюрьма и темница, кандалы с взысканием издержек — все это для него святочные пряники и марципаны Иванова дня! Погляди-ка на этого борова! Ого, еще одна жрица любви! Не более и не менее как сама Тибо ла Тибод. Попалась за то, что вышла за пределы улицы Глатиньи! А это что за парень? Жифруа Мабон, конник стрелковой команды. Он всуе поминал Господа Бога. Оштрафовать ла Тибод! Оштрафовать Жифруа! Оштрафовать обоих! Старый глухарь! Он, должно быть, перепутал эти дела! Ставлю десять против одного, что девицу он заставит платить за божбу, а конника за любовь! Внимание, Робен Пуспен!

Кого это они ведут? Смотри, сколько стражи! Клянусь Юпитером, тут вся свора гончих! Видимо, поймали красного зверя. Вроде кабана! Кабан, Робен, как есть кабан! Да еще какой матерый! Клянусь Геркулесом, это же наш вчерашний владыка, наш папа шутов, наш звонарь, наш кривой, наш горбун, наш гримасник! Это же Квазимодо!

Действительно, это был он.

Это был Квазимодо, связанный, скрученный, в путах и оковах, под сильным конвоем. Окружавшую его стражу возглавлял сам начальник ночного дозора, грудь которого была украшена вышитым гербом Франции, а спина — гербом Парижа. Впрочем, в самом Квазимодо не было ничего, за исключением его уродства, что оправдывало бы весь этот набор алебард и аркебуз. Он был мрачен, молчалив и спокоен. Лишь изредка его единственный глаз бросал гневный и угрюмый взгляд на сковывающие его путы.

Он осмотрелся кругом, и его взгляд стал таким безжизненным и сонным, что женщины указывали на звонаря пальцем, только чтобы посмеяться над ним.

Тем временем мэтр Флориан, младший судья, внимательно перелистывал поданное ему протоколистом дело, возбужденное против Квазимодо;

бегло просмотрев его, он помолчал, как бы собираясь с мыслями. Благодаря этой предосторожности, к которой он неизменно прибегал, прежде чем приступить к допросу, он всегда заранее знал имя, звание, проступок подсудимого, готовил наперед возражения на предполагаемые ответы и, таким образом, благополучно выпутывался изо всех затруднений допроса, не слишком обнаруживая свою глухоту. Документы, приложенные к делу, были для него тем же, чем собака-поводырь для слепого. Если ему порой и случалось благодаря неуместному замечанию или бессмысленному вопросу обнаружить свой недостаток, то у одних это сходило за глубокомыслие, а у других — за глупость; но и в том, и в другом случае честь суда никак не была затронута, ибо лучше судье слыть глубокомысленным или глупым, нежели глухим. Поэтому он тщательно скрывал свою глухоту и большей частью настолько успевал в этом, что под конец сам себя вводил в заблуждение, что, впрочем, делается гораздо легче, чем думают. Все горбатые ходят с высоко поднятой головой, все заики ораторствуют, все глухие говорят шепотом. Что же касается мэтра Флориана, то он считал себя всего лишь туговатым на ухо. Это была та единственная уступка, которую он делал

общественному мнению, и то лишь в минуты откровенности и трезвой оценки собственной личности.

Итак, прожевав как следует дело Квазимодо, он откинул голову назад и полузакрыл глаза, чтобы придать себе более величественный и более беспристрастный вид. Таким образом, он оказался глухим и слепым одновременно. Вот условие, необходимое для того, чтобы быть образцовым судьей. Приняв эту величественную позу, он приступил к допросу:

— Ваше имя?

Но здесь возник казус, не «предусмотренный законом»: глухой допрашивал глухого.

Никем не предупрежденный о том, что к нему обращаются с вопросом, Квазимодо продолжал пристально глядеть на судью и молчал. Глухой судья, никем не предупрежденный о глухоте обвиняемого, подумал, что тот ответил, как обычно отвечают все обвиняемые, и продолжал вести допрос с присущей ему дурацкой самоуверенностью.

— Прекрасно. Ваш возраст?

Квазимодо и на этот вопрос не ответил. Судья, убежденный в том, что получил ответ, продолжал:

— Так. А ваше звание?

Все то же молчание. А между тем слушатели начали перешептываться и переглядываться.

— Достаточно, — проговорил невозмутимый вершитель правосудия, предполагая, что обвиняемый ответил и на третий вопрос. — Вы обвиняетесь: primo[79], в нарушении ночной тишины; secundo[80], в насильственных и непристойных действиях по отношению к женщине легкого поведения, in praejudicium meretricis[81], tertio[82], в бунте и неподчинении стрелкам, состоящим на службе короля, нашего повелителя. Выскажитесь по всем этим пунктам. Протоколист, вы записали все предыдущие ответы подсудимого?

При этом злополучном вопросе по всему залу, начиная со скамьи протоколиста, раздался такой неистовый, такой безумный, такой заразительный, такой дружный хохот, что даже и глухой судья, и глухой подсудимый поневоле заметили

---

[79] Примечания: 79
Во-первых *(лат.)*.

[80] Примечания: 80
Во-вторых *(лат.)*.

[81] Примечания: 81
Предположительно блудницы *(лат.)*.

[82] Примечания: 82
В-третьих *(лат.)*.

это. Квазимодо оглянулся, презрительно поводя своим горбом; между тем мэтр Флориан, не менее удивленный, чем он, возымел предположение, что смех слушателей был вызван каким-нибудь непочтительным ответом обвиняемого; презрительное движение плеч Квазимодо утвердило его в этой мысли, и он с возмущением накинулся на него:

— Негодяй! Подобный ответ заслуживает виселицы! Знаете ли вы, с кем говорите?

Этот выпад только увеличил приступ всеобщего веселья. Он показался всем до того неожиданным и до того несуразным, что бешеный хохот заразил даже и сержантов городского совета общинных старост — эту породу копьеносцев, тупоумие которых было как бы необходимой принадлежностью их мундира. Один лишь Квазимодо по той простой причине, что не мог ничего понять из всего происходившего, сохранял невозмутимую серьезность. Судья, раздражаясь все сильнее и сильнее, решил продолжать в том же тоне, надеясь нагнать страх на подсудимого и этим способом косвенно воздействовать на слушателей, напомнив им о должном уважении к суду.

— Ах ты, разбойник, чудовище извращенности, так ты еще издеваешься над судьей Шатле, над

сановником, коему вверена охрана порядка в Париже, над тем, на кого возложена обязанность расследовать преступления, карать за проступки и распутство, иметь надзор за всеми промыслами и не допускать никаких монополий, содержать в порядке мостовые, пресекать торговлю вразнос домашней и водяной птицей и дичью, следить за правильной мерою дров и других лесных материалов, очищать город от нечистот, а воздух — от заразных заболеваний — одним словом, неусыпно заботиться о народном благе, и все это безвозмездно, не рассчитывая на вознаграждение! Известно ли тебе, что мое имя — Флориан Барбедьен, что именно я являюсь заместителем господина прево и, кроме того, комиссаром, следователем, контролером и допросчиком и что я одинаково пользуюсь влиянием как в суде парижском, так и областном, и в делах надзора и в судах первой инстанции?

Нет причины, которая заставила бы замолчать глухого, говорящего с другим глухим. Бог весть, где и когда достиг бы берега мэтр Флориан, пустившийся на всех парусах в океан высокого красноречия, если бы в эту минуту низкая дверь, находившаяся в глубине комнаты, внезапно не распахнулась, пропуская самого господина

прево.

При его появлении мэтр Флориан не запнулся, но, сделав полуоборот на каблуках, сразу обратил свою речь, которою он за минуту перед тем грозил Квазимодо, к господину прево.

— Монсеньор, — сказал он, — я требую по отношению к присутствующему здесь подсудимому того наказания, какое вам будет угодно назначить за нанесенное им тяжелое и неслыханное оскорбление суду.

И, запыхавшись, он снова уселся на свое место, отирая крупные капли пота, скатывавшиеся со лба и увлажнявшие, подобно слезам, разложенные перед ним на столе бумаги. Мессир Робер д'Эстутвиль нахмурил брови и сделал такой величественный, многозначительный и призывающий к вниманию жест, что глухой начал кое-что соображать.

— Отвечай, негодяй, — строго обратился к нему прево, — какое преступление привело тебя сюда?

Бедняга, полагая, что прево спрашивает, как его имя, нарушил свое обычное молчание и ответил гортанным и хриплым голосом:

— Квазимодо.

Ответ до того мало соответствовал вопросу, что

снова поднялся безумный хохот, а мессир Робер, побагровев от гнева, закричал:

— Да ты что, и надо мной тоже потешаешься, мерзавец ты этакий!

— Звонарь Собора Парижской Богоматери, — ответил Квазимодо, думая, что ему надлежит объяснить судье род своих занятий.

— Звонарь! — продолжал судья, который, как мы упоминали выше, проснулся в это утро в таком скверном расположении духа, что и без таких странных ответов подсудимого готов был распалиться гневом. — Звонарь! Вот я тебе задам трезвону прутьями по спине! Слышишь ты, негодяй?

— Если вы спрашиваете меня о моем возрасте, — сказал Квазимодо, — то, кажется, в день святого Мартина мне исполнится двадцать лет.

Это было уже слишком; прево вышел из себя.

— А! Ты измываешься и над прево! Господа сержанты-жезлоносцы, отведите этого мошенника к позорному столбу на Гревской площади, отстегайте его и покружите-ка его часок на колесе. Клянусь Господом Богом, он мне дорого заплатит за свою дерзость! Я требую, чтобы о настоящем приговоре были оповещены с помощью четырех глашатаев все семь округов парижского

виконтства.

Протоколист тотчас же принялся составлять судебный приговор.

— Клянусь Господним брюхом! Вот так правильно рассудил! — крикнул из своего угла школяр Жеан Фролло Мельник.

Прево обернулся и вновь устремил на Квазимодо свой сверкающий взгляд.

— Мне послышалось, что этот пройдоха помянул Господне брюхо? Протоколист, добавьте к приговору еще штраф в двенадцать парижских денье за богохульство, и пускай половина этого штрафа будет отдана церкви Святого Евстафия. Перед этим святым я испытываю особое благоговение.

В несколько минут приговор был готов. Содержание его было несложно и кратко. Старое обычное право, лежавшее в основе судопроизводства прево и парижского виконтства, не было еще в те времена усовершенствовано председателем суда Тибо Балье и Роже Барном, королевским прокурором. Высокоствольный лес крючкотворства и формальностей, насажденный в начале XVI века этими двумя законниками, еще не загромождал его. Все в этом праве было ясно, недвусмысленно и быстро выполнимо. Тогда шли прямо к цели и

сейчас же, в конце каждой тропинки, лишенной поворотов и зарослей кустарника, видели колесование, позорный столб или виселицу. По крайней мере, каждый знал, что его ждет впереди.

Протоколист подал постановление суда господину прево, и тот, приложив к нему свою печать, вышел, продолжая свой обход по залам судебных заседаний, в таком расположении духа, при котором следовало ожидать, что все тюрьмы Парижа окажутся в этот день переполненными. Жеан Фролло и Робен Пуспен смеялись втихомолку. Квазимодо на все происходившее глядел равнодушно и удивленно.

В то время как мэтр Флориан Барбедьен перечитывал приговор суда, чтобы скрепить его еще и своей подписью, протоколист, почувствовав сострадание к осужденному и в надежде добиться некоторого смягчения наказания, наклонился к самому уху судьи и, указывая на Квазимодо, проговорил:

— Этот человек глух.

Он полагал, что общность физического недостатка расположит мэтра Флориана в пользу осужденного. Но, как мы уже заметили, мэтр Флориан не желал, чтобы замечали его глухоту, а кроме того, он был настолько туг на ухо, что не

услышал ни звука из того, что сказал ему протоколист; однако он хотел показать, что слышит, и ответил:

— Ах вот как? Это меняет дело; этого я не знал. В таком случае прибавьте ему еще один час наказания у позорного столба.

И он подписал исправленный таким образом приговор.

— Так ему и надо, — проговорил Робен Пуспен, имевший зуб против Квазимодо, — это научит его поучтивее обходиться с людьми.

II. Крысиная нора

Да позволит нам читатель вновь привести его на Гревскую площадь, которую мы покинули накануне, с тем чтобы вместе с Гренгуаром последовать за Эсмеральдой.

Десять часов утра. Все кругом еще напоминает о вчерашнем празднике. Мостовая усеяна осколками, лентами, тряпками, перьями от султанов, каплями воска от факелов, объедками от народного пиршества. Там и сям довольно многочисленные группы праздношатающихся горожан ворошат ногами потухшие головни праздничных костров или, остановившись перед Домом с колоннами, с восторгом вспоминают украшавшие его вчера великолепные драпировки, ныне взирая лишь на гвозди, — последнее оставшееся им развлечение. Среди толпы катят свои бочонки продавцы сидра и браги и деловито снуют взад и вперед прохожие. Стоя в дверях лавок, болтают и перекликаются торговцы. У всех на устах вчерашнее празднество, папа шутов, фламандское посольство, Копеноль; все наперебой сплетничают и смеются.

А между тем четыре конных сержанта, ставшие

с четырех сторон позорного столба, уже успели привлечь к себе внимание довольно значительного количества шалопаев, толпящихся на площади и скучающих в надежде увидеть хоть какое-нибудь публичное наказание.

Теперь, если читатель, насмотревшись на эти оживленные и шумные сцены, которые разыгрываются во всех уголках площади, взглянет на древнее, полуготическое, полуроманское здание Роландовой башни, образующее на западной стороне площади угол с набережной, то в конце его фасада он заметит толстый, богато раскрашенный общественный требник, защищенный от дождя небольшим навесом, а от воров — решеткой, не препятствующей, однако, его перелистывать. Рядом с этим требником он увидит выходящее на площадь узкое слуховое стрельчатое оконце, перегороженное двумя положенными крест-накрест железными полосами; это единственное отверстие, сквозь которое проникает немного света и воздуха в тесную, лишенную дверей келью, устроенную в толще стены старого здания на уровне мостовой; царящая в ней мрачная тишина кажется особенно глубокой еще и потому, что рядом кипит и грохочет самая людная и шумная площадь Парижа.

Келья эта получила известность около трехсот лет назад, с тех пор как г-жа Роланд, владелица Роландовой башни, в знак скорби по отцу, погибшему в Крестовых походах, приказала выдолбить ее в стене собственного дома и навеки заключила себя в эту темницу, отдав все свое богатство нищим и Богу, не оставив себе ничего, кроме этой конуры с замурованной дверью, с всегда раскрытым летом и зимою маленьким оконцем. Двадцать лет неутешная девица ждала смерти в этой преждевременной могиле, молясь денно и нощно о спасении души своего отца, почивая на куче золы, не имея даже камня под головою, облаченная в черное вретище; она питалась хлебом и водой, которые сердобольные прохожие оставляли на выступе ее окна, — так вкушала она от того милосердия, которое ранее сама оказывала. В смертный свой час, прежде чем перейти в вечную могилу, она завещала свою временную усыпальницу тем скорбящим женщинам, матерям, вдовам или дочерям, которые пожелают, предавшись великой скорби или великому раскаянию, схоронить себя заживо в этой келье, чтобы молиться за себя или за других.

Парижская беднота устроила ей пышные похороны, богатые слезами и благословениями; но, к

величайшему прискорбию всех ее приверженцев, богобоязненная девица не была сопричислена к лику святых за неимением необходимого покровительства. Менее благочестивые надеялись, что это дело пройдет в раю глаже, чем в Риме, и просто молились за покойницу, которой папа не воздал должного. Большинство же верующих удовлетворялись тем, что свято чтили память г-жи Роланд и как святыню берегли кусочки ее лохмотьев. Город, в свою очередь, в память знатной девицы прикрепил рядом с оконцем ее кельи общественный требник, дабы прохожие могли останавливаться около него и помолиться, дабы молитва наводила их на мысль о милосердии и дабы бедные затворницы, наследницы г-жи Роланд, не погибали от голода, позабытые всеми.

В городах Средневековья подобного рода гробницы встречались нередко. Даже на самых людных улицах, на самом оглушительном и пестром рынке, в самой его середине, чуть ли не под копытами лошадей и колесами повозок, можно было наткнуться на нечто вроде погреба, колодца или же на замурованную, зарешеченную конуру, в глубине которой днем и ночью возносило молитвы человеческое существо, добровольно обрекшее себя на вечные стенания, на тяжкое

покаяние.

Но людям того времени были не свойственны все те размышления, которые вызвало бы в нас ныне это странное зрелище. Эта жуткая келья, представлявшая собой как бы промежуточное звено между домом и могилой, между кладбищем и городом; это живое существо, отрешенное от человеческого общества и считающееся мертвецом; этот светильник, снедающий во мраке свою последнюю каплю масла; этот теплящийся в могиле огонек жизни; это дыхание, этот голос, это извечное моление из глубины каменного мешка; этот лик, навек обращенный к иному миру; это око, уже осиянное иным солнцем; это ухо, приникшее к могильной стене; эта душа — узница тела, это тело — узник этой темницы, и под этой двойной, телесной и гранитной, оболочкой — приглушенный ропот страждущей души — ничто из всего этого не постигалось толпой. Нерассуждающее и грубое благочестие той эпохи проще относилось к религиозному подвигу. Люди воспринимали факт в целом, уважали, чтили, временами даже преклонялись перед подвигом самоотречения, но не вдумывались глубоко в страдания, сопряженные с ним, и не слишком им сочувствовали. Время от времени они приносили кое-какую

пищу несчастному мученику и заглядывали к нему в окошечко, чтобы убедиться, что он еще жив, не ведая его имени и едва ли зная, как давно началось его умирание. А соседи, вопрошаемые приезжим об этом живом, гниющем в погребе скелете, просто отвечали: «Это затворник» — если то был мужчина или «Это затворница» — если то была женщина.

В те времена на все явления жизни смотрели подобным же образом: без метафизики, трезво, без увеличительного стекла, невооруженным глазом. Микроскоп в ту пору еще не был изобретен ни для явлений мира физического, ни для явлений мира духовного.

Вот почему случаи подобного добровольного затворничества в самом сердце города не вызывали удивления и, как мы только что упоминали, встречались довольно часто. В Париже насчитывалось немало таких келий для молитвы и покаяния, и почти все они были заняты. Правда, само духовенство радело о том, чтобы они не пустовали, — это служило бы признаком оскудения веры; и если не было кающегося, в них заточали прокаженного. Кроме этой келейки на Гревской площади существовала еще одна в Монфоконе, другая — на кладбище Невинных, еще одна — уже

не помню где, кажется, в стене жилища Клишон; сверх того — множество рассеянных в разных местах города других убежищ, след которых можно отыскать лишь в преданиях, так как самих убежищ уже более не существует. На Университетской стороне тоже была такая келья. А на горе Святой Женевьевы какой-то средневековый Иов в течение тридцати лет читал нараспев семь покаянных псалмов, сидя на гноище в глубине водоема; окончив последний псалом, он снова принимался за первый, по ночам распевая громче, чем днем, magna voce per umbras[83]. И поныне еще любителю древностей, сворачивающему на улицу Говорящего колодца, мерещится этот голос.

Что же касается кельи Роландовой башни, то мы должны заметить, что у нее никогда не было недостатка в затворницах. После смерти г-жи Роланд она редко пустовала больше года или двух. Немалое число женщин до самой своей смерти оплакивали в ней — кто родителей, кто любовников, кто прегрешения. Злоязычные парижане, любящие совать нос не в свое дело, утверждают, что вдов там видели мало.

---

[83] Примечания: 83
Громким голосом во мраке *(лат.)*.

По обычаю того времени, латинская надпись, начертанная на стене, предупреждала грамотного прохожего о благочестивом назначении этой кельи. Вплоть до середины XVI века сохранилось обыкновение разъяснять смысл здания кратким изречением, написанным над входной дверью. Так, например, во Франции над тюремной калиткой в феодальном замке Турвиль мы читаем слова: *«Sileto et spera»*[84]; в Ирландии, под гербом, увенчивающим главные ворота замка Фортескью: *«Forte scutum salus ducum»*[85], в Англии, над главным входом гостеприимного загородного дома графов Коуперов: *«Tuum est»*[86]. Ибо в те времена каждое здание выражало собою мысль.

Так как в замурованной келье Роландовой башни дверей не было, то над ее окном вырезали крупными романскими буквами два слова:

TU, ORA![87]

Народ, здравый смысл которого не видит нуж-

---

[84] Примечания: 84
«Молчи и надейся» *(лат.)*.

[85] Примечания: 85
«Крепкий щит — спасение вождей» *(лат.)*.

[86] Примечания: 86
«Это твое» *(лат.)*.

[87] Примечания: 87
Ты, молись! *(лат.)*

ды разбираться во всяких тонкостях и охотно переделывает арку Ludovico Magno[88] в «Ворота Сен-Дени», прозвал эту черную, мрачную и сырую дыру «Крысиная нора»[89]. Название менее возвышенное, но зато более образное.

[88] Примечания: 88

Людовику Великому *(лат.)* — надпись на триумфальной арке, воздвигнутой в Париже на бульваре Сен-Дени в память о победах Людовика XIV над Фландрией и Франш-Конте.

[89] Примечания: 89

Французское *«Trou aux Rats»* (Крысиная нора) созвучно с латинским *«Tu, ora»*.

III. Рассказ о маисовой лепешке

В ту пору, когда происходили описываемые события, келья Роландовой башни была занята. Ежели читателю угодно знать, кем именно, то ему достаточно будет только прислушаться к болтовне трех почтенных кумушек, которые в тот самый миг, когда мы остановили его внимание на Крысиной норе, направлялись в ее сторону, поднимаясь вдоль набережной от Шатле к Гревской площади.

Две из этих женщин были одеты так, как пристало одеваться почтенным парижским горожанкам. Их тонкие белые шейные косынки, юбки из грубого сукна в синюю и красную полоску, белые нитяные, туго натянутые чулки с вышитыми цветной ниткой стрелками, квадратные башмаки из желтой кожи с черными подошвами и в особенности их головные уборы — род расшитого мишурного рога, увешанного лентами и кружевами, которые еще и ныне носят крестьянки Шампани, соревнуясь в этом с гренадерами русской императорской лейб-гвардии, — свидетельствовали об их принадлежности к классу зажиточных купчих, представляющих

нечто среднее между теми, кого лакеи называют просто «женщиной», и теми, кого они называют «дамой». На них не было ни колец, ни золотых крестиков, но легко было понять, что это не от бедности, а просто из боязни штрафа. Их спутница была одета приблизительно так же, как и они, но в ее одежде и во всех ее повадках было нечто такое, что изобличало в ней жену провинциального нотариуса. Уже по одному тому, как высоко она носила кушак, видно было, что она лишь недавно приехала в Париж. Прибавьте к этому шейную косынку в складках, банты из лент на башмаках, полосы юбки, идущие в ширину, а не вдоль, и тысячи других погрешностей против хорошего вкуса.

Первые две женщины шли той особой поступью, которая свойственна парижанкам, показывающим Париж провинциалке. Провинциалка держала за руку толстого мальчугана, который, в свою очередь, держал в руке толстую лепешку. К нашему прискорбию, мы вынуждены присовокупить, что стужа заставляла его пользоваться языком вместо носового платка.

Ребенка приходилось тащить за собой non

passibus aequis[90], как говорит Вергилий, и он на каждом шагу спотыкался, вызывая окрики матери. Правда и то, что он чаще смотрел на лепешку, чем себе под ноги. Несомненно, лишь весьма уважительная причина мешала ему откусить кусочек, и он довольствовался тем, что нежно взирал на нее. Но матери следовало бы взять на собственное попечение лепешку — жестоко было подвергать толстощекого карапуза танталовым мукам.

Все три «дамуазель» (ибо «дамами» в то время называли лишь женщин знатного происхождения) болтали наперебой.

— Поторопимся, дамуазель Майета, — говорила, обращаясь к провинциалке, самая младшая и самая толстая из них. — Я очень боюсь, как бы нам не опоздать; в Шатле нам сказали, что его тотчас же поведут к позорному столбу.

— Вот еще! Что вы там болтаете, дамуазель Ударда Мюнье? — возражала другая парижанка. — Ведь он же целых два часа будет привязан к позорному столбу. Времени у нас достаточно. Вы когда-нибудь видели такого рода наказания, дорогая Майета?

---

[90] Примечания: 90
Неровными шагами *(лат.)*.

— Да, — ответила провинциалка, — в Реймсе.

— Вот еще! Воображаю, что такое ваш реймский позорный столб! Какая-нибудь жалкая клетка, в которой крутят одних лишь мужиков. Подумаешь, какая невидаль!

— Одних мужиков! — воскликнула Майета. — Это на Суконном-то рынке! В Реймсе! Да там можно видеть просто замечательных преступников, даже таких, которые убивали мать или отца! Мужиков! За кого это вы нас принимаете, Жервеза?

Очевидно, провинциалка готова была яростно вступиться за честь реймского позорного столба. К счастью, благоразумная дамуазель Ударда Мюнье успела вовремя направить разговор по иному руслу.

— А кстати, дамуазель Майета, что вы скажете о наших фламандских послах? Видели вы когда-нибудь подобное великолепие в Реймсе?

— Сознаюсь, — ответила Майета, — что таких фламандцев можно увидать только в Париже.

— А заметили вы среди чинов посольства того рослого посла, который назвал себя чулочником? — спросила Ударда.

— Да, — ответила Майета, — это настоящий Сатурн.

— А того толстяка, у которого физиономия похожа на голое брюхо? — продолжала Жервеза. — И того низенького, с маленькими глазками и красными веками, лишенными ресниц и зазубренными, точно лист чертополоха?

— Самое красивое — это их лошади, убранные по фламандской моде, — заявила Ударда.

— О моя милая, — перебила ее провинциалка Майета, чувствуя на этот раз свое превосходство, — а что бы вы сказали, если бы вам довелось увидеть в шестьдесят первом году, восемнадцать лет тому назад, в Реймсе, во время коронации, коней принцев и королевской свиты? Попоны и чепраки всех сортов: одни из дамасского сукна, из тонкой золотой парчи, подбитой соболями; другие — бархатные, подбитые горностаем; третьи — все в драгоценных украшениях, увешанные тяжелыми золотыми и серебряными кистями! А каких денег все это стоило! А красавцы-пажи, которые сидели верхом!

— Все это может быть, — сухо заметила дамуазель Ударда, — но у фламандцев прекрасные лошади, и в честь посольства господин купеческий старшина дал блестящий ужин в городской ратуше, а за столом подавали засахаренные сласти, коричное вино, конфеты и прочие дели-

катесы.

— Что вы там болтаете, соседка! — воскликнула Жервеза. — Да ведь фламандцы ужинали у господина кардинала, в Малом Бурбонском дворце!

— Нет, в городской ратуше!

— Нет же, в Малом Бурбонском дворце!

— Нет, в городской ратуше, — со злостью возразила Ударда. — Еще доктор Скурабль обратился к ним с речью на латинском языке, которою они остались очень довольны. Мне сказал об этом мой муж, а он присяжный библиотекарь.

— Нет, в Малом Бурбонском дворце, — упорствовала Жервеза. — Еще эконом господина кардинала выставил им двенадцать двойных кварт белого, розового и красного вина, настоянного на корице, двадцать четыре ларчика двойных золоченых лионских марципанов, столько же свечей весом в два фунта каждая и полдюжины двухведерных бочонков белого и розового боннского вина, самого лучшего, какое только можно было найти. Это-то уж, надеюсь, бесспорно? Мне все это известно от моего мужа, состоящего пятидесятником в городском совете общинных старост: он даже нынче утром сравнивал фламандских послов с послами отца Жеана и императора Трапезундского, которые приезжали

из Месопотамии в Париж еще при покойном короле и носили в ушах кольца.

— А все-таки они ужинали в городской ратуше, — ничуть не смущаясь пространными доводами Жервезы, возразила Ударда, — и там подавали такое количество жаркого и сластей, какого никогда еще не видели!

— А я вам говорю, что они ужинали в Малом Бурбонском дворце, но прислуживал им Ле Сек из городской стражи, и вот это-то вас и сбивает с толку.

— В ратуше, говорю я вам!

— В Малом Бурбонском, милочка! Я даже знаю, что слово «Надежда» над главным входом было иллюминировано цветными фонариками.

— В городской ратуше! В городской ратуше! И Гюсонле-Вуар играл там на флейте!

— А я вам говорю, что нет!

— А я вам говорю, что да!

— А я вам говорю, что нет!

Добродушная толстая Ударда не думала уступать. Их головным уборам уже грозила опасность, но в эту минуту Майета воскликнула:

— Глядите, сколько народу столпилось там, в конце моста! Они на что-то смотрят.

— Действительно, — сказала Жервеза, — я

слышу бубен. Мне кажется, что это малютка Смеральда выделывает свои штучки с козой. Поторопитесь, Майета, прибавьте шагу и тащите за собой вашего мальчугана. Вы приехали сюда, чтобы поглядеть на диковинки Парижа. Вчера вы видели фламандцев, нынче нужно поглядеть на цыганку.

— На цыганку! — воскликнула Майета, круто поворачивая назад и крепко сжимая ручонку сына. — Боже меня избави! Она украдет у меня ребенка! Бежим, Эсташ!

И она бросилась бежать по набережной к Гревской площади и бежала до тех пор, пока мост не остался далеко позади. Ребенок, которого она волокла за собой, упал на колени, и она, запыхавшись, остановилась, Ударда и Жервеза нагнали ее.

— Цыганка украдет вашего ребенка? — спросила Жервеза. — Что за нелепая выдумка!

Майета задумчиво покачала головой.

— Странно, — заметила Ударда, — ведь и вретишница того же мнения о цыганках.

— Кто это «вретишница»? — спросила Майета.

— Это сестра Гудула, — ответила Ударда.

— Кто это сестра Гудула?

— Вот и видно, что вы приезжая из Реймса, если

этого не знаете! — сказала Ударда.

— Да ведь это затворница Крысиной норы.

— Как, — спросила Майета, — та самая несчастная женщина, которой мы несем лепешку?

Ударда утвердительно кивнула головой:

— Она самая. Вы сейчас увидите ее у оконца, которое выходит на Гревскую площадь. Она думает то же самое, что и вы, об этих египетских бродяжках, которые бьют в бубен и гадают. Никто не знает, откуда у нее взялась эта ненависть к египтянам и цыганам. Ну а вы, Майета, почему их так боитесь?

— О! — воскликнула Майета, обняв белокурую головку своего ребенка. — Я не хочу, чтобы со мной случилось то, что с Пакеттой Шантфлери.

— Ах, вот история, которую вы должны нам рассказать, милая Майета, — сказала Жервеза, беря ее за руку.

— Охотно, — ответила Майета. — Вот и видно, что вы парижанка, если не знаете этой истории! Так вот… Но что же мы остановились? Об этом можно рассказать и на ходу… Так вот, Пакетта Шантфлери была хорошенькой восемнадцатилетней девушкой как раз в то время, когда и мне было столько же, то есть восемнадцать лет тому назад, и если из нее не вышло, подобно мне,

здоровой, полной, свежей тридцатишестилетней женщины, имеющей мужа и ребенка, то это ее собственная вина. Впрочем, уже с четырнадцати лет ей было поздно думать о замужестве! Она, знаете ли, была дочерью Гиберто, реймского менестреля на речных судах, того самого, который увеселял короля Карла Седьмого во время коронации, когда тот катался по нашей реке Вель от Сильери до Мюизона, вместе с госпожой Орлеанской девой. Старик-отец умер, когда Пакетта была еще совсем малюткой; у нее осталась мать, сестра господина Прадона, мастера медных и жестяных изделий в Париже, на улице Парен-Гарлен, умершего в прошлом году. Как видите, Пакетта была из хорошей семьи. Мать ее была, на беду, доброй женщиной и ничему иному не обучала Пакетту, как только вышивать золотом и бисером разные безделушки. Девочка росла в бедности. Обе они жили в Реймсе, у самой реки, на улице Великой скорби. Запомните название: мне сдается, что от этого-то и пошли все ее несчастья. В шестьдесят первом году, в год венчания на царство короля нашего Людовика Одиннадцатого, да хранит его Господь, Пакетта была такой веселой и хорошенькой, что ее иначе

и не называли как Шантфлери[91]. Бедная девушка! У нее были прелестные зубы, и она любила смеяться, чтобы видели их. А девушка, которая любит смеяться, — на пути к слезам: прелестные зубы — погибель для прелестных глаз. Так вот такова была Шантфлери. Жилось им с матерью нелегко. Со дня смерти музыканта они очень опустились, золотошвейным ремеслом зарабатывали не более десяти денье в неделю, что составляет неполных два лиара с орлами. Прошло то время, когда ее отец Гиберто в течение одной лишь коронации зарабатывал своими песнями по двенадцать парижских солей. Однажды зимой — это было в том же шестьдесят первом году — они остались совсем без дров и без хвороста, и стужа так разрумянила щечки Шантфлери, что мужчины то и дело стали окликать ее — одни: «Пакетта!», другие: «Пакеретта!» Это ее и погубило! Эсташ, ты опять грызешь лепешку?! Однажды в воскресенье она явилась в церковь с золотым крестиком на шее. Тут мы поняли, что она погибла. В четырнадцать-то лет! Подумайте только! Это началось с молодого виконта де Кормонтрея, владельца поместья в трех четвертях лье от Рейм-

---

[91] Примечания: 91
Песня в цвету *(фр.)*.

са; затем мессир Анри де Трианкур, королевский форейтор; затем, что уже попроще, городской глашатай Шиар де Болион; затем, опускаясь все ниже, она перешла к Гери Обержону, королевскому стольнику, еще ниже — к Масе де Фрепюсу, брадобрею дофина; затем к Тевенен-ле-Муэну, королевскому повару; затем, переходя все к более пожилым и менее знатным, она докатилась наконец до Гильома Расина, менестреля-рылейщика, и до Тьери-де-Мера, фонарщика. Потом бедняжка Шантфлери просто пошла по рукам. От всего ее достатка у нее не осталось ни гроша. Что и говорить! Во время коронационных торжеств, все в том же шестьдесят первом году, она уже грела постели смотрителя публичных домов! И все это в один год!

Майета вздохнула и отерла навернувшуюся слезу.

— Ну, это обычная история, — сказала Жервеза. — Но я не понимаю, при чем же тут цыгане и дети?

— Подождите, — ответила Майета, — вы сейчас об этом услышите. В этом месяце, в день святой Павлы, исполнится ровно шестнадцать лет с тех пор, как Пакетта родила девочку. Бедняжка! Она так обрадовалась! Она давно хотела иметь

ребенка. Ее мать, добрая женщина, закрывавшая на все глаза, уже умерла. Пакетте больше некого было любить, да и ее никто не любил. За пять лет со времени своего падения бедняжка Шантфлери превратилась в жалкое существо! Она осталась одна-одинешенька на свете. На нее указывали пальцами, над ней глумились, ее била городская стража и высмеивали оборвыши-мальчишки. Кроме того, ей исполнилось уже двадцать лет, а двадцать лет — ведь это уже старость для публичных женщин. Ее промысел приносил ей не более того, что она вырабатывала золотошвейным мастерством; с каждой новой морщинкой убавлялся экю из ее заработка. Вновь сурова становилась для нее зима, случайными — поленья в очаге и тесто в квашне. Работать она больше не могла, потому что, сделавшись распутницей, она обленилась, а от лености стала еще распутнее. Господин кюре церкви Сен-Реми говорит, что такие женщины в старости сильнее других страдают от холода и голода.

— Так, — заметила Жервеза, — ну а цыганки?

— Погоди минуту, Жервеза! — проговорила более терпеливая Ударда. — Что же останется к концу, если все будет известно с самого начала? Продолжайте, пожалуйста, Майета. Бедняжка

Шантфлери!

Майета продолжала:

— Она была очень грустна, очень несчастна, щеки ее поблекли от непрерывных слез. Но при всем своем позоре, безрассудстве и одиночестве она думала, что не была бы такой опозоренной, безрассудной и одинокой, если бы нашлось на свете существо, которое она могла бы полюбить и которое платило бы ей взаимностью. Ей нужно было дитя, потому что только невинное дитя могло полюбить ее. Она в этом убедилась после того, как попыталась любить вора, единственного мужчину, который мог бы ее пожелать; но вскоре поняла, что даже вор презирает ее. Чтобы заполнить сердце, гулящим женщинам нужен либо любовник, либо ребенок. Иначе они слишком несчастны. Не найдя верного любовника, она стала страстно желать ребенка и, оставшись богобоязненной, неустанно молила об этом милосердного Творца. Господь сжалился над нею и даровал ей дочь. Не буду говорить, как она была счастлива: это был ураган слез, ласк и поцелуев. Она выкормила грудью свое дитя, нашила ему пеленок из своего единственного одеяла и уже больше не чувствовала ни холода, ни голода. Она вновь похорошела. Стареющая девушка превра-

тилась в юную мать. Возобновились любовные связи, и мужчины вновь стали посещать Шантфлери, вновь нашлись покупатели на ее товар. Изо всей этой мерзости она извлекала деньги на пеленочки, детские чепчики, слюнявочки, кружевные распашонки и шелковые капора, даже и не помышляя о том, чтобы купить себе хотя бы одеяло. Господин Эсташ, я вам уже говорила, чтобы вы не смели есть лепешку. Я уверена, что у маленькой Агнессы — так нарекли девочку, ибо фамилию свою Шантфлери давно утратила, — у этой малютки было больше ленточек и всяких вышивок, чем у дочери владельца Дофине! В числе других вещей у нее была пара маленьких башмачков, таких красивых, каких, наверно, даже сам король Людовик Одиннадцатый не носил в детстве! Мать сама сшила их и вышила, как только может золотошвейка, разукрасив их, точно покрывало Божьей Матери. Это были самые малюсенькие розовые башмачки, какие я только видела. Величиною они были не длиннее моего большого пальца, и не верилось, что они впору малютке, пока не увидишь, как ее разувают. Правда, ножки у нее были такие маленькие, такие миленькие, такие розовые — розовее, чем шелк на башмачках! Ах, когда у вас будут дети,

Ударда, вы поймете, что нет ничего милее этих маленьких ножек и ручек!

— Я-то не прочь, — вздохнув, ответила Ударда, — но мне приходится ждать, когда этого пожелает господин Андри Мюнье.

— Но у дочурки Пакетты были хороши не только ножки, — продолжала Майета. — Я видела ее, когда ей исполнилось всего четыре месяца. Это был настоящий херувимчик! Глазки большие, больше, чем ее ротик, волосики шелковистые, черные и уже вились. Она была бы красавицей-брюнеткой к шестнадцати годам! Мать с каждым днем все больше влюблялась в нее. Она ласкала ее, щекотала, купала, наряжала и осыпала поцелуями. Она просто с ума по ней сходила, она благодарила за нее Бога. Особенно ее восхищали крошечные розовые ножки ребенка! Она не переставала им удивляться, она не отрывала от них губ, она теряла голову от счастья. Она их обувала и разувала, любовалась, поражалась, целыми днями разглядывала их на свет, умилялась, видя, как они пытаются переступать по кровати, и охотно провела бы всю свою жизнь на коленях, надевая на них башмачки и снимая, словно то были ножки младенца Иисуса.

— Интересный рассказ, — заметила вполголоса

Жервеза, — но все-таки при чем же тут цыгане?

— А вот при чем, — продолжала Майета. — Както в Реймс прибыли какие-то странные всадники. То были нищие и бродяги, шнырявшие по всей стране под предводительством своего герцога и своих графов. Все как один смуглые, с курчавыми волосами и серебряными кольцами в ушах. Женщины казались еще уродливее мужчин. У них были еще более загоревшие, всегда открытые лица, скверные платья, ветхие покрывала из грубой мешковины, завязанные на плече, и волосы как лошадиные хвосты. А дети, копошившиеся у них на коленях, могли бы напугать даже обезьян! Шайка нехристей! Все они из Нижнего Египта прямо через Польшу нахлынули на Реймс. Говорили, что их исповедовал сам папа и наложил на них эпитимию — семь лет кряду скитаться по белу свету, ночуя под открытым небом. Поэтому их называли также «кающимися», и от них плохо пахло. Когда-то они, кажется, были сарацинами, а потому верили в Юпитера и требовали по десяти турецких ливров со всех архиепископов, епископов и аббатов, имеющих право на митру и посох. И все это будто бы по папской булле. В Реймс они явились затем, чтобы именем алжирского короля и германского императора предсказывать

судьбу. Вы понимаете сами, что вход в город им был воспрещен. Тогда вся эта шайка охотно расположилась табором близ Бренских ворот, на том самом пригорке, где стоит мельница, рядом со старыми меловыми ямами. Понятно, что весь Реймс отправился на них глазеть. Они смотрели людям на руки и пророчили всяческие чудеса. Они могли предсказать Иуде, что тот сделается папой. Но тут стали поговаривать, будто они похищают детей, срезают кошельки и едят человеческое мясо. Благоразумные люди советовали безрассудным: «Не ходите туда», а сами ходили тайком. Все словно помешались на этом. Правда, они так ловко предсказывали, что могли бы удивить даже кардинала. Все матери загордились своими детьми с тех пор, как цыганки прочли по линиям детских ручек всякие чудеса, написанные там на каком-то дикарском и турецком языках. У одной ребенок — будущий император, у другой — папа, у третьей — полководец. Бедняжку Пакетту разбирало любопытство: она тоже хотела знать, не суждено ли ее хорошенькой Агнессе стать когда-нибудь императрицей Армении или других каких-нибудь земель. И вот она тоже отправилась к цыганам. Цыганки стали любоваться девочкой, ласкать, целовать ее своими черными

губами и восторгаться ее крошечной ручкой, и все это — увы! — к великому удовольствию матери. Особенно хвалили они прелестные ножки и башмачки малютки. Девочке в ту пору не было еще и года. Она уже лепетала, заливалась смехом при виде матери, была пухленькой, кругленькой и своими очаровательными движениями походила на ангелочка. Она очень испугалась цыганок и заплакала. Но мать крепко поцеловала ее и ушла в восторге от того будущего, какое ворожея предсказала ее Агнессе. Девочка должна была стать воплощением красоты и добродетели, более того — королевой. Пакетта возвратилась в свою лачугу на улице Великой скорби, гордая тем, что несет домой будущую королеву.

На следующий день, воспользовавшись минуткой, когда ребенок уснул на ее кровати — она всегда укладывала ее спать возле себя, — Пакетта, тихонько притворив дверь, побежала на Сушильную улицу к своей подруге рассказать, что наступит день, когда ее Агнессе будут прислуживать за столом король английский и эрцгерцог эфиопский, и еще сотню других невиданных вещей. Подымаясь при возвращении домой по лестнице и не слыша плача ребенка, она сказала себе: «Отлично, дитя еще спит». Дверь она нашла

распахнутой гораздо шире, чем оставила, когда уходила. Бедняжка-мать вошла, подбежала к кровати… Дитя исчезло, кровать была пуста. От ребенка не осталось и следа, если не считать одного из ее хорошеньких башмачков. Она бросилась вон из комнаты, ринулась вниз по лестнице и стала биться головой об стену, крича: «Мое дитя! Где мое дитя? Кто отнял у меня мое дитя?» Улица была пустынна, дом стоял особняком; никто не мог ей ничего сказать. Она обегала город, она обшарила все улочки, она целый день металась то туда, то сюда, исступленная, обезумевшая, страшная, обнюхивая, словно дикий зверь, потерявший своих детенышей, все пороги и окна домов. Задыхающаяся, растрепанная, ужасная, с иссушающим слезы пламенем в очах, она задерживала каждого прохожего, крича: «Дочь моя! Дочь моя! Моя прелестная маленькая дочка! Я буду рабой того, кто возвратит мне мою дочь, я буду рабой его собаки, и пусть она сожрет мое сердце, если захочет!» Встретив господина кюре церкви Сен-Реми, она сказала ему: «Господин кюре, я буду пахать землю ногтями, только верните мне ребенка!» О! Это было раздирающее душу зрелище, Ударда! Я видела, как даже мэтр Понс Лакабр, прокурор, человек жестокий, и тот не мог удержаться от слез. Ах,

бедная мать! Вечером она возвратилась домой. Ее соседка видела, как во время отсутствия к ней украдкой поднялись по лестнице две цыганки с каким-то свертком в руках и затем, спустившись, поспешно убежали, захлопнув за собой двери. После их ухода из комнаты Пакетты послышался плач ребенка. Мать радостно засмеялась, словно на крыльях взбежала к себе наверх, распахнула дверь настежь и вошла… О ужас, Ударда! Вместо ее хорошенькой маленькой Агнессы, такой румяной и свеженькой, вместо этого Божьего дара, по полу визжа ползло какое-то чудовище, мерзкое, хромое, кривое, безобразное. В ужасе она закрыла глаза. «О! Неужели колдуньи превратили мою дочь в это страшное животное?» — проговорила она. Маленького урода поспешно унесли. Он свел бы ее с ума. Это было чудовище, родившееся от какой-нибудь цыганки, отдавшейся дьяволу. По виду ему было года четыре, он лепетал на каком-то языке, но уж никак не на человеческом: это были какие-то совершенно невозможные слова. Шантфлери упала на пол, схватив маленький башмачок, — это было все, что у нее осталось от существа, которое она любила. Она так долго лежала недвижной, бездыханной, безмолвной, что все сочли ее мертвой. Вдруг она вздрогнула

всем телом и, покрывая безумными поцелуями свою святыню, разразилась такими рыданиями, словно сердце ее готово было разорваться. Уверяю вас, что мы все рыдали. Она стонала: «О моя маленькая дочка! Моя хорошенькая маленькая дочка! Где ты?» Я и сейчас еще плачу, вспоминая об этом. Подумайте только, ведь наши дети — плоть от плоти нашей… Бедняжка мой Эсташ, ты так хорош! Если бы вы знали, как он мил! Он говорит вчера: «Я хочу быть конным латником». О мой Эсташ! И вдруг бы я лишилась тебя… И тут Пакетта вдруг вскочила и помчалась по улицам Реймса. «В цыганский табор! В цыганский табор! Зовите стражу! Надо сжечь этих проклятых колдуний!» — кричала она. Но цыгане уже исчезли. Была глухая ночь. Гнаться за ними было невозможно.

Назавтра в двух лье от Реймса, на пустоши, поросшей вереском, между Ге и Тилуа, нашли следы большого костра, несколько ленточек, принадлежавших маленькой Агнессе, капли крови и козий помет. Накануне была как раз суббота. Очевидно, цыгане справляли на этой пустоши свой шабаш и сожрали ребенка в сообществе самого Вельзевула, как это водится у магометан. Когда Шантфлери узнала про эти ужасы, она не

заплакала, она только пошевелила губами, словно хотела сказать что-то, но не могла произнести ни слова. На следующее утро ее волосы были седыми. На третий день она исчезла.

— Да, это действительно страшная история, — сказала Ударда, — она может заставить заплакать даже бургундца!

— Теперь понятно, почему вы так боитесь цыган, — добавила Жервеза.

— И вы очень благоразумно сделали, убежав с вашим Эсташем, потому что эти цыгане тоже пришли из Польши, — вставила Ударда.

— Да нет же, — сказала Жервеза, — они пришли из Испании и Каталонии.

— Возможно, что из Каталонии, — согласилась Ударда, — Полония, Каталония, Валония — я всегда смешиваю эти три провинции. Но достоверно только одно, что это — цыгане.

— И нет сомнения, — прибавила Жервеза, — что зубы у них достаточно длинные, чтобы сожрать ребенка. Меня нисколько не удивит, если я узнаю, что эта Смеральда тоже лакомится маленькими детьми, складывая при этом свои губки бантиком. У ее белой козочки чересчур хитрые повадки, наверное, тут кроется какое-нибудь нечестие.

Майета шла молча. Она была погружена в ту

задумчивость, которая является как бы продолжением только что прозвучавшего горестного рассказа и рассеивается лишь тогда, когда вызванная им дрожь волнения проникает до самой глубины сердца. Жервеза обратилась к ней с вопросом:

— Так никто и не узнал, что сталось с Шантфлери?

Майета не ответила. Жервеза повторила вопрос, тряся ее за руку и окликая по имени. Майета как будто очнулась.

— Что сталось с Шантфлери? — машинально повторила она и, сделав над собой усилие, чтобы вникнуть в смысл этих слов, быстро ответила: — Ад, об этом ничего не известно.

И, помолчав, добавила:

— Кто говорит, будто видел, как она в сумерки уходила из Реймса через ворота Флешамбо, а другие — что это было на рассвете, и вышла она через старые ворота Базе. Какой-то нищий нашел ее золотой крестик, повешенный на каменном кресте в поле на том месте, где бывает ярмарка. Это был тот самый крестик, который погубил ее и был ей подарен в шестьдесят первом году ее первым любовником, красавцем-виконтом де Кормонтреем. Пакетта никогда не расставалась

с этим подарком, в какой бы нужде она ни была. Она дорожила им как собственной жизнью. И поэтому, когда мы узнали об этой находке, то решили, что она умерла. Однако люди из Кабарле-ле-Вот утверждают, будто видели, как она, босая, ступая по камням, брела по большой парижской дороге. Но в таком случае она должна была выйти из города через Вельские ворота. Все это как-то не вяжется одно с другим. Вернее всего, я думаю, она действительно вышла через Вельские ворота, но только на тот свет.

— Я вас не понимаю, — сказала Жервеза.

— Вель, — с печальной улыбкой ответила Майета, — это ведь река.

— Бедная Шантфлери! — содрогаясь, воскликнула Ударда. — Значит, она утопилась?

— Утопилась, — ответила Майета. — Думал ли добряк Гиберто, проплывая с песнями в своем челне вниз по течению реки под мостом Тенке, что придет день, когда его любимая крошка Пакетта тоже проплывет под этим мостом, но только без песен и без челна.

— А маленький башмачок? — спросила Жервеза.

— Исчез вместе с матерью, — ответила Майета.

— Бедный маленький башмачок! — воскли-

нула Ударда.

Ударда, женщина чувствительная и тучная, готова была удовольствоваться тем, что повздыхала вместе с Майетой, но более любопытная Жервеза продолжала свои расспросы.

— А чудовище? — вдруг вспомнила она.

— Какое чудовище? — спросила Майета.

— Маленькое цыганское чудовище, оставленное ведьмами Шантфлери вместо ее дочери? Что вы с ним сделали? Надеюсь, вы его тоже утопили?

— Нет, — ответила Майета.

— Как! Значит, сожгли? Для отродья ведьмы это, пожалуй, и лучше!

— Ни то ни другое, Жервеза. Господин архиепископ принял в нем участие, прочитал над ним молитвы, окрестил его, начисто изгнал из него дьявола и отослал в Париж. Там его положили в ясли для подкидышей при Соборе Парижской Богоматери.

— Ох уж эти епископы! — проворчала Жервеза. — От большой учености они всегда делают не по-людски. Ну скажите на милость, Ударда, на что это похоже — класть дьявола в ясли для подкидышей! Я не сомневаюсь, что это был сам дьявол! А что же с ним сталось в Париже? Наде-

юсь, ни один добрый христианин не пожелал взять его на воспитание?

— Не знаю, — ответила жительница Реймса. — Муж мой как раз в это время откупил место сельского нотариуса в Берю, в двух лье от Реймса, и мы больше не интересовались всей этой историей; да и Реймса-то из Берю не видно — оба холма Серне заслоняют от нас даже соборные колокольни.

Беседуя таким образом, три почтенные горожанки незаметно дошли до Гревской площади. Заболтавшись, они, не останавливаясь, прошли мимо требника Роландовой башни и, сами того не замечая, направились к позорному столбу, вокруг которого толпа возрастала с каждой минутой. Весьма вероятно, что зрелище, притягивавшее туда все взоры, заставило бы приятельниц окончательно позабыть о Крысиной норе и о том, что они хотели там приостановиться, если бы шестилетний толстяк Эсташ, которого Майета тащила за руку, внезапно не напомнил им об этом.

— Мама, — спросил он, как будто почуяв, что Крысиная нора осталась позади, — можно мне теперь съесть лепешку?

Будь Эсташ похитрее или, вернее, не будь он таким лакомкой, он повременил бы с этим во-

просом до возвращения в квартал Университета, в дом мэтра Андри Мюнье на улице Мадам-ла-Валанс. Тогда между Крысиной норой и его лепешкой легли бы оба рукава Сены и пять мостов Ситэ. Теперь же этот опрометчивый вопрос привлек внимание Майеты.

— Кстати, мы совсем забыли о затворнице! — воскликнула она. — Покажите мне вашу Крысиную нору, я хочу отдать лепешку.

— Да, да, — ответила Ударда, — вы сделаете доброе дело.

Но это вовсе не входило в расчеты Эсташа.

— Вот еще! Это моя лепешка! — захныкал он и поочередно то правым, то левым ухом стал тереться о свои плечи, что, как известно, служит у детей признаком высшего неудовольствия.

Три женщины повернули обратно. Когда они дошли до Роландовой башни, Ударда сказала своим двум приятельницам:

— Не следует всем троим заглядывать в нору, это может испугать вретишницу. Вы сделайте вид, будто читаете «Dominus»[92] по требнику, а я тем временем загляну к ней в оконце. Она меня уже немножко знает. Я вам скажу, когда можно

---

[92] Примечания: 92
«Господь» *(лат.)* — начало молитвы.

будет подойти.

Ударда направилась к оконцу. Едва лишь взгляд ее проник в глубь кельи, как глубокое сострадание отразилось на ее лице. Выражение и краски ее веселой, открытой физиономии изменились так резко, как будто вслед за солнечным лучом по ней скользнул луч луны. Ее глаза увлажнились, губы скривились, словно она собиралась заплакать. Она приложила палец к губам и сделала Майете знак подойти.

Майета подошла взволнованная, на цыпочках, как будто приближалась к постели умирающего.

Поистине грустное зрелище представилось глазам обеих женщин, которые, боясь шелохнуться, затаив дыхание глядели в забранное решеткой оконце Крысиной норы.

Это была тесная келья со стрельчатым сводом, похожая изнутри на большую епископскую митру. На голой плите, служившей полом, в углу, скорчившись, сидела женщина. Подбородок ее упирался в колени, крепко прижатые к груди скрещенными руками. На первый взгляд это сжавшееся в комок существо, утонувшее в широких складках коричневого вретища, с длинными седыми волосами, которые свисали на лицо и падали вдоль ног до самых ступней, казалось

каким-то странным предметом, чернеющим на сумрачном фоне кельи, каким-то подобием темного треугольника, резко разделенного падающим из оконца лучом света на две половины — одну темную, другую светлую. Это был один из тех призраков, наполовину погруженных во мрак, наполовину залитых светом, которых видишь либо во сне, либо на причудливых полотнах Гойи, — бледных, неподвижных, зловещих, присевших на чьей-нибудь могиле или прислонившихся к решетке темницы. Создание это не походило ни на женщину, ни на мужчину, ни вообще на живое существо определенной формы: это был набросок человека; нечто вроде видения, в котором действительность сливалась с фантастикой, как свет сливается с тьмой. Сквозь ниспадавшие до полу волосы с трудом можно было различить изможденный, суровый профиль; из-под платья чуть виднелся кончик босой ноги, судорожно скрюченной на жестком ледяном полу. Человеческий облик, смутно проступавший сквозь эту скорбную оболочку, вызывал в зрителе содрогание.

Этой фигуре, словно вросшей в каменную плиту, казалось, были чужды движение, мысль, дыхание. Прикрытая в январский холод лишь

тонкой холщовой рубахой, на голом гранитном полу, без огня, в полумраке темницы, косое оконце которой пропускало лишь стужу, но не давало доступа солнцу, она, по-видимому, не только не испытывала страданий, но вообще ничего не ощущала. Она стала каменной, как ее келья, и ледяной, как зима. Руки ее были скрещены, глаза устремлены в одну точку. В первую минуту ее можно было принять за призрак, вглядевшись пристальнее — за статую.

И все же ее посиневшие губы время от времени приоткрывались от вздоха, но движение их было столь же безжизненным, столь же бесстрастным, как трепетание листьев на ветру.

И все же в ее потускневших глазах порой зажигался взгляд, неизъяснимый, проникновенный, скорбный, упорно прикованный к невидимому снаружи углу кельи, — взгляд, который, казалось, устанавливал связь между мрачными мыслями этой страждущей души и каким-то таинственным предметом.

Таково было это существо, прозванное за свое обиталище «затворницей», а за свою одежду — «вретишницей».

Все три женщины — так как Жервеза тоже присоединилась к Майете и Ударде — смотрели в

оконце. Несчастная не замечала их, хотя их головы, заслоняя окно, лишали ее и без того скудного дневного света.

— Не будем ее тревожить, — шепотом проговорила Ударда, — она молится.

Между тем Майета с возраставшим волнением всматривалась в эту безобразную, поблекшую, растрепанную голову.

— Как это странно! — бормотала она.

Просунув голову сквозь решетку, она ухитрилась заглянуть в тот угол, к которому был прикован взор несчастной.

Когда Майета оторвалась от окна, лицо ее было залито слезами.

— Как зовут эту женщину? — спросила она Ударду.

— Мы зовем ее сестрой Гудулой, — ответила Ударда.

— А я назову ее Пакеттой Шантфлери, — сказала Майета.

И, приложив палец к губам, она предложила Ударде просунуть голову в оконце и заглянуть внутрь.

Ударда заглянула в тот угол, куда был неотступно устремлен горящий мрачным восторгом взор затворницы, и увидала там маленький розового

шелка башмачок, расшитый золотыми и серебряными блестками.

Жервеза вслед за Ударой тоже заглянула в келью, и все три женщины расплакались при виде несчастной матери.

Однако ни их взоры, ни их слезы не отвлекли внимания затворницы. Ее руки продолжали оставаться скрещенными, уста немыми, глаза неподвижными. Тем, кому была теперь известна вся ее история, этот маленький, так неотступно созерцаемый башмачок раздирал сердце.

Женщины не обменялись ни одним словом; они не осмеливались говорить даже шепотом. Это великое молчание, эта великая скорбь, это великое забвение, поглотившее все, кроме маленького башмачка, производили на них такое впечатление, как будто они стояли перед алтарем в дни Пасхи или Рождества. Они безмолвствовали, полные благоговения, готовые преклонить колени. Им казалось, что они вступили в храм в Страстную пятницу.

Наконец Жервеза, самая любопытная и потому наименее чувствительная, попыталась заговорить с затворницей:

— Сестра! Сестра Гудула!

Она трижды окликнула ее, и с каждым разом

все громче. Затворница не шелохнулась. Ни слова, ни взгляда, ни взора, ни малейшего признака жизни.

— Сестра! Сестра Гудула, — в свою очередь сказала Ударда более мягким и ласковым голосом.

То же молчание, та же неподвижность.

— Странная женщина! — воскликнула Жервеза. — Ее и выстрелом не разбудишь!

— Может, она оглохла? — заметила Ударда.

— Или ослепла? — присовокупила Жервеза.

— А может, умерла? — сказала Майета.

Но если душа еще не покинула это недвижимое, безгласное, бесчувственное тело, то во всяком случае она ушла так далеко, затаилась в таких его глубинах, куда не проникали ощущения внешнего мира.

— Придется оставить лепешку на подоконнике, — сказала Ударда. — Но ее стащит какой-нибудь мальчишка. Что бы такое сделать, чтобы заставить ее очнуться?

Тем временем Эсташ, чье внимание было до сих пор отвлечено проезжавшей маленькой тележкой, которую тащила большая собака, вдруг заметил, что его спутницы что-то разглядывают в оконце. Его тоже разобрало любопытство, он влез на тумбу, приподнялся на цыпочках и

прижал свое пухлое румяное личико к решетке, воскликнув:

— Мама, я тоже хочу посмотреть!

При звуке этого свежего, звонкого детского голоска затворница задрожала. Резким, стремительным движением стальной пружины она повернула голову и, откинув со лба космы волос своими длинными, исхудавшими до костей руками, вперила в ребенка изумленный, исполненный горечи и отчаяния взгляд — быстрый, как вспышка молнии.

— О боже! — закричала она, уткнувшись лицом в колени; ее хриплый голос, казалось, разрывал ей грудь. — Не показывайте мне, по крайней мере, чужих детей!

— Здравствуйте, сударыня, — с важностью сказал мальчик.

Неожиданное потрясение как бы пробудило затворницу к жизни. Длительная дрожь пробежала по ее телу, зубы застучали, она слегка приподняла голову и, прижимая локти к бедрам, обхватив руками ступни, словно желая их согреть, промолвила:

— О, какая стужа!

— Бедняжка, — с горячим состраданием сказала Ударда, — не принести ли вам огонька?

Она покачала головой в знак отрицания.

— Ну так вот коричное вино, выпейте, это вас согреет, — продолжала Ударда, протягивая ей бутылку.

Затворница снова отрицательно покачала головой и, пристально взглянув на Ударду, сказала:

— Воды!

— Ну какой же это напиток в зимнюю пору! Вам необходимо выпить немного вина и съесть вот эту маисовую лепешку, которую мы испекли для вас, — настаивала Ударда.

Затворница оттолкнула лепешку, протягиваемую ей Майетой, и проговорила:

— Черного хлеба!

— Сестра Гудула, — сказала Жервеза, разжалобившись и расстегивая свою суконную накидку, — вот вам покрывало потеплее вашего. Накиньте-ка его себе на плечи.

Затворница отказалась от одежды, как ранее от вина и лепешки, и отвечала:

— Достаточно и вретища!

— Но ведь надо же чем-нибудь помянуть вчерашний праздник, — сказала добродушная Ударда.

— Я его и так помню, — проговорила затворница, — вот уже два дня, как в моей кружке нет

воды. — Помолчав немного, она добавила: — В праздники меня совсем забывают. И хорошо делают! К чему людям думать обо мне, если я не думаю о них? Потухшим угольям — холодная зола.

И, как бы утомившись от такой длинной речи, она вновь уронила голову на колени.

Простоватая и сострадательная Ударда, поняв-шая из последних слов затворницы, что та все еще продолжает жаловаться на холод, наивно спросила:

— Может быть, вам все-таки принести огонь-ка?

— Огонька? — спросила вретишница с каким-то странным выражением. — Ну а принесете вы его и той бедной крошке, которая вот уже пятнадцать лет покоится в земле?

Она вся трепетала, ее голос дрожал, очи пылали, она привстала на колени. Вдруг она простерла свою бледную исхудавшую руку к изумленно смотревшему на нее Эсташу.

— Унесите ребенка! — воскликнула она. — Здесь сейчас пройдет цыганка!

И она упала ничком на пол; лоб ее с резким стуком ударился о плиту, словно камень о камень.

Женщины подумали, что она умерла. Однако спустя мгновение она зашевелилась и поползла

в тот угол, где лежал крошечный башмачок. Они не посмели заглянуть туда, но им слышны были бессчетные поцелуи и вздохи, перемежавшиеся с раздирающими душу воплями и глухими ударами, точно она билась головой об стену. После одного из ударов, столь яростного, что все они вздрогнули, до них больше не донеслось ни звука.

— Неужели она убилась? — воскликнула Жервеза, рискнув просунуть голову сквозь решетку. — Сестра! Сестра Гудула!

— Сестра Гудула! — повторила Ударда.

— Боже мой! Она не шевелится! Неужели она умерла? — продолжала Жервеза. — Гудула! Гудула!

Майета, у которой от волнения так сжалось горло, что до этой минуты она не могла выговорить ни слова, сделала над собой усилие и сказала:

— Подождите. — Потом, наклонившись к окну, окликнула затворницу: — Пакетта! Пакетта Шантфлери!

Ребенок, беспечно дунувший на тлеющий фитиль петарды и вызвавший этим взрыв, опаливший ему глаза, не испугался бы до такой степени, как испугалась Майета, увидев, какое действие произвело это имя, вдруг прозвучавшее

в келье сестры Гудулы.

Затворница вздрогнула всем телом, стала на свои босые ноги и бросилась к оконцу; глаза ее горели таким пламенем, что все три женщины и ребенок попятились до самого парапета набережной.

Зловещее лицо затворницы плотно прижалось к решетке отдушины.

— О! Это цыганка зовет меня! — дико смеясь, закричала она.

Сцена, происходившая в этот момент у позорного столба, приковала ее блуждающий взор. Ее лицо исказилось от ужаса, она протянула сквозь решетку высохшие, как у скелета, руки и голосом, походившим на предсмертное хрипение, крикнула:

— Так это опять ты, цыганское отродье! Это ты кличешь меня, воровка детей! Будь же ты проклята! Проклята! Проклята!

IV. Слеза за каплю воды

Слова эти были как бы соединительным звеном между двумя сценами, которые разыгрывались одновременно и параллельно, каждая на своих подмостках: одна, только что нами описанная, — в Крысиной норе; другая, которую нам еще предстоит описать, — на лестнице позорного столба. Свидетельницами первой были лишь три женщины, с которыми читатель только что познакомился; зрителями второй был весь тот народ, который мы видели выше на Гревской площади толпившимся вокруг позорного столба и виселицы.

Появление четырех сержантов с девяти часов утра у четырех углов позорного столба сулило толпе не одно, так другое зрелище: если не повешение, то наказание плетьми или отсекновение ушей — словом, нечто интересное. Толпа возрастала так быстро, что сержантам, на которых она наседала, не раз приходилось ее «свинчивать», как тогда говорили, ударами тяжелой плети и крупами лошадей.

Впрочем, толпа, уже привыкшая к долгому ожиданию зрелища публичной кары, не вы-

казывала слишком большого нетерпения. Она развлекалась тем, что разглядывала позорный столб — незамысловатое сооружение в форме каменного полого куба, футов десяти в вышину. Несколько очень крутых из необтесанного камня ступеней, именуемых «лестницей», вели на верхнюю площадку, где виднелось прикрепленное в горизонтальном положении колесо, сделанное из цельного дуба. Преступника, поставленного на колени со скрученными назад руками, привязывали к этому колесу. Деревянный стержень, приводившийся в движение воротом, скрытым в этом маленьком строении, сообщал колесу вращательное движение и таким образом давал возможность видеть лицо наказуемого со всех концов площади. Это называлось «вертеть» преступника.

Из вышеописанного ясно, что позорный столб на Гревской площади далеко не был таким затейливым, как позорный столб на Главном рынке. Тут не было ни сложной архитектуры, ни монументальности. Не было ни крыши с железным крестом, ни восьмигранного фонаря, ни хрупких колонок, расцветающих у самой крыши капителями в форме листьев аканта и цветов, ни дождевых желобов в виде химер и чудовищ, ни

деревянной резьбы, ни изящной, глубоко врезанной в камень скульптуры.

Зрителям здесь приходилось довольствоваться четырьмя стенками бутовой кладки, двумя заслонами — из песчаника и стоящей рядом скверной, жалкой виселицей из простого камня.

Это было скудное угощение для любителей готической архитектуры. Правда, почтенные ротозеи Средних веков менее всего интересовались памятниками старины и мало заботились о красоте позорного столба.

Наконец прибыл и осужденный, привязанный к задку телеги. Когда его подняли на помост и привязали веревками и ремнями к колесу позорного столба, на площади поднялось неистовое гиканье вперемешку с хохотом и насмешливыми приветствиями. В осужденном узнали Квазимодо.

Да, это был он. Странная превратность судьбы! Быть прикованным к позорному столбу на той же площади, где еще накануне он, шествуя в сопровождении египетского герцога, короля Алтынного и императора Галилеи, был встречен приветствиями, рукоплесканиями и провозглашен единогласно папой и князем шутов! Но можно было не сомневаться, что во всей этой толпе, включая и его самого — то триумфатора,

то осужденного, — не нашлось бы ни одного человека, способного сделать такое сопоставление. Для этого нужен был Гренгуар с его философией.

Вскоре Мишель Нуаре, глашатай его величества короля, заставил замолчать этот сброд и согласно с распоряжением и повелением господина прево огласил приговор. Затем он со своими людьми в форменных полукафтаньях стал позади телеги.

Квазимодо отнесся к этому безучастно, он даже бровью не повел. Всякую попытку сопротивления пресекало то, что на языке тогдашних канцелярий уголовного суда называлось «силою и крепостью уз», иными словами — ремни и цепи, врезавшиеся в его тело. Эта традиция тюрем и галер не исчезла и по сей день. Она бережно сохраняется в виде наручников — у нас, народа просвещенного, мягкого, гуманного (если взять в скобки гильотину и каторгу).

Квазимодо позволял распоряжаться собой, толкать, тащить наверх, вязать и скручивать. На его лице ничего нельзя было прочесть, кроме изумления дикаря или идиота. Что он глухой — знали все, но сейчас он казался еще и слепым.

Его поставили на колени на круглую доску — он подчинился. С него сорвали куртку и рубашку и обнажили до пояса — он не сопротивлялся. Его

опутали еще одной сетью ремней и пряжек — он позволил себя стянуть и связать. Лишь время от времени он шумно пыхтел, точно теленок, голова которого, низко свесившись через край тележки мясника, болтается из стороны в сторону.

— Вот дуралей-то! — сказал Жеан Мельник своему другу Робену Пуспену (само собой разумеется, что оба школяра следовали за осужденным). — Он соображает не больше майского жука, посаженного в коробку!

Бешеный хохот раздался в толпе, когда она увидела обнаженный горб Квазимодо, его верблюжью грудь, его острые плечи, поросшие волосами. Не успело утихнуть это веселье, как на помост поднялся коренастый, дюжий человек, на одежде которого красовался герб города, и стал возле осужденного. Его имя с быстротой молнии облетело толпу. Это был мэтр Пьерá Тортерю, присяжный палач Шатле.

Он начал с того, что поставил в один из углов площадки позорного столба черные песочные часы, верхняя чашечка которых была наполнена красным песком, мерно ссыпавшимся в нижнюю; затем снял с себя двухцветный плащ, и все увидели висящую на его правой руке тонкую плеть из белых лоснящихся длинных узловатых

ремней с металлическими коготками на концах; левой рукой он небрежно засучил рукав на правой до самого плеча. Тем временем Жеан Фролло, подняв кудрявую белокурую голову над толпой (для чего он взобрался на плечи Робена Пуспена), выкрикивал:

— Господа! Дамы! Пожалуйте сюда! Сейчас и незамедлительно начнут стегать мэтра Квазимодо, звонаря моего брата, господина архидьякона Жозасского. Вот чудный образчик восточной архитектуры: спина — как купол, ноги — как витые колонны!

Толпа разразилась хохотом, в особенности смеялись дети и молодые девушки.

Палач топнул ногой. Колесо завертелось. Квазимодо покачнулся в своих оковах. Тупое изумление, отразившееся на его безобразном лице, еще более усилило смех толпы.

Вдруг, когда во время одного из поворотов колеса горбатая спина Квазимодо оказалась перед мэтром Пьера́, палач взмахнул рукой. Тонкие ремни, словно клубок ужей, с пронзительным свистом рассекли воздух и яростно обрушились на спину несчастного.

Квазимодо подскочил на месте, как бы внезапно пробужденный ото сна. Теперь он начинал

понимать. Он корчился в своих путах, сильнейшая судорога изумления и боли исказила его лицо, но он не издавал ни единого звука. Он лишь откинул голову назад, повернул ее направо, затем налево, словно бык, ужаленный в бок слепнем.

За первым ударом последовал второй, третий и еще, и еще, без конца. Колесо вращалось непрерывно, удары сыпались градом. Вот полилась кровь, и видно было, как она тысячью струек змеилась по смуглым плечам горбуна, а тонкие ремни, вращаясь и разрезая воздух, разбрызгивали ее каплями в толпу.

Казалось, по крайней мере с виду, что Квазимодо вновь стал безучастен ко всему. Сначала он пытался незаметно, без особенно сильных движений, разорвать свои путы. Видно было, как вспыхнул огнем его глаз, как напружинились мускулы, как напряглось тело и натянулись ремни и цепи. Это было мощное, страшное, отчаянное усилие; но испытанные оковы парижского прево выдержали. Они только затрещали, и все. Обессиленный Квазимодо словно обмяк. Изумление на его лице сменилось выражением глубокой горечи и уныния. Он закрыл свой единственный глаз, поник головою и замер.

После этого он уже не шевелился. Ничто не мог-

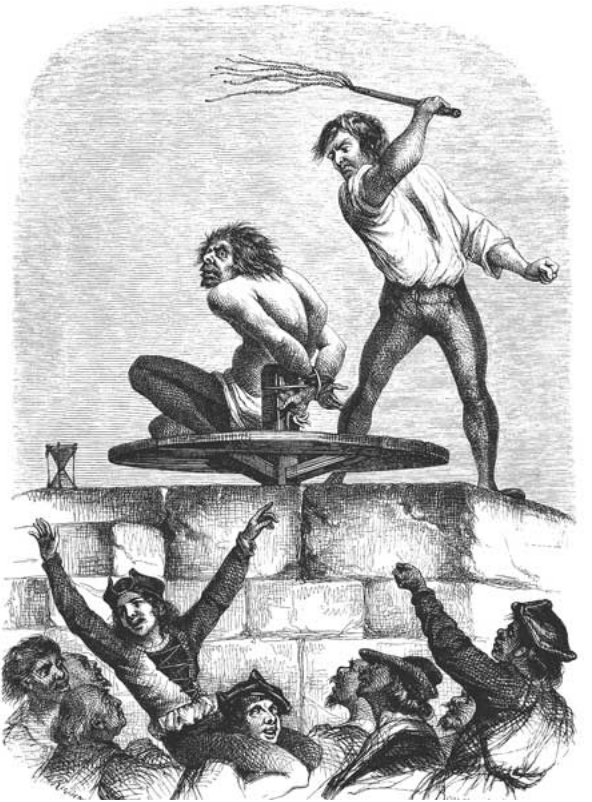
ло вывести его из оцепенения: ни его непрестанно льющаяся кровь, ни удвоившееся бешенство ударов, ни ярость палача, возбужденного и опьяненного собственной жестокостью, ни свист ужасных ремней, более резкий, чем полет ядовитых насекомых.

Наконец судебный пристав Шатле, одетый в черное, верхом на вороном коне, с самого начала наказания стоявший возле лестницы, протянул к песочным часам свой жезл из черного дерева. Палач прекратил пытку. Колесо остановилось. Медленно раскрылся глаз Квазимодо.

Бичевание окончилось. Два помощника палача обмыли сочившиеся кровью плечи осужденного, смазали их какой-то мазью, от которой раны тотчас же затянулись, и накинули ему на спину нечто вроде желтого передника, напоминающего нарамник. Пьера́ Тортерю отряхивал на мостовую кровь, окрасившую и пропитавшую белые ремни его плети.

Но это было не все. Квазимодо еще надлежало выстоять у позорного столба тот час, который столь справедливо был добавлен мэтром Флорианом Барбедьеном к приговору мессира Робера д'Эстутвиля, — все это к вящей славе старинного афоризма Иоанна Куменского, связывающего

физиологию с психологией: surdus absurdus[93].



[93] Примечания: 93
Кто глух, тот глуп *(лат.)*.

Итак, песочные часы перевернули, и горбуна оставили привязанным к доске, чтобы полностью удовлетворить правосудие. Простонародье, особенно времен Средневековья, является в обществе тем же, чем ребенок в семье. До тех пор пока оно пребывает в состоянии первобытного неведения, морального и умственного несовершеннолетия, о нем, как о ребенке, можно сказать:

В сем возрасте не знают сострадания.

Мы уже упоминали о том, что Квазимодо был предметом общей ненависти, и не без основания. Во всей этой толпе не было человека, который бы не считал себя вправе пожаловаться на зловредного горбуна Собора Парижской Богоматери. Появление Квазимодо у позорного столба было встречено всеобщим ликованием. Жестокая пытка, которой он подвергся, и его жалкое состояние после нее не только не смягчили толпу, но, наоборот, усилили ее ненависть, вооружив ее жалом насмешки.

Когда было выполнено «общественное требование возмездия», как и поныне еще выражаются обладатели судейских колпаков, наступила очередь для сведения с Квазимодо тысячи личных

счетов. Здесь, как и в большом зале дворца, сильнее всех шумели женщины. Почти все они имели против него зуб: одни — за злобные выходки, другие — за его уродство. Последние бесновались пуще всего.

— О антихристова харя! — кричала одна.

— Чертов наездник на помеле! — кричала другая.

— Что за мрачная рожа! Его наверное бы выбрали папой шутов, если бы сегодняшний день превратился во вчерашний! — рычала третья.

— Это что! — кручинилась какая-то старуха. — Такую рожу он корчит у позорного столба, а вот если бы взглянуть, какая у него будет на виселице!

— Когда же большой колокол хватит тебя по башке и вгонит на сто футов в землю, проклятый звонарь?

— И этакий дьявол благовестит к вечерне!

— Ах ты, глухарь! Горбун кривоглазый! Чудовище!

— Эта образина заставит выкинуть младенца лучше, чем все средства и снадобья.

А оба школяра — Жеан Мельник и Робен Пуспен — распевали во всю глотку старинный народный припев:

Висельнику – веревка!

Уроду – костер!

Тысяча оскорблений, гиканье, брань, насмешки и камни так и сыпались на него со всех сторон.

Квазимодо был глух, но зорок, а народная ярость выражалась на лицах не менее сильно, чем в словах. К тому же удар камнем великолепно дополнял значение каждой издевки.

Некоторое время он крепился. Но мало-помалу терпение, закалившееся под плетью палача, стало сдавать и отступило перед этими комариными укусами. Так астурийский бык, равнодушный к атакам пикадора, приходит в ярость от своры собак и от бандерилий.

Он медленно, угрожающим взглядом обвел толпу. Но, крепко связанный по рукам и ногам, он не мог одним лишь взглядом отогнать этих мух, впившихся в его рану. И вот он стал метаться в своих путах. От его бешеных рывков затрещало на своих брусьях старое колесо позорного столба. Но все это повело лишь к тому, что насмешки и издевательства толпы еще более усилились.

Тогда несчастный, подобно дикому зверю, посаженному на цепь и бессильному сломать свой ошейник, внезапно успокоился. Только

яростный вздох по временам вздымал его грудь. Лицо его не выражало ни стыда, ни смущения. Он был слишком чужд человеческому обществу и слишком близок к первобытному состоянию, чтобы понимать, что такое стыд. Да и возможно ли вообще при таком уродстве чувствовать позор своего положения? Но постепенно гнев, ненависть, отчаяние стали медленно заволакивать его безобразное лицо тучей, все более и более мрачной, все более насыщенной электричеством, которое тысячью молний вспыхивало в глазу этого циклопа.

Эта туча на миг прояснилась при появлении священника, пробиравшегося сквозь толпу верхом на муле. Как только несчастный осужденный еще издали заметил мула и священника, лицо его смягчилось, ярость, искажавшая его черты, уступила место странной улыбке, исполненной нежности, умиления и неизъяснимой любви. По мере приближения священника эта улыбка становилась все ярче, все отчетливее, все лучезарнее. Несчастный словно приветствовал своего спасителя. Но в ту минуту, когда мул настолько приблизился к позорному столбу, что всадник мог узнать осужденного, священник опустил глаза, круто повернул назад и с такой силой пришпорил

мула, словно спешил избавиться от оскорбительных для него просьб, не испытывая ни малейшего желания, чтобы его узнал и приветствовал горемыка, стоящий у позорного столба.

Это был архидьякон Клод Фролло.

Мрачная туча снова надвинулась на лицо Квазимодо. Порой сквозь нее еще пробивалась улыбка, но полная горечи, уныния и бесконечной скорби.

Время бежало. Уже почти полтора часа стоял он тут, израненный, истерзанный, осмеянный и забросанный каменьями.

Вдруг он снова заметался в своих цепях, и с таким неистовством, что сооружение, на котором он стоял, дрогнуло; нарушив свое упорное молчание, он хриплым и яростным голосом, похожим скорее на собачий лай, чем на голос человека, закричал, покрывая шум и гиканье:

— Пить!

Этот возглас отчаяния не только не возбудил сострадания, но вызвал прилив веселости среди обступившего лестницу доброго парижского простонародья, отличавшегося в ту пору не меньшей жестокостью и грубостью, чем ужасное племя бродяг, с которым мы уже познакомили читателя и которое, попросту говоря, представляло собой

самые низы этого простонародья. Если кто из толпы и поднимал свой голос, то лишь для того, чтобы поглумиться над несчастным. Верно и то, что Квазимодо был в эту минуту скорее смешон и отвратителен, чем жалок: по его пылающему лицу струился пот, взор блуждал, на губах выступила пена бешенства и муки, язык наполовину высунулся изо рта. Следует добавить, что если бы даже и нашлась какая-нибудь добрая душа, какой-нибудь сердобольный горожанин или горожанка, пожелавшие принести воды этому несчастному, страдающему существу, то в представлении окружающих гнусные ступени этого столба были настолько связаны с бесчестием и позором, что одного этого предрассудка было достаточно, чтобы оттолкнуть доброго самаритянина.

Подождав несколько минут, Квазимодо обвел толпу взором отчаяния и повторил еще более раздирающим голосом:

— Пить!

И снова поднялся хохот.

— На вот, пососи-ка! — крикнул Робен Пуспен, бросая ему в лицо намоченную в луже тряпку. — Получай, противный глухарь! Я у тебя в долгу!

Какая-то женщина швырнула ему камнем в

голову:

— Это отучит тебя будить нас по ночам твоим проклятым трезвоном!

— Ну-ка, сынок, — рычал паралитик, пытаясь достать его своим костылем, — будешь теперь наводить на нас порчу с башен Собора Богоматери?

— Вот тебе чашка для питья! — крикнул какой-то человек, запуская ему в грудь разбитой кружкой. — Стоило тебе пройти мимо моей жены, когда она была брюхата, и она родила ребенка о двух головах!

— А моя кошка — котенка о шести лапках! — проверещала какая-то старуха, бросая в него черепком.

— Пить! — в третий раз, задыхаясь, повторил Квазимодо.

В эту минуту он увидел, что весь этот сброд отступил.

От толпы отделилась девушка в причудливом наряде. Ее сопровождала белая козочка с позолоченными рожками. В руках у девушки был бубен.

Глаз Квазимодо засверкал. То была та самая цыганка, которую он прошлой ночью пытался похитить: за этот проступок, как он теперь смутно догадывался, он и нес наказание; это, впрочем,

нисколько не соответствовало действительности, ибо он терпел кару лишь за то, что имел несчастье, будучи глухим, попасть к глухому судье. Он не сомневался, что девушка явилась сюда, чтобы отомстить ему и нанести свой удар, как и все другие.

И действительно, он увидел, что она быстро поднимается по лестнице. Гнев и досада душили его. Ему хотелось сокрушить позорный столб, и если бы молния, которую метнул его взгляд, обладала смертоносной силой, то, прежде чем цыганка достигла площадки, она была бы испепелена.

Она молча приблизилась к осужденному, тщетно извивавшемуся в своих путах, чтобы ускользнуть от нее, и, отстегнув от своего пояса флягу, осторожно поднесла ее к пересохшим губам несчастного.

И тогда этот сухой, воспаленный глаз увлажнился, и крупная слеза медленно покатилась по искаженному отчаянием безобразному лицу. Быть может, то была первая слеза, которую этот злосчастный пролил в своей жизни.

Он, казалось, забыл, что хочет пить. В нетерпении цыганка сделала привычную гримаску и, улыбаясь, прижала флягу к зубастому рту Ква-

зимодо.

Он пил большими глотками. Его жгла жажда.

Напившись, несчастный вытянул почерневшие губы, как бы желая поцеловать прекрасную цыганку, оказавшую ему такую милость. Но молодая девушка держалась настороже. Она, по-видимому, не забыла еще о грубом нападении на нее минувшей ночью и испуганно отдернула руку, словно ребенок, боящийся, что его укусит животное.

Квазимодо устремил на нее взгляд, полный упрека и невыразимой грусти.

Кого бы не тронуло зрелище красоты, свежести, невинности, очарования и хрупкости, пришедшей в порыве милосердия на помощь воплощению несчастия, уродства и злобы! У позорного же столба это зрелище было величественным.

Даже толпа была им захвачена и принялась рукоплескать, крича: «Слава! Слава!»

Именно в эту минуту затворница из оконца своей норы увидела на площадке позорного столба цыганку и крикнула ей свое зловещее: «Будь ты проклята, цыганское отродье! Проклята! Проклята!»

V. Конец рассказа о маисовой лепешке

Эсмеральда побледнела и, пошатываясь, спустилась вниз. Голос затворницы продолжал ее преследовать:

— Слезай, слезай, египетская воровка! Все равно взойдешь обратно.

— Вретишница опять чудит, — бормотали в толпе, но ничего больше не добавляли. Такие женщины внушали страх, и это делало их неприкосновенными. В те времена остерегались нападать на тех, кто денно и нощно молился.

Наступило время освободить Квазимодо. Его увели, и толпа тотчас же разошлась.

У большого моста Майета, возвращавшаяся домой со своими двумя спутницами, внезапно остановилась:

— Кстати, Эсташ, куда ты девал лепешку?

— Матушка, — ответил ребенок, — пока вы разговаривали с этой дамой, что сидит в норе, прибежала большая собака и откусила кусок моей лепешки, тогда и я откусил.

— Как, сударь! — воскликнула мать. — Вы съели всю лепешку?

— Матушка, это не я, это собака. Я не позволял,

но она меня не послушалась. Ну, тогда я тоже стал есть, вот и все.

— Ужасный ребенок, — ворча и улыбаясь одновременно, сказала мать. — Знаете, Ударда, он один объедает все вишневое дерево на нашем дворе в Шарлеранже. Недаром его дед говорит, что быть ему капитаном. Попадитесь вы мне еще раз, господин Эсташ… Смотри ты у меня, увалень!

Книга седьмая

I. О том, как опасно доверять свою тайну козе

Прошло несколько недель.

Было начало марта. Солнце, которое Дюбарта, сей классический родоначальник перифразы, еще не успел наименовать «великим князем свечей», тем не менее сияло уже ярко и весело. Стоял один из тех весенних мягких и чудесных дней, которым весь Париж, высыпав на площади и бульвары, радуется точно празднику. В эти прозрачные, теплые, безоблачные дни бывает час, когда хорошо пойти полюбоваться порталом Собора Богоматери. Это то время, когда солнце, уже склонившееся к закату, стоит почти напротив фасада собора. Его лучи, становясь все более горизонтальными, медленно покидают мостовую Соборной площади и взбираются по отвесной стене фасада, заставляя выступать из тени тысячи его рельефных украшений, между тем как громадная центральная розетка пылает, словно глаз циклопа, отражающий пламя кузнечного горна.

Был именно этот час.

Напротив высокого собора, обагренного за-

катом, на каменном балконе, устроенном над порталом богатого готического дома, стоявшего на углу площади и Папертной улицы, жеманничая и дурачась, дружески болтали и смеялись несколько красивых молодых девушек. Судя по их длинным покрывалам, спускавшимся до самых пят с верхушки их остроконечного головного убора, унизанного жемчугом, по тонким вышитым шемизеткам, прикрывавшим плечи, оставляя обнаженной, сообразно привлекательной моде того времени, верхнюю часть их прелестной девственной груди, судя по пышности нижних юбок, еще более дорогих, чем верхняя одежда (очаровательная изысканность!), по газу, по шелку, по бархатной отделке, а в особенности по белизне ручек, свидетельствующей об их праздности и лени, в этих девушках нетрудно было угадать знатных и богатых наследниц. Действительно, это были девицы Флёр-де-Лис де Гонделорье и ее подруги: Диана де Кристейль, Амлота де Монмишель, Коломба де Гайльфонтен и маленькая Шаншеврие — все девушки благородного происхождения, собравшиеся в этот час у вдовствующей г-жи де Гонделорье. В апреле месяце в Париж должны были прибыть монсеньор де Божё с супругой и выбрать здесь фрейлин для мадам

Маргариты, невесты дофина, чтобы встретить ее в Пикардии, куда ее доставят фламандцы. Все дворяне на тридцать лье в окружности добивались этой чести для своих дочерей; многие из них уже привезли или прислали своих дочерей в Париж. Эти девицы были поручены родителями разумному покровительству почтенной г-жи Алоизы де Гонделорье, вдовы бывшего начальника королевских стрелков, уединенно жившей со своей единственной дочерью в особняке на площади Собора Богоматери.

Дверь балкона, на котором сидели молодые девушки, вела в богатый покой, обитый желтой фламандской кожей с тисненым золотым узором. Параллельно пересекавшие потолок балки веселили глаз тысячей причудливых лепных украшений, раскрашенных и позолоченных. Там и сям на резных ларях отливала всеми цветами радуги роскошная эмаль; фаянсовая кабанья голова увенчивала великолепный поставец, высота которого свидетельствовала о том, что хозяйка была женой или вдовой поместного дворянина, имевшего свое знамя. В глубине покоя, близ камина, сверху донизу покрытого гербами и эмблемами, в роскошном, обитом алым бархатом кресле сидела г-жа де Гонделорье, пятидесятилет-

няя женщина, о возрасте которой можно было догадаться и по ее лицу, и по ее одежде.

Возле нее стоял молодой человек, довольно представительный, но несколько фатоватый и самодовольный, — один из тех красавцев-мужчин, которыми единодушно восхищаются женщины, хотя люди серьезные и физиономисты, глядя на них, пожимают плечами. Этот молодой дворянин был одет в блестящий мундир начальника королевских стрелков, настолько походивший на костюм Юпитера, уже описанный нами в первой части этого рассказа, что мы можем не утомлять читателя вторичным его описанием.

Благородные девицы сидели кто в комнате, кто на балконе, одни — на обитых утрехтским бархатом четырехугольных с золотыми углами подушках, другие — на дубовых скамьях, украшенных резными цветами и фигурами. У каждой на коленях лежал край большого вышивания по канве, над которым они все вместе работали и добрая половина которого спускалась на циновку, покрывавшую пол.

Они переговаривались тем полушепотом, с тем придушенным смешком, которые свойственны молодым девушкам, когда среди них находится молодой человек. Однако молодой человек, одно-

го присутствия которого было достаточно, чтобы подстрекнуть в них чувство женского самолюбия, сам, казалось, весьма мало об этом заботился и, в то время как прекрасные девицы наперебой старались обратить на себя его внимание, был преимущественно занят тем, что полировал замшевой перчаткой пряжку своей портупеи.

По временам хозяйка тихонько заговаривала с ним, и он охотно, но с какой-то неловкой и принужденной любезностью отвечал ей. По улыбкам, по незаметным условным знакам, по быстрым взглядам г-жи Алоизы, которые она, тихо разговаривая с капитаном, бросала в сторону своей дочери Флёр-де-Лис, нетрудно было догадаться, что речь шла о состоявшейся помолвке или о предстоящем в скором времени бракосочетании молодого человека с Флёр-де-Лис. А по холодности и смущению офицера было ясно, что ни о какой любви, с его стороны во всяком случае, тут не могло быть и речи. Все черты его лица выражали чувство стесненности и скуки, которые наши гарнизонные подпоручики ныне великолепно перевели бы фразой: «Вот собачья повинность-то!»

Но достойная дама, очень гордившаяся своей дочерью, со свойственным матери ослеплением

не замечала равнодушия офицера и всеми силами старалась обратить его внимание на то, с каким изумительным совершенством Флёр-де-Лис втыкала иглу или распутывала моток ниток.

— Послушайте, милый кузен, взгляните же на нее! Вот она нагибается, — говорила она, притягивая его к себе за рукав, чтобы сказать ему это на ухо.

— Да, в самом деле, — отвечал молодой человек и снова впадал в свое ледяное и рассеянное молчание.

Минуту спустя ему снова приходилось наклоняться, и г-жа Алоиза шептала ему:

— Встречали ли вы когда-нибудь личико оживленнее и приветливее, чем у вашей нареченной? А этот нежный цвет лица и белокурые волосы! А ее руки! Разве это не само совершенство? А шейка! Разве своей восхитительной гибкостью она не напоминает вам лебедя? Как я порой вам завидую! Как вы должны быть счастливы, что родились мужчиной, повеса вы этакий! Ведь правда, красота моей Флёр-де-Лис достойна обожания и вы влюблены в нее без памяти?

— Конечно, — отвечал он, думая о чем-то постороннем.

— Ну поговорите же с ней, — вдруг сказала г-жа

Алоиза, легонько толкая его в плечо. — Скажите ей что-нибудь. Вы стали что-то очень застенчивы.

Мы можем уверить нашего читателя, что застенчивость отнюдь не была ни добродетелью, ни пороком капитана. Он, однако, попытался исполнить то, что от него требовали.

— Прекрасная кузина, — сказал он, подойдя к Флёр-де-Лис, — что изображает рисунок вышивки, над которой вы работаете?

— Прекрасный кузен, — с легкой досадой ответила Флёр-де-Лис, — я уже три раза объясняла вам, что это грот Нептуна.

Очевидно, Флёр-де-Лис понимала гораздо лучше, чем ее мать, что означает рассеянность и холодность капитана. Он почувствовал необходимость как-нибудь продолжить разговор:

— А для кого предназначается вся эта нептунология?

— Для аббатства Сент-Антуан-де-Шан, — не глядя на него, ответила Флёр-де-Лис.

Капитан приподнял уголок вышивки.

— А кто такой, моя прелестная кузина, этот здоровенный латник, который изо всех сил дует в трубу?

— Это Тритон, — ответила она.

В отрывистых ответах Флёр-де-Лис чувствовалась досада. Молодой человек понял, что необходимо шепнуть ей что-нибудь на ухо: какую-нибудь любезность, вздор — все равно. Он наклонился к ней и сказал:

— Почему ваша матушка все еще носит украшенную гербами робу, как носили наши бабки при Карле Седьмом? Скажите ей, прекрасная кузина, что теперь это уже не в моде и что крюк и лавр[94], вышитые в виде герба на ее платье, придают ей вид ходячего каминного украшения. Теперь не принято восседать на своих гербах, клянусь вам!

Флёр-де-Лис подняла на него свои прекрасные глаза, полные укоризны.

— И это все, в чем вы мне можете поклясться? — тихим голосом спросила она.

А в это время достойная г-жа Алоиза, восхищенная тем, что они наклонились друг к другу и о чем-то шепчутся, проговорила, играя застежками своего Часослова:

— Какая трогательная картина любви!

Смутившись еще больше, капитан снова устремил свое внимание на вышивку.

---

[94] Примечания: 94

Игра слов: фамилия *Gondelaurier* (Гонделорье) состоит из слов: *gond* — крюк и *laurier* — лавровое дерево.

— Вот, право, очаровательная работа! — воскликнул он.

При этом замечании Коломба де Гайльфонтен, другая красавица-блондинка с нежной кожей, затянутая в голубой дамасский шелк, осмелилась, обратившись к Флёр-де-Лис, застенчиво вставить свое слово в надежде, что красавец-капитан и на нее обратит внимание:

— Дорогая Гонделорье, а вы видели вышивки в особняке на Рош-Гийон?

— Это тот самый особняк, за оградой которого находится садик кастеляншш Лувра? — спросила, смеясь, Диана де Кристейль; у нее были прелестные зубы, и поэтому она смеялась при всяком удобном случае.

— И где стоит эта большая старинная башня, оставшаяся от древней ограды Парижа? — добавила Амлота де Монмишель, хорошенькая кудрявая цветущая брюнетка, имевшая привычку вздыхать так же, как ее подруга смеяться, сама не зная почему.

— Милая Коломба, вы, по-видимому, говорите об особняке господина де Беквиль, жившего при Карле Шестом? Да, действительно там были великолепные гобелены, — заметила г-жа Алоиза.

— Карл Шестой! Карл Шестой! — проворчал

себе под нос молодой капитан, покручивая усы. — Боже мой, какую старину помнит эта почтенная дама!

Госпожа Гонделорье продолжала:

— Да, да, прекрасные гобелены. И такой искусной работы, что они считаются редкостью!

В эту минуту Беранжера де Шаншеврие, тоненькая семилетняя девочка, глядевшая на площадь сквозь резные трилистники балконной решетки, воскликнула:

— О! Посмотрите, дорогая крестная Флёр-де-Лис, какая хорошенькая плясунья танцует на площади и бьет в бубен вон там, среди этих грубых горожан!

Действительно, слышна была звучная дробь бубна.

— Какая-нибудь цыганка из Богемии, — небрежно ответила Флёр-де-Лис, обернувшись к площади.

— Посмотрим! Посмотрим! — воскликнули ее резвые подруги, и все устремились к решетке балкона; Флёр-де-Лис, задумавшись над холодностью своего жениха, медленно последовала за ними, а тот, избавленный благодаря этому случаю от затруднительного для него разговора, занял вновь свое место в глубине комнаты

с довольным видом снятого с караула солдата. А между тем стоять на часах возле Флёр-де-Лис было очаровательной и приятной обязанностью; еще недавно он так и думал; но мало-помалу капитан пресытился этим, и близость предстоящего бракосочетания день ото дня все более охлаждала его пыл. К тому же у него был непостоянный характер и — следует ли признаться в этом? — пошловатый вкус. Несмотря на свое весьма знатное происхождение, он приобрел на военной службе немало солдафонских замашек. Ему нравились кабачки и все, что с ними связано. Он чувствовал себя совершенно непринужденно лишь там, где слышалась ругань, отпускались казарменные любезности, где красавицы были доступны и успех давался легко.

В семье ему дали некоторое образование и привили хорошие манеры, но он слишком юным покинул отчий дом, слишком юным попал на гарнизонную службу, и его дворянский лоск с каждым днем стирался от грубого прикосновения нагрудного ремня. Считаясь с общественным мнением, он посещал Флёр-де-Лис, но чувствовал себя с нею вдвойне стесненным: во-первых, потому что он растратил свой любовный пыл во всевозможных притонах, почти ничего не

оставив на долю невесты; во-вторых, потому что постоянно опасался, как бы его рот, привыкший извергать ругательства, не стал бы отпускать крепкие словца среди всех этих затянутых, благовоспитанных и чопорных красавиц. Можно себе представить, каково было бы впечатление!

Впрочем, все это сочеталось у него с большими притязаниями на изящество и на изысканность костюма и манер. Пусть читатель сам разберется во всем этом, как ему угодно, я же только историк.

Итак, некоторое время он стоял не то о чем-то размышляя, не то вовсе ни о чем не размышляя, и молчал, опершись о резной наличник камина, как вдруг Флёр-де-Лис, обернувшись к нему, спросила (в конце концов, бедная девушка была холодна с ним вопреки собственному сердцу):

— Милый кузен, вы, помнится, нам рассказывали о маленькой цыганочке, которую вы, делая ночной обход, вырвали из рук целой дюжины бродяг два месяца тому назад?

— Кажется, рассказывал, прелестная кузина, — отвечал капитан.

— Уж не она ли пляшет там, на площади? Подойдите-ка сюда и посмотрите, прекрасный кузен Феб.

В этом кротком приглашении подойти к ней, а равно и в том, что она назвала его по имени, сквозило тайное желание примирения. Капитан Феб де Шатопер (ибо именно его с самого начала этой главы видит перед собой читатель) медленно направился к балкону.

— Поглядите на малютку, что пляшет там, в кругу, — обратилась к нему Флёр-де-Лис, нежно тронув его за плечо. — Не ваша ли это цыганочка?

Феб взглянул и ответил:

— Да, я узнаю ее по козочке.

— Ах! В самом деле, какая прелестная козочка! — восторженно всплеснув руками, воскликнула Амлота.

— А что, ее рожки и правда золотые? — спросила Беранжера.

Не вставая с кресла, г-жа Алоиза спросила:

— Не из тех ли она цыганок, что в прошлом году пришли в Париж через Жибарские ворота?

— Матушка, — кротко заметила Флёр-де-Лис, — ныне эти ворота называются Адскими воротами.

Девица Гонделорье хорошо знала, до какой степени коробили капитана устаревшие выражения ее матери. И действительно, он начал уже посмеиваться, повторяя сквозь зубы: «Жибарские

ворота, Жибарские ворота! Скоро опять дело дойдет до короля Карла Шестого!»

— Крестная! — воскликнула Беранжера, живые глазки которой вдруг остановились на верхушке башни Собора Парижской Богоматери. — Что это за черный человек там, наверху?

Все взглянули вверх. Там действительно стоял какой-то человек, облокотившись на верхнюю балюстраду северной башни, выходившей на Гревскую площадь. Это был священник. Можно было ясно различить его одеяние и его лицо. Он стоял застывший, словно статуя, подперев подбородок рукой. Его пристальный взгляд был прикован к площади.

В своей неподвижности он напоминал коршуна, который приметил воробьиное гнездо и всматривается в него.

— Это архидьякон Жозасский, — сказала Флёр-де-Лис.

— У вас очень острое зрение, если вы отсюда узнали его! — заметила Гайльфонтен.

— Как он глядит на маленькую плясунью! — сказала Диана де Кристейль.

— Горе цыганке! — произнесла Флёр-де-Лис. — Он терпеть не может это племя.

— Очень жаль, если это так, — заметила Амлота

де Монмишель, — она чудесно пляшет.

— Прекрасный кузен Феб, — сказала внезапно Флёр-де-Лис, — вам эта цыганочка знакома. Сделайте ей знак, чтобы она пришла сюда. Это нас позабавит.

— О да! — воскликнули все девушки, захлопав в ладоши.

— Но это безумие, — ответил Феб. — Она, по всей вероятности, забыла меня, а я даже не знаю, как ее зовут. Но раз вам это угодно, сударыни, я все же попытаюсь. — И, перегнувшись через перила балкона, он крикнул: — Эй, малютка!

Плясунья как раз в эту минуту опустила бубен. Она обернулась в ту сторону, откуда послышался оклик, ее сверкающий взор остановился на Фебе, и она вдруг замерла на месте.

— Эй, малютка! — повторил капитан и поманил ее рукой.

Цыганка еще раз взглянула на него, затем так зарделась, словно в лицо ей пахнуло огнем, и, взяв свой бубен под мышку, медленной поступью, неуверенно, с помутившимся взглядом птички, поддавшейся чарам змеи, направилась сквозь толпу изумленных зрителей к двери дома, откуда ее звал Феб.

Мгновение спустя ковровая портьера при-

поднялась и на пороге появилась цыганка, раскрасневшаяся, смущенная, запыхавшаяся, потупив свои большие глаза, не осмеливаясь ступить ни шагу дальше.

Беранжера захлопала в ладоши.

Цыганка продолжала неподвижно стоять на пороге. Ее появление оказало на молодых девушек странное действие. Несомненно, что всеми ими владело смутное и бессознательное желание пленить красивого офицера, что мишенью их кокетства был его блестящий мундир и что, с тех пор как он был среди них, между ними началось тайное, глухое, едва сознаваемое ими соперничество, которое тем не менее ежеминутно сказывалось в их жестах и речах. Все они были одинаково красивы и потому сражались равным оружием; каждая из них могла надеяться на победу. Цыганка сразу нарушила это равновесие. Девушка отличалась такой поразительной красотой, что в ту минуту, когда она показалась на пороге, комнату словно озарило какое-то сияние. В этой тесной гостиной, в темной раме панелей и обоев она была несомненно прекраснее и блистательнее, чем на площади. Она была словно факел, внесенный со света во мрак. Знатные девицы были невольно ослеплены. Каждая из них

почувствовала себя уязвленной, и потому они без всякого предварительного сговора между собой (да простится нам это выражение!) тотчас же переменили фронт. Они отлично понимали друг друга. Инстинкт объединяет женщин гораздо быстрее, нежели разум — мужчин. Перед ними появился противник; это почувствовали все и сразу сплотились. Капли вина достаточно, чтобы окрасить целый стакан воды; чтобы испортить настроение целому собранию хорошеньких женщин, достаточно появления более красивой, в особенности если в их обществе всего лишь один мужчина.

Поэтому прием, оказанный цыганке, был удивительно холоден. Оглядев ее сверху донизу, они посмотрели друг на друга, и этим все было сказано! Все было понято без слов. Между тем молодая девушка ждала, что с ней заговорят, и была до того смущена, что не смела поднять ресниц.

Капитан первый нарушил молчание.

— Честное слово, — проговорил он своим самоуверенным и пошловатым тоном, — вот очаровательное создание! Что вы скажете, прелестная кузина?

Это замечание, которое более деликатный поклонник сделал бы вполголоса, не могло

способствовать тому, чтобы рассеять женскую ревность, насторожившуюся при появлении цыганки.

Флёр-де-Лис, с гримаской притворного пренебрежения, ответила капитану:

— Недурна!

Остальные перешептывались.

Наконец г-жа Алоиза, не менее встревоженная, чем другие, если не за себя, то за свою дочь, сказала:

— Подойди-ка поближе, малютка.

— Подойди поближе, малютка! — с комической важностью повторила Беранжера, едва доходившая цыганке до пояса.

Цыганка приблизилась к знатной даме.

— Прелестное дитя, — сделав в свою очередь несколько шагов ей навстречу, напыщенно произнес капитан, — не знаю, удостоюсь ли я высокого счастья быть узнанным вами…

Она прервала его, улыбнувшись ему и подняв на него взгляд, полный глубокой нежности.

— О да! — ответила она.

— У нее хорошая память, — заметила Флёр-де-Лис.

— Однако как вы быстро убежали в тот вечер, — продолжал Феб. — Разве я вас напугал?

— О нет! — ответила цыганка.

В том, как было произнесено это «о нет!» вслед за этим «о да!», был какой-то особенный оттенок, который задел Флёр-де-Лис.

— Вы вместо себя, моя прелесть, оставили мне какого-то угрюмого чудака, горбатого и кривого, кажется звонаря архиепископа, — продолжал капитан, язык которого тотчас же развязался в разговоре с уличной девчонкой. — Мне сказали, что он побочный сын какого-то архидьякона, а по природе своей — сам дьявол. У него потешное имя: его зовут не то «Великая пятница», не то «Вербное воскресенье», не то «Масленица», право, не помню. Одним словом, название большого праздника! И он имел смелость вас похитить, словно вы созданы для пономарей! Это уж слишком! Черт возьми, что от вас было нужно этому нетопырю? А, скажите?

— Не знаю, — ответила она.

— Какова дерзость! Какой-то звонарь похищает девушку, точно какой-нибудь виконт! Деревенский браконьер в погоне за дворянской дичью! Это неслыханно! Впрочем, он за это дорого поплатился. Мэтр Пьера́ Тортерю — самый крутой из конюхов, чистящих скребницей шкуру мошенников, и я могу вам сообщить, если только это

вам доставит удовольствие, что он очень ловко обработал спину вашего звонаря.

— Бедняга! — произнесла цыганка, в памяти которой эти слова воскресили сцену у позорного столба.

Капитан громко расхохотался.

— Ах, черт подери! Тут сожаление так же уместно, как перо в заду у свиньи. Пусть я буду брюхат, как папа, если… — Но тут он спохватился: — Простите, сударыни, я, кажется, сморозил какую-то глупость?

— Фи, сударь! — сказала Гайльфонтен.

— Он говорит языком этой особы! — заметила вполголоса Флёр-де-Лис, досада которой возрастала с каждой минутой. Эта досада отнюдь не уменьшилась, когда она заметила, что капитан, в восторге от цыганки, а еще больше от самого себя, повернулся на каблуках и с грубой простодушной солдатской любезностью повторил:

— Клянусь душой, прехорошенькая девчонка!

— Но в довольно диком наряде, — обнажая в улыбке свои прелестные зубы, сказала Диана де Крестейль.

Это замечание было лучом света для остальных. Оно обнаружило слабое место цыганки. Бессильные уязвить ее красоту, они набросились

на ее одежду.

— Что это тебе вздумалось, моя милая, — сказала Амлота де Монмишель, — шататься по улицам без шемизетки и косынки?

— А юбчонка такая короткая, что просто ужас! — добавила Гайльфонтен.

— За ваш золоченый пояс, милочка, — довольно кисло проговорила Флёр-де-Лис, — вас может забрать городская стража.

— Малютка, малютка, — присовокупила с жесткой усмешкой Кристейль, — если бы ты пристойным образом прикрыла плечи рукавами, они не загорели бы так на солнце.

Эти красавицы-девушки с их ядовитыми и злыми язычками, извивающиеся, скользящие, суетящиеся вокруг уличной плясуньи, представляли собою зрелище, достойное более тонкого ценителя, чем Феб. Эти грациозные создания были бесчеловечны. Со злорадством они разбирали ее убогий и причудливый наряд из блесток и мишуры. Смешкам, издевкам, унижениям не было конца. Градом сыпались на цыганку язвительные насмешки, выражения высокомерного доброжелательства и злобные взгляды. Их можно было принять за молодых римских патрицианок, для забавы втыкающих в грудь красивой

невольницы золотые булавки. Они напоминали изящных борзых на охоте: раздув ноздри, сверкая глазами, кружатся они вокруг бедной лесной лани, разорвать которую им запрещает строгий взгляд господина.

Да и что собой представляла жалкая уличная плясунья рядом с этими знатными девушками? Они нисколько не считались с ее присутствием и вслух говорили о ней, как о чем-то неопрятном, ничтожном, хотя и довольно красивом.

Цыганка не была нечувствительна к этим булавочным уколам. По временам румянец стыда окрашивал ее щеки и молния гнева вспыхивала в очах; слово презрения, казалось, готово было сорваться с ее уст, и на лице ее появлялась пренебрежительная гримаска, уже знакомая читателю. Но она молчала. Она стояла неподвижно и смотрела на Феба покорным, печальным взглядом. В этом взгляде таились счастье и нежность. Можно было подумать, что она сдерживала себя, боясь быть изгнанной отсюда.

А Феб посмеивался и вступался за цыганку с жалостью и нахальством.

— Не обращай на них внимания, малютка! — повторял он, позванивая своими золотыми шпорами. — Ваш наряд, конечно, немного стра-

нен и дик, но для такой хорошенькой девушки это ничего не значит!

— Боже мой! — воскликнула белокурая Гайльфонтен, с горькой улыбкой выпрямляя свою лебединую шейку. — Я вижу, что королевские стрелки довольно легко воспламеняются от прекрасных цыганских глаз!

— А почему бы и нет? — проговорил Феб.

При этом столь небрежном ответе, брошенном наудачу, как бросают подвернувшийся камешек, даже не глядя, куда он упадет, Коломба расхохоталась, за ней Диана, Амлота и Флёр-де-Лис, но у последней при этом выступили слезы.

Цыганка, опустившая глаза при словах Коломбы и Гайльфонтен, вновь устремила на Феба взор, сияющий гордостью и счастьем. В это мгновение она была поистине прекрасна.

Почтенная дама, наблюдавшая эту сцену, чувствовала себя оскорбленной и ничего не понимала.

— Пресвятая Дева! — вскрикнула она внезапно. — Что это путается у меня под ногами? Ах, мерзкое животное!

То была козочка, прибежавшая сюда в поисках своей госпожи; бросившись к ней, она по дороге запуталась рожками в том ворохе материи, в

который сбивались одежды благородной дамы, когда она садилась.

Это отвлекло внимание присутствующих от девушки. Цыганка молча высвободила козу.

— А! Вот и маленькая козочка с золотыми копытцами! — прыгая от восторга, воскликнула Беранжера.

Цыганка опустилась на колени и прижалась щекой к ласкавшейся к ней козочке. Она словно просила прощения за то, что покинула ее.

В это время Диана нагнулась к уху Коломбы:

— О боже мой, как же я не подумала об этом раньше? Ведь это цыганка с козой. Говорят, что она колдунья и что ее коза умеет выделывать всевозможные чудеса!

— Тогда, — сказала Коломба, — пусть коза тоже позабавит нас каким-нибудь чудом.

Диана и Коломба с живостью обратились к цыганке:

— Малютка, заставь-ка свою козу проделать какое-нибудь чудо.

— Я не понимаю вас, — ответила плясунья.

— Ну, какое-нибудь волшебство, колдовство, одним словом, чудо!

— Не понимаю.

И она опять принялась ласкать хорошенькое

животное, повторяя: «Джали! Джали!»

В это мгновение Флёр-де-Лис заметила расшитый кожаный мешочек, висевший на шее козочки.

— Что это такое? — спросила она у цыганки.

Цыганка подняла на нее свои большие глаза и серьезно ответила:

— Это моя тайна.

«Хотела бы я узнать, что у тебя за тайна», — подумала Флёр-де-Лис.

Между тем почтенная дама, встав с недовольным видом со своего места, сказала:

— Ну, цыганка, если ни ты, ни твоя коза не можете ничего проплясать, то что же вам здесь нужно?

Цыганка, не отвечая, медленно направилась к двери. Но чем ближе она подвигалась к выходу, тем медленнее становился ее шаг. Казалось, ее удерживал какой-то невидимый магнит. Внезапно, обратив свои влажные от слез глаза к Фебу, она остановилась.

— Клянусь Богом, — воскликнул капитан, — так уходить не полагается! Вернитесь и пропляшите нам что-нибудь. А кстати, душенька, как вас звать?

— Эсмеральда, — ответила плясунья, не отводя

от него взора.

При этом странном имени молодыми девушками овладел безумный приступ смеха.

— Какое ужасное имя для девушки! — воскликнула Диана.

— Вы видите теперь, что это колдунья! — сказала Амлота.

— Ну, милая моя, — торжественно произнесла г-жа Алоиза, — такое имя нельзя выудить из купели, в которой крестят младенцев.

Между тем Беранжера, неприметно для других, успела с помощью марципана заманить козочку в угол комнаты. Через минуту они уже подружились. Любопытная девочка сняла мешочек, висевший на шее у козочки, развязала его и высыпала на циновку содержимое. Это была азбука, каждая буква которой была написана отдельно на маленькой дощечке из букового дерева. Едва только эти игрушки рассыпались по циновке, как ребенок, к своему изумлению, увидел, что коза принялась за одно из своих «чудес»: она стала отодвигать золоченым копытцем определенные буквы и, потихоньку подталкивая, располагать их в известном порядке. Получилось слово, по-видимому, хорошо знакомое ей, — так быстро и без заминки она его составила. Восторженно

всплеснув руками, Беранжера воскликнула:

— Крестная, посмотрите-ка, что сделала козочка!

Флёр-де-Лис подбежала и вздрогнула. Разложенные на полу буквы составляли слово:

ФЕБ

— Это написала коза? — прерывающимся голосом спросила она.

— Да, крестная, — ответила Беранжера.

Сомневаться было невозможно: ребенок не умел писать.

«Так вот ее тайна!» — подумала Флёр-де-Лис.

На возглас ребенка прибежали все остальные: мать, молодые девушки, цыганка и офицер.

Цыганка увидела, какую оплошность сделала ее козочка. Она вспыхнула, затем побледнела и, словно уличенная в преступлении, вся дрожа, стояла перед капитаном, который глядел на нее с удивленной и самодовольной улыбкой.

— Феб! — шептали пораженные молодые девушки. — Но ведь это имя капитана!

— У вас отличная память! — сказала Флёр-де-Лис окаменевшей цыганке. Потом, разразившись рыданиями, она горестно пролепетала, закрыв лицо прекрасными руками: «О, это колдунья!» А в

глубине ее сердца какой-то еще более горестный голос прошептал: «Это соперница».

Флёр-де-Лис упала без чувств.

— Дочь моя! Дочь моя! — вскричала испуганная мать. — Убирайся вон, чертова цыганка!

Эсмеральда мигом подобрала злополучные буквы, сделала знак Джали, выбежала в одну дверь, между тем как Флёр-де-Лис выносили в другую.

Капитан Феб, оставшись в одиночестве, колебался с минуту, в какую дверь ему направиться, и последовал за цыганкой.

II. Священник и философ не одно и то же

Священник, которого молодые девушки заметили на верхушке северной башни и который так внимательно следил, перегнувшись через перила, за пляской цыганки, был действительно архидьякон Клод Фролло.

Наши читатели не забыли таинственной кельи, устроенной для себя архидьяконом в этой башне. (Между прочим, я не уверен в том, но, возможно, это та самая келья, внутрь которой можно заглянуть еще и теперь сквозь четырехугольное слуховое оконце, проделанное на высоте человеческого роста, с восточной стороны площадки, откуда устремляются ввысь башни собора. Ныне это — голая, пустая, обветшалая каморка, плохо оштукатуренные стены которой там и сям «украшены» отвратительными пожелтевшими гравюрами, изображающими фасады разных соборов. Надо полагать, что эту дыру населяют летучие мыши и пауки, а следовательно, там ведется двойная истребительная война против мух.)

Ежедневно за час до солнечного заката архидьякон поднимался по башенной лестнице и запирался в келье, порой проводя в ней целые ночи. В этот день, когда он, дойдя до низенькой двери своего убежища, вкладывал в замочную скважину замысловатый ключ, который он неизменно носил при себе в кошеле, висевшем у него на поясе, до его слуха долетели звуки бубна и кастаньет. Звуки эти неслись с Соборной площади. В келье, как мы уже упоминали, было только одно окошечко, выходящее на купол собора. Клод Фролло поспешно выдернул ключ из двери и минуту спустя стоял уже на верхушке башни в той мрачной и сосредоточенной позе, в которой его и заметили девицы.

Он стоял там, серьезный, неподвижный, поглощенный одним-единственным зрелищем, одной-единственной мыслью. Весь Париж расстилался у его ног, с тысячью шпилей своих стрельчатых зданий, с окружавшим его кольцом мягко очерченных холмов на горизонте, с рекой, змеившейся под мостами, с толпой, переливавшейся по улицам, с облаком своих дымков, с неровной цепью кровель, теснившей Собор Богоматери своими частыми звеньями. Но во всем этом городе архидьякон видел лишь один уголок

его мостовой — Соборную площадь; среди всей этой толпы лишь одно существо — цыганку.

Трудно было бы определить, что выражал этот взгляд и чем порожден горевший в нем пламень. То был взгляд неподвижный и в то же время полный смятения и тревоги. Судя по глубокому оцепенению всего тела, по которому лишь изредка, словно по дереву, сотрясаемому ветром, пробегал невольный трепет, по окостенелости локтей, более неподвижных, чем мрамор перил, служивший им опорой, по застывшей улыбке, искажавшей лицо, всякий сказал бы, что в Клоде Фролло в эту минуту жили одни только глаза.

Цыганка плясала. Она вертела бубен на кончике пальца и, танцуя провансальскую сарабанду, подбрасывала его в воздух; проворная, легкая, радостная, она не чувствовала тяжести страшного взгляда, падавшего на нее сверху.

Вокруг нее кишела толпа; время от времени какой-то мужчина, наряженный в желто-красную куртку, расширял около нее круг и затем вновь усаживался на стул в нескольких шагах от плясуньи, прижимая головку козочки к своим коленям. По-видимому, этот мужчина был спутником цыганки. Клод Фролло с той высоты, на которой находился, не мог ясно разглядеть черты

его лица.

Как только архидьякон заметил этого незнакомца, его внимание, казалось, раздвоилось между ним и плясуньей, и с каждой минутой он становился мрачнее. Внезапно он выпрямился, и по его телу пробежала дрожь.

— Что это за человек? — пробормотал он сквозь зубы. — Я всегда видел ее одну!

И, скрывшись под извилистыми сводами винтовой лестницы, он спустился вниз. Минуя приотворенную дверь звонницы, он заметил нечто, поразившее его: он увидел Квазимодо, который через щель одного из шиферных навесов, напоминающих громадные жалюзи, наклонившись, тоже смотрел на площадь. Он настолько ушел в созерцание, что даже не заметил, как мимо него прошел его приемный отец. Обычно угрюмый взгляд звонаря приобрел какое-то странное выражение. То был восхищенный и нежный взгляд.

— Как странно! — пробормотал Клод. — Неужели он так смотрит на цыганку?

Он продолжал спускаться. Через несколько минут озабоченный архидьякон вышел на площадь через дверь у подножия башни.

— А куда же девалась цыганка? — спросил он, смешавшись с толпой зрителей, привлеченных

звуками бубна.

— Не знаю, — ответил ему ближайший из них, — она куда-то исчезла. Вероятно, пошла плясать фанданго вон в тот дом напротив, откуда ее кликнули.

Вместо цыганки на том самом ковре, арабески которого еще за минуту перед тем исчезали под капризным узором ее пляски, архидьякон увидел человека, одетого в красное и желтое; желая в свою очередь заработать несколько серебряных монет, он прохаживался по кругу, упершись руками в бока, запрокинув голову, с багровым лицом, вытянутой шеей и держа в зубах стул. К этому стулу он привязал взятую напрокат у соседки кошку, громко выражавшую свой испуг и неудовольствие.

— Владычица! — воскликнул архидьякон, когда фигляр, на лбу которого выступили крупные капли пота, проносил мимо него свою пирамиду из кошки и стула. — Чем это занимается здесь мэтр Пьер Гренгуар?



Суровый голос архидьякона привел в такое замешательство бедного малого, что он со всем своим сооружением потерял равновесие, и среди

отчаянного гиканья стул с кошкой обрушился на головы зрителей.

Весьма вероятно, что мэтру Пьеру Гренгуару (ибо это был именно он) пришлось бы дорого поплатиться и за соседскую кошку, и за все ушибы и царапины окружавших его зрителей, если бы он не поторопился, воспользовавшись происшедшей суматохой, скрыться в церкви, куда Клод Фролло знаком пригласил его следовать за собой.

Внутри собора было уже пусто и сумрачно. Боковые приделы заволокло тьмой, а лампады мерцали как звезды, — так глубок был мрак, окутывавший своды. Лишь большая розетка фасада, разноцветные стекла которой купались в лучах заката, искрилась в темноте, словно груда алмазов, отбрасывая свой ослепительный спектр на другой конец нефа.

Пройдя немного вперед, отец Клод прислонился к одной из колонн и пристально взглянул на Гренгуара. Но это не был взгляд, которого боялся Гренгуар, пристыженный тем, что такая важная и ученая особа застала его в наряде фигляра. Во взоре священника не чувствовалось ни насмешки, ни иронии: он был серьезен, спокоен и проницателен. Архидьякон первый нарушил

молчание:

— Послушайте, мэтр Пьер, вы многое должны мне объяснить. Прежде всего, почему вас не было видно почти два месяца, а теперь вы появляетесь на перекрестках и в премилом костюме — нечего сказать! — наполовину желтом, наполовину красном, словно кодебекское яблоко?

— Мессир, — жалобно ответил Гренгуар, — это действительно необычный наряд, и я чувствую себя в нем ничуть не лучше кошки, которой надели бы на голову тыкву. Я сознаю, что с моей стороны очень скверно подвергать господ сержантов городской стражи риску обработать палками плечи философа-пифагорейца, скрывающегося под этой курткой. Но что поделаешь, достопочтенный учитель? Виноват в этом мой старый камзол, столь подло покинувший меня в самом начале зимы под тем предлогом, что он рассыпается в клочья и что ему необходимо отправиться на покой в корзину тряпичника. Что делать? Цивилизация еще не достигла той степени развития, когда можно было бы расхаживать нагишом, как того желал старик Диоген. Прибавьте к этому, что повеял очень холодный ветер и что январь — неподходящий месяц для успешного продвижения человечества на ту

новую ступень цивилизации. Тут подвернулась мне вот эта куртка. Я взял ее и незамедлительно сбросил мой старый черный кафтан, который для герметика, каковым я являюсь, был далеко не герметически закрыт. И вот я, наподобие блаженного Генесия, облачен в одежду жонглера. Что поделаешь! Это временное затмение моей звезды. Приходилось же Аполлону пасти свиней у царя Адмета!

— Недурное у вас ремесло! — заметил архидьякон.

— Я совершенно согласен с вами, учитель, что гораздо более почтенно философствовать, писать стихи, раздувать пламя в горне или доставать его с неба, нежели подымать на щит кошек. Поэтому-то, когда вы меня окликнули, я почувствовал себя глупее, чем осел перед вертелом. Но что делать, мессир! Ведь надо как-то перебиваться, а самые прекрасные александрийские стихи не заменят зубам куска сыра бри. Недавно я сочинил в честь Маргариты Фландрской известную вам эпиталаму, но город мне за нее не уплатил под тем предлогом, что она недостаточно совершенна. Как будто можно было за четыре экю сочинить трагедию Софокла! Я обречен был на голодную смерть. К счастью, у меня оказалась очень креп-

кая челюсть, и я сказал ей: «Показывай-ка твою силу и прокорми себя сама эквилибрическими упражнениями. Ale te ipsam»[95]. Шайка оборванцев, ставших моими добрыми приятелями, научила меня множеству различных атлетических штук, и ныне я каждый вечер отдаю моим зубам тот хлеб, который они в поте лица моего зарабатывают днем. Оно, конечно, concedo, я согласен, что это очень жалкое применение моих умственных способностей и что человек не создан для того, чтобы всю жизнь бить в бубен и таскать в зубах стулья. Но, почтенный учитель, мало того, что живешь, нужно еще поддерживать жизнь.

Отец Клод слушал молча. Внезапно его глубоко запавшие глаза приняли выражение такой проницательности и прозорливости, что Гренгуару показалось, будто этот взгляд перерыл его душу до самого дна.

— Все это очень хорошо, мэтр Пьер, но почему вы очутились в обществе цыганской плясуньи?

— Черт возьми! — ответил Гренгуар. — Да потому что она моя жена, а я ее муж.

Сумрачный взгляд священника загорелся.

---

[95] Примечания: 95
Прокорми себя сама *(лат.)*.

— И ты осмелился это сделать, несчастный? — вскричал он, яростно хватая руку Гренгуара. — Неужели Бог настолько отступился от тебя, что ты мог коснуться этой девушки?

— Если только это вас беспокоит, монсеньор, — весь дрожа, ответил Гренгуар, — то, клянусь спасением своей души, я никогда не прикасался к ней.

— Так что же ты болтаешь о муже и жене?

Гренгуар поспешил вкратце рассказать ему все то, о чем уже знает читатель: о своем приключении во Дворе чудес и о своем венчании с разбитой кружкой. Но до сих пор брак ни к чему не привел, так как цыганка каждый вечер, как и в первый раз, ловко обманывала его надежды на брачную ночь.

— Это досадно, — заключил он, — но причина этого в том, что я имел несчастье жениться на девственнице.

— Что вы этим хотите сказать? — спросил архидьякон, постепенно успокаиваясь во время рассказа Гренгуара.

— Это очень трудно вам объяснить, — ответил поэт, — это своего рода суеверие. Моя жена — как это объяснил мне один старый плут, которого у нас величают герцогом египетским, — подки-

дыш, или найденыш, что, впрочем, одно и то же. Она носит на шее талисман, который, как уверяют, поможет ей когда-нибудь отыскать своих родителей, но который утратит свою силу, как только девушка утратит целомудрие. Отсюда следует, что мы оба остаемся весьма целомудренными.

— Значит, мэтр Пьер, — спросил Клод, лицо которого все более и более прояснялось, — вы полагаете, что к этой твари еще не прикасался ни один мужчина?

— Что может мужчина поделать против суеверия, отец Клод? Она это вбила себе в голову. Полагаю, что эта монашеская добродетель, так свирепо себя охраняющая, — большая редкость среди этих цыганских девчонок, которых вообще легко приручить. Но у нее есть три покровителя: египетский герцог, взявший ее под свою защиту в надежде, вероятно, продать ее какому-нибудь проклятому аббату; затем все ее племя, которое чтит ее, точно Богородицу; и, наконец, крошечный кинжал, который плутовка носит всегда при себе, несмотря на запрещение господина прево, и который тотчас же появляется у нее в руках, как только обнимаешь ее за талию. Это настоящая оса, уверяю вас!

Архидьякон засыпал Гренгуара вопросами.

По мнению Гренгуара, Эсмеральда была безобидное и очаровательное существо. Она — красавица, когда не строит свою гримаску. Наивная и страстная девушка, не знающая жизни и всем увлекающаяся; она не имеет даже понятия о различии между мужчиной и женщиной — вот она какая! Дитя природы, она любит пляску, шум, жизнь под открытым небом; это женщина-пчела с невидимыми крыльями на ногах, живущая в каком-то постоянном вихре. Своим характером она обязана тому бродячему образу жизни, который она постоянно вела. Гренгуару удалось узнать, что, еще будучи ребенком, она исходила Испанию и Каталонию вплоть до Сицилии; он предполагал даже, что цыганский табор, в котором она жила, водил ее в Алжирское царство, лежавшее в Ахайе, а сия Ахайя граничит с одной стороны с маленькой Албанией и Грецией, а с другой — с Сицилийским морем, этим путем в Константинополь. Цыгане, по словам Гренгуара, были вассалами алжирского царя как главы всего племени белых мавров. Но достоверно было лишь то, что во Францию Эсмеральда пришла в очень юном возрасте через Венгрию. Из всех этих стран молодая девушка вынесла обрывки

странных наречий, иноземные песни и понятия, которые превращают ее речь в нечто столь же пестрое, как и ее полупарижский, полуафриканский наряд. Но жители тех кварталов, которые она посещает, любят ее за жизнерадостность, за приветливость, за живость, за ее пляски и песни. Она считает, что во всем городе ее ненавидят два человека, о которых она нередко говорит с содроганием: вретишница Роландовой башни, противная затворница, которая неизвестно почему таит злобу против всех цыганок и проклинает бедную плясунью всякий раз, когда та проходит мимо ее оконца, и какой-то священник при встрече с ней пугает ее своим взглядом и словами. Последняя подробность сильно взволновала архидьякона, но Гренгуар не обратил на это внимания, настолько двухмесячный промежуток времени успел изгладить из памяти беззаботного поэта странные подробности того вечера, когда он впервые встретил цыганку, и то обстоятельство, что при этом присутствовал архидьякон. Впрочем, маленькая плясунья ничего не боится: она ведь не занимается гаданием, и потому ей нечего опасаться обвинений в колдовстве, за что так часто судят цыганок. Помимо того, Гренгуар если и не был ей мужем, то во всяком случае за-

менял ей брата. В конце концов, философ весьма терпеливо сносил эту форму платонического супружества. Как-никак у него был кров и кусок хлеба. Каждое утро он, чаще всего вместе с цыганкой, покидал воровской квартал и помогал ей делать на перекрестках ежедневный сбор экю и мелкого серебра; каждый вечер он возвращался с нею под общий кров, не препятствовал ей запирать на задвижку дверь своей каморки и засыпал сном праведника. Существование это, говорил он, если вдуматься, было очень приятным и весьма располагало к мечтательности. К тому же, по совести говоря, философ не был твердо убежден в том, что безумно влюблен в цыганку. Он почти так же любил и ее козочку. Это очаровательное животное, кроткое, умное, понятливое — словом, ученая козочка. В Средние века такие ученые животные, восхищавшие зрителей и нередко доводившие своих учителей до костра, были весьма заурядным явлением. Но чудеса козочки с золотыми копытцами являлись самой невинной хитростью. Гренгуар объяснил их архидьякону, который с интересом выслушал все подробности. В большинстве случаев достаточно было то так, то этак повертеть бубном перед козочкой, чтобы заставить ее проделать желаемый фокус.

Обучила ее всему цыганка, обладавшая в этом тонком деле столь необыкновенным талантом, что ей достаточно было двух месяцев, чтобы научить козочку из отдельных букв складывать слово «Феб».

— Феб? — спросил священник. — Почему же Феб?

— Не знаю, — ответил Гренгуар. — Быть может, она считает, что это слово одарено каким-то магическим и тайным свойством. Она часто вполголоса повторяет его, когда ей кажется, что она одна.

— Вы уверены в том, что это слово, а не имя? — спросил Клод, проницательным взором глядя на Гренгуара.

— Чье имя? — спросил поэт.

— Кто знает, — ответил священник.

— Вот что я думаю, мессир! Цыгане отчасти огнепоклонники и боготворят солнце. Отсюда и взялось слово «Феб».

— Мне это не кажется столь ясным, как вам, мэтр Пьер.

— В сущности, меня это мало трогает. Пусть бормочет себе на здоровье своего «Феба», сколько ей заблагорассудится. Верно только то, что Джали любит меня уже почти так же, как и ее.

— Кто это Джали?

— Козочка.

Архидьякон подпер подбородок рукой и на мгновение задумался. Внезапно он круто повернулся к Гренгуару.

— И ты мне клянешься, что не прикасался к ней?

— К кому? — спросил Гренгуар. — К козочке?

— Нет, к этой женщине.

— К моей жене? Клянусь вам, нет!

— А ты часто бываешь с ней наедине?

— Каждый вечер не меньше часа.

Отец Клод нахмурил брови.

— О! О! Solus cum sola non cogitabuntur orare «Pater noster»[96].

— Клянусь душой, что я мог бы прочесть при ней и «Pater noster», и «Ave Maria», и «Credo in Deum patrem omnipotentem»[97], и она обратила бы на меня столько же внимания, сколько курица на церковь.

— Поклянись мне утробой твоей матери, что ты и пальцем не прикасался к этой твари, — с силой

---

[96] Примечания: 96

Мужчина с женщиной наедине не подумают читать «Отче наш» *(лат.)*.

[97] Примечания: 97

Начальные слова католических молитв.

повторил архидьякон.

— Я готов поклясться в этом и головой моего отца, поскольку между той и другой существует известное соотношение. Но, уважаемый учитель, разрешите и мне в свою очередь задать вам один вопрос.

— Спрашивай.

— Какое вам до всего этого дело?

Бледное лицо архидьякона вспыхнуло, как щеки молодой девушки. Некоторое время он молчал и затем с явным замешательством ответил:

— Слушайте, мэтр Пьер Гренгуар. Вы, насколько мне известно, еще не погубили свою душу. Я принимаю в вас участие и желаю вам добра. И вот, малейшее сближение с этой дьявольской цыганкой отдаст вас во власть сатаны. Вы ведь знаете, что именно плоть всегда губит душу. Горе вам, ежели вы приблизитесь к этой женщине! Вот и все.

— Я однажды было попробовал, — почесывая у себя за ухом, проговорил Гренгуар, — это было в первый день, да накололся на осиное жало.

— У вас хватило на это бесстыдства, мэтр Пьер?

И лицо священника омрачилось.

— В другой раз, — улыбаясь, продолжал по-

эт, — я, прежде чем лечь спать, приложился к замочной скважине и ясно увидел в одной сорочке прелестнейшую из всех женщин, под чьими обнаженными ножками когда-либо скрипела кровать.

— Убирайся к черту! — вперив в него страшный взгляд, крикнул священник и, толкнув изумленного Гренгуара в плечо, большими шагами прошел под самую темную из аркад собора.

III. Колокола

Со дня казни у позорного столба люди, жившие близ Собора Парижской Богоматери, заметили, что звонарский пыл Квазимодо значительно охладел. В былое время колокольный звон раздавался по всякому поводу: протяжный благовест — к заутрене и к повечерию, гул большого колокола — к поздней обедне, а в часы венчания и крестин — полнозвучные гаммы, пробегавшие по малым колоколам и переплетавшиеся в воздухе, словно узор из пленительных звуков. Древний храм, трепещущий и гулкий, был наполнен неизбывным весельем колоколов. В нем постоянно ощущалось присутствие шумного своевольного духа, певшего всеми этими медными устами. Но ныне дух словно исчез. Собор казался мрачным и охотно хранящим безмолвие. В праздничные дни и в дни похорон обычно слышался сухой, будничный, простой звон, как то полагалось по церковному уставу, но не более. Из того двойного гула, который исходит от церкви и рождается органом внутри и колоколами извне, остался лишь голос органа. Казалось, звонницы лишились своих музыкантов. А между тем Квазимодо все

еще обитал там. Что же произошло с ним? Быть может, в сердце его гнездились стыд и отчаяние, пережитые им у позорного столба; или все еще отдавались в его душе удары плети палача; или боль наказания заглушила в нем все, вплоть до его страсти к колоколам? А может статься, «Мария» обрела в его сердце соперницу и большой колокол с его четырнадцатью сестрами был забыт ради чего-то более прекрасного.

Случилось, что в год от Рождества Христова 1482-й день Благовещения, 25 марта, пришелся во вторник. И воздух был так чист тогда и прозрачен, что в сердце Квазимодо ожила былая любовь к колоколам. Он поднялся на северную башню, пока причетник раскрывал внизу настежь церковные двери, представлявшие собой в то время громадные створы из крепкого дерева, обтянутые кожей, прибитой по краям железными позолоченными гвоздями, и обрамленные скульптурными украшениями «сугубо искусной работы».

Войдя в верхнюю часть звонницы, он смотрел некоторое время на висевшие там шесть колоколов и грустно покачивал головой, словно сокрушаясь о том, что в его сердце между ним и его любимцами встало что-то чуждое. Но когда

он раскачал их, когда он почувствовал, как заколыхалась под его рукой вся эта гроздь колоколов, когда он увидел — ибо слышать он не мог, — как по этой звучащей лестнице, словно птичка, перепархивающая с ветки на ветку, вверх и вниз пробежала трепетная октава, когда демон музыки, этот дьявол, потряхивающий искристой связкой стретто, трелей и арпеджио, завладел несчастным глухим, тогда он вновь обрел счастье; он забыл все, и облегчение, испытываемое его сердцем, отразилось на его просветлевшем лице.

Он ходил взад и вперед, хлопал в ладоши, перебегал от одной веревки к другой, голосом и жестом подбадривая своих шестерых певцов — так дирижер оркестра воодушевляет искусных музыкантов.

— Ну! Габриэль, вперед! — говорил он. — Нынче праздник, затопи площадь звуками. Не ленись, Тибо! Ты отстаешь. Да ну же! Ты заржавел, бездельник, что ли? Так! Хорошо! Живей, живей, чтобы не видно было языка! Оглуши их всех, чтобы они стали, как я! Так, Тибо, молодчина! Гильом! Гильом! Ведь ты самый большой, а Паскье самый маленький, и все же он тебя обгоняет. Бьюсь об заклад, что те, кто может слышать, слышат его лучше, чем тебя! Хорошо, хорошо,

моя Габриэль! Громче, еще громче! Эй! Воробьи! Что вы там оба делаете на вышке? Вас вовсе не слышно. Это еще что за медные клювы? Они как будто зевают, вместо того чтобы петь! Извольте работать! Ведь нынче Благовещение. В такой отличный солнечный день и благовест должен звучать отлично! Бедняга Гильом, ты совсем запыхался, толстяк!

Он был совершенно поглощен колоколами, а они, все шестеро, подстрекаемые его окриками, подпрыгивали вперегонки, встряхивая своими блестящими крупами, точно шумная запряжка испанских мулов, то и дело подгоняемая уколами заостренной палки погонщика.

Внезапно, взглянув в просветы между широкими шиферными щитками, перекрывавшими проемы в отвесной стене колокольни, он увидел остановившуюся на площади молоденькую девушку в причудливом наряде, расстилавшую ковер, на который вспрыгнула козочка. Вокруг них уже собралась группа зрителей. Это зрелище круто изменило направление его мыслей и, подобно дуновению ветра, охлаждающему растопленную смолу, остудило его музыкальный пыл. Он выпустил из рук веревки, повернулся спиной к колоколам и присел на корточки позади

шиферного навеса, устремив на плясунью тот нежный, мечтательный и кроткий взор, который уже однажды поразил архидьякона. Забытые колокола сразу смолкли, к великому разочарованию любителей церковного звона, внимательно слушавших его с моста Менял и разошедшихся с тем чувством недоумения, которое испытывает собака, когда ей, показав кость, дают камень.

IV. Ἀνάγκη

Однажды, в погожее утро того же марта месяца, кажется в субботу, 29 числа, в день св. Евстафия, наш молодой друг, школяр Жеан Фролло Мельник, одеваясь, заметил, что карман его штанов, где лежал кошелек, не издает больше металлического звона.

— Бедный кошелек! — воскликнул он, вытаскивая его на свет божий. — Как! Ни одного су? Однако здорово же тебя выпотрошили кости, пиво и Венера! Ты совсем пустой, сморщенный, дряблый! Точно грудь ведьмы! Я спрашиваю вас, судари мои, Цицерон и Сенека, произведения которых в покоробленных переплетах валяются вон там на полу, я спрашиваю вас, какая мне польза, если я лучше любого начальника монетного двора или еврея с моста Менял знаю, что золотое экю с короной весит тридцать пять унций по двадцать пять су и восемь парижских денье каждая, что экю с полумесяцем весит тридцать шесть унций по двадцать шесть су и шесть турских денье каждая, — какая мне от этого польза, если у меня нет даже презренного лиара, чтобы поставить на двойную шестерку в кости? О консул

Цицерон, вот бедствие, из которого не выпутаешься пространными рассуждениями и всякими «quemadmodum» и «verum enim vero»![98]

Он продолжал одеваться. В то время как он уныло шнуровал башмаки, его осенила некая мысль, но он отогнал ее; однако она вновь вернулась, и он надел жилет наизнанку — явный признак сильнейшей внутренней борьбы. Наконец, в сердцах швырнув свою шапочку оземь, он воскликнул:

— Тем хуже! Будь что будет! Пойду к брату! Нарвусь на проповедь, зато раздобуду хоть одно экю.

Поспешно набросив на себя кафтан с подбитыми мехом широкими рукавами, он подобрал с пола шапочку и в совершенном отчаянии выбежал из дому.

Он спустился по улице Подъемного моста к Ситэ. Когда он проходил по улице Охотничьего рожка, восхитительный запах мяса, которое жарилось на непрестанно повертывавшихся вертелах, защекотал его обоняние. Он любовно взглянул на гигантскую съестную лавку, при виде которой у францисканского монаха Кала-

---

[98] Примечания: 98
«Каким образом» и «тем не менее» *(лат.)*.

тажирона однажды вырвалось сие патетическое восклицание: «Veramente, queste rotisserie sono cosa stupenda!»[99] Но Жеану нечем было заплатить за завтрак, и он, тяжело вздохнув, вошел под портик Пти-Шатле, громадный шестигранник массивных башен, охранявших вход в Ситэ.

Он даже не приостановился, чтобы, по принятому обычаю, швырнуть камнем в статую презренного Перине-Леклерка, сдавшего при Карле VI Париж англичанам, — преступление, за которое его статуя с лицом, избитым камнями и испачканным грязью, несла покаяние уже целых три столетия, стоя на перекрестке улиц Подъемного моста и Бюси, словно у вечного позорного столба.

Перейдя через Малый мост и быстро миновав Новую Сент-Женевьевскую улицу, Жеан де Молендино очутился перед Собором Парижской Богоматери. Тут им вновь овладела нерешительность, и некоторое время он прогуливался вокруг статуи господина Легри, повторяя с тоской:

— Проповедь — вне сомнения, а вот экю — сомнительно!

Он окликнул выходившего из собора причет-

---

[99] Примечания: 99
«Поистине эти харчевни изумительны!» *(ит.)*

ника:

— Где господин архидьякон Жозасский?

— Мне кажется, он в своей башенной келье, — ответил причетник, — и я вам не советую его беспокоить, если только, конечно, вы не посол от кого-нибудь вроде папы или короля.

Жеан захлопал в ладоши:

— Черт возьми! Вот прекрасный случай взглянуть на эту пресловутую колдовскую нору!

Это соображение заставило его решиться; он смело направился к маленькой темной двери и стал взбираться по винтовой лестнице Св. Жиля, ведущей в верхние ярусы башни.

«Клянусь Пресвятой Девой, — размышлял он по дороге, — прелюбопытная вещь, должно быть, эта каморка, которую мой уважаемый братец скрывает, точно свой срам. Говорят, что он разводит там адскую стряпню и варит на большом огне философский камень. Фу, дьявол! Мне этот философский камень так же нужен, как булыжник. Я предпочел бы увидеть на его очаге небольшую яичницу на сале, чем самый большой на свете философский камень!»

Добравшись до галереи с колоннами, он перевел дух, ругая бесконечную лестницу и призывая на нее миллионы чертей; затем, пройдя сквозь уз-

кую дверку северной башни, ныне закрытую для публики, он вновь стал подниматься вверх. Через несколько минут, миновав колокольную клеть, он увидел небольшую площадку, устроенную в боковом углублении, а под сводом — низенькую стрельчатую дверку. Свет, падавший из бойницы, пробитой против нее в круглой стене лестничной клетки, позволял разглядеть огромный замок и массивные железные скрепы. Те, кто в настоящее время поинтересуется взглянуть на эту дверь, узнают ее по надписи, выцарапанной белыми буквами на черной стене: «Я обожаю Корали. 1823. Подписано Эжен». «Подписано» значится в самом тексте.

— Уф! — вздохнул школяр. — Должно быть, здесь!

Ключ торчал в замке. Жеан стоял возле самой двери. Тихонько открыв ее, просунул в щель голову.

Читателю, несомненно, приходилось видеть великолепные произведения Рембрандта, этого Шекспира живописи. В числе его многих чудесных гравюр особо примечателен один офорт, изображающий, как полагают, доктора Фауста. На этот офорт нельзя смотреть без глубокого волнения. Пред вами мрачная келья. Посреди нее

стол, загроможденный странными предметами: это черепа, глобусы, реторты, циркули, пергаменты, покрытые иероглифами. Ученый сидит перед столом, облаченный в свою широкую мантию; меховая шапка надвинута на самые брови. Видна лишь верхняя половина его туловища. Он чуть привстал в своем огромном кресле, сжатые кулаки его опираются на стол. Он с любопытством и ужасом всматривается в светящийся широкий круг, составленный из каких-то магических букв и горящий на задней стене комнаты, как солнечный спектр в камере-обскуре. Это каббалистическое солнце словно дрожит и освещает сумрачную келью таинственным сиянием. Это и жутко и прекрасно!

Нечто похожее на келью доктора Фауста представилось глазам Жеана, когда он осторожно просунул голову в полуотворенную дверь. Это было такое же мрачное, слабо освещенное помещение. И здесь тоже стояло большое кресло и большой стол, те же циркули и реторты, скелеты животных, свисавшие с потолка, валяющийся на полу глобус, на манускриптах, испещренных буквами и геометрическими фигурами, — человеческие и лошадиные черепа вперемешку с бокалами, в которых мерцали пластинки золота,

груды огромных раскрытых фолиантов, наваленных один на другой без всякой жалости к ломким углам их пергаментных страниц, — словом, весь мусор науки; и на всем этом хаосе пыль и паутина. Но здесь не было ни круга светящихся букв, ни ученого, который восторженно созерцает огненное видение, подобно орлу, взирающему на солнце.

Однако же келья была обитаема. В кресле, склонившись над столом, сидел человек. Жеан, к которому человек этот сидел спиной, мог видеть лишь его плечи и затылок; но ему нетрудно было узнать эту лысую голову, на которой сама природа выбрила вечную тонзуру, как бы желая этим внешним признаком отметить неизбежность духовного призвания.

Итак, Жеан узнал брата. Но дверь распахнулась так тихо, что Клод не догадался о присутствии Жеана. Любопытный школяр воспользовался этим, чтобы не спеша оглядеть комнату. Большой очаг, которого он в первую минуту не заметил, находился влево от кресла под слуховым окном. Дневной свет, проникавший в это отверстие, пронизывал круглую паутину, которая изящно вычерчивала свою тончайшую розетку на стрельчатом верхе слухового оконца; в середине

ее неподвижно застыл архитектор-паук, точно ступица этого кружевного колеса. На очаге в беспорядке были навалены всевозможные сосуды, глиняные пузырьки, стеклянные двугорлые реторты, колбы с углем. Жеан со вздохом отметил, что сковородки там не было.

«Вот так кухонная посуда, нечего сказать!» — подумал он.

Впрочем, в очаге не было огня; казалось, что его давно уже здесь не разводили. В углу, среди прочей утвари алхимика, валялась забытая и покрытая пылью стеклянная маска, которая, по всей вероятности, должна была предохранять лицо архидьякона, когда он изготовлял какое-нибудь взрывчатое вещество. Рядом лежал не менее запыленный поддувальный мех, на верхней доске которого медными буквами была выведена надпись: SPIRA, SPERA[100].

На стенах, по обычаю герметиков, также были начертаны многочисленные надписи: одни — написанные чернилами, другие — выцарапанные металлическим острием. Буквы готические, еврейские, греческие, римские, романские перемешивались между собой, надписи как попало

---

[100] Примечания: 100
Дыши, надейся *(лат.)*.

перекрывали одна другую, более поздние заслоняли более ранние, и все это переплеталось, словно ветви кустарника, словно пики во время схватки. Поистине это было весьма беспорядочное столкновение всяких философий, всяких чаяний, всякой человеческой мудрости. То тут, то там выделялась какая-нибудь из этих надписей, блистая, словно знамя среди леса копий. Чаще всего это были краткие латинские или греческие изречения, которые так хорошо умели формулировать в Средние века: Unde? Inde? — Homo homini monstrum. — Astra, castra, nomen, numen. — Μέγα βιβλίον μέγα χαχόν. — Sapere aude. — Flat ubi vult[101] и пр. Иногда встречалось и лишенное видимого смысла слово Ἀναγχοφαγία[102], которое, быть может, таило в себе горький намек на монастырский режим; иногда — какое-нибудь простое правило духовной дисциплины, изложенное гекзаметром: Caelestem dominum, terrestrem dicito damnum[103]. Местами попадалась какая-то тара-

---

[101] Примечания: 101

Откуда? Оттуда? *(лат.)* Человек человеку зверь *(лат.)*. Звезда, лагерь, имя, божество *(лат.)*. Большая книга — большое зло *(греч.)*. Дерзай знать *(лат.)*. — Веет где хочет *(лат.)*.

[102] Примечания: 102

Пост *(греч.)*.

[103] Примечания: 103

Небесного называй господином, земного — погибелью *(лат.)*.

барщина на древнееврейском языке, в котором Жеан, не особенно сильный и в греческом, не понимал ни слова; и все это, где только возможно, перемежалось звездами, фигурами людей и животных, пересекающимися треугольниками, что придавало этой измаранной стене сходство с листом бумаги, по которому обезьяна водила пером, обильно напоенным чернилами.

Общий вид каморки производил впечатление заброшенности и запустения, а скверное состояние приборов заставляло предполагать, что хозяин ее уже давно отвлечен от своих трудов иными заботами.

А между тем хозяина этого, склонившегося над обширной рукописью, украшенной старинными рисунками, казалось, терзала какая-то мысль, которая непрестанно примешивалась к его размышлениям. Так, по крайней мере, заключил Жеан, услышав, как его брат раздумчиво, с перерывами, словно мечтатель, грезящий наяву, восклицал:

— Да, Ману говорит это, и Зороастр учит тому же: солнце рождается от огня, луна — от солнца. Огонь — душа Вселенной. Его первичные атомы, непрерывно струясь бесконечными потоками, изливаются на весь мир. В тех местах, где эти

потоки скрещиваются на небе, они производят свет; в точках своего пересечения на земле они производят золото. Свет и золото — одно и то же. Золото — огонь в твердом состоянии. Разница между видимым и осязаемым, между жидким и твердым состоянием одной и той же субстанции такая же, как между водяными парами и льдом. Не более того. Это отнюдь не фантазия — это общий закон природы. Но как применить к науке этот таинственный закон? Ведь свет, заливающий мою руку, — золото! Это те же самые атомы, но лишь разреженные по определенному закону; их надо только уплотнить на основании другого закона! Но как это сделать? Одни придумали закопать солнечный луч в землю. Аверроэс — да, это был Аверроэс — зарыл один из этих лучей под первым столбом с левой стороны в святилище Корана, в большой Кордовской мечети, но вскрыть этот тайник, чтобы увидеть, удался ли опыт, можно только через восемь тысяч лет.

«Черт возьми! — сказал про себя Жеан. — Долгонько же придется ему ждать своего экю!»

— …Другие полагают, — продолжал задумчиво архидьякон, — что лучше взять луч Сириуса. Но добыть этот луч в чистом виде очень трудно, так как по пути с ним сливаются лучи других звезд.

Фламель утверждает, что проще всего брать земной огонь. Фламель! Какое пророческое имя, Flamma![104] Да, огонь! Вот и все. В угле заключается алмаз, в огне — золото. Но как извлечь его оттуда? Мажистри утверждает, что существуют некоторые женские имена, обладающие столь нежными и таинственными чарами, что достаточно во время опыта произнести их, чтобы он удался. Прочтем, что говорит об этом Ману: «Где женщины в почете, там боги довольны; где женщин презирают, там бесполезно взывать к божеству. Уста женщины всегда непорочны; это струящаяся вода, это солнечный луч. Женское имя должно быть приятным, сладостным, неземным; оно должно оканчиваться на долгие гласные и походить на слова благословения». Да, мудрец прав, в самом деле: Мария, София, Эсмер… Проклятие! Опять! Опять эта мысль!

И он с силой захлопнул книгу.

Он провел рукой по лбу, словно отгоняя навязчивый образ. Затем взял со стола гвоздь и маленький молоток, рукоятка которого была причудливо разрисована каббалистическими знаками.

---

[104] Примечания: 104
Пламя *(лат.)*.

— С некоторых пор, — горько усмехаясь, сказал он, — все мои опыты заканчиваются неудачей. Одна мысль владеет мною и словно клеймит мой мозг огненной печатью. Я даже не могу разгадать тайну Кассиодора, светильник которого горел без фитиля и без масла. А между тем это сущий пустяк!

«Как для кого!» — пробурчал про себя Жеан.

— …Достаточно, — продолжал священник, — какой-нибудь одной несчастной мысли, чтобы сделать человека бессильным и безумным! О, как бы посмеялась надо мной Клод Пернель, которой не удалось ни на минуту отвлечь Никола Фламеля от его великого дела! Вот я держу в руке магический молот Зехиэля! Всякий раз, когда этот страшный раввин ударял в глубине своей кельи этим молотком по этому гвоздю, тот из его недругов, кого он обрекал на смерть, — будь он хоть за две тысячи лье, — уходил на целый локоть в землю. Даже сам король Франции за то, что однажды опрометчиво постучал в дверь этого волшебника, погрузился по колено в парижскую мостовую. Это произошло меньше чем три столетия назад. И что же! Этот молоток и гвоздь принадлежат теперь мне, но в моих руках эти орудия не более опасны, чем «живчик» в руках

кузнеца. А ведь все дело лишь в том, чтобы найти магическое слово, которое произносил Зехиэль, когда ударял по гвоздю.

«Пустячок!» — подумал Жеан.

— Ну-ка попытаемся! — воскликнул архидьякон. — В случае удачи я увижу, как из головки гвоздя сверкнет голубая искра. Эмен-хетан! Эмен-хетан! Нет, не то! Сижеани! Сижеани! Пусть этот гвоздь разверзнет могилу всякому, кто носит имя Феб!.. Проклятие! Опять! Вечно одна и та же мысль.

Он гневно отшвырнул молоток. Затем, низко склонившись над столом, глубоко уселся в кресло и, заслоненный его громадной спинкой, совершенно скрылся с глаз Жеана. В течение нескольких минут Жеану был виден лишь его судорожно сжатый кулак, застывший на странице какой-то книги. Внезапно Клод встал, схватил циркуль и молча вырезал на стене большими буквами греческое слово:

ΑΝΆΓΚΗ

— Он сошел с ума, — пробормотал Жеан, — гораздо проще написать Fatum[105] — ведь не все же

---

[105] Примечания: 105
Рок, судьба *(лат.)*.

обязаны знать по-гречески!

Архидьякон снова уселся в кресло и уронил голову на сложенные руки, подобно больному, чувствующему в ней тяжесть и жар.

Школяр с изумлением наблюдал за братом. Открывая свое сердце навстречу всем ветрам, следуя лишь одному закону — влечениям природы, дозволяя страстям своим изливаться по руслам своих наклонностей, Жеан, у которого источник сильных чувств пребывал неизменно сухим — так щедро каждое утро открывались для него все новые и новые стоки, — не понимал, не мог себе представить, с какой яростью бродит и кипит море человеческих страстей, когда ему некуда излиться, как оно переполняется, как вздувается, как рвется из берегов, как размывает сердце, как разражается внутренними рыданиями в безмолвных судорожных усилиях, пока наконец не прорвет свою плотину и не разворотит свое ложе. Суровая ледяная оболочка Клода Фролло, его холодная личина высокой недосягаемой добродетели вводили Жеана в заблуждение. Жизнерадостный школяр даже не подозревал, что в глубине покрытой снегом Этны таится кипящая, яростная лава.

Нам неизвестно, догадался ли он тут же об этом,

однако при всем его легкомыслии он понял, что подсмотрел то, чего ему не следовало видеть, что он застиг душу своего старшего брата в одном из самых сокровенных ее проявлений и что Клод не должен об этом знать. Заметив, что архидьякон снова застыл в неподвижности, Жеан бесшумно отступил назад и зашаркал перед дверью ногами, как человек, который только что пришел и предупреждает о своем приходе.

— Войдите! — крикнул внутри кельи голос архидьякона. — Я поджидаю вас! Я нарочно оставил ключ в замке, войдите же, мэтр Жак!

Школяр смело переступил порог. Архидьякон, которому подобный визит в этом месте был нежелателен, вздрогнул:

— Как, это вы, Жеан?

— Да, меня зовут тоже на «Ж», — отвечал румяный, дерзкий и веселый школяр.

Лицо Клода приняло свое обычное суровое выражение.

— Зачем вы явились сюда?

— Братец, — ответил школяр, с невинным видом вертя в руках свою шапочку и стараясь придать своему лицу приличное, жалобное и скромное выражение, — я пришел просить у вас…

— Чего?

— Некоторых наставлений, в которых я очень нуждаюсь. — Жеан не осмелился прибавить вслух: «...и немного денег, в которых я нуждаюсь еще больше!» Последняя часть фразы не была им оглашена вовсе.

— Сударь, — сказал архидьякон холодным тоном, — я очень недоволен вами.

— Увы! — вздохнул школяр.

Клод, полуобернувшись вместе со своим креслом, пристально взглянул на Жеана.

— Я очень рад вас видеть.

Вступление не предвещало ничего хорошего. Жеан приготовился к жестокой головомойке.

— Жеан, мне ежедневно приходится выслушивать жалобы на вас. Что это было за побоище, когда вы отколотили палкой молодого виконта Альбера де Рамоншана?

— О! — ответил Жеан. — Подумаешь, какая важность! Скверный парнишка забавлялся тем, что забрызгивал грязью школяров, пуская свою лошадь вскачь по лужам!

— А кто такой Майе Фаржель, на котором вы изорвали одежду? — продолжал архидьякон. — В

жалобе сказано: Tunicam dechiraverunt[106].

— Вот еще! Просто дрянной плащ одного из школяров Монтегю. Только и всего!

— В жалобе сказано tunicam, а не capretam[107]. Вы понимаете по-латыни?

Жеан молчал.

— Да, — продолжал священник, покачивая головой, — вот как теперь изучают науки и литературу! По-латыни еле-еле разумеют, сирийского языка не знают, а к греческому относятся с таким пренебрежением, что даже самых ученых людей, пропускающих при чтении греческое слово, не считают невеждами и говорят: Graecum est, non legitur[108].

Школяр взглянул на него с решительным видом.

— Брат мой, угодно вам, чтобы я на чистейшем французском языке прочел вам вот это греческое слово, написанное на стене?

— Какое слово?

— ’Ανάγκη.

---

[106] Примечания: 106
Разорвали рубаху *(на «кухонной» латыни).*

[107] Примечания: 107
Рубаху, а не плащ *(на «кухонной» латыни).*

[108] Примечания: 108
Это по-гречески, прочесть невозможно *(лат.).*

Легкая краска выступила на желтых скулах архидьякона, подобно клубу дыма, возвещающему о сотрясении в недрах вулкана. Но школяр этого не заметил.

— Хорошо, Жеан, — с усилием пробормотал старший брат. — Что же означает это слово?

— Рок.

Обычная бледность вернулась на лицо Клода, а школяр беззаботно продолжал:

— А слово, написанное пониже той же рукой: ’Αναγνεία, означает «скверна». Теперь вы видите, что я разбираюсь в греческом.

Архидьякон хранил молчание. Этот урок греческого языка заставил его задуматься.

Юный Жеан, обладавший лукавством балованного ребенка, счел этот момент подходящим, чтобы выступить со своей просьбой. Он начал самым умильным голосом:

— Добрый братец, неужели вы так сильно гневаетесь на меня, что оказываете мне суровый прием из-за нескольких жалких пощечин и затрещин, которые я надавал в честной схватке каким-то мальчишкам и карапузам, quibusdam marmosetis? Видите, братец Клод, латынь я тоже знаю.

Но все это вкрадчивое лицемерие не произвело

на старшего брата обычного действия. Цербер не поймался на медовый пряник. Ни одна морщина не разгладилась на лбу Клода.

— К чему вы все это клоните? — сухо спросил он.

— Хорошо, — храбро сказал Жеан. — Вот к чему. Мне нужны деньги.

При этом нахальном признании лицо архидьякона приняло наставнически-отеческое выражение.

— Вам известно, господин Жеан, что ленное владение в Тиршап приносит нам, включая арендную плату и доход с двадцати одного дома, всего лишь тридцать девять ливров, одиннадцать су и шесть парижских денье. Это, правда, в полтора раза больше, чем было при братьях Пакле, но все же это немного.

— Мне нужны деньги, — твердо повторил Жеан.

— Вам известно решение духовного суда о том, что все наши дома полностью как вассальное владение зависят от епархии и что откупиться от нее мы можем, не иначе как уплатив его преподобию епископу две серебряных позолоченных марки по шесть парижских ливров каждая. Этих денег я еще не накопил. Это тоже вам известно.

— Мне известно только то, что мне нужны деньги, — в третий раз повторил Жеан.

— А для чего?

Этот вопрос зажег луч надежды в глазах юноши. К нему вернулись его кошачьи ужимки.

— Послушайте, дорогой братец Клод, — сказал он, — я не обратился бы к вам, если бы у меня были дурные намерения. Я не собираюсь щеголять на ваши деньги в кабачках и прогуливаться по парижским улицам, наряженный в золотую парчу в сопровождении моего лакея, cum meo laquasio[109]. Нет, братец, я прошу денег на доброе дело.

— На какое это доброе дело? — несколько озадаченный, спросил Клод.

— Двое из моих друзей хотели бы купить приданое для ребенка одной бедной вдовы из общины Одри. Это акт милосердия. Требуется всего три флорина, и мне хотелось бы внести свою долю.

— Как зовут ваших друзей?

— Пьер Мясник и Батист Птицеед.

— Гм! — пробормотал архидьякон. — Вот имена, которые так же пристали доброму делу, как пушка алтарю.

---

[109] Примечания: 109

С моим лакеем *(на «кухонной» латыни).*

Несомненно, Жеан очень неудачно подобрал имена своих друзей, но он спохватился слишком поздно.

— А к тому же, — продолжал проницательный Клод, — что это за приданое, которое должно стоить три флорина? Да еще для ребенка благочестивой вдовы? С каких же это пор вдовы из этой общины стали обзаводиться грудными младенцами?

Жеан вторично попытался пробить лед.

— Так и быть, мне нужны деньги, чтобы пойти сегодня вечером к Изабо-ла-Тьери в Валь-д'Амур!

— Презренный развратник! — воскликнул священник.

— 'Αναγνεία, — прервал Жеан.

Это слово, заимствованное, быть может, не без лукавства со стены кельи, произвело на священника странное впечатление: он закусил губы и только покраснел от гнева.

— Уходите, — сказал он наконец Жеану, — я жду одного человека.

Школяр сделал последнюю попытку:

— Братец Клод, дайте мне хоть какую-нибудь мелочь, мне не на что пообедать.

— А на чем вы остановились в декреталиях Грациана?

— Я потерял свои тетради.

— Кого из латинских писателей вы изучаете?

— У меня украли мой экземпляр Горация.

— Что вы прошли из Аристотеля?

— А вспомните-ка, братец, кто из Отцов Церкви утверждает, что еретические заблуждения всех времен находили убежище в дебрях аристотелевской метафизики? Плевать мне на Аристотеля! Я не желаю, чтобы его метафизика поколебала мою веру.

— Молодой человек, — сказал архидьякон, — во время последнего въезда короля в город у одного из придворных, Филиппа де Комина, на попоне лошади был вышит его девиз: Qui non laborat, non manducet[110]. Поразмыслите над этим.

Опустив глаза и приложив палец к уху, школяр с сердитым видом помолчал с минуту. Внезапно, с проворством трясогузки, он повернулся к Клоду:

— Итак, любезный брат, вы отказываете мне даже в одном жалком су, на которое я могу купить кусок хлеба у булочника?

— Qui non laborat, non manducet.

При этом ответе неумолимого архидьякона Жеан закрыл лицо руками, словно рыдающая

---

[110] Примечания: 110

Кто не работает, пусть не ест *(лат.)*.

женщина, и голосом, исполненным отчаяния, воскликнул: «Ototototototoi!»

— Что это означает, сударь? — изумленный этой выходкой, спросил Клод.

— Извольте, я вам скажу! — отвечал школяр, подняв на него свои дерзкие глаза, которые он только что натер докрасна кулаками, чтобы они казались заплаканными. — Это по-гречески! Это анапест Эсхила, отлично выражающий отчаяние.

И он разразился таким задорным и таким раскатистым смехом, что заставил улыбнуться архидьякона. Клод почувствовал свою вину: к чему он так баловал этого ребенка?

— О добрый братец Клод, — снова заговорил Жеан, ободренный этой улыбкой, — взгляните на мои дырявые башмаки! Ботинок, у которого подошва просит каши, ярче свидетельствует о трагическом положении героя, нежели греческие котурны.

К архидьякону быстро вернулась его прежняя суровость.

— Я пришлю вам новые башмаки, но денег не дам, — сказал он.

— Ну хоть одну жалкую монетку! — умолял Жеан. — Я вызубрю наизусть Грациана, я буду

веровать в Бога, стану истинным Пифагором по части учености и добродетели. Но умоляю, хоть одну монетку! Неужели вы хотите, чтобы разверстая передо мной пасть голода, черней, зловонней и глубже, чем преисподняя, чем монашеский нос, пожрала меня?

Клод, нахмурившись, покачал головой:

— Qui non laborat…

Жеан не дал ему окончить.

— Ах так! — крикнул он. — Тогда к черту все! Да здравствует веселье! Я засяду в кабаке, буду драться, бить посуду, шляться к девкам!

Он швырнул свою шапочку о стену и прищелкнул пальцами, словно кастаньетами.

Архидьякон сумрачно взглянул на него:

— Жеан, у вас нет души.

— В таком случае у меня, если верить Эпикуру, отсутствует нечто, состоящее из чего-то, чему нет имени!

— Жеан, вам следует серьезно подумать о том, чтобы исправиться.

— Вот вздор! — воскликнул школяр, переводя взгляд от брата к ретортам на очаге. — Здесь все пустое — и мысли, и бутылки!

— Жеан, вы катитесь по наклонной плоскости. Знаете ли вы, куда вы идете?

— В кабак, — ответил Жеан.

— Кабак ведет к позорному столбу.

— Это такой же фонарный столб, как и всякий другой, и, может быть, именно с его помощью Диоген и нашел бы человека, которого искал.

— Позорный столб приводит к виселице.

— Виселица — коромысло весов, к одному концу которого подвешен человек, к другому — Вселенная! Даже лестно быть таким человеком.

— Виселица ведет в ад.

— Это всего-навсего жаркий огонь.

— Жеан, Жеан, вас ждет печальный конец.

— Зато начало было хорошее!

В это время на лестнице послышались чьи-то шаги.

— Тише, — проговорил архидьякон, приложив палец к губам, — вот и мэтр Жак. Послушайте, Жеан, — добавил он тихим голосом, — остерегайтесь когда-нибудь проронить хоть одно слово о том, что вы здесь увидите и услышите. Спрячьтесь под очаг — и ни звука!

Школяр скользнул под очаг; там его внезапно осенила блестящая мысль.

— Кстати, братец Клод, за молчание флорин.

— Тише. Обещаю.

— Дайте сейчас.

— На, бери! — сказал гневно архидьякон, швыряя ему кошелек.

Жеан забился глубже под очаг, и дверь распахнулась.

V. Два человека в черном

В келью вошел человек в черной мантии с хмурым лицом. Прежде всего поразил нашего приятеля Жеана (который, как это ясно для каждого, примостился в своем закутке таким образом, чтобы вволю можно было смотреть и слушать) поистине мрачный вид одежды и лица новоприбывшего. А между тем от всего его облика веяло какой-то вкрадчивостью, но вкрадчивостью кошки или судьи — приторной вкрадчивостью. Он был совершенно седой, в морщинах, лет шестидесяти; он щурил глаза, у него были белые брови, отвисшая нижняя губа и большие руки. Когда Жеан понял, что это, по-видимому, всего только какой-либо врач или судья и что у этого человека нос далеко отстоял ото рта — признак глупости, он отодвинулся подальше в угол, досадуя, что придется долго просидеть в такой неудобной позе и в таком неприятном обществе.

Архидьякон даже не привстал навстречу незнакомцу. Он сделал ему знак присесть на стоявшую около двери скамейку и, помолчав немного, словно додумывая какую-то мысль, слегка покровительственным тоном сказал:

— Здравствуйте, мэтр Жак.

— Мое почтение, мэтр! — ответил человек в черном. В тоне, которым было произнесено это «мэтр Жак» одним из них и «мэтр» — другим, приметна была та разница, какая слышна, когда произносится «сударь» и «господин» и «domne», «domine». Несомненно, это была встреча ученого с учеником.

— Ну как? — спросил архидьякон после некоторого молчания, которое мэтр Жак поостерегся нарушить. — Надеетесь вы на успех?

— Увы, мэтр, — печально улыбаясь, ответил гость, — я все еще продолжаю раздувать огонь. Пепла — хоть отбавляй, но золота — ни крупинки!

Клод сделал нетерпеливое движение.

— Я не об этом вас спрашиваю, мэтр Жак Шармолю, а о процессе вашего колдуна. По вашим словам, это Марк Сенен, казначей Высшей счетной палаты. Сознается он в колдовстве? Привела ли к чему-нибудь пытка?

— Увы, нет! — ответил мэтр Жак, все так же грустно улыбаясь. — Мы лишены этого утешения. Этот человек — кремень. Его нужно сварить живьем на Свином рынке, прежде чем он что-нибудь скажет, и, однако, мы ничем не пренебрегаем,

чтобы добиться правды. У него уже вывихнуты все суставы. Мы пускаем в ход всевозможные средства, как говорит старый забавник Плавт:

> *Advorsum stimulos, laminas, crucesque, compedesque,*
>
> *Nervos, catenas, carceres, numellas, pedicas, boias*[111].

Ничего не помогает. Это ужасный человек. Я понапрасну бьюсь над ним.

— Ничего нового не нашли в его доме?

— Как же! — ответил мэтр Жак, роясь в своем кошеле. — Вот этот пергамент. Тут есть слова, которые мы не понимаем. А между тем господин прокурор уголовного суда Филипп Лелье немного знает древнееврейский язык, которому он научился во время процесса евреев с улицы Кантерстен в Брюсселе. — Продолжая говорить, мэтр Жак развертывал свиток.

— Дайте-ка, — проговорил архидьякон и, взглянув на пергамент, воскликнул: — Чистейшее чернокнижие, мэтр Жак! «Эмен-хетан!» Это крик оборотней, прилетающих на шабаш. Per ipsum,

---

[111] Примечания: 111

Цепям и палкам вопреки, оковам, тюрьмам, дыбам, // Веревкам назло, кандалам, ошейникам, железкам *(лат.)*.

et cum ipso, et in ipso[112] — это заклинание, ввергающее дьявола с шабаша обратно в ад. Нах, рах, max[113] — относится к врачеванию: это заговор против укуса бешеной собаки. Мэтр Жак, вы — королевский прокурор церковного суда! Эта рукопись чудовищна!

— Мы вновь подвергнем пытке этого человека. Вот что еще мы нашли у Марка Сенена, — сказал мэтр Жак, роясь в своей сумке.

Это оказался сосуд, сходный с теми, которые загромождали очаг отца Клода.

— А, это алхимический тигель! — заметил архидьякон.

— Сознаюсь, — со своей робкой и принужденной улыбкой сказал мэтр Жак, — я испробовал его на очаге, но получилось не лучше, чем с моим.

Архидьякон принялся рассматривать сосуд.

— Что это он нацарапал на своем тигле? «Och! Och!» — слово, отгоняющее блох? Этот Марк Сенен — невежда! Ясно, что в этом тигле вам никогда не добыть золота! Он годится лишь на то, чтобы ставить его летом в вашей спальне.

— Если уж мы заговорили об ошибках, — сказал

---

[112] Примечания: 112
Через самого, и с самим, и в самом *(лат.)*.

[113] Примечания: 113
Бессмысленный набор слов.

королевский прокурор, — то вот что. Прежде чем подняться к вам, я рассматривал внизу портал; вполне ли вы уверены, ваше преподобие, в том, что со стороны Отель-Дье изображено начало работ по физике и что среди семи нагих фигур, находящихся у ног Божьей Матери, фигура с крылышками на пятках изображает Меркурия?

— Да, — ответил священник, — так пишет Августин Нифо, итальянский ученый, которому покровительствовал обучивший его бородатый демон. Впрочем, сейчас мы спустимся вниз, и я вам все это разъясню на месте.

— Благодарю вас, мэтр, — кланяясь до земли, ответил Шармолю. — Кстати, я чуть было не запамятовал! Когда вам будет угодно, чтобы я распорядился арестовать маленькую колдунью?

— Какую колдунью?

— Да хорошо вам известную цыганку, которая, несмотря на запрещение духовного суда, приходит всякий день плясать на Соборную площадь! У нее есть еще какая-то одержимая дьяволом коза с бесовскими рожками, которая читает, пишет, знает математику не хуже Пикатрикса. Из-за нее одной следовало бы перевешать все цыганское племя. Обвинение составлено. Суд не затянется, не сомневайтесь! А хорошенькое создание эта

плясунья, ей-богу! Какие великолепные черные глаза, точно два египетских карбункула! Так когда же мы начнем?

Архидьякон был страшно бледен.

— Я скажу вам когда, — еле слышно пробормотал он. Затем с усилием прибавил: — Пока займитесь Марком Сененом.

— Будьте спокойны, — улыбаясь, ответил Шармолю. — Вернувшись домой, я снова заставлю привязать его к кожаной скамье. Но только это дьявол, а не человек. Он доводит до изнеможения даже самого Пьера́ Тортерю, у которого ручищи посильнее моих. Как говорит этот добряк Плавт:

> Nudus vinctus, centum pondo, es quando pendes per pedes[114].

Допросим его на дыбе, это лучшее, что у нас есть! Он попробует и этого.

Казалось, отец Клод был погружен в мрачное раздумье. Он обернулся к Шармолю:

— Мэтр Пьера́… мэтр Жак, хотел я сказать, займитесь Марком Сененом.

— Да, да, отец Клод. Несчастный человек! Ему придется страдать, как Муммолю. Но что за дикая

---

[114] Примечания: 114

Голый весишь ты сто фунтов, если вешать за ноги *(лат.)*.

мысль отправиться на шабаш! Ему, казначею Высшей счетной палаты, следовало бы знать закон Карла Великого: Stryga vel masca![115] Что же касается малютки Смеральды, как они ее называют, то я буду ожидать ваших распоряжений. Ах да! Когда мы будем проходить под порталом, объясните мне, пожалуйста, что означает садовник на фреске у самого входа в церковь. Это, должно быть, Сеятель? Э, мэтр, над чем вы задумались?

Отец Клод, поглощенный своими мыслями, не слушал его. Шармолю проследил за направлением его взгляда и увидел, что глаза священника были устремлены на паутину, затягивающую слуховое окно. В этот момент какая-то легкомысленная муха, стремясь к мартовскому солнцу, ринулась сквозь эту сеть к стеклу и увязла в ней. Почувствовав сотрясение паутины, громадный паук, сидевший в самом ее центре, резким движением подскочил к мухе, перегнул ее пополам своими передними лапками, в то время как его отвратительный хоботок ощупывал ее головку.

— Бедная мушка! — сказал королевский прокурор церковного суда и потянулся, чтобы спасти муху. Архидьякон, как бы внезапно пробужден-

---

[115] Примечания: 115
Колдунья или ведьма! *(лат.)*

ный, судорожным движением удержал его руку.

— Мэтр Жак! — воскликнул он. — Не перечьте судьбе!

Прокурор испуганно обернулся. Ему почудилось, будто руку его сжали железные клещи. Неподвижный, свирепый, сверкающий взгляд архидьякона был прикован к ужасной маленькой группе — мухе и пауку.

— О да, — продолжал священник голосом, который, казалось, исходил из самых недр его существа, — вот символ всего! Она летает, она ликует, она только что родилась; она жаждет весны, вольного воздуха, свободы! О да! Но стоит ей столкнуться с роковой розеткой, и оттуда вылезает паук, отвратительный паук! Бедная плясунья! Бедная обреченная мушка! Не мешайте, мэтр Жак, это судьба! Увы, Клод, и ты паук! Но в то же время ты и муха! Клод, ты летел навстречу науке, свету, солнцу, ты стремился только к простору, к яркому свету вечной истины; но, бросившись к сверкающему оконцу, выходящему в иной мир, в мир света, разума и науки, ты, слепая мушка, безумец ученый, ты не заметил тонкой паутины, протянутой роком между светом и тобой, ты бросился в нее стремглав, несчастный глупец! И вот ныне, с проломленной головой и оторванными

крыльями, ты бьешься в железных лапах судьбы! Мэтр Жак! Мэтр Жак! Не мешайте пауку!

— Уверяю вас, что я не трону его, — ответил прокурор, глядя на него с недоумением. — Но, ради бога, отпустите мою руку, мэтр. У вас не рука, а тиски.

Но архидьякон не слушал его.

— О безумец! — продолжал он, неотрывно глядя на оконце. — Если бы тебе даже и удалось прорвать эту опасную паутину своими мушиными крылышками, то неужели же ты воображаешь, что выберешься к свету! Увы! Как преодолеть тебе потом это стекло, эту прозрачную преграду, эту хрустальную стену, несокрушимую, как адамант, отделяющую философов от истины? О тщета науки! Сколько мудрецов, стремясь к ней издалека, разбиваются об нее насмерть! Сколько научных систем сталкиваются и жужжат у этого вечного стекла!

Он умолк. Казалось, эти последние рассуждения незаметно отвлекли его мысли от себя самого, обратив их к науке, и это подействовало на него успокоительно. Жак Шармолю окончательно вернул его к действительности.

— Итак, мэтр, — спросил он, — когда же вы придете помочь мне добыть золото? Мне не терпится

достигнуть успеха.

Горько усмехнувшись, архидьякон покачал головой:

— Мэтр Жак, прочтите Михаила Пселла «Dialogus de energia et operatione daemonum»[116]. То, чем мы занимаемся, не так-то уж невинно.

— Тише, мэтр, я догадываюсь об этом! — сказал Шармолю. — Но что делать! Приходится понемногу заниматься и герметикой, когда ты всего лишь королевский прокурор церковного суда и получаешь жалованья тридцать турских экю в год. Однако давайте говорить потише.

В эту минуту шум жующих челюстей, донесшийся из-под очага, поразил настороженный слух Шармолю.

— Что это? — спросил он.

То был школяр, который, изнывая от скуки и усталости в своем тайничке, вдруг обнаружил там черствую корочку хлеба с огрызком заплесневелого сыра и, не стесняясь, занялся ими, найдя в этом завтрак и утешение. Так как он был очень голоден, то, грызя свой сухарь и с аппетитом причмокивая, он производил сильный шум, возбудивший тревогу прокурора.

---

[116] Примечания: 116

«Диалог о силе и деятельности демонов» *(лат.)*.

— Это, должно быть, мой кот лакомится мышью, — поспешно ответил архидьякон.

Это объяснение удовлетворило Шармолю.

— Правда, мэтр, — отвечал он, почтительно улыбаясь, — у всех великих философов были свои домашние животные. Вы помните, что говорил Сервиус: «Nullus enim locus sine genio est»[117].

Однако Клод, опасаясь какой-нибудь новой выходки Жеана, напомнил своему почтенному ученику, что им еще предстоит вместе исследовать несколько изображений на портале, и они оба вышли из кельи, к большому облегчению школяра, который начал уже серьезно опасаться, как бы на его коленях не остался навеки отпечаток его подбородка.

---

[117] Примечания: 117

«У каждого места есть свой дух (гений)» *(лат.)*.

VI. Последствия, к которым могут привести семь прозвучавших на вольном воздухе проклятий

— Te Deum laudamus![118] — воскликнул Жеан, вылезая из своей дыры. — Наконец-то оба филина убрались! Ох! Ох! Гакс! Пакс! Макс! Блохи! Бешеные собаки! Дьявол! Я сыт по горло этой болтовней! В голове трезвон, точно в колокольне. Да еще этот затхлый сыр в придачу! Ну-ка поскорее вниз! Мошну старшего братца захватим с собой и обратим все эти монетки в бутылки!

Он с нежностью и восхищением заглянул в драгоценный кошелек, оправил на себе одежду, обтер башмаки, смахнул пыль со своих серых от золы рукавов, засвистел какую-то песенку, подпрыгнул, повернувшись на одной ноге, обследовал, нет ли еще чего-нибудь в келье, чем можно было бы поживиться, подобрал несколько валявшихся на очаге стеклянных амулетов, годных на то, чтобы подарить их вместо украшений Изабо-ла-Тьери, и наконец, толкнув дверь, которую брат его оставил незапертой — последняя его

---

[118] Примечания: 118

Тебя, Бога, хвалим! *(лат.)* — начало католического гимна.

поблажка — и которую Жеан тоже оставил открытой — последняя его проказа, — он, подпрыгивая, словно птичка, спустился по винтовой лестнице.

В потемках он толкнул кого-то, тот, ворча, посторонился; школяр решил, что налетел на Квазимодо, и эта мысль показалась ему до того забавной, что весь остальной путь по лестнице он бежал, держась за бока от смеха. Выскочив на площадь, он все еще продолжал хохотать.

Ступив на мостовую, он топнул ногой.

— О добрая и почтенная парижская мостовая! — воскликнул он. — Проклятые ступеньки! На них запыхались бы даже ангелы, восходившие по лестнице Иакова! Чего ради я полез в этот каменный бурав, который дырявит небо? Чтобы отведать обомшелого сыра да полюбоваться из слухового окна колокольнями Парижа?

Пройдя несколько шагов, он заметил обоих филинов, то есть Клода и мэтра Жака Шармолю, созерцавших какое-то изваяние портала. Он на цыпочках приблизился к ним и услышал, как архидьякон тихо говорил Шармолю:

— Этот Иов на камне цвета ляпис-лазури с золотыми краями был вырезан по приказанию епископа Гильома Парижского. Иов знаменует собою философский камень. Чтобы стать

совершенным, он должен тоже подвергнуться испытанию и мукам. Sub conservatione formae specificae salva anima[119], — говорит Раймонд Луллий.

— Ну, меня это не касается, — пробормотал Жеан, — кошелек-то ведь у меня.

В эту минуту он услышал, как чей-то громкий и звучный голос позади него разразился целой серией ужасающих проклятий.

— Чертово семя! К чертовой матери! Черт побери! Провалиться ко всем чертям! Пуп Вельзевула! Клянусь папой! Гром и молния!

— Клянусь душой, — воскликнул Жеан, — так ругаться может только мой друг капитан Феб!

Имя Феба долетело до слуха архидьякона в ту самую минуту, когда он объяснял королевскому прокурору значение дракона, опустившего свой хвост в чан, из которого выходит в облаке дыма голова короля. Клод вздрогнул, прервал, к великому изумлению Шармолю, свои объяснения, обернулся и увидел своего брата Жеана, подходившего к высокому офицеру, стоявшему у дверей дома Гонделорье.

Действительно, это был господин капитан Феб

---

[119] Примечания: 119
При сохранении своей формы душа остается невредимой *(лат.)*.

де Шатопер. Он стоял, прислонившись к углу дома своей невесты, и безбожно ругался.

— Честное слово, капитан Феб, — сказал Жеан, касаясь его руки, — ну и мастер же вы ругаться!

— Поди к черту! — ответил капитан.

— Сам поди туда же! — возразил школяр. — Однако скажите, любезный капитан, что это вас прорвало таким красноречием?

— Простите, дружище Жеан, — ответил Феб, пожимая ему руку. — Ведь вы знаете, что если уж пустилась лошадь вскачь, то сразу не остановится. А я ведь ругался галопом. Я только что удрал от этих жеманниц. И каждый раз, когда я выхожу от них, у меня полон рот проклятий. Мне необходимо их изрыгнуть, иначе я задохнусь! Убей меня гром!

— Не хотите ли выпить? — спросил школяр.

Это предложение успокоило капитана.

— Не прочь, но у меня ни гроша.

— А у меня есть!

— Ба! Неужели?

Жеан величественным и вместе с тем простодушным жестом раскрыл перед капитаном кошелек. Тем временем архидьякон, который покинул остолбеневшего от изумления Шармолю, приблизился к ним и остановился в нескольких

шагах, наблюдая за ними. Молодые люди не обратили на это никакого внимания, настолько они были поглощены созерцанием кошелька.

— Жеан, — воскликнул Феб, — кошелек в вашем кармане — это все равно что луна в ведре с водою. Ее видно, но ее там нет. Только отражение! Черт возьми! Держу пари, что там камешки!

Жеан ответил холодно:

— Вот они, камешки, которыми я набиваю свой карман.

И, не прибавив к этому ни слова, он с видом римлянина, спасающего отечество, высыпал содержимое кошелька на ближайшую тумбу.

— Истинный Господь, — пробормотал Феб, — щитки, большие беляки, малые беляки, два турских грошика, парижские денье, лиарды, настоящие, с орлом! Невероятно!

Жеан продолжал держаться с достоинством и невозмутимостью. Несколько лиардов покатились в грязь; капитан бросился было их поднимать, но Жеан удержал его:

— Фи, капитан Феб де Шатопер!

Феб сосчитал деньги и, торжественно повернувшись к Жеану, произнес:

— А знаете ли вы, Жеан, что здесь двадцать три парижских су? Кого это вы ограбили нынче

ночью на улице Перерезанных глоток?

Жеан откинул назад белокурую кудрявую голову и, высокомерно прищурив глаза, ответил:

— На то у нас имеется брат — полоумный архидьякон.

— Черт возьми! — воскликнул Феб. — Какой достойный человек!

— Идем выпьем, — предложил Жеан.

— Куда же мы пойдем? — спросил Феб. — В «Яблоко Евы»?

— Не стоит, капитан, пойдем лучше в кабачок «Старая наука» — ста раёв наука. Это почти ребус. Люблю такие названия.

— Наплевать на ребусы, Жеан! Вино лучше в кабачке «Яблоко Евы». А кроме того, там возле двери вьется на солнце виноградная лоза. Это меня развлекает, когда я пью.

— Ладно, пусть будет Ева с ее яблоком! — согласился школяр и, взяв под руку капитана, сказал: — Кстати, дражайший капитан, вы только что упомянули об улице Перерезанных глоток. Так не говорят. Мы уже не варвары. Надо говорить: улица Перерезанного горла.

И оба приятеля направились к «Яблоку Евы». Излишне упоминать о том, что предварительно они подобрали упавшие в грязь деньги и что

вслед за ними пошел и архидья-кон.

Он следовал за ними, мрачный и растерянный. Был ли этот Феб тем самым Фебом, чье проклятое имя после встречи с Гренгуаром вплеталось во все его мысли, — этого он не знал, но все же это был какой-то Феб, и этого магического имени достаточно было, чтобы архидьякон крадучись, словно волк, шел вслед за беззаботными друзьями, с напряженным вниманием прислушиваясь к их болтовне и следя за каждым их жестом. Впрочем, ничего не было легче, как подслушать их беседу: они говорили во весь голос, мало стесняясь того, что приобщали прохожих к своим излияниям. Они болтали о дуэлях, девках, попойках, сумасбродствах.

На углу одной из улиц с перекрестка донесся звук бубна. Клод услышал, как офицер сказал школяру:

— Гром и молния! Поспешим!

— Почему?

— Боюсь, как бы меня не заметила цыганка.

— Какая цыганка?

— Да та — малютка с козочкой.

— Смеральда?

— Она самая. Я все забываю ее чертово имя. Поспешим, а то она меня узнает. Мне не хочет-

ся, чтобы эта девчонка заговорила со мной на улице.

— А разве вы с ней знакомы, Феб?

Тут архидьякон увидел, как Феб ухмыльнулся и, наклонившись к уху школяра, что-то прошептал ему. Затем он разразился хохотом и с победоносным видом тряхнул головой.

— Неужели? — спросил Жеан.

— Клянусь душой! — отвечал Феб.

— Нынче вечером?

— Да, нынче вечером.

— И вы уверены, что она придет?

— Да вы с ума сошли, Жеан! Разве в этом можно сомневаться!

— Ну и счастливчик же вы, капитан Феб!

Архидьякон услышал весь этот разговор. Его зубы застучали, заметная дрожь пробежала по всему телу. На секунду он остановился, прислонившись, словно пьяный, к какой-то тумбе, и затем снова пошел вслед за веселыми гуляками.

Но когда он нагнал их, они уже во все горло распевали старинный припев:

В деревушке Каро все ребята
Попали в петлю, как телята.

VII. Монах-привидение

Знаменитый кабачок «Яблоко Евы» находился в Университетском квартале на углу улицы Круглого щита и улицы Жезлоносца. Он занимал в первом этаже дома довольно обширный и низкий зал, свод которого опирался посредине на толстый, выкрашенный в желтую краску деревянный столб. Повсюду столы, на стенах начищенные оловянные кувшины; множество гуляк, изобилие уличных женщин; окно на улицу, виноградная лоза у дверей и над дверью ярко размалеванный железный лист с изображением женщины и яблока, проржавевший от дождя и повертывавшийся на железном стержне при каждом порыве ветра. Это подобие флюгера, обращенного к мостовой, служило вывеской.

Вечерело. Перекресток был окутан мраком. Кабачок, озаренный множеством свечей, пылал издали, точно кузница во тьме. Сквозь разбитые стекла доносился звон стаканов, шум кутежа, божба, перебранка. В запотелом от жары большом окне мелькали какие-то смутные фигуры; время от времени из зала долетали звучные раскаты хохота. Прохожие, спешившие по своим

делам, старались проскользнуть мимо шумного окна, не заглядывая в него. Лишь изредка какой-нибудь мальчишка в лохмотьях, поднявшись на цыпочки и ухватившись за подоконник, бросал в залу старинный насмешливый стишок, которым в те времена дразнили пьяниц:

Того, кто пьян, того, кто пьян, – того в бурьян!

Все же какой-то человек неустанно прохаживался взад и вперед перед шумной таверной, не спуская с нее глаз и отходя от нее не дальше, чем часовой от своей будки. На нем был плащ, поднятый воротник которого скрывал нижнюю часть его лица. Он только что купил этот плащ у старьевщика по соседству с «Яблоком Евы», вероятно, для того, чтобы защитить себя от свежести мартовских вечеров, а быть может — чтобы скрыть свою одежду. Время от времени он останавливался перед тусклым окном в свинцовом решетчатом переплете, прислушивался, всматривался, топал ногой.

Наконец дверь кабачка распахнулась. Казалось, он только этого и ждал. Вышли двое гуляк. Сноп света, вырвавшийся из двери, на мгновение озарил их веселые лица. Человек в плаще перешел

на другую сторону улицы и, укрывшись в глубокой дверной арке, продолжал свои наблюдения.

— Гром и молния! — воскликнул один из бражников. — Сейчас пробьет семь часов! А ведь мне пора на свидание.

— Уверяю вас, — пробормотал заплетающимся языком его собутыльник, — я не живу на улице Сквернословия. Indignus qui inter mala verba habitat[120]. Жилье мое на улице Жеан Мягкий Хлеб, in vico Johannis-Pain-Mollet. Вы более рогаты, чем единорог, ежели утверждаете противное! Всякому известно: кто однажды оседлал медведя, тот ничего не боится! А ты, я вижу, охотник полакомиться, не хуже святого Жака Странноприимца.

— Жеан, друг мой, вы пьяны, — отвечал второй.

Но тот, пошатываясь, продолжал:

— Говорите что хотите, Феб, но давно доказано, что у Платона был профиль охотничьей собаки.

Несомненно, читатель уже узнал наших достойных приятелей, капитана и школяра. По-видимому, человек, стороживший их, хоронясь в тени, также узнал их, ибо он медленным шагом

---

[120] Примечания: 120
Позорно жить среди сквернословия *(лат.)*.

пошел за ними, повторяя все зигзаги, которые школяр заставлял описывать капитана, более закаленного в попойках и потому твердо державшегося на ногах. Внимательно прислушиваясь к их разговору, человек в плаще не проронил ни слова из следующей интересной беседы.

— Клянусь Вакхом! Постарайтесь же идти прямо, господин бакалавр. Ведь вам известно, что я должен вас покинуть. Уже семь часов. У меня свидание с женщиной.

— Отстаньте вы от меня! Я вижу звезды и огненные копья. А вы очень похожи на замок Дампмартен, который лопается со смеху.

— Клянусь бородавками моей бабушки! Нельзя же плести такую чушь! Кстати, Жеан, у вас еще остались деньги?

— Господин ректор, здесь нет никакой ошибки: parva boucheria означает «маленькая мясная лавка».

— Жеан, друг мой Жеан! Вы же знаете, что я назначил свидание малютке за мостом Святого Михаила, знаете, что я могу ее отвести только к шлюхе Фалурдель, живущей на мосту. А ведь ей надо платить за комнату. Старая карга с белыми усами не поверит мне в долг. Жеан, умоляю вас, неужели мы пропили все поповские деньги?

Неужели у нас не осталось ни одного су?

— Сознание полезно проведенных часов — это лакомая приправа к столу.

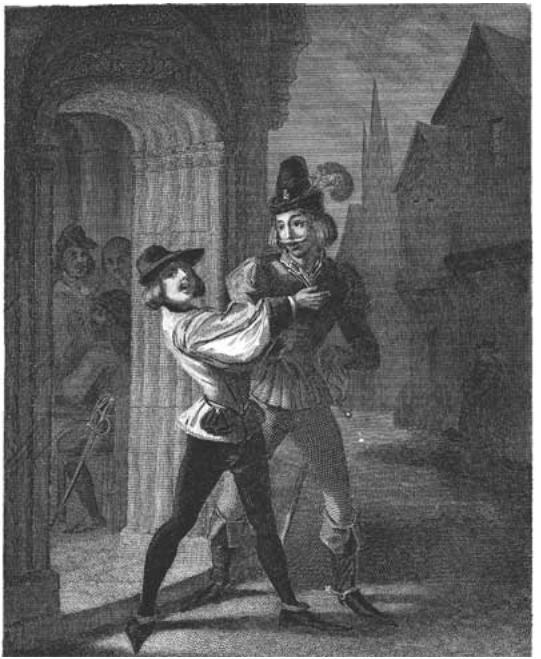
— Вот ненасытная утроба! Бросьте вы, наконец, ваши бредни! Скажите мне, чертова кукла, остались у вас деньги? Давайте их, или, ей-богу, я обыщу вас, будь вы прокляты проказой, как Иов, или паршой, как Цезарь!

— Сударь, улица Галиаш одним концом упирается в Стекольную улицу, а другим — в Ткацкую.

— Ну да, голубчик Жеан, мой бедный товарищ, улица Галиаш, это верно, совершенно верно! Но, во имя Неба, придите же в себя! Мне нужно всего-навсего одно парижское су к семи часам вечера.

— Заткните глотку и слушайте припев:

Если коты будут в брюхе крысином,
Станет в Аррасе король властелином;
Если безбурное море нежданно
Будет заковано льдом в день Иванов, —
Люди узрят, как по гладкому льду,
Бросив свой город, аррасцы пойдут.



— Ах ты, чертов школяр, чтоб тебе повеситься на кишках твоей матери! — воскликнул Феб и грубо толкнул пьяного школяра, который, скользнув вдоль стены, мягко шлепнулся на мостовую Филиппа Августа. Движимый остатком чувства братского сострадания, никогда не покидающего пьяниц, Феб ногой подкатил Жеана к одной из

тех «подушек бедняков», которые Провидение всегда держит наготове возле всех уличных тумб Парижа и которые богачи презрительно клеймят названием «мусорная куча». Капитан примостил голову Жеана на груде капустных кочерыжек, и школяр тотчас же захрапел великолепным басом. Однако досада еще не угасла в сердце капитана.

— Тем хуже, если тебя подберет чертова тележка! — обратился он к бедному, крепко уснувшему школяру и удалился.

Не отставaвший от него человек в плаще приостановился было перед храпевшим школяром, словно в нерешительности, но затем, тяжело вздохнув, последовал за капитаном.

По их примеру и мы, читатель, предоставим Жеану мирно спать под благосклонным покровом звездного неба и, если вы не возражаете, отправимся вслед за капитаном и человеком в плаще.

Выйдя на улицу Сент-Андре-Дезар, капитан Феб заметил, что кто-то его выслеживает. Случайно обернувшись, он увидел позади себя какую-то тень, крaвшуюся вдоль стен. Он приостановился, приостановилась и тень, он двинулся вперед, двинулась и тень. Это, впрочем, мало его встревожило. «Не беда! — подумал он. — Ведь у меня все

равно нет ни одного су!»

Он остановился перед фасадом Отенского коллежа. Именно в этом коллеже он получил начатки того, что сам называл образованием. По укоренившейся школьной привычке он никогда не мог миновать этого здания без того, чтобы не заставить статую кардинала Пьера Бертрана, стоявшую справа у входа, претерпеть тот род оскорбления, на которое так горько жалуется Приап в одной из сатир Горация: «Olim truncus eram ficulnus»[121]. Благодаря стараниям, вкладываемым капитаном в это дело, надпись «Eduensis episcopus»[122] почти совершенно смылась. Итак, он, по обыкновению, остановился. Улица была совершенно пустынна. Глазея по сторонам и небрежно завязывая свои тесемки, капитан заметил, что тень стала медленно к нему приближаться — так медленно, что он успел разглядеть на ней плащ и шляпу. Подойдя ближе, тень замерла; она казалась более неподвижной, чем изваяние кардинала Бертрана. Ее глаза, устремленные на Феба, горели тем неопределенным светом, который по ночам излучают кошачьи

---

[121] Примечания: 121
«Некогда я был фиговым стволом» *(лат.)*.

[122] Примечания: 122
«Епископ Эдуэнский» *(лат.)*, то есть Отенский.

зрачки.

Капитан не был трусом, и его мало испугал бы грабитель с клинком в руке. Но эта ходячая статуя, этот окаменелый человек леденил ему кровь. Ему смутно припомнились ходившие в то время россказни о каком-то привидении-монахе, ночном бродяге парижских улиц. Некоторое время он простоял в оцепенении и наконец, силясь усмехнуться, проговорил:

— Сударь, ежели вы вор, как мне кажется, то вы представляетесь мне цаплей, нацелившейся на ореховую скорлупу. Я, мой милый, сын разорившихся родителей. Обратитесь-ка лучше по соседству. В часовне этого коллежа среди церковной утвари хранится кусок дерева от Животворящего Креста.

Из-под плаща высунулась рука призрака и сжала руку Феба с неодолимой силой орлиных когтей. Тень заговорила:

— Вы капитан Феб де Шатопер?

— О черт! — воскликнул Феб. — Вам известно мое имя?

— Мне известно не только ваше имя, — ответил замогильным голосом человек в плаще, — я знаю, что нынче вечером у вас назначено свидание.

— Да, — ответил удивленный Феб.

— В семь часов.

— Да, через четверть часа.

— У Фалурдель.

— Совершенно верно.

— У потаскухи с моста Сен-Мишель.

— У святого Михаила Архангела, как говорится в молитвах.

— Нечестивец! — пробурчал призрак. — Свидание с женщиной?

— Confiteor[123].

— Ее зовут…

— Смеральдой, — развязно ответил Феб. Мало-помалу к нему возвращалась его всегдашняя беспечность.

При этом имени призрак яростно стиснул руку Феба:

— Капитан Феб де Шатопер, ты лжешь!

Тот, кто в эту минуту увидел бы вспыхнувшее лицо капитана, его стремительный прыжок назад, освободивший его из тисков, в которые он попался, тот надменный вид, с каким он схватился за эфес своей шпаги, кто увидел бы противостоящую этой ярости мертвенную неподвижность человека в плаще — тот содрогнулся

---

[123] Примечания: 123
Каюсь *(лат.)*.

бы от ужаса. Это напоминало поединок Дон Жуана со статуей командора.

— Клянусь Христом и Сатаной! — крикнул капитан. — Такие слова нечасто приходится слышать Шатоперам! Ты не осмелишься их повторить!

— Ты лжешь! — спокойно повторила тень.

Капитан заскрежетал зубами. Монах-привидение, суеверный страх перед ним — все было забыто в этот миг! Он видел лишь человека, слышал лишь оскорбление.

— А, вот как! Отлично! — задыхаясь от бешенства, пробормотал он. Выхватив шпагу из ножен, он, заикаясь, ибо гнев, подобно страху, бросает человека в дрожь, крикнул:

— Здесь! Не медля! Живей! Ну-ка! На шпагах! На шпагах! Кровь на мостовую!

Но призрак стоял неподвижно. Когда он увидел, что противник стал в позицию и готов сделать выпад, он сказал:

— Капитан Феб, — и голос его дрогнул от горечи, — вы забываете о вашем свидании.

Гнев людей, подобных Фебу, напоминает молочный суп: одной капли холодной воды достаточно, чтобы прекратить его кипение. Эти простые слова заставили капитана опустить сверкавшую в

его руке шпагу.

— Капитан, — продолжал незнакомец, — завтра, послезавтра, через месяц, через десять лет — я всегда готов перерезать вам горло, но сегодня идите на свидание!

— В самом деле, — сказал Феб, словно пытаясь убедить себя, — приятно встретить в час свидания и женщину, и шпагу — они стоят друг друга. Но почему я должен упустить одно из этих удовольствий, когда могу получить оба!

Он вложил шпагу в ножны.

— Спешите же на свидание, — повторил незнакомец.

— Сударь, — ответил, несколько смешавшись, Феб, — благодарю вас за любезность. Это верно, ведь мы и завтра успеем с вами наделать прорех и петель в костюме прародителя Адама. Я вам глубоко признателен за то, что вы дозволили мне провести приятно еще несколько часов моей жизни. Правда, я надеялся успеть уложить вас в канаву и попасть вовремя к прелестнице, тем более что заставить женщину немножко подождать даже служит в таких случаях признаком хорошего тона. Но вы произвели на меня впечатление смельчака, и потому правильнее будет отложить наше дело до завтра. Итак, я

отправляюсь на свидание. Как вам известно, оно назначено на семь часов. — Здесь Феб почесал за ухом. — Ах, черт! Я совсем запамятовал! Ведь у меня нет денег, чтобы расплатиться за нищенский чердак, а старая сводня потребует вперед. Она мне не поверит в долг.

— Уплатите вот этим.

Феб почувствовал, как холодная рука незнакомца сунула ему в руку крупную монету. Он не мог удержаться от того, чтобы не взять деньги и не пожать руку, которая их дала.

— Ей-богу, — воскликнул он, — вы славный малый!

— Только с одним условием, — проговорил человек. — Докажите мне, что я ошибался и что вы сказали правду. Спрячьте меня в каком-нибудь укромном уголке, откуда я мог бы увидеть, действительно ли это та самая женщина, чье имя вы назвали.

— О, пожалуйста! — ответил Феб. — Мне это совершенно безразлично! Я займу каморку святой Марты. Из соседней собачьей конуры вы будете отлично все видеть.

— Идемте же, — проговорил призрак.

— К вашим услугам, — ответил капитан. — Может быть, вы дьявол собственной персоной, но на

сегодняшний вечер мы друзья. Завтра я уплачу все: и долг моего кошелька, и долг моей шпаги.

Они быстро зашагали вперед. Через несколько минут шум реки возвестил им о том, что они вступили на мост Сен-Мишель, застроенный в те времена домами.

— Я прежде всего провожу вас, — сказал Феб своему спутнику, — а затем уже пойду за моей красоткой, которая должна ждать меня возле Пти-Шатле.

Спутник промолчал. За все время, что они шли бок о бок, он не вымолвил ни слова. Феб остановился перед низенькой дверью и громко постучал. Сквозь дверные щели мелькнул свет.

— Кто там? — крикнул шамкающий голос.

— Клянусь телом Господним! Головой Господней! Чревом Господним! — заорал капитан.

Дверь сразу распахнулась, и перед глазами обоих мужчин предстали старая женщина и старая лампа — обе одинаково дрожащие. Это была одетая в лохмотья сгорбленная старушонка с маленькими глазками и трясущейся головой, обмотанной какой-то тряпицей; ее руки, лицо и шея были изборождены морщинами; губы ввалились, рот окаймляли пучки седых волос, придававшие ее лицу сходство с кошачьей мордой.

Внутренность конуры была не лучше старухи. Беленные мелом стены, закопченные потолочные балки, развалившийся очаг, во всех углах паутина; посреди комнаты — скопище расшатанных столов и хромых скамей; грязный ребенок, копошившийся в золе очага; в глубине — лестница, или, точнее, деревянная лесенка, приставленная к люку в потолке.

Войдя в этот вертеп, таинственный спутник Феба прикрыл лицо плащом до самых глаз. Между тем капитан, сквернословя, словно сарацин, «заставил экю поиграть на солнышке», как говорит наш несравненный Ренье.

— Комнату святой Марты! — приказал он.

Старуха, величая его монсеньором, схватила экю и запрятала в ящик стола. Это была та самая монета, которую дал Фебу человек в черном плаще. Когда старуха отвернулась, всклокоченный и оборванный мальчишка, копавшийся в золе, ловко подобрался к ящику, вытащил из него экю, а на его место положил сухой лист, оторванный им от веника.

Старуха жестом пригласила обоих кавалеров, как она их называла, последовать за нею и первая стала взбираться по лесенке. Поднявшись на верхний этаж, она поставила лампу на сундук.

Феб уверенно, как завсегдатай этого дома, толкнул дверку, ведущую в темный чулан.

— Войдите сюда, любезный, — сказал он своему спутнику. Человек в плаще молча повиновался. Дверка захлопнулась за ним; он услышал, как Феб запер ее на задвижку и начал спускаться со старухой по лестнице. Стало совсем темно.

VIII. Как удобно, когда окна выходят на реку

Клод Фролло (мы предполагаем, что читатель, более догадливый, чем Феб, давно уже узнал в этом привидении архидьякона), итак, Клод Фролло несколько мгновений ощупью пробирался по темной каморке, где его запер капитан. То был один из закоулков, которые оставляют иногда архитекторы в месте соединения крыши с капитальной стеной. В вертикальном разрезе эта собачья конура, как ее удачно окрестил Феб, представляла собой треугольник. В ней не было окон и даже слухового оконца, а скат крыши мешал выпрямиться во весь рост. Клод присел на корточки среди пыли и мусора, хрустевшего у него под ногами. Голова его горела. Пошарив вокруг себя руками, он наткнулся на осколок стекла, валявшийся на земле, и приложил его ко лбу; холодок стекла несколько освежил его.

Что происходило в эту минуту в темной душе архидьякона? То ведомо было лишь Богу да ему самому.

В каком роковом порядке располагались в его

воображении Эсмеральда, Феб, Жак Шармолю, его любимый брат, брошенный им среди уличной грязи, его архидьяконская сутана, быть может, и его доброе имя, которым он пренебрег, идя к какой-то Фалурдель, и вообще все картины и события этого дня? Этого я сказать не могу. Но не сомневаюсь, что все эти образы сложились в его мозгу в чудовищное сочетание.

Он прождал четверть часа; ему казалось, что он состарился на сто лет. Вдруг он услышал, как заскрипели ступеньки деревянной лесенки; кто-то поднимался наверх. Дверца люка приоткрылась; показался свет. В источенной червями двери его боковуши была довольно широкая щель; он приник к ней лицом. Таким образом ему было видно все, что происходило в соседней комнате. Старуха с кошачьей мордой вошла первой, держа в руках фонарь; за ней следовал, покручивая усы, Феб, и, наконец, третьей появилась прелестная и изящная фигурка Эсмеральды. Словно ослепительное видение, возникла она перед глазами священника. Клод затрепетал, глаза его заволокло туманом, кровь закипела, все вокруг него загудело и закружилось. Он больше ничего не видел и не слышал.

Когда он пришел в себя, Феб и Эсмеральда были

уже одни; они сидели рядом на деревянном сундуке возле лампы, выхватывавшей из мрака их юные лица и жалкую постель в глубине чердака.

Близ постели находилось окно, сквозь разбитые стекла которого, как сквозь прорванную дождем паутину, виднелся клочок неба и вдали луна, покоящаяся на мягком ложе пушистых облаков.

Молодая девушка сидела пунцовая, смущенная, трепещущая. Ее длинные опущенные ресницы бросали тень на пылающие щеки. Офицер, на которого она не осмеливалась взглянуть, так и сиял. Машинально, очаровательно-неловким движением она чертила по сундуку кончиком пальца беспорядочные линии и глядела на этот пальчик. Ног ее не было видно, к ним приникла маленькая козочка.

Капитан выглядел щеголем. Ворот и рукава его рубашки были богато отделаны кружевом, видневшимся из-под мундира, что считалось в то время верхом изящества.

Клод с трудом мог разобрать, о чем они говорили, так сильно стучало у него в висках.

(Болтовня влюбленных — вещь довольно банальная. Это вечное «я люблю вас». Для равнодушного слушателя она звучит бедной, совершенно бесцветной музыкальной фразой, ежели только

не украшена какими-нибудь фиоритурами. Но Клод был отнюдь не равнодушным слушателем.)

— О, не презирайте меня, монсеньор Феб, — говорила, не поднимая глаз, молодая девушка. — Я чувствую, что поступаю очень дурно.

— Презирать вас, прелестное дитя! — отвечал капитан в тоне снисходительной и учтивой галантности. — Вас презирать? Черт возьми, но за что же?

— За то, что я пришла сюда.

— На этот счет, моя красавица, я держусь другого мнения. Мне нужно не презирать вас, а ненавидеть.

Молодая девушка испуганно взглянула на него:

— Ненавидеть? Что же такое я сделала?

— Вы слишком долго заставили себя упрашивать.

— Увы! — ответила она. — Это потому, что я боялась нарушить обет. Мне теперь не найти моих родителей, талисман потеряет свою силу. Но что мне до того? Зачем мне теперь мать и отец?

И она подняла на капитана свои большие черные глаза, увлажненные радостью и нежностью.

— Черт меня побери, я ничего не понимаю! — воскликнул капитан.

Некоторое время Эсмеральда молчала, потом слеза скатилась с ее ресниц, с уст ее сорвался вздох, и она промолвила:

— О монсеньор, я люблю вас!

Молодую девушку окружало благоухание такой невинности, обаяние такого целомудрия, что Феб чувствовал себя стесненным в ее присутствии. Эти слова придали ему отваги.

— Вы любите меня! — восторженно воскликнул он и обнял за талию цыганку. Он только и ждал такого случая.

Священник, увидев это, нащупал концом пальца острие кинжала, спрятанного у него на груди.

— Феб, — продолжала цыганка, тихонько отводя от себя цепкие руки капитана, — вы добры, вы великодушны, вы прекрасны. Вы меня спасли — меня, бедную безвестную цыганку. Уже давно мечтаю я об офицере, который спас бы мне жизнь. Это о вас мечтала я, еще не зная вас, мой Феб. У героя моей мечты такой же красивый мундир, такой же благородный вид и такая же шпага. Ваше имя — Феб. Это чудное имя, я люблю ваше имя, я люблю вашу шпагу. Выньте ее из ножен, Феб, я хочу на нее посмотреть.

— Дитя! — воскликнул капитан и, улыбаясь, обнажил шпагу.

Цыганка взглянула на рукоятку, на лезвие, с очаровательным любопытством исследовала вензель, вырезанный на эфесе, и поцеловала шпагу, сказав ей:

— Ты шпага храбреца. Я люблю твоего хозяина.

Феб воспользовался случаем, чтобы запечатлеть поцелуй на ее прелестной шейке, что заставило молодую девушку, пунцовую, словно вишня, быстро выпрямиться. Священник во мраке заскрежетал зубами.

— Феб, — сказала она, — не мешайте мне, я хочу с вами поговорить. Пройдитесь немного, чтобы я могла вас увидеть во весь рост и услышать звон ваших шпор. Какой вы красивый!

Капитан в угоду ей поднялся со своего места и, самодовольно улыбаясь, пожурил ее:

— Ну можно ли быть таким ребенком? А кстати, прелесть моя, видели вы меня когда-нибудь в парадном мундире?

— Увы, нет! — отвечала она.

— Вот это действительно красиво!

Феб вновь уселся возле нее, но гораздо ближе, чем прежде.

— Послушайте, дорогая моя…

Цыганка ребячливым жестом, полным шаловливости, грации и веселья, несколько раз

слегка ударила его по губам своей хорошенькой ручкой.

— Нет, нет, я не буду вас слушать. Вы меня любите? Я хочу, чтобы вы мне сказали, любите ли вы меня.

— Люблю ли я тебя, ангел моей жизни! — воскликнул капитан, преклонив колено. — Мое тело, кровь моя, моя душа — все твое, все для тебя. Я люблю тебя и никогда, кроме тебя, никого не любил.

Капитану столько раз доводилось повторять эту фразу при подобных же обстоятельствах, что он выпалил ее одним духом, не позабыв ни одного слова. Услышав это страстное признание, цыганка подняла к грязному потолку, заменявшему небо, взор, полный райского блаженства.

— Ах, — прошептала она, — вот мгновение, когда я хотела бы умереть.

Феб же нашел это «мгновение» более подходящим для того, чтобы сорвать у нее еще один поцелуй, чем подверг новой пытке несчастного архидьякона.

— Умереть! — воскликнул влюбленный капитан. — Что вы говорите, прелестный мой ангел! Теперь-то и надо жить, клянусь Юпитером! Умереть в самом начале такого удовольствия.

Клянусь рогами Сатаны, все это ерунда! Дело не в этом! Послушайте, моя дорогая Симиляр… Эсменарда… Простите, но у вас такое басурманское имя, что я никак не могу с ним сладить. Оно как густой кустарник, в котором я каждый раз застреваю.

— Боже мой, — проговорила бедная девушка, — а я-то считала его красивым, ведь оно такое необыкновенное! Но если оно вам не нравится, зовите меня просто Готон[124].

— Э, не будем огорчаться из-за таких пустяков, моя милочка! К нему нужно привыкнуть, вот и все. Я выучу его наизусть, и все пойдет хорошо. Так послушайте же, моя дорогая Симиляр, я обожаю вас до безумия. Это просто удивительно, как я люблю вас. Я знаю одну особу, которая лопнет от ярости из-за этого.

Ревнивая девушка прервала его:

— Кто она такая?

— А что нам до нее за дело? — отвечал Феб. — Любите вы меня?

— О!.. — произнесла она.

— Ну и прекрасно! Это главное! Вы увидите, как я люблю вас. Пусть этот долговязый дьявол

---

[124] Примечания: 124
Народная уменьшительная форма от имени Marguerite (Маргарита).

Нептун подденет меня на свои вилы, ежели я не сделаю вас счастливейшей женщиной. У нас будет где-нибудь хорошенькая маленькая квартирка. Я заставлю моих стрелков гарцевать под вашими окнами. Они все конные и за пояс заткнут стрелков капитана Миньона. Среди них есть копейщики, лучники и пищальники. Я поведу вас на большой смотр близ Рюлли. Это великолепное зрелище. Восемьдесят тысяч человек в строю; тридцать тысяч белых лат, панцирей и кольчуг; стяги шестидесяти семи цехов, знамена парламента, счетной палаты, казначейства, монетного двора — словом, вся чертова свита! Я покажу вам львов королевского дворца — это хищные звери. Все женщины любят такие зрелища.

Молодая девушка, упиваясь звуками его голоса, мечтала, не вникая в смысл его слов.

— О! Как вы будете счастливы! — продолжал капитан, незаметно расстегивая пояс цыганки.

— Что вы делаете? — поспешно воскликнула она. Этот переход к «предосудительным действиям» развеял ее грезы.

— Ничего, — ответил Феб. — Я говорю только, что, когда вы будете со мной, вам придется расстаться с этим нелепым уличным нарядом.

— Когда я буду с тобой, мой Феб! — с нежностью прошептала молодая девушка. И вновь задумалась и умолкла.

Капитан, ободренный ее кротостью, обнял ее стан — она не противилась; тогда он принялся потихоньку расшнуровывать ее корсаж и привел в такой беспорядок ее шейную косынку, что взору задыхавшегося архидьякона предстало выступившее из кисеи дивное плечико цыганки, округлое и смуглое, словно луна, выплывающая из тумана на горизонте.

Молодая девушка не мешала Фебу. Казалось, она ничего не замечала. Взор предприимчивого капитана сверкал.

Вдруг она обернулась к нему.

— Феб, — сказала она с выражением бесконечной любви, — научи меня своей вере.

— Моей вере! — воскликнул, разразившись хохотом, капитан. — Мне научить тебя моей вере! Гром и молния! Да на что тебе понадобилась моя вера?

— Чтобы мы могли обвенчаться, — сказала она.

На лице капитана изобразилась смесь изумления, пренебрежительности, беспечности и сладострастия.

— Вот как? — проговорил он. — А разве мы собираемся венчаться?

Цыганка побледнела и грустно склонила головку.

— Прелесть моя, — нежно продолжал Феб, — все это глупости! Великая важность — венчание! Разве люди больше любят друг друга, если их посыплют латынью в поповской лавочке?

Продолжая говорить с ней самым сладким голосом, он совсем близко придвинулся к цыганке, его ласковые руки вновь обвили ее тонкий, гибкий стан. Взор его разгорался с каждой минутой, и все говорило о том, что для господина Феба наступило мгновение, когда даже сам Юпитер совершает немало глупостей и добряку Гомеру приходится звать себе на помощь облако.

Отец Клод видел все. Дверка была сколочена из неплотно сбитых гнилых бочоночных дощечек, и его взгляд, подобный взгляду хищной птицы, проникал в широкие щели. Смуглый широкоплечий священник, обреченный доселе на суровое монастырское воздержание, трепетал и кипел перед этой сценой любви, ночи и наслаждения. Зрелище прелестной юной полураздетой девушки, отданной во власть пылкого молодого мужчины, вливало расплавленный свинец в

жилы священника. Он испытывал неведомые прежде чувства. Его взор со сладострастной ревностью впивался во все, что обнажала каждая отколотая булавка. Тот, кто в эту минуту увидел бы лицо несчастного, приникшее к источенным червями доскам, подумал бы, что перед ним тигр, смотрящий сквозь прутья клетки на шакала, который терзает газель. Его зрачки горели сквозь дверные щели, как свечи.

Внезапно, быстрым движением, Феб сдернул шейную косынку цыганки. Бедная девушка, сидевшая все еще задумавшись, с побледневшим личиком, вдруг словно пробудилась ото сна. Быстро отодвинулась она от предприимчивого капитана и, взглянув на свои обнаженные плечи и грудь, смущенная, раскрасневшаяся, онемевшая от стыда, скрестила на груди прекрасные руки, чтобы прикрыть наготу. Если бы не горевший на ее щеках румянец, то в эту минуту ее можно было бы принять за безмолвную, неподвижную статую Целомудрия. Глаза ее были опущены.

Между тем, дернув косынку, капитан открыл таинственный амулет, спрятанный у нее на груди.

— Что это такое? — спросил он, воспользовав-

шись предлогом, чтобы вновь приблизиться к прелестному созданию, которое он вспугнул.

— Не троньте! — воскликнула она. — Это мой хранитель. Он поможет мне найти моих родных, если только я буду этого достойна. О, оставьте меня, господин капитан! Мать моя! Моя бедная матушка! Мать моя! Где ты? Помоги мне! Сжальтесь, господин Феб! Отдайте косынку!

Феб отступил и холодно ответил:

— О сударыня, теперь я отлично вижу, что вы меня не любите!

— Я не люблю тебя?! — воскликнула бедняжка, прильнув к капитану, которого она заставила сесть рядом с собой. — Я не люблю тебя, мой Феб?! Что ты говоришь? Злой, ты хочешь разорвать мне сердце! Хорошо! Возьми меня, возьми все! Делай со мной что хочешь. Я твоя. Что мне талисман! Что мне мать! Ты мне мать, потому что я люблю тебя! Мой Феб, мой возлюбленный Феб, видишь, вот я! Это я, погляди на меня! Я та малютка, которую ты не пожелаешь оттолкнуть от себя, которая сама, сама ищет тебя. Моя душа, моя жизнь, мое тело, я сама — все принадлежит тебе. Хорошо, не надо венчаться, если тебе это не нравится. Да и что я такое? Жалкая уличная девчонка, а ты, мой Феб, ты — дворянин. Не смешно ли, на самом

деле? Плясунья венчается с офицером! Да я с ума сошла! Нет, Феб, нет, я буду твоей любовницей, твоей игрушкой, твоей забавой, всем, чем ты пожелаешь! Ведь я для того и создана. Пусть я буду опозорена, запятнана, унижена, что мне до этого? Зато любима! Я буду самой гордой, самой счастливой из женщин. А когда я постарею или подурнею, когда я уже не буду для вас приятной забавой, о монсеньор, тогда вы разрешите мне прислуживать вам. Пусть другие будут вышивать вам шарфы, а я, ваша раба, буду их беречь. Вы позволите мне полировать вам шпоры, чистить щеткой вашу куртку, смахивать пыль с ваших сапог. Не правда ли, мой Феб, вы не откажете мне в такой милости? А теперь возьми меня! Вот я, Феб, я вся принадлежу тебе, лишь люби меня! Нам, цыганкам, нужно немного — вольный воздух да любовь.

Обвив руками шею капитана, она глядела на него снизу вверх, умоляющая, очаровательно улыбаясь сквозь слезы, ее нежная грудь терлась о грубую суконную куртку с жесткой вышивкой. Ее полуобнаженное прелестное тело изгибалось на коленях капитана. Опьяненный, он прильнул пылающими губами к ее прекрасным смуглым плечам. Молодая девушка запрокинула голову,

блуждая взором по потолку, и трепетала, замирая под этими поцелуями.

Вдруг над головой Феба она увидела другую голову, бледное, зеленоватое, искаженное лицо с адской мукой во взоре, а близ этого лица — руку, занесшую кинжал. То было лицо и рука священника. Он выломал дверь и стоял подле них. Феб не мог его видеть. Молодая девушка окаменела, заледенела, онемела перед этим ужасным видением, как голубка, приподнявшая головку в тот миг, когда своими круглыми глазами в гнездо к ней глянул коршун.

Она не могла даже вскрикнуть. Она видела лишь, как кинжал опустился над Фебом и снова взвился, дымясь.

— Проклятие! — крикнул капитан и упал.

Она потеряла сознание.

В тот миг, когда веки ее смыкались, когда всякое чувство угасало в ней, она смутно ощутила на своих устах огненное прикосновение, поцелуй, более жгучий, чем каленое железо палача.

Когда она очнулась, ее окружали солдаты ночного дозора; капитана, залитого кровью, куда-то уносили, священник исчез, выходившее на реку окно в глубине комнаты было открыто настежь, близ него подняли какой-то плащ, принадлежав-

ший, как предполагали, офицеру. Она слышала, как вокруг нее говорили:

— Эта колдунья заколола кинжалом капитана.

Книга восьмая

I. Экю, превратившееся в сухой лист

Гренгуар и весь Двор чудес были в смертельной тревоге. Уже больше месяца никто не знал, что случилось с Эсмеральдой и куда девалась ее козочка. Исчезновение Эсмеральды очень огорчало герцога египетского и его друзей-бродяг; исчезновение козочки удваивало скорбь Гренгуара. Однажды вечером цыганка пропала, и с тех пор она как в воду канула. Все поиски были напрасны. Несколько задир-эпилептиков поддразнивали Гренгуара, уверяя, что встретили ее в тот вечер близ моста Сен-Мишель вместе с каким-то офицером; но этот муж, обвенчанный по цыганскому обряду, был последователем скептической философии, и к тому же он лучше, чем кто бы то ни было, знал, насколько целомудренна была его жена. По собственному опыту он мог судить о той неодолимой стыдливости, которая являлась следствием сочетания свойств амулета и добродетели цыганки, и с математической точностью рассчитал степень сопротивления этого возведенного в квадрат целомудрия. Итак, в этом отношении он был спокоен.

Следовательно, объяснить себе исчезновение

Эсмеральды он не мог. Это причиняло ему глубокое горе. Он даже похудел бы, если бы только это было возможно. Он все забросил, вплоть до своих литературных занятий, даже свое обширное сочинение «De figuris regularibus et irregularibus»[125], которое собирался напечатать на первые же заработанные деньги. (Он просто бредил книгопечатанием с тех пор, как увидел книгу Гуго де Сен-Виктора «Didascalon»[126], напечатанную знаменитым шрифтом Винделена Спирского.)

Однажды, когда он, полный уныния, проходил мимо башни, где находилась судебная палата по уголовным делам, он заметил группу людей, толпившихся у одного из входов во Дворец правосудия.

— Что там случилось? — спросил он у выходившего оттуда молодого человека.

— Не знаю, сударь, — ответил молодой человек. — Болтают, будто судят какую-то женщину, убившую военного. Кажется, здесь не обошлось без колдовства; епископ и духовный суд вмешались в это дело, и мой брат, архидьякон Жозасский, не выходит оттуда. Я хотел было

---

[125] Примечания: 125
«О фигурах правильных и неправильных» *(лат.)*.

[126] Примечания: 126
«Учение» *(греч.)*.

потолковать с ним, но никак не мог к нему пробраться, такая там толпа. Это очень досадно, потому что мне нужны деньги.

— Увы, сударь, — отвечал Гренгуар, — я охотно одолжил бы вам денег, но ежели карманы моих штанов и прорваны, то отнюдь не от тяжести монет.

Он не осмелился сказать молодому человеку, что знаком с его братом-архидьяконом, к которому после встречи в соборе он так и не заглядывал; эта небрежность смущала его.

Школяр пошел своим путем, а Гренгуар последовал за толпой, поднимавшейся по лестнице в зал суда. Он был того мнения, что ничто так хорошо не разгоняет печали, как зрелище уголовного судопроизводства, — настолько потешна глупость, обычно проявляемая судьями. Толпа, к которой присоединился Гренгуар, несмотря на сутолоку, продвигалась вперед, соблюдая тишину. После долгого и нудного пути по длинному сумрачному коридору, извивавшемуся по дворцу, словно пищеварительный канал этого старинного здания, он добрался наконец до низенькой двери, ведущей в зал, который он благодаря своему высокому росту мог рассмотреть поверх голов волнующейся толпы.

В обширном зале стоял полумрак, отчего он казался еще обширнее. Вечерело; высокие стрельчатые окна пропускали лишь слабый луч света, который гас прежде, чем достигал свода, представлявшего собой громадную решетку из резных балок, покрытых тысячью украшений, которые, казалось, смутно шевелились во тьме. Кое-где на столах уже были зажжены свечи, озарявшие низко склоненные над бумагами головы протоколистов. Переднюю часть зала заполняла толпа; направо и налево за столами сидели судейские чины; а в глубине, на возвышении, с неподвижными и зловещими лицами, множество судей, последние ряды которых терялись во мраке. Стены были усеяны бесчисленными изображениями королевских лилий. Над головами судей можно было смутно различить большое распятие, а по всему залу — копья и алебарды, на остриях которых пламя свечей зажигало огненные точки.

— Сударь, — спросил у одного из своих соседей Гренгуар, — кто эти господа, расположившиеся там, словно прелаты на церковном соборе?

— Сударь, — ответил сосед, — направо — это советники судебной палаты, а налево — советники следственной камеры; низшие чины — в черном, высшие — в красном.

— А кто это сидит выше всех, вон тот красный толстяк, что обливается потом?

— Это сам господин председатель.

— А те бараны позади него? — продолжал спрашивать Гренгуар, который, как мы уже упоминали, недолюбливал судейское сословие. Быть может, это объяснялось той злобой, которую он питал к Дворцу правосудия со времени постигшей его неудачи на драматическом поприще.

— А это все докладчики королевской палаты.

— А впереди него, вот этот кабан?

— Это господин протоколист королевского суда.

— А направо, этот крокодил?

— Мэтр Филипп Лелье — чрезвычайный королевский прокурор.

— А налево, вон тот черный жирный кот?

— Мэтр Жак Шармолю, королевский прокурор духовного суда, и господа члены этого суда.

— И еще один вопрос, сударь, — сказал Гренгуар. — Что же делают здесь все эти почтенные господа?

— Они судят.

— Судят? Но кого же? Я не вижу подсудимого.

— Сударь, это женщина. Вы не можете ее видеть. Она сидит к нам спиной, и толпа заслоняет

ее. Глядите, она вон там, где стража с бердышами.

— Кто же эта женщина? Не знаете ли вы, как ее зовут?

— Нет, сударь. Я сам только что пришел. Думаю, что дело идет о колдовстве, потому что здесь присутствуют члены духовного суда.

— Итак, — сказал наш философ, — мы сейчас увидим, как все эти судейские мантии будут пожирать человечье мясо. Что ж, это зрелище не хуже всякого другого!

— Сударь, — заметил сосед, — не находите ли вы, что у мэтра Жака Шармолю весьма кроткий вид?

— Гм! Я не доверяю кротости, у которой вдавленные ноздри и тонкие губы, — ответил Гренгуар.

Здесь окружающие заставили собеседников умолкнуть. Давалось важное свидетельское показание.

— Государи мои, — повествовала, стоя посреди зала, старуха, на которой было накручено столько тряпья, что вся она казалась ходячим ворохом лохмотьев, — государи мои, все, что я расскажу, так же верно, как верно то, что я зовусь Фалурдель, что сорок лет я живу в доме на мосту Сен-Мишель, супротив Тасен-Кайяра, красиль-

щика, дом которого стоит против течения реки, и что я аккуратно выплачиваю пошлины, подати и налоги. Теперь я жалкая старуха, а когда-то была красавицей-девкой, государи мои! Так вот, давненько уж мне люди говорили: «Фалурдель, не крути допоздна прялку по вечерам, дьявол любит расчесывать своими рогами кудель у старух. Известно, что монах-привидение, который в прошлом году показался возле Тампля, бродит нынче по Ситэ. Берегись, Фалурдель, как бы он не постучался в твою дверь». И вот как-то вечером я пряду, и вдруг кто-то стучит в мою дверь. «Кто там?» — спрашиваю я. Ругаются. Я отпираю. Входят два человека. Один черный такой, а с ним красавец-офицер. У черного только видать что глаза — горят как уголья, а все остальное закрыто плащом да шляпой. Они и говорят мне: «Комнату святой Марты». А это моя верхняя комната, государи мои, самая чистая из всех. Суют мне экю. Я прячу экю в ящик, а сама думаю: «На эту монетку завтра куплю себе требухи на Глориетской бойне». Мы подымаемся наверх. Когда мы пришли в верхнюю комнату, я отвернулась, смотрю — черный человек исчез. Подивилась я. А красивый офицер, видать знатный барин, воротился со мной вниз и вышел. Не успела я

напрясть четверть мотка, как он идет назад с хорошенькой девушкой, прямо куколкой, которая была бы краше солнышка, будь она понарядней. С нею козел, большущий козел, не то белый, не то черный, этого я не упомню. Он-то и навел на меня сомнение. Ну, девушка — это не мое дело, а вот козел!.. Не люблю я козлов за их бороду да за рога. Ни дать ни взять — мужчина. И, кроме того, от них так и разит шабашем. Однако я помалкиваю. Я ведь получила свое экю. Ведь правильно я говорю, господин судья? Проводила я офицера с девушкой наверх и оставила их наедине, то есть с козлом. А сама спустилась вниз и опять села прясть. Надо вам сказать, что дом у меня двухэтажный, задней стороной он выходит к реке, как и все дома на мосту, а окна на первом и втором этаже открываются на воду. Вот, значит, я пряду. Не знаю почему, но в мыслях у меня все монах-привидение — должно быть, козел мне напомнил про него, да и красавица была не полюдски одета. Вдруг слышу: наверху крик, что-то грохнулось об пол, распахнулось окно. Я подбежала к своему окну на нижнем этаже и вижу: пролетает мимо меня что-то темное и бултых в воду. Вроде как привидение в рясе священника. Ночь была лунная. Я очень хорошо его разгля-

дела. Оно поплыло в сторону Ситэ. Вся дрожа от страха, я кликнула ночную охрану. Господа дозорные вошли ко мне, и так как они были выпивши, то, не разобрав, в чем дело, прежде всего поколотили меня. Я объяснила им, что случилось. Мы поднялись наверх — и что же мы увидели? Бедная моя комната вся залита кровью, капитан с кинжалом в горле лежит, растянувшись на полу, девушка прикинулась мертвой, а козел мечется от страха. «Здорово, — сказала я себе, — хватит мне теперь мытья на добрых две недели! Придется скоблить пол, вот напасть!» Офицера унесли, бедный молодой человек! То же самое и девушку, почти совсем раздетую. Но это еще не все. Худшее еще впереди. На другой день я хотела взять экю, чтобы купить требухи, и что же? Вместо него я нашла сухой лист.

Старуха умолкла. Ропот ужаса пробежал по толпе.

— Привидение, козел — все это попахивает колдовством, — заметил один из соседей Гренгуара.

— А сухой лист! — подхватил другой.

— Несомненно, — добавил третий, — колдунья стакнулась с монахом-привидением, чтобы грабить военных.

Сам Гренгуар склонен был признать всю эту

страшную историю правдоподобной.

— Женщина по имени Фалурдель, — величественно спросил председатель, — имеете вы еще что-нибудь сообщить правосудию?

— Нет, государь мой, — ответила старуха, — разве только то, что в протоколе мой дом назвали покосившейся вонючей лачугой, а это слишком уж обидно. Все дома на мосту не бог весть как приглядны, потому что они битком набиты бедным людом, однако в них проживают мясники, а это люди зажиточные, и жены у них красавицы и чистюли.

Судебный чин, напоминавший Гренгуару крокодила, встал со своего места.

— Довольно, — сказал он. — Прошу господ судей не упускать из виду, что на обвиняемой найден был кинжал. Женщина, именуемая Фалурдель, вы принесли с собой сухой лист, в который превратился экю, данный вам дьяволом?

— Да, государь мой, — ответила она, — я отыскала его. Вот он.

Судебный пристав передал сухой лист крокодилу, который, зловеще покачав головой, передал его председателю, а тот в свою очередь — королевскому прокурору церковного суда. Таким образом лист обошел весь зал.

— Это березовый лист, — сказал мэтр Жак Шармолю. — Вот новое доказательство колдовства.

Один из советников попросил слова.

— Свидетельница, два человека поднялись к вам вместе: человек в черном, который на ваших глазах сначала исчез, а потом в одежде священника переплывал реку, и офицер. Который же из них дал вам экю?

Старуха призадумалась на мгновение и ответила:

— Офицер.

Толпа гудела.

«Вот как? — подумал Гренгуар. — Это заставляет меня усомниться во всей истории».

Но тут вновь вмешался мэтр Филипп Лелье, чрезвычайный королевский прокурор:

— Напоминаю господам судьям: в показании, снятом с него у одра болезни, тяжелораненый офицер заявил, что, когда к нему подошел человек в черном, у него сразу мелькнула мысль, не тот ли это самый монах-привидение; что призрак настоятельно уговаривал его вступить в сношения с обвиняемой и на его, капитана, слова об отсутствии у него денег, сунул ему экю, которым вышеупомянутый офицер расплатился с Фалурдель. Следовательно, это экю — адская монета.

Такой убедительный довод, казалось, рассеял все сомнения Гренгуара и остальных скептиков из числа присутствующих.

— Господа, у вас в руках все документы, — добавил, занимая свое место, чрезвычайный королевский прокурор, — вы можете обсудить показания Феба де Шатопера.

При этом имени подсудимая встала. Голова ее показалась над толпой. Гренгуар, ужаснувшись, узнал Эсмеральду.

Она была очень бледна, ее волосы, некогда столь изящно заплетенные в косы и отливавшие блеском цехинов, в беспорядке рассыпались по плечам, губы посинели, ввалившиеся глаза внушали страх.

— Феб! — растерянно промолвила она. — Где он? О государи мои! Прежде чем убить меня, прошу вашей милости, скажите мне, жив ли он?

— Замолчи, женщина, — проговорил председатель. — Это к делу не относится.

— О, сжальтесь! Ответьте мне, жив ли он? — вновь заговорила она, молитвенно складывая свои прекрасные исхудалые руки, и слышно было, как цепи, звеня, скользнули по ее платью.

— Ну хорошо, — сухо ответил королевский прокурор. — Он при смерти. Довольна ты?

Несчастная упала на низенькую скамью, молча, без слез, бледная, как восковая статуя.

Председатель нагнулся к сидевшему у его ног человеку в шитой золотом шапке, в черной мантии, с цепью на шее и жезлом в руке:

— Пристав, введите вторую обвиняемую.

Все взоры обратились к маленькой двери, которая распахнулась и пропустила, вызвав сильнейшее сердцебиение у Гренгуара, маленькую хорошенькую козочку с вызолоченными рожками и копытцами. Изящное животное на мгновение задержалось на пороге, вытянув шею, словно, стоя на краю скалы, оно озирало расстилавшийся перед ним необозримый горизонт. Вдруг козочка заметила цыганку и, в два прыжка перескочив через стол и голову протоколиста, очутилась у ее колен; тут она грациозно свернулась у ног своей госпожи, будто выпрашивая внимание и ласку; но подсудимая оставалась неподвижной, и даже бедная Джали не удостоилась ее взгляда.

— Вот те на! — сказала старуха Фалурдель. — Да ведь это то самое мерзкое животное, я их отлично узнаю, одну и другую!

Тут взял слово Жак Шармолю:

— Если господам судьям угодно, то мы присту-

пим к допросу козы.

Это и была вторая обвиняемая.

В те времена судебное дело о колдовстве, возбужденное против животных, не было редкостью. В судебных отчетах 1466 года среди других подробностей встречается любопытный перечень издержек по делу Жиле-Сулара и его свиньи, «казненных за их злодеяния» в Корбее. Туда входят и расходы по рытью ямы, куда закопали свинью, пятьсот вязанок хвороста, взятых в Морсанском порту, три пинты вина и хлеб — последняя трапеза осужденного, которую братски с ним разделил палач, — даже стоимость прокорма свиньи и присмотр за ней в течение одиннадцати дней по восьми парижских денье в сутки. Иногда правосудие заходило еще дальше. Так, по капитуляриям Карла Великого и Людовика Благочестивого устанавливались тягчайшие наказания для огненных призраков, дерзнувших появиться в воздухе.

Прокурор духовного суда воскликнул:

— Если демон, который вселился в эту козу и не поддавался доселе никаким заклинаниям, собирается и впредь упорствовать в своих зловредных действиях и пугать ими суд, то мы предупреждаем его, что будем вынуждены требовать для него виселицы или костра.

Гренгуар облился холодным потом. Шармолю, взяв со стола бубен цыганки и определенным движением приблизив его к козе, спросил:

— Который час?

Посмотрев на него смышлеными своими глазами, козочка приподняла золоченое копытце и стукнула им семь раз. Было действительно семь часов. Движение ужаса пробежало по толпе. Гренгуар не выдержал.

— Она губит себя! — громко воскликнул он. — Неужели вы не видите, что она сама не понимает, что делает?

— Тише вы там, мужичье! — резко крикнул пристав.

Жак Шармолю при помощи того же бубна заставил козочку проделать множество других странных вещей — указать число, месяц и прочее, чему читатель был уже свидетелем. И вследствие оптического обмана, присущего судебным разбирательствам, те самые зрители, которые, быть может, не раз рукоплескали на перекрестках невинным хитростям Джали, были теперь потрясены ими здесь, под сводами Дворца правосудия. Несомненно, коза была сам дьявол.

Дело обернулось еще хуже, когда королевский прокурор высыпал на пол из кожаного

мешочка, висевшего у Джали на шее, дощечки с буквами. Коза тут же своей ножкой составила разбросанные буквы в роковое имя: «Феб». Колдовство, жертвой которого пал капитан, казалось неопровержимо доказанным, и цыганка, эта восхитительная плясунья, столько раз пленявшая прохожих своей грацией, преобразилась в ужасающего вампира.

Но сама она не подавала ни малейшего признака жизни. Ни изящные движения Джали, ни угрозы судей, ни глухие проклятия слушателей — ничто более не доходило до нее.

Чтобы привести ее в чувство, сержанту пришлось грубо встряхнуть ее, а председателю торжественно возвысить голос:

— Девушка, вы принадлежите к цыганскому племени, посвятившему себя чародейству. В сообществе с заколдованной козой, прикосновенной к сему судебному делу, вы в ночь на двадцать девятое число прошлого марта месяца, при содействии адских сил, с помощью чар и тайных способов убили, заколов кинжалом, капитана королевских стрелков Феба де Шатопера. Продолжаете ли вы это отрицать?

— О ужас! — воскликнула молодая девушка, закрывая лицо руками. — Мой Феб! О! Это ад!

— Продолжаете вы это отрицать? — холодно переспросил председатель.

— Да, отрицаю! — сказала она с силой и встала, сверкая глазами.

Председатель поставил вопрос ребром:

— В таком случае как объясните вы факты, свидетельствующие против вас?

Она ответила прерывающимся голосом:

— Я уже сказала. Я не знаю. Это священник. Священник, которого я не знаю. Тот адский священник, который преследует меня!

— Правильно, — подтвердил судья, — монах-привидение.

— О господин! Сжальтесь! Я ведь только бедная девушка…

— Цыганка, — добавил судья.

Тут елейным голосом заговорил мэтр Жак Шармолю:

— Ввиду прискорбного запирательства подсудимой я предлагаю применить пытку.

— Принято, — ответил председатель.

Несчастная задрожала с головы до ног. Однако по приказанию стражей, вооруженных бердышами, она встала и довольно твердой поступью, предшествуемая Жаком Шармолю и членами духовного суда, направилась между двумя ря-

дами алебардщиков к небольшой двери. Дверь внезапно распахнулась и столь же быстро за ней захлопнулась, что произвело на опечаленного Гренгуара впечатление отвратительной пасти, поглотившей цыганку.

Когда она исчезла, в зале послышалось жалобное блеяние. То плакала маленькая козочка.

Заседание было приостановлено. Один из советников заметил, что господа судьи устали и ждать окончания пытки слишком долго, но председатель возразил ему, что судья должен уметь жертвовать собой во имя долга.

— Строптивая, гадкая девка! — проворчал какой-то старый судья. — Заставляет себя пытать, когда мы еще не поужинали.

II. Продолжение главы об экю, превратившемся в сухой лист

Поднявшись и снова спустившись по нескольким лестницам, выходившим в какие-то коридоры, до того темные, что даже среди бела дня в них горели лампы, Эсмеральда, окруженная своим мрачным конвоем, попала наконец в какую-то комнату зловещего вида, куда ее втолкнула стража. Эта круглая комната помещалась в нижнем этаже одной из тех массивных башен, которые еще в наши дни пробиваются сквозь пласт современных построек нового Парижа, прикрывающих собой старый город. В этом склепе не было ни окон, ни какого-либо иного отверстия, кроме входа — низкой кованой железной двери. Света, впрочем, в нем казалось достаточно: в толще стены была выложена печь; в ней горел яркий огонь, наполняя склеп багровыми отсветами, в которых словно таял язычок свечи, стоящей в углу. Железная решетка, закрывавшая печь, была поднята. Над устьем пламенеющего в темной стене отверстия виднелись только нижние концы ее прутьев, словно ряд черных, острых и редко

расставленных зубов, что придавало горну сходство с пастью сказочного дракона, извергающего пламя. При свете этого огня пленница увидела вокруг себя ужасные орудия, употребление которых было ей непонятно. Посредине комнаты, почти на полу, находился кожаный тюфяк, а над ним ремень с пряжкой, прикрепленной к медному кольцу, которое держал в зубах изваянный в центре свода курносый урод. Тиски, клещи, широкие треугольные ножи, брошенные как попало, загромождали внутренность горна и накалялись там на пылающих углях. Куда ни падал кровавый отблеск печи, всюду он освещал лишь груды жутких предметов, заполнявших склеп.

Эта преисподняя называлась просто «пыточной комнатой». На тюфяке в небрежной позе сидел Пьера́ Тортерю — присяжный палач. Его помощники, два карлика с квадратными лицами, в кожаных фартуках и в холщовых штанах, поворачивали раскалившееся на углях железо.

Бедная девушка напрасно крепилась. Когда она попала в эту комнату, ее охватил ужас.

Стража дворцового судьи встала по одну сторону, священники духовного суда — по другую. Писец, чернильница и стол находились в углу.

Мэтр Жак Шармолю со слащавой улыбкой при-

близился к цыганке.

— Дорогое дитя мое, — сказал он, — итак, вы все еще продолжаете отпираться?

— Да, — угасшим голосом ответила она.

— В таком случае, — продолжал Шармолю, — мы вынуждены, как это ни прискорбно, допрашивать вас более настойчиво, чем сами того желали бы. Будьте любезны, потрудитесь сесть вот на это ложе. Мэтр Пьера́, уступите мадемуазель место и затворите дверь.

Пьера неохотно поднялся.

— Ежели я закрою дверь, мой огонь погаснет, — пробурчал он.

— Хорошо, друг мой, оставьте ее открытой, — быстро согласился Шармолю.

Эсмеральда продолжала стоять. Эта кожаная постель, на которой корчилось столько страдальцев, пугала ее. Страх леденил кровь. Она стояла испуганная, оцепеневшая. По знаку Шармолю оба помощника палача схватили ее и усадили на тюфяк. Они не причинили ей ни малейшей боли; но лишь только они притронулись к ней, лишь только она почувствовала прикосновение кожаной постели, вся кровь тотчас же прилила ей к сердцу. Она блуждающим взором обвела комнату. Ей почудилось, что, вдруг задвигав-

шись, к ней со всех сторон устремились все эти безобразные орудия пытки. Среди всевозможных инструментов, до сей поры ею виденных, они были тем же, чем являются летучие мыши, тысяченожки и пауки среди насекомых и птиц. Ей казалось, что они сейчас начнут ползать по ней, кусать и щипать ее тело.

— Где врач? — спросил Шармолю.

— Здесь, — отозвался человек в черной одежде, которого Эсмеральда до сих пор не замечала.

Она вздрогнула.

— Мадемуазель, — снова зазвучал вкрадчивый голос прокурора духовного суда, — в третий раз спрашиваю, продолжаете ли вы отрицать поступки, в которых вас обвиняют?

На этот раз у нее хватило сил лишь кивнуть головой. Голос изменил ей.

— Вы упорствуете! — сказал Жак Шармолю. — В таком случае, к крайнему моему сожалению, я должен исполнить мой служебный долг.

— Господин королевский прокурор, — вдруг резко сказал Пьерá, — с чего мы начнем?

Шармолю с минуту колебался, словно поэт, который приискивает рифму для своего стиха.

— С испанского сапога, — выговорил он наконец.

Злосчастная девушка почувствовала себя настолько покинутой Богом и людьми, что голова ее упала на грудь, как нечто безжизненное, лишенное силы.

Палач и лекарь подошли к ней одновременно. В то же время оба помощника палача принялись рыться в своем отвратительном арсенале.

При лязге этих страшных орудий бедная девушка вздрогнула, словно мертвая лягушка, которой коснулся гальванический ток.

— О мой Феб! — прошептала она так тихо, что ее никто не услышал. Затем снова стала неподвижной и безмолвной, как мраморная статуя.

Это зрелище тронуло бы любое сердце, но не сердце судьи. Казалось, сам Сатана допрашивает несчастную грешную душу под багровым оконцем ада. Это кроткое, чистое, хрупкое создание и было тем бедным телом, в которое готовился вцепиться весь ужасный муравейник пил, колес и козел, — тем существом, которым готовились овладеть грубые лапы палачей и тисков. Жалкое просяное зернышко, отдаваемое правосудием на размол чудовищным жерновам пытки!

Между тем мозолистые руки помощников Пьера́ Тортерю грубо обнажили ее прелестную ножку, которая так часто очаровывала прохо-

жих на перекрестках Парижа своей ловкостью и красотой.

— Жаль, жаль! — проворчал палач, рассматривая ее изящные и нежные линии.

Если бы здесь присутствовал архидьякон, он, несомненно, вспомнил бы о своем символе мухи и паука.

Вскоре несчастная сквозь туман, застилавший ей глаза, увидела, как приблизился к ней «испанский сапог» и как ее ножка, вложенная между двух окованных железом брусков, исчезла в страшном приборе. Ужас придал ей сил.

— Снимите это! — вскричала она запальчиво. И, выпрямившись, вся растрепанная, добавила: — Пощадите!

Она рванулась вперед, чтобы броситься к ногам прокурора, но ее ножка была ущемлена тяжелым, взятым в железо дубовым обрубком, и она припала к этой колодке, бессильная, как пчела, к крылу которой привязан свинец.

По знаку Шармолю ее снова положили на постель, и две грубые руки подвязали ее к ремню, свисавшему со свода.

— В последний раз, признаете ли вы свои преступные деяния? — спросил со своим невозмутимым добродушием Шармолю.

— Я невиновна.

— В таком случае, мадемуазель, как объясните вы обстоятельства, уличающие вас?

— Увы, монсеньор, я не знаю!

— Итак, вы отрицаете?

— Все отрицаю!

— Приступайте! — крикнул Шармолю.

Пьера́ повернул рукоятку, испанский сапог сжался, и несчастная испустила ужасный вопль, передать который не в силах ни один человеческий язык.

— Довольно, — сказал Шармолю, обращаясь к Пьера́. — Сознаетесь? — спросил он цыганку.

— Во всем сознаюсь! — воскликнула несчастная девушка. — Сознаюсь! Только пощадите!

Она не рассчитала своих сил, идя на пытку. Бедная малютка! Ее жизнь до сей поры была такой беззаботной, такой приятной, такой сладостной! Первая же боль сломила ее.

— Человеколюбие побуждает меня предупредить вас, что ваше признание равносильно для вас смерти, — сказал королевский прокурор.

— Надеюсь! — ответила она и упала на кожаную постель полумертвая, перегнувшись назад, безвольно повиснув на ремне, который охватывал ее грудь.

— Ну, моя прелесть, приободритесь немножко, — сказал мэтр Пьерá, приподнимая ее. — Вы ни дать ни взять золотая овечка с ордена, который носит на шее герцог Бургундский.

Жак Шармолю возвысил голос:

— Протоколист, записывайте! Девушка-цыганка, вы сознаетесь, что являлись соучастницей в дьявольских трапезах, шабашах и колдовстве купно со злыми духами, уродами и вампирами? Отвечайте.

— Да, — так тихо прошептала она, что ответ ее слился с ее дыханием.

— Вы сознаетесь в том, что видели того овна, которого Вельзевул заставляет появиться среди облаков, дабы собрать шабаш, и видеть которого могут одни только ведьмы?

— Да.

— Вы признаетесь, что поклонялись головам Бофомета, этим богомерзким идолам храмовников?

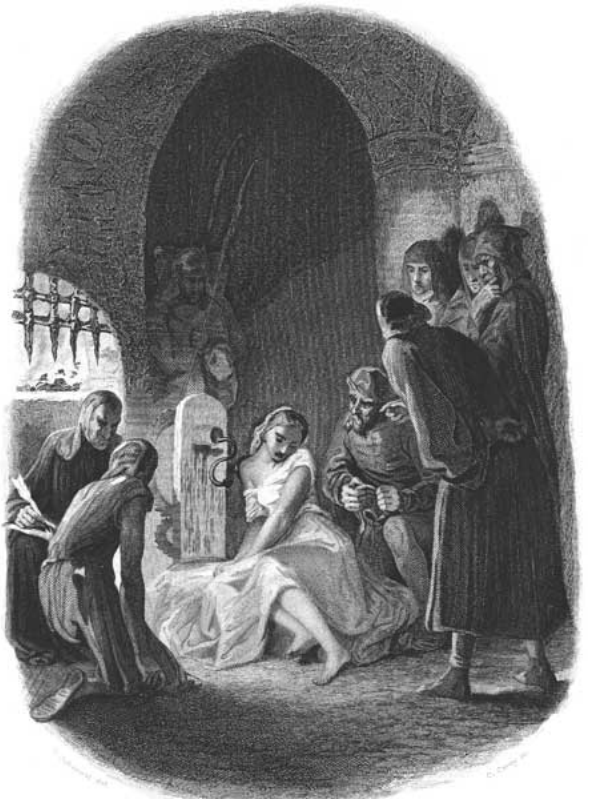
— Да.

— Что постоянно общались с дьяволом, который под видом ручной козы привлечен ныне к делу?

— Да.

— Наконец, сознаетесь ли вы, что с помощью

дьявола и оборотня, именуемого в просторечии «монах-привидение», в ночь на двадцать девятое прошлого марта месяца вы предательски умертвили некоего капитана по имени Феб де Шатопер?



Померкший взгляд ее огромных глаз остановился на судье, и, не дрогнув, не запнувшись, она машинально ответила:

— Да.

Очевидно, все в ней было уже надломлено.

— Запишите, протоколист, — сказал Шармолю и, обращаясь к заплечным мастерам, произнес: — Отвяжите подсудимую и проводите назад в зал судебных заседаний.

Когда подсудимую «разули», прокурор духовного суда осмотрел ее ногу, еще онемелую от боли.

— Ничего! — сказал он. — Тут большой беды нет. Вы закричали вовремя. Вы могли бы еще плясать, красавица! — Затем он обратился к своим коллегам из духовного суда: — Наконец-то правосудию все стало ясно! Это утешительно, господа! Мадемуазель должна отдать нам справедливость: мы отнеслись к ней со всей доступной нам мягкостью.

III. Окончание главы об экю, превратившемся в сухой лист

Когда она, прихрамывая, вернулась в зал суда, ее встретил шепот всеобщего удовольствия. Что касается слушателей, то они выражали им чувство удовлетворения, которое человек испытывает в театре при окончании последнего антракта, видя, что занавес взвился и начинается развязка пьесы. Что касается судей, то в них заговорила надежда на скорый ужин. Маленькая козочка тоже радостно заблеяла. Она рванулась было навстречу своей госпоже, но ее привязали к скамье.

Уже совсем стемнело. Свечи, число которых не увеличили, так тускло озаряли зал, что нельзя было различить его стены. Сумрак окутал предметы, словно туманом. Кое-где из тьмы выступали бесстрастные лица судей. В конце длинного зала можно было разглядеть выделявшееся на темном фоне смутное белое пятно. Это была подсудимая. Она с трудом дотащилась до своей скамьи.

Шармолю, шествовавший с внушительным видом, дойдя до своего места, уселся, затем тут же

встал и, сдерживая чувство самодовольства по поводу достигнутого успеха, заявил:

— Обвиняемая созналась во всем.

— Цыганка, — спросил председатель, — вы сознались во всех своих преступлениях: в колдовстве, проституции и убийстве Феба де Шатопера?

Ее сердце сжалось. Слышно было, как она всхлипывала в темноте.

— Во всем, что вам угодно, только убейте меня поскорее! — ответила она едва слышно.

— Господин королевский прокурор церковного суда, — сказал председатель, — суд готов выслушать ваше заключение.

Мэтр Шармолю вытащил устрашающей толщины тетрадь и принялся, неистово жестикулируя и с преувеличенной выразительностью, присущей судебному сословию, читать по ней латинскую речь, где все доказательства виновности подсудимой основывались на цицероновских перифразах, подкрепленных цитатами из комедии его любимого писателя Плавта. Мы сожалеем, что не можем предложить читателям это замечательное произведение. Оратор говорил с удивительным усердием. Не успел он дочитать вступление, как пот уже выступил у него на лбу, а глаза готовы были выскочить из орбит.

Внезапно, посреди какого-то периода, он остановился, и его взор, обычно довольно добродушный и даже глуповатый, стал метать молнии.

— Господа, — воскликнул он (на сей раз по-французски, так как этого в тетради не было), — Сатана так сильно замешан в этой истории, что присутствует здесь и глумится над величием суда. Глядите!

Он указал рукой на маленькую козочку, которая, увидев, как жестикулирует Шармолю, нашла вполне уместным подражать ему. Усевшись и тряся бородкой, она принялась добросовестно воспроизводить передними ножками патетическую пантомиму королевского прокурора церковного суда, что было, как читатель припомнит, одним из наиболее привлекательных ее талантов. Это происшествие, это последнее «доказательство» произвело сильное впечатление. Козочке связали ножки, и королевский прокурор снова стал изливать потоки своего красноречия.

Это продолжалось очень долго, но зато заключительная часть речи была превосходна. Вот ее последняя фраза; присовокупите к ней охрипший голос и жестикуляцию запыхавшегося Шармолю:

— Ideo, Domni, coram stryga demonstrata, crimine

patente, intentione criminis existente, in nomine sanctae ecclesiae Nostrae-Dominae Parisiensis, quae est in saisina habendi omnimodam altam et bassam justitiam in illa hac intemerata Civitatis insula, tenore praesentium declaramus nos requirere, primo, aliquandam pecuniariam indemnitatem; secundo, amendationem honorabilem ante portalium maximum Nostrae-Dominae, ecclesiae cathedralis; tertio, sententiam in virtute cujus ista stryga cum sua capella, seu in trivio vulgariter dicto la Grève, seu in insula exeunte in fluvio Sequanae, juxta pointam jardini regalis, executatae sint![127]

Закончив, он надел свою шапочку и сел.

— Eheu! Bassa latinitas![128] — вздохнул удрученный Гренгуар.

Тогда возле осужденной поднялся другой человек в черной мантии. То был ее защитник. Проголодавшиеся судьи начали роптать.

---

[127] Примечания: 127

Поелику, милостивые государи, сия женщина изобличена в колдовстве и преступное намерение ее доказано, я от имени соборной церкви Парижской Богоматери, коей присвоено право высшей юрисдикции в пределах острова Ситэ, заявляю присутствующим, что требую: во-первых, присуждения ее к денежному штрафу, во-вторых, присуждения ее к публичному покаянию перед порталом Собора Парижской Богоматери, в-третьих, приговора, в силу коего эта колдунья была бы казнена купно с ее козой на месте, в просторечии именуемом «Грев», или на острове на реке Сене, близ королевских садов *(лат.)*.

[128] Примечания: 128

Увы! Варварская латынь! *(лат.)*

— Защитник, будьте кратки, — сказал председатель.

— Господин председатель, — ответствовал тот, — так как моя подзащитная созналась в своем преступлении, то мне остается сказать лишь одно господам судьям. Текст салического закона гласит: «В случае если оборотень пожрал человека и уличен в этом, то должен заплатить штраф в восемь тысяч денье, что равно двумстам золотых су». Не будет ли угодно судебной палате приговорить мою подзащитную к штрафу?

— Устаревший текст, — заметил чрезвычайный королевский прокурор.

— Nego![129] — возразил адвокат.

— На голоса! — предложил один из советников. — Преступление доказано, а час уже поздний.

Суд приступил к голосованию, не выходя из зала заседания. Судьи подавали голос путем «снятия шапочки», они торопились. В сумраке зала видно было, как одна за другой обнажались их головы в ответ на мрачный вопрос, который шепотом задавал им председатель. Несчастная осужденная, казалось, следила за ними, но ее

---

[129] Примечания: 129
Отрицаю! *(лат.)*

помутившийся взор уже ничего не видел.

Затем протоколист принялся что-то строчить, после чего он передал председателю длинный пергаментный свиток.

И несчастная услышала, как зашевелилась толпа, как залязгали, сталкиваясь, копья и как чей-то ледяной голос произнес:

— Девушка-цыганка, в полдень того дня, который угодно будет назначить нашему всемилостивейшему королю, вы будете доставлены на телеге, в рубахе, босая, с веревкой на шее, к главному порталу Собора Парижской Богоматери и тут всенародно принесете покаяние, держа в руке двухфунтовую восковую свечу; оттуда вас доставят на Гревскую площадь, где вы будете повешены и удушены на городской виселице, а также ваша коза; кроме того, вы уплатите духовному суду три лиондора в возмездие за совершенные вами преступления, в которых вы сознались: за колдовство, магию, распутство и убийство сьёра Феба де Шатопера. Прими Господь вашу душу!

— О, это сон! — прошептала она и почувствовала, что ее уносят чьи-то грубые руки.

IV. Lasciate ogni speranza[130]

В Средние века каждое законченное здание занимало почти столько же места под землей, сколько над землей. В каждом дворце, каждой крепости, каждой церкви, если только они не возводились на сваях, подобно Собору Парижской Богоматери, были подземелья. В соборах существовал как бы еще другой, скрытый собор, низкий, сумрачный, таинственный, темный и немой, расположенный под верхним нефом, день и ночь залитым светом и оглашавшимся звуками органа и звоном колоколов. Иногда эти подземелья служили усыпальницей. В дворцах, в крепостях это были тюрьмы или могильные склепы, а иногда то и другое вместе. Эти огромные сооружения, закон образования и «произрастания» которых мы уже объясняли в другом месте, имели не только фундамент, но, так сказать, корни, которые углублялись в землю, ответвляясь в виде тех же комнат, галерей, лестниц, как и в верхнем сооружении. Таким образом, соборы, дворцы, крепости по пояс уходили в землю. Под-

[130] Примечания: 130
Оставьте всякую надежду *(ит.)* — из «Божественной комедии» Данте.

валы здания представляли собой второе здание, куда спускались, вместо того чтобы подниматься; подземные этажи этих подвалов соприкасались с громадой наземных этажей так же, как соприкасаются отраженные в озере прибрежные леса и горы с подножием настоящих лесов и гор.

В крепости Сент-Антуан, в парижском Дворце правосудия, в Лувре эти подземелья служили темницами. Этажи этих темниц, внедряясь в почву, становились все теснее и мрачнее. Они являлись как бы зонами нарастающего ужаса. Данте не мог бы найти ничего более подходящего для своего ада. Обычно эти воронки-темницы оканчивались каменными мешками, куда Данте поместил Сатану и куда общество помещало приговоренных к смерти. Если какое-либо несчастное существо попадало туда, то должно было сказать «прости» свету, воздуху, жизни, ogni speranza[131]. Выход был лишь на виселицу или на костер. Нередко люди сгнивали там заживо. Человеческое правосудие называло это «забвением». Между собой и людьми осужденный чувствовал нависающую над его головой громаду камня и темниц, и вся тюрьма, вся эта массивная крепость превраща-

[131] Примечания: 131
Всякой надежде *(ит.)*.

лась для него в огромный, сложного устройства замок, запиравший его от мира живых.

Вот в такую-то яму, в один из каменных мешков, вырытых по приказанию Людовика Святого в подземной тюрьме Турнель, опасаясь, видимо, побега, ввергли Эсмеральду, приговоренную к виселице. Весь огромный Дворец правосудия давил на нее своей тяжестью. Бедная мушка, бессильная сдвинуть с места даже самый маленький из его камней!

Несомненно, судьба и общество были одинаково к ней несправедливы: не было надобности в таком избытке несчастий и мук, чтобы сломить столь хрупкое создание.

И вот она здесь, затерянная в кромешной тьме, погребенная, зарытая, замурованная. Всякий, кому довелось бы увидеть ее в этом состоянии и кто ранее знал ее смеющейся и пляшущей на солнце, содрогнулся бы. Холодная, как ночь, холодная, как смерть; ветерок не играл более ее волосами, человеческий голос не достигал ее слуха, дневной свет не отражался в ее глазах. Раздавленная цепями, она сидела, скрючившись, возле кружки с водой и куска хлеба, на охапке соломы, в луже воды, натекавшей с сырых стен камеры; неподвижная, почти бездыханная, она

уже не ощущала страданий. Феб, солнце, полдень, вольный воздух, улицы Парижа, пляска и рукоплескания, сладостный любовный лепет, а вслед за этим — священник, сводница, кинжал, кровь, пытка, виселица! Все это иногда возникало еще в ее памяти то как радостное золотое видение, то как уродливый кошмар; но это было лишь ужасной, смутной борьбой, затерянной во мраке, либо отдаленной музыкой, звеневшей там наверху, на земле, и не слышной на той глубине, где была погребена несчастная.

С тех пор как она находилась здесь, она не бодрствовала, но и не спала. В этой темнице, сломленная горем, она не могла более отличить явь от сна, грезу от действительности, день от ночи. Все смешивалось, дробилось, колебалось и смутно расплывалось в ее мыслях. Она не чувствовала, не понимала, не думала, порой лишь грезила. Никогда еще живое существо не стояло так близко к небытию.

Так, оцепенев, заледенев, окаменев, она почти не слышала, как раза два-три где-то над головой с шумом открывался люк, не пропуская при этом ни малейшего света; через этот люк чья-то рука бросала ей корку черного хлеба. А между тем эти регулярные посещения тюремщика были един-

ственной оставшейся у нее связью с людьми.

Лишь одно еще заставляло ее бессознательно напрягать слух. Над ее головой сквозь заплесневевшие камни свода просачивалась влага, и через равномерные промежутки срывалась капля воды. Узница тупо прислушивалась к звуку, который производили эти капли, падая в лужу подле нее.

Эти падавшие в лужу капли были здесь единственным признаком жизни, единственным маятником, отмечавшим время, единственным звуком, долетавшим до нее из всех земных шумов.

Время от времени в этой клоаке мглы и грязи она ощущала, как что-то холодное то там, то тут пробегало у нее по руке или ноге; тогда она вздрагивала.

Сколько времени пробыла она в этом узилище? Она не знала. Она помнила лишь произнесенный где-то над кем-то смертный приговор, помнила, что ее потом унесли и что она очнулась во мраке и безмолвии, закоченевшая от холода. Она поползла было на руках, но железное кольцо впилось ей в щиколотку и забряцали цепи. Вокруг нее были стены, под ней — залитая водой каменная плита и охапка соломы. Ни фонаря, ни отдушины. Тогда

она села на солому; иногда, чтобы переменить положение, она переходила на нижнюю ступеньку каменной лестницы, спускавшейся в склеп.

Как-то раз она вздумала считать те мрачные минуты, которые ей отмеривали капли, но вскоре это жалкое усилие больного мозга оборвалось само собой, и она погрузилась в полное оцепенение.

И вот однажды днем или ночью (ибо полдень и полночь были одинаково черны в этой гробнице) она услышала над своей головой более сильный шум, чем обычно производил тюремщик, когда приносил ей хлеб и воду. Она подняла голову и увидела красноватый свет, проникавший сквозь щели дверцы или крышки люка, который был проделан в своде этого каменного мешка.

В ту же минуту тяжелый засов загремел, крышка люка, заскрипев на своих ржавых петлях, откинулась, и она увидела фонарь, руку и ноги двух человек. Свод, в который была вделана дверца, нависал слишком низко, чтобы можно было разглядеть их головы. Свет причинил ей такую острую боль, что она закрыла глаза.

Когда она их открыла, дверь была заперта, фонарь стоял на ступеньках лестницы, а перед ней оказался только один человек. Черная мо-

нашеская ряса ниспадала до самых пят, того же цвета капюшон спускался на лицо. Нельзя было разглядеть ни лица, ни рук. Это был длинный черный саван, под которым чувствовалось что-то живое. Несколько мгновений она пристально смотрела на это подобие призрака. Оба молчали. Их можно было принять за две столкнувшиеся друг с другом статуи. В этом склепе казались живыми только фонарный фитиль, потрескавшийся от сырости, да водяные капли, которые, падая со свода, прерывали это неравномерное потрескивание своим однообразным тонким звоном и заставляли дрожать луч фонаря в концентрических кругах, разбегавшихся на маслянистой поверхности лужи.

Наконец узница прервала молчание:

— Кто вы?

— Священник.

Это слово, интонация, звук голоса заставили ее вздрогнуть.

Священник продолжал медленно и глухо:

— Готовы ли вы?

— К чему?

— К смерти.

— Скоро ли это будет? — спросила она.

— Завтра.

Голова ее, с радостью было поднявшаяся, опять тяжело упала на грудь.

— О, как долго ждать! — пробормотала она. — Что им стоило сделать это сегодня?

— Вы, стало быть, очень несчастны? — помолчав, спросил священник.

— Мне так холодно, — ответила она.

Она обхватила руками ступни своих ног — привычное движение бедняков, страдающих от холода, его мы заметили и у затворницы Роландовой башни, — зубы ее стучали.

Казалось, священник из-под своего капюшона разглядывал склеп.

— Без света! Без огня! В воде! Это ужасно!

— Да, — ответила она с тем изумленным видом, который придало ей несчастье. — День сияет для всех. Отчего же мне дана только ночь?

— Знаете ли вы, — после нового молчания спросил священник, — почему вы здесь находитесь?

— Кажется, знала, — ответила она, проводя исхудавшим пальчиком по лбу, словно стараясь помочь своей памяти, — но теперь забыла. — Вдруг она расплакалась, как дитя. — Мне хотелось бы уйти отсюда, господин. Мне холодно, мне страшно. Какие-то звери ползают по моему телу.

— Хорошо, следуйте за мной.

Священник взял ее за руку. Несчастная промерзла насквозь, и все же рука священника ей показалась холодной.

— О! — прошептала она. — Это ледяная рука смерти. Кто же вы?

Священник откинул капюшон. Перед нею было зловещее лицо, которое так давно преследовало ее, голова демона, которая возникла над головой ее обожаемого Феба у старухи Фалурдель, те глаза, которые она видела в последний раз горящими вблизи кинжала.

Появление этого человека, всегда столь роковое для нее, толкавшее ее от несчастья к несчастью вплоть до пытки, вывело ее из оцепенения. Ей показалось, что плотная завеса, нависшая над ее памятью, разорвалась. Все подробности ее мрачного приключения, от ночной сцены у Фалурдель и до приговора, вынесенного в Турнельской башне, сразу всплыли в ее памяти — не спутанные и смутные, как до сей поры, а четкие, яркие, резкие, трепещущие, ужасные. Эти воспоминания, почти изглаженные, почти стертые чрезмерным страданием, ожили вновь близ этой мрачной фигуры, подобно тому как близ огня отчетливо выступают на белой бумаге невидимые слова, начертанные симпатически-

ми чернилами. Ей показалось, что вскрылись все ее сердечные раны и вновь засочились кровью.

— А! — воскликнула она, судорожно вздрогнув и закрывая руками глаза. — Это тот священник!

И, бессильно уронив руки, она осталась сидеть, низко опустив голову, устремив глаза в землю, онемевшая, не переставая дрожать.

Священник глядел на нее глазами коршуна, который долго чертил в небе плавные круги над бедным, притаившимся в хлебах жаворонком и, постепенно суживая огромную спираль своего полета, внезапно, как молния, ринувшись на свою добычу, держит ее теперь, задыхающуюся, в своих когтях.

Она чуть слышно прошептала:

— Добивайте! Наносите последний удар! — и с ужасом втянула голову в плечи, словно овечка под обухом мясника.

— Я вам внушаю ужас? — спросил он наконец.

Она не ответила.

— Разве я внушаю вам ужас? — повторил он.

Губы ее искривились, словно она хотела улыбнуться.

— Да, — сказала она, — палач всегда издевается над осужденным. Сколько месяцев он травит меня, грозит мне, пугает меня! О боже! Как счаст-

лива была я без него! Это он вверг меня в эту пропасть! О небо, это он убил... это он убил его, моего Феба! — Рыдая, она подняла глаза на священника. — О презренный! Кто вы? Что я вам сделала? Вы ненавидите меня? За что же?

— Я люблю тебя! — крикнул священник.

Ее слезы внезапно высохли. Она бессмысленно глядела на него. Он упал к ее ногам, пожирая ее пламенным взором.

— Слышишь? Я люблю тебя! — повторил он.

— О, что это за любовь! — содрогаясь, промолвила несчастная.

Он сказал:

— Любовь отверженного.

Оба некоторое время молчали, придавленные тяжестью своих переживаний: он — обезумев, она — отупев.

— Слушай, — вымолвил наконец священник, и необычайный покой снизошел на него. — Ты все узнаешь. Я скажу тебе то, в чем до сих пор едва осмеливался признаваться самому себе, украдкой вопрошая свою совесть в те безмолвные ночные часы, когда мрак так глубок, что, кажется, сам Бог уже не может видеть нас. Слушай! До встречи с тобой я был счастлив, девушка!..

— И я! — прошептала она еле слышно.

— Не прерывай меня! Да, я был счастлив, по крайней мере я мнил себя счастливым. Я был невинен, душа моя была полна хрустальной чистоты. Надменнее, лучезарнее, чем у всех, сияло чело мое! Священнослужители учились у меня целомудрию, ученые — науке. Да, наука была для меня всем. Она была мне сестрой, и ни в ком другом я не нуждался. Лишь с годами иные мысли овладели мной. Не раз, когда мимо меня проходила женщина, моя плоть возмущалась. Эта власть пола, власть крови, которую я, безумный юноша, считал в себе навек подавленной, не раз в судорожном усилии натягивала цепь железных обетов, приковавших меня, несчастного, к холодным плитам алтаря. Но пост, молитва, занятия, умерщвление плоти сделали мою душу владычицей тела. Я избегал женщин. К тому же стоило мне раскрыть книгу, как весь нечистый угар моих помыслов рассеивался перед величием науки. Протекали минуты, и я чувствовал, как куда-то вдаль отступает земное и плотское, и я вновь обретал мир, чистоту и покой перед безмятежным сиянием вечной истины. Пока дьявол искушал меня смутными видениями, проходившими перед моими глазами то в храме, то на улице, то в лугах, они лишь мельком возникали

в моих сновидениях, и я легко побеждал их. Увы, если ныне я сражен, то в этом виновен Бог, который, сотворив человека и дьявола, не одарил их равной силой. Слушай. Однажды…

Тут священник остановился, и узница услышала хриплые, тяжкие вздохи, вырывавшиеся из его груди.

Он продолжал:

— …однажды я стоял, облокотившись на подоконник в моей келье. Какую же это книгу читал я тогда? О, все это словно вихрь в моей голове! Я читал. Окна моей кельи выходили на площадь. Вдруг слышу звуки бубна и музыки. Досадуя, что меня потревожили в моей задумчивости, я взглянул на площадь. То, что я увидел, видели и другие, не только я, а между тем зрелище это было создано не для глаз человека. Там, в середине площади — был полдень, солнце стояло высоко, — плясала девушка. Создание столь дивной красоты, что Бог предпочел бы ее Святой Деве и избрал бы матерью своей, он бы пожелал быть рожденным ею, если бы она жила, когда он воплотился в человека! У нее были черные блестящие глаза, в темных ее волосах, когда их пронизывало солнце, загорались золотые нити. В стремительной пляске нельзя было различить ее

ножек — они мелькали, как спицы быстро вертящегося колеса. Вокруг головы, в черных ее косах сверкали на солнце металлические бляхи, которые, словно звездной короной, осеняли ее лоб. Ее синее платье, усеянное блестками, искрилось, словно пронизанная тысячью золотых точек летняя ночь. Ее гибкие смуглые руки сплетались и вновь расплетались вокруг ее стана, словно два шарфа. Линии ее тела были дивно прекрасны! О блистающий образ, чье сияние не меркло даже в свете солнечных лучей! Увы, девушка, то была ты! Изумленный, опьяненный, очарованный, я дал себе волю глядеть на тебя. Я до тех пор глядел на тебя, пока внезапно не дрогнул от ужаса: я почувствовал себя во власти чар!

Задыхаясь, священник снова на мгновение умолк. Затем продолжал:

— Уже наполовину околдованный, я пытался найти опору, чтобы удержаться в своем падении. Я припомнил те ковы, которые Сатана уже когда-то строил мне. Создание, представшее очам моим, было так сверхчеловечески прекрасно, что могло быть послано лишь небом или адом. Она не была обыкновенной девушкой, созданной из персти земной и скудно освещенной изнутри мерцающим лучом женской души. То был ангел!

Но ангел мрака, сотканный из пламени, а не из света. В ту минуту, как я это думал, я увидел близ тебя козу, бесовское животное, которое, усмехаясь, глядело на меня. На полуденном солнце ее рожки казались огненными. Тогда я понял, что это дьявольская западня, и больше не сомневался, что ты послана адом и послана на мою погибель. Так я думал.

Тут священник взглянул в лицо узницы и холодно добавил:

— Так я думаю и теперь. А между тем чары малопомалу начинали оказывать на меня действие, твоя пляска кружила мне голову; я ощущал, как таинственная порча проникала в меня. Все, что должно было бодрствовать, засыпало в душе моей, и, подобно людям, замерзающим в снегах, я находил наслаждение в том, чтобы поддаваться этой дреме. Внезапно ты запела. Что оставалось мне делать, несчастному! Твое пение было еще пленительней твоей пляски. Я хотел бежать. Невозможно. Я был пригвожден, я врос в землю. Мне казалось, что мрамор плит доходит мне до колен. Пришлось остаться до конца. Ноги мои оледенели, голова пылала. Наконец, быть может, сжалившись надо мной, ты перестала петь, ты исчезла. Отсвет лучезарного видения постепен-

но погасал в глазах моих, и слух мой более не улавливал отзвука волшебной музыки. Тогда я склонился на край подоконника, более недвижный и беспомощный, нежели статуя, сброшенная с пьедестала. Вечерний благовест пробудил меня. Я поднялся, я бежал, но — увы! — что-то было низвергнуто во мне, чего нельзя уже было поднять; что-то снизошло на меня, от чего нельзя было спастись бегством.

Он снова приостановился, потом продолжал:

— Да, начиная с этого дня во мне возник человек, которого я в себе не знал. Я пытался прибегнуть ко всем моим обычным средствам: монастырю, алтарю, работе, книгам. Безумие! О, сколь пустозвонна наука, когда ты, в отчаянии, преисполненный страстей, ищешь у нее прибежища! Знаешь ли ты, девушка, что вставало отныне между книгами и мной? Ты, твоя тень, образ светозарного видения, возникшего однажды передо мной в пространстве. Но образ этот стал уже иным — темным, зловещим, мрачным, как черный круг, который неотступно стоит перед глазами того неосторожного, кто пристально взглянул на солнце.

Не будучи в силах избавиться от него, вечно преследуемый напевом твоей песни, видя вечно

на моем молитвеннике твои пляшущие ножки, вечно ощущая ночью во сне, как твое тело касается моего, я хотел вновь увидеть тебя, дотронуться до тебя, знать, кто ты, убедиться, соответствуешь ли ты тому идеальному образу, который запечатлелся во мне, а быть может, и затем, чтобы суровой действительностью разбить мою грезу. Как бы то ни было, я надеялся, что новое впечатление развеет первое, а это первое стало для меня невыносимо. Я искал тебя. Я вновь тебя увидел. О горе! Увидев тебя однажды, я хотел тебя видеть тысячу раз, я хотел тебя видеть непрестанно. И — можно ли удержаться на этом адском склоне? — я перестал принадлежать себе. Другой конец нити, которую дьявол привязал к моим крыльям, он прикрепил к твоей ножке. Я стал скитаться и бродить по улицам, как и ты. Я поджидал тебя в подъездах, я подстерегал тебя на углах улиц, я выслеживал тебя с высоты моей башни. Каждый вечер я возвращался все сильнее завороженный, все сильнее отчаявшийся, все сильнее околдованный, все более обезумевший!

Я знал, кем ты была, — египтянка, цыганка, хитана, цингара[132], — можно ли было сомневаться

---

[132] Примечания: 132

Хитана (*исп.* gitana), *цингара* (*ит.* zingara) — цыганка.

в колдовстве? Слушай. Я надеялся, что судебный процесс избавит меня от порчи. Когда-то ведьма околдовала Бруно Аста; он приказал сжечь ее и исцелился. Я знал это. Я хотел испробовать это средство. Я запретил тебе появляться на Соборной площади, надеясь, что забуду тебя, если ты больше не придешь туда. Но ты не придала этому значения. Ты вернулась. Затем мне пришла мысль похитить тебя. Однажды ночью я попытался это сделать. Нас было двое. Мы уже схватили тебя, как вдруг появился этот презренный офицер. Он освободил тебя и этим положил начало твоему несчастью, моему и своему собственному. Наконец, не зная, что делать и как поступить, я донес на тебя в духовный суд.

Я думал, что исцелюсь, подобно Бруно Асту. Я смутно рассчитывал также и на то, что приговор отдаст тебя в мои руки, что в темнице я застигну тебя, что буду обладать тобой, что там тебе не удастся ускользнуть от меня, что ты уже достаточно времени владела мною и теперь я, в свою очередь, овладею тобой. Когда творишь зло, твори его до конца. Безумие не останавливается на полпути! В чрезмерности греха таится исступленное счастье. Священник и колдунья могут слиться в наслаждении на охапке соломы и в темнице!

И вот я донес на тебя. Именно тогда-то я и пугал тебя при встречах. Заговор, который я умышлял против тебя, гроза, которую я собрал над твоей головой, давала о себе знать угрозами и вспышками. Однако я все еще медлил. Мой план был ужасен, и это заставляло меня отступать перед ним.

Быть может, я отказался бы от него совсем, быть может, моя чудовищная мысль погибла бы в моем мозгу, не дав плода. Мне казалось, что только от меня зависело продлить или прервать это судебное дело. Но каждая дурная мысль непреклонно требует своего воплощения. И в том, в чем я мыслил себя всемогущим, рок оказался сильнее меня. Увы! Этот рок овладел тобою и бросил тебя под ужасные колеса той машины, которую я коварно изготовил! Слушай. Я подхожу к концу.

Однажды — в такой же солнечный день — мимо меня проходит человек, он произносит твое имя и смеется, и в глазах его горит вожделение. Проклятие! Я последовал за ним. Что было дальше, ты знаешь.

Он умолк.

Молодая девушка могла лишь вымолвить:

— О мой Феб!

— Не произноси этого имени! — воскликнул

священник, с силой сжав ее руку. — О несчастные! Это имя сгубило нас всех! Или, вернее, мы все погубили друг друга по необъяснимой игре рока! Ты страдаешь, не правда ли? Тебе холодно, мгла слепит тебя, тебя окружают стены темницы? Но, может быть, в глубине твоей души еще теплится свет, пусть даже то будет твоя ребяческая любовь к этому легкомысленному человеку, который забавлялся твоим сердцем! А я — я ношу тюрьму в себе. Зима, лед, отчаяние — внутри меня! Ночь в душе моей!

Знаешь ли ты все, что я выстрадал? Я был на суде. Я сидел на скамье с духовными судьями. Да, под одним из этих монашеских капюшонов извивался грешник. Когда тебя привели, я был там; когда тебя допрашивали, я был там. О волчье логово! То было мое преступление, уготованная для меня виселица; я видел, как ее очертания медленно возникали над твоей головой. При появлении каждого свидетеля, при каждой улике, при защите — я был там; я мог бы сосчитать каждый шаг на твоем скорбном пути; я был там, когда этот дикий зверь… О, я не предвидел пытки! Слушай. Я последовал за тобой в застенок. Я видел, как тебя раздели, как тебя, полуобнаженную, хватали гнусные руки палача. Я видел твою

ножку — я б отдал царство, чтобы запечатлеть на ней поцелуй и умереть, я видел, как эту ножку, которая, даже наступив на мою голову и раздавив ее, дала бы мне неизъяснимое наслаждение, зажали ужасные тиски «испанского сапога», превращающего ткани живого существа в кровавое месиво. О несчастный! В то время как я смотрел на это, я бороздил себе грудь кинжалом, спрятанным под сутаной! При первом твоем вопле я всадил его себе в тело; при втором — он пронзил бы мне сердце! Гляди! Мне кажется, что раны еще кровоточат.

Он распахнул сутану. Действительно, его грудь была вся истерзана, словно когтями тигра, а на боку зияла большая, плохо затянувшаяся рана.

Узница отпрянула в ужасе.

— О девушка, сжалься надо мной! — продолжал священник. — Ты мнишь себя несчастной! Увы! Ты не знаешь, что такое несчастье! О! Любить женщину! Быть священником! Быть ненавистным! Любить ее со всем неистовством, чувствовать, что за тень ее улыбки ты отдал бы свою кровь, свою душу, свое доброе имя, свое спасение, бессмертие, вечность, жизнь земную и загробную; сожалеть, что ты не король, не гений, не император, не архангел, не Бог, чтобы

повергнуть к ее стопам величайшего из рабов; денно и нощно лелеять ее в своих грезах, своих мыслях — и видеть, что она влюблена в солдатский мундир! И не иметь ничего взамен, кроме скверной священнической рясы, которая вызывает в ней лишь страх и отвращение! Изнемогая от ревности и ярости, быть свидетелем того, как она расточает дрянному, тупоголовому хвастуну сокровища своей любви и красоты. Видеть, как это тело, формы которого жгут, эта грудь, такая сладостная, эта кожа трепещут и розовеют под поцелуями другого! О небо! Любить ее ножку, ее ручку, ее плечи; терзаясь ночи напролет на каменном полу своей кельи, мучительно грезить о ее голубых жилках, о ее смуглой коже — и видеть, что все ласки, которыми ты мечтал одарить ее, свелись к пытке, что тебе удалось лишь уложить ее на кожаную постель! О, это поистине клещи, раскаленные на адском пламени! Как счастлив тот, кого распиливают надвое или четвертуют лошадьми! Знаешь ли ты муку, которую испытывает человек долгими ночами, когда кипит кровь, когда сердце разрывается, голова раскалывается, зубы впиваются в руки, когда эти яростные палачи, словно на огненной решетке, без устали пытают его любовной грезой,

ревностью, отчаянием! Девушка, сжалься! Дай мне минуту передохнуть! Немного пепла на этот пылающий уголь! Утри, заклинаю тебя, пот, который крупными каплями струится с моего лба! Дитя, терзай меня одной рукой, но ласкай другой! Сжалься, девушка! Сжалься надо мной!

Священник катался по каменному, залитому водою полу и бился головой об углы каменных ступеней. Девушка слушала его, смотрела на него.

Когда он умолк, опустошенный и задыхающийся, она проговорила вполголоса:

— О мой Феб!

Священник пополз к ней на коленях.

— Умоляю тебя, — закричал он, — если в тебе есть сердце, не отталкивай меня! О, я люблю тебя! Горе мне! Когда ты произносишь это имя, несчастная, ты словно дробишь своими зубами мою душу. Сжалься! Если ты исчадие ада, я последую за тобой. Я все для этого совершил. Тот ад, в котором будешь ты, — мой рай! Твой лик прекрасней Божьего лика! О, скажи, ты не хочешь меня? В тот день, когда женщина отвергнет такую любовь, как моя, горы должны содрогнуться. О, если бы ты пожелала! Как бы мы были счастливы! Бежим — я заставлю тебя бежать, — мы

уедем куда-нибудь, мы отыщем на земле место, где солнце ярче, деревья зеленее и небо синее. Мы будем любить друг друга, мы воедино сольем наши души и будем пылать вечной жаждой друг друга, которую вместе и неустанно будем утолять из кубка неиссякаемой любви!

Она прервала его ужасным, резким смехом:

— Поглядите же, отец мой, у вас кровь под ногтями.

Священник некоторое время стоял, словно окаменевший, устремив пристальный взгляд на свои руки.

— Ну хорошо, пусть так! — со странной кротостью ответил он. — Оскорбляй меня, насмехайся надо мной, обвиняй меня, но идем, идем, спешим! Это будет завтра, говорю тебе. Гревская виселица, ты знаешь? Она всегда наготове. Это ужасно! Видеть, как тебя повезут в этой повозке! О, сжалься! Только теперь я чувствую, как сильно люблю тебя. О, пойдем со мной! Ты еще успеешь меня полюбить после того, как я спасу тебя. Можешь ненавидеть меня сколько пожелаешь! Но бежим! Завтра! Завтра! Виселица! Твоя казнь! О, спаси себя! Пощади меня!

Он схватил ее за руку, он был вне себя, он хотел ее увести силой.

Она остановила на нем неподвижный взор:

— Что сталось с моим Фебом?

— А, — произнес священник, отпуская ее руку, — вы безжалостны!

— Что сталось с Фебом? — холодно повторила она.

— Он умер! — закричал священник.

— Умер? — так же безжизненно и холодно сказала она. — Так зачем вы говорите мне о жизни?

Он не слушал ее.

— О да, — бормотал он, как бы обращаясь к самому себе, — он, наверное, умер. Клинок вошел глубоко. Мне кажется, что острие коснулось его сердца. О, я сам жил на острие этого кинжала!

Бросившись на него, молодая девушка, как разъяренная тигрица, оттолкнула его с нечеловеческой силой на ступени лестницы.

— Уходи, чудовище! Уходи, убийца! Дай мне умереть. Пусть наша кровь вечным клеймом ляжет на твоем лбу! Принадлежать тебе, поп! Никогда! Никогда! Ничто не соединит нас, даже ад! Уйди, проклятый! Никогда!

Священник споткнулся о ступеньку. Он молча высвободил свои ноги, запутавшиеся в складках одежды, взял фонарь и медленно стал подниматься по лестнице к двери. Он открыл эту дверь

и вышел.

Вдруг молодая девушка увидела, как его голова вновь появилась в отверстии люка. Лицо его было ужасно; хриплым от ярости и отчаяния голосом он крикнул:

— Говорю тебе, он умер!

Она упала ничком на землю, и ничего больше не было слышно в темнице, кроме вздохов водяных капель, зыбивших лужу во мраке.

V. Мать

Не думаю, чтобы во всей Вселенной было что-нибудь отраднее тех чувств, которые пробуждаются в сердце матери при виде крошечного башмачка ее ребенка. Особенно если это праздничный башмачок, воскресный, крестильный башмачок, расшитый почти до самой подошвы, башмачок младенца, еще не ставшего на ножки. Этот башмачок так мал, так мил, он так явно непригоден для ходьбы, что матери кажется, будто она видит свое дитя. Она улыбается ему, она целует его, она разговаривает с ним. Она спрашивает себя, возможно ли, чтобы ножка была столь мала; и если даже нет с ней ребенка, то ей достаточно взглянуть на хорошенький башмачок, чтобы перед ней уже возник образ нежного и хрупкого создания. Ей чудится, что она его видит, живого, смеющегося, его нежные ручки, круглую головку, ясные глазки с голубоватыми белками, его невинные уста. Если на дворе зима, то вот он, здесь, ползет по ковру, деловито карабкается на скамейку, и мать трепещет, боясь, как бы он не приблизился к огню. Если же лето, то он ковыляет по двору, по саду, рвет траву, растущую между

булыжниками, простодушно, без страха, глядит на больших собак, на больших лошадей, забавляется ракушками, цветами и заставляет ворчать садовника, который находит на куртинах песок, а на дорожках землю. Все, как и он сам, улыбается, все играет, все сверкает вокруг него, даже ветерок и солнечный луч прыгают взапуски, путаясь в его кудряшках. Все это возникает перед матерью при взгляде на башмачок, и, как воск на огне, тает ее сердце.

Но когда дитя утрачено, эти тысячи радостных, очаровательных, нежных образов, которые обступают крошечный башмачок, превращаются в источник ужасных страданий. Хорошенький расшитый башмачок становится орудием пытки, которое непрестанно терзает материнское сердце. В этом сердце звучит все та же струна, струна самая затаенная, самая чувствительная; но вместо ангела, нежно прикасающегося к ней, ее дергает демон.

Однажды утром, когда майское солнце вставало на темно-синем небе — на таком фоне Гарофало любил писать свои многочисленные «Снятия с креста», — затворница Роландовой башни услышала доносившийся с Гревской площади шум колес, топот копыт, лязг железа. Это ее не

слишком поразило, и, закрыв уши волосами, чтобы заглушить шум, она снова, стоя на коленях, отдалась созерцанию того неодушевленного предмета, которому поклонялась вот уже пятнадцать лет. Этот маленький башмачок, как мы уже говорили, был для нее Вселенной. В нем была заточена ее мысль, и освободить ее от этого заключения могла одна лишь смерть. Сколько горьких упреков, трогательных жалоб, молитв и рыданий об этой очаровательной безделке розового шелка воссылала она к небесам, об этом знала только мрачная келья Роландовой башни. Никогда еще подобное отчаяние не изливалось на такую прелестную и такую изящную вещицу.

В это утро, казалось, скорбь ее была еще надрывнее, чем всегда, и ее громкое монотонное причитание, долетавшее из склепа, щемило сердце.

— О дочь моя! — стонала она. — Мое бедное дорогое дитя! Никогда больше я не увижу тебя! Все кончено! А мне кажется, будто это произошло лишь вчера. Боже мой, боже мой! Уж лучше бы ты не дарил ее мне, если хотел отнять так скоро! Разве тебе не ведомо, что ребенок врастает в нашу плоть, и мать, потерявшая дитя, перестает верить в Бога? О несчастная, зачем я вышла из дому в

этот день? Господи, Господи, если ты лишил меня дочери, то ты, наверное, никогда не видел меня вместе с нею, когда я отогревала ее, веселенькую, у моего очага; когда она, улыбаясь мне, сосала мою грудь; когда я заставляла ее перебирать ножонками по моей груди до самых моих губ! О, если бы ты взглянул на нас тогда, Господи, ты бы сжалился надо мной, над моим счастьем, ты не лишил бы меня единственной любви, которая еще жила в моем сердце! Неужели я была такой презренной тварью, Господи, что ты не пожелал даже взглянуть на меня, прежде чем осудить? О горе, горе! Вот башмачок, а ножка где? Где все ее тельце? Где дитя? Дочь моя! Дочь моя! Что они сделали с тобой? Господи, верни ее мне! За те пятнадцать лет, что я провела в моленьях перед тобой, о Господи, мои колени покрылись струпьями! Разве этого мало? Верни ее мне хоть на день, хоть на час, хоть на одну минуту, на одну минуту, на одну минуту, Господи! А потом ввергни меня на веки вечные в преисподнюю! О, если бы я знала, где влачится край твоей ризы, я ухватилась бы за него обеими руками и умолила бы вернуть мое дитя! Вот ее хорошенький крохотный башмачок! Разве тебе его не жаль, Господи? Как ты мог обречь бедную мать на эту

пятнадцатилетнюю муку? Пресвятая Дева, милостивая заступница, верни мне моего младенца Иисуса, у меня его отняли, у меня его украли, его пожрали на поляне, поросшей вереском, выпили его кровь, обглодали его косточки! Сжалься надо мной, Пресвятая Дева! Моя дочь! Я хочу видеть мою дочь! Что мне до того, что она в раю? Мне не нужны ваши ангелы, мне нужно мое дитя! Я — львица, мне нужен мой львенок! Я буду кататься по земле, я разобью камни моей головой, я загублю свою душу, я прокляну тебя, Господи, если ты не отдашь мне мое дитя! Ты же видишь, что мои руки все искусаны? Разве милосердный Бог может быть безжалостным? О, не давайте мне ничего, кроме соли и черного хлеба, лишь бы со мной была моя дочь, лишь бы она, как солнце, согревала меня! Увы, Господи, владыка мой, я всего лишь презренная грешница, но моя дочь меня делала благочестивой. Из любви к ней я была исполнена веры; в ее улыбке я видела тебя, словно предо мной разверзалось небо. О, если бы мне хоть раз, еще один только единственный раз обуть ее маленькую розовую ножку в этот башмачок — и я умру, милосердная Дева, благословляя твое имя! Пятнадцать лет! Она была бы теперь взрослой! Несчастное дитя! Как, неужели

я никогда больше не увижу ее, даже на небесах?! Ведь мне туда не попасть. О, какая мука! Думать — вот ее башмачок, — и это все, что осталось!

Несчастная бросилась на башмачок, этот источник ее утехи и ее отчаяния в продолжение стольких лет, и грудь ее потрясли страшные рыдания, как и в день утраты. Ибо для матери, потерявшей ребенка, день этот длится вечно. Такая скорбь не стареет. Пусть траурное одеяние ветшает и белеет, но сердце остается облаченным в траур.

В эту минуту послышались радостные и звонкие голоса детей, проходивших мимо ее кельи. Всякий раз, когда она видела или слышала детей, бедная мать убегала в самый темный угол своего склепа и, казалось, хотела глубоко зарыться в камни, лишь бы не слышать их. Но на этот раз резким движением она очутилась на ногах и жадно стала прислушиваться. Один из маленьких мальчиков сказал:

— Это потому, что сегодня будут вешать цыганку.

Тем внезапным скачком, который мы наблюдаем у паука, когда он бросается на запутавшуюся в его паутине муху, она бросилась к оконцу, выходившему, как известно, на Гревскую площадь.

Действительно, к постоянной виселице, воздвигнутой на площади, была приставлена лестница, и палач налаживал цепи, заржавевшие от дождя. Несколько зевак стояли вокруг.

Смеющиеся дети отбежали уже далеко. Вретишница искала глазами какого-нибудь прохожего, чтобы расспросить его. Наконец она заметила рядом со своим логовом священника. Он делал вид, будто читает общественный требник, но в действительности был не столько занят «зарешеченным Священным писанием», сколько виселицей, на которую он по временам бросал мрачный и дикий взгляд. Затворница узнала в нем господина архидьякона Жозасского, святого человека.

— Отец мой, — обратилась она к нему, — кого это собираются повесить?

Священник взглянул на нее и промолчал. Она повторила вопрос. Тогда он ответил:

— Не знаю.

— Тут пробегали дети и говорили, что цыганку, — продолжала затворница.

— Возможно, — ответил священник.

Тогда Пакетта Шантфлери разразилась жестоким хохотом.

— Сестра моя, — сказал архидьякон, — вы,

должно быть, сильно ненавидите цыганок?

— И как еще ненавижу! — воскликнула затворница. — Это оборотни, воровки детей! Они растерзали мою малютку, мою дочь, мое дитя, мое единственное дитя! У меня нет больше сердца, они сожрали его!

Она была страшна. Священник холодно глядел на нее.

— Есть между ними одна, которую я особенно ненавижу, которую я прокляла, — продолжала она. — Она молодая, ей столько же лет, сколько было бы теперь моей дочери, если бы ее мать не пожрала мое дитя. Всякий раз, когда эта молодая ехидна проходит мимо моей кельи, вся кровь у меня вскипает!

— Ну так радуйтесь, сестра моя, — сказал священник, бесстрастный, как надгробная статуя, — именно ее-то вы и увидите на виселице.

Голова его склонилась на грудь, и он медленной поступью удалился.

Затворница радостно всплеснула руками.

— Я ей это предсказывала! Спасибо, священник! — крикнула она.

И принялась большими шагами расхаживать перед решеткой оконца, всклокоченная, сверкая глазами, натыкаясь плечом на стены, с хищным

видом голодной волчицы, которая мечется по клетке, чуя, что близок час кормежки.

VI. Три мужских сердца, созданные различно

Феб не умер. Такие люди живучи. Когда мэтр Филипп Лелье, чрезвычайный королевский прокурор, заявил бедной Эсмеральде: «Он при последнем издыхании», то это сказано было либо по ошибке, либо в шутку. Когда архидьякон подтвердил узнице: «Он умер», то в сущности он ничего не знал об этом, но думал это, рассчитывал на это, не сомневался в этом и очень на это уповал. Ему было бы слишком тяжко сообщить женщине, которую он любил, добрые вести о своем сопернике. Каждый на его месте поступил бы так же.

Рана Феба хотя и была опасной, но не настолько, как на то надеялся архидьякон. Почтенный лекарь, к которому ночной дозор не мешкая отнес Феба, опасался восемь дней за его жизнь и даже высказал ему это по-латыни. Однако молодость взяла верх; как это нередко бывает, вопреки всем прогнозам и диагнозам, природа вздумала потешиться, и больной выздоровел, наставив нос врачу. Филипп Лелье и следователь духов-

ного суда допрашивали его как раз тогда, когда он лежал на одре болезни у лекаря, и порядком ему наскучили. Поэтому в одно прекрасное утро, почувствовав себя уже несколько окрепшим, он оставил аптекарю в уплату за лекарства свои золотые шпоры и сбежал. Впрочем, это обстоятельство не внесло ни малейшего беспорядка в ход следствия. В то время правосудие очень мало заботилось о ясности и четкости уголовного судопроизводства. Лишь бы обвиняемый был повешен — это все, что требовалось суду. Кроме того, судьи имели достаточно улик против Эсмеральды. Они полагали, что Феб умер, и этого им было довольно.

Что же касается Феба, то он убежал недалеко. Он просто-напросто отправился в свой отряд, стоявший гарнизоном в Ке-ан-Бри, в Иль-де-Франс, на расстоянии нескольких почтовых станций от Парижа.

В конце концов, его нисколько не привлекала мысль предстать перед судом. Он смутно чувствовал, что будет смешон. В сущности, он и сам не знал, что думать обо всем этом деле. Он был не больше как солдат — неверующий, но суеверный. Поэтому, когда он пытался разобраться в своем приключении, его смущало все: и коза, и

странные обстоятельства его встречи с Эсмеральдой, еще более странный способ, каким она дала угадать ему свою любовь, и то, что она цыганка, и, наконец, монах-привидение. Во всем этом он усматривал больше колдовства, чем любви. Возможно, что цыганка была действительно ведьмой или даже самим дьяволом. А может быть, все это просто комедия или, говоря языком того времени, пренеприятная мистерия, в которой он сыграл незавидную роль, роль побитого и осмеянного героя. Капитан был посрамлен, он ощущал тот род стыда, для которого наш Лафонтен нашел такое превосходное сравнение:

> Пристыженный, как лис, наседкой взятый в плен.

Он надеялся все же, что эта история не получит широкой огласки, что его имя, раз он отсутствует, будет там только упомянуто и, во всяком случае, не выйдет за пределы судебного зала Турнель. В этом он не ошибался. В то время не существовало еще «Судебных ведомостей», и так как не проходило недели, чтобы не сварили фальшивомонетчика, не повесили ведьму или не сожгли еретика на каком-нибудь из бесчисленных «лобных мест» Парижа, то народ до такой степени

привык встречать на всех перекрестках дряхлую феодальную Фемиду с обнаженными руками и засученными рукавами, делавшую свое дело у виселиц, плах и позорных столбов, что почти не обращал на это внимания. Высший свет не интересовался именами осужденных, которых вели по улице, а простонародье только смаковало это грубое яство. Казнь была обыденным явлением уличной жизни, таким же как жаровня пирожника или бойня живодера. Палач был тот же мясник, только более искусный.



Итак, Феб довольно скоро перестал думать о чаровнице Эсмеральде, или Симиляр, как он ее называл, об ударе кинжалом, нанесенном ему не то цыганкой, не то монахом-привидением (его не интересовало, кем именно), и об исходе процесса. Как только сердце его стало свободным,

образ Флёр-де-Лис вновь вселился туда. Сердце капитана Феба, как и физика того времени, не терпело пустоты.

К тому же пребывание в Ке-ан-Бри было прескучным. Эта деревушка, населенная кузнецами и коровницами с потрескавшимися руками, представляла собой всего лишь длинный ряд лачуг и хижин, тянувшихся на пол-лье по обе стороны дороги, — одним словом, настоящий «хвост» провинции Бри[133].

Флёр-де-Лис, его предпоследняя страсть, была прелестной девушкой с очаровательным приданым. Итак, в одно великолепное утро, совершенно оправившись от болезни и полагая не без оснований, что за истекшие два месяца дело цыганки уже окончено и забыто, влюбленный кавалер, гарцуя, подскакал к дверям дома Гонделорье.

Он не обратил внимания на довольно густую толпу, собравшуюся на площади перед Собором Богоматери. Был май месяц, и Феб решил, что это, вероятно, какая-нибудь процессия, Троицын день или другой праздник; он привязал лошадь к кольцу подъезда и весело взбежал наверх, к

---

[133] Примечания: 133

Queue-en-Brie состоит из двух слов: *queue* — хвост, *Brie* — название провинции.

своей красавице-невесте.

Он застал ее одну с матерью.

У Флёр-де-Лис все время камнем на сердце лежало воспоминание о сцене с колдуньей, с ее козой и ее проклятой азбукой; беспокоило ее и длительное отсутствие Феба. Но когда она увидела своего капитана, его лицо показалось ей таким привлекательным, его куртка такой нарядной и новой, его портупея такой блестящей и таким страстным его взгляд, что она покраснела от удовольствия. Благородная девица и сама казалась прелестнее, чем когда-либо. Ее чудесные белокурые волосы были восхитительно заплетены в косы, платье было небесно-голубого цвета, который так к лицу блондинкам, — этому ухищрению кокетства ее научила Коломба, — а глаза подернуты той поволокой неги, которая еще больше красит женщин.

Феб, уже давно не видевший красавиц, кроме разве доступных красоток Ке-ан-Бри, был опьянен Флёр-де-Лис, и это придало такую любезность и галантность манерам капитана, что мир был тотчас же заключен. Даже у самой г-жи Гонделорье, по-прежнему матерински взиравшей на них из глубины своего кресла, недостало духу бранить его. Что касается Флёр-де-Лис, то ее упреки

совсем заглохли в нежном ворковании.

Молодая девушка сидела у окна, по-прежнему вышивая свой грот Нептуна. Капитан облокотился о спинку ее стула, и она вполголоса ласково журила его:

— Что же с вами приключилось в эти два долгих месяца, злодей?

— Клянусь вам, — отвечал несколько смущенный Феб, — вы так хороши, что можете вскружить голову даже архиепископу.

Она не могла сдержать улыбку.

— Хорошо, хорошо, сударь, но оставьте в покое мою красоту и отвечайте на вопрос.

— Извольте, дорогая кузина! Я был вызван в гарнизон.

— Куда это, будьте добры сказать? И отчего не зашли проститься?

— В Ке-ан-Бри.

Феб был в восторге, что первый вопрос давал ему возможность увильнуть от второго.

— Но ведь это очень близко, сударь! Как же вы ни разу не навестили меня?

Здесь Феб окончательно запутался.

— Дело в том… служба… Кроме того, прелестная кузина, я был болен.

— Болен? — повторила она в испуге.

— Да… ранен.

— Ранен?

Молодая девушка была совершенно потрясена.

— О, не тревожьтесь, — небрежно сказал Феб. — Пустяки. Ссора, удар шпаги. Что вам до этого?

— Что мне до этого? — воскликнула Флёр-де-Лис, поднимая на него свои прекрасные глаза, полные слез. — О, вы говорите не то, что думаете. Что это за удар шпаги? Я хочу знать все.

— Но, дорогая, видите ли… Я повздорил с Маэ Феди, лейтенантом из Сен-Жермен-ан-Ле, и мы чуть-чуть подпороли друг другу кожу. Вот и все.

Враль-капитан отлично знал, что дело чести всегда возвышает мужчину в глазах женщины. И действительно, Флёр-де-Лис смотрела на него, трепеща от страха, удовольствия и восхищения. Однако она все еще не совсем успокоилась.

— Лишь бы вы были совсем здоровы, мой Феб! — проговорила она. — Я не знаю вашего Маэ Феди, но он гадкий человек. А из-за чего вы поссорились?

Тут Феб, воображение которого не отличалось особой изобретательностью, совсем стал в тупик.

— Право, не знаю!.. Пустяк… Лошадь… Неосторожное слово!.. Прелестная кузина, — желая переменить разговор, воскликнул он, — что это

за шум на площади?

Он подошел к окну.

— Боже, сколько там народу! Взгляните, прелестная кузина!

— Не знаю, — ответила Флёр-де-Лис, — кажется, какая-то колдунья должна сегодня утром публично каяться перед собором, после чего ее повесят.

Капитан настолько был уверен в окончании истории с Эсмеральдой, что слова Флёр-де-Лис нимало его не встревожили. Однако он все же задал ей два-три вопроса:

— А как зовут колдунью?

— Не знаю, — ответила кузина.

— А в чем ее обвиняют?

— Тоже не знаю.

Она снова пожала своими белыми плечами.

— О Господи Иисусе! — воскликнула г-жа Алоиза. — Теперь развелось столько колдунов, что, я полагаю, их сжигают, даже не зная их имени. С таким же успехом можно добиться имени каждого облака на небе. Но можете не беспокоиться, преблагий Господь ведет им счет. — Почтенная дама встала и подошла к окну. — Боже мой! — воскликнула она в испуге. — Вы правы, Феб, действительно, какая масса народу! Господи благослови, даже на крыши взобрались! Знаете, Феб,

это напоминает мне молодость. Приезд короля Карла Седьмого; тогда собралось столько же народу. Не помню уж, в котором году это было. Когда я вам рассказываю об этом, то вам, не правда ли, кажется, что все это старина стародавняя, а передо мной воскресает моя юность. О, в те времена народ был красивее, чем теперь. Люди стояли даже на зубцах башни Сент-Антуанских ворот. А позади короля на его же лошади сидела королева, и за их величествами следовали все придворные дамы, также сидя за спинами придворных кавалеров. Я помню, как много смеялись тому, что рядом с Аманьоном де Гарландом, человеком очень низенького роста, ехал сир Матфелон, рыцарь-исполин, кучами убивавший англичан. Это было великолепное зрелище! Торжественное шествие всех дворян Франции с их пламеневшими стягами! У одних были значки на пике, у других — знамена. Всех-то я даже и не упомню. Сир де Калан — со значком; Жан де Шатоморан — со знаменем; сир де Куси — со знаменем, да таким богатым, какого не было ни у кого, кроме герцога Бурбонского. Увы, как грустно думать, что все это было и ничего от этого не осталось!

Влюбленные не слушали почтенную вдову. Феб вновь облокотился на спинку стула нареченной

— очаровательное место, откуда взгляд повесы проникал во все отверстия корсажа Флёр-де-Лис. Ее косынка так кстати распахивалась, предлагая взору зрелище столь пленительное и давая такой простор воображению, что Феб, ослепленный блеском шелковистой кожи, говорил себе: «Можно ли любить кого-нибудь, кроме блондинок?»

Оба молчали. Иногда молодая девушка, бросая на Феба восхищенный и нежный взор, поднимала голову, и их волосы смешивались в лучах весеннего солнца.

— Феб, — шепотом сказала вдруг Флёр-де-Лис, — мы через три месяца обвенчаемся. Поклянитесь мне, что вы никого не любите, кроме меня.

— Клянусь вам, мой прелестный ангел! — ответил Феб, и страстность его взгляда усиливала убедительность его слов. Может быть, в эту минуту он и сам верил тому, что говорил.

Между тем добрая мать, восхищенная столь полным согласием влюбленных, вышла из комнаты позаботиться о каких-то хозяйственных мелочах. Феб заметил это, и уединение, в котором они очутились, так окрылило предприимчивого капитана, что его стали обуревать довольно странные мысли. Флёр-де-Лис любила его; он был с нею помолвлен, они были вдвоем; его былая

склонность к ней снова пробудилась, если и не во всей свежести, то со всею страстностью; неужели же такое преступление в конце концов отведать хлеба с собственного поля до того, как он созреет? Я не уверен в том, что именно эти мысли проносились у него в голове, но достоверно то, что Флёр-де-Лис вдруг испугалась выражения его глаз. Она оглянулась и заметила, что матери в комнате не было.

— Боже мой, — сказала она, покраснев, охваченная беспокойством, — как мне жарко!

— Действительно, — ответил Феб, — скоро полдень. Солнце так и печет. Но можно опустить шторы.

— Нет! Нет! — воскликнула бедняжка. — Напротив, мне хочется подышать чистым воздухом!

И, подобно лани, чувствующей приближение своры гончих, она встала, подбежала к стеклянной двери, толкнула ее и выбежала на балкон.

Феб, весьма раздосадованный, последовал за ней.

Площадь перед Собором Богоматери, на которую, как известно, выходил балкон, представляла в эту минуту зловещее и необычайное зрелище, уже по-иному испугавшее робкую Флёр-де-Лис.

Огромная толпа переполняла площадь, зали-

вая все прилегающие улицы. Невысокая ограда паперти, в половину человеческого роста, не могла бы сдержать напор толпы, если бы перед ней не стояли сомкнутым двойным рядом сержанты городской стражи и стрелки с пищалями в руках. Благодаря этому частоколу пик и аркебуз паперть оставалась свободна. Вход туда охранялся множеством вооруженных алебардщиков в епископских ливреях. Широкие двери собора были закрыты, что представляло разительный контраст с бесчисленными выходящими на площадь окнами, распахнутыми настежь, вплоть до слуховых, где виднелись тысячи тесно скученных голов, напоминавших груды пушечных ядер в артиллерийском парке.

Поверхность этого моря людей была серого, грязного, землистого цвета. Ожидаемое зрелище относилось, по-видимому, к разряду тех, которые обычно привлекают к себе лишь подонки простонародья. Над этой кучей женских чепцов и омерзительно грязных шевелюр стоял отвратительный шум. Здесь было больше смеха, чем криков, больше женщин, нежели мужчин.

Время от времени чей-нибудь пронзительный и возбужденный голос прорезал общий шум.

— Эй, Майе Балифр! Разве ее здесь и повесят?

— Дура! Здесь она будет каяться в одной рубахе! Милостивый Господь начихает ей латынью в рожу! Это всегда проделывают тут, как раз в полдень. А хочешь полюбоваться виселицей, так ступай на Гревскую площадь.

— Пойду потом.

— Скажите, тетка Букамбри, правда ли, что она отказалась от духовника?

— Кажется, правда, тетка Бешень.

— Ишь ты, язычница!

— Таков уж обычай, сударь. Дворцовый судья обязан сдать преступника, если он мирянин, для совершения казни парижскому прево; если же он духовного звания — председателю духовного суда.

— Благодарю вас, сударь.

— О боже мой! — воскликнула Флёр-де-Лис. — Несчастное создание!

Ее взгляд, скользнувший по толпе, был исполнен печали. Капитан, не обращая внимания на это скопище простого народа, был занят своей невестой и влюбленно теребил сзади пояс ее платья. Она с умоляющей улыбкой обернулась к нему.

— Прошу вас, Феб, не трогайте меня! Если вой-

дет матушка, она заметит вашу руку.

В эту минуту на часах Собора Богоматери медленно пробило двенадцать. Ропот удовлетворения пробежал в толпе. Едва затих последний удар, все головы задвигались, как волны от порыва ветра; на площади, в окнах, на крышах поднялся невообразимый вопль: «Вот она!»

Флёр-де-Лис закрыла лицо руками, чтобы ничего не видеть.

— Прелесть моя, хотите, вернемся в комнату? — спросил Феб.

— Нет, — ответила она, и глаза ее, закрывшиеся от страха, вновь раскрылись из любопытства.

Телега, запряженная сильной, нормандской породы лошадью и окруженная всадниками в лиловых ливреях с белыми крестами на груди, въехала на площадь со стороны улицы Сен-Пьер-о-Беф. Стража ночного дозора расчищала ей путь в толпе крепкими палочными ударами. Рядом с телегой ехало верхом несколько членов суда и полиции, которых нетрудно было узнать по их черному одеянию и неловкой посадке. Во главе их был мэтр Жак Шармолю.

В роковой повозке сидела молодая девушка со связанными за спиной руками, одна, без священника. Она была в рубашке; ее длинные черные

волосы (по обычаю того времени их срезали лишь у подножия эшафота) в беспорядке рассыпались по ее полуобнаженным плечам и груди.

Сквозь эти волнистые пряди, черные и блестящие, точно вороново крыло, просвечивала толстая серая шершавая веревка, натиравшая нежные ключицы и обвивавшаяся вокруг прелестной шейки несчастной девушки, словно земляной червь вокруг цветка. Из-под веревки блестела маленькая ладанка, украшенная зелеными бусинками, которую ей оставили, вероятно, потому, что обреченному на смерть уже не отказывают ни в чем. Зрители, смотревшие из окон, могли разглядеть в тележке ее обнаженные ноги, которые она старалась поджать под себя, словно движимая еще чувством женской стыдливости. Возле нее лежала связанная козочка. Девушка зубами поддерживала падавшую с плеч рубашку. Казалось, она в своем несчастье страдала и оттого, что полунагая была выставлена напоказ толпе. Увы, не для подобных ощущений рождено целомудрие!

— Иисусе! — вдруг сказала капитану Флёр-де-Лис. — Посмотрите, кузен, ведь это та противная цыганка с козой!

Она обернулась к Фебу. Его глаза были прико-

ваны к телеге. Он был очень бледен.

— Какая цыганка с козой? — заикаясь, спросил он.

— Как, — спросила Флёр-де-Лис, — разве вы не помните?..

Феб прервал ее:

— Не знаю, о чем вы говорите.

Он хотел было вернуться в комнату. Но Флёр-де-Лис, в которой вновь зашевелилось чувство ревности, с такой силой пробужденное в ней не так давно этой же самой цыганкой, — Флёр-де-Лис бросила на него проницательный и недоверчивый взгляд. Она в эту минуту смутно припомнила, что в связи с процессом этой колдуньи называли имя какого-то капитана.

— Что с вами? — спросила она Феба. — Можно подумать, что вид этой женщины смутил вас.

Феб попытался отшутиться:

— Меня? Нисколько! С какой стати!

— Тогда останьтесь, — повелительно сказала она. — Посмотрим до конца.

Незадачливый капитан вынужден был остаться. Его, впрочем, немного успокаивало то, что несчастная не отрывала взора от дна телеги. Это, несомненно, была Эсмеральда. Даже на этой крайней ступени позора и несчастья она все

еще была прекрасна. Ее большие черные глаза казались еще больше от опавших щек; ее мертвенно-бледный профиль был чист и светел. Она походила на прежнюю Эсмеральду так же, как мадонна Мазаччо походит на мадонну Рафаэля, — более слабая, более хрупкая, исхудавшая.

Впрочем, все в ней, если можно так выразиться, утеряло равновесие, все притупилось, кроме стыдливости, — так сильно была она разбита отчаянием, так крепко сковало ее оцепенение. Тело ее подскакивало от каждого толчка повозки как безжизненный, сломанный предмет. Взор ее был безумен и мрачен. В глазах стояли неподвижные, словно застывшие слезы.

Тем временем зловещая процессия проследовала сквозь толпу среди радостных криков и проявлений живого любопытства. Однако же мы, в роли правдивого историка, должны сказать, что, видя ее столь прекрасной и столь подавленной горем, многие, даже самые черствые сердца были охвачены жалостью.

Повозка въехала на площадь.

Перед центральным порталом она остановилась. Конвой выстроился по обе стороны. Толпа притихла, и среди этой торжественной и напряженной тишины обе створки главных дверей как

бы сами собой повернулись на своих завизжавших, словно флейты, петлях. И тут взорам толпы открылась во всю глубину внутренность мрачного храма, обтянутого траурными полотнищами, еле освещенного несколькими восковыми свечами, которые мерцали в главном алтаре. Будто огромный зев пещеры внезапно разверзся среди залитой солнцем площади. В глубине, в сумраке алтарной части высился громадный серебряный крест, выделявшийся на фоне черного сукна, ниспадавшего от самого свода до пола. Церковь была пуста. Только на отдельных скамьях хоров кое-где смутно виднелись головы священников. Когда врата распахнулись, из церкви грянуло торжественное, громкое монотонное пение, словно порывами ветра обрушивая на голову осужденной слова зловещих псалмов:

— «…Non timebo millia populi circumdantis me. Ex-surge, Domine; salvum me fac, Deus!

…Salvum me fac, Deus, quoniam intraverunt aquae usque ad animam meam.

…Infixus sum in limo profundi; et non est

substantia»[134].

Одновременно другой голос, отдельно от хора, со ступеней главного алтаря начал печальную песнь дароприношения:

— «Qui verbum meum audit, et credit ei qui misit me, habet vitam aeternam et in judicium non venit; sed transit a morte in vitam»[135].

Это долетающее издали пение сонма старцев, затерянных во мраке, было панихидой над дивным созданием, полным молодости жизни, обласканным теплотой весеннего воздуха и солнечным светом.

Народ благоговейно внимал.

Несчастная девушка, охваченная страхом, словно затерялась взором и мыслью в темных глубинах храма. Ее бескровные губы шевелились, как бы шепча молитву, и когда помощник палача приблизился к ней, чтобы помочь ей сойти с телеги, то он услышал, как она тихо повторяла

---

[134] Примечания: 134

«Не убоюся полчищ, обступающих меня! Услышь меня, Господи, спаси меня, Боже мой!

…Спаси меня, Боже мой, ибо воды растут и поднялись до самой души моей…

…В глубокой трясине увяз я, и нет вблизи твердой опоры» *(лат.)*.

[135] Примечания: 135

«Кто услышит слово Мое и уверует в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и суду не подлежит, но переходит из смерти в жизнь» *(лат.)*.

слово «Феб».

Ей развязали руки, заставили спуститься с повозки и пройти босиком по булыжникам мостовой до нижней ступени портала. Освобожденная козочка бежала вслед с радостным блеянием. Веревка, обвивавшая шею Эсмеральды, ползла за ней, словно змея.

И тогда пение в храме замолкло. Большой золотой крест и вереница свечей заколыхались во мраке. Послышался стук алебард пестро одетой церковной стражи, и несколько мгновений спустя на глазах осужденной и всей толпы развернулась длинная процессия священников в нарамниках и дьяконов в стихарях, торжественно, с пением псалмов направлявшаяся прямо к ней. Но взор ее был прикован лишь к тому, кто шел во главе процессии, непосредственно за человеком, несшим крест.

— Это он, — вся задрожав, проговорила она еле слышно, — опять этот священник!

Действительно, то был архидьякон. По левую руку его следовал помощник соборного регента, по правую — регент, вооруженный своей палочкой. Архидьякон приближался к ней с откинутой назад головой, с неподвижным взглядом широко открытых глаз и пел сильным голосом:

— «De ventre inferi clamavi, et exaudisti vocem meam, et projecisti me in profundum, in corde maris, et flumen circumdedit me»[136].

В тот миг, когда он в сияющий полдень появился под высоким стрельчатым порталом в серебряной парчовой ризе с черным крестом, он был так бледен, что у многих в толпе мелькнула мысль, не поднялся ли с надгробного камня на хорах один из коленопреклоненных мраморных епископов, чтобы встретить у порога могилы ту, которая шла умирать.

Столь же бледная и столь же похожая на статую, Эсмеральда почти не заметила, как в руки ей вложили тяжелую горящую свечу желтого воска; она не внимала визгливому голосу писца, читавшего роковую формулу публичного покаяния; когда ей велели произнести «аминь», она произнесла «аминь». И только увидев священника, который, сделав знак страже отойти, направился к ней, она ощутила прилив сил.

Вся кровь в ней закипела. В этой оцепеневшей, застывшей душе вспыхнула последняя искра возмущения.

Архидьякон медленно приблизился. Даже

[136] Примечания: 136

«Из глубины ада воззвал я к тебе, и глас мой был услышан; ты ввергнул меня в недра и пучину морскую, и волны обступили меня» *(лат.)*.

у этого предела она видела, что его взгляд, скользивший по ее обнаженному телу, горит сладострастием, ревностью и желанием. Затем он громко проговорил:

— Девица, молила ли ты Бога простить тебе твои заблуждения и прегрешения?

И, наклонившись к ее уху (зрители думали, что он принимает ее исповедь), он прошептал:

— Хочешь быть моею? Я могу еще спасти тебя!

Она пристально взглянула на него:

— Прочь, сатана, или я изобличу тебя!

Он улыбнулся страшной улыбкой:

— Тебе не поверят. Ты только присоединишь к своему преступлению еще и позор. Скорей отвечай! Хочешь быть моею?

— Что ты сделал с моим Фебом?

— Он умер, — ответил священник.

В эту минуту архидьякон поднял голову и увидел на другом конце площади, на балконе дома Гонделорье, капитана, стоявшего рядом с Флёр-де-Лис. Он пошатнулся, провел рукой по глазам, взглянул еще раз и пробормотал проклятие. Черты его лица мучительно исказились.

— Так умри же ты! — сказал он сквозь зубы. — Никто не будет обладать тобой!

И, простерши над цыганкой руку, он возгласил

суровым голосом, прозвучавшим как погребальный звон:

— I nunc, anima anceps, et sit tibi Deus misericors![137]

То была страшная формула, которою обычно заканчивались эти мрачные церемонии. То был условный знак священника палачу.

Народ упал на колени.

— Kyrie eleison![138] — запели священники под сводами портала.

— Kyrie eleison! — повторила толпа, и ее приглушенный рокот разнесся вокруг, словно зыбь всколыхнувшегося моря.

— Amen![139] — сказал архидьякон.

Повернувшись спиной к осужденной, он вновь опустил голову и, скрестив руки, присоединился к процессии священников. Мгновение спустя и он сам, и крест, и свечи, и ризы скрылись под сумрачными арками собора. Его звучный голос, постепенно замирая вместе с хором, пел скорбный стих:

---

[137] Примечания: 137
Так гряди же, грешная душа, и да смилуется над тобой Господь! *(лат.)*

[138] Примечания: 138
Господи, помилуй! *(греч.)*

[139] Примечания: 139
Аминь! *(лат.)*

— «…Omnes gurgites tui et fluctus tui super me tran-sierunt»[140].

Перемежавшийся стук алебард церковной стражи, постепенно затихая в глубине храма, напоминал удары башенных часов, возвещавших смертный час осужденной.

Врата Собора Богоматери оставались распахнутыми, дозволяя толпе видеть пустой, унылый, траурный, темный и безгласный храм.

Осужденная стояла на месте, ожидая, что с ней будет. Один из стражей-жезлоносцев обратил на нее внимание мэтра Жака Шармолю, который во время описанной сцены углубился в изучение барельефа главного портала, изображавшего, по мнению одних, жертвоприношение Авраама, а по толкованию других — алхимический процесс, где ангел символизирует солнце, вязанка хвороста — огонь, а Авраам — мастера.

Нелегко было оторвать его от этого занятия. Но наконец он обернулся, и по данному им знаку два человека в желтой одежде — помощники палача — подошли к цыганке, чтобы опять связать ей руки.

Быть может, перед тем как подняться на ро-

---

[140] Примечания: 140

«…Все хляби и потоки Твои прошли надо мною» *(лат.)*.

ковую телегу и отправиться в свой последний путь, девушку охватило раздирающее душу сожаление о жизни. Сухим и воспаленным взором окинула она небо, солнце, серебристые облака, разорванные то там, то сям неправильными четырехугольниками и треугольниками синего неба, затем взглянула вниз, вокруг себя, на землю, на толпу, взглянула на дома… И вдруг, в то время как человек в желтом скручивал ей локти за спиной, она испустила ликующий вопль, вопль счастья. На балконе, вон там, на углу площади, она увидела его, своего друга, своего властелина, Феба, видение другой ее жизни!

Судья солгал! Священник солгал! Это точно он, она не могла сомневаться. Он стоял там, прекрасный, живой, в своем ослепительном мундире, с пером на шляпе, со шпагой на боку!

— Феб! — закричала она. — Мой Феб!

В порыве любви и восторга она хотела протянуть к нему дрожащие от волнения руки, но они уже были связаны.

И тогда она увидела, как капитан нахмурил брови, как прекрасная девушка, опиравшаяся на его руку, взглянула на него презрительно и гневно, как затем Феб произнес несколько слов, которые она не могла расслышать, и как оба они

поспешно исчезли за стеклянной дверью балкона, закрывшейся за ними.

— Феб! — вне себя закричала она. — Неужели ты этому поверил?

Чудовищная мысль пришла ей на ум. Она вспомнила, что приговорена к смерти за убийство Феба де Шатопера.

До сей поры она все выносила. Но этот последний удар был слишком жесток. Она без чувств упала на мостовую.

— Живее снесите ее в телегу, пора кончать! — сказал Шармолю.

Никто до сих пор не приметил на галерее среди королевских статуй, изваянных прямо над стрельчатой аркой портала, странного зрителя, который до этого мгновения пристально наблюдал за всем происходившим; он был так неподвижен, так далеко вперед вытянул шею, так безобразен, что если бы не его лилово-красное одеяние, то его можно было бы принять за одно из тех каменных чудовищ, через пасти которых вот уже шестьсот лет извергают воду длинные дождевые желоба собора. Зритель этот не пропустил ни одной подробности из всего того, что происходило перед порталом Собора Богоматери. И с первой же минуты, никем не замеченный,

он туго привязал к одной из колонок галереи толстую узловатую веревку, другой конец которой свесил на паперть. После этого он принялся спокойно глядеть на площадь, посвистывая по временам, когда мимо пролетал дрозд.

Внезапно, в тот самый миг, когда помощники палача собирались исполнить равнодушно отданный приказ мэтра Шармолю, этот человек перескочил через балюстраду галереи, ногами, коленями, руками обхватил узловатую веревку и, словно дождевая капля, скользящая по стеклу, скатился по фасаду собора; с быстротой падающей с кровли кошки он подбежал к двум помощникам палача, поверг их наземь ударом своих огромных кулаков, одной рукой схватил цыганку, как ребенок куклу, и, высоко вознеся ее над своей головой, бросился в храм, крича громовым голосом:

— Убежище!

Все это было проделано с такой быстротой, что, произойди это ночью, одной вспышки молнии было бы достаточно, чтобы все увидеть.

— Убежище! Убежище! — повторила толпа, и рукоплескания десяти тысяч рук заставили вспыхнуть счастьем и гордостью единственный глаз Квазимодо.

Эта неожиданность заставила осужденную прийти в себя. Она разомкнула веки, взглянула на Квазимодо и тотчас же вновь их смежила, словно испугавшись своего спасителя.

Шармолю, палачи, вся стража остолбенели на месте. Действительно, в стенах Собора Богоматери приговоренная была неприкосновенна. Собор был надежным приютом. У его порога кончалось всякое человеческое правосудие.

Квазимодо остановился под сводом главного портала. Его широкие ступни, казалось, так же прочно вросли в каменные плиты пола, как тяжелые романские столбы. Его огромная косматая голова глубоко уходила в плечи, точно голова льва, под длинной гривой которого тоже не видно шеи. Он держал трепещущую девушку, повисшую на его грубых руках словно белая ткань, держал так бережно, точно боялся ее разбить или измять. Казалось, он чувствовал, что это было нечто хрупкое, изысканное, драгоценное, созданное не для его рук. Минутами он не осмеливался коснуться ее даже дыханием. И вдруг сильно прижимал ее к своей угловатой груди, как свою собственность, как свое сокровище. Так мать прижимает к груди своего ребенка. Взор этого циклопа, склоненный к девушке, то обволакивал ее нежностью, скорбью

и жалостью, то вдруг поднимался вверх, полный огня. И тогда женщины смеялись и плакали, толпа неистовствовала от восторга, ибо в эти мгновения Квазимодо воистину был прекрасен. Он был прекрасен, этот сирота, подкидыш, это отребье; он чувствовал себя величественным и сильным, он глядел в лицо этому обществу, которое изгнало его, но в дела которого он так властно вмешался; глядел в лицо этому человеческому правосудию, у которого вырвал добычу, всем этим тиграм, которым лишь оставалось клацать зубами, этим приставам, судьям и палачам, всему этому королевскому могуществу, которое он, ничтожный, сломил с помощью всемогущего Бога.



Это покровительство, оказанное существом столь уродливым, как Квазимодо, существу столь несчастному, как присужденная к смерти,

вызвало в толпе чувство умиления. То были отверженцы природы и общества; стоя на одной ступени, они помогали друг другу. Через несколько мгновений торжествующий Квазимодо вместе со своей ношей внезапно исчез в соборе. Толпа, всегда влюбленная в отвагу, отыскивала его глазами под сумрачными сводами церкви, сожалея о том, что предмет ее восхищения так быстро скрылся. Но он вновь показался в конце галереи французских королей. Как безумный промчался он по галерее, высоко поднимая на руках свою добычу и крича: «Убежище!» Толпа вновь разразилась рукоплесканиями. Миновав галерею, он опять исчез в глубине храма. Минуту спустя он показался на верхней площадке, все так же стремительно мчась с цыганкой на руках и крича: «Убежище!» Толпа рукоплескала. Наконец в третий раз он появился на верхушке башни большого колокола и оттуда с гордостью показал всему Парижу ту, которую спас. Громовым голосом, который люди слышали редко и которого сам он никогда не слыхал, он трижды прокричал так исступленно, что звук его, казалось, достиг облаков:

— Убежище! Убежище! Убежище!

— Слава! Слава! — отозвалась толпа, и этот

могучий возглас, докатившись до другого берега реки, поразил народ, собравшийся на Гревской площади, и затворницу, не отводившую глаз от виселицы.

Книга девятая

I. Бред

Клода Фролло уже не было в соборе, когда его приемный сын так решительно рассек тот роковой узел, которым Клод стянул цыганку и в который попался сам. Войдя в ризницу, он сорвал с себя стихарь, ризу и епитрахиль, швырнул все это на руки изумленному причетнику, выбежал через потайную дверь монастыря, приказал лодочнику правого берега Сены перевезти себя на другую сторону и углубился в холмистые улицы Университетского квартала, сам не зная, куда идет, и встречая на каждом шагу группы мужчин и женщин, весело спешивших к мосту Сен-Мишель в надежде «поспеть еще вовремя», чтобы увидеть, как будут вешать колдунью. Бледный, растерянный, потрясенный, слепой и дикий, подобно ночной птице, вспугнутой и преследуемой среди бела дня оравой ребят, он не понимал более, где он, что с ним, грезит он или видит все наяву. Он то шел, то бежал наугад, не выбирая направления, сворачивая то на одну, то на другую улицу, подстегиваемый лишь одной мыслью о Гревской площади, об ужасной Гревской площади, которую он все время смутно ощущал позади себя.

Так пробежал он вдоль холма Св. Женевьевы и вышел наконец из города через Сен-Викторские ворота. Он продолжал бежать до тех пор, пока, оглянувшись, мог еще видеть башни ограды Университета и разбросанные дома предместья; но когда наконец небольшой холм скрыл от него окончательно этот ненавистный Париж, когда он мог считать себя за сто лье от него, затерянным среди полей, в пустыне, он остановился; ему показалось, что здесь он может дышать свободно.

И тогда его обуяли страшные мысли. Он прозрел свою душу и содрогнулся. Он вспомнил об этой несчастной девушке, погубившей его и им погубленной. В смятении он оглянулся на тот двойной извилистый путь, которым рок предопределил пройти их судьбам до того перекрестка, где он безжалостно столкнул их и разбил друг о друга. Он думал о безумии вечных обетов, о тщете целомудрия, науки, веры, добродетели, о ненужности Бога. Он с упоением предался этим дурным мыслям и, все глубже погружаясь в них, чувствовал, что грудь его разрывает сатанинский хохот.

Исследуя таким образом свою душу, он понял, какое обширное место в ней было уготовано природой страстям, и усмехнулся с еще большей горечью. Он разворошил всю таившуюся

в глубинах его сердца ненависть, всю злобу и, взглянув на себя беспристрастным оком врача, который изучает больного, убедился в том, что эта ненависть и эта злоба были не чем иным, как искаженной любовью, что любовь, этот родник всех человеческих добродетелей, в душе священника оборачивается чем-то чудовищным и что человек, созданный так, как он, став священником, становится демоном. Тогда он разразился жутким смехом и вдруг побледнел: он вгляделся в самую мрачную сторону своей роковой страсти, этой разъедающей, ядовитой, полной ненависти, неукротимой страсти, приведшей цыганку к виселице, его — к аду; она — осуждена, он — проклят.

И вновь им овладел смех, когда он вспомнил, что Феб жив, что, наперекор всему, капитан жив, доволен и весел, что на нем мундир наряднее, чем когда-либо, и что у него новая возлюбленная, которой он показывал, как будут вешать прежнюю. Он посмеялся над собой еще громче, когда подумал, что из всех живущих на земле людей, которым он желал смерти, не избежала ее лишь цыганка — единственное существо, не вызывавшее в нем ненависти.

От капитана его мысль перенеслась к толпе, и

тут его охватила неслыханная ревность. Он подумал о том, что вся эта толпа видела обожаемую им женщину в одной сорочке, почти обнаженную. Он ломал себе руки при мысли о том, что эта женщина, чье тело, приоткрывшись перед ним в полумраке, могло бы дать ему райское блаженство, сегодня, в сияющий полдень, одетая как для ночи сладострастия, была доступна взорам всей толпы. Он плакал от ярости над всеми этими тайнами поруганной, осквернённой, оголенной, навек опозоренной любви. Он плакал от ярости, представляя себе, сколько нечистых взглядов скользнуло под этот распахнутый ворот; эта прекрасная девушка, эта девственная лилия, эта чаша невинности и восторгов, которую он лишь трепеща осмелился бы пригубить, была превращена в какой-то общественный котел, из которого все отребье Парижа — воры, нищие, бродяги — пришло черпать сообща бесстыдное, нечистое и извращенное наслаждение.

И когда он пытался вообразить себе то счастье, которое он мог найти на земле, если бы девушка не была цыганкой, а он священником, если бы она любила его, а Феб не существовал на свете; когда он думал о том, что и для него могла начаться жизнь, полная любви и безмятежности, что в

этот самый миг на земле есть счастливые пары, забывшиеся в нескончаемых беседах под сенью апельсиновых дерев, на берегу ручья, осиянные заходящим солнцем или звездной ночью, что и он с ней, если бы того пожелал Господь, могли быть такой же благословенной парой, сердце его исходило нежностью и отчаянием.

Она! Везде она! Эта неотвязная мысль возвращалась непрестанно, терзала его, жалила его мозг и раздирала его душу. Он ни о чем не сожалел, ни в чем не раскаивался; все, что он сделал, он готов был сделать вновь; он предпочитал видеть ее в руках палача, нежели в объятиях капитана, но он страдал — он страдал так неистово, что по временам вырывал у себя клочья волос, чтобы посмотреть, не поседел ли он.

Было мгновение, когда ему представилось, что, быть может, в эту самую минуту отвратительная цепь, которую он утром видел, сейчас железным узлом стянулась на ее нежной милой шейке. При этой мысли холодный пот выступил на его челе.

И была другая минута, когда, смеясь над собой язвительным смехом, он вспомнил Эсмеральду такой, какой видел ее в первый день: живой, беспечной, веселой, нарядной, пляшущей, окрыленной, гармоничной, и Эсмеральду последнего

дня — в рубище, с веревкой на шее, медленной поступью босыми ногами всходящую по крутым ступеням виселицы. Он так явственно представил себе этот двойной образ, что у него вырвался ужасающий вопль.

В то время как этот смерч отчаяния ниспровергал, ломал, гнул и выкорчевывал все в душе его, он взглянул на окружавшую его природу. У ног его несколько кур, вороша мелкий кустарник, что-то клевали; блестящие жуки выползали на солнце; над головой его по синему небу скользили хлопья серебристых облаков; на горизонте шпиль аббатства Сен-Виктор шиферным своим обелиском перерезал округлую линию косогора; и мельник с холма Копо, посвистывая, глядел, как вертятся трудолюбивые крылья его мельницы. Вся эта жизнь, деятельная, налаженная, спокойная, воплощенная в тысячи форм, причиняла ему боль. Он вновь бросился бежать.

Так бежал он через поля до самого вечера. Это бегство от природы, от жизни, от самого себя, от человека, от Бога, от всего длилось весь день. Иногда он бросался ничком на землю и ногтями вырывал молодые колосья. Иногда он как вкопанный останавливался посреди улицы в какой-нибудь пустынной деревушке, и так тяж-

ки были его мысли, что он хватался руками за голову, как бы пытаясь оторвать ее и размозжить о камни мостовой.

Когда солнце склонилось к закату, он снова заглянул в свою душу, и ему показалось, что он почти сошел с ума. Буря, бушевавшая в нем с тех пор, как он потерял и надежду и волю спасти цыганку, не оставила в его сознании ни одной здравой мысли, ни одного уцелевшего понятия. Казалось, весь его разум был повержен во прах и лежал в обломках. Лишь два образа отчетливо стояли в его сознании — Эсмеральда и виселица. Все остальное было покрыто тьмой. Сближаясь, эти два образа являли ужасающее сочетание; и чем больше он сосредоточивал на них остаток своего внимания и мысли, тем больше в какой-то фантастической прогрессии они возрастали: один — в своем изяществе, в прелести, в красоте и лучезарности, другой — в своей чудовищности. И под конец Эсмеральда уже казалась ему звездой, а виселица — громадной костлявой рукой.

Замечательно то, что ни разу в продолжение всей этой муки мысль о смерти по-настоящему не пришла ему в голову. Так создан был этот несчастный. Он цеплялся за жизнь. Быть может, за ней он действительно видел ад.

Между тем день угасал. То живое существо, которое еще прозябало в нем, смутно помышляло о возвращении домой. Ему казалось, будто он далеко от Парижа, но, оглядевшись, он заметил, что всего только обошел кругом ограду Университетской стороны. Направо от него вставали на горизонте шпиц Сен-Сюльпис и три высокие стрелы Сен-Жермен-де-Пре. Он направился в эту сторону. Когда у зубчатого вала, окружавшего Сен-Жермен, он услышал оклик стражи аббатства, то свернул на тропу, пролегавшую между мельницей аббатства и городской больницей для прокаженных, и через несколько минут оказался на окраине Пре-о-Клер. Этот луг славился происходившими на нем день и ночь буйствами; это была «страшная гидра» несчастных сен-жерменских монахов, quod monachis Sancti-Germani pratensis hydra fuit, clericis nova semper dissidiorum capita suscitantibus[141]. Архидьякон боялся встретиться с кем-нибудь; вид всякого человеческого лица его страшил; он стороной обошел Университет и предместье Сен-Жермен, ему хотелось попасть на улицы города как можно позднее. Он направился вдоль Пре-о-Клер, свернул на глухую

[141] Примечания: 141

Это была гидра для монахов святого Германа-на-Лугах, ибо клирики всегда смущали умы своими новыми раздорами *(лат.)*.

тропинку, отделявшую Пре-о-Клер от Дье-Неф, и наконец вышел к реке. Там Клод нашел лодочника, который за несколько парижских денье довез его вверх по Сене до конца Ситэ и высадил на той пустынной косе, которая тянулась за королевскими садами параллельно островку Коровий Перевоз, где читатель однажды видел мечтающего Гренгуара.

Убаюкивающее покачивание лодки и плеск воды привели несчастного Клода в какое-то оцепенение. Когда лодочник удалился, он, с бессмысленным видом стоя на берегу, глядел перед собой, воспринимая все словно через какие-то волны, увеличивающие размеры и превращающие все, что его окружало, в какую-то фантасмагорию. Нередко утомление, вызванное великой скорбью, оказывает подобное действие на рассудок.

Солнце скрылось за высокой Нельской башней. Спустились сумерки. Побледнело небо, померкли краски реки; между этими двумя белесоватыми пятнами левый берег Сены, к которому был прикован его взор, выдавался темной массой и, все более и более сужаясь в перспективе, черной стрелой вонзался в туман далекого горизонта. Вся она была покрыта домами, но глаз различал лишь их темный силуэт, четко выступавший в

сумерках на светлом фоне неба и воды. Там и сям вспыхивали светом окна, словно искры в груде тлеющих углей. Этот гигантский черный обелиск, одиноко тянущийся между белыми плоскостями неба и реки, очень широкий в этом месте, произвел на отца Клода странное впечатление, схожее с тем, которое испытывал бы человек, лежащий навзничь у подножия Страсбургского собора и глядящий, как вздымается над его головой огромный шпиль, вонзаясь во мглу сумерек. Только здесь Клод стоял, а обелиск лежал, но, так как воды реки, отражая небеса, углубляли бездну под ним, огромный мыс, казалось, столь же дерзко устремлялся в пустоту, как и стрела собора; впечатление было тождественно. Оно было тем более странным и глубоким, что мыс действительно походил на шпиль Страсбургского собора, но шпиль вышиною в два лье — нечто неслыханное, огромное, неизмеримое; это было сооружение, на которое еще никогда не взирало человеческое око; это была Вавилонская башня. Дымовые трубы домов, зубцы оград, резные коньки кровель, стрела Августинцев, Нельская башня — все эти выступы и зазубрины на колоссальном профиле обелиска увеличивали иллюзию, представляясь взору деталями пышной и при-

чудливой скульптуры.

Клод, поддавшись этому обману чувств, вообразил, что видит воочию колокольню ада. Тысячи огней, рассеянных на всех этажах чудовищной башни, казались ему тысячью отверстий огромной внутренней печи; голоса и шум, вырывавшиеся оттуда, — воплями и хриплыми стонами. Ему стало страшно, он заткнул уши, чтобы ничего не слышать, повернулся, чтобы ничего не видеть, и большими шагами устремился прочь от ужасающего видения.

Но видение было в нем самом.

Когда он очутился на улицах города, прохожие, толкавшиеся у освещенных лавочных витрин, казались ему непрерывно кружившимся около него хороводом призраков. Странный грохот стоял у него в ушах. Необычайные образы смущали его разум. Он не видел ни домов, ни мостовой, ни повозок, ни мужчин, ни женщин, перед ним был лишь хаос неопределенных предметов, слившихся между собой. На углу Бочарной улицы находилась бакалейная лавка, над входной дверью которой был навес, со всех сторон украшенный, по обычаю незапамятных времен, жестяными обручиками, с которых свисали деревянные свечи, раскачиваемые ветром и сту-

чавшие как кастаньеты. Ему показалось, что это в темноте стучат друг о друга скелеты повешенных на Монфоконе.

— О, — пробормотал он, — это ночной ветер бросает их друг на друга; стук их цепей смешивается со стуком костей! Быть может, она уже среди них!

Полный смятения, он сам не знал, куда шел. Пройдя несколько шагов, он очутился у моста Сен-Мишель. В нижнем этаже одного из домов светилось окно. Он приблизился к нему и сквозь треснувшие стекла увидел омерзительную комнату, пробудившую в нем какое-то смутное воспоминание. В этой комнате, скудно освещенной тусклой лампой, сидел белокурый здоровый и веселый юноша, который громко смеялся, целовал молодую девушку в весьма нескромном наряде. А подле лампы сидела за прялкой старуха, певшая дрожащим голосом. Когда юноша переставал смеяться, обрывки песен долетали до слуха священника. Это были какие-то непонятные и страшные слова.

Грев, лай, Грев, урчи!

Прялка, пряди! Кудель, сучись!

Ты, прялка, кудель для петли предна-

значь!
Свистит в ожиданьи веревки палач.
Грев, лай, Грев, урчи!

Хороша веревка из крепкой пеньки!
Засевай не зерном – коноплей, мужики,
От Исси до Ванвра свои поля,
Поделом чтобы вору мука была.
Хороша веревка из крепкой пеньки!

Грев, лай, Грев, урчи!
Чтобы видеть, как девка ногами сучит
И как будет потом в петле оползать,
Станут окна домов как живые глаза.
Грев, лай, Грев, урчи!

А молодой человек хохотал и ласкал девицу. Старуха была Фалурдель, девица — уличная девка, юноша — его брат Жеан.

Архидьякон продолжал смотреть в окно. Не все ли равно, на что смотреть!

Жеан подошел к другому окну, в глубине комнаты, распахнул его, взглянул на набережную, где вдали сверкали тысячи огней, и сказал, закрывая окно:

— Клянусь душой, вот уже и ночь! Горожане

зажигают свечи, а Господь Бог — звезды.

Затем Жеан вернулся вновь к потаскухе и, разбив стоявшую на столе бутылку, воскликнул:

— Уже пуста! Ах ты, дьявол! А у меня больше нет денег! Изабо, милашка, я только тогда успокоюсь, когда Юпитер превратит твои белые груди в две черные бутылки, из которых я день и ночь буду сосать бонское вино.

Эта замечательная шутка рассмешила девку. Жеан вышел.

Клод едва успел броситься ничком на землю, чтобы брат не столкнулся с ним, не поглядел ему в лицо, не узнал его. По счастью, на улице было темно, а школяр был пьян. Однако он заметил лежавшего в уличной грязи архидьякона.

— О! — воскликнул он. — Вот у кого сегодня был веселый денек!

Он подтолкнул ногою Клода, который боялся вздохнуть.

— Мертвецки пьян! — продолжал Жеан. — Ну и наклюкался! Настоящая пиявка, отвалившаяся от винной бочки. Ба, да он лысый! — сказал он, наклоняясь. — Совсем старик! Fortunate senex![142]

И затем Клод услышал, как он, удаляясь, рас-

---

[142] Примечания: 142
Счастливый старик! *(лат.)*

суждал:

— А все же благоразумие — прекрасная вещь, и счастлив мой брат-архидьякон, обладая добродетелью и деньгами.

Архидьякон поднялся и во весь дух побежал к Собору Богоматери, громадные башни которого выступали во мраке над кровлями домов.

Когда он, запыхавшись, достиг Соборной площади, то вдруг отступил, не смея поднять глаза на зловещее здание.

— О, неужели все это могло произойти здесь нынче, этим утром! — тихо проговорил он.

Наконец он осмелился взглянуть на храм. Фасад собора был темен. За ним мерцало ночное звездное небо. Серп луны, уже поднявшейся высоко над горизонтом, остановился в этот миг над верхушкой правой башни и казался лучезарной птицей, присевшей на край балюстрады, прорезанной черным рисунком трилистника.

Монастырские ворота были уже на запоре, но архидьякон всегда носил при себе ключ от башни, где помещалась его лаборатория. Он воспользовался им, чтобы проникнуть в храм.

В храме царили пещерный мрак и тишина. По большим теням, падавшим отовсюду широкими полосами, он понял, что траурные сукна утрен-

ней церемонии еще не были сняты. В сумрачной глубине церкви мерцал большой серебряный крест, усыпанный блистающими точками, словно Млечный Путь в ночи этой гробницы. Высокие окна хоров поднимали над черными драпировками свои стрельчатые верхушки, стекла которых, пронизанные лунным сиянием, были расцвечены теперь только неверными красками ночи: лиловатой, белой, голубой — эти оттенки можно найти только на лике усопшего. Увидев вокруг хоров эти озаренные мертвенным светом островерхие арки окон, архидьякон принял их за митры погубивших свою душу епископов. Он зажмурил глаза, и, когда открыл их вновь, ему показалось, будто он окружен кольцом бледных, глядевших на него лиц.

Он бросился бежать по церкви. Но тогда ему почудилось, что храм тоже заколебался, зашевелился, задвигался, ожил, что каждая толстая колонна превратилась в громадную лапу, которая топала по полу своей каменной ступней, что весь гигантский собор превратился в сказочного слона, который пыхтя переступал своими колоннами-ногами, с двумя башнями вместо хобота и с огромной черной драпировкой вместо попоны.

Его бред или безумие достигли того предела,

когда внешний мир превращается в какой-то видимый, осязаемый и страшный Апокалипсис.

На одну минуту он почувствовал было облегчение. Углубившись в боковой придел, он заметил за чащей столбов красноватый свет. Он устремился к нему, как к звезде. Это была тусклая лампада, днем и ночью освещавшая общественный требник Собора Богоматери под проволочной сеткой. Он жадно припал к священной книге, надеясь найти в ней утешение или поддержку. Требник был раскрыт на Книге Иова, и, скользнув по странице напряженным взглядом, он увидел слова:

«И некий дух пронесся пред лицом моим, и я почувствовал его легкое дуновение, и волосы мои встали дыбом».

Прочитав этот мрачный стих, он ощутил то, что ощущает слепец, уколовшийся о поднятую им с земли палку. Колени у него подкосились, и он рухнул на плиты пола, думая о той, которая скончалась в этот день. Он чувствовал, как через его мозг проходит, словно переполняя его, какой-то отвратительный дым, и ему показалось, что голова его превратилась в одну из дымовых труб преисподней.

Он, по-видимому, долго пролежал в таком состоянии, ни о чем не думая, сраженный и

безвольный, во власти дьявола. Наконец силы вернулись к нему, и он решил искать убежища в башне, близ своего верного Квазимодо. Он встал, и так как ему было страшно, он взял лампаду, горевшую перед требником. Это было кощунство, но для него уже не имела значения такая безделица.

Медленно взбирался он по башенной лестнице, проникнутый тайным ужасом, который сообщался, вероятно, и редким прохожим на Соборной площади, видевшим таинственный огонек, поднимавшийся в столь поздний час от бойницы к бойнице до самого верха колокольни.

Внезапно в лицо ему повеяло прохладой, он оказался у двери верхней галереи. Воздух был свеж; по небу неслись облака, широкие, белые валы которых, громоздясь друг на друга и обламывая свои угловатые края, напоминали зимний ледоход. Лунный серп среди облаков казался небесным кораблем, потерпевшим крушение и затертым этими воздушными льдами.

Некоторое время он всматривался через решетку из колонок, соединявшую обе башни, сквозь дымку тумана и испарений, в безмолвную толпу дальних парижских кровель, острых, неисчислимых, скученных и маленьких, словно волны

спокойного моря в летнюю ночь.

Луна бросала бледный свет, придававший небу и земле пепельный отлив.

В эту минуту послышался высокий надтреснутый голос башенных часов. Пробило полночь. Священнику вспомнился полдень. Вновь било двенадцать.

— О, — тихо прошептал он, — она теперь, должно быть, уже похолодела!

Вдруг порыв ветра задул лампаду, и почти в то же мгновение он увидел у противоположного угла башни какую-то тень, белое пятно, какой-то образ, женщину. Он вздрогнул. Рядом с женщиной стояла маленькая козочка, блеяние которой сливалось с последним ударом часов.

Он нашел в себе силы взглянуть на нее. То была она.

Она была бледна и сурова. Ее волосы так же, как и поутру, спадали на плечи. Но ни веревки на шее, ни связанных рук. Она была свободна, она была мертва.

Она была в белой одежде, и белое покрывало спускалось с ее головы.

Медленной поступью подвигалась она к нему, глядя на небо. Колдовская коза следовала за нею. Бежать он не мог; он чувствовал, что превратился

в камень, что собственная тяжесть непреодолима. Каждый раз, когда она делала шаг вперед, он делал шаг назад, не более. Так отступил он под темный лестничный свод. Он леденел при мысли, что, может быть, и она направится туда же; если бы это случилось, он умер бы от ужаса.

Она действительно приблизилась к двери, ведущей на лестницу, постояла несколько мгновений, пристально вглядываясь в темноту, но не различая в ней священника, и прошла мимо. Она показалась ему выше ростом, чем была при жизни; сквозь ее одежду просвечивала луна; он слышал ее дыхание.

Когда она удалилась, он столь же медленно, как и призрак, стал спускаться по лестнице, чувствуя себя самого призраком; его взгляд блуждал, волосы стояли дыбом. Все еще держа в руке потухшую лампаду и спускаясь по винтовой лестнице, он явственно слышал над своим ухом голос, который смеялся и повторял: «…И некий дух пронесся пред лицом моим, и я почувствовал его легкое дуновение, и волосы мои встали дыбом».

II. Горбатый, кривой, хромой

Каждый город Средневековья, каждый город Франции вплоть до царствования Людовика XII имел свои убежища. Эти убежища среди потопа карательных мер и варварских судебных установлений, наводнявших города, были своего рода островками вне пределов досягаемости человеческого правосудия. Всякий причаливший к ним преступник был спасен. В ином предместье было столько же убежищ, сколько и виселиц. Это было злоупотребление безнаказанностью рядом с злоупотреблением казнями — два вида зла, стремившихся обезвредить друг друга. Королевские дворцы, княжеские особняки, а главным образом храмы имели право убежища. Чтобы населить город, его целиком превращали на время в место убежища. Так Людовик XI в 1467 году объявил убежищем Париж.

Вступив в него, преступник был священен, пока не покидал города. Но один лишь шаг за пределы святилища — и он снова падал в пучину. Колесо, виселица, дыба неусыпной стражей окружали место убежища и непрерывно подстерегали свои жертвы, подобно акулам, снующим вокруг

корабля. Бывали примеры, что приговоренные доживали до седых волос в каком-нибудь монастыре, на лестнице какого-нибудь дворца, в службах аббатства, под порталом храма; таким образом, убежище было той же тюрьмой.

Случалось иногда, что, по особому постановлению судебной палаты, неприкосновенность убежища нарушалась, и преступника отдавали в руки палача, но это бывало редко. Судьи боялись епископов, когда оба эти сословия задевали друг друга, то судейской мантии нелегко было справиться с сутаной. Все же порой, как в деле убийц Малыша Жана — парижского палача, или в деле Эмери Руссо, убийцы Жана Валере, правосудие действовало через голову Церкви и приводило в исполнение свой приговор. Но без постановления судебной палаты горе тому, кто посягнул бы с оружием в руках на право убежища! Всем известно, какой смертью погибли Робер Клермонский — маршал Франции и Жеан де Шалон — маршал Шампаньи; между тем дело шло всего лишь о Перрене Марке, слуге менялы, презренном убийце. Но маршалы взломали врата церкви Сен-Мери. Вот в этом-то и заключалась неслыханность их проступка.

Убежища были окружены таким уважением,

что, как гласит предание, оно иногда распространялось даже и на животных. Эмаун рассказывает, что, когда загнанный Дагобером олень укрылся близ гробницы св. Дени, свора гончих остановилась как вкопанная, заливаясь лаем.

В церкви обычно имелась келья, предназначенная для ищущих убежища. В 1407 году Никола́ Фламель выстроил для них на сводах церкви Сен-Жак-де-ла-Бушри комнату, стоившую ему четыре ливра шесть солей и шестнадцать парижских денье.

В Соборе Богоматери такая келья была устроена над одним из боковых приделов, под наружными упорными арками напротив монастыря, там именно, где теперь жена башенного привратника развела садик, который так же походит на висячие сады Вавилона, как латук на пальму, а сторожиха на Семирамиду.

Сюда-то, в эту келью, и принес Квазимодо Эсмеральду после своего бешеного триумфального бега через башни и галереи. Пока длился этот бег, молодая девушка была почти в забытьи: то приходя в себя, то снова теряя сознание, она чувствовала лишь, что поднимается в воздух, парит в нем, летит, что какая-то сила несет ее над землей. Время от времени она слышала оглушительный

смех и громовой голос Квазимодо; приоткрывая глаза, она глубоко внизу смутно различала Париж, пестревший тысячами своих шиферных и черепичных кровель, словно сине-красной мозаикой, а над своей головой — страшное, ликующее лицо Квазимодо. Тогда ее веки снова смыкались; она думала, что все кончено, что во время обморока ее казнили и что безобразный дух, управлявший ее судьбой, завладел ею и куда-то ее уносит. Она не осмеливалась взглянуть на него и не сопротивлялась.

Но когда всклокоченный и задыхающийся звонарь принес ее в келью, служившую убежищем, когда она почувствовала, как он огромными своими лапами осторожно развязывает веревку, изранившую ее руки, она ощутила потрясение, подобное тому, которое внезапно среди ночи пробуждает пассажира судна, причалившего к берегу. Так пробудились и ее воспоминания, начиная всплывать перед ней одно за другим. Она поняла, что находится в Соборе Богоматери; она вспомнила, что была вырвана из рук палача, что ее Феб жив, что Феб разлюбил ее. Когда эти две мысли, из которых одна омрачала другую, одновременно представились несчастной, она повернулась к стоявшему перед ней страшному

Квазимодо и сказала:

— Зачем вы спасли меня?

Он напряженно смотрел на нее, как бы пытаясь угадать смысл ее слов. Она повторила вопрос. Тогда он с глубокой печалью взглянул на нее и исчез. Она была удивлена.

Мгновение спустя он вернулся, неся в руках сверток, который положил к ее ногам. Это была одежда, оставленная для нее на пороге церкви сердобольными женщинами. Тут она взглянула на себя, увидела свою наготу и покраснела. Жизнь снова вступила в свои права.

По-видимому, Квазимодо почувствовал этот стыд. Он широкой ладонью закрыл глаза и вновь удалился, но уже медленными шагами.

Она поспешила одеться. Это было белое платье и белое покрывало — одежда послушниц Отель-Дье.

Едва она успела одеться, как Квазимодо вернулся. В одной руке он нес корзину, а в другой тюфяк. В корзине была бутылка, хлеб и кое-какая снедь. Он поставил корзину на землю и сказал:

— Ешьте.



Затем разостлал тюфяк на каменном полу и сказал:

— Спите.

То был его собственный обед и его собственная постель.

Цыганка, желая поблагодарить его, взглянула на него, но не могла вымолвить ни слова. Бедняга был действительно ужасен. Вздрогнув от страха, она опустила голову.

Тогда он проговорил:

— Я вас пугаю? Я очень уродлив, не правда ли? Но вы не глядите на меня. Только слушайте. Днем оставайтесь здесь; ночью можете гулять по всему храму. Но ни днем, ни ночью не покидайте собора. Вы погибнете. Вас убьют, а я умру!

Тронутая его словами, она подняла голову, чтобы ответить ему. Но он исчез. Она осталась одна, размышляя о странных речах этого чудовищного существа, пораженная звуком его голоса, такого грубого и вместе с тем такого нежного.

Потом она осмотрела келью. Это была комната около шести квадратных футов с маленьким слуховым оконцем и дверью, выходившей на отлогий скат кровли, выложенной плоскими плитками. Несколько водосточных труб, наподобие звериных морд, наклонялись над нею со всех сторон и вытягивали шеи, чтобы заглянуть в оконце. За краем крыши виднелись верхушки тысячи труб, из которых поднимался дым всех очагов. Грустное зрелище для бедной цыганки, найденыша, смертницы, жалкого создания, ли-

шенного отчизны, семьи, крова!

В эту минуту, когда она особенно остро почувствовала свое одиночество, чья-то мохнатая и бородатая голова прижалась к ее рукам и коленям. Она вздрогнула, ибо все ее теперь пугало. Но это была ее бедная козочка, проворная Джали, убежавшая за нею, когда Квазимодо разогнал стражу Шармолю, и уже целый час ластившаяся к ней, тщетно добиваясь внимания хозяйки. Цыганка осыпала ее поцелуями.

— О Джали! — говорила она. — Как я могла забыть о тебе! А ты все еще меня помнишь! О, ты умеешь быть благодарной!

Словно какая-то невидимая рука приподняла тяжесть, давившую ей на сердце, и долго сдерживаемые слезы заструились из ее глаз. Чем дальше, тем больше чувствовала она, как вместе со слезами уходит и жгучая горечь ее скорби.

Когда стемнело, ночь показалась ей такой прекрасной, сияние луны таким кротким, что она вышла на верхнюю галерею, опоясывавшую собор. Внизу под нею безмятежно покоилась земля, и мир осенил душу Эсмеральды.

III. Глухой

Проснувшись на следующее утро, она почувствовала, что выспалась. Это удивило ее. Она давно уже отвыкла от сна. Веселый луч восходившего солнца глянул в окошечко и ударил ей прямо в лицо. Одновременно с солнцем в окошке показалось нечто испугавшее ее: то было лицо злосчастного Квазимодо. Невольно она снова закрыла глаза. Но напрасно! Ей казалось, что даже сквозь свои розовые веки она видит эту маску урода, одноглазую и клыкастую. Не открывая глаз, она услышала грубый голос, кротко говоривший ей:

— Не пугайтесь, я вам друг. Я пришел взглянуть, как вы спите. Ведь правда, это не причинит вам зла, если я приду посмотреть, как вы спите? Что вам до того, буду ли я около вас, когда глаза ваши закрыты? Теперь я уйду. Вот я уже за стеной. Вы можете открыть глаза.

И еще жалобнее, нежели слова, было то выражение, с которым он произнес их. Тронутая ими, цыганка раскрыла глаза. В оконце никого не было. Она подошла к нему и увидела бедного горбуна, скорчившегося в покорной и грустной

позе у выступа стены. С трудом преодолевая отвращение, которое он ей внушал, она тихо проговорила:

— Подойдите.

По движению ее губ Квазимодо вообразил, что она гонит его; он поднялся и, хромая, медленно пошел с опущенной головой, не смея даже поднять на молодую девушку свой взгляд, полный отчаяния.

— Подождите же! — крикнула цыганка.



Но он продолжал удаляться. Тогда она выбежала из своей кельи, догнала его и схватила за руку. Почувствовав ее прикосновение, Квазимодо весь

задрожал. Он умоляюще взглянул на нее своим единственным глазом и, видя, что она удерживает его, весь просиял от радости и нежности. Она хотела заставить его войти в свою келью, но он заупрямился и остановился у порога.

— Нет, нет, — проговорил он, — филину не место в гнезде жаворонка.

Тогда она грациозно уселась на своем ложе с уснувшей козочкой в ногах. Оба некоторое время хранили неподвижность и молчание: он — любуясь ее красотой, она — удивляясь его безобразию. Она открывала в Квазимодо все новые и новые уродства. От его кривых колен ее взгляд перебегал к горбатой спине, от горбатой спины к единственному глазу. Она не могла понять, как существует такое уродливое создание. Но на всем этом уродстве лежал отпечаток такой грусти и нежности, что она мало-помалу стала привыкать к нему.

Горбун первый нарушил молчание:

— Вы приказали мне вернуться?

— Да, — сказала она, утвердительно кивнув головой.

Он понял ее кивок.

— Увы! — продолжал он нерешительно. — Ведь я… глухой.

— Бедный! — воскликнула она с выражением доброты и сострадания.

Он скорбно улыбнулся:

— Не находите ли вы, что мне только этого и недоставало? Да, я глухой. Такой уж я есть. Это ужасно, не правда ли? А вы, вы так прекрасны!

В голосе бедняги звучало такое глубокое сознание своего несчастья, что она не нашла в себе силы ответить ему. Да к тому же он и не услышал бы ее. Он продолжал:

— Я никогда так не чувствовал своего уродства, как теперь. Когда я сравниваю себя с вами, мне так жаль себя, несчастного урода! Я кажусь вам зверем, скажите? А вы, вы солнечный луч, вы капля росы, вы песня птички. Я же нечто ужасное, ни человек, ни зверь; я грубее, безобразнее, презреннее, чем булыжник. — Он засмеялся, и ничто на свете не могло сравниться с этим раздирающим сердце смехом. Потом продолжал: — Я глухой, но вы можете разговаривать со мной жестами, знаками. У меня есть господин, который всегда так разговаривает со мной. К тому же я скоро научусь угадывать ваше желание по движению ваших губ, по вашему взгляду.

— Так скажите, — улыбаясь, спросила она, — почему вы спасли меня?

Он внимательно глядел на нее, пока она говорила.

— Я понял, — ответил он. — Вы спрашиваете, зачем я вас спас? Вы позабыли того несчастного, который однажды ночью пытался похитить вас, того несчастного, к которому вы назавтра же пришли на помощь, когда он стоял у гнусного позорного столба. За эту каплю воды, за эту каплю жалости я могу заплатить лишь всей своей жизнью. Вы позабыли этого беднягу, но он помнит вас!

Она слушала его, глубоко растроганная. Слеза блеснула в глазу звонаря, но не скатилась. Очевидно, он считал делом чести сдержать ее.

— Слушайте, — продолжал он, справившись со своим волнением, — у собора высокие башни; человек, упавший с одной из них, умрет раньше, чем коснется мостовой. Когда вам будет угодно, чтобы я спрыгнул вниз, вам не надо будет произнести даже слова, достаточно одного взгляда.

Он встал. Как ни страдала сама цыганка, все же это причудливое существо пробуждало в ней сострадание. Она знаком приказала ему остаться.

— Нет, нет, — ответил он, — мне нельзя здесь долго оставаться. Мне не по себе, когда вы на меня смотрите. Вы только из жалости не закрываете

глаза. Я уйду в такое место, откуда мне будет вас видно, но вы не будете видеть меня. Так будет лучше.

Он вынул из кармана маленький металлический свисток.

— Возьмите, — сказал он. — Когда я вам понадоблюсь, когда вы захотите, чтобы я пришел, когда вам не будет слишком противно глядеть на меня, свистните в него. Этот звук я услышу.

Он положил на землю свисток и скрылся.

IV. Глина и хрусталь

Дни сменялись днями.

Спокойствие постепенно возвращалось в душу Эсмеральды. Избыток страдания, как и избыток счастья, вызывает бурные чувства, которые не бывают длительны. Человеческое сердце не в силах долго выдерживать их чрезмерную остроту. Цыганка столько выстрадала, что теперь от всего пережитого в ней осталось изумление.

Вместе с безопасностью к ней возвратилась и надежда. Она была вне общества, вне жизни, но смутно чувствовала, что возврат туда еще не исключен, словно покойница, припасшая ключ от своего склепа.

Она чувствовала, как постепенно отходят вдаль странные, так долго обступавшие ее образы. Все эти омерзительные призраки Пьера́ Тортерю, Жака Шармолю стирались в ее памяти, стиралось все, даже образ священника.

Ведь Феб был жив, она была уверена в этом, она сама видела его.

Жизнь Феба — это было все. После ряда роковых потрясений, все в ней сокрушивших, в душе ее уцелело лишь одно чувство — ее любовь к ка-

питану. Ибо любовь подобна дереву: она растет сама собой, глубоко запуская в нас свои корни, и нередко продолжает зеленеть даже в опустошенном сердце.

И, что необъяснимо, слепая страсть — самая упорная. Она всего сильнее, когда она безрассудна.

Правда, Эсмеральда не без горечи вспоминала о капитане. Правда, ее приводило в ужас, что даже он поддался обману, что он поверил такой невероятной вещи, что и он приписал удар кинжалом той, которая отдала бы за него тысячу жизней. Но все же не следовало винить его слишком строго. Ведь она созналась в своем «преступлении»! Ведь она не устояла перед пыткой! Вся вина лежала на ней. Пусть бы она лучше дала вырвать себе ногти, чем вымучить такое признание. Но только бы ей один раз увидеть Феба, хотя бы на минуту! Достаточно будет слова, взгляда, чтобы разуверить его, чтобы вернуть его. В этом она не сомневалась. Она старалась заглушить в себе воспоминание о многих необъяснимых странностях, о случайном присутствии Феба в тот день, когда она приносила публичное покаяние, о молодой девушке, с которой он стоял рядом, — без сомнения, то была его сестра. Такое толкование было опрометчи-

вым, но она им довольствовалась, ей необходимо было верить, что Феб продолжает любить ее, и только ее. Разве он не поклялся ей в этом? Что могло быть убедительней для простодушного, доверчивого создания? Да и все улики в этом деле были скорее против нее, чем против него! Итак, она ждала. Она надеялась.

Вдобавок самый собор, этот обширный собор, который, укрывая ее со всех сторон, хранил и оберегал ее жизнь, был могучим успокаивающим средством. Величавые линии его архитектуры, религиозный характер всех окружающих молодую девушку предметов, благочестивые и светлые мысли, как бы источавшиеся всеми порами этого камня, благотворно на нее действовали помимо ее воли. Раздававшиеся в храме звуки дышали такой благодатью, были так торжественны, что убаюкивали ее больную душу. Монотонные возгласы священнослужителей, ответы молящихся священнику — то еле слышные, то громовые, гармоничная вибрация стекол, раскаты органа, звучавшего как тысяча труб, три колокольни, жужжавшие, как переполненные огромными пчелами ульи, — весь этот оркестр, над которым непрерывно проносилась взлетавшая от толпы к колокольне и от колокольни нисходившая

к толпе необъятная гамма звуков, усыплял ее память, ее воображение, ее скорбь. Особенно сильно действовали на нее колокола. Словно какой-то могучий магнетизм широкими волнами проливался на нее из этих огромных воронок.

И с каждой утренней зарей она становилась все спокойнее, дышала все свободнее, казалась менее бледной. По мере того как зарубцовывались ее душевные раны, лицо ее вновь расцветало прелестью и красотой, но более строгой, более спокойной, чем раньше. К ней возвращались и прежние особенности ее характера, даже кое-что от ее прежней веселости: ее прелестная гримаска, ее любовь к козочке, ее потребность петь, ее стыдливость. По утрам она старалась одеваться в каком-нибудь укромном уголке своей келейки из опасения, чтобы ее не увидел через оконце кто-нибудь из обитателей соседних чердаков.

В те минуты, когда она не мечтала о Фебе, она порой думала о Квазимодо. Он был единственным звеном, единственной оставшейся у нее связью, единственным средством общения с людьми, со всем живым. Бедняжка! Она еще более, чем Квазимодо, была отчуждена от мира. Она не понимала странного друга, которого подарила ей судьба. Часто она упрекала себя в том, что не

испытывает к нему той благодарности, которая заставила бы ее взглянуть на него другими глазами, но она решительно не могла привыкнуть к бедному звонарю. Он был слишком уродлив.

Она так и не подняла с пола свисток, который он ей дал. Это не помешало Квазимодо время от времени ее посещать. Она прилагала все усилия, чтобы не слишком проявлять свое отвращение, когда он приносил ей корзинку со снедью или кружку воды, но он всегда замечал, чего ей это стоит, и грустно уходил.

Однажды он пришел в ту минуту, когда она ласкала Джали. Он некоторое время задумчиво глядел на эту очаровательную пару. Наконец, покачав своей тяжелой нескладной головой, сказал:

— Все мое несчастье в том, что я еще слишком похож на человека. Мне бы хотелось просто быть животным, вот как эта козочка.

Она удивленно взглянула на него.

На этот взгляд он ответил:

— О, я-то знаю почему, — и ушел.

В другой раз он появился на пороге ее комнаты (внутрь он не входил никогда) в ту минуту, когда Эсмеральда пела старинную испанскую балладу, слов которой она не понимала, но

запечатлевшуюся у нее в памяти, потому что цыганки убаюкивали ее этой песней, когда она была малюткой. При виде страшной фигуры, так неожиданно представшей перед нею во время пения, молодая девушка остановилась, невольно сделав испуганное движение. Несчастный звонарь упал на колени у порога и умоляюще сложил свои огромные грубые руки.

— О, умоляю вас, — жалобно проговорил он, — продолжайте, не гоните меня!

Боясь его огорчить, еще вся дрожа, она продолжала свою песню. Понемногу испуг ее прошел, и она вся отдалась той печальной и протяжной мелодии, которую пела. А он остался на коленях со сложенными как для молитвы руками, внимательно вслушиваясь, еле дыша, не отрывая взгляда от блестящих глаз Эсмеральды. Казалось, он в них улавливал ее песню.

И еще раз он подошел к ней, смущенный и робкий.

— Послушайте, — с усилием проговорил он, — мне надо вам кое-что сказать.

Она сделала знак, что слушает его. Он вздохнул, полуоткрыл губы, приготовился говорить, но, взглянув на нее, отрицательно покачал головой и, закрыв лицо руками, медленно удалился, оста-

вив цыганку в крайнем изумлении.

Между причудливыми фигурами, высеченными на стене собора, была одна, к которой он питал особенное расположение и с которой нередко обменивался братским взглядом. Однажды цыганка слышала, как он говорил ей: «О, почему я не каменный, как ты!»

Как-то поутру Эсмеральда, приблизившись к краю кровли, глядела на площадь поверх остроконечной крыши Сен-Жан-ле-Рон. Квазимодо стоял позади нее. Он по собственному побуждению всегда становился так, чтобы избавить, насколько возможно, молодую девушку от необходимости видеть его. Вдруг цыганка вздрогнула, ее глаза одновременно затуманились восторгом и слезами, она опустилась на колени у самого края крыши и, с тоской простирая руки к площади, воскликнула:

— Феб! Феб! Приди! Приди! Одно слово, одно только слово, во имя неба! Феб! Феб!

Ее голос, ее лицо, ее умоляющий жест, весь ее облик выражали мучительную тревогу человека, потерпевшего крушение, который взывает о помощи к плывущему вдали, на солнечном горизонте, лучезарному кораблю.

Квазимодо, наклонившись, взглянул на пло-

щадь и увидел, что предметом этой неожиданной и страстной мольбы был молодой человек, капитан, блестящий кавалер в ослепительном мундире и доспехах, который, гарцуя, проезжал в глубине площади, приветствуя своей украшенной султаном шляпой красивую даму, улыбавшуюся ему с балкона. Но офицер не слышал призыва несчастной, он был слишком далеко.

Зато бедный глухой слышал. Тяжелый вздох вырвался из его груди. Он отвернулся. Сдерживаемые рыдания душили его; судорожно сжатые кулаки его вскинулись над головой, а когда он опустил руки, то в каждой горсти было по клоку рыжих волос.

Цыганка не обращала на него никакого внимания. Заскрежетав зубами, он прошептал:

— Проклятье! Так вот каким надо быть! Красивым снаружи!

А она, стоя на коленях, продолжала в неописуемом возбуждении:

— О, вот он соскочил с лошади! Он сейчас войдет в дом! Феб! Он меня не слышит! Феб! О, какая злая женщина, она нарочно разговаривает с ним, чтобы он меня не слышал! Феб! Феб!

Глухой смотрел на нее. Эта пантомима была ему понятна. Глаз злосчастного звонаря налил-

ся слезами, но ни одна из них не скатилась. Он осторожно потянул Эсмеральду за рукав. Она обернулась. Его лицо уже было спокойно. Он сказал ей:

— Хотите, я схожу за ним?

Она радостно воскликнула:

— О, иди! Спеши! Беги! Скорее! Капитана! Капитана! Приведи его ко мне! Я буду любить тебя!

Она обнимала его колени. Он горестно покачал головой.

— Я сейчас приведу его, — сказал он слабым голосом и, отвернувшись, стал быстро спускаться по лестнице, задыхаясь от рыданий.

Когда он прибежал на площадь, он увидел лишь великолепную лошадь капитана, привязанную к дверям дома Гонделорье. Сам капитан уже вошел в дом.

Он поднял глаза на крышу собора. Эсмеральда стояла все на том же месте, в той же позе. Он печально кивнул ей головой, затем прислонился к одной из тумб у крыльца дома Гонделорье, решив дождаться выхода капитана.

В доме Гонделорье справляли одно из тех празднеств, которое предшествует свадьбе. Квазимодо видел, как туда прошло множество людей, но не заметил, чтобы кто-нибудь выходил оттуда. По

временам он глядел в сторону собора. Цыганка стояла неподвижно, как и он. Конюх отвязал лошадь и увел ее в конюшню.

Так провели они весь день: Квазимодо — около тумбы, Эсмеральда — на крыше собора, Феб, по всей вероятности, — у ног Флёр-де-Лис.

Наконец наступила ночь, безлунная, темная ночь. Тщетно Квазимодо пытался разглядеть Эсмеральду. Вскоре она уже казалась лишь белеющим в сумерках пятном, но и оно исчезло. Все стушевалось, все было окутано мраком.

Квазимодо видел, как зажглись окна по всему фасаду дома Гонделорье. Он видел, как одно за другим засветились окна и в других домах на площади; видел и то, как они погасли все до одного, ибо весь вечер простоял он на своем посту. Офицер все еще не выходил. Когда последний прохожий возвратился домой, когда окна всех других домов погасли, Квазимодо остался совсем один, в полном мраке. В те времена паперть Собора Богоматери еще не освещалась.

А между тем окна дома Гонделорье оставались освещенными далеко за полночь. Неподвижный и внимательный, Квазимодо видел толпу движущихся и танцующих теней, мелькавших на тысячецветных оконных стеклах. Если бы он не

был глухим, то он, по мере того как утихал шум засыпающего Парижа, все отчетливей слышал бы шум празднества, смех и музыку в доме Гонделорье.

Около часу пополуночи приглашенные стали разъезжаться. Квазимодо, скрытый тьмой, видел их всех, когда они выходили из освещенного факелами подъезда. Но капитана среди них не было.

Грустные мысли обуревали Квазимодо. Иногда он, словно соскучившись, глядел ввысь. Громадные черные облака тяжелыми разорванными, дырявыми полотнищами, словно гамаки из траурного крепа, висели под звездным куполом ночи. Они казались паутиной, вытканной на небесном своде.

Вдруг он увидел, как осторожно распахнулась стеклянная дверь балкона, каменная балюстрада которого выдавалась над его головой. Хрупкая стеклянная дверь пропустила две фигуры и бесшумно закрылась. Это были мужчина и женщина. Квазимодо с трудом узнал в мужчине красавца-офицера, а в женщине — молодую даму, которая утром с этого самого балкона приветствовала капитана. На площади было совсем темно, а двойная красная портьера, сомкнувшаяся за

ними, едва только дверь захлопнулась, не пропускала на балкон ни единого луча света.

Молодой человек и молодая девушка, насколько мог понять глухой, не слышавший их слов, были поглощены весьма нежным разговором. Молодая девушка, по-видимому, позволила обвить рукой ее стан, но мягко противилась поцелую.

Квазимодо снизу мог наблюдать эту сцену, тем более очаровательную, что она не предназначалась для посторонних глаз. Он с горечью наблюдал это счастье, эту красоту. Несмотря ни на что, голос природы жил в бедняге, и его позвоночник, хотя и жестоко искривленный, был не менее чувствителен, чем у всякого другого. Он размышлял о той горькой участи, которую уготовило ему провидение; он думал о том, что женщина, любовь, страсть будет всегда рисоваться ему, а сам он обречен навеки быть лишь свидетелем чужого счастья. Но что всего сильнее его терзало, что примешивало к боли еще и возмущение, — это мысль о том, как страдала бы цыганка, увидев эту сцену. Правда, ночь была темная, и Эсмеральда, если она все еще не покинула своего места (а он в этом не сомневался), была слишком далеко, чтобы разглядеть на балконе влюбленных; он сам едва мог различить их.

Это утешало его.

Между тем их беседа становилась все оживленней. Дама, казалось, умоляла офицера не требовать от нее большего. Квазимодо видел лишь молитвенно сложенные руки, улыбку сквозь слезы, поднятые к звездам глаза молодой девушки и страстный, устремленный на нее взгляд офицера.

К счастью, ибо сопротивление молодой девушки ослабевало, балконная дверь внезапно распахнулась, и на пороге показалась пожилая дама. Красавица, видимо, была смущена, офицер раздосадован, и все трое вернулись в комнату.

Минуту спустя около крыльца зафыркала лошадь, и блестящий офицер, закутанный в плащ, быстро проскакал мимо Квазимодо.

Звонарь дал ему повернуть за угол, затем с обезьяньим проворством побежал за ним, крича:

— Эй, капитан!

Капитан остановился.

— Что тебе от меня надо, бездельник? — спросил он, различив в темноте странную фигуру, бежавшую к нему, прихрамывая и раскачиваясь из стороны в сторону.

Квазимодо догнал офицера и смело взял под уздцы его лошадь.

— Следуйте за мной, капитан; тут неподалеку есть кто-то, кто желает с вами поговорить.

— Клянусь Магометом, — проговорил Феб, — я где-то видел эту взъерошенную зловещую птицу! А ну-ка отпусти повод!

— Капитан, — продолжал глухой, — вы не желаете знать, кто вас хочет видеть?

— Говорят тебе, отпусти повод! — повторил нетерпеливо капитан. — Ты чего повис на морде моего скакуна? Думаешь, это виселица, что ли?

Но Квазимодо, и не собираясь отпускать повод, пытался повернуть лошадь обратно. Не понимая, чем объяснить сопротивление капитана, он поспешно сказал:

— Идемте, капитан, вас ждет женщина. — И с усилием добавил: — Женщина, которая вас любит.

— Вот шут гороховый! — воскликнул капитан. — Он воображает, что я должен бегать ко всем женщинам, которые любят меня или говорят, что любят! А вдруг эта женщина похожа на тебя, совиная ты рожа? Скажи той, кто тебя послал, что я женюсь и чтобы она убиралась к черту!

— Послушайте, — воскликнул Квазимодо, уверенный, что этим словом он победит всякое

сомнение капитана, — идемте, господин! Ведь вас зовет цыганка, которую вы знаете!

Это слово действительно произвело сильное впечатление на Феба, но отнюдь не то, которого ожидал глухой. Вспомним, что наш галантный офицер удалился вместе с Флёр-де-Лис за несколько минут до того, как Квазимодо вырвал приговоренную из рук Шармолю. С тех пор он при всех посещениях дома Гонделорье тщательно остерегался заговаривать об этой женщине, воспоминание о которой все же тяготило его; а Флёр-де-Лис, со своей стороны, считала недипломатичным сообщать ему, что цыганка жива. И Феб был уверен, что несчастная Симиляр мертва и что со дня ее смерти уже прошел месяц, а может быть, и два. Добавим, что капитан подумал в эту минуту о глубоком ночном мраке, о сверхъестественном уродстве и замогильном голосе необыкновенного посланца, о том, что было уже далеко за полночь, что улица была столь же пустынна, как и в тот вечер, когда с ним заговорил монах-привидение. Да и конь его храпел, косясь на Квазимодо.

— Цыганка! — воскликнул он в испуге. — Значит, ты послан с того света?

И он схватился за эфес шпаги.

— Скорее, скорее! — говорил глухой, стараясь увлечь его за собой. — Вот сюда!

Феб ударил его сапогом в грудь.

Глаз Квазимодо засверкал. Он сделал движение, чтобы броситься на капитана. Затем, сдержав себя, сказал:

— О, счастье ваше, что кто-то вас любит!

Он сделал ударение на слове «кто-то». Отпустив уздечку, он крикнул:

— Ступайте прочь!

Феб, ругаясь, пришпорил коня. Квазимодо глядел ему вслед, пока тот не пропал в ночном тумане.

— О, — прошептал бедный глухой, — отказаться от этого!

Он возвратился в собор, зажег свою лампу и поднялся на башню. Как он и предполагал, цыганка оставалась все на том же месте.

Завидев его издали, она побежала ему навстречу.

— Один! — воскликнула она, горестно всплеснув руками.

— Я не мог его найти, — холодно сказал Квазимодо.

— Надо было ждать всю ночь! — с запальчивостью возразила она.

Он видел ее гневный жест и понял упрек.

— Я постараюсь не пропустить его в другой раз, — проговорил он, понурив голову.

— Уйди! — сказала она.

Он оставил ее. Она была им недовольна. Но он предпочел вынести ее дурное обращение, нежели огорчить ее. Всю скорбь он оставил на свою долю.

С этого дня цыганка его более не видела. Он перестал приходить к ее келье. Лишь изредка замечала она на вершине одной из башен печально глядевшего на нее звонаря. Но едва он ловил на себе ее взгляд, как тут же исчезал.

Мы должны сказать, что ее мало огорчало это добровольное отсутствие бедного горбуна. В глубине души она даже была ему благодарна. Впрочем, Квазимодо и не заблуждался на этот счет.

Она его больше не видела, но чувствовала близ себя присутствие доброго гения. Невидимая рука во время ее сна доставляла ей свежую пищу. Однажды утром она нашла на своем окне клетку с птицами. Над ее кельей находилось изваяние, которое пугало ее. Она не раз выражала свой страх перед ним в присутствии Квазимодо. Както утром (ибо все это делалось по ночам) этого

изображения не оказалось. Его кто-то разбил. Тот, кто вскарабкался к нему, должен был рисковать жизнью.

Иногда по вечерам до нее доносился из-под навеса колокольни голос, напевавший, словно убаюкивая ее, странную и печальную песню. То были стихи без рифм, какие только и мог сложить глухой.

Не гляди на лицо, девушка,
А заглядывай в сердце.
Сердце прекрасного юноши часто бывает уродливо.
Есть сердца, где любовь не живет.

Девушка, сосна некрасива,
Не так хороша, как тополь,
Но сосна и зимой зеленеет.

Увы! Зачем тебе петь про это?
То, что уродливо, пусть погибает;
Красота к красоте лишь влечется,
И апрель не глядит на январь.

Красота совершенна,
Красота всемогуща,

Полной жизнью живет одна красота.

Ворон только днем летает,
Совы лишь летают ночью,
Лебедь день и ночь летает.

Однажды утром, проснувшись, она нашла у себя на окне два сосуда, наполненные цветами. Один из них — красивая хрустальная ваза, но с трещиной. Налитая в вазу вода вытекла, и цветы увяли. Другой же — глиняный, грубый горшок, но полный воды, и цветы в нем были свежи и ярки.

Не знаю, было ли то намеренно, но Эсмеральда взяла увядший букет и весь день носила его на груди.

В этот день голос на башне не пел.

Это весьма мало обеспокоило ее. Она проводила свои дни в том, что ласкала Джали, следила за подъездом дома Гонделорье, тихонько разговаривала сама с собой о Фебе и крошила ласточкам хлеб.

Она совершенно перестала видеть и слышать Квазимодо. Казалось, бедняга-звонарь исчез из собора. Но однажды ночью, когда она не спала и мечтала о своем красавце-капитане, она услышала чей-то вздох около своей кельи. Испугавшись, она встала и при свете луны увидела бесформен-

ную массу, лежавшую поперек ее двери. То был Квазимодо, спавший на голом камне.

V. Ключ от Красных врат

Между тем молва о чудесном спасении цыганки дошла до архидьякона. Узнав об этом, он сам не мог понять своих чувств. Он примирился со смертью Эсмеральды. И был спокоен, ибо дошел до предельной глубины страдания. Человеческое сердце (отец Клод размышлял об этом) может вместить лишь определенную меру отчаяния. Когда губка насыщена, пусть море спокойно катит над ней свои волны — она не впитает больше ни капли.

Если Эсмеральда мертва — губка насыщена: в этом мире все было кончено для отца Клода. Но знать, что она жива, что жив Феб, — это значило снова отдаться пыткам, потрясениям, сомнениям — жизни. А Клод устал от пыток.

Когда он услышал эту новость, он заперся в своей монастырской келье. Он не показывался ни на собраниях капитула, ни на богослужениях. Он запер свою дверь для всех, даже для епископа. В таком заточении провел он несколько недель. Предполагали, что он болен. И это была правда.

Но что же делал он взаперти? С какими мыслями боролся этот злосчастный? Вступил ли он

в последний бой со своей пагубной страстью? Замышлял ли последний план смерти для нее и гибели для себя?

Его Жеан, его любимый брат, его балованное дитя, однажды пришел к дверям его кельи, стучал, заклинал, умолял, десятки раз называл себя. Клод не впустил его.

Целые дни проводил он, прижавшись лицом к оконному стеклу. Из этого монастырского окна ему видна была келья Эсмеральды; он часто видел ее с козочкой, а иногда с Квазимодо. Он замечал знаки внимания, оказываемые ей жалким глухим, его повиновение, его нежность и покорность цыганке. Он вспомнил — ибо обладал прекрасной памятью, а память — это палач ревнивцев, — как странно звонарь однажды вечером глядел на плясунью. Он вопрошал себя, что могло побудить Квазимодо спасти ее. Он был свидетелем тысячи мимолетных сцен между цыганкой и глухим, и издали их движения, истолкованные его страстью, казались ему весьма нежными. Он не доверял причудливому характеру женщин. И тогда он смутно почувствовал, как в его сердце закралась ревность, на которую он никогда не считал себя способным, — ревность, заставлявшая его краснеть от стыда и унижения. «Пусть бы

еще капитан, но он!..» Мысль эта потрясала его.

Ночи его были ужасны. С тех пор как он узнал, что цыганка жива, леденящие мысли о призраке и могиле, которые обступали его в первый день, исчезли, и его снова стала жечь плотская страсть. Он корчился на своем ложе, чувствуя так близко от себя молодую смуглянку.

Еженощно его неистовое воображение рисовало ему Эсмеральду в позах, заставлявших кипеть его кровь. Он видел ее распростертой на коленях раненого капитана, с закрытыми глазами, с обнаженной прелестной грудью, залитой кровью Феба, в тот блаженный миг, когда он запечатлел на ее бледных губах поцелуй, пламя которого несчастная полумертвая девушка все же ощутила. И вот снова она, полураздетая, в жестоких руках заплечных мастеров, которые обнажают и заключают в «испанский сапог» с железным винтом ее маленькую округлую ножку, ее гибкое белое колено. Он видел это словно выточенное из слоновой кости колено, выглядывавшее из страшного орудия Тортерю. Наконец, вот она в рубахе, с веревкой на шее, с обнаженными плечами, босыми ногами, почти нагая, какою он видел ее в последний день. Эти сладострастные образы заставляли судорожно сжиматься его кулаки, и

дрожь пробегала у него по спине.

В одну из ночей эти образы так жестоко распалили кровь девственника-священника, что он впился зубами в подушку, затем, вскочив с постели и накинув подрясник поверх сорочки, выбежал из кельи со светильником в руке, полураздетый, безумный, с горящим взором.

Он знал, где найти ключ от Красных врат, соединявших монастырь с собором, а ключ от башенной лестницы, как известно, всегда был при нем.

VI. Продолжение рассказа о ключе от Красных врат

В эту ночь Эсмеральда уснула в своей келье, забыв о прошлом, полная надежд и сладостных мыслей. Она спала уже некоторое время, грезя, как всегда, о Фебе, как вдруг ей послышался какой-то шум. Сон ее был чуток и беспокоен, как у птицы. Ее будил малейший шорох. Она открыла глаза. Ночь была очень темная. Однако она увидела, что кто-то смотрит на нее в слуховое оконце. Лампада освещала это видение. Как только призрак заметил, что Эсмеральда смотрит на него, он задул светильник. Но молодая девушка успела разглядеть его. Ее веки сомкнулись от ужаса.

— О! — упавшим голосом сказала она. — Священник!

Точно при вспышке молнии, вновь встало перед ней минувшее несчастье, и она, похолодев, упала на постель.

Минуту спустя она ощутила прикосновение к своему телу, заставившее ее содрогнуться. Совсем очнувшись, она привстала разъяренная.

Священник скользнул к ней в постель и сжал

ее в объятиях.

Она хотела крикнуть, но не могла.

— Уйди прочь, чудовище! Уйди, убийца! — говорила она дрожащим и низким от гнева и ужаса голосом.

— Сжалься, сжалься! — шептал священник, целуя ее плечи.

Она обеими руками схватила его плешивую голову за остатки волос и старалась отдалить от себя его поцелуи, словно то были ядовитые укусы.

— Сжалься! — повторял несчастный. — Если бы ты знала, что такое моя любовь к тебе! Это пламя, расплавленный свинец, тысяча ножей в сердце!

И он с нечеловеческой силой стиснул ее руки.

— Пусти меня, — вне себя крикнула она, — или я плюну тебе в лицо!

Он выпустил ее.

— Унижай меня, бей меня, будь жестока! Делай что хочешь! Но сжалься! Люби меня!

Тогда она с детской яростью стала бить его. Она напрягала всю силу прекрасных своих рук, чтобы размозжить ему лицо.

— Уйди, демон!

— Люби меня! Люби меня! Сжалься! — кричал несчастный, припадая к ней и отвечая ласками

на удары.

Внезапно она почувствовала, что он сильнее ее.

— Пора с этим покончить! — сказал он, скрипнув зубами.

Побежденная, дрожащая, разбитая, она лежала в его объятиях, в его власти. Она чувствовала, как по телу ее похотливо блуждали его руки. Она сделала последнее усилие и принялась кричать:

— На помощь! Ко мне! Вампир! Вампир!

Никто не являлся. Одна лишь Джали проснулась и жалобно блеяла.

— Молчи! — задыхаясь, шептал священник.

Вдруг рука ее, отбиваясь от него и коснувшись пола, натолкнулась на что-то холодное, металлическое. То был свисток Квазимодо. С проблеском надежды схватила она его, поднесла к губам и из последних сил дунула. Свисток издал чистый, резкий, пронзительный звук.

— Что это? — спросил священник.

И почти в ту же минуту он почувствовал, как его приподняла с пола могучая рука. В келье было темно, он не мог ясно разглядеть того, кто схватил его, но слышал бешеный скрежет зубов и увидел тускло блеснувшее над своей головой широкое лезвие тесака.

Священнику показалось, что это был Квазимодо. По его предположению, это мог быть только он. Он припомнил, что, входя сюда, он споткнулся о какую-то массу, растянувшуюся поперек двери. Но так как новоприбывший не произносил ни слова, Клод не знал, что и думать. Он схватил руку, державшую тесак, и крикнул: «Квазимодо!» В это страшное мгновение он забыл, что Квазимодо глух.

В мгновение ока священник был повергнут наземь и почувствовал на своей груди тяжелое колено. По этому угловатому колену он узнал Квазимодо. Но как быть, что сделать, чтобы Квазимодо узнал его? Ночь превращала глухого в слепца.

Он погибал. Молодая девушка, безжалостная, как раздраженная тигрица, не пыталась спасти его. Нож навис над его головой; то была опасная минута. Внезапно его противник заколебался.

— Кровь не должна брызнуть на нее, — пробормотал глухой.

Действительно, это был голос Квазимодо.

И тут священник почувствовал, как сильная рука тащит его за ногу из кельи. Так вот где было ему суждено умереть! К счастью для него, несколько мгновений тому назад взошла луна.

Когда они очутились за порогом кельи, бледный луч месяца осветил лицо священника. Квазимодо взглянул на него, задрожал и, выпустив его, отшатнулся.

Цыганка, вышедшая на порог своей кельи, с изумлением увидела, что роли изменились. Теперь угрожал священник, а Квазимодо умолял.

Священник, выражавший жестами гнев и упрек, резко приказал ему удалиться.

Глухой поник головой, затем опустился на колени у порога кельи.

— Господин, — сказал он покорно и серьезно, — потом вы можете делать, что вам угодно, но прежде убейте меня.

С этими словами он протянул священнику свой тесак. Обезумевший священник хотел было схватить его, но молодая девушка оказалась проворнее. Она вырвала нож из рук Квазимодо и зло расхохоталась.

— Подойди только! — сказала она священнику.

Она занесла нож. Священник стоял в нерешительности. Он не сомневался, что она ударит его.

— Ты не осмелишься, трус! — крикнула она. И затем, зная, что это пронзит тысячью раскаленных игл его сердце, безжалостно добавила:

— Я знаю, что Феб не умер!

Священник отшвырнул ногой Квазимодо и, дрожа от бешенства, скрылся под лестничным сводом.

Когда он ушел, Квазимодо поднял спасший цыганку свисток.

— Он чуть было не заржавел, — проговорил он, возвращая его цыганке, и удалился, оставив ее одну.

Молодая девушка, потрясенная этой бурной сценой, в изнеможении упала на постель и разразилась рыданиями. Горизонт ее вновь заволокло зловещими тучами.

Священник ощупью вернулся в свою келью.

Свершилось. Клод ревновал к Квазимодо.

И он задумчиво повторил роковые слова: «Она не достанется никому».

Книга десятая

I. На улице Бернардинцев у Гренгуара одна за другой рождается несколько блестящих идей

С той самой минуты, как Гренгуар понял, какой оборот приняло все дело, и убедился, что для главных действующих лиц этой драмы оно несомненно пахнет веревкой, виселицей и прочими неприятностями, он решил ни во что не вмешиваться. Бродяги же, среди которых он остался, рассудив, что в конечном счете это самое приятное общество в Париже, продолжали интересоваться судьбой цыганки. Поэт находил это вполне естественным со стороны людей, у которых, как и у нее, не было впереди ничего, кроме Шармолю либо Тортерю, и которые не уносились, подобно ему, в заоблачные выси на крыльях Пегаса. Из их разговора он узнал, что его супруга, обвенчанная с ним по обряду разбитой кружки, нашла убежище в Соборе Парижской Богоматери, и был этому весьма рад. Но он даже и не помышлял ее там проведать. Порой он вспоминал о маленькой козочке, но этим все и ограничивалось. Днем он давал акробатиче-

ские представления, чтобы прокормить себя, а по ночам корпел над запиской, направленной против парижского епископа, ибо не забыл, как колеса епископских мельниц когда-то окатили его водой, и хранил на него за это в своей душе обиду. Одновременно он составлял комментарий к великолепному произведению Бодри-ле-Ружа, епископа Нойонского и Турнейского, «De cupa petrarum»[143], что породило в нем сильнейшее влечение к архитектуре. Эта склонность вытеснила в его сердце страсть к герметике, естественным завершением которой и являлось зодчество, ибо между герметикой и зодчеством есть внутренняя связь. Гренгуар, ранее любивший идею, ныне любил внешнюю форму этой идеи.

Однажды он остановился около церкви Сен-Жермен-л'Оксеруа, у самого угла здания, которое называлось Епископской тюрьмой и стояло напротив другого, которое именовалось Королевской тюрьмой. В Епископской тюрьме была очаровательная часовня XIV столетия, заалтарная часть которой выходила на улицу. Гренгуар благоговейно рассматривал наружную скульптуру этой часовни. Он находился в состоянии того

[143] Примечания: 143
«О тесании камней» *(лат.)*.

эгоистического, всепоглощающего высшего наслаждения, когда художник во всем мире видит лишь одно искусство и весь мир — в искусстве. Вдруг он почувствовал, как чья-то рука тяжело легла ему на плечо. Он обернулся. То был его бывший друг, его бывший учитель — господин архидьякон.

Он замер от изумления. Он уже давно не видел архидьякона, а отец Клод был одной из тех значительных и страстных натур, встреча с которыми всегда нарушает душевное равновесие философа-скептика.

Архидьякон в продолжение нескольких минут молчал, и Гренгуар мог не спеша разглядеть его. Он нашел отца Клода сильно изменившимся, бледным, как зимнее утро, с глубоко запавшими глазами и почти седыми волосами. Первым нарушил молчание священник, сказав спокойным, но ледяным тоном:

— Как ваше здоровье, мэтр Пьер?

— Мое здоровье? — ответил Гренгуар. — Э! Да ни то ни се, а впрочем, недурно! Я знаю меру всему. Помните, учитель? По словам Гиппократа, секрет вечного здоровья id est: cibi, potus, somni,

venus, omnia moderata sint[144].

— Значит, вас ничто не тревожит, мэтр Пьер? — снова заговорил священник, пристально глядя на Гренгуара.

— Ей-богу, нет!

— А что вы теперь делаете?

— Вы это видите, учитель. Рассматриваю, как вытесаны эти каменные плиты и как вырезан барельеф.

Священник улыбнулся горькой, кривой улыбкой:

— И это вас забавляет?

— Это рай! — воскликнул Гренгуар. И, наклонившись над изваяниями с восторженным видом человека, демонстрирующего живых феноменов, продолжал: — Разве вы не находите, что изображение на этом барельефе выполнено с необычайным мастерством, тщательностью и терпением? Взгляните на эту колонку. Где вы найдете листья капители, над которыми тоньше и любовнее поработал бы резец? Вот три выпуклых медальона Жана Майльвена. Это еще не лучшее произведение его великого гения. Тем не менее наивность, нежность лиц, изящество поз и

---

[144] Примечания: 144

...таков: в пище, в питье, во сне, в любви — во всем воздержание *(лат.)*.

драпировок и то необъяснимое очарование, которым проникнуты самые его недостатки, придают этим фигуркам, быть может, даже излишнюю живость и изысканность. Вы не находите, что это очень занимательно?

— Конечно! — ответил священник.

— А если бы вы побывали внутри часовни! — продолжал поэт со свойственным ему болтливым воодушевлением. — Всюду изваяния! Их так много, точно капустных листьев в кочане! А от хоров веет таким благочестием и своеобразием, что я никогда нигде ничего подобного не видал!

Клод прервал его:

— Значит, вы счастливы?

Гренгуар ответил с жаром:

— Клянусь честью, да! Сначала я любил женщин, потом животных. Теперь я люблю камни. Они столь же забавны, как женщины и животные, но менее вероломны.

Священник приложил руку ко лбу. Это был его привычный жест.

— Разве?

— Еще бы! — сказал Гренгуар. — Это дает наслаждение!

Взяв священника за руку, чему тот не противился, он повел его в лестничную башенку

Епископской тюрьмы.

— Ну вот вам лестница! Каждый раз, когда я вижу ее, я счастлив. Это одна из самых простых и редкостных лестниц Парижа. Все ее ступеньки скошены снизу. Ее красота и простота заключены именно в плитах этих ступенек, имеющих около фута в ширину, вплетенных, вбитых, вогнутых, вправленных, втесанных одна в другую и как бы впившихся друг в друга поистине крепкой и изящной хваткой.

— И вы ничего не желаете?

— Нет.

— И ни о чем не сожалеете?

— Ни сожалений, ни желаний. Я устроил свою жизнь.

— То, что устраивают люди, — сказал Клод, — расстраивают обстоятельства.

— Я философ школы Пиррона, — ответил Гренгуар, — и во всем стараюсь соблюдать равновесие.

— А как вы зарабатываете на жизнь?

— Время от времени я еще сочиняю эпопеи и трагедии; но всего прибыльнее мое ремесло, которое вам известно, учитель: я ношу в зубах пирамиды из стульев.

— Грубое ремесло для философа.

— В нем опять-таки все построено на равновесии, — ответил Гренгуар. — Когда человеком владеет мысль, он находит ее во всем.

— Мне это знакомо, — ответил архидьякон.

Помолчав немного, священник продолжал:

— Тем не менее у вас довольно жалкий вид.

— Жалкий — да, но не несчастный!

В эту минуту послышался звонкий цокот копыт о мостовую. Собеседники увидели в конце улицы королевских стрелков с офицером во главе, проскакавших с поднятыми вверх пиками.

— Что вы так пристально глядите на этого офицера? — спросил Гренгуар архидьякона.

— Мне кажется, я его знаю.

— А как его зовут?

— Мне думается, — ответил Клод, — его зовут Феб де Шатопер.

— Феб! Редкое имя! Есть еще другой Феб, граф де Фуа. Я знавал одну девушку, которая клялась всегда именем Феба.

— Пойдемте, — сказал священник. — Мне надо вам кое-что сказать.

Со времени появления отряда в священнике под его маской ледяного спокойствия стало чувствоваться какое-то возбуждение. Он двинулся вперед. Гренгуар последовал за ним по привычке

повиноваться ему, как, впрочем, и все те, кто приходил в соприкосновение с этим властным человеком. Они молча дошли до улицы Бернардинцев, довольно безлюдной. Тут отец Клод остановился.

— Что вы хотели мне сказать, учитель? — спросил Гренгуар.

— Не находите ли вы, — с видом глубокого раздумья заговорил архидьякон, — что одежда всадников, которых мы только что видели, гораздо красивее и вашей, и моей?

Гренгуар отрицательно покачал головой:

— Ей-богу, я предпочитаю мой желто-красный кафтан этой чешуе из железа и стали! Нечего сказать, удовольствие — производить на ходу такой шум, словно скобяные ряды во время землетрясения!

— И вы, Гренгуар, никогда не завидовали этим красивым молодцам в военных доспехах?

— Завидовать! Но чему же, господин архидьякон? Их силе, их вооружению, их дисциплине? Философия и независимость в рубище стоят большего. Я предпочитаю быть головкой мухи, чем хвостом льва!

— Странно, — промолвил задумчиво священник. — А все же нарядный мундир — очень

красивая вещь.

Гренгуар, видя, что архидьякон задумался, покинул его, чтобы полюбоваться порталом одного из соседних домов. Он возвратился и, всплеснув руками, сказал:

— Ежели бы вы не были так поглощены красивыми мундирами военных, господин архидьякон, то я попросил бы вас пойти взглянуть на эту дверь. Я всегда утверждал, что входная дверь дома сьёра Обри самая великолепная на свете.

— Пьер Гренгуар, куда вы девали маленькую цыганскую плясунью? — спросил архидьякон.

— Эсмеральду? Как вы круто меняете тему беседы.

— Кажется, она была вашей женой?

— Да, нас повенчали разбитой кружкой на четыре года. Кстати, — добавил Гренгуар, не без лукавства глядя на архидьякона, — вы все еще помните о ней?

— А вы о ней больше не думаете?

— Изредка. У меня так много дел!.. Боже мой, как хороша была маленькая козочка!

— Кажется, цыганка спасла вам жизнь?

— Да, черт возьми, это правда!

— Что же с ней сталось? Что вы с ней сделали?

— Право, не знаю. Кажется, ее повесили.

— Вы думаете?

— Я в этом уверен. Когда я увидел, что дело пахнет виселицей, я вышел из игры.

— И это все, что вы знаете?

— Постойте! Мне говорили, что она укрылась в Соборе Парижской Богоматери и что там она в безопасности. Я очень этому рад, но до сих пор не могу узнать, спаслась ли с ней козочка. Вот все, что я знаю.

— Я сообщу вам больше! — воскликнул Клод, и его голос, до сей поры тихий, медленный, почти глухой, вдруг сделался громовым. — Она действительно нашла убежище в Соборе Богоматери, но через три дня правосудие заберет ее оттуда, и она будет повешена на Гревской площади. Есть уже постановление судебной палаты.

— Как это досадно! — сказал Гренгуар.

В мгновение ока к священнику вернулось его холодное спокойствие.

— А какому дьяволу, — заговорил поэт, — вздумалось добиваться ее вторичного ареста? Разве нельзя было оставить в покое суд? Кому какой ущерб от того, что несчастная девушка приютилась под арками Собора Богоматери, рядом с гнездами ласточек?

— Есть на свете такие демоны, — ответил ар-

хидьякон.

— Это чертовски неприятно, — заметил Гренгуар.

Архидьякон, помолчав, продолжал:

— Итак, она спасла вам жизнь?

— Да, у моих друзей-бродяг. Еще немножко, и меня бы повесили. Теперь они жалели бы об этом.

— Вы ничего не хотите сделать для нее?

— Очень охотно, отец Клод. Ну а вдруг я впутаюсь в скверную историю?

— Что за важность?

— Как что за важность! Хорошо вам так рассуждать, учитель, а у меня начаты два больших сочинения.

Священник ударил себя по лбу. Несмотря на его напускное спокойствие, время от времени резкий жест выдавал его внутреннее волнение.

— Как ее спасти?

Гренгуар ответил:

— Учитель, я скажу вам: «Il padelt», что по-турецки означает: «Бог — наша надежда».

— Как спасти ее? — повторил задумчиво Клод.

Гренгуар в свою очередь хлопнул себя по лбу.

— Послушайте, учитель! Я одарен воображением. Я найду выход… Что, если попросить короля

о помиловании?

— Людовика-то Одиннадцатого? О помиловании?

— А почему бы и нет?

— Поди отними кость у тигра!

Гренгуар принялся измышлять новые способы.

— Хорошо, позвольте! Угодно вам, я обращусь с заявлением к повитухам о том, что девушка беременна?

Это заставило вспыхнуть впалые глаза священника.

— Беременна! Негодяй! Разве тебе что-нибудь известно?

Вид его испугал Гренгуара. Он поспешил ответить:

— О нет, уж никак не мне! Наш брак был настоящим forismaritagium[145]. Я тут ни при чем. Но таким образом можно добиться отсрочки.

— Безумие! Позор! Замолчи!

— Вы зря горячитесь, — проворчал Гренгуар. — Добились бы отсрочки, вреда это никому не принесло бы, а повитухи, бедные женщины, заработали бы сорок парижских денье.

Священник не слушал его.

---

[145] Примечания: 145
Фиктивный брак *(лат.)*.

— А между тем необходимо, чтобы она вышла оттуда! — бормотал он. — Постановление вступит в силу через три дня! Но не будь даже постановления, то… Квазимодо! У женщин такой извращенный вкус! — Он повысил голос: — Мэтр Пьер, я все хорошо обдумал, есть только одно средство спасения.

— Какое же? Я больше не вижу ни одного.

— Слушайте, мэтр Пьер, вспомните, что вы обязаны ей жизнью. Я откровенно изложу вам мой план. Церковь день и ночь охраняют. Оттуда выпускают лишь тех, кого видели входящими. Вы придете. Я провожу вас к ней. Вы обменяетесь с ней платьем. Она наденет ваш плащ, а вы — ее юбку.

— До сих пор все идет гладко, — заметил философ. — А дальше?

— А дальше? Она выйдет, вы останетесь. Вас, может быть, повесят, но зато она будет спасена.

Гренгуар с весьма серьезным видом почесал у себя за ухом.

— Гляди-ка, — сказал он, — вот мысль, которая мне самому не пришла бы в голову!

При неожиданном предложении отца Клода открытое и добродушное лицо поэта внезапно омрачилось, словно веселый итальянский пей-

заж, когда неожиданно набежавший порыв злого ветра нагоняет облака на солнце.

— Итак, Гренгуар, что вы скажете об этом плане?

— Я скажу, учитель, что меня повесят не «может быть», а вне сомнения.

— Это нас не касается.

— Черт возьми! — сказал Гренгуар.

— Она спасла вам жизнь. Вы уплатите лишь свой долг.

— У меня много других долгов, которых я не плачу.

— Мэтр Пьер, это необходимо.

Архидьякон говорил повелительно.

— Послушайте, отец Клод, — ответил окончательно оторопевший поэт, — вы настаиваете, но вы не правы. Я не вижу, почему я должен дать себя повесить за другого.

— Да что вас так привязывает к жизни?

— О! Тысяча причин!

— Какие, угодно ли сказать?

— Какие? Воздух, небо, утро, вечер, сияние луны, мои добрые приятели-бродяги, веселые перебранки с девками, изучение архитектурных памятников Парижа, три объемистых сочинения, которые я должен написать, — одно из них

направлено против епископа и его мельниц. Да мало ли что! Анаксагор говорил, что он живет на свете, чтоб любоваться солнцем. И потом, я имею счастье проводить время с утра и до вечера в обществе гениального человека, то есть с самим собой, а это очень приятно.

— Пустозвон! — пробурчал архидьякон. — Однако скажи, кто тебе сохранил эту жизнь, которую ты находишь очень приятной? Кому ты обязан тем, что дышишь воздухом, что любуешься небом, что еще имеешь возможность тешить свой птичий ум всякими бреднями и дурачествами? Где бы ты был без Эсмеральды? И ты хочешь, чтобы она умерла? Она, благодаря которой ты жив! Ты хочешь смерти этого прелестного, кроткого, пленительного создания, без которого померкнет дневной свет! Более божественного, чем сам Господь Бог! А ты, полумудрец-полубезумец, ты, черновой набросок чего-то, своего рода растение, воображающее, что оно движется и мыслит, ты будешь пользоваться той жизнью, которую украл у нее, — жизнью столь же бесполезной, как свеча, зажженная в полдень! Прояви немного жалости, Гренгуар! Будь в свою очередь великодушен. Она показала тебе пример.

Священник говорил пылко. Гренгуар слушал

его сначала безучастно, потом растрогался, и наконец мертвенно-бледное лицо его исказилось гримасой, придавшей ему сходство с новорожденным, которого схватила резь в животе.

— Вы красноречивы! — проговорил он, отирая слезу. — Хорошо! Я подумаю об этом. Ну и странная же мысль пришла вам в голову. Впрочем, — помолчав, продолжал он, — кто знает? Может быть, они меня и не повесят. Не всегда тот женится, кто обручился. Когда они меня найдут в этом убежище столь нелепо наряженным, в юбке и чепчике, быть может, они расхохочутся. А потом, если они меня даже и вздернут, ну так что же! Смерть от веревки — такая же смерть, как и всякая другая, или, вернее, не похожа на всякую другую. Это смерть, достойная мудреца, который всю свою жизнь колебался; она — ни рыба ни мясо, подобно уму истинного скептика; это смерть, носящая на себе отпечаток пирронизма и нерешительности, занимающая середину между небом и землею и оставляющая вас висеть в воздухе. Это смерть философа, для которой я, быть может, был предназначен. Великолепно умереть так, как жил!

Священник перебил его:

— Итак, решено?

— Да и что такое смерть, в конце концов? — с увлечением продолжал Гренгуар. — Неприятное мгновение, дорожная пошлина, переход из ничтожества в небытие. Некто спросил Керкидаса-мегалополийца, желает ли он умереть. «Почему бы и нет? — ответил тот. — Ибо в загробной жизни я увижу великих людей: Пифагора — среди философов, Гекатея — среди историков, Гомера — среди поэтов, Олимпия — среди музыкантов».

Архидьякон протянул ему руку:

— Итак, решено? Вы придете завтра.

Этот жест вернул Гренгуара к действительности.

— Э нет! — ответил он тоном человека, пробудившегося ото сна. — Быть повешенным — это слишком нелепо! Я не хочу.

— В таком случае прощайте! — И архидьякон, уходя, пробормотал сквозь зубы: «Я разыщу тебя!»

«Я не хочу, чтобы этот проклятый человек меня разыскал», — подумал Гренгуар и побежал вслед за Клодом.

— Послушайте, господин архидьякон, что за распри между старыми друзьями! Вы принимаете участие в этой девушке, то есть в моей жене,

хотел я сказать, — хорошо! Вы придумали хитрый способ, чтобы вывести ее невредимой из собора, но ваше средство чрезвычайно неприятно мне, Гренгуару. А что, если мне пришел в голову другой способ? Предупреждаю вас, что меня сейчас осенила блестящая мысль. Если я предложу вам отчаянный план, как вызволить ее из беды, не подвергая мою шею ни малейшей опасности знакомства с петлей, что вы на это скажете? Устроит это вас? Так ли уж необходимо мне быть повешенным, чтобы вы остались довольны?

Священник с нетерпением рвал пуговицы своей сутаны.

— Болтун! Какой же у тебя план?

«Да, — продолжал Гренгуар, разговаривая сам с собой и приложив с глубокомысленным видом указательный палец к кончику своего носа, — именно так! Бродяги — молодцы. Цыганское племя ее любит. Они поднимутся по первому же слову. Нет ничего легче. Напасть врасплох. Среди сумятицы ее легко будет похитить. Завтра же вечером… Они будут рады».

— Твой способ! Говори же! — встряхивая его, сказал священник.

Гренгуар величественно обернулся к нему:

— Да оставьте меня в покое! Неужели вы не

видите, что я соображаю!

Он подумал еще несколько минут и затем принялся аплодировать своей мысли, восклицая:

— Великолепно! Верная удача!

— Способ! — гневно крикнул Клод.

Гренгуар сиял.

— Подойдите-ка ближе, чтобы я мог вам сказать об этом на ухо. Это поистине забавный контрудар, который выпутает всех нас из затруднения. Черт возьми! Согласитесь, я не дурак! — Вдруг он спохватился: — Постойте! А козочка с нею?

— Да. Черт тебя подери!

— А ее тоже повесили бы?

— Ну и что ж?

— Да, они ее повесили бы. В прошлом месяце они повесили свинью. Палачу это на руку. Потом он съедает мясо. Повесить мою хорошенькую Джали! Бедный маленький ягненочек!

— Проклятие! — воскликнул Клод. — Ты сам настоящий палач! Ну что ты изобрел, пройдоха? Щипцами, что ли, надо из тебя вытащить твой способ?

— Успокойтесь, учитель! Слушайте!

Гренгуар, наклонившись к уху архидьякона, принялся что-то шептать ему, с беспокойством озирая из конца в конец улицу, где, впрочем,

не видно было ни души. Когда он кончил, Клод пожал ему руку и холодно проговорил:

— Хорошо. До завтра.

— До завтра, — проговорил Гренгуар. И в то время как архидьякон удалялся в одну сторону, он направился в другую, бормоча вполголоса:

— Это смелая затея, мэтр Пьер Гренгуар. Ну ничего. Если мы люди маленькие, отсюда еще не следует, что мы боимся больших дел. Ведь притащил же Битон на своих плечах целого быка! А трясогузки, славки и каменки перелетают через океан.

II. Становись бродягой

Вернувшись в монастырь, архидьякон нашел у двери своей кельи младшего брата, Жеана Мельника, который дожидался его и разгонял скуку ожидания, рисуя углем на стене профиль старшего брата с огромным носом.

Отец Клод едва взглянул на брата. Он был занят иными мыслями. Веселое лицо повесы, улыбки которого столько раз проясняли мрачную физиономию священника, ныне было бессильно рассеять туман, с каждым днем все более и более сгущавшийся в этой порочной, зловонной и загнившей душе.

— Братец, — робко сказал Жеан, — я пришел повидать вас.

Архидьякон даже не взглянул на него.

— Дальше что?

— Братец, — продолжал лицемер, — вы так добры ко мне и даете такие благие советы, что я постоянно возвращаюсь к вам.

— Еще что?

— Увы, братец, вы были совершенно правы, когда говорили мне: «Жеан! Жеан! Cessat doctorum

doctrina, discipulorum disciplina[146]. Жеан, будь благоразумен, Жеан, учись, Жеан, не отлучайся на ночь из коллежа без уважительных причин и без разрешения наставника. Не дерись с пикардийцами, noli, Joannes, verberare Picardos. Не залеживайся, подобно безграмотному ослу, quasi asinus iliteratus, на школьной подстилке. Жеан, не противься наказанию, которое угодно будет наложить на тебя учителю. Жеан, посещай каждый вечер часовню и пой там псалмы, стихи и молитвы Пречистой Деве Марии». Увы! Какие это были превосходные наставления!

— Ну и что же?

— Брат мой, перед вами преступник, грешник, негодяй, развратник, чудовище! Мой дорогой брат, Жеан все ваши советы превратил в солому и навоз, он попрал их ногами. Я жестоко за это наказан, и Господь Бог совершенно прав. Пока у меня были деньги, я кутил, безумствовал, вел разгульную жизнь! О, сколь пленителен разврат с виду и сколь отвратительна и скучна его изнанка! Теперь у меня нет ни единого беляка; я продал свою простыню, свою сорочку и полотенце. Прощай, веселая жизнь! Чудесная свеча потухла, и

---

[146] Примечания: 146

Иссякает ученость ученых, послушание послушников *(лат.)*.

у меня остался лишь сальный огарок, чадящий мне в нос. Девчонки меня высмеивают. Я пью одну воду. Меня терзают угрызения совести и кредиторы.

— Вывод? — спросил архидьякон.

— Увы, дражайший братец, я очень желал бы вернуться к праведной жизни! Я пришел к вам с сокрушенным сердцем. Я грешник. Я каюсь. Я бью себя в грудь обоими кулаками. Как вы были правы, когда хотели, чтобы я получил степень лиценциата и сделался помощником наставника в коллеже Торши! Теперь я и сам чувствую, что в этом мое настоящее призвание. Но мои чернила высохли, мне не на что их купить; у меня нет перьев, мне не на что их купить; у меня нет бумаги, у меня нет книг, мне не на что их купить. Мне крайне нужно немного денег, и я обращаюсь к вам, братец, с сердцем, полным раскаяния.

— И это все?

— Да, — ответил школяр. — Немного денег.

— У меня их нет.

Тогда школяр с серьезным и вместе решительным видом ответил:

— В таком случае, братец, хоть мне и очень прискорбно, но я должен вам сказать, что другие мне делают выгодные предложения. Вы не

желаете дать мне денег? Нет? В таком случае я становлюсь бродягой.

Произнося это ужасное слово, он принял позу Аякса, ожидающего, что его поразит молния. Архидьякон холодно ответил:

— Становись бродягой.

Жеан отвесил ему низкий поклон и, насвистывая, спустился с монастырской лестницы.

В ту минуту, когда он проходил по монастырскому двору под окном кельи брата, он услышал, как это окно распахнулось; он поднял голову и увидел в окне строгое лицо архидьякона.

— Убирайся к дьяволу! — крикнул Клод. — Вот тебе последние деньги, которые ты получаешь от меня!

С этими словами священник бросил Жеану кошелек, который набил школяру на лбу большую шишку. Жеан подобрал его и удалился, раздосадованный и в то же время довольный, точно собака, которую забросали мозговыми костями.

III. Да здравствует веселье!

Читатель, быть может, не забыл, что часть Двора чудес была ограждена древней стеной, опоясывающей город, добрая часть башен которой в ту пору уже начала разрушаться. Одну из этих башен бродяги приспособили для своих увеселений. В нижнем зале помещался кабачок, а все прочее размещалось в верхних этажах. Эта башня представляла собой самый оживленный, а следовательно, и самый отвратительный уголок царства бродяг. То был какой-то чудовищный, денно и нощно гудевший улей. По ночам, когда большинство нищей братии спало, когда на грязных фасадах домов, выходивших на площадь, не оставалось ни одного освещенного окна, когда ни малейшего звука не доносилось из этих бесчисленных лачуг, из этих муравейников, кишевших ворами, девками, краденными или незаконнорожденными детьми, веселую башню можно было узнать по неумолкавшему в ней шуму, по багровому свету, струившемуся одновременно из отдушин, из окон, из расщелин потрескавшихся стен — словом, из всех ее пор.

Итак, подвальный этаж башни служил каба-

ком. В него спускались через низкую дверь по крутой, словно александрийский стих, лестнице. Вывеску на двери заменяла неописуемая мазня, изображавшая новые монеты и зарезанных цыплят, с шутливой надписью: «Кабачок звонарей по усопшим».

Однажды вечером, когда со всех колоколен Парижа прозвучал сигнал тушения огней, ночная стража, ежели бы ей дана была возможность проникнуть в страшный Двор чудес, заметила бы, что в таверне бродяг шумнее, чем всегда, больше пьют и крепче сквернословят. Перед входной дверью, на площади, всюду виднелись кучки людей, разговаривавших между собой шепотом, как бывает всегда, когда затевается какое-нибудь важное дело. Там и сям, сидя на корточках, оборванцы точили о камни мостовой дрянные железные ножи.

Между тем в самой таверне вино и игра до такой степени отвлекали бродяг от тех мыслей, которые в этот вечер занимали все умы, что из их разговора трудно было понять, о чем, собственно, идет речь. Заметно было лишь, что все они казались веселее обычного и что у каждого из них между колен сверкало какое-нибудь оружие — кривой нож, топор, тяжелый палаш или приклад

от старинной пищали.

Круглая зала башни была просторна, но столы были так тесно сдвинуты, а гуляк за ними так много, что всё, находившееся в этой таверне, — мужчины, женщины, скамьи, пивные кружки, все то, что пило, спало, играло, здоровые и калеки, — казалось перемешанным между собой как попало, в том же порядке и с соблюдением той же симметрии, как сваленные в кучу устричные раковины. На столах кое-где стояли зажженные сальные свечи, но главным источником света, игравшим в этом кабаке роль люстры в оперном зале, был очаг. Подвал настолько пропитывала сырость, что в камине постоянно, даже летом, не угасая, горел огонь. И сейчас в этом громадном, покрытом лепными украшениями камине с тяжелыми железными решетками и кухонной утварью пылало то сильное пламя, питаемое дровами вперемежку с торфом, которое в деревнях, вырываясь ночью из окон кузницы, бросает свой кроваво-красный отсвет на стены противоположных домов. Большая собака, важно восседавшая на куче золы, вращала перед горящими углями вертел с мясом.

Однако, несмотря на беспорядок, оглядевшись, можно было отличить в этой толпе три главных

группы людей, теснившихся вокруг трех уже известных читателю особ. Одна из этих особ, нелепо наряженная в пестрые восточные лохмотья, был Матиас Хунгади Спикали, герцог египетский и цыганский. Этот мошенник сидел на столе, поджав под себя ноги, и, подняв кверху палец, громким голосом посвящал в тайны черной и белой магии окружавших его многочисленных слушателей, которые внимали ему с разинутыми от удивления ртами.

Другая кучка сгрудилась около нашего старого приятеля, вооруженного до зубов славного владыки королевства Арго. Клопен Труйльфу с весьма серьезным видом тихим голосом руководил опустошением огромной зиявшей перед ним и наполненной оружием бочки с выбитым дном, откуда, словно яблоки и виноград из рога изобилия, грудой сыпались топоры, шпаги, шлемы, кольчужные рубахи, отдельные части брони, наконечники пик и копий, стрелы, простые и нарезные. Всякий брал из кучи что хотел — кто каску, кто шпагу, кто кинжал с крестообразной рукояткой. Даже дети вооружались, даже безногие, облекшись в броню и латы, ползали между ног пирующих, словно огромные блестящие жуки.

Наконец, наиболее шумное, наиболее веселое и многочисленное скопище людей заполняло скамьи и столы, где ораторствовал и сквернословил чей-то пронзительный голос, который вырывался из-под тяжелого воинского вооружения, громыхавшего от шлема до шпор. Человек, который был сплошь увешан этими рыцарскими доспехами, исчезал под своим снаряжением, виднелся лишь его нахальный покрасневший вздернутый нос, белокурый локон, розовые губы да дерзкие глаза. За поясом у него было заткнуто несколько ножей и кинжалов, на боку висела большая шпага, слева лежал заржавевший самострел, перед ним стояла объемистая кружка вина, а по правую руку сидела плотная, небрежно одетая девица. Все вокруг хохотали, ругались и пили.

Прибавьте к этому еще двадцать более мелких групп, пробегавших с кувшинами на голове слуг и служанок, игроков, склонившихся над шарами, шашками, костями, рейками, над азартной игрой в кольца, ссоры в одном углу, поцелуи в другом, и вы будете иметь некоторое понятие об общем характере этой картины, освещенной колеблющимся светом ярко полыхавшего пламени, заставлявшего плясать на стенах кабака тысячу огромных причудливых теней.

Все кругом гудело, точно внутри колокола во время большого благовеста.

Противень под вертелом, куда стекал дождь шипящего сала, наполнял своим неумолчным треском паузы между тысячью диалогов, которые, скрещиваясь между собой, доносились со всех концов зала.

Среди всего этого гвалта в глубине таверны на скамье, вплотную к очагу, сидел, протянув ноги в золу и уставившись на горящие головни, философ, погруженный в размышления. То был Пьер Гренгуар.

— Ну живее! Поворачивайтесь! Вооружайтесь! Через час мы выступаем! — говорил Клопен Трюильфу арготинцам.

А одна из девиц напевала:

Доброй ночи, отец мой и мать!

Уж последние гаснут огни!

Двое картежников ссорились.

— Ты подлец! — орал, весь раскрасневшись, один из них, показывая другому кулак. — Я тебя так разукрашу трефами, что в королевской колоде карт ты сможешь заменить валета крестей!

— Уф! Тут набито столько народу, сколько булыжников в мостовой! — ворчал какой-то

нормандец, которого можно было узнать по его гнусавому произношению.

— Детки, — говорил фальцетом герцог египетский, обращаясь к своим слушателям, — французские колдуньи летают на шабаш без помела, без мази, без козла, а только при помощи нескольких волшебных слов. Итальянских ведьм у дверей всегда ждет козел. Но все они непременно вылетают через дымовую трубу.

Голос молодого повесы, вооруженного с головы до пят, покрывал весь этот галдеж.

— Слава! Слава! — орал он. — Сегодня я в первый раз выйду на поле брани! Бродяга! Я бродяга, клянусь Христовым пузом! Налейте-ка мне вина! Друзья, мое имя Жеан Фролло Мельник, я дворянин. Я уверен, что, если бы Бог был молодым, он сделался бы грабителем. Братья, мы предпринимаем славную вылазку. Мы храбрецы. Осадить собор, выломать двери, похитить красотку, спасти ее от судей, спасти от попов, разнести монастырь, сжечь епископа в его доме — да все это мы сварганим быстрее, чем какой-нибудь бургомистр успеет проглотить ложку супа! Наше дело правое! Мы ограбим Собор Богоматери, и дело с концом! Мы повесим Квазимодо. Известен вам, сударыни, Квазимодо? Вам не случалось

видеть, как он, запыхавшись, летает верхом на большом колоколе в Троицын день? Рога Сатаны! Это великолепно! Словно дьявол, оседлавший медную пасть! Друзья, выслушайте меня, нутром своим я бродяга, в душе я арготинец, я от природы вор. Я был очень богат, но я слопал свое богатство. Моя матушка прочила меня в офицеры, мой батюшка — в дьяконы, тетка — в советники суда, бабушка — в королевские протонотариусы, двоюродная бабка — в казначеи военного ведомства. А я стал бродягой. Я сказал об этом моему батюшке, который швырнул мне в лицо свои проклятия, моей матушке — почтенной женщине, которая принялась хныкать и распустила нюни, как вот это сырое полено на каминной решетке. Да здравствует веселье! Я прямо схожу с ума! Кабатчица, милашка, дай-ка другого вина! У меня есть еще чем заплатить. Не надо больше сюренского, оно дерет глотку — с таким же успехом я могу прополоскать горло плетеной корзинкой!

Весь сброд, хохоча, рукоплескал ему; заметив, что шум вокруг него усилился, школяр воскликнул:

— Что за чудный гвалт! Populi debacchantis

populosa debacchatio?[147] — и принялся петь, закатив при этом восторженно глаза, тоном каноника, начинающего вечерню: — Quae cantica! Quae organa! Quae cantilenae! Quae melodiae hic sine fine decantantur! Sonant melliflua hymnorum organa, suavisima angelorum melodia, cantica canticorum mira!..[148]

Вдруг он прервал пение:

— Чертова трактирщица, тащи-ка мне поужинать!

Наступила минута почти полного затишья, когда в свою очередь зазвучал пронзительный голос герцога египетского, поучавшего окружавших его цыган:

— ...Ласку зовут Адуиной, лисицу — Синей ножкой или Лесным бродягой, волка — Сероногим или Золотоногим, медведя — Стариком или Дедушкой. Колпачок гнома делает человека невидимкой и позволяет видеть невидимое. Всякую жабу, которую желают окрестить, наряжают в красный или черный бархат и привязывают

---

[147] Примечания: 147

Беснующегося люда многолюдное беснование? *(лат.)*

[148] Примечания: 148

Какое песнопение! Какие трубы! Какие песни! Какие мелодии звучат здесь без конца! Поют медоточивые трубы, раздается нежнейшая ангельская мелодия, дивная Песнь песней!.. *(лат.)*

ей одну погремушку на шею, а другую к ногам; кум держит ей голову, кума — зад. Демон Сидрагазум один властен заставить девушек плясать нагими.

— Клянусь обедней! — прервал его Жеан. — Я желал бы быть демоном Сидрагазумом.

Тем временем бродяги продолжали вооружаться, перешептываясь в другом углу кабака.

— Бедняжка Эсмеральда! — говорил один цыган. — Ведь она наша сестра. Надо ее вытащить оттуда.

— Разве она все еще в Соборе Богоматери? — спросил какой-то лжебанкрот.

— Да, черт возьми!

— Так что ж, друзья! — воскликнул лжебанкрот. — В поход на Собор Богоматери! Тем более что там в часовне святого Фереоля и Ферюсьона имеются две статуи, изображающие одна святого Иоанна Крестителя, а другая — святого Антония, обе из чистого золота, весом в семь золотых марок пятнадцать эстерлинов, а подножие у них из позолоченного серебра, весом в семнадцать марок и пять унций. Я знаю это доподлинно, я золотых дел мастер.

Тут Жеану принесли его ужин, и, положив голову на грудь сидевшей с ним рядом девицы, он

воскликнул:

— Клянусь святым Фультом Люкским, которого народ называет «святой Спесивец», я вполне счастлив. Вон там, против меня, сидит болван с голым, как у эрцгерцога, лицом и глазеет на меня. А вон налево — другой, у которого такие длинные зубы, что закрывают весь его подбородок. А сам я, ни дать ни взять, маршал Жиэ при осаде Понтуаза — мой правый фланг упирается в холм. Пуп Магомета! Приятель, ты похож на продавца мячей для лапты, а сел рядом со мной! Я дворянин, мой друг. Торговля несовместима с дворянством. Убирайся-ка отсюда. Эй! Эй, вы там! Не драться! Как, Батист Птицеед, у тебя такой великолепный нос, а ты подставляешь его под кулак этого олуха? Вот дуралей! Non cuiquam datum est habere nasum[149]. Ты поистине божественна, Жакелина Грызи-Ухо, жаль только, что ты лысая. Эй! Меня зовут Жеан Фролло, и у меня брат архидьякон! Черт бы его побрал! Все, что я вам говорю, сущая правда. Став бродягой, я с легким сердцем отказался от той половины дома в раю, которую сулил мне брат. Dimidiam domam in paradiso. Я цитирую подлинный текст. У меня ленное владение на

---

[149] Примечания: 149

Не всякому дано иметь нос *(лат.)*.

улице Тиршап, и все женщины влюблены в меня. Это так же верно, как то, что святой Элигий был отличным золотых дел мастером и что в городе Париже пять ремесленных цехов: дубильщиков, сыромятников, кожевников, кошелечников и парильщиков кож, а святого Лаврентия сожгли на костре из яичной скорлупы. Клянусь вам, друзья:

Год не буду пить перцовки,
Если вам сейчас солгал!

Милашка моя, сегодня лунная ночь, погляди-ка в отдушину, как ветер мнет облака! Точь-в-точь как я твою косынку! Девки, утрите сопли ребятам и свечам! Христос и Магомет! Что это я ем, Юпитер? Эй, сводня! У твоих потаскух потому на голове нет волос, что все они в твоей яичнице. Старуха, я люблю лысую яичницу! Чтоб дьявол тебя сделал курносой! Нечего сказать, хороша Вельзевулова харчевня, где шлюхи причесываются вилками!

Выпалив все это, он разбил свою тарелку об пол и загорланил:

Клянуся Божьей кровью:
Законов, короля,
Ни очагов, ни крова

Нет больше у меня!
И с верою Христовой
Давно простился я!

Тем временем Клопен Труйльфу успел закончить раздачу оружия. Он подошел к Гренгуару, который сидел в глубокой задумчивости, положив ноги на каминную решетку.

— Дружище Пьер, о чем это ты, черт возьми, так задумался? — спросил король Алтынный.

Гренгуар, грустно улыбаясь, повернулся к нему:

— Я люблю огонь, мой дорогой повелитель. Но не по той низменной причине, что он согревает наши ноги или варит наш суп, а за его искры. Порой я провожу целые часы, глядя на них. Я открываю тысячу вещей в этих звездочках, усеивающих черную глубину очага. Эти звезды — тоже целые миры.

— Гром и молния, если я что-либо понял! — сказал бродяга. — Не знаешь ли, который час?

— Не знаю, — ответил Гренгуар.

Тогда Клопен подошел к египетскому герцогу.

— Дружище Матиас, мы выбрали неподходящее время. Говорят, будто Людовик Одиннадцатый в Париже.

— Еще лишняя причина вырвать из его когтей нашу сестру, — ответил старый цыган.

— Ты рассуждаешь, как подобает мужчине, Матиас, — сказал владыка королевства Арго. — К тому же мы быстро управимся с этим делом. В соборе нам нечего опасаться сопротивления. Каноники — просто зайцы, кроме того, сила за нами! Чины судебной палаты попадут впросак, когда завтра придут за ней! Клянусь папскими кишками, я не хочу, чтобы они повесили эту хорошенькую девушку!

Клопен вышел из кабака.

Жеан тем временем орал хриплым голосом:

— Я пью, я ем, я пьян, я сам Юпитер! Эй, Пьер Душегуб! Если ты еще раз посмотришь на меня такими глазами, то я собью тебе щелчками пыль с носа!

Что касается Гренгуара, то, потревоженный в своих размышлениях, он стал наблюдать окружавшую буйную и крикливую толпу, бормоча сквозь зубы: «Luxuriosa res vinum et tumultuosa ebrietas»[150]. Как хорошо, что я не пью, и как отлично выразился святой Бенедикт: «Vinum

---

[150] Примечания: 150

От вина распутство и буйное опьянение *(лат.)*.

apostatare facit etiam sapientes!»[151]

В это время вернулся Клопен и крикнул громовым голосом:

— Полночь!

Это слово произвело такое же действие, как сигнал садиться на коней, поданный полку во время привала: все бродяги — мужчины, женщины, дети — гурьбой повалили из таверны, грохоча оружием и старым железом.

Луну закрыло облако. Двор чудес погрузился в полный мрак. Нигде ни единого огонька. А между тем площадь далеко не была безлюдна. Там можно было разглядеть толпу мужчин и женщин, которые переговаривались тихими голосами. Слышно было, как они гудели, и видно было, как в темноте отсвечивало оружие. Клопен взгромоздился на огромный камень.

— Стройся, Арго! — крикнул он. — Стройся, Египет! Стройся, Галилея!

В темноте началось движение. Казалось, несметная толпа вытягивалась в колонну. Спустя несколько минут король Алтынный вновь возвысил голос:

— Теперь молчать, пока будем идти по Парижу.

---

[151] Примечания: 151
Вино доводит до греха даже мудрецов! *(лат.)*

Пароль: «Короткие клинки звенят!» Факелы зажигать лишь перед собором! Вперед!

Через десять минут всадники ночного дозора бежали в испуге перед длинной процессией каких-то черных молчаливых людей, направляющихся к мосту Менял по извилистым улицам, прорезавшим во всех направлениях огромный Рыночный квартал.

IV. Медвежья услуга

В эту ночь Квазимодо не спалось. Он только что обошел в последний раз собор. Запирая церковные врата, он не заметил, как мимо него прошел архидьякон, выразивший некоторое недовольство при виде того, как тщательно Квазимодо задвигал и замыкал огромные железные засовы, придававшие широким створам дверей прочность каменной стены. Клод казался еще более озабоченным, чем обычно. После ночного происшествия в келье он очень дурно обращался с Квазимодо, был груб с ним и даже порой бил его, но ничто не могло поколебать покорность, терпение и безропотную преданность звонаря. Без упрека, без жалобы, он все сносил от архидьякона — угрозы, брань, побои. Он только с беспокойством глядел ему вослед, когда Клод поднимался на башню, но архидьякон и сам остерегался попадаться на глаза цыганке.

Итак, в эту ночь Квазимодо, скользнув взглядом по своим бедным заброшенным колоколам — по Жакелине, Марии, Тибо, взобрался на вышку верхней башни и там, поставив на крышу потайной, закрытый наглухо фонарь, принялся глядеть

на Париж. Ночь, как мы уже сказали, была очень темная. Париж в ту эпоху почти никак не освещался и являл глазу смутное нагромождение каких-то черных массивов, пересекаемых там и сям белесоватыми излучинами Сены. Квазимодо не видел света нигде, кроме окна отдаленного здания, смутный и сумрачный профиль которого обрисовывался высоко над кровлями со стороны Сент-Антуанских ворот. Там, очевидно, тоже кто-то бодрствовал.

Окидывая внимательным взглядом этот туманный ночной горизонт, Квазимодо ощущал в душе какую-то необъяснимую тревогу. Уже несколько дней он был настороже. Он заметил, что вокруг собора непрерывно сновали люди зловещего вида, не спускавшие глаз с убежища молодой девушки. И он подумал, не затевается ли какой-либо заговор против несчастной затворницы. Он воображал, что народ ненавидел ее так же, как его, и что надо ожидать в ближайшее время каких-нибудь событий. Поэтому-то он и дежурил на своей звоннице, «мечтая в своей мечтальне», как говорит Рабле; неся сторожевую службу как верный пес, он поочередно посматривал то на Париж, то на келью, обуреваемый тысячью подозрений.

Пристально всматриваясь в город своим единственным глазом, который благодаря необыкновенной зоркости, как бы в вознаграждение подаренной ему природой, почти возмещал другие, недостающие Квазимодо органы чувств, он вдруг заметил, что очертания Старой Скорняжной набережной имеют несколько необычный вид; там чувствовалось какое-то движение; линия парапета, черневшая над белизной воды, не была прямой и неподвижной, как на других набережных, но колыхалась, подобно речной зыби или головам движущейся толпы.

Это ему показалось странным. Он удвоил внимание. Казалось, движение шло в сторону Ситэ. Нигде ни малейшего огонька. Некоторое время движение это происходило на набережной, затем постепенно оно схлынуло, словно вошло внутрь острова, потом совершенно прекратилось, и линия набережной снова стала прямой и неподвижной.

Пока Квазимодо терялся в догадках, ему вдруг показалось, что это движение вновь возникло на Папертной улице, врезавшейся в Ситэ перпендикулярно фасаду Собора Богоматери. Наконец, невзирая на кромешную тьму, он увидел, как из этой улицы показалась голова колонны, как в

одно мгновение всю площадь запрудила толпа, в которой ничего нельзя было разглядеть в потемках, кроме того, что это была толпа.

В этом зрелище таилось что-то страшное. Странная процессия, словно старавшаяся укрыться в глубокой тьме, вероятно, хранила такое же глубокое молчание. И все же она должна была производить какой-нибудь шум, хотя бы топот ног. Но этот шум не доходил до нашего глухого, и сборище людей, которое он еле различал и которое совсем не слышал, хотя оно волновалось и двигалось близко от него, производило на него впечатление сонма мертвецов, безмолвных, неосязаемых, затерянных во мгле. Ему казалось, что на него надвигается туман с утонувшими в нем людьми, что в этом тумане шевелятся тени.

Тогда все его сомнения воскресли, и мысль о нападении на цыганку вновь возникла в его мозгу. Он смутно ощутил, что надвигается опасность. Трудно было ожидать от столь неповоротливого ума, чтобы в это решительное мгновение он мог так разумно и быстро все рассудить. Что было ему делать? Разбудить цыганку? Заставить ее бежать? Каким образом? Улицы были наводнены толпой, задняя стена церкви выходила к реке. Но где достать лодку? Оставалось одно: не нарушая

сна Эсмеральды, пасть мертвым на пороге Собора Богоматери, сопротивляться хотя бы до тех пор, пока не подоспеет помощь, если только она придет. Ведь несчастная всегда успеет проснуться для того, чтобы умереть. Остановившись на этом решении, он более спокойно принялся изучать «врага».

Толпа возрастала с каждой минутой. Но, по-видимому, она производила мало шума, так как окна, выходившие на улицу и на площадь, оставались закрытыми. Вдруг блеснул свет, и вмиг шесть или семь зажженных факелов заколыхались над толпой, дрожа в темноте своими огненными языками. И тут-то Квазимодо отчетливо разглядел бурлившее на площади ужасное скопище оборванных мужчин и женщин, вооруженных косами, пиками, резаками и копьями, острия которых горели тысячью огней. Там и сям над этими отвратительными рожами торчали, словно рога, черные вилы. Он смутно припомнил, что уже где-то видел этот народ; ему показалось, что он узнает те самые лица, которые несколько месяцев тому назад приветствовали в нем папу шутов. Какой-то человек, державший в одной руке зажженный факел, а в другой — дубинку, взобрался на тумбу и стал, по-видимому, дер-

жать речь. И вслед за этим диковинная армия несколько перестроилась, словно окружая собор. Квазимодо взял фонарь и спустился на площадку между башнями, чтобы присмотреться поближе и изобрести средство обороны.

Действительно, Клопен Труйльфу, дойдя до главного портала Собора Богоматери, построил свое войско в боевом порядке. Хотя он и не ожидал сопротивления, но, как осторожный полководец, хотел сохранить строй, который позволил бы ему достойно встретить внезапную атаку ночного дозора или патрулей. И вот он расположил свои отряды таким образом, что, глядя на толпу сверху и издали, вы приняли бы ее за римский треугольник в Экномской битве, за «свинью» Александра Македонского или за знаменитый клин Густава Адольфа. Основание этого треугольника уходило в глубь площади, загораживая Папертную улицу; одна из сторон была обращена к Отель-Дье, а другая — к улице Сен-Пьер-о-Беф. Клопен Труйльфу поместился у вершины треугольника вместе с герцогом египетским, нашим другом Жеаном и наиболее отважными молодцами.

Нападения, подобные тому, какое бродяги намеревались совершить на Собор Богоматери, не являлись особой редкостью в городах Средне-

вековья. Того, что ныне именуется «полицией», встарь не существовало вовсе. В наиболее многолюдных городах, особенно в столицах, не было единой, центральной, устанавливающей порядок власти. Феодализм созидал эти большие города-общины самым причудливым образом. Город был собранием тысячи отдельных феодальных владений, разделявших его на части всевозможной формы и величины. Отсюда множество самых противоречивых распорядков, иначе говоря, отсутствие порядка. Так, например, в Париже, независимо от ста сорока одного ленного владельца, пользовавшегося правом взимания земельной подати, было еще двадцать пять владельцев, пользовавшихся, кроме этого, правом судебной власти, — от епископа Парижского, которому принадлежало сто пять улиц, до настоятеля церкви Нотр-Дам-де-Шан, у которого их было четыре. Все эти феодальные законники лишь номинально признавали своего сюзерена — короля. Все имели право собирать дорожные пошлины. Все чувствовали себя хозяевами. Людовик XI, этот неутомимый труженик, в таких обширных размерах предпринявший разрушение здания феодализма, продолженное Ришелье и Людовиком XIV в интересах королевской вла-

сти и законченное Мирабо в интересах народа, пытался прорвать эту сеть поместных владений, покрывавших Париж, издав наперекор всем два или три жестоких указа, устанавливавших обязательные для всех правила. Так, в 1465 году всем горожанам было приказано, под страхом виселицы, при наступлении ночи зажигать на окнах свечи и запирать собак; в том же году второй указ предписывал запирать вечером улицы железными цепями и запрещал иметь при себе, если вы находились вне дома, кинжал или другое оружие. Но вскоре все эти попытки установить общегородское законодательство были преданы забвению. Горожане позволяли ветру задувать свечи на окнах, а собакам бродить; цепи протягивались поперек улицы лишь во время осадного положения, а запрет носить оружие привел только к тому, что улицу Перерезанных глоток переименовали в улицу Перерезанного горла, что все же явно указывало на значительный прогресс. Старинное сооружение феодального законодательства осталось незыблемым; поместные и окружные судебные управления смешивались, сталкивались, перепутывались, наслаивались вкривь и вкось одно на другое, как бы врезаясь друг в друга; густая сеть ночных постов, дозоров,

караулов была бесполезна, ибо сквозь нее во всеоружии пробирались грабеж, разбой и бунт. Среди подобного беспорядка внезапное нападение черни на какой-нибудь дворец, особняк или простой дом, даже в самых населенных частях города, отнюдь не могло считаться неслыханным происшествием. В большинстве случаев соседи только тогда вмешивались в это дело, когда разбой стучался в их двери. Заслышав выстрелы из мушкетов, они затыкали себе уши, закрывали ставни, задвигали дверные засовы, предоставляя распре кончаться при содействии ночного дозора или без оного. На следующее утро парижане толковали: «Прошлой ночью ворвались к Этьену Барбету»; «Напали на маршала Клермонского» и прочее. Поэтому не только королевские резиденции — Лувр, дворец Бастилия, Турнель, но и просто обиталища вельмож — Малый Бурбонский дворец, особняк Санс, особняк Ангулем и прочие — обнесены были зубчатыми стенами и имели над воротами бойницы. Церкви охраняла их святость. Однако некоторые из них — Собор Богоматери к их числу не принадлежал — были укреплены. Аббатство Сен-Жермен-де-Пре было обнесено зубчатой оградой, точно владение какого-нибудь барона, а на пушки они израсходовали

значительно больше меди, чем на колокола. Следы его укреплений заметны были еще в 1610 году; ныне от него сохранилась лишь церковь.

Но возвратимся к Собору Богоматери.

Когда первые распоряжения были закончены — а отдавая должное дисциплине этой армии бродяг, следует заметить, что приказания Клопена исполнялись в полном молчании и с величайшей точностью, — почтенный предводитель шайки взобрался на ограду паперти и, обратясь лицом к собору, возвысил свой хриплый и грубый голос, размахивая при этом факелом, пламя которого, колеблемое ветром, то выхватывало из мрака красноватый фасад храма, то, застилаясь собственным дымом, вновь погружало его во тьму.

— Тебе, Луи де Бомон, епископ Парижский, советник королевской судебной палаты, я, Клопен Труйльфу, король Алтынный, великий кесарь, князь арготинцев, епископ шутов, говорю: «Наша сестра, облыжно осужденная за колдовство, укрылась в твоем соборе; ты обязан предоставить ей убежище и защиту; но суд хочет извлечь ее оттуда, и ты дал на то свое согласие; ее повесили бы завтра на Гревской площади, когда бы не Бог да бродяги. Вот почему мы и пришли к тебе, епископ. Если твоя церковь неприкосновенна,

то неприкосновенна и сестра наша; если же наша сестра не является неприкосновенной, то и храм твой не будет неприкосновенным. Поэтому мы требуем, чтобы ты выдал нам девушку, если хочешь спасти свой собор, или же мы отнимем девушку и разграбим храм, что будет справедливо. А в подтверждение этого я водружаю здесь мое знамя, и да хранит тебя Бог, епископ Парижский!»

К несчастью, Квазимодо не мог слышать этих слов, произнесенных с выражением мрачного и дикого величия. Один из бродяг подал Клопену стяг, который тот торжественно водрузил в расщелине между двумя плитами. Это были большие вилы, на зубьях которых висел окровавленный кусок падали.

Сделав это, король Алтынный обернулся и оглядел свою армию — свирепое сборище людей, взгляды которых сверкали почти так же, как пики. После небольшой паузы он крикнул:

— Вперед, ребята! За дело, взломщики!

Тридцать здоровенных плечистых молодцов, похожих на слесарей, выступили из рядов с молотками, клещами и железными ломами на плечах. Они двинулись к главному порталу собора, взошли на паперть, и видно было, как они,

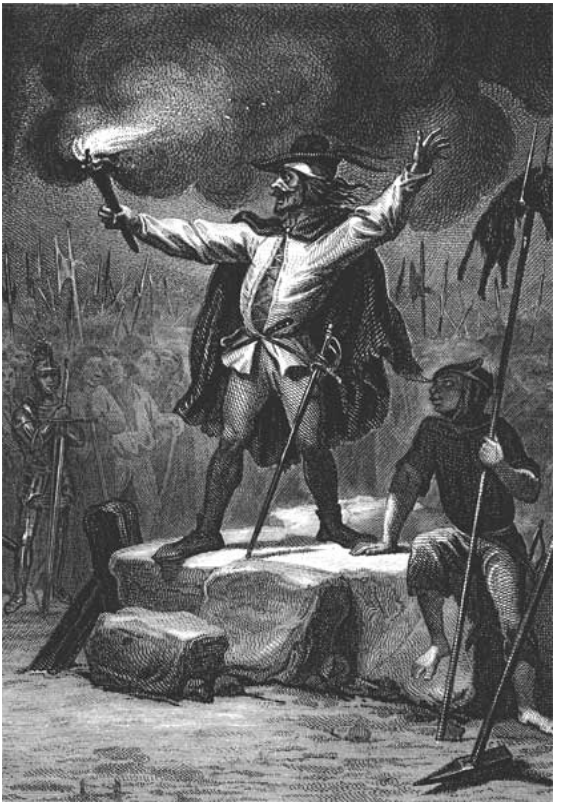
очутившись под стрельчатым сводом, принялись взламывать двери при помощи клещей и рычагов. Бродяги повалили вслед, чтобы помочь им или чтобы поглазеть на них. Все одиннадцать ступеней паперти были запружены толпой.

Однако дверь не поддавалась.

— Черт возьми! Какая крепкая и упрямая! — сказал один.

— От старости у нее окостенели хрящи, — сказал другой.

— Смелее, приятели! — поощрял их Клопен. — Ставлю свою голову против старого башмака, что вы успеете открыть дверь, похитить девушку и разграбить главный алтарь, прежде чем успеет проснуться хоть один дьячок! Стойте! Да никак запор уже трещит!



Страшный грохот, раздавшийся за спиной Клопена, прервал его речь. Он обернулся. Огромная, точно свалившаяся с неба балка, придавив

собою около дюжины бродяг на ступенях паперти, с шумом пушечного выстрела отскочила на мостовую, перешибая по пути там и сям ноги оборванцев в толпе, бросившейся во все стороны с криками ужаса. В мгновение ока прилегавшая к паперти часть площади опустела. Взломщики, хотя и защищаемые глубокими сводами портала, бросили двери, и даже сам Клопен отступил на почтительное расстояние от собора.

— Ну и счастливо же я отделался! — воскликнул Жеан. — Я слышал, как она просвистела, клянусь чертовой башкой! Зато она погубила душу Пьера Душегуба!

Невозможно описать, в какое изумление и ужас повергло бродяг это бревно. Некоторое время они стояли, вглядываясь в небо, приведенные в большее замешательство этим куском дерева, нежели двадцатью тысячами королевских стрелков.

— Сатана! — пробурчал герцог египетский. — Тут пахнет колдовством!

— Наверное, луна сбросила на нас это полено, — сказал Андри Рыжий.

— К тому же, говорят, луна в дружбе с Пречистой Девой! — сказал Франсуа Шантепрюн.

— Тысяча пап! — воскликнул Клопен. — Все вы дураки! — Но как объяснить падение бревна, он

и сам не знал.

На высоком фасаде церкви, до верха которого не достигал свет факелов, ничего нельзя было разглядеть. Увесистая дубовая балка валялась на мостовой, и слышались стоны несчастных, которые, первыми попав под ее удар, распороли себе животы об острые углы каменных ступеней.

Наконец, когда улеглось первое волнение, король Алтынный нашел толкование, показавшееся его товарищам вполне допустимым:

— Чертова пасть! Неужели же попы вздумали обороняться? Тогда грабить! Грабить их!

— Грабить! — повторила с яростным ревом толпа. Вслед за этим раздался залп из мушкетов и самострелов по фасаду собора.

При звуке этого залпа мирные обитатели соседних домов проснулись. Распахнулось несколько окон, и из них высунулись головы в ночных колпаках и руки, державшие зажженные свечи.

— Стреляйте по окнам! — скомандовал Клопен.

Все окна тотчас же захлопнулись, и бедные горожане, еле успев бросить испуганный взгляд на эту бурную сцену, освещенную мерцающим пламенем факелов, обливаясь холодным потом, возвратились к своим супругам, вопрошая себя,

не справляют ли ведьмы нынче на Соборной площади шабаш, или же это нападение бургундцев, как в 64-м году. Мужчинам уже чудился разбой, женщинам — насилие. Те и другие дрожали от страха.

— Грабить! — повторяли арготинцы. Но приблизиться они не решались. Они глядели то на церковь, то на дубовую балку. Бревно лежало неподвижно. Здание сохраняло свой спокойный и нежилой вид, но что-то непонятное сковывало бродяг.

— За работу, взломщики! — крикнул Труйльфу. — Высаживайте дверь!

Никто не шевельнулся.

— Чертовы борода и пузо! — возмутился Клопен. — Ну и мужчины! Испугались балки!

Взломщик постарше обратился к нему:

— Командир, нас задерживает не балка, а дверь, вся прошитая железными полосами. Клещами с ней ничего не сделаешь.

— Что же вам нужно, чтобы ее высадить? — спросил Клопен.

— Да надо бы таран.

Король Алтынный смело подбежал к страшному бревну и поставил на него ногу.

— Вот вам таран! — воскликнул он. — Вам по-

сылают его сами каноники! — И, насмешливо поклонившись в сторону церкви, он сказал: — Спасибо, отцы-каноники!

Эта выходка произвела хорошее впечатление. Чары дубовой балки были разрушены. Бродяги воспрянули духом; вскоре тяжелая балка, подхваченная, как перышко, двумя сотнями сильных рук, с яростью ринулась на массивную дверь. При тусклом свете, который отбрасывали на площадь факелы, это длинное бревно, поддерживаемое толпой мужчин, бегом устремившихся к собору, казалось чудовищным тысяченогим зверем, который, пригнув голову, бросается на каменного великана.

Под ударами бревна дверь, сделанная наполовину из металла, зазвенела, как огромный барабан; но она не подалась, хотя весь собор содрогался, и было слышно, как глухо гудело в глубоких недрах здания.

В ту же минуту дождь огромных камней посыпался сверху на осаждавших.

— Дьявол! — воскликнул Жеан. — Неужто башни вздумали стряхнуть на наши головы свои балюстрады?

Но, начав первый, король Алтынный поплатился за поданный пример; несомненно, это за-

щищался епископ; и в дверь били с еще большим ожесточением, невзирая на камни, крошившие черепа направо и налево.

Замечательно, что эти камни падали поодиночке, один за другим, но очень часто. Арготинцы чувствовали сразу два удара: один — по голове, другой — по ногам. Редкий камень не попадал в цель, и уже груда убитых и раненых истекала кровью и билась в судорогах под ногами людей, в бешенстве шедших на приступ, непрерывно пополняя свои редеющие ряды. Длинное бревно мерными ударами продолжало бить в дверь, точно язык колокола, камни продолжали сыпаться, дверь — стонать.

Читатель, конечно, уже догадался, что это неожиданное сопротивление, столь ожесточившее бродяг, было делом рук Квазимодо.

К несчастью, случай помог мужественному горбуну.

Когда он спустился на площадку между башнями, в мыслях его царило смятение. Увидев с высоты сплошную массу бродяг, готовых ринуться на собор, он в продолжение нескольких минут бегал взад и вперед по галерее как сумасшедший, умоляя дьявола или Бога спасти цыганку. Ему пришло было на ум взобраться на южную ко-

локольню и ударить в набат; но прежде чем он раскачает колокол и раздастся гулкий голос Марии, церковные двери успеют десять раз рухнуть. Это было как раз в ту минуту, когда взломщики направились к ним со своими орудиями. Что предпринять?

Вдруг он вспомнил, что целый день каменщики работали над починкой стены, стропил и кровли южной башни. Это было для него лучом света. Стена башни была каменная, кровля свинцовая, а стропила деревянные. Эту удивительную стропильную связь собора называли «лесом» — так она была часта.

Квазимодо бросился к этой башне. Действительно, наружные помещения ее были завалены строительным материалом. Здесь лежали груды мелкого камня, скатанные в трубки свинцовые листы, связки дранки, массивные балки с выпиленными уже пазами, кучи щебня — словом, целый арсенал.

Каждая минута была дорога. Внизу вовсю работали клещи и молотки. С удесятерившейся от сознания опасности силой он приподнял самую тяжелую, самую длинную балку, просунул ее в одно из слуховых окон башни, затем, перехватив ее снаружи и заставив скользить по углу

балюстрады, окаймлявшей площадку, спустил ее в бездну. Громадная балка, падая с высоты ста шестидесяти футов, царапая стену и ломая изваяния, несколько раз перевернулась в воздухе, точно оторвавшееся мельничное крыло, улетевшее в пространство. Наконец она коснулась земли. Раздался страшный вопль; грохнувшись о мостовую, черная балка подпрыгнула, точно взметнувшаяся в воздухе змея.

Квазимодо видел, как при падении бревна бродяги рассыпались во все стороны, словно пепел от дуновения ребенка. Он воспользовался их смятением, и пока они с суеверным ужасом разглядывали обрушившуюся на них с небес дубину и осыпали градом стрел и крупной дроби каменные статуи портала, он бесшумно свалил груды щебня, мелкого и крупного камня, даже мешки с инструментами каменщиков на край балюстрады, с которой была сброшена балка.

И как только они начали выбивать большие двери собора, на осаждавших посыпался град камней; им показалось, что сама церковь рушится на их головы.

Тот, кто в этот миг взглянул бы на Квазимодо, наверное, ужаснулся бы. Кроме тех метательных снарядов, которые он нагромоздил на балю-

страде, он навалил еще кучу камней на самой площадке. Лишь только запас камней на выступе балюстрады иссяк, он взялся за эту кучу. Он нагибался, выпрямлялся, вновь нагибался и выпрямлялся с непостижимой быстротой. Его непомерно большая голова, похожая на голову гнома, свешивалась над балюстрадой, и вслед за этим летел громадный камень, другой, третий. По временам он следил за падением какого-нибудь увесистого камня и, когда тот попадал в цель, издавал рычание.

И все же оборванцы не отчаивались. Уже более двадцати раз крепкая дверь, на которую они набрасывались, содрогалась под ударами дубового тарана, тяжесть которого удваивали усилия сотен рук. Дверные створы трещали, чеканные украшения разлетались вдребезги, дверные петли при каждом ударе подпрыгивали на своих винтах, брусья выходили из пазов, дерево, раздробленное между железными ребрами створ, рассыпалось в порошок. К счастью для Квазимодо, в двери было больше железа, чем дерева.

Однако он чувствовал, что главные врата подаются. Хотя он не слышал ударов тарана, но каждый из них отзывался одинаково как в недрах собора, так и в нем самом. Сверху ему было

видно, как бродяги, полные ярости и торжества, грозили кулаками сумрачному фасаду церкви; думая о себе и цыганке, он завидовал крыльям сов, стаями взлетавших над его головой и уносившихся вдаль.

Града его камней оказалось недостаточно, чтобы отразить нападающих.

Испытывая мучительную тревогу, он заметил в эту минуту чуть пониже балюстрады, с которой он громил бродяг, две длинные водосточные каменные трубы, оканчивавшиеся как раз над главными вратами. Верхние же отверстия этих желобов примыкали к площадке. У него мелькнула одна мысль. Он побежал в свою конуру за вязанкой хвороста, навалил на этот хворост сколько мог охапок дранки и трубок свинца — этими боевыми припасами он до сих пор еще не воспользовался, — и, расположив, как должно, этот костер перед отверстиями двух сточных желобов, он зажег его при помощи фонаря.

В это время каменный дождь прекратился, и бродяги перестали смотреть вверх. Запыхавшись, словно стая гончих, берущая с бою кабана в его логове, разбойники беспорядочно теснились около главных врат, изуродованных тараном, но еще державшихся. С трепетом ждали они реши-

тельного удара — того удара, который высадит дверь. Каждый старался быть поближе к ней, чтобы, когда она откроется, первому вбежать в этот роскошный собор, в это громадное хранилище, где скопились богатства трех столетий. Рыча от восторга и жадности, они напоминали друг другу о великолепных серебряных распятиях, великолепных парчовых ризах, великолепных надгробных плитах золоченого серебра, о пышной роскоши хоров, об ослепительных праздествах — о Рождестве, сверкающем факелами, о Пасхе, залитой солнечным сиянием, о всех этих блестящих торжествах, когда раки с мощами, подсвечники, дароносицы, дарохранительницы, ковчежцы словно броней из золота и алмазов покрывали алтари. Несомненно, в эту прекрасную минуту все эти домушники и хиляки, все эти мазурики и лжепогорельцы гораздо меньше были озабочены освобождением цыганки, чем разграблением Собора Богоматери. Мы даже охотно поверим, что для доброй половины из них Эсмеральда была лишь предлогом, если только ворам вообще нужен какой-нибудь предлог.

Внезапно, в тот миг, когда они сгрудились вокруг тарана в последнем усилии, сдерживая дыхание и напрягая мускулы для решительного

удара, раздался вой, еще более ужасный, чем тот, который замер под упавшим бревном. Те, кто не кричал, кто еще был жив, взглянули вверх. Два потока расплавленного свинца лились с верхушки здания в самую гущу толпы. Море людей как бы осело под кипящим металлом, образовавшим в толпе, куда он низвергался, две черные дымящиеся дыры, какие остались бы в снегу от кипятка. В толпе корчились умирающие, вопившие от муки, наполовину обугленные. От двух главных струй разлетались брызги этого ужасного дождя, осыпая осаждавших, огненными буравами впиваясь в их черепа. Несчастные были изрешечены тысячами этих тяжелых огненных градин.

Слышались раздирающие душу вопли. Смельчаки и трусы — все побежали кто куда, бросив таран на трупы, и паперть опустела вторично.

Все глаза устремились на верхушку собора. То, что предстало перед ними, было необычайно. На самой верхней галерее, над центральной розеткой, меж двух колоколен, поднималось яркое пламя, окруженное вихрями искр, — огромное, беспорядочное и яростное пламя, клочья которого по временам вместе с дымом уносил ветер. Под этим пламенем, под темной балюстрадой с пламенеющими трилистниками две водосточные

трубы, словно пасти чудовищ, изрыгали жгучий дождь, серебристые струи которого сверкали на темной нижней части фасада. По мере приближения к земле оба потока жидкого свинца расходились снопами, точно вода, брызжущая сквозь тысячу отверстий лейки. И над этим пламенем громадные башни, стороны которых — одна багровая, другая совершенно черная — резко отделялись друг от друга, казалось, стали еще выше на всю безмерную величину отбрасываемых ими теней, достигавших самого неба.

Украшавшие их бесчисленные изваяния демонов и драконов приобрели зловещий вид. Чудилось, они оживают на глазах, в колеблющихся отблесках пламени. Змеиные пасти растянулись в улыбку, рыльца водосточных труб словно заливались лаем, саламандры раздували огонь, драконы чихали, задыхаясь в дыму. И среди этих чудовищ, пробужденных от своего каменного сна бушующим пламенем и шумом, было одно, которое передвигалось и мелькало на огненном фоне костра, точно летучая мышь, проносящаяся перед свечой.

Без сомнения, этот невиданный маяк должен был разбудить дровосеков на дальних холмах Бисетра и испугать их гигантскими тенями ба-

шен собора, пляшущими на поросших вереском склонах.

Среди бродяг, пораженных ужасом, воцарилась тишина; слышались лишь тревожные крики каноников, запершихся в монастыре и объятых большей паникой, чем лошади в горящей конюшне, приглушенный стук быстро открываемых и еще быстрее закрываемых окон, переполох в жилищах и в Отель-Дье, стенание ветра в пламени, предсмертный хрип умирающих да непрерывное потрескивание свинцового дождя, падавшего на мостовую.

Между тем главари бродяг удалились под портик особняка Гонделорье, где стали держать совет. Герцог египетский, присев на тумбу, с каким-то суеверным страхом всматривался в фантастический костер, пылавший на двухсотфутовой высоте. Клопен Труйльфу в бешенстве кусал свои кулаки.

— Войти невозможно! — бормотал он сквозь зубы.

— Старая колдовка, а не церковь! — ворчал старый цыган Матиас Хунгади Спикали.

— Клянусь усами папы, — сказал седой пройдоха, бывший военный, — эти церковные желоба плюются расплавленным свинцом не хуже Лек-

турских бойниц!

— А вы видите этого дьявола, который мелькает перед огнем? — воскликнул герцог египетский.

— Черт возьми, — сказал Клопен, — да ведь это проклятый звонарь! Это Квазимодо!

Цыган покачал головой:

— Говорю вам, что это дух Сабнак, великий маркиз, демон укреплений. Он похож на вооруженного воина с львиной головой. Иногда он показывается верхом на безобразном коне. Он превращает людей в камни, из которых потом строит башни. У него под командой пятьдесят легионов. Это, конечно, он. Я узнаю его. Иногда он бывает одет в прекрасное золотое платье, сшитое вроде как у турок.

— Где Бельвинь Этуаль? — спросил Клопен.

— Он убит, — ответила одна из воровок.

Андри Рыжий захохотал идиотским смехом.

— Собор Богоматери задал-таки работу госпиталю! — сказал он.

— Неужели нет никакой возможности выломать эту дверь? — спросил король Алтынный, топнув ногой.

Но герцог египетский печальным жестом указал ему на два потока кипящего свинца, не переставших бороздить черный фасад, словно

два длинных фосфорических веретена.

— Бывали и прежде примеры, что церкви защищались сами, — заметил он, вздыхая. — Сорок лет тому назад собор Святой Софии в Константинополе три раза кряду повергал на землю полумесяц Магомета, потрясая куполами, точно головой. Гильом Парижский, строивший этот храм, был колдун.

— Неужели мы так и уйдем с пустыми руками, точно какая-нибудь мразь с большой дороги? — сказал Клопен. — Неужели оставим там нашу сестру, которую эти волки в клобуках завтра повесят?

— И ризницу, где целые возы золота! — добавил один бродяга, имя которого, к сожалению, до нас не дошло.

— Борода Магомета! — воскликнул Труйльфу.

— Попытаемся еще раз, — предложил бродяга.

Матиас Хунгади покачал головой:

— Через дверь нам не войти. Надо отыскать изъян в броне старой ведьмы. Какую-нибудь дыру, потайной выход, какую-нибудь щель.

— Кто за это? — сказал Клопен. — Я возвращаюсь туда. А кстати, где же этот маленький школяр Жеан, который был так обвешан железом?

— Он, вероятно, убит, — ответил кто-то. — Не

слышно, чтобы он смеялся.

Король Алтынный нахмурил брови:

— Тем хуже. Под этим железным хламом билось мужественное сердце. А мэтр Пьер Гренгуар?

— Капитан Клопен, — сказал Андри Рыжий, — тот удрал, когда мы были еще на мосту Менял.

Клопен топнул ногой:

— Рыло Господне! Сам втравил нас в это дело, а потом бросил в самое горячее время! Трусливый болтун! Стоптанный башмак!

— Капитан Клопен, — крикнул Андри Рыжий, глядевший на Папертную улицу, — вон маленький школяр!

— Хвала Плутону! — воскликнул Клопен. — Но какого черта тащит он за собой?

Действительно, это был Жеан, бежавший так скоро, как только ему позволяли его тяжелые рыцарские доспехи и длинная лестница, которую он отважно волочил по мостовой, надсаживаясь, как муравей, ухватившийся за стебель в двадцать раз длиннее самого себя.

— Победа! Te Deum![152] — орал школяр. — Вот лестница грузчиков с пристани Сен-Ландри.

Клопен подошел к нему.

---

[152] Примечания: 152
Хвала Господу! *(лат.)*

— Что это ты затеваешь, мальчуган? На кой черт тебе эта лестница?

— Я достал-таки ее, — задыхаясь, ответил Жеан. — Я знал, где она находится. В сарае заместителя верховного судьи. Там живет одна моя знакомая девчонка, которая находит, что я красив, как купидон. Я воспользовался этим, чтобы добыть лестницу, и достал ее. Клянусь Магометом! А девчоночка вышла отворить мне в одной сорочке.

— Так, — ответил Клопен, — но на что тебе лестница?

Жеан лукаво и самоуверенно взглянул на него и прищелкнул пальцами, как кастаньетами. Он был великолепен в эту минуту. Его голову украшал один из тех тяжелых шлемов XV века, фантастические гребни которых устрашали врагов. Шлем этот топорщился целым десятком клювов, так что Жеан вполне мог бы оспаривать грозный эпитет δεχέμβολοξ[153], данный Гомером кораблю Нестора.

— На что она мне понадобилась, августейший король Алтынный? А вы видите ряд статуй с глупыми рожами вон там, над тремя порталами?

---

[153] Примечания: 153
Десятиносый *(греч.)*.

— Вижу. А дальше что?

— Это галерея французских королей.

— А мне какое дело? — сказал Клопен.

— Да постойте! В конце этой галереи есть дверь, которая всегда бывает заперта только на задвижку. Я взберусь по этой лестнице, и вот я уже в церкви.

— Дай мне взобраться первому, мальчуган!

— Ну нет, приятель, лестница-то ведь моя! Идемте, вы будете вторым.

— Чтоб тебя Вельзевул удавил! — проворчал Клопен. — Я не желаю быть вторым.

— Ну тогда, Клопен, поищи себе лестницу!

И Жеан пустился бежать по площади, волоча за собой свою добычу и крича: «За мной, ребята!»

В одно мгновение лестницу подняли и приставили к балюстраде нижней галереи над одним из боковых порталов. Толпа бродяг, испуская громкие крики, толпилась у ее подножия, чтобы взобраться по ней. Но Жеан отстоял свое право и первым ступил на лестницу. Подъем был довольно продолжительным. Галерея французских королей ныне находится на высоте около шестидесяти футов над мостовой. А в те времена одиннадцать ступеней крыльца поднимали ее еще выше. Жеан взбирался медленно, сильно

стесненный своим тяжелым вооружением, одной рукой держась за ступеньку, другой сжимая самострел. Добравшись до середины лестницы, он бросил меланхолический взгляд вниз, на тела бедных арготинцев, устилавшие паперть.

— Увы, — сказал он, — вот груда трупов, достойная пятой песни «Илиады»!

И он продолжал подниматься. Бродяги следовали за ним. На каждой ступеньке было по человеку. Эту извивавшуюся в темноте линию покрытых латами спин можно было принять за змею со стальной чешуей, ползущую по стене собора. Жеан, поднимавшийся первым, свистом дополнял иллюзию.

Наконец школяр добрался до выступа галереи и довольно ловко вскочил на нее при одобрительных криках воровской братии. Овладев таким образом цитаделью, он испустил было радостный крик, но тотчас же, словно окаменев, умолк. Он заметил позади одной из королевских статуй Квазимодо, притаившегося в потемках. Глаз Квазимодо сверкал.

Прежде чем второй осаждающий успел ступить на галерею, чудовищный горбун прыгнул к лестнице, молча схватил ее за концы своими могучими ручищами, сдвинул ее, отделил от сте-

ны, раскачал среди криков ужаса эту длинную, пружинившую под телами лестницу, унизанную сверху донизу бродягами, и внезапно с нечеловеческой силой толкнул эту живую гроздь на площадь. Наступила минута, когда даже у самых отважных забилось сердце. Отброшенная назад лестница одно мгновение стояла прямо, как бы колеблясь, затем качнулась и вдруг, описав страшную дугу, радиус которой составлял восемьдесят футов, быстрее, чем подъемный мост, у которого оборвались цепи, обрушилась со всем своим человеческим грузом на мостовую. Раздались ужасающие проклятия, затем все смолкло, и несколько несчастных искалеченных бродяг выползло из-под груды убитых.

Только что звучавшие победные крики сменились воплями скорби и гнева. Квазимодо стоял неподвижно, опершись о балюстраду локтями, и глядел вниз. Он был похож на древнего меровингского короля, смотрящего из своего окна.

Жеан Фролло оказался в затруднительном положении. Он очутился на галерее один на один с грозным звонарем, отделенный от своих товарищей отвесной стеной в восемьдесят футов. Пока Квазимодо возился с лестницей, школяр подбежал к дверце потайного хода, думая, что

она открыта! Увы! Глухой, выйдя на галерею, запер ее за собой. Тогда Жеан спрятался за одним из каменных королей, боясь вздохнуть и устремив на страшного горбуна растерянный взгляд, подобно человеку, который, ухаживая за женой сторожа при зверинце и отправившись однажды на любовное свидание, ошибся местом, когда перелезал через стену, и вдруг очутился лицом к лицу с белым медведем.

В первую минуту глухой не обратил на него внимания; наконец он повернул голову и вдруг выпрямился. Он заметил школяра.

Жеан приготовился к жестокому нападению, но глухой стоял неподвижно; он лишь повернулся к школяру и смотрел на него.

— Хо! Хо! Что ты так печально смотришь на меня своим кривым глазом? — спросил Жеан.

Молодой повеса исподтишка готовил свой самострел.

— Квазимодо! — крикнул он. — Я хочу заменить твою кличку. Отныне тебя будут называть слепцом!

Он выстрелил. Оперенная стрела просвистела в воздухе и вонзилась в левую руку горбуна. Квазимодо обратил на это столько же внимания, как если бы она оцарапала статую короля Фарамонда.

Он вытащил стрелу и спокойно переломил ее о свое толстое колено. Затем он бросил, вернее, уронил ее обломки. Но Жеан не успел выстрелить вторично. Квазимодо, шумно вздохнув, прыгнул, словно кузнечик, и обрушился на школяра, латы которого сплющились от удара о стену.

И тогда в этом полумраке, при колеблющемся свете факелов произошло нечто ужасное.

Квазимодо схватил левой рукой обе руки Жеана, который уже не сопротивлялся, чувствуя, что погиб. Правой рукой горбун молча, с зловещей медлительностью, стал снимать с него один за другим все его доспехи — шпагу, кинжалы, шлем, латы, наручни, — словно обезьяна, шелушащая орех. Кусок за куском бросал Квазимодо к своим ногам железную скорлупу школяра.

Когда Жеан увидел себя обезоруженным, раздетым, слабым и беспомощным во власти этих страшных рук, он даже не попытался говорить с глухим, но дерзко расхохотался ему в лицо и с неустрашимой беззаботностью шестнадцатилетнего мальчишки запел популярную в то время песенку:

В пышном наряде, весь раздобрел
Прекрасный город Камбре.

Его догола Марафен раздел…

Он не закончил. Квазимодо, вскочив на парапет галереи, одной рукой схватил школяра за обе ноги и принялся вращать им над бездной, словно пращой. Затем раздался звук, похожий на тот, который издает разбившаяся о стену костяная шкатулка; сверху что-то полетело и остановилось, зацепившись на трети пути за какой-то архитектурный выступ. То был уже бездыханный труп, повисший там, согнувшись пополам, с переломанным хребтом и размозженным черепом.

Крик ужаса пронесся среди бродяг.

— Месть! — рычал Клопен.

— Грабить! — подхватила толпа. — На приступ! На приступ!

И затем раздался неистовый рев, в котором слились все языки, все наречия, все произношения. Смерть несчастного школяра вдохнула в толпу пламя ярости. Ею овладели стыд и гнев при мысли, что какой-то горбун мог так долго держать ее в бездействии перед собором. Бешеная злоба помогла отыскать лестницы, новые факелы, и спустя несколько минут растерявшийся Квазимодо увидел, как этот ужасный муравейник полез на приступ Собора Богоматери. Те, у кого не было лестницы, запаслись узловатыми веревками; те,

у кого не было веревок, карабкались, хватаясь за скульптурные украшения. Одни цеплялись за рубище других. Не было никакой возможности противостоять все возраставшему приливу этих ужасных физиономий. Свирепые лица пылали от ярости, землистые лбы заливал пот, глаза сверкали. Все эти уроды, все эти рожи обступили Квазимодо; можно было подумать, что какой-то другой храм выслал на штурм Собора Богоматери своих горгон, псов, свои маски, своих демонов, свои самые фантастические изваяния. Они казались слоем живых чудовищ на каменных чудовищах фасада.

Тем временем площадь зажглась тысячью факелов, беспорядочная картина боя, до сей поры погруженная во мрак, внезапно озарилась светом. Соборная площадь сверкала огнями, бросая их отблеск в небо. Костер, разложенный на верхней площадке, продолжал полыхать, далеко освещая город. Огромный силуэт башен четко выступал над крышами Парижа, образуя издали на этом светлом фоне широкий черный выем. Город, казалось, всколыхнулся. Со всех сторон доносился стонущий звон набата. Бродяги, рыча, задыхаясь, богохульствуя, взбирались наверх, а Квазимодо, бессильный против такого количества врагов,

дрожа за жизнь цыганки и видя, как все ближе и ближе подвигаются к его галерее разъяренные лица, в отчаянии ломая руки, молил небо о чуде.

V. Келья, в которой Людовик Французский читает Часослов

Читатель, быть может, помнит, что за минуту перед тем, как Квазимодо заметил в ночном мраке шайку бродяг, он, обозревая с высоты своей башни Париж, увидел только один огонек, светившийся в окне самого верхнего этажа высокого и мрачного здания рядом с Сент-Антуанскими воротами. Этим зданием была Бастилия. Этой мерцавшей звездочкой была свеча Людовика XI.

Король Людовик XI действительно уже два дня был в Париже. Через день он предполагал вновь отбыть в свой укрепленный замок Монтиль-ле-Тур. Он вообще лишь редкими и короткими наездами появлялся в своем добром городе Париже, находя, что в нем недостаточно потайных ходов, виселиц и шотландских стрелков.

Эту ночь он решил провести в Бастилии. Огромный его покой в Лувре в пять квадратных туазов с большим камином, украшенным изображениями двенадцати огромных животных и тринадцати великих пророков, с просторным ложем одиннадцати футов в ширину и двенадцати

в длину, мало привлекал его. Он терялся среди всего этого величия. Этот король, обладавший вкусами скромного горожанина, предпочитал каморку с узкой постелью в Бастилии. К тому же Бастилия была лучше укреплена, чем Лувр.

«Каморка», которую король отвел себе в знаменитой государственной тюрьме, была все же достаточно обширна и занимала самый верхний этаж башенки, возведенной на главной замковой башне. Это была уединенная комната круглой формы, обитая блестящими соломенными циновками, с цветным потолком, который перерезали балки, увитые лилиями из позолоченного олова, с деревянными панелями, окрашенными красивой ярко-зеленой краской, составленной из реальгара и индиго, и усеянными розетками из белой оловянной глазури.

В ней было лишь одно высокое стрельчатое окно, забранное решеткой из медной проволоки и железных прутьев и затемненное помимо этого великолепными цветными, с изображениями гербов короля и королевы, стеклами, каждое из которых стоило по двадцать два су.

В ней был лишь один вход, одна дверь с низкой аркой во вкусе того времени, обитая изнутри вышитым ковром и снабженная снаружи портиком

из ирландской сосны — хрупким сооружением тонкой и искусной столярной работы, которое часто можно было видеть в старинных домах еще лет полтораста тому назад. «Хотя они обезображивают и загромождают жилище, — говорит с отчаянием Соваль, — тем не менее наши старики не желают расставаться с ними и сохраняют их наперекор всему».

Но в этой комнате нельзя было найти обычного для того времени убранства: никаких скамей — ни длинных, с мягкими сиденьями, ни в форме ларей, ни табуретов на трех ножках, ни прелестных скамеечек на резных подставках, стоивших по четыре су каждая. В ней стояло лишь одно роскошное складное кресло; его деревянные части были разрисованы розами на красном фоне, а сиденье алой кордовской кожи украшено длинной шелковой бахромой и усеяно тысячью золотых гвоздиков. Это одинокое кресло указывало на то, что лишь одна особа имела право сидеть в этой комнате. Рядом с креслом, возле самого окна, стоял стол, покрытый ковром с изображениями птиц. На столе — письменный прибор в чернильных пятнах, несколько свитков пергамента, несколько перьев и серебряный чеканный кубок. Чуть подальше — переносная

печь, аналой, обитый темно-красным бархатом и украшенный золотыми шишечками. Наконец, в глубине стояла простая кровать, накрытая покрывалом желто-красного штофа, без мишуры и позументов, со скромной бахромой. Эту самую кровать, знаменитую тем, что она навела сон или бессонницу на Людовика XI, можно было лицезреть еще двести лет спустя в доме одного государственного советника, где ее видела на старости лет госпожа Пилу, прославленная в романе «Кир» под именем Аррицидии или Олицетворенной нравственности.

Такова была комната, называвшаяся «кельей, в которой Людовик Французский читает Часослов».

В ту минуту, когда мы ввели в нее читателя, комната тонула во мраке. Сигнал к тушению огней был подан уже час тому назад, наступила ночь, на столе мерцала только одна жалкая восковая свеча, озарявшая пять человек, собравшихся в этой комнате.

Первый, на которого падал свет, был вельможа в роскошном костюме, состоявшем из широких коротких штанов, пунцового камзола в серебряных полосах и плаща с парчовыми в черных разводах широкими рукавами. Этот велико-

лепный наряд, на котором переливался свет, казалось, излучал пламя каждой своей складкой. На груди у него был вышит яркими шелками герб: две полоски, составляющие угол вершиною вверх, а под ним бегущая лань. С правой стороны гербового щита — масличная ветвь, с левой — олений рог. На поясе висел богатый кинжал, золоченая рукоятка которого была похожа на гребень шлема с графской короной наверху. У этого человека было злое лицо, высокомерный вид, горделиво поднятая голова. Прежде всего бросалась в глаза его надменность, а затем — хитрость.

Держа в руках длинный свиток, он с непокрытой головой стоял за креслом, в котором, неуклюже согнувшись, закинув ногу на ногу и облокотившись о стол, сидела весьма убого одетая фигура. Вообразите себе в этом пышном, обитом кордовской кожей кресле угловатые колени, тощие ляжки в поношенном трико из черной шерсти, туловище, облаченное во фланелевый кафтан, отороченный облезлым мехом, и в качестве головного убора — старую засаленную шляпу из самого скверного черного сукна с прикрепленными вокруг всей тульи свинцовыми фигурками. Прибавьте к этому грязную ермолку, почти скрывавшую волосы, — вот и все, что

можно было разглядеть в этой сидевшей фигуре. Голова этого человека так низко склонилась на грудь, что лицо тонуло в тени и виднелся лишь кончик длинного носа, на который падал луч света. По его иссохшим морщинистым рукам нетрудно было догадаться, что он старик. Это был Людовик XI.

Несколько поодаль, за их спинами, беседовали вполголоса двое мужчин, одетых в платье фламандского покроя. Оба они были хорошо освещены, и те, кто присутствовал на представлении мистерии Гренгуара, тотчас распознали бы в них двух главных послов Фландрии: Гильома Рима, проницательного сановника из города Гента, и любимого народом чулочника Жака Копеноля. Читатель припомнит, что эти два человека были причастны к тайной политике Людовика XI.

Наконец, в самой глубине комнаты, возле двери, неподвижно, как статуя, стоял в полутьме крепкий, коренастый человек, в военных доспехах, в кафтане, вышитом гербами. Его квадратное лицо с низким лбом, глазами навыкате, с огромной щелью рта и широкими прядями прилизанных волос, закрывавшими уши, напоминало одновременно и пса, и тигра.

У всех, кроме короля, были обнажены головы.

Вельможа, стоявший подле короля, читал ему что-то вроде длинной докладной записки, которую тот, казалось, слушал очень внимательно. Оба фламандца перешептывались.

— Крест Господень! — ворчал Копеноль. — Я устал стоять. Неужели здесь нет ни одного стула?

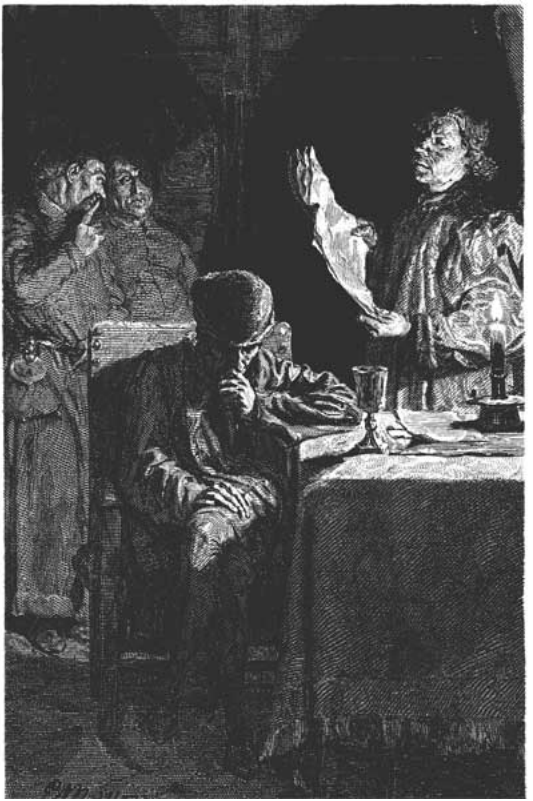
Рим, сдержанно улыбаясь, ответил отрицательным жестом.

— Крест Господень! — опять заговорил Копеноль, чувствуя себя несчастным от необходимости понижать голос. — Меня так и подмывает усесться на пол, поджав под себя ноги по обычаю чулочников, как я это делаю у себя в лавке.

— Ни в коем случае, мэтр Жак!

— Неужто, мэтр Гильом! Значит, здесь дозволяется только стоять на ногах?

— Или на коленях, — отрезал Рим.



В эту минуту король повысил голос. Они умолкли.

— Пятьдесят су за ливреи наших слуг и двена-

дцать ливров за плащи для нашей королевской свиты! Так! Так! Рассыпайте золото бочками! Вы с ума сошли, Оливье?

Старик поднял голову. На его шее блеснули золотые раковины цепи ордена Святого Михаила. Свет упал на его сухой и угрюмый профиль. Он вырвал бумагу из рук Оливье.

— Вы нас разоряете! — крикнул он, пробегая записку своими ввалившимися глазами. — Что это такое? На что нам такой придворный штат? Два капеллана по десять ливров в месяц каждый и служка в часовне по сто су! Камер-лакей по девяносто ливров в год! Четыре стольника по сто двадцать ливров в год каждый! Надсмотрщик за рабочими, огородник, помощник повара, главный повар, хранитель оружия, два писца для ведения счетов по десять ливров в месяц каждый! Двое поварят по восьми ливров! Конюх и его два помощника по двадцать четыре ливра в месяц! Рассыльный, пирожник, хлебопек, два возчика — по шестьдесят ливров в год каждый! Старший кузнец — сто двадцать ливров! А казначей — тысяча двести ливров, а контролер — пятьсот! Нет, это безумие! Содержание наших слуг разоряет Францию! Все богатство Лувра растает на огне такой расточительности! Этак нам придется рас-

продать нашу посуду! И в будущем году, если Бог и Пречистая Богоматерь (тут он приподнял свою шляпу) продлят нашу жизнь, нам придется пить лекарство из оловянной кружки.

При этом он бросил взгляд на серебряный кубок, сверкавший на столе. Откашлявшись, он продолжал:

— Мэтр Оливье, правители, поставленные во главе больших владений, например короли и императоры, не должны допускать роскошь при своих дворах, ибо отсюда этот огонь перебрасывается в провинцию. Итак, мэтр Оливье, запомни это раз навсегда! Наши расходы возрастают ежегодно. Это нам не нравится. Как же так? Клянусь Пасхой! До семьдесят девятого года они не превышали тридцати шести тысяч ливров. В восьмидесятом году они достигли сорока трех тысяч шестисот девятнадцати ливров. Я отлично помню эти цифры! В восемьдесят первом году — шестьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят ливров, а в нынешнем году — клянусь душой! — дойдет до восьмидесяти тысяч. В четыре года они выросли вдвое! Чудовищно!

Он замолчал, тяжело дыша, затем с запальчивостью продолжал:

— Я вижу вокруг только людей, жиреющих за

счет моей худобы! Вы высасываете экю из всех моих пор!

Все молчали. Это был один из тех припадков гнева, которые следовало переждать. Он продолжал:

— Это напоминает то прошение на латинском языке, с которым обратилось к нам французское дворянство, чтобы мы снова возложили на него «бремя» так называемой почетной придворной службы! Это действительно бремя! Бремя, от которого хребет трещит! Вы, государи мои, уверяете, что мы не настоящий король, ибо царствуем dapifero nullo, buticulario nullo![154] Мы вам покажем, клянусь Пасхой, король мы или нет!

Тут он улыбнулся в сознании своего могущества, его раздражение улеглось, и он обратился к фламандцам:

— Видите ли, кум Гильом, все эти главные кравчие, главные виночерпии, главные камергеры и главные дворецкие не стоят последнего лакея. Запомните это, кум Копеноль, от них нет никакого проку. Они без всякой пользы торчат возле короля, вроде четырех статуй евангелистов, окружающих циферблат больших дворцовых часов,

---

[154] Примечания: 154
Без стольника и виночерпия! *(лат.)*

только что подновленных Филиппом де Брилем, на этих статуях много позолоты, но времени они не указывают, и часовая стрелка обошлась бы и без них.

Он на минуту задумался и затем добавил, покачивая седой головой:

— Хо-хо, клянусь Пресвятой Девой, я не Филипп Бриль и не буду подновлять позолоту на знатных вассалах! Продолжай, Оливье!

Человек, которого он называл этим именем, взял у него из рук тетрадь и снова стал читать вслух:

— «…Адаму Тенону, состоящему при хранителе печатей парижского превотства, за серебро, работу и чеканку оных печатей, кои пришлось сделать заново, ибо прежние ввиду их ветхости и изношенности стали непригодны к употреблению, — двенадцать парижских ливров.

Гильому Фреру — четыре ливра четыре парижских су за его труды и расходы на прокорм и содержание голубей в двух голубятнях особняка Турнель в течение января, февраля и марта месяца сего года; на тот же предмет ему отпущено было семь мер ячменя.

Францисканскому монаху за то, что исповедал преступника, — четыре парижских су».

Король слушал молча. Иногда он покашливал. Тогда он подносил кубок к губам и, морщась, отпивал глоток.

— «В истекшем году по распоряжению суда было сделано при звуках труб на перекрестках Парижа пятьдесят шесть оповещений. Счет подлежит оплате.

На поиски и раскопки, произведенные как в самом Париже, так и в других местностях с целью отыскать клады, которые, по слухам, там были зарыты, хотя ничего и не было найдено, — сорок пять парижских ливров».

— Это значит зарыть экю, чтобы вырыть су! — заметил король.

— «...За доделку шести панно из белого стекла в помещении, где находится железная клетка, в особняке Турнель — тринадцать су. За изготовление и доставку, по повелению короля, в день праздника уродов четырех щитов с королевскими гербами, окруженными гирляндами из роз, — шесть ливров. За два новых рукава к старому камзолу короля — двадцать су. За коробку жира для смазки сапог короля — пятнадцать денье. За постройку нового хлева для черных поросят короля — тридцать парижских ливров. За несколько перегородок, помостов и подъемных дверей, кои

были сделаны в помещении для львов при дворе Сен-Поль, — двадцать два ливра».

— Дорогонько обходятся эти звери, — сухо заметил Людовик XI. — Ну да ладно, это чисто королевская затея! Там есть огромный рыжий лев, которого я люблю за его ужимки. Вы видели его, мэтр Гильом? Правителям следует иметь этаких диковинных зверей. Нам, королям, собаками должны служить львы, а кошками — тигры. Величие под стать венценосцам. Встарь, во время поклонения Юпитеру, когда народ в своих храмах приносил в жертву сто быков и столько же баранов, императоры дарили сто львов и сто орлов. В этом было что-то грозное и прекрасное. Короли Франции всегда слышали рычание этих зверей близ своего трона. Однако следует отдать справедливость, что я расходую на это все же меньше денег, чем мои предшественники, и что количество львов, медведей, слонов и леопардов у меня много скромнее. Продолжайте, мэтр Оливье. Мы только это и желали сказать нашим друзьям-фламандцам.

Гильом Рим низко поклонился, тогда как Копеноль стоял насупившись, напоминая одного из тех медведей, о которых говорил его величество. Король не обратил на это внимания. Он только

что вновь отхлебнул из своего кубка и, отплевываясь, проговорил:

— Фу, что за противное зелье!

Читавший продолжал:

— «За прокорм бездельника-бродяги, находящегося шесть месяцев под замком в камере для грабителей впредь до распоряжения, — шесть ливров четыре су».

— Что такое? — прервал король. — Кормить того, кого следует повесить? Клянусь Пасхой! Я больше не дам на это ни гроша! Оливье, поговорите с господином Эстутвилем и нынче же вечером приготовьте все, чтобы обвенчать этого молодца с виселицей. Дальше.

Оливье ногтем сделал пометку против статьи о «бездельнике-бродяге» и продолжал:

— «Анрие Кузену — главному палачу города Парижа, по определению и распоряжению монсеньора парижского прево выдано шестьдесят парижских су на покупку им, согласно приказу вышеупомянутого сьёра прево, большого широкого меча для обезглавливания и казни лиц, приговоренных к этому правосудием за их провинности, а также на покупку ножен и всех полагающихся к нему принадлежностей; а равным образом и на починку и подновление

старого меча, треснувшего и зазубрившегося при совершении казни над мессиром Людовиком Люксембургским, из чего со всей очевидностью следует...»

— Довольно, — перебил его король. — Очень охотно утверждаю эту сумму. На такого рода расходы я не скуплюсь. На это никогда не жалел денег. Продолжайте!

— «На сооружение новой большой деревянной клетки...»

— Ага! — воскликнул король, взявшись обеими руками за ручки кресла. — Я знал, что недаром приехал в Бастилию. Погодите, мэтр Оливье! Я хочу сам взглянуть на эту клетку. Вы читайте мне счет издержек, пока я ее буду осматривать. Господа фламандцы, пойдемте взглянуть. Это любопытно.

Он встал, оперся на руку своего собеседника и, приказав знаком безмолвной личности, стоявшей у дверей, идти вперед, а двум фламандцам — следовать за собою, вышел из комнаты.

За дверьми кельи свита короля пополнилась закованными в железо воинами и маленькими пажами, несшими факелы. Некоторое время все они шествовали по внутренним ходам мрачной башни, прорезанной лестницами и коридорами,

местами даже в самой толще стены. Комендант Бастилии шел во главе, приказывая отворять низкие узкие двери перед старым, больным, сгорбленным и кашлявшим во время пути королем.

Перед каждой дверкой все вынуждены были нагибаться, кроме уже согбенного летами короля.

— Гм! — бормотал он сквозь десны, ибо зубов у него не было. — Мы уже вполне готовы переступить порог могильного склепа. Согбенному путнику — низенькая дверка.

Наконец, оставив за собой последнюю дверку, снабженную таким количеством замков, что понадобилось четверть часа, чтобы отпереть ее, они вошли в высокий обширный зал со стрельчатым сводом, посредине которого при свете факелов можно было разглядеть большой массивный куб из камня, железа и дерева. Внутри он был полый. То была одна из тех знаменитых клеток, предназначавшихся для государственных преступников, которые назывались «дочурками короля». В стенах этого куба были два или три оконца, забранных такой частой и толстой решеткой, что стекол не было видно. Дверью служила большая гладкая каменная плита наподобие могильной. Такая дверь отворяется лишь однажды,

чтобы пропустить внутрь. Но здесь мертвецом был живой человек.

Король медленно обошел вокруг этого сооружения, тщательно его осматривая, в то время как мэтр Оливье, следовавший за ним по пятам, громко читал ему:

— «На сооружение новой большой деревянной клетки из толстых бревен с рамами и лежнями, имеющей девять футов длины, восемь ширины и семь вышины от пола до потолка, отполированной и окованной толстыми железными полосами, которая была построена в помещении одной из башен Сент-Антуанской крепости и в которой заключен и содержится по повелению нашего всемилостивейшего короля узник, помещавшийся прежде в старой, ветхой, полуразвалившейся клетке. На означенную новую клетку израсходовано девяносто шесть бревен в ширину, пятьдесят два в вышину, десять лежней длиной в три туаза каждый; а для обтесывания, нарезки и пригонки во дворе Бастилии перечисленного леса наняты были девятнадцать плотников на двадцать дней…»

— Недурной дуб, — заметил король, постукивая кулаком по бревнам.

— «…На эту клетку пошло, — продолжал чи-

тающий, — двести двадцать толстых железных брусьев длиною в девять и восемь футов, не считая некоторого количества менее длинных, с добавлением к ним обручей, шарниров и скреп для упомянутых выше брусьев. Всего весу в этом железе три тысячи семьсот тридцать пять фунтов, кроме восьми толстых железных колец для прикрепления означенной клетки к полу, весящих вместе с гвоздями и скобами двести восемнадцать фунтов, да еще не считая веса оконных решеток в той комнате, где поставлена клетка, дверных железных засовов и прочего…»

— Только подумать, сколько железа потребовалось, чтобы обуздать легкомысленный ум! — сказал король.

— «…А стоимость всего — триста семнадцать ливров пять су и семь денье».

— Клянусь Пасхой! — воскликнул король.

При этой любимой поговорке Людовика XI внутри клетки что-то зашевелилось, раздался лязг цепей, ударявшихся об пол, и послышался слабый голос, выходивший, казалось, из могилы:

— Государь! Государь! Смилуйтесь! — Человека, говорившего эти слова, не было видно.

— Триста семнадцать ливров пять су и семь денье! — повторил Людовик XI.

От жалобного голоса, доносившегося из клетки, у всех захолонуло сердце, даже у самого мэтра Оливье. Лишь один король, казалось, не слышал его. По его приказанию мэтр Оливье возобновил чтение, и его величество хладнокровно продолжал осмотр клетки.

— «...Сверх того, заплачено каменщику, просверлившему дыры, чтобы вставить оконные решетки, и переложившему пол в помещении, где находится клетка, ибо иначе пол не выдержал бы тяжести клетки, — двадцать семь ливров четырнадцать парижских су...»

Снова послышался стенающий голос:

— Пощадите, государь! Клянусь вам, я не причастен к измене вам, это все господин кардинал Анжерский!

— Дорогонько обошелся каменщик! — заметил король. — Продолжай, Оливье.



Оливье продолжал:

— «...Столяру за наличники на окнах, за нары, стульчак и прочее — двадцать ливров два па-

рижских су…»

— Увы, государь, — продолжал голос, — неужели вы не выслушаете меня? Заверяю вас, это не я написал монсеньору Гиенскому, а господин кардинал Балю!

— Дорого обходится нам и плотник, — сказал король. — Ну все?

— Нет еще, государь. «…Стекольщику за стекло в окнах вышеупомянутой комнаты — сорок су восемь парижских денье».

— Смилуйтесь, государь! Неужто недостаточно того, что все мое имущество отдали судьям, мою утварь — господину Торси, мою библиотеку — мэтру Пьеру Дориолю, мои ковры — наместнику в Русильоне. Я невинен. Вот уже четырнадцать лет, как я дрожу от холода в железной клетке. Смилуйтесь, государь! Небо воздаст вам за это!

— Мэтр Оливье, — спросил король, — какова же общая сумма?

— Триста шестьдесят семь ливров восемь су и три парижских денье.

— Матерь Божья! — воскликнул король. — Эта клетка — настоящее разорение.

Он вырвал тетрадь из рук мэтра Оливье и принялся сам пересчитывать по пальцам, глядя то в тетрадь, то на клетку. Оттуда доносились

рыдания узника. В темноте от них веяло такой скорбью, что все присутствующие, бледнея, переглядывались.

— Четырнадцать лет, государь! Вот уже четырнадцать лет с апреля тысяча четыреста шестьдесят девятого года! Именем Пресвятой Богородицы, государь, выслушайте меня! Вы все это время наслаждались солнечным теплом. Неужели же я, горемычный, никогда больше не увижу дневного света! Пощадите, государь! Будьте милосердны! Милосердие — это высокая добродетель монарха, побеждающая его гнев. Неужели ваше величество полагает, что для короля в его смертный час послужит великим утешением то, что ни одной обиды он не оставил без наказания! К тому же, государь, я не изменил вашему величеству, а изменил кардинал Анжерский. И все же к моей ноге прикована цепь с тяжелым железным ядром на конце; оно гораздо тяжелее, чем я того заслужил! О государь, сжальтесь надо мной!

— Оливье, — произнес король, покачивая головой, — я вижу, что мне посчитали известь по двадцать су за бочку, тогда как она стоит всего лишь двенадцать су. Выправьте этот счет.

Он повернулся спиной к клетке и направился к выходу. По тускнеющему свету факелов и звуку

удаляющихся шагов несчастный узник заключил, что король уходит.

— Государь! Государь! — закричал он в отчаянии.

Но дверь захлопнулась. Он больше никого не видел; он слышал только хриплый голос тюремщика, который над самым его ухом напевал:

Жан Балю, наш кардинал,
Счет епархиям потерял,
Он ведь прыткий.
А его верденский друг
Растерял, как видно, вдруг
Все до нитки!

Король молча поднимался в свою келью, а его свита следовала за ним, приведенная в ужас стенаниями узника. Внезапно его величество повернулся к коменданту Бастилии:

— А кстати! Кажется, в этой клетке кто-то был?

— Да, государь, — ответил комендант, пораженный этим вопросом.

— А кто именно?

— Господин епископ Верденский.

Королю это было известно лучше, чем кому бы то ни было, но таковы были причуды его ха-

рактера.

— А! — сказал он с самым простодушным видом, как будто только что вспомнил об этом. — Гильом де Аранкур, друг господина кардинала Балю. Добрый малый был епископ!

Через несколько минут дверь комнаты снова распахнулась и затем вновь затворилась за пятью лицами, которых читатель видел в начале этой главы и которые, заняв свои прежние места, приняли прежние позы и продолжали беседовать вполголоса.

В отсутствие короля на его стол положили несколько писем, которые он сам распечатал. Затем он быстро, одно за другим, прочел их и дал знак мэтру Оливье, по-видимому исполнявшему при нем должность первого министра, чтобы тот взял перо. Не сообщая ему содержания бумаг, король тихим голосом стал диктовать ответы, которые тот записывал в довольно неудобной позе, опустившись на колени у стола.

Господин Рим внимательно наблюдал за ним.

Но король говорил так тихо, что до фламандцев долетали лишь обрывки малопонятных фраз, как, например:

«…Поддерживать торговлею плодородные местности и мануфактурами — местности бес-

плодные… Показать господам английским вельможам наши четыре бомбарды: „Лондон“, „Брабант“, „Бург-ан-Брес“ и „Сент-Омер“… Артиллерия является причиною того, что война ведется ныне более осмотрительно… Нашему другу господину де Бресюиру… Армию нельзя содержать, не взимая дани», и т. д.

Впрочем, один раз он возвысил голос:

— Клянусь Пасхой! Его величество король сицилийский запечатывает свои грамоты желтым воском, точно король Франции. Мы, пожалуй, напрасно дозволили ему это. Мой любезный кузен, герцог Бургундский, никому не давал герба с червленым полем. Величие царственных домов зиждется на неприкосновенности привилегий. Запиши это, кум Оливье.

В другой раз он воскликнул:

— О-о! Какое пространное послание! Чего хочет от нас наш брат император? — И он пробежал письмо, прерывая свое чтение восклицаниями: — Оно точно! Немцы так многочисленны и так сильны, что едва веришь этому! Но мы не забываем старую поговорку: «Нет графства прекрасней Фландрии; нет герцогства прекраснее Милана; нет королевства прекраснее Франции»! Не так ли, господа фламандцы?

На этот раз Копеноль поклонился одновременно с Гильомом Римом. Патриотическое чувство чулочника было приятно задето.

Последнее письмо заставило Людовика XI нахмуриться.

— Это еще что такое? Челобитные и жалобы на наши пикардийские гарнизоны? Оливье, пишите побыстрее господину маршалу Руо. Пишите, что дисциплина ослабла, что вестовые, призванные в войска дворяне, вольные стрелки и швейцарцы наносят бесчисленные обиды селянам… Что воины, не довольствуясь тем добром, которое находят в доме земледельцев, принуждают их с помощью палочных ударов или копий ехать в город за вином, рыбой, пряностями и прочим, что является излишеством. Напишите, что его величеству королю известно об этом… Что мы желаем оградить наш народ от неприятностей, грабежей и вымогательств… Что такова наша воля, клянусь Царицей Небесной!.. Кроме того, нам не угодно, чтобы какие-нибудь гудочники, цирюльники или другая войсковая челядь наряжалась, точно князья, в бархат, шелковое сукно и золотые перстни. Что подобное тщеславие не угодно Господу Богу… Что и мы сами, хотя и дворянин, довольствуемся камзолом из сукна по

шестнадцать су за парижский локоть… Что, следовательно, и господа обозные служители тоже могут снизойти до этого. Отпишите и предпишите… Господину Руо, нашему другу… Хорошо?

Он продиктовал это послание громко, твердо, отрывисто. В ту минуту, когда он заканчивал его, дверь распахнулась и пропустила новую фигуру, которая стремглав вбежала в комнату, растерянно крича:

— Государь! Государь! Парижская чернь бунтует!

Строгое лицо Людовика XI исказилось; но волнение это промелькнуло на его лице как молния. Он сдержал себя и со спокойной строгостью сказал:

— Кум Жак, вы слишком неожиданно врываетесь сюда!

— Государь! Государь! Мятеж! — задыхаясь, повторил кум Жак.

Король, вставший со своего кресла, грубо схватил его за плечо и со сдержанным гневом, искоса поглядывая на фламандцев, шепнул ему на ухо так, чтобы слышал лишь он один:

— Замолчи или говори тише!

Новоприбывший понял и начал шепотом сбивчивый рассказ. Король слушал спокойно. Гильом

Рим обратил внимание Копеноля на лицо и на одежду новоприбывшего, на его меховую шапку — caputia forrata, короткую епанчу — epitogia cuntra, и длинную нижнюю одежду из черного бархата, которая изобличала в нем председателя счетной палаты.

Едва человек начал свои объяснения, Людовик XI, расхохотавшись, воскликнул:

— Да неужели? Говори же громче, кум Куактье! Что ты там шепчешь? Божья Матерь знает, что у нас нет никаких тайн от наших друзей-фламандцев.

— Но, государь…

— Говори громче!

«Кум Куактье» молчал, онемев от изумления.

— Итак, — вновь заговорил король, — рассказывайте же, сударь. В нашем добром городе Париже произошло возмущение черни?

— Да, государь.

— Которое направлено, по вашим словам, против господина главного судьи Дворца правосудия?

— По-видимому, так, — бормотал «кум», все еще ошеломленный резким необъяснимым поворотом в образе мыслей короля.

Людовик XI спросил:

— А где же ночной дозор встретил толпу?

— На пути от Большой Бродяжной к мосту Менял. Да я и сам их там встретил, когда направился сюда за распоряжениями вашего величества. Я слышал, как некоторые из толпы орали: «Долой главного дворцового судью!»

— А что они имеют против судьи?

— Да ведь он их ленный владыка!

— В самом деле?

— Да, государь. Это ведь канальи из Двора чудес. Они уже сколько времени жалуются на судью, вассалами которого состоят. Они не желают признавать его ни как судью, ни как сборщика дорожных пошлин.

— Вот как! — воскликнул король, тщетно стараясь скрыть довольную улыбку.

— Во всех своих челобитных, которыми они засыпают высшую судебную палату, — продолжал кум Жак, — они утверждают, что у них только два властелина: ваше величество и их бог, который, я полагаю, сам дьявол.

— Эге! — сказал король.

Он потирал себе руки и смеялся тем внутренним смехом, который заставляет сиять все лицо. Он не мог скрыть своей радости, хотя временами и силился придать своему лицу приличествующее

случаю выражение. Никто ничего не понимал, даже мэтр Оливье. Король несколько мгновений молчал с задумчивым, но довольным видом.

— А много их? — спросил он внезапно.

— Да, государь, немало, — ответил кум Жак.

— Сколько?

— По крайней мере тысяч шесть.

Король не мог удержаться и воскликнул: «Отлично!»

— А они вооружены? — продолжал он.

— Косами, пиками, пищалями, мотыгами. Множество самого опасного оружия.

Но король, по-видимому, нимало не был обеспокоен этим перечислением.

Кум Жак счел нужным добавить:

— Если вы, ваше величество, не прикажете сейчас же послать помощь судье, он погиб.

— Мы пошлем, — ответил король с напускной серьезностью. — Хорошо. Конечно, пошлем. Господин судья — наш друг. Шесть тысяч! Вот так отчаянные головы! Их дерзость неслыханна, и мы на них очень гневаемся. Но в эту ночь у нас под рукой мало людей… Мы успеем послать и завтра утром.

— Немедленно, государь! — вскричал кум Жак. — Иначе здание суда будет двадцать раз

разгромлено, права сюзерена попраны, а судья повешен. Ради бога, государь, пошлите, не дожидаясь завтрашнего утра!

Король взглянул на него в упор:

— Я сказал — завтра утром.

Это был взгляд, не допускающий возражения.

Помолчав, Людовик XI снова возвысил голос:

— Кум Жак, вы как будто должны знать об этом. Каковы были… — Он поправился: — Каковы феодальные права судьи Дворца правосудия?

— Государь, дворцовому судье принадлежит Прокатная улица вплоть до Зеленного рынка, площадь Сен-Мишель и строения, в просторечии именуемые Трубой, расположенные близ собора Нотр-Дам-де-Шан (тут Людовик XI слегка приподнял свою шляпу), каковых всего насчитывается тринадцать, кроме того, Двор чудес, затем больница для прокаженных, именуемая Пригородом, и вся дорога от этой больницы до ворот Сен-Жак. Во всех этих частях города он смотритель дорог, олицетворение судебной власти — высшей, средней и низшей, полновластный владыка.

— Вон оно что! — произнес король, почесывая правой рукой за левым ухом. — Это порядочный ломоть моего города! Ага! Значит, господин судья был над всем этим властелин?

На этот раз он не поправился и продолжал в раздумье, как бы рассуждая сам с собой:

— Прекрасно, господин судья! Недурной кусочек нашего Парижа был в ваших зубах! — Вдруг он разразился: — Клянусь Пасхой! Что это за господа такие, которые присвоили себе у нас права смотрителей дорог, судей, ленных владык и хозяев? На каждом поле у них своя застава, на каждом перекрестке — свой суд и свои палачи. Таким образом, подобно греку, у которого было столько же богов, сколько источников в его стране, или персу, у которого было столько же богов, сколько он видел звезд на небе, француз насчитывает столько же королей, сколько замечает виселиц! Черт возьми! Это вредно, и мне такой беспорядок не нравится. Я бы хотел знать, есть ли на то воля Всевышнего, чтобы в Париже имелся другой смотритель дорог, кроме короля, другое судилище, помимо нашей судебной палаты, и другой государь в нашем государстве, кроме меня! Клянусь душой, пора уже прийти тому дню, когда во Франции будет один король, один владыка, один судья и один палач, подобно тому как в раю только один Бог!

Он еще раз приподнял свою шляпу и все так же погруженный в свои мысли, тоном охотника, на-

уськивающего и спускающего свору, продолжал:

— Хорошо, мой народ! Отлично! Истребляй этих лжевладык! Делай свое дело! Ату, ату их! Грабь их, вешай их, громи их!.. А-а, вы захотели быть королями, монсеньоры? Бери их, народ, бери!

Здесь он внезапно умолк и, закусив губу, словно желая удержать наполовину высказанную мысль, поочередно окинул каждую из пяти окружающих его особ своими проницательными глазами. Вдруг, сорвав обеими руками шляпу с головы и глядя на нее, он произнес:

— О, я бы сжег тебя, если бы тебе было известно, что таится в моей голове! — И снова обведя присутствовавших зорким и настороженным взглядом лисицы, тайком прокрадывающейся в свою нору, он сказал: — Как бы то ни было, мы окажем помощь господину судье! К несчастью, у нас сейчас под рукой очень мало войска, чтобы справиться с такой толпой. Придется подождать утра. В Ситэ восстановят порядок и не мешкая вздернут на виселицу всех, кто будет пойман.

— Кстати, государь, — сказал кум Куактье, — я об этом позабыл в первую минуту тревоги. Ночной дозор захватил двух людей, отставших от банды. Ежели вашему величеству угодно будет их видеть, то они здесь.

— Угодно ли мне их видеть! — воскликнул король. — Как же, клянусь Пасхой, ты мог забыть такую вещь! Поспеши, Оливье, беги за ними!

Мэтр Оливье вышел и минуту спустя возвратился в сопровождении двух пленников, окруженных стрелками королевской стражи. У одного из них была одутловатая глупая рожа, пьяная и изумленная. Одет он был в лохмотья и шел, прихрамывая и волоча одну ногу. У второго было мертвенно-бледное и улыбающееся лицо, уже знакомое читателю.

Король с минуту молча рассматривал их, затем вдруг обратился к первому:

— Как тебя зовут?

— Жьефруа Брехун.

— Твое ремесло?

— Бродяга.

— Ты зачем ввязался в этот проклятый мятеж?

Бродяга глядел на короля с дурацким видом, болтая руками. Это была одна из тех неладно скроенных голов, где разуму так же привольно, как пламени под гасильником.

— Не знаю, — ответил он. — Все пошли, пошел и я.

— Вы намеревались дерзко напасть на вашего господина — дворцового судью и разграбить

его дом?

— Я знаю только, что люди шли что-то у кого-то брать. Вот и все.

Один из стрелков показал королю кривой нож, отобранный у бродяги.

— Ты узнаешь это оружие? — спросил король.

— Да, это мой нож. Я виноградарь.

— А этот человек — твой сообщник? — продолжал Людовик XI, указывая на другого пленника.

— Нет, я его вовсе не знаю.

— Довольно, — сказал король и сделал знак молчаливой фигурке, неподвижно стоявшей возле дверей, на которую мы уже обращали внимание нашего читателя.

— Кум Тристан, бери этого человека, он твой.

Тристан Отшельник поклонился. Он шепотом отдал приказание двум стрелкам, и те увели несчастного бродягу.

Тем временем король приблизился ко второму пленнику, с которого градом катился пот.

— Твое имя?

— Пьер Гренгуар, государь.

— Твое ремесло?

— Философ, государь.

— Как ты смеешь, негодяй, идти на нашего друга господина дворцового судью? И что ты можешь

сказать об этом бунте?

— Государь, я не участвовал в нем.

— Как так, распутник? Ведь тебя захватила ночная стража среди этой преступной банды!

— Нет, государь, тут произошло недоразумение. Это моя злая доля. Я сочиняю трагедии. Государь, я умоляю ваше величество выслушать меня. Я поэт. Присущая людям моей профессии мечтательность гонит нас по ночам на улицу. Я был охвачен ею нынче вечером. Это совершенная случайность. Меня понапрасну задержали. Я не виноват в этом взрыве народных страстей. Ваше величество изволили слышать, что бродяга даже не признал меня. Заклинаю ваше величество…

— Замолчи! — проговорил король между двумя глотками своей настойки. — От твоей болтовни голова трещит.

Тристан Отшельник приблизился к королю и, указывая на Гренгуара, сказал:

— Государь, и этого тоже можно вздернуть?

Это были первые слова, произнесенные им.

— Ха! — небрежно ответил король. — Возражений не имею.

— Зато у меня их много! — сказал Гренгуар.

Философ в эту минуту был зеленее оливки. По холодному и безучастному лицу короля он

понял, что спасти его может только какое-нибудь высокопатетическое действие. Он бросился к ногам Людовика XI, восклицая с отчаянной жестикуляцией:

— Государь! Ваше величество! Окажите милость, выслушайте меня! Государь, не гневайтесь на такое ничтожество, как я! Громы небесные не поражают латука. Государь, вы венценосный, могущественный монарх! Сжальтесь над несчастным, но честным человеком, который так же мало способен подстрекать к бунту, как лед — давать искру. Всемилостивейший государь, милосердие — добродетель льва и монарха. Увы, суровость лишь запугивает умы. Неистовым порывам северного ветра не сорвать плаща с путника, между тем как солнце, изливая на него свои лучи, мало-помалу так пригревает его, что заставляет остаться в одной рубашке. Государь, вы — то же солнце. Заверяю вас, мой высокий повелитель и господин, что я не товарищ бродяг, не вор, не распутник. Бунт и разбой не пристали слугам Аполлона. Не такой я человек, чтобы бросаться в эти грозовые тучи, которые разражаются мятежом. Я верный подданный вашего величества. Подобно тому как муж дорожит честью своей жены, как сын дорожит любовью отца,

так и добрый подданный дорожит славой своего короля. Он должен живот свой положить за дом своего монарха, служа ему со всем усердием. Все иные страсти, которые увлекли бы его, лишь заблуждение. Таковы, государь, мои политические взгляды. Поэтому не считайте меня бунтовщиком и грабителем при виде моих потертых локтей. Если вы помилуете меня, государь, то я протру мое платье и на коленях, денно и нощно моля за вас Создателя! Увы, я не очень богат. Я даже, пожалуй, беден. Но это не сделало меня порочным. Бедность — не моя вина. Всем известно, что литературным трудом не накопишь больших богатств, и у тех, кто наиболее искусен в сочинении прекрасных книг, не всегда зимой пылает яркий огонь в очаге. Одни только стряпчие собирают зерно, а другим научным профессиям остается лишь солома. Существует сорок великолепных пословиц о дырявых плащах философов. О государь, милосердие — единственный светоч, который в силах озарить глубины великой души! Милосердие освещает путь всем другим добродетелям. Без него они шли бы ощупью, как слепцы в поисках Бога. Милосердие, тождественное великодушию, рождает в подданных ту любовь, которая составляет надежнейшую охрану короля.

Что вам до того — вам, вашему величеству, блеск которого всех ослепляет, — если на земле будет больше одним человеком, убогим, безобидным философом, бредущим во мраке бедствий с пустым желудком и с пустым карманом! К тому же, государь, я ученый. Те великие государи, которые покровительствовали ученым, вплетали лишнюю жемчужину в свой венец. Геркулес не пренебрегал титулом покровителя муз. Матвей Корвин благоволил к Жану Монруаялю, красе математиков. Что же это будет за покровительство наукам, если ученых будут вешать? Какой позор пал бы на Александра, если бы он приказал повесить Аристотеля! Это была бы не мушка, украшающая лицо его славы, а злокачественная безобразная язва. Государь, я сочинил весьма недурную эпиталаму в честь Маргариты Фландрской и августейшего дофина! На это поджигатель мятежа не способен. Ваше величество может убедиться, что я не какой-нибудь жалкий писака, что я отлично учился и обладаю большим природным красноречием. Смилуйтесь надо мной, государь! Вы этим сделаете угодное Богоматери. Клянусь вам, что меня очень страшит мысль быть повешенным!

И несчастный Гренгуар стал лобызать туфли

короля. Гильом Рим шепнул Копенолю:

— Он хорошо делает, что валяется у его ног. Короли подобны Юпитеру Критскому — у них уши только в ногах.

А чулочник, нимало не думая о Юпитере Критском и не спуская глаз с Гренгуара, с грубоватой усмешкой сказал:

— О, как это приятно! Мне кажется, что я снова слышу канцлера Гугоне, который молит меня о пощаде.

Когда Гренгуар, совсем запыхавшись, наконец умолк, он, дрожа, поднял взгляд на короля, который ногтем отчищал пятно на коленях своих панталон. Затем его величество стал пить из кубка свою настойку. Он не произносил ни звука, и молчание это терзало Гренгуара. Наконец король взглянул на него.

— Что за невероятный болтун! — сказал он. И, обернувшись к Тристану Отшельнику, проговорил: — Эй, отпусти-ка его!

Гренгуар не помнил себя от радости.

— Отпустить? — заворчал Тристан. — А не подержать ли его немножко в клетке, ваше величество?

— Кум, — возразил Людовик XI, — неужели ты полагаешь, что мы строим эти клетки стоимо-

стью в триста шестьдесят семь ливров восемь су и три денье для таких вот птах? Немедленно отпусти этого распутника (Людовик XI очень любил это слово, которое вместе с поговоркой «клянусь Пасхой» исчерпывало весь его запас шуток) и выставь его за дверь пинком.

— Уф! — воскликнул Гренгуар. — Вот великий король!

И, опасаясь, как бы король не раздумал, он бросился к двери, которую Тристан довольно угрюмо открыл ему. Вслед за ним вышла и стража, подталкивая его сзади кулаками, что Гренгуар перенес терпеливо, как и подобает истинному философу-стоику.

Благодушное настроение, овладевшее королем с той минуты, как его известили о бунте против дворцового судьи, сквозило во всем. Проявленное им необычайное милосердие служило тому немаловажным признаком. Тристан Отшельник хмуро поглядывал из своего угла, точно пес, которому кость показали, а дать не дали.

Король между тем весело выбивал пальцами на ручке кресла понтодемерский марш. Хотя он и знал науку притворства, но умел лучше скрывать свои заботы, чем радости. Порою эти внешние проявления удовольствия при всякой доброй

вести заходили очень далеко: так, например, узнав о смерти Карла Смелого, он дал обет пожертвовать серебряные решетки в храм Святого Мартина Турского, а при восшествии на престол забыл распорядиться похоронами своего отца.

— Да, государь, — спохватился внезапно Жак Куактье, — что же ваш острый приступ болезни, ради которого вы меня сюда вызвали?

— Ой! — простонал король. — Я и в самом деле очень страдаю, куманек. У меня страшно шумит в ушах, а грудь словно раздирают огненные зубья.

Куактье взял руку короля и с ученым видом стал щупать пульс.

— Взгляните, Копеноль, — сказал, понизив голос, Рим. — Вот он сидит между Куактье и Тристаном. Это весь его двор. Врач — для него, палач — для других.

Считая пульс короля, Куактье выказывал все большую и большую тревогу. Людовик XI смотрел на него с некоторым беспокойством. Куактье мрачнел с каждой минутой. У бедного малого не было иного источника доходов, кроме плохого здоровья короля. Он извлекал из этого все, что мог.

— О-о! — пробормотал он наконец. — Это действительно серьезно.

— Правда? — спросил обеспокоенный король.

— Pulsus creber, anhelans, crepitans, irregularis[155], — продолжал лекарь.

— Клянусь Пасхой!

— При таком пульсе через три дня может не стать человека.

— Пресвятая Дева! — воскликнул король. — Какое же лекарство, кум?

— Об этом-то я и думаю, государь.

Он заставил Людовика XI показать язык, покачал головой, скорчил гримасу и посреди всех этих кривляний неожиданно сказал:

— К слову, государь, я должен вам сообщить, что освободилось место сборщика королевских налогов с епархий и монастырей, а у меня есть племянник.

— Даю это место твоему племяннику, кум Жак, — ответил король, — только избавь меня от огня в груди.

— Если вы, ваше величество, столь милостивы, — вновь заговорил врач, — то вы не откажете мне в небольшой помощи, чтобы я мог закончить постройку моего дома на улице Сент-Андре-дез-

---

[155] Примечания: 155

Пульс частый, прерывистый, слабый, неправильный *(лат.)*.

Арк.

— Гм! — сказал король.

— У меня деньги на исходе, — продолжал врач, — было бы очень жаль оставить такой дом без крыши. Дело не в самом доме — это скромный, обычный дом горожанина, но в росписи Жеана Фурбо, украшающей панели. Там есть летящая по воздуху Диана, столь превосходная, столь нежная, столь изящная, столь простодушно оживленная, с такой прелестной прической, увенчанной полумесяцем, с такой белоснежной кожей, что введет в соблазн каждого, кто слишком пристально на нее посмотрит. Там есть еще и Церера. Тоже прелестная богиня. Она сидит на снопах в изящном венке из колосьев, перевитых лютиками и другими полевыми цветами. Ничего нет обольстительнее ее глаз, ее округлых ножек, благородней ее осанки и изящней складок ее одежды. Это одна из самых совершенных и непорочных красавиц, какие когда-либо породила кисть художника.

— Лекарь! — проворчал Людовик XI. — Говори, куда ты клонишь?

— Мне необходима крыша над всей этой росписью, государь. Хоть это и пустяки, но у меня нет больше денег.

— Сколько же надо на твою крышу?

— Полагаю… медная крыша с украшениями и позолотой — не больше двух тысяч ливров.

— Ах, разбойник! — воскликнул король. — За каждый вырванный зуб ему приходится платить бриллиантом.

— Будет у меня крыша? — спросил Куактье.

— Да! Черт с тобой, только вылечи меня.

Жак Куактье низко поклонился и сказал:

— Государь, вас спасет рассасывающее средство. Мы положим вам на поясницу большой пластырь из вощаной мази, армянского болюса, яичного белка, оливкового масла и уксуса. Вы будете продолжать пить вашу настойку, и мы ручаемся за здоровье вашего величества.

Горящая свеча притягивает к себе не одну мошку. Мэтр Оливье, видя такую щедрость короля и считая минуту благоприятной, также приблизился к нему.

— Государь…

— Ну что там еще? — спросил Людовик XI.

— Государь, вашему величеству известно, что мэтр Симон Раден умер?

— Ну и что?

— Он состоял королевским советником по судебным делам казначейства.

— Дальше что?

— Государь, теперь его место освободилось.

И при этих словах на высокомерном лице мэтра Оливье надменное выражение сменилось угодливым. Только эти два выражения и свойственны лицу царедворца. Король взглянул на него в упор и сказал сухим тоном:

— Понимаю. — Затем продолжал: — Мэтр Оливье, маршал Бусико говаривал: «Только и ждать подарка, что от короля, только и хорош улов, что в море». Я вижу, что вы придерживаетесь мнения господина Бусико. Теперь выслушайте меня. У меня хорошая память. В шестьдесят восьмом году мы назначили вас своим спальником; в шестьдесят девятом — комендантом замка у моста Сен-Клу с жалованьем в сто турских ливров (вы просили считать парижскими). В ноябре семьдесят третьего года приказом нашим, данным в Жержоле, мы назначили вас смотрителем Венсенских лесов вместо дворянина Жильбера Акля; в семьдесят пятом году — лесничим в Рувре-ле-Сен-Клу на место Жака ле Мэра; в семьдесят восьмом году мы всемилостивейшей королевской грамотой за двойными печатями зеленого воска дали вам и жене вашей право взимать налог в десять парижских ливров ежегодно с торговцев на рынке близ

Сен-Жерменской школы. В семьдесят девятом году мы назначили вас лесничим Сенарского леса на место бедняги Жеана Деза; затем комендантом замка Лош; затем правителем Сен-Кентена; затем комендантом Мёланского моста, и вы с этой поры стали именоваться графом Мёлан. Из пяти су штрафа, которые платит каждый цирюльник, бреющий бороды в праздничный день, на вашу долю приходится три су, а на нашу поступает только остаток. Мы милостиво изъявили согласие на то, чтобы вы переменили ваше прежнее имя ле Мове[156], столь подходящее к вашей физиономии, на другое. В семьдесят четвертом году, к великому неудовольствию нашего дворянства, мы пожаловали вам разноцветный герб, который делает вашу грудь похожей на грудь павлина. Клянусь Пасхой! Вы все еще не объелись? Разве не хорош ваш улов? Разве вы не боитесь, что еще один лишний лосось — и ваша ладья может перевернуться? Тщеславие погубит вас, куманек. За тщеславием всегда по пятам следует разорение и позор. Поразмыслите-ка над этим и помолчите.

Эти сурово произнесенные слова заставили лицо мэтра Оливье вновь принять присущее ему

---

[156] Примечания: 156

Ле Мове (le mauvais) — по-французски — «плохой», «злой».

нахальное выражение.

— Ладно, — пробормотал он почти вслух, — сейчас видно, что король нынче болен. Все отдает врачу.

Людовик XI не только не рассердился на эту выдумку, но сказал довольно кротко:

— Постойте! Я и забыл, что назначил вас своим послом в Генте при особе герцогини. Да, господа, — проговорил король, обернувшись к фламандцам, — он был послом. Ну, куманек, — продолжал он, обращаясь к мэтру Оливье, — довольно сердиться, ведь мы старые друзья. Теперь уж очень поздно. Мы кончили наши занятия. Побрейте-ка нас.

Читатель, несомненно, давно узнал в «мэтре Оливье» того ужасного Фигаро, которого провидение — этот великий создатель драм — столь искусно вплело в длительную и кровавую комедию, разыгранную Людовиком XI. Мы не намерены заниматься здесь подробной характеристикой сей своеобразной личности. Этот королевский брадобрей имел три имени. При дворе его учтиво именовали Оливье ле Дэн; народ — Оливье Дьявол. Настоящее имя его было Оливье ле Мове.

Итак, Оливье ле Мове стоял неподвижно, дуясь на короля и косо поглядывая на Жака Куактье.

— Да, да! Все для врача! — бормотал он сквозь зубы.

— Ну да, для врача! — подтвердил с необычайным добродушием Людовик XI. — Врач пользуется у нас бóльшим кредитом, чем ты. И это понятно: в его руках вся наша особа, а в твоих — один лишь подбородок. Ну, не горюй, мой бедный брадобрей, перепадет и тебе. Что бы ты сказал и что бы ты стал делать, если бы я был похож на короля Хильперика, имевшего привычку держаться рукой за свою бороду. Ну же, куманек, займись своими обязанностями, побрей меня. Пойди принеси все, что тебе нужно.

Оливье, видя, что король все обращает в шутку и даже невозможно рассердить его, вышел ворча, чтобы исполнить его приказание.

Король встал, подошел к окну и, внезапно распахнув его, в необычайном возбуждении воскликнул, хлопая в ладоши:

— О, правда! Зарево над Ситэ! Это горит дом судьи. Сомнений быть не может! О мой добрый народ! Вот и ты наконец помогаешь мне расправляться с дворянством! — Потом, обернувшись к фламандцам, сказал: — Господа, подойдите взглянуть. Ведь это отблеск пожара, не правда ли?

Оба жителя Гента подошли к нему.

— Сильный огонь, — сказал Гильом Рим.

— О! Это мне напоминает сожжение дома господина Эмберкура, — прибавил Копеноль, и глаза его внезапно сверкнули. — По-видимому, восстание разыгралось не на шутку.

— Вы так полагаете, мэтр Копеноль? — Взгляд короля был почти так же весел, как и взгляд чулочника. — Его трудно будет подавить?

— Клянусь крестом Христовым, государь, вашему величеству придется бросить туда не один отряд воинов!

— Ах, мне! Это другое дело! Если бы я только пожелал…

Чулочник смело возразил:

— Если это восстание действительно таково, как я полагаю, то тут мало только ваших пожеланий.

— Кум! — ответил Людовик XI. — Двух отрядов моей стражи и одного залпа из кулеврины достаточно, чтобы разделаться со всей этой оравой мужичья.

Но чулочник, невзирая на знаки, делаемые Гильомом Римом, решился, по-видимому, не уступать королю.

— Государь, швейцарцы были тоже мужичье, а герцог Бургундский был знатный вельможа

и плевать хотел на этот сброд. Во время битвы при Грансоне, государь, он кричал: «Канониры, огонь по холопам!» — и клялся святым Георгием. Но городской старшина Шарнахталь ринулся на великолепного герцога со своей палицей и своим народом, и от натиска мужланов в куртках из буйволовой кожи блестящая бургундская армия разлетелась вдребезги, точно стекло от удара камнем. Там было немало рыцарей, перебитых мужиками; и господина Шато-Гийона, самого знатного вельможу Бургундии, нашли мертвым вместе с его большим серым конем на лужайке среди болота.

— Друг мой, — ответил король, — вы толкуете о битве. А тут всего-навсего мятеж. И мне стоит лишь бровью повести, чтобы покончить с этим.

Фламандец невозмутимо ответил:

— Возможно, государь. Но это говорит лишь о том, что час народа еще не пробил.

Гильом Рим счел нужным вмешаться:

— Мэтр Копеноль, вы говорите с могущественным королем.

— Я это знаю, — с важностью ответил чулочник.

— Пусть он говорит, господин Рим, друг мой, — сказал король. — Я люблю такую прямоту. Мой

отец Карл Седьмой говаривал, что истина занемогла. Я же думал, что она уже мертва, так и не найдя себе духовника. Мэтр Копеноль доказывает мне, что я ошибался.

И, запросто положив руку на плечо Копеноля, сказал:

— Итак, вы говорите, мэтр Жак…

— Я говорю, государь, что, быть может, вы и правы, но час вашего народа еще не пробил.

Людовик XI пронзительно взглянул на него:

— А когда же, мэтр, пробьет этот час?

— Вы услышите бой часов.

— Каких часов?

Копеноль все с тем же невозмутимым и простоватым видом подвел короля к окну.

— Слушайте, государь! Вот башня, вот дозорная вышка, вот пушки, вот горожане и солдаты. Когда с этой вышки понесутся звуки набата, когда загрохочут пушки, когда с адским гулом рухнет башня, когда солдаты и горожане с рычаньем бросятся друг на друга в смертельной схватке, — вот тогда-то и пробьет этот час.

Лицо Людовика XI стало задумчивым и мрачным. Одно мгновение он стоял молча, затем легонько, точно оглаживая круп скакуна, похлопал рукой по толстой стене башни.

— Ну нет! — сказал он. — Ведь ты не так-то легко падешь, моя добрая Бастилия? — И, круто обернувшись к смелому фламандцу, он спросил: — Вам когда-нибудь случалось видеть восстание, мэтр Жак?

— Я сам поднимал его, — ответил чулочник.

— А что же вы делали, чтобы поднять восстание?

— Ба, это не так уж трудно! — ответил Копеноль. — Это можно делать на сто ладов. Во-первых, необходимо, чтобы в городе существовало недовольство. Это вещь нередкая. Потом — характер жителей. Гентцы очень склонны к восстаниям. Они всегда любят наследника, а государя — никогда. Ну хорошо! Допустим, в одно прекрасное утро придут ко мне в лавку и скажут: «Дядюшка Копеноль, происходит то-то и то-то, герцогиня Фландрская желает спасти своих министров, верховный судья удвоил налог на яблоневые и грушевые саженцы», — или что-нибудь в этом роде. Что угодно. Я тотчас же бросаю работу, выхожу из лавки на улицу и кричу: «Грабь!» В городе всегда найдется какая-нибудь бочка с выбитым дном. Я взбираюсь на нее и громко говорю все, что придет на ум, все, что лежит на сердце. А когда ты из народа, государь, у тебя всегда что-

нибудь да лежит на сердце. Ну, тут собирается народ. Кричат, бьют в набат, отобранным у солдат оружием вооружают селян, рыночные торговцы присоединяются к нам, и бунт готов! И так будет всегда, пока в поместьях будут господа, в городах — горожане, а в селениях — селяне.

— И против кого же вы бунтуете? — спросил король. — Против ваших судей? Против ваших господ?

— Бывает. Это как когда случится. Иногда и против нашего герцога.

Людовик XI снова сел в кресло и, улыбаясь, сказал:

— Вот как? Ну а у нас пока еще они дошли только до судей!

В эту минуту вошел Оливье ле Дэн. За ним следовали два пажа, несшие туалетные принадлежности короля. Но Людовика XI поразило то, что Оливье сопровождали, кроме того, парижский прево и начальник ночной стражи, по-видимому совершенно растерявшиеся. Злопамятный брадобрей тоже казался ошеломленным, но вместе с тем в нем проглядывало внутреннее удовольствие.

Он заговорил первый:

— Государь, прошу ваше величество простить

меня за ту прискорбную весть, которую я несу!

Король живо обернулся, прорвав ножкой своего кресла циновку, покрывавшую пол.

— Что это значит?

— Государь, — продолжал Оливье ле Дэн со злобным видом человека, радующегося, что может нанести жестокий удар, — народ бунтует вовсе не против дворцового судьи.

— А против кого же?

— Против вас, государь.

Старый король вскочил и выпрямился во весь рост, словно юноша.

— Объяснись, Оливье! Объяснись! Да проверь, крепко ли у тебя держится голова на плечах, куманек, ибо, клянусь тебе крестом святого Лоо, если ты нам лжешь — то меч, отсекший голову герцогу Люксембургскому, не настолько еще зазубрился, чтобы не снести прочь и твоей!

Клятва была ужасна. Только дважды в своей жизни Людовик XI клялся крестом святого Лоо. Оливье собрался было ответить.

— Государь…

— На колени! — резко прервал его король. — Тристан, стереги этого человека!

Оливье опустился на колени и холодно произнес:

— Государь, ваш королевский суд приговорил к смерти какую-то колдунью. Она нашла убежище в Соборе Богоматери. Народ хочет силой ее оттуда взять. Господин прево и господин начальник ночной стражи, прибывшие оттуда, здесь перед вами и могут уличить меня, если я говорю неправду. Народ осаждает Собор Богоматери.

— Вот как! — проговорил тихим голосом король, весь побледнев и дрожа от гнева. — Собор Богоматери! Они осаждают Пресвятую Деву, милостивую мою владычицу, в собственном ее соборе! Встань, Оливье. Ты прав. Место Симона Радена за тобой. Ты прав. Это против меня они поднялись. Колдунья находится под защитой собора, а собор — под моей. А я-то думал, что взбунтовались против судьи! Оказывается, против меня!

И, словно помолодев от ярости, он стал расхаживать большими шагами по комнате. Он не смеялся более. Он был страшен. Лисица превратилась в гиену. Видимо, он так задыхался, что не мог произнести ни слова, губы его шевелились, а костлявые кулаки судорожно сжимались. Внезапно он поднял голову, впалые глаза вспыхнули пламенем, и голос загремел как труба:

— Хватай их, Тристан! Хватай этих мерзавцев!

Беги, друг мой Тристан! Бей их! Бей!

После этой вспышки он снова уселся и с холодным, сосредоточенным бешенством сказал:

— Сюда, Тристан! Здесь, в Бастилии, у нас пятьдесят рыцарей виконта Жифа, что вместе с их оруженосцами составляет триста конных воинов, — возьмите их. Здесь находится также рота стрелков королевской охраны под командой господина де Шатопера — возьмите и их. Вы — старшина цеха кузнецов, в вашем распоряжении все люди вашего цеха — возьмите их. Во дворце Сен-Поль вы найдете сорок стрелков из новой гвардии дофина — возьмите их; и со всеми этими силами скорей к собору. А-а, парижская голь, ты, значит, идешь против короны Франции, против святыни Собора Богоматери, ты посягаешь на мир нашего государства! Истребляй их, Тристан! Уничтожай их! А кто останется жив, того на Монфокон.

Тристан поклонился.

— Хорошо, государь! — И, помолчав, добавил: — А что мне сделать с колдуньей?

Этот вопрос заставил короля призадуматься.

— С колдуньей? — спросил он. — Господин Эстутвиль, а что хотел с ней сделать народ?

— Государь, я полагаю, что если народ пыта-

ется вытащить ее из Собора Богоматери, где она нашла убежище, то потому, вероятно, что ее безнаказанность его оскорбляет, и он хочет ее повесить, — ответил парижский прево.

Король, казалось, погрузился в глубокое размышление и затем, обратившись к Тристану Отшельнику, сказал:

— Ну что же, куманек, в таком случае народ перебей, а колдунью вздерни.

— Так, так, — тихо шепнул Рим Копенолю, — наказать народ за его желание, а потом сделать то, чего желал этот народ.

— Слушаю, государь, — ответил Тристан. — А если ведьма все еще в Соборе Богоматери, то взять ее оттуда, несмотря на право убежища?

— Клянусь Пасхой! Действительно… убежище! — вымолвил король, почесывая себе за ухом. — Однако эта женщина должна быть повешена.

И тут, словно озаренный какой-то внезапно пришедшей мыслью, он бросился на колени перед своим креслом, снял шляпу, положил ее на сиденье и, благоговейно глядя на одну из свинцовых фигурок, ее украшавших, произнес, молитвенно сложив на груди руки:

— О Парижская Богоматерь! Моя милостивая

покровительница, простите мне! Я сделаю это только единственный раз! Эту преступницу надо покарать. Уверяю вас, Пречистая Дева, моя всемилостивейшая госпожа, что эта колдунья недостойна вашей благосклонной защиты. Ведь вам известно, Владычица, что многие очень набожные государи нарушали привилегии церкви во славу Божию и по государственной необходимости. Святой Гюг, епископ английский, дозволил королю Эдуарду схватить колдуна в своей церкви. Святой Людовик Французский, мой покровитель, с той же целью нарушил неприкосновенность храма Святого Павла, а Альфоне, сын короля иерусалимского, — даже неприкосновенность церкви Гроба Господня. Простите же меня на этот раз, Богоматерь Парижская! Я этого больше не буду делать и принесу вам в дар прекрасную серебряную статую, подобную той, которую я в прошлом году пожертвовал церкви Богоматери в Экуи. Аминь.

И, осенив себя крестом, он поднялся с колен, снова надел свою шляпу и сказал Тристану:

— Поспешите, куманек. Возьмите с собой господина де Шатопера. Прикажите ударить в набат. Раздавите чернь. Повесьте колдунью. Я так сказал. И я желаю, чтобы казнь была совершена

вами. Вы отдадите мне в этом отчет… Идем, Оливье, я нынче не лягу спать. Побрей-ка меня.

Тристан Отшельник поклонился и вышел. Затем король жестом отпустил Рима и Копеноля.

— Да хранит вас Господь, добрые мои друзья, господа фламандцы. Ступайте отдохните немного. Ночь бежит, и время близится уже к утру.

Фламандцы удалились, и когда они в сопровождении коменданта Бастилии дошли до своих комнат, Копеноль сказал Риму:

— Гм! Я сыт по горло этим кашляющим королем! Мне довелось видеть пьяным Карла Бургундского, но он не был так зол, как этот больной Людовик Одиннадцатый.

— Мэтр Жак, — ответил Рим, — это потому, что королевское вино слаще, чем лекарство.

VI. Короткие клинки звенят

Выйдя из Бастилии, Гренгуар с быстротой сорвавшейся с привязи лошади пустился бежать вниз по улице Сент-Антуан. Добежав до ворот Бодуайе, он прямо направился к возвышавшемуся среди площади каменному распятию, словно мог различить во мраке человека в черном плаще с капюшоном, сидевшего на ступеньках у подножия креста.

— Это вы, мэтр? — спросил Гренгуар.

Черная фигура встала.

— Страсти Господни! Я горю от нетерпения, Гренгуар. Сторож на башне Сен-Жерве уже прокричал половину второго.

— О! В этом виноват не я, а ночная стража и король, — ответил Гренгуар. — Я еще благополучно от них отделался. Я всегда упускаю случай быть повешенным. Такова моя судьба.

— Ты всегда все упускаешь, — ответил второй. — Но поспешим. Знаешь ли ты пароль?

— Представьте, учитель, я видел короля. Я только что от него. На нем фланелевые штаны. Это целое приключение.

— Что за пустомеля! Какое мне дело до твоих

приключений! Известен тебе пароль бродяг?

— Да. Не беспокойтесь. Вот он, пароль: «Короткие клинки звенят».

— Хорошо. Без него нам не добраться до церкви. Бродяги загородили все улицы. К счастью, они как будто натолкнулись на сопротивление. Может быть, мы поспеем еще вовремя.

— Конечно, учитель. Но как мы проберемся в Собор Богоматери?

— У меня ключи от башен.

— А как мы оттуда выйдем?

— Позади монастыря есть потайная дверца, выходящая на Террен, а оттуда к реке. Я захватил ключ от нее и еще с утра припас лодку.

— Однако я счастливо избег виселицы! — опять заговорил Гренгуар.

— Ну скорее! Бежим! — торопил его другой.

И оба поспешным шагом направились в Ситэ.

VII. Шатопер, выручай!

Быть может, читатель припомнит, в каком опасном положении мы оставили Квазимодо. Отважный звонарь, окруженный со всех сторон, утратил если не всякое мужество, то по крайней мере всякую надежду спасти — не себя, о себе он и не помышлял, — но цыганку. Он метался по галерее, потеряв голову. Еще немного, и Собор Богоматери будет взят бродягами. Внезапно оглушительный конский топот раздался на соседних улицах, показалась длинная вереница факелов и густая колонна всадников с отпущенными поводьями и пиками наперевес. На площадь как ураган обрушились неистовый шум и крики: «За Францию! За Францию! Крошите мужичье! Шатопер, выручай! За прево! За прево!»

Приведенные в замешательство бродяги повернулись лицом к неприятелю.

Квазимодо, не слышавший ничего, вдруг увидел обнаженные шпаги, факелы, острия пик, всю эту конницу, во главе которой узнал Феба. Он видел смятение бродяг, ужас одних, растерянность других, и в этой неожиданной помощи почерпнул такую силу, что отбросил от церкви уже вступив-

ших было на галерею первых смельчаков.

Действительно, то прискакали отряды королевских стрелков. Однако бродяги действовали отважно. Они оборонялись как бешеные. Будучи атакованы с фланга, через улицу Сен-Пьер-о-Беф, а с тыла через Папертную улицу, подавшись к самому Собору Богоматери, который они продолжали еще осаждать, а Квазимодо защищать, они оказались осаждающими и осажденными одновременно. Они находились в том же странном положении, в котором позже, в 1640 году, во время пресловутой осады Турина, очутился граф Анри д'Аркур, осаждавший принца Тома Савойского и сам обложенный войсками маркиза Леганеза, Taurinum obsessor idem est obsessus[157], как гласила его надгробная надпись.

Схватка была ужасная. «Волчьей шкуре — собачьи клыки», — как говорит Пьер Матье. Королевские конники, среди которых выделялся Феб де Шатопер, не щадили никого. Острием меча они доставали тех, кто увернулся от лезвия. Плохо вооруженные бродяги кусались, беснуясь от ярости. Мужчины, женщины, дети, кидаясь на крупы и на грудь лошадей, вцеплялись в них

---

[157] Примечания: 157
Осаждая Турин, сам был осажден *(лат.)*.

зубами и ногтями, как кошки. Другие совали факелы в лицо стрелкам. Третьи забрасывали железные крючья на шеи всадников, стаскивали их с седла и рвали на части упавших.

Особенно выделялся один из бродяг, долгое время подсекавший широкой блестящей косой ноги лошадей. Он был ужасен. Гнусаво распевая песню, он безостановочно то поднимал, то опускал косу. При каждом взмахе вокруг него ложился широкий круг раненых. Так спокойно и медлительно, покачивая головой и шумно дыша, подвигался он к самому сердцу конницы, равномерным шагом косца, пожинающего свою ниву. Это был Клопен Труйльфу. Выстрел из пищали уложил его на месте.

Между тем окна домов вновь распахнулись. Жители, услышав воинственный клич королевских конников, вмешались в дело, и из всех этажей на бродяг посыпались пули. Площадь затянуло густым дымом, который пронизывали вспышки мушкетных выстрелов. В этом дыму смутно вырисовывался фасад Собора Богоматери и ветхий Отель-Дье, из слуховых окон которого, выходивших на кровлю, глядели на площадь изможденные лица больных.

Наконец бродяги дрогнули. Усталость, недо-

статок хорошего оружия, испуг, вызванный неожиданностью нападения, пальба из окон, бурный натиск королевских конников — все это сломило их силы. Они прорвали цепь нападавших и разбежались по всем направлениям, оставив на площади груды мертвецов.

Когда Квазимодо, ни на мгновение не переставший сражаться, увидел это бегство, он упал на колени и простер руки к небесам. Потом, опьяненный радостью, он с быстротою птицы понесся к келейке, подступ к которой он так отважно защищал. Теперь им владела лишь одна мысль: преклонить колени перед той, которую он только что вторично спас.

Когда он вошел в келью, она была пуста.

Книга одиннадцатая

I. Башмачок

В то время как бродяги начали осаду собора, Эсмеральда спала.

Вскоре все возраставший шум вокруг храма и беспокойное блеяние козочки, проснувшейся раньше, чем она, пробудили ее ото сна. Она привстала на постели, прислушалась, огляделась; потом, испуганная шумом и светом, бросилась вон из кельи, чтобы узнать, что случилось. Вид самой площади, мечущиеся по ней привидения, беспорядок этого ночного штурма, отвратительная толпа, еле различимая в темноте и подпрыгивающая, словно полчище лягушек, ее хриплое кваканье, несколько красных факелов, мелькавших и сталкивавшихся во мраке, словно блуждающие огоньки, бороздящие туманную поверхность болота, — все это зрелище произвело на нее впечатление какой-то таинственной битвы, завязавшейся между призраками шабаша и каменными чудовищами храма. Проникнутая с детства суевериями цыганского племени, она прежде всего предположила, что случайно присутствует при каком-то колдовском обряде, который совершают таинственные ночные

существа. Испугавшись, она бросилась назад и притаилась в своей келье, моля свое убогое ложе не посылать ей таких страшных кошмаров.

Постепенно ее первые страхи рассеялись. По непрерывно возраставшему шуму и многим другим проявлениям реальной жизни она почувствовала, что ее обступают не призраки, а живые существа. И она подумала, что, быть может, народ восстал, чтобы силой взять ее из убежища. Тогда вновь ею овладел ужас, но теперь он принял другую форму. Мысль о том, что ей вторично предстоит проститься с жизнью, надеждой, Фебом, который неизменно присутствовал во всех ее грезах о будущем, глубокая беспомощность, невозможность бегства, отсутствие всякой поддержки, заброшенность, одиночество — все эти мысли и еще тысячи других придавили ее тяжелым гнетом. Она упала на колени, лицом в постель, обхватив руками голову, объятая тоской и страхом. Цыганка, идолопоклонница, язычница, она стала, рыдая, просить о помощи христианского Бога и молиться Пресвятой Богородице, оказавшей ей гостеприимство. Бывают в жизни минуты, когда даже неверующий готов исповедовать религию того храма, который окажется близ него.

Так лежала она довольно долго, повергшись наземь, не столько молясь, если говорить правду, сколько дрожа и леденея, овеваемая дыханием все ближе и ближе подступавшей к ней разъяренной толпы, ничего не понимая во всем этом неистовстве, не ведая, что затевается, что творится вокруг нее, чего добиваются, но смутно предчувствуя страшную развязку.

Вдруг среди этих терзаний она услышала возле себя шаги. Она обернулась. Два человека, из которых один нес фонарь, вошли в ее келью. Она слабо вскрикнула.

— Не пугайтесь, — произнес голос, показавшийся ей знакомым, — это я.

— Кто вы? — спросила она.

— Пьер Гренгуар.

Это имя успокоило ее. Она подняла глаза и узнала поэта. Но рядом с ним стояла какая-то темная фигура, закутанная с головы до ног и поразившая ее своим безмолвием.

— А ведь Джали узнала меня раньше, чем вы! — произнес Гренгуар с упреком.

И действительно, козочка не стала дожидаться, пока Гренгуар назовет ее по имени. Лишь только он вошел, она принялась ласково тереться об его колени, осыпая поэта нежностями и белой шер-

стью, ибо она в ту пору линяла. Гренгуар столь же нежно отвечал на ее ласки.

— Кто это с вами? — понизив голос, спросила цыганка.

— Не беспокойтесь, — ответил Гренгуар, — это один из моих друзей.

Затем философ, поставив фонарь на пол, присел на корточки и, обнимая Джали, восторженно воскликнул:

— Что за прелестное животное! Правда, оно отличается больше своей чистоплотностью, чем величиной, но смышленое, ловкое и ученое, словно какой-нибудь грамматик! Ну-ка, Джали, посмотрим, не запамятовала ли ты что-нибудь из твоих забавных штучек? Как делает мэтр Жак Шармолю?..

Человек в черном не дал ему договорить. Он подошел к Гренгуару и грубо тряхнул его за плечо. Гренгуар вскочил.

— Правда, — сказал он, — я и забыл, что нам надо торопиться. Но, учитель, это все еще не основание, чтобы так обращаться с людьми! Мое дорогое, прелестное дитя, ваша жизнь в опасности, и жизнь Джали также. Вас опять хотят повесить. Мы — ваши друзья и пришли спасти вас. Следуйте за нами.

— Неужели это правда? — воскликнула она, потрясенная.

— Истинная правда. Бежим скорей!

— Охотно, — пролепетала она. — Но отчего ваш друг молчит?

— Да потому что его родители были чудаки и оставили ему в наследство молчаливый характер, — ответил Гренгуар.

Эсмеральде пришлось удовлетвориться этим объяснением. Гренгуар взял ее за руку, его спутник поднял фонарь и пошел впереди них. Оцепенев от ужаса, молодая девушка позволила увести себя. Коза вприпрыжку побежала за ними; она так радовалась встрече с Гренгуаром, что поминутно тыкалась рожками ему в колени, заставляя поэта то и дело терять равновесие.

— Вот она, жизнь! — говорил философ всякий раз, как спотыкался. — Зачастую именно лучшие друзья подставляют вам ножку!

Они быстро спустились с башенной лестницы, пересекли собор, безлюдный и сумрачный, но весь звучащий отголосками сражения, что составляло ужасающий контраст с его безмолвием, и вышли через Красные врата на монастырский двор. Монастырь опустел! Монахи укрылись в епископском дворце, где творили соборную

молитву; двор тоже опустел, лишь несколько перепуганных слуг прятались по темным его уголкам. Беглецы направились к калитке, выходившей на Террен. Человек в черном открыл эту калитку имевшимся у него ключом. Нашему читателю уже известно, что Терреном назывался мыс, обнесенный со стороны Ситэ оградой; он принадлежал капитулу Собора Парижской Богоматери и представлял собой восточный конец острова за монастырем. Здесь не было ни души. Шум осады стих, смягченный расстоянием. Крики шедших на приступ бродяг казались здесь смешанным отдаленным гулом. Свежий ветер с реки шумел в листве единственного дерева, росшего на самой оконечности Террена, и можно было ясно расслышать шелест листьев. Но беглецы еще не ушли от опасности. Ближайшими к ним зданиями были епископский дворец и собор. По-видимому, в епископском дворце царил страшный переполох. Сумрачный фасад здания бороздили перебегавшие от окна к окну огоньки, словно яркие искры, проносящиеся в причудливом беге по темной кучке пепла от сгоревшей бумаги. Рядом — две необъятные башни Собора Богоматери, покоившиеся на главном корпусе здания, вырисовывались черными силуэтами на

огромном багровом фоне площади, напоминая два гигантских тагана в очаге циклопов.

Все то, что было видно от раскинувшегося окрест Парижа, представлялось глазу смесью колеблющихся темных и светлых пятен. Подобное освещение заднего плана можно видеть на полотнах Рембрандта.

Человек, несший фонарь, направился к оконечности мыса Террен. Там у самой воды шел оплетенный дранкой полусгнивший частокол, за который цеплялось несколько чахлых лоз дикого винограда, словно вытянутые пальцы. Позади, в тени, отбрасываемой этим плетнем, был привязан челнок. Человек жестом приказал Гренгуару и его спутнице сойти в него. Козочка прыгнула вслед за ними. Незнакомец вошел последним. Затем, перерезав веревку, которой был привязан челнок, он оттолкнулся длинным багром от дерева, схватил весла, сел на носу и изо всех сил принялся грести к середине реки. Течение Сены в этом месте было очень быстрое, и ему стоило немалого труда отчалить от острова.

Первой заботой Гренгуара, когда он вошел в лодку, было взять козочку к себе на колени. Он уселся на корме, а молодая девушка, которой незнакомец внушал безотчетный страх, села

рядом с поэтом, прижавшись к нему.

Когда наш философ почувствовал, что лодка поплыла, он захлопал в ладоши и поцеловал Джали в темя между рожками.

— Ох, — воскликнул он, — наконец-то мы все четверо спасены! — И с глубокомысленным видом добавил: — Порой мы обязаны счастливым исходом великого предприятия удаче, порой — хитрости.

Лодка медленно плыла к правому берегу. Молодая девушка с тайным страхом наблюдала за незнакомцем. Он заботливо заслонил свет потайного фонаря и, точно призрак, вырисовывался в темноте на носу лодки. Его опущенный на лицо капюшон казался маской, и при каждом взмахе весел его руки, с которых свисали широкие черные рукава, казались похожими на большие крылья летучей мыши. За все это время он не произнес ни единого слова, не издал ни единого звука. В лодке слышался лишь равномерный плеск весел да журчание тысячи струй за бортом челнока.

— Клянусь душой! — воскликнул вдруг Гренгуар. — Мы здесь все бодры и веселы, как сычи! Молчим, как пифагорейцы или рыбы! Клянусь Пасхой, мне бы очень хотелось, чтобы кто-ни-

будь заговорил! Звук человеческого голоса — это музыка для человеческого слуха. Слова эти принадлежат не мне, а Дидиму Александрийскому, — блестящее изречение!.. Несомненно, Дидим Александрийский — весьма незаурядный философ… Скажите мне хоть одно слово, прелестное дитя, умоляю вас, хоть одно слово!.. Кстати, вы делали когда-то такую забавную гримаску! Скажите, вы не позабыли ее? Известно ли вам, моя милочка, что все места убежищ входят в круг ведения высшей судебной палаты, и вы подвергались большой опасности в вашей келейке в Соборе Богоматери? Увы, колибри вьет гнездышко в пасти крокодила!.. Учитель, а вот луна выплывает… Только бы нас не приметили!.. Мы совершаем похвальный поступок, спасая девушку, и тем не менее, если нас поймают, то повесят именем короля. Увы! Ко всем человеческим поступкам можно относиться двояко: за что клеймят одного, за то другого венчают лаврами. Кто благоговеет перед Цезарем, тот порицает Катилину. Не так ли, учитель? Что вы скажете о такой философии? Я ведь знаю философию по инстинкту, как пчелы геометрию, ut apes geometriam. Ну что? Никто мне не хочет отвечать? Вы оба, я вижу, не в духе! Приходится болтать

одному. В трагедиях это именуется монологом. Клянусь Пасхой!.. Надо вам сказать, что я только что видел короля Людовика Одиннадцатого и от него перенял эту божбу... Итак, клянусь Пасхой, они все еще продолжают здорово рычать там, в Ситэ!.. Противный злюка этот старый король! Он весь запеленут в меха. Он все еще не уплатил мне за эпиталаму и чуть было не приказал повесить меня сегодня вечером, а это было бы очень некстати... Он скряга и скупится на награды достойным людям. Ему следовало бы прочесть четыре тома «Adversus avaritiam»[158] Сальвиана Кельнского. Право, у него весьма узкий взгляд на литераторов, и он позволяет себе варварскую жестокость. Это какая-то губка для высасывания денег из народа. Его казна — это больная селезенка, распухающая за счет всех других органов тела. Поэтому-то жалобы на плохие времена превращаются в ропот против короля. Под властью этого благочестивого тихони виселицы так и трещат от тысяч повешенных, плахи загнивают от проливаемой крови, тюрьмы лопаются, как переполненные утробы! Одной рукой он грабит, другой вешает. Это прокурор господина Налога и

---

[158] Примечания: 158
«Против скупости» *(лат.)*.

государыни Виселицы. У знатных отнимают их сан, а бедняков без конца обременяют новыми поборами. Это король, ни в чем не знающий меры! Не люблю этого монарха. А вы, учитель?

Человек в черном не мешал говорливому поэту болтать. Он боролся с сильным течением узкого рукава реки, отделяющего округлый берег Ситэ от мыса острова Богоматери, ныне именуемого островом Людовика.

— Кстати, учитель! — вдруг спохватился Гренгуар. — Заметили ли вы, ваше преподобие, когда мы пробивались сквозь эту толпу взбесившихся бродяг, бедного чертенка, которому ваш глухарь собирался размозжить голову о перила галереи королей? Я близорук и не мог его распознать. Не знаете ли вы, кто бы это мог быть?

Незнакомец не ответил ни слова, но внезапно выпустил весла, руки его повисли, словно надломленные, голова поникла на грудь, и Эсмеральда услышала судорожный вздох. Она затрепетала. Она уже слыхала эти вздохи.

Лодка, предоставленная сама себе, несколько минут плыла по течению. Но человек в черном выпрямился, вновь взялся за весла и стал грести вверх по реке. Он обогнул мыс острова Богоматери и направился к Сенной пристани.

— А, вот и особняк Барбо! — сказал Гренгуар. — Глядите-ка, учитель, видите вы эту группу черных крыш, образующих такие причудливые углы, — вон там, под низко нависшими волокнистыми, мутными и грязными облаками, между которыми лежит эта раздавленная, расплывшаяся луна, точно желток, пролитый из разбитого яйца? Это прекрасное здание. В нем имеется часовня, увенчанная небольшим сводом, сплошь покрытым отличной резьбой. Над ней вы можете разглядеть колокольню с весьма изящно вырезанными просветами. При доме есть занятный сад — в нем и пруд, и птичник, и «эхо», площадка для игры в мяч, лабиринт, домик для диких зверей и множество тенистых аллей, весьма любезных богине Венере. Есть там и любопытное дерево, которое именуют «Сластолюбец», ибо оно своею сенью прикрывало любовные утехи одной знатной принцессы и галантного остроумного коннетабля Франции. Увы, что значим мы, жалкие философы, перед каким-нибудь коннетаблем? То же, что грядка капусты и редиски по сравнению с садами Лувра. Впрочем, это не имеет значения! Жизнь человеческая как для нас, так и для сильных мира сего исполнена добра и зла. Страдание всегда сопутствует наслаждению, как спондей чередуется

с дактилем. Учитель, я должен рассказать вам историю особняка Барбо. Она кончается трагическим образом. Дело происходило в тысяча триста девятнадцатом году, в царствование Филиппа, самого долговязого из всех французских королей. Мораль всего этого повествования заключается в том, что искушения плоти всегда гибельны и коварны. Не надо заглядываться на жену ближнего своего, как бы ни были наши чувства восприимчивы к ее прелестям. Мысль о прелюбодеянии непристойна. Измена супружеской верности — это удовлетворение любопытства к наслаждению, которое испытывает другой… Ого! А шум-то там все усиливается!

Действительно, суматоха вокруг собора возрастала. Они прислушались. До них явственно долетели победные крики. Внезапно сотни факелов, при свете которых засверкали каски воинов, замелькали по всему храму, по всем ярусам башен, на галереях, под упорными арками. Очевидно, кого-то искали, и вскоре до беглецов отчетливо донеслись отдаленные возгласы: «Цыганка! Ведьма! Смерть цыганке!»

Несчастная закрыла лицо руками, а незнакомец яростно принялся грести к берегу. Тем временем наш философ предался размышлениям. Он при-

жимал к себе козочку и осторожно отодвигался от цыганки, которая все теснее и теснее льнула к нему, словно это было единственное, последнее ее прибежище.

Гренгуара явно терзала нерешительность. Он думал о том, что, «согласно существующим законам», маленькая козочка, если ее схватят, тоже должна быть повешена, что будет очень жалко бедняжку Джали; что двух жертв, ухватившихся за него, — многовато для одного человека, что его спутник, наконец, ничего лучшего и не желает, как взять цыганку на свое попечение. Он переживал жестокую борьбу, в которой, как Юпитер в «Илиаде», поочередно взвешивал судьбу цыганки и козы и смотрел то на одну, то на другую влажными от слез глазами, бормоча сквозь зубы: «Но я ведь не могу спасти вас обеих».

Резкий толчок дал им знать, что лодка наконец причалила к берегу. Зловещий гул все еще стоял над Ситэ. Незнакомец встал, приблизился к цыганке и хотел протянуть ей руку, чтобы помочь выйти из лодки. Она оттолкнула его и ухватилась за рукав Гренгуара, а тот, весь отдавшись заботам о козочке, сам почти оттолкнул ее. Тогда она выпрыгнула из лодки. Она была так взволнована, что не понимала ни того, что делает, ни того,

куда идет. С минуту она простояла, растерянно глядя на струившиеся воды реки. Когда же она несколько пришла в себя, то увидела, что осталась на берегу одна с незнакомцем. По-видимому, Гренгуар воспользовался ее растерянностью и скрылся вместе с козочкой среди теснившихся друг к другу домов Складской улицы.

Бедная цыганка затрепетала, увидев себя наедине с этим человеком. Она хотела говорить, кричать, звать Гренгуара, но язык не повиновался ей, и ни один звук не вырвался из ее уст. Вдруг она почувствовала, как ее руку схватила сильная и холодная рука незнакомца. Ее зубы застучали, лицо стало бледнее лунного луча, который озарял его. Человек не проронил ни слова. Быстрыми шагами он направился к Гревской площади, держа ее за руку. Она смутно почувствовала, что сила рока непреодолима. Ее охватила слабость, она больше не сопротивлялась и бежала рядом, поспевая за его быстрыми шагами. В этом месте набережная шла в гору. А ей казалось, что она спускается по крутому откосу.

Она огляделась вокруг. Ни одного прохожего. Набережная была совершенно безлюдна. Шум и движение толпы слышались только со стороны буйного, пламеневшего заревом Ситэ, от которого

ее отделял рукав Сены. Оттуда доносилось ее имя вперемежку с угрозами смерти. Париж лежал вокруг нее огромными глыбами мрака.

Незнакомец продолжал все так же безмолвно и так же быстро увлекать ее вперед. Она не узнавала ни одного из тех мест, по которым они шли. Проходя мимо освещенного окна, она сделала усилие, отшатнулась от священника и крикнула:

— Помогите!

Какой-то горожанин открыл окно, выглянул из него в одной рубашке, с лампой в руках, тупо оглядел набережную, произнес несколько слов, которых она не расслышала, и вновь захлопнул ставень. Это был последний луч надежды, и он угас.

Человек в черном не произнес ни звука и, крепко держа ее за руку, зашагал еще быстрее. Измученная, она уж более не сопротивлялась и покорно следовала за ним.

Время от времени она собирала последние силы и голосом, прерывавшимся от стремительного бега по неровной мостовой, задыхаясь, спрашивала:

— Кто вы? Кто же вы?

Он не отвечал.

Так шли они все время вдоль набережной и

дошли до какой-то довольно обширной площади, тускло освещенной луной. То была Гревская площадь. Посреди площади возвышалось что-то похожее на черный крест. То была виселица. Цыганка узнала ее и поняла, где находится.

Человек остановился, обернулся к ней и приподнял капюшон.

— О, — пролепетала она, окаменев на месте, — я так и знала, что это опять он.

То был священник. Он казался собственной тенью. Это была игра лунного света, когда все предметы кажутся призраками.

— Слушай, — сказал он, и она задрожала при звуке этого рокового голоса, которого давно уже не слышала. Он продолжал отрывисто и задыхаясь, что говорило о его глубоком внутреннем волнении. — Слушай. Мы пришли. Я хочу с тобой говорить. Это Гревская площадь. Дальше пути нет. Судьба предала нас друг другу. В моих руках твоя жизнь, в твоих — моя душа. Вот ночь и вот площадь, за их пределами пустота. Так слушай же меня. Я хочу сказать тебе… Но только не упоминай о твоем Фебе! (Говоря с ней, он, не выпуская ее руки, ходил взад и вперед, точно человек, который не в силах стоять на месте.) Не упоминай о нем! Видишь ли, если ты произнесешь это имя,

я не знаю, что я сделаю, но это будет ужасно!

Выговорив эти слова, он, словно тело, нашедшее центр тяжести, вновь стал неподвижен, но речь его выдавала все то же волнение, а голос становился все глуше:

— Не отворачивайся от меня. Слушай! Это очень серьезная вещь. Во-первых, вот что произошло… Это вовсе не шутка, клянусь тебе… Что такое я говорил? Помоги мне вспомнить! Ах да. Есть постановление высшей судебной палаты, вновь отдающее тебя виселице. Я вырвал тебя из их рук. Но они преследуют тебя. Гляди!

Он протянул руку к Ситэ. Там действительно продолжались поиски. Шум все приближался. Башня дома, принадлежавшего заместителю верховного судьи, против Гревской площади, была полна шума и света. На противоположном берегу видны были солдаты, бежавшие с факелами, и слышались крики: «Цыганка! Где цыганка? Смерть ей! Смерть!»

— Ты сама видишь, что они ищут тебя и что я не лгу. Я люблю тебя. Молчи! Лучше не говори со мной, если хочешь сказать, что ненавидишь меня. Я не хочу больше этого слышать!.. Я только что спас тебя… Подожди, дай мне прежде договорить… Я могу совсем спасти тебя. Я все

приготовил. Дело за тобой. Если ты захочешь, я могу… — Он резко оборвал свою речь. — Нет, нет, я говорю не то. — И быстрыми шагами, не выпуская ее руки, так что она должна была бежать, он направился прямо к виселице и, указав на нее пальцем, холодно произнес: — Выбирай между нами.

Она вырвалась из его рук и упала к подножию виселицы, обнимая эту зловещую, последнюю опору. Затем, слегка повернув прелестную головку, она через плечо взглянула на священника. Она походила на Божью Матерь у подножия креста. Священник стоял неподвижно, с поднятой рукой, указывающей на виселицу, застывший, словно статуя.

Наконец цыганка проговорила:

— Я боюсь ее меньше, чем вас!

Тогда рука его медленно опустилась, и, устремив полный глубокой безнадежности взгляд на камни мостовой, он прошептал:

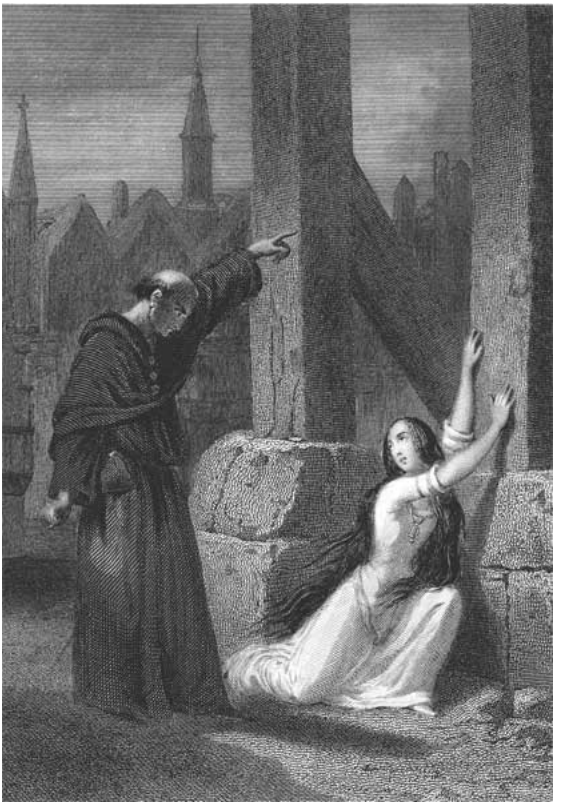
— Если бы эти камни могли говорить, они сказали бы: вот человек, который поистине несчастен.

И снова он заговорил. Молодая девушка, коленопреклоненная у подножия виселицы и вся окутанная длинными своими волосами, не пре-

рывала его. Теперь в его голосе звучали горестные и нежные ноты, мучительно противоречившие надменной суровости его лица.

— Я люблю вас! О! Это правда! Значит, от пламени, что сжигает мое сердце, не вырывается ни одна искра наружу? Увы, девушка, денно и нощно, денно и нощно пылает оно! Неужели это не вызывает жалости? Днем и ночью горит любовь — это пытка. О! Я слишком страдаю, мое бедное дитя! Это, поверь мне, заслуживает сострадания. Вы видите, что я говорю с вами кротко. Мне так хочется, чтобы вы больше не чувствовали ко мне отвращения. Разве виноват мужчина, когда он любит женщину? О боже мой! Как! Вы, значит, никогда не простите мне? Вы вечно будете ненавидеть меня? Значит, все кончено? Вот это и делает меня таким злобным и страшным самому себе. Вы даже не глядите на меня! Быть может, вы думаете о чем-то другом в тот миг, когда, трепеща, я стою пред вами на пороге вечности, готовой поглотить нас обоих. Только не говорите со мною об офицере! О! Пусть я паду к вашим ногам, пусть я буду лобзать, — не стопы ваши, нет, этого вы не позволите, — но землю, попираемую ими; пусть я, словно ребенок, захлебнусь от рыданий, пусть вырву из груди, — нет, не слова любви, а мое

сердце, мою душу, — и все будет напрасно, все! А между тем вы полны нежности и милосердия, вы сияете благостной кротостью, вы так пленительны, добры, сострадательны и прелестны. Увы! В вашем сердце живет жестокость лишь ко мне одному! О! Какая судьба!



Он закрыл лицо руками. Молодая девушка услышала, что он плачет. Это было в первый раз. Стоя перед нею и сотрясаясь от рыданий, он был

более жалок, чем если бы пал перед нею с мольбой на колени. Так плакал он некоторое время.

— Нет, — заговорил он снова, несколько успокоившись, — я не нахожу нужных слов. Однако я хорошо обдумал то, что должен был сказать вам. А сейчас я дрожу, трепещу, я слабею, в решительную минуту я чувствую какую-то высшую силу над нами, и у меня заплетается язык. О, я сейчас упаду наземь, если вы не сжалитесь надо мною, над собой! Не губите себя и меня! Если бы вы знали, как я люблю вас! Какое сердце отдаю вам! О, какое отречение от всякой добродетели! Какое неслыханное небрежение к себе! Ученый — я надругался над наукой; дворянин — я опозорил свое имя; священнослужитель — я превратил требник в подушку для похотливых грез; я плюнул в лицо своему Богу! Все для тебя, чаровница! Чтобы быть достойным твоего ада! А ты отвергаешь грешника! О, я должен сказать тебе все! Еще более… нечто еще более ужасное! О да, еще более ужасное!..

При этих словах его лицо приняло совершенно безумное выражение. Он замолк на секунду и снова заговорил громким голосом, словно обращаясь к самому себе:

— Каин, что сделал ты с братом своим?

Он опять замолк, потом продолжал:

— Что сделал я с ним, Господи? Я призрел его, я вырастил его, вскормил, я любил его, боготворил, и я его убил! Да, Господи, вот только что, на моих глазах, ему размозжили голову о плиты твоего дома, и это по моей вине, по вине этой женщины, по ее вине…

Его взор был дик. Его голос угасал, он еще несколько раз, через долгие промежутки, машинально, словно колокол, длящий последний звук, повторил:

— По ее вине… По ее вине…

Потом язык его уж не мог выговорить ни одного внятного слова, а между тем губы еще шевелились. Вдруг ноги его подкосились, он рухнул на землю и остался недвижен, уронив голову на колени.

Движение девушки, высвободившей из-под него свою ногу, заставило его очнуться. Он медленно провел рукою по впалым щекам и некоторое время с изумлением глядел на свои мокрые пальцы.

— Что это? — прошептал он. — Я плакал! — И, внезапно повернувшись к девушке, он с несказанной мукой произнес: — И вы равнодушно глядели на мои слезы! Увы! Дитя, знаешь ли ты,

что эти слезы — кипящая лава? Так это правда! Ничто не трогает нас в том, кого мы ненавидим. Если бы я умирал на твоих глазах, ты смеялась бы. О нет! Я не хочу тебя видеть умирающей! Одно слово! Одно лишь слово прощения! Не говори мне, что любишь меня, скажи лишь, что ты согласна, и этого будет достаточно. Я спасу тебя. Если же нет… О! Время бежит. Всем святым умоляю тебя, не жди, чтобы я снова превратился в камень, как эта виселица, которая тоже зовет тебя! Подумай о том, что в моих руках наши судьбы. Я безумен, я могу все погубить! Под нами бездонная пропасть, куда я низвергнусь вслед за тобой, несчастная, чтобы преследовать тебя вечно! Одно-единственное доброе слово! Скажи слово, только одно слово!

Она разомкнула губы, чтобы ответить ему. Он упал перед ней на колени, готовясь с благоговением внять слову сострадания, которое, быть может, сорвется наконец с ее губ.

— Вы убийца! — проговорила она.

Священник яростно схватил ее в объятия и разразился отвратительным хохотом.

— Ну хорошо! Убийца! — ответил он. — Но ты будешь принадлежать мне. Ты не пожелала, чтобы я был твоим рабом, так я буду твоим госпо-

дином. Ты будешь моей! У меня есть берлога, куда я утащу тебя. Ты пойдешь за мной! Тебе придется пойти за мной, иначе я выдам тебя! Надо либо умереть, красавица, либо принадлежать мне! Принадлежать священнику, вероотступнику, убийце! И сегодня, этой же ночью, слышишь ли ты? Идем! Веселей! Идем! Поцелуй меня, глупенькая! Могила или мое ложе!

Его взор сверкал вожделением и яростью. Его губы похотливо впивались в шею молодой девушки. Она билась в его руках. Он осыпал ее бешеными поцелуями.

— Не смей меня кусать, чудовище! — кричала она. — О гнусный, грязный монах! Оставь меня! Я вырву твои гадкие седые волосы и швырну их тебе в лицо!

Он покраснел, потом побледнел, наконец выпустил ее и мрачно взглянул на нее. Думая, что победа осталась за нею, она продолжала:

— Говорю тебе, что я принадлежу моему Фебу, что люблю Феба, что Феб прекрасен! А ты, поп, стар! Ты уродлив! Уйди!

Он испустил дикий вопль, словно преступник, которого прижгли каленым железом.

— Так умри же! — вскричал он, заскрипев зубами. Она увидела его страшный взгляд и хотела

бежать. Он поймал ее, встряхнул, поверг на землю и быстрыми шагами направился к Роландовой башне, волоча ее за руки по мостовой. Дойдя до башни, он обернулся.

— Спрашиваю тебя в последний раз: согласна ты быть моею?

Она ответила твердо:

— Нет.

Тогда он громко крикнул:

— Гудула! Гудула! Вот цыганка! Отомсти ей!

Девушка почувствовала, что кто-то схватил ее за локоть. Она оглянулась и увидела костлявую руку, высунувшуюся из оконца, проделанного в стене; эта рука схватила ее, словно железными клещами.

— Держи ее крепко! — сказал священник. — Это беглая цыганка. Не выпускай ее. Я пойду за стражей. Ты увидишь, как ее повесят.

— Ха-ха-ха-ха! — послышался гортанный смех в ответ на эти жестокие слова. Цыганка увидела, что священник бегом бросился по направлению к мосту Богоматери. Как раз с этой стороны доносился топот скачущих лошадей.

Молодая девушка узнала злую затворницу. Задыхаясь от ужаса, она попыталась вырваться. Она вся извивалась в судорожных усилиях

освободиться, полная смертельного страха и отчаяния, но та держала ее с неслыханной силой. Худые и костлявые пальцы, терзавшие ее руку, впились в нее, крепко сомкнувшись вокруг. Казалось, эта рука была припаяна к ее кисти. Это было хуже, чем цепь, хуже, чем железный ошейник, чем железное кольцо, — то были сознательные, одушевленные клещи, выступавшие из камня.

Обессилев, Эсмеральда прислонилась к стене, и тогда ею овладел страх смерти. Она подумала о прелести жизни, о молодости, о синем небе, о красоте природы, о любви Феба — обо всем, что ускользало от нее, и обо всем, что приближалось к ней, — о священнике, ее предавшем, о палаче, который придет, о виселице, стоявшей на площади. И тогда она почувствовала, как у нее от ужаса зашевелились волосы на голове. Она услышала зловещий хохот затворницы и ее шепот: «Ага, ага! Ты будешь повешена!»

Помертвев, она обернулась к оконцу и увидела сквозь решетку свирепое лицо вретишницы.

— Что я вам сделала? — спросила она, почти теряя сознание.

Затворница не ответила, а принялась нараспев, возбужденно и насмешливо бормотать: «Цыганка, цыганка, цыганка!»

Несчастная Эсмеральда горестно поникла головой, поняв, что имеет дело с существом, в котором не осталось ничего человеческого.

Внезапно затворница, словно вопрос цыганки только сейчас дошел до ее сознания, воскликнула:

— Что ты мне сделала, хочешь ты знать? А! Ты хочешь знать, что ты мне сделала, цыганка? Ну так слушай! У меня был ребенок! Понимаешь? Ребенок был у меня! Ребенок, говорю я тебе!.. Прелестная маленькая девочка! Моя Агнесса, — продолжала она взволнованно, целуя какой-то предмет в темноте. — И вот, видишь ли, цыганка, у меня отняли моего ребенка, у меня украли мое дитя. Мое дитя пожрали! Вот что ты мне сделала.

Молодая девушка робко ответила:

— Увы! Быть может, меня тогда еще не было на свете!

— О нет! — ответила затворница. — Ты уже жила. Она была бы тебе ровесницей! Вот уже пятнадцать лет, как я нахожусь здесь, пятнадцать лет, как я страдаю, пятнадцать лет я молюсь, пятнадцать лет я бьюсь головой о стены… Я говорю тебе, что моего ребенка украли цыгане, слышишь ты? И они своими зубами растерзали его… Есть у тебя сердце? Так представь себе, что такое дитя,

которое играет, сосет грудь, которое спит. Это сама невинность! Так вот! Его у меня отняли и убили! Про это знает Господь Бог!.. Ныне пробил мой час, и я сожру цыганку! Я бы искусала тебя, если бы не прутья решетки! Моя голова через них не пролезет… Бедная малютка! Ее украли сонную! А если они разбудили ее, когда схватили, то она кричала напрасно: меня не было возле!.. Ага, цыганские матери, вы пожрали мое дитя! Теперь идите поглядеть, как умрет ваше!

И она начала не то хохотать, не то лязгать зубами, — нельзя было отличить одно от другого у этого разъяренного существа. День только занимался. Словно пепельной пеленой была подернута вся эта сцена, и все яснее и яснее вырисовывалась на площади виселица. С противоположного берега, от моста Богоматери, все явственнее доносился до слуха несчастной осужденной конский топот.

— Сударыня! — воскликнула она, ломая руки и падая на колени, растрепанная, отчаявшаяся, обезумевшая от страха. — Сударыня, сжальтесь надо мной! Они приближаются! Я ничего вам не сделала! Неужели вы хотите видеть, как я умру на ваших глазах такой лютой смертью? Я уверена, в вашем сердце есть жалость! Это слишком

страшно! Дайте мне убежать! Отпустите меня! Сжальтесь! Я не хочу умирать!

— Отдай моего ребенка! — ответила затворница.

— Сжальтесь! Сжальтесь!

— Отдай ребенка!

— Отпустите меня, ради бога!

— Отдай ребенка!

Молодая девушка вновь упала, обессиленная, сломленная, глаза ее казались уже стеклянными, как у мертвой.

— Увы! — прошептала она. — Вы ищете свою дочь, а я своих родителей.

— Отдай мою крошку Агнессу! — продолжала Гудула. — Ты не знаешь, где она? Так умри! Я объясню тебе. Послушай, я была гулящей девкой, у меня был ребенок, и его у меня отняли! Это сделали цыганки. Теперь ты понимаешь, почему ты должна умереть? Когда твоя мать-цыганка придет за тобою, я скажу ей: «Мать, погляди на эту виселицу!» А может, ты вернешь мне дитя? Может, ты знаешь, где она, моя маленькая дочка? Иди, я покажу тебе. Вот ее башмачок — все, что мне от нее осталось. Не знаешь ли ты, где другой? Ежели знаешь, скажи, и если это даже на другом конце света, я поползу за ним на коленях.

Произнося эти слова, она другой рукой показывала цыганке из-за решетки маленький вышитый башмачок. Уже настолько рассвело, что можно было разглядеть его форму и цвет.

— Покажите мне башмачок! — сказала трепеща цыганка. — Боже мой! Боже!

Свободной рукой она поспешно раскрыла маленькую ладанку, украшенную зелеными бусами, которая висела у нее на шее.

— Ладно! Ладно! — ворчала про себя Гудула. — Хватайся за свой дьявольский амулет!

Вдруг ее голос оборвался, и, задрожав всем телом, она испустила вопль, вырвавшийся из самых глубин ее души:

— Дочь моя!

Цыганка вынула из ладанки башмачок, как две капли воды похожий на первый. К башмачку был привязан кусочек пергамента, на котором было написано следующее заклятие:

Еще один такой найди,

И мать прижмет тебя к груди.

Сличив мгновенно оба башмачка и прочтя надпись на пергаменте, затворница припала к оконной решетке лицом, сияющим небесной радостью, крича:

— Дочь моя! Дочь моя!

— Мать моя! — ответила цыганка.

Перо бессильно описать эту встречу.

Стена и железные прутья решетки разделяли их.

— О, эта стена! — воскликнула затворница. — Видеть тебя и не обнять! Дай руку! Твою руку!

Молодая девушка просунула в оконце свою руку, затворница припала к ней, прильнула к ней губами и замерла в этом поцелуе, не подавая иных признаков жизни, кроме судорожного рыдания, по временам потрясавшего все ее тело. Слезы ее струились ручьями в молчании, во тьме, подобно ночному дождю. Бедная мать потоками изливала на эту обожаемую руку тот темный, бездонный, таившийся в ее душе источник слез, где капля за каплей пятнадцать лет копилась вся ее мука.

Вдруг она вскочила, отбросила со лба длинные пряди седых волос и, не говоря ни слова, принялась обеими руками, более яростно, чем львица, раскачивать решетку своего логова. Прутья не поддавались. Тогда она бросилась в угол своей кельи, схватила тяжелый камень, служивший ей изголовьем, и с такой силой швырнула его в решетку, что один из прутьев, брызнув искрами,

сломался. Второй удар окончательно надломил старую крестообразную перекладину, которой было загорожено окно. Тогда она голыми руками сломала оставшиеся прутья и отогнула их ржавые концы. В иные мгновения руки женщины обладают нечеловеческой силой. Расчистив таким образом путь, на что ей понадобилось не более одной минуты, она схватила свою дочь за талию и втащила в свою нору.

— Сюда! Я спасу тебя от гибели! — бормотала она.

Тихонько опустив свою дочь на землю, затворница тут же вновь подняла ее и стала носить на руках, словно та все еще была ее малюткой Агнессой. Она ходила взад и вперед по узкой келье, опьяненная, неистовая, радостная. Она кричала, пела, целовала свою дочь, что-то говорила ей, разражаясь хохотом, исходила слезами, и все это одновременно, словно в каком-то неистовстве.

— Дочь моя! Дочь моя! — говорила она. — Моя дочь со мной! Вот она! Милосердный Господь вернул мне ее. Эй, вы! Идите все сюда! Есть там кто-нибудь? Пусть взглянет, моя дочь со мной! Иисусе сладчайший, как она прекрасна! Пятнадцать лет ты заставил меня ждать, милостивый Боже, все для того, чтобы вернуть ее мне красави-

цей. Так, значит, цыганки не сожрали ее! Кто же это выдумал? Доченька! Доченька, поцелуй меня! Добрые цыганки! Я люблю цыганок... Да, это ты! Так вот почему мое сердце всегда трепетало, когда ты проходила мимо! А я-то думала, что это от ненависти! Прости меня, моя Агнесса, прости меня! Я казалась тебе очень злой, не правда ли? Я люблю тебя... Где твоя крошечная родинка на шейке, где она, покажи! Вот она! О, как ты прекрасна! Это я вам подарила ваши огромные глаза, сударыня. Поцелуй меня. Я люблю тебя! Теперь мне все равно, что у других матерей есть дети, теперь мне до этого нет дела. Пусть они придут сюда. Вот она, моя дочь. Вот ее шейка, ее глазки, ее волосы, ее ручка. Видали вы кого-нибудь прекраснее, чем она? О, я ручаюсь вам, что у нее-то уж будут поклонники! Пятнадцать лет я плакала. Вся красота моя истаяла — и вот вновь расцвела в ней. Поцелуй меня!

Она нашептывала ей тысячу безумных слов, все очарование которых таилось в их выразительности. Она привела в такой беспорядок одежду молодой девушки, что та покраснела; она гладила ее шелковистые волосы, целовала ее ноги, колени, лоб, глаза и всем восхищалась. Молодая девушка подчинялась всему и лишь изредка

тихонько, с бесконечной нежностью повторяла:

— Матушка!

— Видишь ли, моя доченька, — говорила затворница, прерывая свою речь поцелуями, — я буду очень любить тебя. Мы уедем отсюда. Мы будем счастливы! Я получу кое-какое наследство в Реймсе, на нашей родине. Ты помнишь Реймс? Ах нет, ты не можешь его помнить, ты была еще крошкой! Если бы ты знала, какая ты была хорошенькая, когда тебе было четыре месяца! У тебя были такие крошечные ножки, что любоваться ими приходили даже из Эперне, а ведь это за семь лье от Реймса! У нас будет свое поле, свой домик. Ты будешь спать в моей постели. Боже мой! Боже мой! Кто бы мог этому поверить? Моя дочь со мной!

— Матушка, — продолжала молодая девушка, справившись наконец со своим волнением, — цыганка все это мне предсказывала. Среди них была одна добрая цыганка, которая всегда заботилась обо мне как кормилица, — она умерла в прошлом году. Это она надела мне на шею ладанку. Она постоянно твердила: «Малютка, береги эту безделушку. Это сокровище. Она тебе поможет найти мать. Ты носишь мать свою на груди». Она это предсказала, цыганка!

Вретишница вновь сжала дочь в объятиях.

— Дай я тебя поцелую! Ты так мило все это рассказываешь. Когда мы приедем на родину, то пойдем в церковь и обуем в эти башмачки статую младенца Иисуса. Мы должны это сделать для милосердной Пречистой Девы. Боже мой! Какой у тебя прелестный голосок! Когда ты сейчас говорила со мною, это звучало как музыка! О Боже всемогущий! Я нашла своего ребенка! Возможно ли этому поверить? Нет, если я не умерла от такого счастья, от чего же тогда можно умереть!

И она вновь принялась хлопать в ладоши, смеяться и восклицать: «Мы будем счастливы!»

В эту минуту со стороны моста Богоматери и с набережной в келью донеслось бряцание оружия и все приближавшийся конский топот. Цыганка с отчаянием бросилась в объятия вретишницы.

— Матушка! Спаси меня! Они идут!

Затворница побледнела.

— О небо! Что ты говоришь! Я совсем забыла. За тобой гонятся! Что же ты сделала?

— Не знаю, — ответила несчастная девушка, — но меня приговорили к смерти.

— К смерти! — воскликнула Гудула, пошатнувшись, словно сраженная молнией. — К смерти! — медленно повторила она, пристально

глядя на дочь.

— Да, матушка, — растерянно продолжала девушка. — Они хотят меня убить. Вот они идут за мной. Эта виселица — для меня! Спаси меня! Спаси меня! Они уже близко! Спаси меня!

Затворница несколько мгновений стояла, словно каменное изваяние, затем, с сомнением покачав головой, разразилась хохотом, своим ужасным прежним хохотом:

— О! О! Нет, да ты просто бредишь! Как бы не так! Потерять ее — и чтобы это длилось пятнадцать лет, а потом найти — и только на одну минуту. И ее отберут у меня! Теперь отнимут, когда она прекрасна, когда она уже выросла, когда она говорит со мной, когда она любит меня! Они придут сожрать ее на моих глазах, на глазах матери! О нет! Это невозможно! Милосердный Господь не допустит этого.

Конный отряд, видимо, остановился, и чей-то голос крикнул издали:

— Сюда, господин Тристан! Священник сказал, что мы найдем ее возле Крысиной норы.

Вновь послышался конский топот. Затворница вскочила с отчаянным воплем.

— Беги! Беги, дитя мое! Я вспомнила все! Ты права. Это идет твоя смерть! О ужас! Проклятие!

Беги!

Она просунула голову в оконце и быстро отшатнулась назад.

— Стой, — тихо, отрывисто и мрачно сказала она, судорожно сжимая руку цыганки, помертвевшей от ужаса. — Стой! Не дыши! Везде солдаты. Тебе не убежать. Слишком светло.

Сухие ее глаза горели. Она умолкла. Крупными шагами ходила она по келье. Время от времени останавливалась и, вырывая у себя клок седых волос, рвала их зубами.

Вдруг она сказала;

— Они приближаются. Я с ними поговорю. Спрячься сюда, в этот угол. Они не заметят тебя. Я скажу, что ты убежала, что я тебя не удержала, клянусь Богом!

Она отнесла свою дочь, которую все время держала на руках, в самый дальний угол кельи, куда снаружи нельзя было заглянуть. Там она усадила ее, позаботившись о том, чтобы руки и ноги ее не выступали из тени, распустила ее черные волосы и, прикрыв ими ее белое платье, поставила перед ней свою кружку и камень — единственное ее имущество, — уверенная в том, что эта кружка и этот камень помогут ей скрыть дочь. Покончив со всем этим, она, немного успокоившись, упала

на колени и принялась молиться. День только занимался, и Крысиная нора еще тонула во мраке.

В это мгновение возле самой кельи послышался зловещий голос священника.

— Сюда! — кричал он. — Сюда, капитан Феб де Шатопер!

При звуке этого имени, этого голоса Эсмеральда, притаившаяся в своем углу, зашевелилась.

— Не двигайся! — прошептала Гудула.

В ту же секунду у кельи раздался шум голосов, конский топот и бряцанье оружия. Тогда мать быстро вскочила и встала перед оконцем, чтобы загородить его. Она увидела большой вооруженный отряд пешей и конной стражи, выстроившийся на Гревской площади. Начальник спрыгнул с лошади и подошел к ней.

— Старуха, — сказал этот человек свирепого вида, — мы ищем ведьму, чтобы ее повесить. Нам сказали, что она у тебя.

Несчастная мать постаралась принять самый равнодушный вид и ответила:

— Не понимаю, что вы такое говорите.

Человек продолжал:

— Черт возьми! Что же он нам напел, этот сумасшедший архидьякон? Где он?

— Господин, — ответил один из стрелков, — он

исчез.

— Ну, старая дура, — продолжал начальник, — гляди у меня, не врать! Тебе поручили стеречь колдунью. Ты куда ее девала?

Затворница, боясь отнекиваться, чтобы не возбудить этим подозрений, угрюмо и с показным простодушием ответила:

— Если вы говорите об этой высокой девчонке, которую мне час тому назад навязали, так она, скажу вам, укусила меня, и я ее выпустила. Ну вот! А теперь оставьте меня в покое.

Начальник отряда скорчил недовольную гримасу.

— Смотри не вздумай врать мне, старая карга! — повторил он. — Я Тристан Отшельник, кум короля Тристан Отшельник, понимаешь. — Оглядывая Гревскую площадь, он добавил: — Здесь на это имя отзывается эхо.

— Будь вы хоть Сатана Отшельник, больше того, что я сказала, я не скажу, и бояться вас мне нечего, — сказала Гудула, к которой снова вернулась надежда.

— Вот так баба, черт возьми! — воскликнул Тристан. — Так, значит, проклятая девка улизнула! Ну а в какую сторону она побежала?

Гудула с равнодушным видом ответила:

— Кажется, по Овечьей улице.

Тристан обернулся и подал своему отряду знак двинуться в путь, затворница перевела дыхание.

— Господин, — вдруг вмешался один стрелок, — спросите-ка старую ведьму, почему у нее сломаны прутья оконной решетки?

Этот вопрос наполнил сердце несчастной матери мучительной тревогой. Однако она не окончательно потеряла присутствие духа.

— Они всегда были такие, — запинаясь, ответила она.

— Будто! — возразил стрелок. — Еще вчера они стояли тут красивым черным крестом, который призывал к благочестию!

Тристан исподлобья взглянул на затворницу:

— Ты что-то путаешь, кумушка.

Несчастная сообразила, что все зависит от ее выдержки, и, тая в душе смертельную тревогу, она рассмеялась. На это способна лишь мать.

— Вот тебе раз! — сказала она. — Да этот человек пьян, что ли? Еще год тому назад тележка, груженная камнями, задела решетку оконца и погнула прутья! Уж как я проклинала возчика!

— Это верно, — поддержал ее другой стрелок, — я сам это видел.

Всегда и всюду найдутся люди, которые все

видели. Это неожиданное свидетельство стрелка ободрило затворницу, которую этот допрос заставил пережить чувства человека, переходящего пропасть по лезвию ножа.

Но ей суждено было непрестанно переходить от надежды к отчаянию.

— Если бы решетку сломала тележка, то прутья вдавились бы внутрь, а они выгнуты наружу, — заметил первый стрелок.

— Эге! — обратился Тристан к стрелку. — Нюхто у тебя словно у следователя Шатле. Ну что ты на это скажешь, старуха?

— Боже мой! — воскликнула дрожащим от слез голосом доведенная до отчаяния Гудула. — Клянусь вам, господин, что эти прутья поломала тележка. Вы ведь слыхали, вон тот человек сам это видел. А потом какое все это имеет отношение к вашей цыганке?

— Гм!.. — проворчал Тристан.

— Черт возьми! — воскликнул стрелок, польщенный похвалою начальника. — А надлом-то на прутьях совсем свежий!

Тристан покачал головой. Гудула побледнела.

— Когда, говорите вы, проезжала здесь тележка?

— Да вроде как месяц тому назад или недели

две, монсеньор. Хорошо-то я не упомнила!

— А сначала она говорила, что год, — сказал стрелок.

— Вот это уже подозрительно! — сказал Тристан.

— Монсеньор! — закричала она, продолжая прижиматься к оконцу и трепеща при мысли, что подозрение может заставить их заглянуть в келью. — Господин, клянусь, эту решетку сломала тележка. Клянусь вам всеми небесными ангелами. А если я вру, то пусть я буду проклята навеки, пусть буду вероотступницей!

— Уж очень ты горячо клянешься! — сказал Тристан, окидывая ее инквизиторским взглядом.

Бедная женщина чувствовала, что все больше теряет самообладание. Она стала делать промахи, с ужасом сознавая, что говорит совсем не то, что надо.

Как раз в эту минуту прибежал стрелок и крикнул:

— Господин, старая ведьма все врет! Колдунья не могла бежать через Овечью улицу. Заградительную цепь не снимали всю ночь, и сторож говорит, что никто не проходил.

Тристан, лицо которого с каждой минутой становилось все мрачнее, обратился к затворнице:

— Ну а теперь что скажешь?

Она попыталась преодолеть и это новое затруднение:

— Откуда я знаю, господин, может быть, я и ошиблась. Мне думается, она переправилась через реку.

— Но это же в обратную сторону, — сказал Тристан. — Да и мало вероятно, чтобы она захотела вернуться в Ситэ, где ее ищут. Ты врешь, старуха!

— И, кроме того, — вставил первый стрелок, — ни с той, ни с другой стороны нет никаких лодок.

— Она могла броситься вплавь, — сказала затворница, отстаивая пядь за пядью свои позиции.

— Разве женщины умеют плавать? — заметил стрелок.

— Черт возьми! Старуха, ты врешь! Ты врешь! — гневно крикнул Тристан. — Меня так и подмывает плюнуть на эту колдунью и схватить тебя вместо нее. Четверть часика в застенке вырвут правду из твоей глотки! Идем-ка, следуй за нами.

Она с жадностью ухватилась за эти слова.

— Как вам угодно, господин. Пусть будет по-вашему! Пытка? Я готова! Ведите меня. Скорей, скорей! Идемте тотчас же.

«А тем временем, — думала она, — моя дочь успеет скрыться».

— Черт возьми! — сказал Тристан. — Она так и рвется на дыбу! Не пойму я этой сумасшедшей!

Из отряда выступил седой сержант ночного дозора и, обратившись к нему, сказал:

— Она действительно сумасшедшая, господин. И если она упустила цыганку, то не по своей вине. Она их ненавидит. Пятнадцать лет я в ночном дозоре и каждый вечер слышу, как она проклинает цыганок на все лады. Если та, которую мы ищем, маленькая плясунья с козой, то эту она особенно ненавидит.

Гудула сделала над собой усилие и сказала:

— Да, эту особенно.

Остальные стрелки единодушно подтвердили слова старого сержанта. Это убедило Тристана Отшельника. Потеряв надежду что-либо вытянуть из затворницы, он повернулся к ней спиной, и она с невыразимым волнением глядела, как он медленно направлялся к своей лошади.

— Ну, трогай! — проговорил он сквозь зубы. — Вперед! Надо продолжать поиски. Я не усну, пока цыганка не будет повешена.

Однако он еще помедлил, прежде чем вскочить на лошадь. Гудула ни жива ни мертва следила

за тем, как он беспокойно оглядывал площадь, словно охотничья собака, чующая дичь и не решающаяся уйти. Наконец он тряхнул головой и вскочил в седло. Подавленное ужасом сердце Гудулы снова забилось, и она прошептала, обернувшись к дочери, на которую до сей поры ни разу не решалась взглянуть:

— Спасена!

Бедняжка все это время просидела в своем углу, боясь вздохнуть, боясь пошевелиться, с одной лишь мыслью о предстоящей смерти. Она не упустила ни единого слова из всего разговора матери с Тристаном, и все муки матери находили отклик и в ее сердце. Она чувствовала, как трещала нить, которая держала ее над бездной, двадцать раз ей казалось, что вот-вот нить эта порвется, и только сейчас она вздохнула наконец свободнее, ощутив под ногами опору. В эту минуту до нее донесся голос, говоривший Тристану:

— Рога дьявола! Господин начальник, я человек военный, и не мое дело вешать колдуний. С чернью мы покончили. Остальным займетесь сами. Если вы позволите, я вернусь к отряду, который остался без капитана.

Это был голос Феба де Шатопера. Нет слов передать, что произошло в душе цыганки. Так, значит,

он здесь, ее друг, ее защитник, ее опора, ее убежище, ее Феб! Она вскочила и, прежде чем мать успела удержать ее, бросилась к окошку, крича:

— Феб! Ко мне, мой Феб!

Но Феба уже не было. Он галопом огибал угол улицы Ножовщиков. Зато Тристан был еще здесь.

Затворница с диким рычанием бросилась на дочь. Она быстро оттащила ее назад, вонзив ей в шею свои ногти, — ведь матери-тигрицы не отличаются особой осторожностью. Но было уже поздно. Тристан ее увидел.

— Эге! — воскликнул он со смехом, обнажившим до корней его зубы, что придало его физиономии сходство с волчьей мордой. — В мышеловке-то оказались две мыши!

— Я так и думал, — сказал стрелок.

Тристан потрепал его по плечу и сказал:

— У тебя нюх как у кошки. А ну-ка, где тут Анрие Кузен?

Человек с гладкими волосами, не похожий ни по виду, ни по одежде на стрелка, выступил из их рядов. Платье на нем было наполовину коричневое, наполовину серое, с кожаными рукавами; в сильной руке он держал связку веревок. Этот человек всегда сопровождал Тристана, как тот

— Людовика XI.

— Послушай, дружище, — обратился к нему Тристан Отшельник, — я полагаю, что это та самая колдунья, которую мы ищем. Вздерни-ка ее! Лестница при тебе?

— Лестница там, под навесом Дома с колоннами, — ответил человек. — Ее как, на этой вот перекладине вздернуть, что ли? — спросил он, указывая на каменную виселицу.

— Да.

— Хо-хо! — еще более грубо и зверски, чем начальник, захохотал палач. — Ходить далеко не придется!

— Ну поживей! Потом нахохочешься! — крикнул Тристан.

С той самой минуты, как Тристан заметил ее дочь и всякая надежда на спасение была утрачена, затворница не произнесла больше ни слова. Она бросила бедную полумертвую цыганку в угол склепа и снова встала перед оконцем, вцепившись обеими руками, как когтями, в угол подоконника. В этой позе она бесстрашно ожидала стрелков. Ее глаза приняли прежнее дикое и безумное выражение. Когда Анрие Кузен подошел к келье, лицо Гудулы стало таким свирепым, что он попятился.

— Господин, — спросил он, подойдя к Тристану, — которую же из них взять?

— Молодую.

— Тем лучше! Со старухой, кажись, трудненько было бы справиться.

— Бедная маленькая плясунья с козочкой! — заметил старый сержант ночного дозора.

Анрие Кузен снова подошел к оконцу. Взгляд несчастной матери заставил его отвести глаза. С некоторой робостью он проговорил:

— Сударыня…

Она прервала его еле слышным яростным шепотом:

— Кого тебе нужно?

— Не вас, — ответил он, — ту, другую.

— Какую другую?

— Ту, что помоложе.

Она принялась трясти головой, крича:

— Здесь нет никого! Нет никого! Нет никого!

— Есть! — возразил ей палач. — Вы сами это прекрасно знаете. Дозвольте мне взять молодую. А вам я никакого зла не причиню.

Она возразила со странной усмешкой:

— Вот как! Мне ты не хочешь причинить зла!

— Отдайте мне только ту, другую, сударыня. Господин начальник так приказывает.

Она повторила с безумным видом:

— Здесь нет никого.

— А я вам повторяю, что есть! — воскликнул палач. — Мы все видели, что вас было двое.

— Погляди сам! — сказала затворница. — Сунька голову в окошко!

Палач взглянул на ее ногти и не решился.

— Поторапливайся! — закричал Тристан, который, успев выстроить свой отряд полукругом перед Крысиной норой, сам подъехал к виселице.

Анрие Кузен в сильнейшем замешательстве еще раз подошел к начальнику. Он положил веревки на землю и с неуклюжим видом стал мять в руках шапку.

— Господин, как же войти туда? — спросил он.

— Через дверь.

— Двери нет.

— Через окно.

— Оно слишком узко.

— Так расширь его! — гневно ответил Тристан. — Разве нет у тебя кирки?

Мать, по-прежнему настороженная, наблюдала за ними из глубины своей норы. Она уже больше ни на что не надеялась, она уже больше не знала, что делать, она только не хотела, чтобы у нее

отняли дочь.

Анрие Кузен пошел за своими инструментами, которые лежали в ящике под навесом Дома с колоннами. Заодно он вытащил оттуда и лестницу-стремянку, которую тут же приставил к виселице. Пять или шесть человек из отряда вооружились кирками и лопатами. Тристан направился вместе с ними к оконцу.

— Старуха, — строго сказал ей начальник, — отдай нам девчонку добром.

Она взглянула на него, словно не понимая.

— Черт возьми! — продолжал Тристан. — Почему ты не хочешь, чтобы мы повесили эту колдунью, как то угодно королю?

Несчастная разразилась диким хохотом.

— Почему я не хочу? Она моя дочь!

Выражение, с которым она произнесла эти слова, заставило вздрогнуть даже самого Анрие Кузена.

— Мне очень жаль, — ответил Тристан, — но такова воля короля.

А затворница, еще громче расхохотавшись своим жутким смехом, крикнула:

— Что мне за дело до твоего короля! Говорю тебе, что это моя дочь!

— Пробивайте стену! — приказал Тристан.

Для того чтобы расширить отверстие, достаточно было вынуть под оконцем один ряд каменной кладки. Когда мать услышала удары кирок и ломов, пробивавших ее крепость, она испустила ужасающий вопль и стала с невероятной быстротой кружить по келье — эту повадку дикого зверя приобрела она, сидя в своей клетке. Она молчала, но глаза ее горели. У стрелков захолонуло сердце.

Внезапно она схватила свой камень и, захохотав, с размаху швырнула его в стрелков. Камень, брошенный неловко, ибо руки ее дрожали, упал к ногам лошади Тристана, никого не задев. Затворница заскрежетала зубами.

Хотя солнце еще не совсем взошло, но было уже светло, и чудесный розоватый отблеск лег на старые полуразрушенные трубы Дома с колоннами. Это был тот час, когда обитатели чердаков, просыпающиеся раньше всех, весело отворяют свои оконца, выходящие на крышу. Несколько поселян, несколько торговцев фруктами, верхом на осликах, потянулись на рынки через Гревскую площадь. Задерживаясь на мгновение возле отряда стрелков, собравшихся вокруг Крысиной норы, они удивленно глядели на них и затем продолжали путь.

Затворница села возле дочери, заслонив ее и прикрыв своим телом, с остановившимся взглядом, прислушиваясь к тому, как лежавшее без движения несчастное дитя шепотом непрестанно повторяло: «Феб! Феб!»

По мере того как работа стражи, ломавшей стену, подвигалась вперед, мать невольно откидывалась назад и все сильнее прижимала молодую девушку к стене. Вдруг она заметила (ибо не спускала с него глаз), что камень подался, и услышала голос Тристана, подбодрявшего солдат. Тогда она очнулась от своего недолгого оцепенения и закричала. Голос ее то резал слух, как скрежет пилы, то захлебывался, словно все проклятия мира теснились в ее устах, чтобы разом вырваться наружу.

— О-о-о! Это ужасно! Разбойники! Неужели вы в самом деле хотите отнять у меня дочь? Я же вам говорю, что это моя дочь! О подлые! О низкие палачи! Гнусные, грязные убийцы! Помогите! Помогите! Пожар! Неужто они так и отнимут у меня мое дитя? Кого же тогда называют милосердным Господом Богом? — И, обратясь к Тристану, с пеной у рта, с блуждающим взором, стоя на четвереньках и ощетинясь словно пантера, она заговорила: — Ну-ка, подойди, попробуй взять у

меня мою дочь! Ты что, не понимаешь? Женщина говорит тебе, что это ее дочь! Знаешь ли ты, что значит дочь? Эй ты, волк! Разве ты никогда не спал со своей волчицей? Разве у тебя никогда не было волчонка? А если у тебя есть детеныши, то, когда они воют, разве у тебя не переворачивается нутро?

— Вынимайте камень, — приказал Тристан, — он чуть держится.

Рычаги приподняли тяжелую плиту. Как мы уже упоминали, это был последний оплот несчастной матери. Она бросилась на нее, она хотела ее удержать, она царапала камень ногтями. Но массивная глыба, сдвинутая с места шестью мужчинами, вырвалась у нее из рук и медленно, по железным рычагам, скользнула на землю.

Мать, увидя, что вход готов, упала поперек отверстия, загораживая пролом своим телом, колотясь головою о камень, ломая руки, крича охрипшим от усталости, еле слышным голосом: «Помогите! Пожар! Горим!»

— Теперь берите девчонку! — все так же невозмутимо приказал Тристан.

Мать окинула стрелков таким грозным взглядом, что они охотнее бы попятились, чем пошли на приступ.

— Ну же, — продолжал Тристан, — Анрие Кузен, вперед!

Никто не тронулся с места.

— Клянусь башкой Христовой! — выругался Тристан. — Струсили перед бабой! А еще солдаты!

— Господин, — заметил Анрие Кузен, — да разве это женщина?

— У нее львиная грива! — заметил другой.

— Вперед! — приказал начальник. — Отверстие уже широкое. Пролезайте в него по трое в ряд, как в брешь при осаде Понтуаза. Пора с этим кончать, клянусь Магометом! И первого, кто повернет назад, я разрублю надвое!

Очутившись между двумя опасностями — матерью и начальником, — стрелки после некоторого колебания решили направиться к Крысиной норе.

Увидев это, затворница привстала на коленях, отбросила с лица волосы и беспомощно уронила худые исцарапанные руки. Крупные слезы выступили у нее на глазах и одна за другой побежали по бороздившим ее лицо морщинам, словно ручей по проложенному руслу. Она заговорила таким молящим, нежным, кротким и таким хватающим за душу голосом, что вокруг Тристана не один ста-

рый вояка с сердцем людоеда утирал себе глаза.

— Милостивые господа! Господа стражники, одно лишь слово. Я должна вам кое-что рассказать! Это моя дочь, видите ли? Моя дорогая малютка-дочь, которую я когда-то утратила! Послушайте, это целая история. Представьте себе, я очень хорошо знаю господ стражников. Они всегда были добры ко мне, еще в ту пору, когда мальчишки бросали в меня камнями за мою распутную жизнь. Послушайте! Вы оставите мне дочь, когда узнаете все! Я несчастная уличная девка. Ее украли у меня цыганки. И это так же верно, как то, что пятнадцать лет я храню у себя ее башмачок. Вот он, глядите! Вот какая у нее была ножка! В Реймсе! Шантфлери! Улица Великой скорби! Может, слышали? То была я в дни вашей юности. Хорошее было времечко! Неплохо было провести со мной часок. Вы ведь сжалитесь надо мной, господа, не правда ли? Ее украли у меня цыганки, и пятнадцать лет они прятали ее от меня. Я считала ее умершей. Подумайте, друзья мои, — умершей! Пятнадцать лет я провела здесь, в этом погребе, без огня зимой. Тяжко это было. Бедный дорогой башмачок! Я так стенала, что милостивый Господь услышал меня. Нынче ночью он возвратил мне дочь. Это чудо Господне. Она не

умерла. Вы ее не отнимете у меня, я знаю. Если бы вы хотели взять меня, тогда дело другое, но она дитя, ей шестнадцать лет! Дайте же ей насмотреться на солнце! Что она вам сделала? Ничего. Да и я тоже. Ежели бы вы только знали! Она — все, что у меня есть на свете! И глядите, какая я старая. Ведь это Божья Матерь ниспослала мне свое благословение! А вы все такие добрые! Ведь вы же не знали, что это моя дочь, ну а теперь вы это знаете! О! Я так люблю ее! Господин главный начальник, лучше мне распороть себе живот, чем увидеть хоть маленькую царапинку на ее пальчике! У вас такое доброе лицо, господин! Теперь, когда я вам рассказала, вам все понятно, не правда ли? О, у вас тоже была мать, господин! Ведь вы оставите мне мое дитя! Взгляните, я на коленях умоляю вас об этом, как молят самого Иисуса Христа! Я ни у кого ничего не прошу. Я из Реймса, милостивые господа, у меня там есть клочок земли, доставшийся мне от моего дяди Майе Прадона. Я не нищенка. Мне ничего не надо — только мое дитя! О! Я хочу сохранить мое дитя! Господь, владыка наш, вернул мне его не напрасно! Король! Вы говорите король! Но разве для него такое уж удовольствие, если убьют мою малютку? И потом, король добрый. Это моя дочь!

Моя, моя дочь! А не короля! Я хочу уехать! Мы хотим уехать! Вот идут две женщины, из которых одна мать, а другая дочь, ну и пускай себе идут! Дайте же нам уйти! Мы обе из Реймса. О! Вы все очень добрые, господа стражники. Я всех вас так люблю… Вы не возьмете у меня мою дорогую крошку, это совершенно невозможно! Не правда ли, это невозможно? Мое дитя! Дитя мое!

Мы не в силах описать ни ее жесты, ни ее голос, ни слезы, которыми она захлебывалась, ни руки, которые она то складывала с мольбой, то ломала, ни ее раздирающую улыбку, молящий взор, вопли, вздохи и жалобные, захватывающие рыдания, которыми она сопровождала свою отрывистую, бессвязную, безумную речь. Наконец, когда она умолкла, Тристан Отшельник нахмурил брови, чтобы скрыть слезу, навернувшуюся на эти глаза тигра. Однако он преодолел свою слабость и коротко ответил ей:

— Такова воля короля!

Потом, наклонившись к Анрие Кузену, прошептал: «Кончай скорей!» Быть может, грозный Тристан почувствовал, что и у него может не выдержать сердце.

Палач и стража вошли в келью. Мать не препятствовала им, она лишь подползла к дочери и,

без памяти охватив ее, закрыла своим телом.

Цыганка увидела приближавшихся к ней солдат. Ужас смерти вернул ее к жизни.

— Мать моя! — с выражением невыразимого отчаяния крикнула она. — Матушка, они идут! Защити меня!

— Да, любовь моя, да, я защищаю тебя! — угасшим голосом ответила мать, и, крепко сжимая ее в своих объятиях, она покрыла ее поцелуями. Обе — и мать и дочь, простершиеся на земле, являли собою зрелище, достойное сострадания.

Анрие Кузен схватил молодую девушку поперек туловища. Когда она почувствовала прикосновение его руки, она лишь слабо вскрикнула и потеряла сознание. Палач, из глаз которого капля за каплей падали крупные слезы, хотел было взять девушку на руки. Он попытался оттолкнуть мать, руки которой словно узлом стянулись вокруг стана дочери, но она так крепко обняла свое дитя, что ее невозможно было оторвать. Тогда Анрие Кузен поволок из кельи молодую девушку, а с нею вместе и мать. У матери глаза были тоже закрыты.

К этому времени солнце взошло и на площади уже собралась довольно многочисленная толпа зевак, наблюдавших издали, как что-то тащат к

виселице по мостовой. Таков был обычай Тристана при совершении казней. Он не любил близко подпускать любопытных.

В окнах не было видно ни души. И только на верхушке той башни Собора Богоматери, с которой видна Гревская площадь, на ясном утреннем небе вырисовывались черные силуэты двух мужчин, казалось глядевших вниз на площадь.

Анрие Кузен остановился вместе со своим грузом у подножия роковой лестницы и, с трудом переводя дыхание — до того он был растроган, — накинул петлю на прелестную шейку молодой девушки. Несчастная почувствовала страшное прикосновение пеньковой веревки. Она подняла веки и над самой своей головой увидела простертую руку каменной виселицы. Тогда она вздрогнула и громким, раздирающим голосом закричала:

— Нет! Нет! Не хочу!

Мать, голова которой зарылась в одежды дочери, не промолвила ни слова; только видно было, как дрожало все ее тело, как жадно и торопливо целовала она свою дочь. Палач воспользовался этой минутой, чтобы быстрее разомкнуть ее руки, которыми она сжимала осужденную. То ли обессилев, то ли отчаявшись, она не сопротивлялась.

Палач взвалил молодую девушку на плечо, и тело прелестного создания, грациозно изогнувшись, запрокинулось за его большую голову. Потом он вступил на лестницу, собираясь подняться.



В эту минуту мать, лежавшая скорчившись на мостовой, широко раскрыла глаза. Она поднялась, лицо ее было страшно; молча, как зверь на

добычу, она бросилась на палача и вцепилась зубами в его руку. Это произошло молниеносно. Палач взвыл от боли. К нему подбежали. С трудом высвободили его окровавленную руку из зубов матери. Она хранила глубокое молчание. Ее грубо оттолкнули. Голова ее тяжело ударилась о мостовую. Ее приподняли. Она упала снова. Она была мертва.

Палач, не выпуская девушку из рук, стал вновь взбираться по лестнице.

II. La creatura bella bianco vestita (Dante)[159]

Когда Квазимодо увидел, что келья опустела, что цыганки там нет, что, пока он защищал ее, она была похищена, он вцепился себе в волосы и затопал ногами от неожиданности и горя. Затем принялся бегать по всей церкви, разыскивая цыганку, испуская нечеловеческие вопли, усеивая плиты собора своими рыжими волосами. Это было как раз в то мгновение, когда королевские стрелки победно вступили в собор и тоже принялись за поиски цыганки. Бедняга-глухой помогал им, не подозревая об их намерениях; он полагал, что врагами цыганки были бродяги. Он сам повел Тристана Отшельника по всем уголкам собора, он отворил ему все потайные двери, проводил его за алтарь и во внутренние помещения ризниц. Если бы несчастная еще находилась в храме, он предал бы ее.

Когда утомленный бесплодными поисками Тристан наконец отступился — а отступался он не так-то легко, — Квазимодо продолжал искать

---

[159] Примечания: 159
Прекрасное создание в белой одежде (Данте) *(ит.)*.

один. Он двадцать раз, сто раз обежал собор вдоль и поперек, сверху и донизу, то взбираясь, то сбегая по лестницам, зовя, крича, обнюхивая, обшаривая, обыскивая, просовывая голову во все щели, освещая факелом каждый свод, отчаявшийся, безумный. Самец, потерявший самку, не мог бы рычать громче и свирепей. Наконец, когда он убедился, и убедился окончательно, что Эсмеральды нет, что все кончено, что ее украли у него, он медленно стал подниматься по башенной лестнице, той самой лестнице, по которой он с таким торжеством, с таким восторгом взбежал в тот день, когда спас ее. Он прошел по тем же местам, поникнув головой, молча, без слез, почти не дыша. Церковь вновь опустела и погрузилась в тишину. Стрелки ее покинули, чтобы устроить на колдунью облаву в Ситэ. Оставшись один в этом огромном Соборе Богоматери, еще несколько минут тому назад наполненном шумом осады, Квазимодо направился к той келье, в которой цыганка столько недель спала под его охраной.

Приближаясь к келье, он вдруг подумал, что, может быть, найдет ее там. Когда, огибая галерею, выходившую на крышу боковых приделов, он увидел узенькую келью с маленьким окошком и маленькой дверью, притаившуюся под упорной

аркой, словно птичье гнездышко под веткой, у бедняги замерло сердце, и он прислонился к колонне, чтобы не упасть. Он вообразил, что, может быть, она вернулась, что какой-нибудь добрый гений привел ее туда, что эта келья была слишком мирной, надежной и уютной, чтобы она могла покинуть ее. Он не смел двинуться с места, боясь спугнуть свою мечту. «Да, — говорил он себе, — да, она, вероятно, спит или молится. Не надо ее беспокоить».

Но наконец, собравшись с духом, он на цыпочках приблизился к двери, заглянул и вошел. Никого! Келья была по-прежнему пуста. Несчастный глухой медленно обошел ее, приподнял постель, заглянул под нее, словно цыганка могла спрятаться между каменной плитой и тюфяком, затем покачал головой и застыл в оцепенении. Вдруг он яростно затоптал ногою факел и, не вымолвив ни слова, не издав ни единого вздоха, с разбега ударился головою о стену и упал без сознания наземь.

Когда он пришел в себя, то бросился на постель и, катаясь по ней, принялся страстно целовать это ложе, где только что спала молодая девушка и, казалось, еще дышавшее теплом; некоторое время он лежал неподвижно, как мертвый, потом

встал и, обливаясь потом, задыхаясь, обезумев, принялся снова биться головой о стену с жуткой равномерностью раскачиваемого колокола и упорством человека, решившего умереть. Обессилев, он вновь упал; потом на коленях выполз из кельи и сел против двери в позе, исполненной изумления.

Больше часу, не пошевельнувшись, просидел он так, пристально глядя на опустевшую келью, мрачнее и задумчивее матери, сидящей между опустевшей колыбелью и гробиком своего ребенка. Он не произносил ни слова; лишь изредка бурное рыдание сотрясало его тело, но то было рыдание без слез, подобное бесшумно вспыхивающим летним зарницам.

По-видимому, именно тогда, доискиваясь в горестной своей задумчивости, кто мог быть неожиданным похитителем цыганки, он остановился на архидьяконе. Он припомнил, что у одного лишь Клода был ключ от лестницы, ведущей в келью, он припомнил его ночные покушения на девушку — первое, в котором он, Квазимодо, помогал ему, второе, когда он, Квазимодо, помешал ему. Он припомнил тысячу подробностей и вскоре уже не сомневался более в том, что цыганку у него отнял архидьякон. Одна-

ко его уважение к священнику было так велико, его благодарность, преданность и любовь к этому человеку пустили такие глубокие корни в его сердце, что даже и теперь чувства эти противились острым когтям ревности и отчаяния.

Он думал, что это сделал архидьякон, но кровожадная, смертельная ненависть, которою он проникся бы к любому иному, тут, когда это касалось Клода Фролло, обернулась у несчастного глухого глубочайшей скорбью.

В ту минуту, когда его мысли сосредоточились на священнике, опорные арки собора осветились утренней зарей и он вдруг увидел на верхней галерее Собора Богоматери, на повороте наружной балюстрады, опоясывавшей свод над хорами, какую-то движущуюся фигуру. Она направлялась в его сторону. Он узнал ее. То был архидьякон.

Клод шел тяжелой и медленной поступью, не глядя перед собой; он шел к северной башне, но лицо его было обращено в сторону правого берега Сены. Он держал голову высоко, точно силясь разглядеть что-то поверх крыш. Такой косой взгляд часто бывает у совы, когда она летит вперед, а глядит в сторону. Архидьякон прошел над самым Квазимодо, не заметив его.

Глухой, окаменев при его неожиданном появле-

нии, увидел, как священник вошел в лестничную дверку северной башни. Читателю известно, что именно из этой башни можно было видеть Городскую ратушу. Квазимодо встал и пошел за архидьяконом.

Звонарь поднялся по башенной лестнице, чтобы узнать, зачем поднимался по ней священник. Бедняга не ведал, что сделает, что скажет, чего хочет. Он был полон ярости и страха. В его сердце столкнулись архидьякон и цыганка.

Дойдя до верхушки башни, он, прежде чем выступить из мрака лестницы на площадку, осторожно осмотрелся, ища взглядом священника. Тот стоял к нему спиной. Площадку колокольни окружает сквозная балюстрада. Священник, устремив взгляд на город, стоял, опираясь грудью на ту из четырех сторон балюстрады, которая выходит к мосту Богоматери.

Бесшумно подкравшись сзади, Квазимодо старался разглядеть, на что так пристально смотрел он.

Внимание священника было настолько поглощено, что он даже не услышал шагов Квазимодо.

Великолепное, пленительное зрелище представляет собой Париж — особенно же Париж того времени — с высоты башен Собора Богоматери

в летнее раннее утро, веющее прохладой. Стоял июль месяц. Небо было совершенно ясное. Несколько запоздавших звездочек угасали то там, то тут, и лишь одна, очень яркая, искрилась на востоке, где небо казалось всего светлее. Вот-вот должно было показаться солнце. Париж начинал просыпаться. В этом чистом, бледном свете резко выступали обращенные к востоку стены домов. Исполинская тень колоколен ползла с крыши на крышу, протягиваясь от одного конца города до другого. В некоторых кварталах уже слышался шум и говор. Тут раздавался колокольный звон, там — удары молота или дребезжание проезжавшей тележки. Кое-где на поверхности кровель уже возникали дымки, словно вырываясь из трещин огромной курящейся сопки. Река, дробившая свои волны о быки стольких мостов, о мысы стольких островов, вся переливалась серебристой рябью. Вокруг города, за каменной его оградой, глаз тонул в широком полукруге клубящихся испарений, сквозь которые можно было смутно различить бесконечную линию равнин и изящную округлость холмов. Самые разнородные звуки реяли над этим полупроснувшимся городом. На востоке утренний ветерок гнал по небу белые пушистые хлопья, вырванные из гривы

тумана, застилавшего холмы.

На паперти несколько кумушек с кувшинами для молока удивленно указывали друг другу на невиданное разрушение главных дверей Собора Богоматери и на два потока расплавленного свинца, застывшие в расщелинах камня. Это было все, что осталось от ночного смятения. Костер, зажженный Квазимодо между двух башен, потух. Тристан уже очистил площадь и приказал бросить трупы в Сену. Короли, подобные Людовику XI, заботятся о том, чтобы кровопролитие не оставляло следов на мостовой.

С внешней стороны балюстрады, непосредственно под тем местом, где стоял священник, находился один из причудливо обтесанных каменных желобов, которыми щетинятся готические здания. В расщелине этого желоба два расцветших прелестных левкоя, колеблемые ветерком, шаловливо раскланивались друг с другом, точно живые. Над башнями, высоко в небе, слышалось щебетание птиц.

Но священник ничего этого не слышал, ни на что не глядел. Он был из тех людей, для которых не существует ни утра, ни птиц, ни цветов. Среди этого необъятного простора, предлагавшего такое многообразие взору, его внимание было

сосредоточено лишь на одном.

Квазимодо сгорал желанием спросить у него, что он сделал с цыганкой, но архидьякон в этот миг, казалось, унесся в иной мир. Он, видимо, переживал одно из тех острейших мгновений в жизни, когда человек даже не почувствовал бы, как под ним разверзается бездна. Вперив взгляд в одну точку, он стоял безмолвный, и в этом безмолвии, в этой неподвижности было нечто столь устрашающее, что свирепый звонарь задрожал и не осмелился их нарушить. У него был другой способ спросить священника: он стал следить за направлением его взгляда, и взор его упал на Гревскую площадь.

Он увидел то, на что глядел архидьякон. Возле постоянной виселицы стояла лестница. На площади виднелись кучки людей и множество солдат. Какой-то мужчина тащил по мостовой что-то белое, за которым волочилось что-то черное. Этот человек остановился у подножия виселицы.

Тут произошло нечто, чего Квазимодо не мог хорошо разглядеть. Не потому, что его единственный глаз утратил свою зоркость, но потому, что скопление стражи у виселицы мешало ему видеть происходившее. Кроме того, в эту минуту

взошло солнце и такой поток света хлынул с горизонта, что все высокие точки Парижа — шпили, трубы и вышки — запылали одновременно.

Тем временем человек стал взбираться по лестнице. Теперь Квазимодо отчетливо разглядел его. На плече он нес женщину — молодую девушку в белой одежде; на шею девушки была накинута петля. Квазимодо узнал ее.

То была она.

Человек добрался до верхушки лестницы. Там он поправил петлю. Тут священник, чтобы видеть лучше, встал на колени на самой балюстраде.

Внезапно человек резким движением каблука оттолкнул лестницу, и Квазимодо, который уже несколько мгновений сдерживал дыхание, увидел, как на конце веревки, на высоте двух туазов над мостовой, закачалось тело несчастной девушки с человеком, вскочившим ей на плечи. Веревка перекрутилась в воздухе, и Квазимодо увидел, как по телу цыганки пробежали страшные судороги. Вытянув шею, с выкатившимися из орбит глазами, священник тоже глядел на эту ужасную группу, на мужчину и девушку — на паука и муху.

Вдруг в самое страшное мгновение сатанинский смех, смех, в котором не было ничего

человеческого, исказил мертвенно-бледное лицо священника. Квазимодо не слышал этого смеха, но он видел его.

Звонарь отступил на несколько шагов за спиной архидьякона и внезапно, с яростью кинувшись на него, своими могучими руками столкнул его сзади в бездну, над которой наклонился Клод.

— Проклятие! — крикнул священник и упал вниз.

Восточный желоб, над которым он стоял, задержал его падение. Он двумя руками отчаянно уцепился за него, и в тот миг, когда он открыл рот, чтобы крикнуть вторично, он увидел над краем балюстрады, над своей головой, наклонившееся страшное, дышащее местью лицо Квазимодо.

Тогда он умолк.

Под ним зияла бездна. До мостовой было более двухсот футов.

В этом страшном положении архидьякон не вымолвил ни слова, не издал ни единого стона. Он лишь извивался, делая нечеловеческие усилия взобраться по желобу до балюстрады. Но его руки скользили по граниту, его ноги, царапая почерневшую стену, тщетно искали опоры. Тем, кому приходилось взбираться на башни Собора

Богоматери, известно, что под балюстрадой непосредственно находится каменный карниз. На ребре этого скошенного карниза и бился несчастный архидьякон. Под ним была не отвесная, а ускользающая от него вглубь стена.

Чтобы вытащить его из бездны, Квазимодо достаточно было протянуть руку, но он даже не смотрел на Клода. Он смотрел на Гревскую площадь. Он смотрел на виселицу. Он смотрел на цыганку.

Глухой облокотился о балюстраду в том месте, где до него стоял архидьякон. Он не отрывал взгляда от того единственного, что в этот миг существовало для него на свете, он был неподвижен и нем, как человек, пораженный молнией, и слезы непрерывным потоком тихо струились из его глаза, который до сей поры пролил лишь единственную слезу.

Архидьякон изнемогал. По его лысому лбу катился пот, из-под ногтей на камни сочилась кровь, колени были в ссадинах.

Он слышал, как при каждом усилии, которое он делал, его сутана, зацепившись за желоб, трещала и рвалась. В довершение несчастья желоб оканчивался свинцовой трубой, гнувшейся под тяжестью его тела. Архидьякон чувствовал, что

труба медленно подается. Несчастный сознавал, что, когда усталость сломит его, когда его сутана разорвется, когда свинцовая труба сдаст, падение неминуемо, и ужас леденил его сердце. Порой он устремлял блуждающий взгляд на тесную площадку, футах в десяти пониже, образуемую каким-то архитектурным украшением, и молил небо из глубины своей отчаявшейся души послать ему милость окончить свой век на этом пространстве в два квадратных фута, даже если ему суждено прожить сто лет. Один раз он взглянул вниз на площадь, в бездну; когда он вновь поднял голову, то веки его были сомкнуты, а волосы стояли дыбом.

Было что-то страшное в молчании этих двух людей. В то время как архидьякон в нескольких футах от Квазимодо погибал такой лютой смертью, Квазимодо плакал и смотрел на Гревскую площадь.



Архидьякон, видя, что все его попытки только расшатывают его последнюю хрупкую опору, решил больше не шевелиться. Охватив желоб,

он висел едва дыша, недвижимо, чувствуя лишь судорожное сокращение мускулов живота, подобное тому, какое испытывает человек во сне, когда ему кажется, что он падает. Его остановившиеся глаза были болезненно и изумленно расширены. Но почва постепенно уходила из-под него, его пальцы скользили по желобу, его руки слабели, тело становилось тяжелее. Поддерживавшая его свинцовая труба все ниже и ниже склонялась над бездной.

Он видел под собой — и это было ужасно — кровлю Сен-Жан-ле-Рон, казавшуюся маленькой, точно перегнутая пополам карта. Он поочередно глядел на бесстрастные изваяния башни, повисшие, как и он, над пропастью, но без страха за себя, без сожаления к нему. Все вокруг было каменным: прямо перед ним — раскрытые пасти чудовищ, под ним, в глубине площади, — мостовая, над его головой — плакавший Квазимодо.

На Соборной площади стояли кучки добродушных зевак, которые спокойно обсуждали, кем мог быть этот безумец, который забавлялся таким странным образом. Священник слышал, как они говорили, ибо их высокие и ясные голоса долетали до него:

— Да ведь он сломает себе шею!

Квазимодо плакал.

Наконец архидьякон, с пеной бешенства и ужаса на губах, понял, что его старания бесполезны. Все же он собрал остаток сил для последней попытки. Он подтянулся на желобе, коленями оттолкнулся от стены, уцепился руками за расщелину в камне, и ему удалось подняться приблизительно на один фут; но от этого толчка конец поддерживавшей его свинцовой трубы сразу погнулся. Одновременно порвалась и его сутана. Тогда, чувствуя, что он потерял всякую опору, что только его онемевшие слабые руки еще за что-то цепляются, несчастный закрыл глаза и выпустил желоб. Он упал.

Квазимодо глядел, как он падал.

Падение с такой высоты редко бывает отвесным. Архидьякон, полетевший в пространство, сначала падал вниз головою, вытянув руки, затем несколько раз перевернулся в воздухе. Ветер отнес его на кровлю одного из соседних домов, о которую несчастный ударился. Однако, когда он долетел до нее, он еще был жив. Звонарь видел, как он цеплялся пальцами, пытаясь удержаться на ней. Но поверхность была слишком поката, а он уже обессилел. Он быстро скользнул вниз по крыше, как оторвавшаяся черепица, и грохнулся

на мостовую. Там он остался лежать недвижим.

Тогда Квазимодо поднял свой взор на цыганку, тело которой, вздернутое на виселицу, билось в последних предсмертных судорогах под ее белой одеждой, потом взглянул вниз на архидьякона, распростертого у подножия башни, потерявшего всякий человеческий облик, и с рыданием, всколыхнувшим его уродливую грудь, произнес:

— Вот все, что я любил!

III. Брак Феба

Под вечер того же дня, когда судебные приставы епископа подняли на Соборной площади изувеченный труп архидьякона, Квазимодо исчез из Собора Богоматери.

По поводу этого происшествия ходило множество слухов. Никто не сомневался в том, что пробил час, когда, в силу их договора, Квазимодо, то есть дьявол, должен был унести с собой Клода Фролло, то есть колдуна. Утверждали, будто Квазимодо, чтобы взять душу Фролло, разбил его тело, подобно тому как обезьяна разбивает скорлупу ореха, чтобы съесть ядро.

Вот почему архидьякон не был погребен в освященной земле.

Людовик XI почил год спустя, в августе месяце 1483 года.

Что же касается Пьера Гренгуара, то ему удалось спасти козочку и добиться успеха как драматургу. По-видимому, отдав дань множеству безрассудных увлечений — астрологии, философии, архитектуре, герметике, — он вновь вернулся к драматургии, самому безрассудному из всех. Это он называл своим «трагическим концом». Вот

что можно прочесть по поводу его успехов как драматурга в счетах епархии за 1483 год:

«Жеану Маршану, плотнику, и Пьеру Гренгуару, сочинителю, которые поставили и сочинили мистерию, сыгранную в парижском Шатле в день приезда господина папского посла, на вознаграждение лицедеев, одетых и обряженных, как то требовалось для одной мистерии, а равно и на устройство ими необходимых для сего подмостков; за все — сто ливров». Феб де Шатопер тоже кончил трагически. Он женился.

IV. Брак Квазимодо

Мы только что упоминали о том, что Квазимодо исчез из Собора Богоматери в самый день смерти цыганки и архидьякона. И действительно, его уже более никто не видел, никто не знал, что с ним сталось.

В ночь после казни Эсмеральды помощники палача сняли ее труп с виселицы и отнесли его, согласно обычаю, в склеп Монфокона.

Монфокон, по словам Соваля, был «самой древней и самой великолепной виселицей королевства». Между предместьями Тампль и Сен-Мартен, приблизительно в ста шестидесяти саженях от крепостной стены Парижа, на расстоянии нескольких выстрелов от деревни Куртиль, на макушке пологого пригорка, однако достаточно высокого, чтобы быть заметным издалека, возвышалось, слегка напоминая кельтский кромлех, сооружение своеобразной формы, где также приносились человеческие жертвы.

Представьте себе на вершине мелового холма большой каменный параллелепипед, высотою в пятнадцать футов, шириною в тридцать и длиною в сорок, с дверью, наружной лестницей и

площадкой. На этой площадке — шестнадцать громадных столбов из необтесанного камня, высотою в тридцать футов, расположенных колоннадой по трем сторонам массивного основания и соединенных между собою наверху крепкими балками, с которых, через правильные промежутки, свисали цепи; на каждой цепи — скелет. Неподалеку на равнине — каменное распятие и две второстепенные виселицы, которые словно отпочковались от главной. Над всем этим, высоко в небе, непрерывное кружение воронья. Вот Монфокон.

В конце XV столетия страшная виселица, воздвигнутая в 1328 году, была уже сильно разрушена. Брусья источили черви, цепи заржавели, столбы позеленели от плесени. Кладка из тесаного камня расселась, площадка, по которой не ступала нога человека, поросла травой. Жутким силуэтом вырисовывалось это сооружение на небе, особенно ночью, когда на белых черепах мерцали лунные блики и ночной ветер, задевая цепи и скелеты, шевелил их во мраке. Одной этой виселицы было достаточно, чтобы наложить зловещую тень на всю окрестность.

Каменная кладка, служившая фундаментом этому отвратительному сооружению, была

полой. В ней находился обширный подвал, прикрытый сверху старой железной, уже погнувшейся решеткой, куда сваливали не только человеческие трупы, падавшие с цепей Монфокона, но и тела всех несчастных, которых казнили на других постоянных виселицах Парижа. В этой глубокой свалке, где превратилось в прах столько человеческих останков и столько преступлений, сложили свои кости многие из великих мира сего и многие невиновные, начиная от невинно осужденного Ангерана де Мариньи, обновившего Монфокон, и кончая адмиралом Колиньи, замкнувшим круг Монфокона, — тоже невинно осужденным.

Что же касается таинственного исчезновения Квазимодо, то вот все, что нам удалось разузнать.

Спустя полтора или два года после событий, завершивших эту историю, когда в склеп Монфокона пришли за трупом повешенного два дня назад Оливье ле Дэна, которому Карл VIII даровал милость быть погребенным в Сен-Лоране, в более достойном обществе, то среди отвратительных человеческих остовов нашли два скелета, из которых один, казалось, сжимал другой в своих объятиях. Один скелет был женский,

сохранивший на себе еще кое-какие обрывки некогда белой одежды и ожерелье вокруг шеи из зерен лавра, с небольшой шелковой ладанкой, украшенной зелеными бусинками, открытой и пустой. Эти предметы представляли, по-видимому, такую незначительную ценность, что даже палач не польстился на них. Другой скелет, крепко обнимавший первый, был скелет мужчины. Заметили, что спинной хребет его был искривлен, голова глубоко сидела между лопаток и одна нога была короче другой. Но его шейные позвонки оказались целыми, из чего явствовало, что он не был повешен. Следовательно, человек этот пришел сюда сам и здесь умер. Когда его захотели отделить от того скелета, который он обнимал, он рассыпался прахом.

1831